

# Русская литература

3

2017

Санкт-Петербург  
«НАУКА»



# Русская литература

№ 3 Историко-литературный журнал 2017

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>М. Н. Виरोлайнен.</b> «Узлы» и «циклы» в истории русской литературы . . . . .	5
<b>Т. Г. Иванова.</b> Топонимы в олонекских причитаниях . . . . .	14

## К 100-ЛЕТИЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Под «колесом» истории: переписка В. В. Розанова и П. П. Перцова 1917 года (вступительная статья, подготовка текста и комментарии Е. И. Гончаровой) . . . . .	36
<b>М. Л. Спивак.</b> Сбежавший прокурор, пропавшая княгиня и дерзкая фрейлина: об ошибках в «Последних днях императорской власти» и записях А. А. Блока 1917 года . . . . .	68
<b>П. Н. Гордеев.</b> В поисках революционной драматургии: как бывшие императорские театры старались в 1917 году «соответствовать моменту» . . . . .	81
<b>И. В. Кошценко.</b> Революционное Михайловское глазами В. В. Тимофеевой . . . . .	93
Международное бюро отдела ИЗО Наркомпроса (протоколы заседаний) (вступительная статья, подготовка текста и комментарии А. В. Крусанова) . . . . .	113
<b>М. А. Васильева, О. А. Коростелев.</b> Свидетельницы истории (по материалам дневников В. Н. Буниной и Е. И. Булгаковой) . . . . .	127
<b>М. В. Ефимов.</b> О гниении культурного тела и спасительной ампутации: Д. П. Святополк-Мирский и русская революция 1917 года . . . . .	142

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

<b>С. М. Шумило (Украина).</b> Богослужбные тексты как литературный источник средневековой проповеди: поучения Григория Цамблака . . . . .	158
<b>Н. Д. Кочеткова.</b> Загадочное посвящение В. К. Третьяковского А. П. Сумарокову . . . . .	165
<b>М. Б. Велижев.</b> И. И. Дмитриев и Вольтер. О механизмах формирования «двойной идентичности» литератора в начале XIX века . . . . .	170



<b>А. В. Курочкин.</b> Заметка графа Д. И. Хвостова о трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» . . . . .	184
<b>С. А. Фомичев.</b> Повесть Н. В. Гоголя «Нос»: реальность абсурда . . . . .	189
<b>М. Я. Саррина.</b> «Записки охотника» И. С. Тургенева в оценке А. А. Григорьева . . . . .	196
<b>Т. Б. Ильинская, А. А. Федотова.</b> Повесть Н. С. Лескова «Заячий ремиз» в контексте прозы Н. В. Гоголя . . . . .	213
<b>М. М. Павлова.</b> К истории неохристианской коммуны Мережковских (на материале «дневников» Т. Н. Гиппиус). Статья 1 . . . . .	222
<b>Е. М. Бутенина.</b> Набоковская медиация русской классики и университетско-филологическая проза США . . . . .	242

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<b>Т. Б. Карбасова.</b> Новое издание Жития Сергия Радонежского . . . . .	254
<b>В. В. Головин.</b> Антология русской поэзии для детей . . . . .	259
<b>А. С. Силина.</b> Переиздание «Примечаний» Н. С. Тихонравова к малоизвестным пьесам XVIII века . . . . .	262
<b>Р. Ю. Данилевский.</b> Письма И. А. Гончарова к А. Ф. Кони в немецком переводе . . . . .	264

## ХРОНИКА

<b>Е. М. Филиппова.</b> Международная научная конференция «Чины и музы (писатели на государственной службе)» . . . . .	266
<b>Е. Р. Обатнина.</b> Международная научная конференция «Архив ученого-филолога: личность, биография, научный опыт» . . . . .	270
<b>Т. Н. Галашева.</b> Пятый агниографический семинар . . . . .	275
<b>О. А. Лицдеберг.</b> Научный семинар «Революция 1917 года и литература» . . . . .	277

## Журнал издается под руководством Отделения историко-филологических наук РАН

### Редакционный совет:

*Н. А. БОГОМОЛОВ, М. ГАРДЗАНТИ, С. ГАРДЗОНИО,  
Ж. Ф. ЖАККАР, А. А. ЗАЛИЗНЯК, Вяч. Вс. ИВАНОВ, ЛЮ ВЭНЬФЭЙ,  
Дж. МАЛМСТАД, Ж. НИВА, Дж. СМИТ, Р. Д. ТИМЕНЧИК,  
В. ШМИД, Т. В. ЦИВЬЯН*

Главный редактор *В. Е. БАГНО*

### Редакционная коллегия:

*М. Н. ВИРОЛАЙНЕН, Е. Г. ВОДОЛАЗКИН, А. М. ГРАЧЕВА,  
И. Ф. ДАНИЛОВА (зам. главного редактора), Н. Н. КАЗАНСКИЙ,  
А. В. ЛАВРОВ, А. М. МОЛДОВАН, А. Ф. НЕКРЫЛОВА, С. И. НИКОЛАЕВ,  
М. В. ОТРАДИН, А. А. ПАНЧЕНКО, Н. Н. СКАТОВ, А. Л. ТОПОРКОВ,  
Т. С. ЦАРЬКОВА*

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.  
Телефон/факс: (812) 328-16-01; e-mail: rusliter@mail.ru

- © Российская академия наук, 2017
- © Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 2017
- © Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Издательство «Наука», 2017
- © Составление. Редколлегия журнала «Русская литература», 2017

# RUSSKAYA LITERATURA

№ 3

Historical and Literary Studies

2017

*Founded in January 1958*

*Published Quarterly*

## CONTENTS

	Page
<b>M. N. Virolainen.</b> «Nodes» and «Cycles» in the Russian Literary History .	5
<b>T. G. Ivanova.</b> Place-Names in the Olonets Lamentations	14

### 100 ANNIVERSARY OF THE RUSSIAN REVOLUTION

Under the «Wheel» of History: Correspondence between V. V. Rozanov and P. P. Pertsov, 1917 (Introduction, Editing and Comments by E. I. Goncharova) . . . . .	36
<b>M. L. Spivak.</b> Runaway Prosecutor, Missing Princess and Impertinent Lady-in-Waiting: the Errors in A. A. Blok's <i>The Last Days of Imperial Power</i> and Notes of 1917 . . . . .	68
<b>P. N. Gordeyev.</b> In Search of the Revolutionary Playwriting: How the Former Imperial Theaters Tried to «Go with the Flow» in 1917 . . . . .	81
<b>I. V. Koshchienko.</b> Revolutionary Mikhailovskoye Through the Eyes of V. V. Timofeyeva . . . . .	93
International Department of IZO-Narkompress (Meeting Minutes) (Introduction, Editing and Comments by A. V. Krusanov) . . . . .	113
<b>M. A. Vasilyeva, O. A. Korostelyov.</b> Witnesses to History (Case Studies of the Diaries by V. N. Bunina and E. I. Bulgakova) . . . . .	127
<b>M. V. Yefimov.</b> The Decay of the Cultural Body, and Vital Amputation: D. P. Svyatopolk-Mirsky and the Russian Revolution of 1917 . . . . .	142

### RELEASES AND REPORTS

<b>S. M. Shumilo</b> ( <i>The Ukraine</i> ). Liturgical Texts as a Literary Source for the Mediaeval Sermons: Teachings of Grigory Tsamblak . . . . .	158
<b>N. D. Kochetkova.</b> V. K. Trediakovsky's Mysterious Dedication to A. P. Sumarokov . . . . .	165
<b>M. B. Velizhev.</b> I. I. Dmitriev and Voltaire. On the Mechanism of Shaping the «Double Identity» of a Writer in the Early 19 <sup>th</sup> Century . . . . .	170
<b>A. V. Kurochkin.</b> Count D. I. Hvostov's Note on A. S. Pushkin's Tragedy <i>Boris Godunov</i> . . . . .	184
<b>S. A. Fomichev.</b> N. V. Gogol's Novella <i>The Nose</i> : The Reality of Absurdity . . . . .	189

<b>M. Y. Sarrina.</b> A. A. Grigoryev's Appraisal of I. S. Turgenev's <i>A Sportsman's Sketches</i> . . . . .	196
<b>T. B. Ilyinskaya, A. A. Fedotova.</b> N. S. Leskov's Novella <i>The Rabbit Warren</i> in the Context of N. V. Gogol's Prose Writings . . . . .	213
<b>M. M. Pavlova.</b> A Case Study of the Merezhkovskys' Neo-Christian Community (through the «Diaries» of T. N. Gippius). Article 1. . . . .	222
<b>E. M. Butenina.</b> Nabokov's Mediation of the Russian Classics, and the Collegiate Philological Prose Writing in USA . . . . .	242

#### REVIEWS

<b>T. B. Karbasova.</b> The New Edition of the Life of Sergey of Radonezh . . . . .	254
<b>V. V. Golovin.</b> An Anthology of Russian Poetry for the Children. . . . .	259
<b>A. S. Silina.</b> N. S. Tikhonravov's Notes to <i>Russian Dramas of 1672–1725</i> . . . . .	262
<b>R. Y. Danilevsky.</b> I. A. Goncharov's Letters to A. F. Koni in German Translation . . . . .	264

#### NEWSREEL

<b>E. M. Filippova.</b> <i>Titles and Muses (Writers in the Service of the State)</i> International Research Conference . . . . .	266
<b>E. R. Obatnina.</b> <i>Archive of a Philologist: Personality, Biography, Scholarly Background</i> International Research Conference . . . . .	270
<b>T. N. Galasheva.</b> The Fifth Hagiographic Seminar . . . . .	275
<b>O. A. Lindeberg.</b> <i>Revolution of 1917 and Literature</i> Research Seminar . . . . .	277

### Published under the Auspices of History and Philology Department Russian Academy of Sciences

#### Editorial Council:

N. A. BOGOMOLOV, M. GARZANITI, S. GARZONIO,  
Vyach. Vs. IVANOV, J. F. JACCARD, J. MALMSTAD, G. NIVAT,  
V. SCHMIDT, G. SMITH, R. D. TIMENCHIK, T. V. TSVIAN,  
WENFEI LIU, A. A. ZALIZNIAK

Editor-in-Chief V. E. BAGNO

#### Editorial Board:

I. F. DANILOVA (Deputy Editor-in-Chief), A. M. GRACHEVA, N. N. KAZANSKY,  
A. V. LAVROV, A. M. MOLDOVAN, A. F. NEKRYLOVA, S. I. NIKOLAEV,  
M. V. OTRADIN, A. A. PANCHENKO, N. N. SKATOV, A. L. TOPORKOV,  
T. S. TSARKOVA, M. N. VIROLAINEN, E. G. VODOLAZKIN

*Editorial Office:* 4, Makarova Embankment, St. Petersburg 199034  
Phone/fax: (812) 328-16-01; e-mail: rusliter@mail.ru

© Russian Academy of Sciences, 2017  
© Institute of Russian Literature  
(Pushkinskij Dom), 2017  
© Nauka Publishers, St. Petersburg  
Division, 2017  
© Compilation. *Russkaya Literatura*  
Editorial Board, 2017

## «УЗЛЫ» И «ЦИКЛЫ» В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выступая с «предварительными замечаниями» о проекте новой академической «Истории русской литературы», В. Е. Багно отметил, что было бы целесообразно «отказаться от принятой ранее периодизации, во многом носившей условный характер, в пользу предложенного В. Н. Топоровым в 1985 году (т. е. после выхода в свет последнего тома пушкинодомской 4-томной «Истории...») в статье „К вопросу о циклах в истории русской литературы” более фундаментального понятия *историко-литературной циклизации*. (...) Ключевыми при таком построении становятся эпохальные по значению, но короткие по времени переходные периоды, совмещающие в себе свертывание предыдущей структуры и завязь новой и осуществляющие связь соседних циклов».<sup>1</sup> Такие переходные периоды Топоров называл «узлами».<sup>2</sup> Подобный подход представляется мне не только продуктивным, он открывает путь к решению одной из самых насущных задач, возникающих на начальном этапе работы над новой «Историей...», — задачи концептуально осмысленного распределения материала по томам, о которой и пойдет речь в этой статье.

Для того, чтобы воспользоваться предложенной Топоровым идеей, необходимо либо безоговорочно принять кратко описанную им периодизацию русского литературного процесса, либо внести в нее некоторые коррективы. Думается, что последнее все-таки необходимо. В достаточно очевидных поправках нуждается, например, утверждение, что в течение последних четырех столетий рубежи между циклами проходили по границам веков.<sup>3</sup> Этот тезис, привлекательный своей загадочной математической красотой, не подтверждается даже при самом беглом обзоре литературной истории. Так, «узел» перехода от древнерусской словесности к новой русской литературе начал завязываться задолго до 1700 года. Не по календарю начался и XX век: первые выступления символистов состоялись в начале 1890-х годов. Еще сложнее обстоит дело с рубежом XVIII и XIX веков — о нем будет сказано ниже.

Наиболее ценное в идее Топорова — само выделение «узлов», т. е. моментов, связанных не с эволюцией, не с динамикой определенной литературной традиции (цикла), а с радикальным переструктурированием ее глубинных оснований. Что же касается понятия цикла, то выдвигая его как более емкое и продуктивное для построения истории литературы, чем направление, школа или стиль, Топоров определяет цикл как тяготеющее к гетерогенности и к выходу за собственные пределы сверхъединство. Для

---

Мария Наумовна Виролайнен — заведующая Отделом пушкиноведения Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ.

<sup>1</sup> Багно В. Е. О новой академической «Истории русской литературы» в Пушкинском Доме: (Предварительные замечания) // Русская литература. 2017. № 1. С. 18.

<sup>2</sup> См.: Топоров В. Н. К вопросу о циклах в истории русской литературы // Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII—XX вв.: Тезисы науч. конференции. Таллин, 1985. С. 4—10.

<sup>3</sup> См.: Там же. С. 7—8.

того, чтобы с опорой на эти два понятия произвести классификацию периодов истории русской литературы, необходимо выполнить еще одно условие — определить основание классификации, т. е. найти тот основной признак, по которому циклы отличаются друг от друга, ту особенность, которая подвергается трансформации в «узловые» периоды.<sup>4</sup>

Понятно, что даже стили и направления не сводятся к определенному набору художественных приемов, принципов поэтики и предпочтениям, отданным тем или иным типам сюжетов. Возникновение новых направлений, включая и те, что не склонны к философскому самоосмыслению, всегда сопровождается переинтерпретацией мировых связей, которой сопутствует определение нового места самой словесности в заново увиденном мировом контексте. Тем более это относится к такому сверхъединству, как цикл, охватывающий достаточно длительную литературную традицию. Исходя из этого и может быть выбрано основание классификации циклов истории русской литературы.

Рабочая гипотеза, предлагаемая в настоящей статье, заключается в том, что сверхъединство цикла определяется той общей картиной культурного универсума, которая формируется в его рамках, и прежде всего — границами этого универсума и принципами его внутреннего структурирования. До тех пор, пока общая картина не нарушается, а только варьируется разными литературными школами, вносящими в нее то разнообразие, благодаря которому возникает гетерогенность цикла, можно говорить о его единстве. Но как только начинается пересмотр самих границ культурного универсума и, как следствие, — законов его внутренней организации, цикл подходит к своему завершению и начинается «узловой» период. Само собой разумеется, что между циклами и «узлами» не могут быть проставлены четкие хронологические вехи: инерция цикла может оставаться сколь угодно продуктивной, в то время как сформированная им картина культурного космоса уже подвергается самому решительному разрушению.

Общая картина границ и внутренней структуры культурного универсума изменяется в ходе исторического движения русской литературы с большой степенью очевидности и отчетливости. Постараюсь продемонстрировать это на материале новой русской литературы, попутно обозначая соответствующие границы между томами.<sup>5</sup>

Доминантное свойство литературы XVIII столетия — идеальное самоосмысление текущей и протекшей истории и вдвинутого в ее раму человека. Культурный космос прочувствован как своего рода двухъярусная конструкция, подобная (если позволить себе не слишком точные ассоциации) устройству вертепа или соположению пролога на небесах и пролога на театре у Гете. Внизу — неумиротворенное кипение страстей, борьба личных и государственных честолюбий, постоянная перетасовка колоды. Вверху — не менее динамичная, но эталонная сфера. Сомкнуться эти две сферы, каждая из которых слишком подвижна, не успевают. Чтобы писать, надо воспарить,

<sup>4</sup> Любая периодизация, как вообще всякая классификация, всегда условна и целиком зависит от выбора основания, на котором она осуществляется.

<sup>5</sup> Не рассматривая в этой статье древнерусский период, я исхожу из предположения, что литературе этого времени может быть отведено 2 тома планируемой «Истории...», а 3-й том в своей начальной части будет посвящен «узловому» периоду, т. е. тем явлениям русской словесности, в которых уже со второй половины XVII века постепенно оформляются и набирают силу тенденции новой русской литературы. Это ни в коем случае не означает, что история древнерусской литературы должна быть оборвана на середине XVII века. Отсутствие четких хронологических границ между «узлами» и циклами не позволяет проводить их и между томами. В смежных томах допустимо, а в ряде случаев необходимо обращение к материалу, относящемуся к одному и тому же отрезку линейного времени.

прорваться в верхнюю сферу, предаться восторгу, исторгающему из сферы нижней. На примере ломоносовской оды это прекрасно продемонстрировано в книге Н. Ю. Алексеевой.<sup>6</sup> Свежее событие мгновенно вовлекается одой в некую идеальную зону, где оно наделяется смыслом, формируя достаточно резкие и выразительные черты государственной мифологии и идеологии.<sup>7</sup> Но и любой другой высокий жанр требует выхода за пределы «нижнего» мира и обращения к иному языку, чем тот, на котором говорят «внизу». Действующие в трагедии цари и князья — это фигуры, возвышающиеся не социально, а масштабно, они воплощают человеческую природу, поднятую в эталонную сферу и рассмотренную в соответствии с ее критериями. Так же трактуется и общественный долг. Эпопея, обращаясь к событиям историческим, поднимается над конкретикой фактов — они остаются «внизу», становясь почти неразличимыми. Травестия, снижение пафоса существуют лишь как обратный полюс этой идеализирующей тенденции и немислимы без нее. Таким образом, космос культуры предстает в литературном сознании XVIII века как подверженная всем страстям человеческой жизнь и дистанцированная от нее область ее идеального (эталонного) осмысления — собственно, область литературы.

Как только отстояние двух сфер снимается, как только высокая литература начинает обживать «нижнюю» сферу, начинает завязываться «узел», в котором готовится переход к следующему циклу.<sup>8</sup> Так, у Державина реальность и реальные фигуры начинают прорастать прямо из низшей сферы в высшую, и самый предметный мир в его осязаемой выпуклости оказывается восхищен в сферу поэзии — не увиден из нее, а непосредственно в нее забран. Сама по себе дихотомия, заданная культурой XVIII века, Державину, безусловно, введима: «Я червь — я Бог». В той же формуле обозначена и точка сопряжения между полярными зонами — это личность поэта, «я». А затем в литературу входит частный человек. Но путешественник Радищева еще остается воспарившим над самим собой автором. Путешественник Карамзина этически и интеллектуально автору равен.<sup>9</sup> Отсюда и расхождение речевых стихий — торжественно-архаической у Радищева и непринужденно разговорной у Карамзина.

Чувствительный человек возвращает идеал в собственном душевном мире, залог этому — изначальная прививка высокой нравственности (сказывается масонское воспитание Карамзина). Доминантной становится «нижняя» сфера, а условие этого — уверенность в ее естественной, органично реализуемой связи со сферой высшей, в связи, не требующей сверхусилия, парения, восторга, превышающего по своему напряжению естественную меру благородной человеческой органики. Чувствительность — это и есть область органичного, не принужденного соединения двух сфер, равно принадлежащая им обеим. Эта область и становится предметом литературы, которая не обращена на жизнь как таковую, но и не парит над нею, а сосредотачивается на душевной жизни, той срединной зоне, которая причастна и духовному, и

<sup>6</sup> Алексеева Н. Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII—XVIII веках. СПб., 2005. С. 173—205.

<sup>7</sup> См.: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001. С. 31—122.

<sup>8</sup> Применительно к композиции будущей «Истории русской литературы» это указывает на границу между томами, которая должна отделять «классический» XVIII век от того периода, когда сформированный им культурный универсум начинает менять свои очертания. Поскольку литературный материал XVIII века по сравнению с другими эпохами не слишком велик по объему, он может быть помещен во вторую часть 3-го тома.

<sup>9</sup> У Карамзина автор «возвышается над изображаемым потому, что он верен моральному идеалу, которому неверна или чужда жизнь. (...) У Радищева же автор возвышается над изображаемым, как революционер возвышается над страшным чудовищным миром» (Пумпянский Л. В. Сентиментализм // История русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1947. Т. 4. С. 444).



телесному. Отсюда — стремление к отысканию золотой середины во всем, включая литературный стиль,<sup>10</sup> отсюда же выход прозы, сближаемой с разговорным языком образованного общества, на значимое в литературной иерархии место.

Казалось бы, все это намечает прямой путь к русскому реализму, но литературная история складывается совсем иначе, почти одновременно с сентиментализмом и отчасти прямо внутри него возникают совершенно иные векторы развития, ведущие к созданию литературы, которую принято относить к русскому Золотому веку. Позволю себе написать об этом этапе подробнее, чем о других, поскольку именно по отношению к нему инерция описания литературного процесса «по направлениям» заслонила некоторые принципиально важные его особенности.

Из того самого мasonicкого круга, к которому в юности принадлежал Карамзин, вскоре выходят еще две очень яркие фигуры: Жуковский и Андрей Тургенев. Короткая жизнь Тургенева дает трагический образец самой пылкой попытки непосредственно, буквально, физически соединить две сферы, добиться их полного совпадения: он жаждет воплотить в собственном душевном строе энтузиастический (вертеровский, шиллеровский) идеал личности, но совпасть с ним не удается, и это обесценивает в его глазах жизнь.<sup>11</sup> Перед нами на столетие опередившая символистов бескомпромиссная попытка жизнетворчества. Жуковский, друг юности Тургенева, гораздо ближе к Карамзину по более миролюбивому отношению к самому себе и доверию к идеальным возможностям собственного душевного мира.<sup>12</sup> Но в художественную систему карамзинизма уже не укладывается созданный им балладный мир, не эквивалентный той естественной жизненной сфере, которую эстетизировала сентиментальная словесность. Значение балладного творчества Жуковского для общего движения русской словесности заключается прежде всего в том, что здесь произошел принципиальный отрыв «мечты»<sup>13</sup> от «существенности», в том, что средствами поэтического слова был выстроен целый мир, организованный по собственным, независимым от житейских законам.

За пределами балладного жанра Жуковский, быть может, не так уж далеко уходит от Карамзина — зато от него стремительно удаляется Батюшков, творя новую поэтическую реальность, обладающую онтологической автономией. Она не соединяет «верхнюю» и «нижнюю» сферы, не занимает и «срединного» между ними места — она сама становится «другим», особым миром, собственным миром «мечты», поэзии. Не совпадая ни с поэтикой классицизма, ни с поэтикой сентиментализма, Батюшков наследует обеим традициям — и XVIII века с его взмывающей над жизненным потоком поэзией, и карамзинизма, придавшего цену частному, внеисторическому, внегосударственному. Сама поэзия Батюшкова становится такой частной областью, свободной не только от больших событий истории, но и от конкретного бытия поэта.<sup>14</sup> Этим определяется и природа особого, собственного языка

<sup>10</sup> О принципе золотой середины как принципе литературного и личного поведения Карамзина см.: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Успенский Б. А. Избр. труды. М., 1994. Т. 2. С. 355.

<sup>11</sup> См.: *Зорин А. Л.* Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016.

<sup>12</sup> Об умеренной позиции, занимаемой Жуковским в младшем тургеневском кружке (Дружеском литературном обществе) см.: *Вацуро В. Э.* Лирика пушкинской поры: Элегическая школа. СПб., 1994. С. 50.

<sup>13</sup> В словоупотреблении той эпохи «мечта» была синонимом творческого воображения.

<sup>14</sup> Показательна краткая полемика по поводу адресованного Вяземскому и Жуковскому послания «Мои пенаты». Отвечая на него, Жуковский советовал: «Отвергни сладострастья /

поэзии, не совпадающего с общедоступным — но не совпадающего иначе, чем в XVIII веке, когда значения поэтической речи вступали во взаимодействие с земной реальностью и придавали ей высший смысл. Родственная Батюшкову поэтическая языковая традиция, наоборот, удаляется и от непосредственной реальности, и от непосредственной речевой практики. Поэтическая лень, поэтический пир, поэтическое сладострастие, поэтическое бессмертие имеют принципиально иное значение, чем те же слова, употребленные во внепоэтическом контексте, у них другие денотаты, неизъяснимые из области поэзии. Понятно, насколько расходится природа этого языка с установками карамзинизма на единство литературной и разговорной традиций. Проза, уже набравшая силу, снова отодвигается на второй план.

Так Золотой век становится эпохой главенства поэзии, которая вырабатывает свой язык, резко выделенный на фоне общеупотребительного. Это поэзия, подчеркнута, демонстративно свободная от прагматики, она обращена на самое себя и самое себя рефлектирует («Цель поэзии — поэзия»<sup>15</sup>). Мир поэзии Золотого века — не высшая эталонная сфера, откуда открывается взгляд на непосредственную реальность (как было в XVIII веке), не совпадает он также ни с земным, ни с небесным измерением. Он формирует другое, собственное измерение, которое обладает онтологической автономией и в себе содержит все свои смыслы.

Отчасти по тем же законам существует и проза. Наиболее яркий пример — проза раннего Гоголя, которая говорит совершенно особенным языком, не имеющим эквивалентов в языке общеупотребительном. Стоит назвать гоголевского парубка юношей или молодым человеком, и мы сразу окажемся за пределами гоголевской вселенной. Проза Гоголя не воспроизводит реальность, а создает ее, — и она возникает как новая, рукотворная, другая реальность, пронизанная музыкой и риторикой; физические законы природы не имеют власти над ней.

Автономия словесности — доминанта русского Золотого века, который не может быть охарактеризован ни через одно литературное направление. Он сохраняет черты классицизма и сентиментализма, но изменяет их функции и природу в рамках собственного культурного контекста. Он не может быть назван эпохой романтизма хотя бы потому, что носители той культуры понимали под романтизмом нечто совсем иное, чем мы.<sup>16</sup> В творчестве писателей Золотого века напрасно пытались найти черты реализма, миметические установки которого решительно не совпадают с принципами поэтики, характерными для этой эпохи.

Другое дело, что авторы Золотого века — и Пушкин прежде всего — все-таки искали тех способов сближения с историей, протекшей и текущей, которые не поколебали бы прав поэзии. Уже в «Кавказском пленнике» был произведен эксперимент, результаты которого отозвались во всей русской литературе XIX века: в качестве носителя истории был взят частный чело-

Погибельны мечты...» (Жуковский В. А. К Батюшкову // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999. Т. 1. С. 198). Но сладострастие, эротизм, чувственно-гедонистическое обличье было свойством батюшковского лирического героя, дистанцированность которого от автора как раз не хотел признавать Жуковский, завершавший обращение к Батюшкову заявлением, что «быть таким желает, / Каким в своих стихах / Себя изображает» (Там же. С. 203). Поэтическому его Батюшкова Жуковский противопоставлял автобиографизм, опыт реально пережитых чувств и событий. Но им Батюшков предпочел ни от чего не зависимое, автономное бытие поэзии.

<sup>15</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 167 (письмо к Жуковскому от 20-х чисел апреля (не позднее 24) 1825 года).

<sup>16</sup> Романтической русские авторы 1820—1830-х годов называли всю ту область литературы, которая создавалась без ориентации на античные образцы и правила, продиктованные классицизмом.

век. Вслед за Пленником в той же роли появились Алеко и Онегин. Но лишь ретроспективный взгляд позволяет увидеть в этих героях фигуры, отделенные от поэтического контекста. Ни один из них до конца не эмансипирован от автора, для воплощения каждого необходим тот или иной жанровый фон. Психологические мотивировки практически отсутствуют, изменение внутреннего облика и поведения героя мотивировано поэтическими контекстами, в которые он вовлекается. Когда Пушкин напрямую обращается к истории, он делает это не как писатель, но как сухой и беспристрастный историк, и, словно желая подчеркнуть контраст между двумя позициями, пишет в параллель «Истории Пугачева» вальтерскоттовскую «Капитанскую дочку».

Три великих автора этой эпохи — Гоголь, Баратынский и Лермонтов, творчество которых поначалу разворачивалось в полном согласии с ее эстетическими принципами, в конце концов совершили (каждый по-своему) выход за пределы поэтического космоса Золотого века к внеположной ему реальности — психологической, умственной, общественной, социальной. Их позднее творчество, идущее навстречу новым интересам и тенденциям, знаменует конец Золотого века.

Я думаю, литература от Державина и Карамзина до поздних Лермонтова, Баратынского, Гоголя — это и есть, в терминологии Топорова, «узел» между XVIII веком и русской классикой. Это время, когда еще живы важнейшие установки XVIII столетия, но литературный космос увиден уже по-другому и, что важно, — по-разному. И в то же время это эпоха, на исходе которой закладываются основы классической русской прозы — иногда прямо внутри самой поэзии (как, например, в «Наложнице» Баратынского с ее проработанными психологическими мотивировками), иногда в прозаических текстах, с трудом порывающих связи с поэтическим миром (таков «Герой нашего времени», композиция которого выдает свою зависимость от приемов романтической поэмы, или второй том поэмы «Мертвые души», где рационализм и дидактика не самым успешным образом борются с поэзией).<sup>17</sup>

Примерно в середине 1830-х годов, когда проза начинает теснить поэзию, когда Белинский объявляет Гоголя «поэтом жизни действительной»,<sup>18</sup> начинается оформляться новый цикл, который мы привыкли называть эпохой реализма. В это время мир, обживаемый литературой, резко меняет очертания. Чаще всего принято говорить, что он сводится к эмпирической действительности, эквивалентом которой призван служить в восприятии читателей художественный текст. Но точнее было бы сказать, что он сводится к человеку, воспринимающему эту действительность. Литература охватывает мир настолько, насколько он непосредственно доступен человеку, со всеми его духовными и душевными переживаниями, с его психологическими возможностями и социальными связями. Эту эпоху не случайно называют эпохой гуманизма — человек действительно становится для литературы мерой всех вещей — «существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют»;<sup>19</sup> мир входит в литературу в той мере, в какой его могут обнять человеческое сознание и чувство. Возникающий в это

<sup>17</sup> Этой «узловой» эпохе может быть посвящен 4-й том «Истории русской литературы», материал которого, как уже оговаривалось, можно частично распределить между этим томом и предыдущим. Так, например, творчество Державина должно быть, по-видимому, в разных курсах освещено в обоих томах.

<sup>18</sup> Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 284.

<sup>19</sup> Цит. по: Платон. Теэтет. 152a // Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 203.

время русский литературоцентризм — лишь оборотная сторона антропоцентризма словесности. И какой бы жесткой ни становилась в эту эпоху борьба поколений, как бы непримиримо ни сталкивались такие крайности, как, например, эстетизм и утилитаризм, мера человеческого остается неизменной.

В. М. Маркович предложил в свое время различие «двух реализмов». Один, характерный для натуральной школы, с ее очерковой, классификаторской манерой, и шире — для литературы второго ряда — замыкается в эмпирике и ее самое (а точнее ее фрагменты) стремится замкнуть, исчерпать описаниями; он обращен к среднестатистическому и потому открытое сюжетное движение трудно дается ему. Другой тип реализма уходит от средней нормы, чуждается позитивизма, для него характерны «мифопоэтизация романских сюжетов, внедрение в них легенды, утопии и пророчества, мета-типическая (или даже архетипическая) трактовка характеров», «принцип „неисправляемых противоречий“», действующий «на всех структурных и смысловых уровнях», и «парадоксальное сочетание эмпирического и мистериального».<sup>20</sup> Все это безусловно справедливо, но и второй тип реализма меры человеческого не превышает. Какой бы поэтичной ни была природа, описанная Тургеневым, это природа, увиденная «охотником». А в тургеневских романах авторская позиция, по замечанию того же Марковича, задана как позиция единичной личности, погруженной в общий с героями мир, способной понять изображаемое в пределах житейского восприятия людей и событий.<sup>21</sup> Но и всевидящее око Льва Толстого — это лишь смена авторской точки зрения, которой открывается все тот же предмет: человек в его связях с другими людьми и природой. И даже фантастический реализм Достоевского с его архетипической трактовкой характеров, с его религиозными темами сосредоточен — в еще большей мере, чем реализм Тургенева или Толстого, — на человеке как существе социальном. Лишь пресловутая «атмосфера» чеховских пьес оттого и кажется чрезвычайным новшеством, что является другим, небывалым для классики измерением, несводимым ни к социуму, ни к природе. Но не случайно пьесы Чехова пишутся уже в то время, когда завязан следующий «узел» истории русской словесности.

Верная «мере человеческого» в своих классических проявлениях, русская литература XIX века не требует от автора ни воспарить, оказаться исторгнутым из общего круга жизни, как это было в XVIII веке (обобщение, углубленное понимание — реальность другого порядка), ни сотворить воображаемый мир, мир «мечты», существующий по иным законам, чем эмпирический, как это было в эпоху Золотого века. Продолженной оказывается линия, намеченная Карамзиным.

Эпоха русского реализма — это классический цикл. Важно только подчеркнуть уже приведенное выше указание В. Н. Топорова на то, что цикл — единство гетерогенное. Доминирующие тенденции не исключают разного рода уклонений от них (таковы, например, «таинственные повести» Тургенева). Хронологические рамки вмещают и то, в чем видны рудименты ушедших эпох (вспомним хотя бы попытку А. К. Толстого возродить фантастическую повесть), и предвестия будущего (наиболее яркий тому пример — твор-

<sup>20</sup> Маркович В. М. Пушкин и реализм: Некоторые итоги и перспективы изучения проблемы // Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб., 1997. С. 128—129. См. также: Маркович В. М. 1) О русском реализме XIX века // Вопросы литературы. 1978. № 9. С. 126—169; 2) О трансформациях «натуральной» новеллы и двух «реализмах» в русской литературе XIX века // Русская новелла: Проблемы теории и истории: Сб. статей. СПб., 1993. С. 113—134.

<sup>21</sup> Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-е—50-е годы). Л., 1982. С. 117—118.

чество Тютчева, услышанного не современниками, а поэтами рубежа XIX и XX веков). Кроме того, понятно, что цикл не заканчивается в одночасье, его границы достаточно далеко уходят за ту временную грань, которой отмечен слом традиции.<sup>22</sup>

Обрушение классического мира, резкий выход за его пределы, за пределы доступной человеку сферы бытия происходит в самом начале 1890-х годов. Востребованным оказывается возникшее задолго до этого учение Шопенгауэра, объявившего все то, к чему была обращена литература русского реализма, неполноценным миром представления, видимости, кажимости. Все наши способы ориентации в этом мире, включая законы причинности, категории времени и пространства, иллюзорны, как и он сам. Влиятельность этих идей, сметающих все ценности реализма, подтверждается прямым свидетельством Андрея Белого, говорившего о 1890-х годах: «Философия Шопенгауэра была разлита в воздухе».<sup>23</sup> Бытию человеческому противопоставляется «меонизм», пафос небытия, смерти, «чего не бывает».<sup>24</sup> Антропоцентрическая картина оказывается полностью стертой, и на ее месте выстраивается картина космическая,<sup>25</sup> принципиально меняющая масштаб изображения. Самый индивидуализм старших символистов приближен не столько к человеку как таковому, сколько к его внутреннему миру, понимаемому и ценимому как орган восприятия многомерного бытия. Эпоха модернизма — это время, когда человек предстает в литературе как всего лишь фрагмент космической жизни, когда космос, вселенная, мироздание как целое, а не одна лишь обжитая человеком и доступная ему часть мира становятся предметом литературы. Такая резкая смена предмета, разумеется, влечет за собой не менее резкую смену художественных средств, одной из особенностей которых становится то, что поэзия снова выдвигается на центральное место, а поэтический язык снова, как и в эпоху Золотого века, начинает наращивать собственные системы значений. Способы и цели, которыми это осуществляют символисты, акмеисты и футуристы, резко расходятся между собой, но выработка особого языка остается общей задачей. И как бы далеко ни расходились на противоположные полюса символизм и футуризм, космический масштаб остается для них доминантным. Этим масштабом заражены и наиболее яркие фигуры тех авторов, которых часто называют реалистами Серебряного века. Вне космической темы не прочитывается художественный мир Бунина, к ней причастны Леонид Андреев и даже ранний Горький. По-своему причастны к ней и, казалось бы, замкнувшиеся от нее акмеисты: зоркий взгляд «нового Адама» заново различает мир, и уже от этого различного, обретшего новые очертания мира они идут к лирическому герою. И все же русский модернизм слишком внутренне противоречив, установки разных направлений расходятся слишком далеко, чтобы рассматривать его как цикл. Это, безусловно, еще один «узел», этап перерабатывания, перестройки, переосмысления классического наследия, тем более что в хронологическое поле модернизма попадают

<sup>22</sup> Обилие литературного материала этой эпохи требует, чтобы ей были посвящены два тома «Истории русской литературы» — предположительно, 5-й и 6-й.

<sup>23</sup> *Белый Андрей. <Речь> // Белый Андрей, Иванов-Разумник, Штейнберг А. З. Памяти Александра Блока. Пб., 1922. С. 10.*

<sup>24</sup> *Гиппиус З. Н. Песня // Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 75 (Новая Библиотека поэта).*

<sup>25</sup> См. объемное описание мифопоэтической космологии символистов: Ханзен-Лёве А. А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм начала века. Космическая символика. СПб., 2003. «Мифопоэтическую символику жизни», складывающуюся в это время, автор характеризует как «развертывание космических сфер в метафорические этапы жизни „мифического героя“» (Там же. С. 5).

еще отнюдь не утратившие своей мощи тенденции предшествующего ему литературного цикла.<sup>26</sup>

Следующий этап труднее всего поддается каким-либо определениям — прежде всего потому, что он связан с беспрецедентной в истории новой русской словесности ломкой органики литературного процесса. 1920-е годы еще могут быть отнесены к предшествующему периоду, но затем начинается искусственное приспособление литературы к государственной идеологии. Как это часто бывает, за революцией следуют годы реакции, когда революционизирующие идеи модернизма становятся неприемлемыми и предпочтение отдается спокойной, не взрывоопасной традиции реализма. Его искусственная реставрация в лице социалистического реализма становится фоном, на котором осуществляется творчество таких поэтов, как Мандельштам, Ахматова или Пастернак, а также других писателей, не готовых уместиться в предлагаемое прокрустово ложе. Вместе с возвращением к доминированию принципов реализма центром внимания снова становится человек, в литературу надолго возвращается психологизм; отношения личности и социума (как бы они ни трактовались) опять выходят на первый план, причем не только в произведениях, созданных в рамках официальной культуры. В литературе русского зарубежья также нельзя предполагать органичного развития того, что намечалось в предыдущий период. Вынужденная смена культурного контекста требовала от писателей достаточно неожиданно возникшей необходимости соотнесения собственного творчества и с событием эмиграции, и с западной литературной культурой. Если добавить к этому литературу русского андеграунда, мы убедимся, что целое оказывается мозаичным, едва ли поддающимся сколько-нибудь единому описанию. Возможность такого описания возникает лишь в последние десятилетия XX века, в эпоху постмодернизма, подхватывающего и объединяющего и некоторые тенденции, начавшие оформляться в недолгую оттепельную пору (в творчестве Битова, например), и некоторые особенности литературы русского зарубежья.

Исходя из предложенной картины различий «узлов» (переходов) и циклов истории русской литературы материал планируемого издания может быть распределен по томам следующим образом:

Т. 1—2 — древнерусская литература.

Т. 3 — «узел» перехода от древнерусской к новой русской литературе (вторая половина XVII — начало XVIII века); XVIII век как цикл.

Т. 4 — переход от литературы XVIII века к эпохе русской классической прозы (от Державина и Карамзина до Баратынского, Лермонтова и Гоголя).

Т. 5—6 — эпоха русской классической прозы (1840—1910-е годы).

Т. 7—8 — Серебряный век как переход от классической к новейшей литературе (1890—1910-е или даже 1920-е годы).

Т. 9—10 — новейшая литература (XX век, включая русское зарубежье).

<sup>26</sup> Как и классическому наследию XIX века, литературе эпохи модернизма едва ли будет достаточно посвятить один том. В таком случае связанный с ней материал займет тома 7-й и 8-й. Подчеркну: речь в них должна идти именно об эпохе модернизма, а не только о модернизме как таковом.



## ТОПОНИМЫ В ОЛОНЕЦКИХ ПРИЧИТАНИЯХ

Топонимы в произведениях устной народной поэзии являются вехами, которые отражают представления носителей фольклора о пространстве и одновременно нагружаются другими функциями. В мифологических рассказах (быличках) упоминание названия какой-либо деревни, крестьянин которой встретился в лесу с лешим, должно подчеркнуть достоверность повествования. Топонимы в частушках нередко создают семантические поля хваления и хуления парней и девушек того или иного села. Так называемые «географические» (прозвищные) песни в каждом из регионов ограничивают «свое», освоенное пространство, единое в хозяйственно-экономическом отношении и нередко скрепленное брачными связями.<sup>1</sup> В исторических песнях топонимы отражают реалии исторического события. Былинные географические названия помимо функции пространственных вех берут на себя и временную функцию. В жанре, где главной является государственная идея, топонимы обозначают представления о русском пространстве, но не о современном носителем песенного эпоса, а о пространстве Киевской Руси, отражая тем самым историческую память народа о зарождении русской государственности.<sup>2</sup>

Предметом настоящего исследования является пространство, обозначенное топонимами, в причитаниях. Этот жанр (или конгломерат родственных жанров) имеет свою специфику. В былинах и исторических песнях, без сомнения, сформирован мужской взгляд на мир; эти жанры (при всей сложности понятия «исторические песни») относятся к эпосу. Причитания — лирический жанр; они входят в систему женских жанров и демонстрируют женское понимание и женское знание о внешнем мире и пространстве. Специфика этого знания рассмотрена нами на материале причитаний Олонецкой губернии, которые отражены в классическом сборнике Е. В. Барсова (записи 1867 года), содержащем записи от знаменитой Ирины Федосовой,<sup>3</sup> и в авторитетном издании советского времени, подготовленном М. М. Михайловым (записи 1937—1939 годов).<sup>4</sup> Записи В. Г. Базанова и А. П. Разумовой,<sup>5</sup> сделан-

Татьяна Григорьевна Иванова — главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

<sup>1</sup> Подробнее об этом жанре см.: *Калуцков В. Н., Иванова А. А.* Географические песни в традиционном культурном ландшафте России. М., 2006.

<sup>2</sup> См.: *Иванова Т. Г.* 1) Киев и Москва в севернорусских былинах (на материале записей в Архангельском крае) // *Київ і слов'янські літератури: Збірник*. Київ; Београд, 2013. С. 79—91; 2) Топоним *Рязань* в севернорусских былинах // *Народная культура в слове и тексте: Сб. исследований и материалов памяти Валентины Викторовны Филипповой*. Сыктывкар, 2013. С. 80—89; 3) Поздние топонимы в эпическом пространстве былин северо-востока Русского Севера // *Русский фольклор: Материалы и исследования*. СПб., 2016. Т. 35. С. 42—85.

<sup>3</sup> *Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым* / Изд. подг. Б. Е. Чистова, К. В. Чистов. СПб., 1997. Т. 1: Похоронные причитанья; Т. 2: Рекрутские и солдатские причитанья. Свадебные причитанья. Далее: Барсов, с указанием номера тома, страницы и стиха.

<sup>4</sup> *Русские плачи Карелии* / Подг. текстов и прим. М. М. Михайлова. Петрозаводск, 1940. Далее: Михайлов, с указанием номера страницы и стиха.

<sup>5</sup> *Русская народная бытовая лирика: Причитания севера в записях В. Г. Базанова и А. П. Разумовой*. М.; Л., 1962.

ные в 1942—1944 годах на р. Печоре, в Заонежье и Пудожье и позволяющие поставить проблему регионального своеобразия топонимов в плачах, мы пока оставляем в стороне.

Самым частотным топонимом в нашем материале является «**Онего**», т. е. Онежское озеро. Отметим, что имеются определенные особенности формульного оформления этого топонима в разных локальных традициях Олонецкой губернии. В Каргополе, отдаленном от Онего, в регионе, не столь тесно связанном с озером в хозяйственном плане, как Заонежье, отношение к озеру отмечено отрицательными коннотациями. В «Плаче о двух братьях, утонувших в Онеге-озере», каргополки Марии Федоровой рисуется реалистическая картина гибели братьев-семинаристов, возвращавшихся от родителей «из редкой гозебки» (гостьбы) в губернский город. В устах каргополки название озера употребляется в нормативной, а не в комплиментарной форме — Онего, а не Онегушко. Топоним получает эпитеты «темное», «свирепое», «злодийское». Для каргопольской плакальщицы Онежское озеро — это чужое, гибельное пространство:

Как поехали по *темному Онегу свирепому*  
 На гнилой да улыбочатой соемке,  
 Тут расходилася погодушка великая,  
 Тут разбило-то улыбочату соемку,  
 Тут постигла-то их скорая смерётушка! <...>  
 Ихны плавали тела да молодецкие  
 По *темному-то Онегу злодийскому!*

(Барсов, I, с. 219, ст. 23—33)<sup>6</sup>

В другом олонецком регионе, на Пудожском берегу (восточный берег Онежского озера), согласно материалам, записанным М. М. Михайловым в конце 1930-х годов, слово Онего используется исключительно в комплиментарной форме — Онегушко (Михайлов, с. 106, ст. 39; с. 107, ст. 96). Формулообразующими эпитетами в Пудожье являются «шумливое» (Михайлов, с. 193, ст. 146; с. 291, ст. 4), «шумячее» (Михайлов, с. 204, ст. 38), «широкое» (Михайлов, с. 203, ст. 15).

В локальной традиции Заонежья (изрезанный заливами полуостров на севере Онежского озера) в устах Ирины Федосовой топоним также звучит в комплиментарной форме — Онегушко. Однако Заонежье по материалам Е. В. Барсова не знает формул «шумливое Онегушко» или «широкое Онегушко». Плачя пользуется эпитетом «синий». Формула «синее Онегушко» явно сложилась на основе более древней формулы «синее море». Онего, как известно, местным населением называлось морем, что отразилось и в причитаниях. Второй формулообразующий эпитет, который получил распространение в Заонежье, — «славное Онегушко». Укажем, что в эпической традиции эпитет «славный» прикрепляется к самому ценностному локусу русских былин — к Киеву (славный Киев-град). Таким образом, Онего в Заонежье очевидно входит в исключительно высокий регистр местных пространственных ценностей.

Семантика Онего в поэтическом языке олонецких причитаний оказывается многомерной. Это самый сложный в содержательном плане топоним. Какими же смыслами наполняется Онегушко в Заонежье? Какова специфика образа в разных видах причитаний — в свадебных, похоронных, рекрутских?

<sup>6</sup> Здесь и далее курсив в цитатах мой. — Т. И.

Прежде всего подчеркнем, что семантика Онего прочитывается в параметрах оппозиции «свой»/«иной», на которой строится традиционная культура. «Свой» мир (мир людей) противопоставляется «иному», разноплановому миру — миру духов (леший, домовый, русалка и пр.), миру мертвых («родители»/«предки», «заложные покойники», «ходячие покойники»), миру христианских святых (Микола-угодник, Егорий Храбрый). «Свое» (освоенное) пространство противопоставляется «иному» (зелен сад — темный лес). «Иной» мир, что очень важно, в традиционном сознании отнюдь не обязательно враждебен человеку. Духи (домовый, леший) могут быть помощниками крестьянина. Покойники («родители»/«предки») ожидают в гости в определенных обрядовых ситуациях (на Рождество). К христианским святым (Микола-угодник) человек обращается в кризисных ситуациях.

Важнейшим концептом в мифологических представлениях об «ином» пространстве, как известно, является «вода»<sup>7</sup> во всех ее конкретных воплощениях: источник, река, озеро, море. Глубинная (но не единственная) семантика Онего (водное пространство), таким образом, связана с воззрениями об «ином» мире.

Иномирная природа Онегушко прочитывается во всех видах заонежских причитаний. В свадебных плачах, специально подчеркнем, образ Онегушко раскрывается исключительно в мифологическом плане. Реалистическая сущность Онежского озера в этом виде голошений практически не проявляется.

Онегушко является «границей», за которую невеста отправляет свою «волю» — главный символ девичества:

И отпущу волю за чисто ныне за полюшко,  
И я за горушки-то волю за толкучии,  
И за мхи да эту волю за дыбучии,  
И я за синее за славно за Онегушко!

(Барсов, II, с. 473, ст. 278—281)

Одновременно Онежское озеро — это локус (не просто граница), куда собственно отправляется «волю»:

И тут отпущена бажёна у мя волюшка,  
И далечё ж она за сине за Онегушко!  
И собирается бесценна воля вольная,  
И *середі да столько славного Онегушка*  
И все на луду сись она да на подводную  
И на горячей же катучей синей камешек!

(Барсов, II, с. 440, ст. 14—19;  
ср.: с. 295, ст. 800, 813; с. 394, ст. 79; с. 395, ст. 125)

Иномирная сущность «славного Онегушка» в приведенных примерах поддерживается окружающими формулами, обозначающими также «иной» мир: «чистое поле», «горы толкучие», «мхи дыбучие». В последнем примере Онегушко соположено с образом «горючего синего камешка».

Семантика «границы» в образе Онегушко прочитывается и в эпизоде воображаемого бегства невесты от «остудника отечского сына», т. е. жениха. Девушка мечтает, получив гусиные-лебединые крылышки, улететь далеко:

<sup>7</sup> См.: Виноградова Л. Н. Вода // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. С. 386—390.

*И далеко буду за синим за Онегушком,  
И буду девушка тебе да непокорная,  
И буде глова моя да непоклонная.*

(Барсов, II, с. 290, ст. 582—584)

Следует подчеркнуть, что Онегушко, с его иномирной природой, в свадебной причети наделяется и положительными, и отрицательными коннотациями (с позиции невесты). От Онегушка невеста ждет помощи. К озеру она обращается с просьбой унести «парну баенку», являющуюся, как известно, местом важнейшего свадебного ритуала — смывания девичества:

*И подкати да сине-славное Онегушко,  
И унеси да эту парную ты баенку  
И уж ты этии еди́ныи бревнишечка!*

(Барсов, II, с. 385, ст. 9—11)

Мать невесты выражает надежду, что в Онегушке погибнет «блад сын отечский» (жених). Она обращается к дочери:

*И как еще, да моя белая лебедушка,  
И подойдет да тут ведь бы́стра эта ричинька,  
И утащít да всё блада сына отечского,  
И во круглó его во малое озёрышко,  
И во синее во славное Онегушко!*

(Барсов, II, с. 389, ст. 78—82)

Одновременно Онегушко, реализуя отрицательные коннотации, становится препятствием на пути девушки из бани к крыльцу родного дома, т. е. отделяет ее от родительской семьи:

*И мне нельзя пройти, невольной красной девушке,  
И подойти да ко крылечику перёному? <...>  
И тут разлилось сине-славное Онегушко,  
И протекла да тут ведь быстра эта риченька!*

(Барсов, II, с. 385, ст. 1—7)

Из-за Онегушка приходит туча грозная, на мифолого-поэтическом уровне воплощающая собой обряд сватовства, приводящий к изменению статуса девушки:

*И наставала туча темна неспособная  
Из-за синего с-за славного Онегушка,  
Из-за гор, да эта тученька, высокиих...*

(Барсов, II, с. 286, ст. 395—397)

В то же самое время в этом же фрагменте девушка надеется, что тучу унесет за Онего:

*И пронесет да эту темну столько тученьку,  
И ю за синее за славно за Онегушко!*

(Барсов, II, с. 286, ст. 428—429)

В другом виде заонежских причитаний — в похоронных — Онегушко также связано в основном с «иным» миром, причем в этой жанровой разновидности голошений проявляется лишь одна ипостась «инога» мира — это мир мертвых. В одном из похоронных плачей женщина ищет умершего в

чистом поле, на быстрой реченьке, наконец, на синем Онегушке, но нигде не может его найти (Барсов, I, с. 102, ст. 19, 26, 30). На берегу Онежского озера вдова ожидает умершего мужа:

*Я у синего была славна Онегушка,  
Я у пристаней была да корабельных <...>  
Как не едет ли любимая семеюшка  
Корабельщичком на синем на Онегушке  
Он со этым товаром заграничным?*

(Барсов, I, с. 47, ст. 80—90)

Однако подчеркнем, что, в отличие от свадебных вопей, в похоронной причети в образе Онежского озера прорастают реалистические черты. Онегушко, в соответствии с произошедшей трагедией, рисуется местом гибели дорогого человека. В знаменитом «Плаче о потопших» Ирины Федосовой устами дочери, на глазах которой во время непогоды при переходе через озеро погибли отец с малолетним братом, рисуется следующая картина:

*Снарядились мы за славное Онегушко  
Во утлой малогребной этой лоточке <...>  
Вдруг облака скорёшенько сходилися,  
Наставала туча темна неспособная,  
Без дождя туча темная, без молвии,  
Подымалася погода непомерная! <...>  
Как смахнуло среди эта Онегушка  
Во эту воду во глубокую:  
Утонул отец с дитем да со родимым,  
Он со малым своим да недоросточком!*

(Барсов, I, с. 208—209, ст. 1—46)

Тем не менее, при всей реалистичности этой картины, в описываемом эпизоде актуализируются архаичные мифологические смыслы, связанные с водным пространством. Спасение самой дочери, оказавшейся в результате непогоды на острове, и возвращение ее через несколько дней в родную деревню воспринимается соседями как возвращение из мира мертвых:

*Устрашились суседи спорядовы:  
«Это што теперь за чудо причудилося,  
Со синя моря ведь диво объявилося:  
Как со мертвых она да воставала,  
На родимую сторонку доставалася!»*

(Барсов, I, с. 214, ст. 273—277)

Укажем, что в отличие от каргополки Марии Федоровой, называющей Онего «злодийским» в ситуации гибели на озере ее родных, Ирина Федосова в описании трагической ситуации сохраняет почтительное отношение к иномирному локусу, называя озеро Онегушком.

В другом плаче — плаче замужней сестры, прибывшей из дальней деревни на похороны брата, — появляются образы «перехода». Женщина рисует свой трудный, внешне вполне реалистичный путь к умершему брату (через мелкие озера, речки и славное Онегушко), однако очевидно, что на уровне подтекста здесь прочитывается тема «перехода» из одного мира в другой:

*У озер нет перегребных малых лоточек,  
Через реченьку дубовой нет мостиночки;*

*Хоть располится<sup>8</sup> сине славное Онегушко,  
Хоть во ту пору есть вольна мне-ка волюшка,  
Через морюшко мне нет тогды попутчиков,  
Чрез Онегушко нет легких перевозчиков!*

(Барсов, I, с. 88, ст. 96—101)

Несомненно, что в образе Онегушко в олонекких причитаниях заложена трансформация от мифологического к реалистическому: от Онего как одного из образов водного пространства с его иномирным содержанием до Онего — Онежского озера, хорошо знакомого олонекким крестьянам, и мужчинам, и женщинам, по хозяйственно-промысловой деятельности. Движение образа Онего от мифологического к реалистическому сказывается в единично встретившейся в похоронных причитаниях формуле, в которой Онегушко рисуется местом, где трудится мужик. Вдова, потерявшая мужа-кормильца, работника, причитывает:

*Нету пахаря на чистых полосушках,  
Сенокосца на луговых нету поженках,  
Рыболовушка на сине нет Онегушке!*

(Барсов, I, с. 28, ст. 126—128)

Формула «рыболовушек на Онего» занимает заметное место в другом виде причитаний — в рекрутских, как известно, самых поздних по своему происхождению (с XVIII века). Рекрут устами матери просит Бога:

*Как от этой бы от службы Государевой  
И возвратил бы на судиму<sup>9</sup> Бог сторонушку  
И рыболовушком на сине бы Онегушко,  
И меня пахарем на чисто бы на полюшко,  
И воскормителем желанным бы родителям!*

(Барсов, II, с. 48, ст. 85—89)

При побывке солдата в отпуск женщина причитывает:

*Ты надблго ль по билету приотпущен ё,  
У великого царя да на слободушку?  
И на сколько на учётных да ты годышков  
Пришел пахарем на чисто ли на полюшко,  
И сенокосцем ли луговыйи на поженки,  
Аль рыболовушком на сине на Онегушко?*

(Барсов, II, с. 243, ст. 272—277;

ср.: с. 67, ст. 49; с. 96, ст. 154; с. 188, ст. 56; с. 209, ст. 43)

Онегушко в этой формуле принадлежит к «своему», освоенному миру, к пространству, где проходит трудовая деятельность крестьянина.

Онежское озеро в сознании рекрута тесно связано с образом «малой родины», образом, складывающимся из деревенской усадьбы, лесов, лугов, полей (локусы, где трудится крестьянин), сторонушки красовитой (где разгульно отдыхает) и Божьей церкви (где духовно очищается). В ряду локусов, связанных с трудом, называется и Онегушко:

*И ты прости, прости село да деревенское!  
И ты, усадьба-то, прости, да красовитая!*

<sup>8</sup> Располиться, располиться — разлиться (о реках, весенних водах).

<sup>9</sup> Судима сторонушка — родная сторона, предназначенная судьбой.



И вы, деревенки, простите, садовитыи!  
 И вы простите, темны лесушки дремучии,  
 И вси сахарнии садовы деревиночки!  
 И вы простите-тко, луга да сенокоснии,  
 И добра мблодца, поля да хлебороднии!  
*И сине славное, прости, да ты, Онегушко,*  
 И ты, родимая, прости меня, сторонушка!  
 И прости, волость-то, меня, да красовитая,  
 И ты, сторонушка, прости меня, гульливая,  
 И ты гульливая сторонка, щегольливая!  
 И ты прости, да молодецки вольна волюшка!  
 И ты прости, да Божья церковь посвященная  
 И Пресвятая мать, прости, да Богородица!

(Барсов, II, с. 52, ст. 29—43)

С другой стороны, в рекрутских причитаниях, как и в похоронных, в образе Онего сохраняются многочисленные аспекты темы «воды», имеющей глубокие мифологические подтексты. В топониме Онегушко в рекрутских плачах прочитывается сема «границы», отделяющей «свой» мир (деревенский, заонежский, родной) от «чужого» (внешнего, враждебного). За этой оппозицией «свой»/«чужой» в подтексте лежит архаичная оппозиция «свой»/«иной» мир. Жена причитывает мужу-рекруту:

И от меня да нонь надёжа удаляется  
 И он за горушки, надёжа, за высокии,  
 И он за темны леса да за дремучии,  
 И далеко-то он за мхи да зыбучии,  
 И он за круглыи за малыи озерышка,  
*И за синее за славно за Онегушко!*

(Барсов, II, с. 133, ст. 11—16)

Женщина, у которой брат находится в солдатах, желает слетать за Онегушко, чтобы повидать брата:

*Я слетала бы за сине за Онегушко,*  
 Я во это в океян да сине морюшко,  
 Повзыскала бы по черным бóльшим кóраблям,  
 И я по этим берегам да незнакомым,  
 И признавала б светушкá-братца родимого...

(Барсов, II, с. 68, ст. 122—126)

Плакальщица в птице видит вестника от солдата — вестника, летящего из-за синего Онегушка, с «чужой» стороны (Барсов, с. 106, ст. 150). В то же время солдат, находящийся на государевой службе, в «чужом» пространстве, в птице пытается увидеть вестника из родного дома:

И ты иди, да перелётна, сюды, птиченька!  
 И ты откуль летишь, да куды путь держишь,  
 И со которой ты летишь да со сторонушки  
*И ты с-за славного ль с-за синего Онегушка,*  
 Ты с-за этого ль океан-да синя морюшка?

(Барсов, II, с. 106, ст. 147—151;  
 ср.: с. 102, ст. 110)

Берег Онежского озера («граница») для женщины является местом ожидания рекрута, находящегося на солдатской службе. Соседка причитывает матери и рисует ей следующую картину:

И да ты дождешься разливной весны красной,  
 И ты повьдешь все на широкую на уличку,  
 И с горя сойдешь ты к крутому ко бережку;  
 И быстры риченьки теперь да поразобьются,  
 И сине славное Онего порасоблется,  
 И ты глядѣть станешь за сине за Онегушко <...>  
 И не покажутся ли черны больши корабли,  
 И не подьедет ли сердечно мило дитяtko  
 И он ко пристани, наш свет, да корабельной...

(Барсов, II, с. 87, ст. 177—188)

Онежское озеро в поэтическом языке плачей становится эмоциональным камертоном настроения женщины, переживающей разлуку с мужем-рекрутом:

И мне пойти с горя ко синему ко морюшку,  
 И мне ко синему ко славному Онегушку?  
 И буйны ветры в чистом поле развеваются,  
 И на синем море вода да сколыбається,  
 И со желтым песком вода да помутилася <...>  
 И уже тут моя кручина не уходится,  
 И уже тут мое сердечко не утешится,  
 И у меня тоска-кручина порасходится  
 И на моем да на победном сердечушке,  
 И на несчастной на зяблоей утробушке!

(Барсов, II, с. 135, ст. 96—108)

Таким образом, в рекрутских причитаниях, в отличие от свадебных и похоронных, в одинаковой мере актуальным становится и содержание Онего как «границы» между «своим» и «чужим» пространством, и семантика его как «своего» мира, где трудится заонежанин.

Основные семантические смыслы Онегушко сохраняются в похоронных причитаниях, записанных от Ирины Федосовой в 1886—1888 годах, через двадцать лет после Е. В. Барсова, другим собирателем поэтических произведений сказительницы — известной любительницей народной песни О. Х. Агреновой-Славянской. Онежское озеро рисуется как место гибели родного человека, а берег становится локусом, где женщина оплакивает утопленника (Барсов, I, с. 316, ст. 3). Онегушко сохраняет функцию камертона в переживаниях женщины (Барсов, I, с. 313, ст. 1). Находим мы в записях О. Х. Агреновой-Славянской и образ «перехода» в голошении замужней сестры по родном брате в сцене ее прихода к умершему: «Я по бережку онежску вброд переходила!» (Барсов, I, с. 307, ст. 14). Семантика Онегушко, подчеркнем, оказывается устойчивой.

Как мы уже указывали, Онего является центральным пространственным образом в олонечких причитаниях — образом, наделенным прежде всего мифологическими коннотациями. Частотным топонимом в местных плачах оказался также «Петровский город», т. е. Петрозаводск. В своей содержательной компоненте Петровский город противоположен Онего. В отличие от Онего в этом топониме полностью отсутствует мифологический подтекст. Если Онегушко в одинаковой мере наделено положительными и отрицатель-

ными коннотациями (в свадебных причитаниях), то Петровский город, как мы покажем ниже, в сознании плакальщиц предстает исключительно в негативном свете. Образ Онегушко свойствен всем видам причети (похоронным, свадебным и рекрутским); Петровский город наличествует в основном в рекрутских плачах. В этом виде голошений по частотности топоним занимает второе место (после Онего), что объясняется сугубо бытовыми обстоятельствами. Именно в Петрозаводск в определенные сроки вызывались мужики, здесь они в приемной комиссии проходили медицинское освидетельствование, по результатам которого рекруты отбирались в солдаты. Каждый такой призыв воспринимался в деревне как драма.<sup>10</sup>

Топонима «Петрозаводск», подчеркнем, причитания не знают; они употребляют названную формулу «Петровский город». Напомним, что город начинался в 1703 году с Петровского завода и долгое время назывался Петровская слобода, которая в 1777 году стала уездным, а в 1784 — губернским городом вновь учрежденной Олонецкой губернии. Соответственно, формула «Петровский город» сохраняет память об историческом названии поселения.<sup>11</sup> В тексте причитаний эта формула может звучать и в целостном («И как была я во *городе Петровском*» — Барсов, II, с. 69, ст. 159; ср.: с. 74, ст. 385; с. 88, ст. 217; с. 92, ст. 19; с. 124, ст. 9; с. 177, ст. 30, 33; с. 212, ст. 18), и в «разорванном» виде («Он ко *городу* уехал ко *Петровскому*» — с. 49, ст. 43; ср.: с. 69, ст. 169; с. 71, ст. 251).

Петровский город в тексте причитаний может быть «славным» — в устах властей, приехавших в деревню и отправляющих молодца в губернский город в «приемну» («принёму»):

И отправляйся в путь-широкую дороженьку,  
Ты ко славному ко *городу Петровскому*...

(Барсов, II, с. 48—49, ст. 12—13)

Единично эпитет «славный» попадает в уста женщины — жены рекрута (Барсов, II, с. 172, ст. 55). Но более характерен для плачеи другой эпитет — «злойный». В голошении жены по мужу-рекруту читаем:

И как свезут да тебя, красно мое солнышко,  
И ко *злойному* ко *городу Петровскому*...

(Барсов, II, с. 139—140, ст. 54—55;  
ср.: с. 81, ст. 34; с. 88, ст. 236; с. 91, ст. 39)

Обратим внимание на то, что эпитет «злойный» является общим для имени города, где крестьяне проходят медицинский осмотр и где их отбирают в рекруты, и для «службы Государевой». Соседка причитывает, обращаясь к матери парня, отправляющегося в Петрозаводск:

И ты отпустишь как сердечно свое дитяtko,  
Ты к *злойному* ко *городу Петровскому* <...>  
И буде Господи его да не помилует,  
От *злойной* от *службы Государевой*...

(Барсов, II, с. 92, ст. 2—18)

В рекрутских причитаниях заметное место занимает противопоставление (по принципу «свой»/«чужой») «родимой сторонушки», т. е. родной де-

<sup>10</sup> Чистов К. В. Народная поэтесса И. А. Федосова: Очерк жизни и творчества. Петрозаводск, 1955. С. 209—219; Кормина Ж. Проводы в армию в пореформенной России: Опыт этнографического анализа. М., 2005.

<sup>11</sup> Сохранение старинных топонимических форм, по-видимому, является одной из черт народной поэтической традиции; см. далее о форме «Русия подселенная».

ревни, волости рекрута, и «города Петровского». Жена причитывает к мужу:

И не надюсь я, победная головушка,  
И што воротиться от *города Петровского*,  
И ты на свою *родимую сторонушку*...

(Барсов, II, с. 137, ст. 30—32)

Парень, отправляющийся в Петрозаводск, устами матери-плачеи говорит:

И сохранил бы меня Господи, помиловал <...>  
И буде возвращусь на *родимую сторонушку*,  
Я со этого со *города Петровского*...

(Барсов, II, с. 53, ст. 11—22;  
ср.: с. 58, ст. 108—109)

Дважды Петровский город встретился в текстах заонежских похоронных причитаний, причем в этом виде плачей топоним также отмечен исключительно отрицательными коннотациями. В знаменитом «Плаче об убитом громом-молнией» Ирины Федосовой устами соседки убитого рисуются «дохтура и лекари», которые должны прибыть «со этого со города Петровского» (Барсов, I, с. 205, ст. 30), чтобы произвести вскрытие погибшего — с точки зрения традиционного сознания, совершить надругательство над его телом (ср. в «Плаче об ульянсливой головушке» — Барсов, I, с. 227, ст. 257).

Таким образом, губернский город в поэтическом (а скорее всего, и в бытовом) сознании жителей Олонецкой губернии не получает статуса идеального центра мира (ср. в былинах: центр русского пространства — Киев). Роль такого города Ирина Федосова в причитаниях отводит **Новгороду**, причем в ее плачах данный топоним становится не только пространственной (а точнее, не столько пространственной), но и временной вехой. Не современный плачею Новгород, а Новгород прошлой эпохи рисуется идеальным центром мира, откуда развернулось заонежское пространство.

Развивая тему былой «новгородской вольности»<sup>12</sup> в «Плаче о старосте», Ирина Федосова упоминает конкретные онежские селения, хорошо знакомые плакальщице — **Киж**, **Толвуй**. Возникновение онежских деревень плачая связывает с Новгородом и его разорением некими «бусурманами» (явно имеется в виду или присоединение Новгорода к Москве в 1478 году при Иване III, или разгром Новгорода в 1570 году при Иване IV):

Наступили бусурманы превеликии,  
Разорили оны *славный Новгород!*

(Барсов, I, с. 234, ст. 147—148)

После разорения новгородцы, согласно причитанию, отправились на север в Киж и Толвуй:

Вси тут придались в подсиверну сторонушку  
На званы *острова эты Кижскийи*  
Во славное во *общество во Толвую*...

(Барсов, I, с. 234, ст. 149—151)

<sup>12</sup> См. анализ «новгородской утопии» в монографии К. В. Чистова: Чистов К. В. Народная поэссеса И. А. Федосова. С. 201—209.

«Досюльное житье новгородское» мыслится как мир социальной справедливости, мир с праведными судьями:

Где ведь жалобно-то солнце пропекае,  
Там ведь прежняя, родима наша стброна,  
*Наша славна сторона Новгородская!*  
Когда Новгород ведь был не разорёной  
И ко суду были крестьяна не приведены...

(Барсов, I, с. 234, ст. 127—131)

В рекрутских причитаниях Новгород включен в современное государственное пространство «Русии подселенной», которую должен защищать солдат. Новгород, в противоречие с действительностью, воспринимается как центр государства наряду с Москвой:

И ведь думали-то турки окаянны,  
И оны въехать-то в Русию подселенную,  
И разорить Москву оны да всё великую,  
*И поразбить да оны крепость в Новгороде,*  
И победить да ведь царя-бога русийского...

(Барсов, II, с. 217, ст. 62—66)

Эта же формула («крепость новгородская») встречается в свадебном плаче. Невеста желает получить крылышки и превратиться в птицу, мечтая спрятаться от жениха в новгородской крепости, наделенной функцией защиты:

И подымусь да я, невольна, выше лесушку,  
И облечу да всю Русию подселенную,  
*И я во крепости слечу новгородскии...*

(Барсов, II, с. 290, ст. 573—575)

Необходимо подчеркнуть, что пространственный кругозор заонежских плакальщиц складывается, в первую очередь, из онежских топонимов. Онежская женщина, даже если она ни разу не выезжала за пределы родной волости, благодаря хозяйственной деятельности своих родных и родственным связям<sup>13</sup> имела достаточно полное представление о пространстве Онежского озера. В плачах Ирины Федосовой, уроженки д. Кузаранды (западный берег Заонежского залива Онежского озера), помимо названных выше близлежащего Толвуя (севернее Кузаранды на западном берегу Повенецкого залива — при переходе Заонежского залива в Повенецкий) и Кижей (южнее Кузаранды — остров при основании Заонежского полуострова) упоминается и **Повенец** (северная оконечность Повенецкого залива), куда заонежский крестьянин отправлялся на заработки. Жена советует мужу:

Да ты съезди-ко на малой этой лоточке,  
*Хоть во город да ты съезди Повенецкой,*  
Наживи да ты, надёжа, золотой казны.  
Да мы купим-то довольных этих хлебушков,  
Мы прокормим-то сердечных малых детушек!

(Барсов, I, с. 235, ст. 176—180)

<sup>13</sup> См. карту «Брачные связи крестьян Кижского и Сенногубского приходов в XVII—XIX веках» в монографии С. В. Воробьевой «Родословия русских сказителей Заонежья XVIII—XIX веков (Кизи и Сенная Губа) по материалам архивных документов» (Петрозаводск, 2006; вкладка).

В систему ценностных локусов онежских плакальщиц входили местные монастыри. В поисках ключевой воды, не замутненной «остудником» (же-нихом), девушка собирается съездить в **Палеостров**:

*И мни съездить-то ко старцам в Пальёостров;  
И я слыхала ведь, душа да красна девушка,  
И там ведь водушка живет точно медвяная,  
И почерпурочка ведь там да золочёная,  
И сторожа да во пустыни всё ведь верны!*

(Барсов, II, с. 366, ст. 201—205;  
ср.: с. 425, ст. 21)

Корнилие-Палеостровский Рождественский мужской монастырь расположен на острове Палей на севере Онежского озера в Повенецком заливе (в 7 км от с. Толвуй). В сохранившихся документах обитель упомянута в 1391 году. Однако по устным преданиям монастырь был основан ранее, в XII веке, преподобным Корнилием, чьи мощи были главной святыней обители. В истории Палеострова были интересные страницы. Известно, что какое-то время в обители подвизался Зосима — будущий основатель Соловецкого монастыря. В 1654 году сюда в заточение был сослан епископ Коломенский Павел — энергичный противник патриарха Никона. Монастырь стал одним из оплотов старообрядчества. В 1687 году около двух тысяч раскольников собрались в Палеострове. Обитель была осаждена войсками. Все старообрядцы предпочли огненную смерть. «Гарь» повторилась в 1689 году, когда от огня погибли 500 раскольников.<sup>14</sup>

Второй монастырь, который называет плакальщица — **Макарий** на желтых песках. Именно туда девушка собирается отправить свою «волку»: «И я спущу да ю к Макарью на желты пески» (Барсов, II, с. 295, ст. 828). У «Макария на желтых песках», как и в Палеостровском монастыре, девушка ищет незамутненной ключевой воды (Барсов, II, с. 366, ст. 217; с. 367, ст. 220).

В данном случае заонежская плачя имеет в виду один из духовных центров близлежащего Каргопольского уезда — обитель во имя Макария Желтоводского и Унженского, расположенную в 16 км от Лекшмозера (к востоку от Онежского озера). Пустынь была основана в XVII веке иноками Александром-Ошевенским монастыря Сергием и Логгином на небольшом озере — Хергозере. В 1640 году старец Сергей с братиею били челом царю Михаилу Феодоровичу о передаче им земель вокруг пустыни. Грамотой 19 сентября 1641 года земли были закреплены за монастырем.<sup>15</sup> Здесь хранилась почитаемая в Каргополье (и шире — в Прионежье) чудотворная икона знаменитого поволжского святого Макария Желтоводского и Унженского, о чудесах которой было составлено местное «Сказание о преславных чудесах чудотворного образа преподобного и богоносного отца нашего Макария Желтоводского и Унженского чудотворца, в Каргопольских пределах в Хергозерской пустыни обретающегося».<sup>16</sup> Благодаря чудотворной иконе Хергозерский мона-

<sup>14</sup> Православные русские обители: Полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. СПб., 1993. С. 158 (репринт изд. 1910 года). См. также изложение устного предания: Северные предания (Беломорско-Обонежский регион) / Изд. подг. Н. А. Криничная. Л., 1978. С. 214 (Приложение).

<sup>15</sup> См.: *Пигин А. В.* Материалы к истории Макарьевской Хергозерской пустыни в Каргопольском уезде // Кенозерские чтения: Материалы Первой Всероссийской научной конференции «Кенозерские чтения». Архангельск, 2004. С. 269.

<sup>16</sup> *Докучаев-Басков К. А.* Сказание о чудесах в Каргопольской Хергозерской пустыни от иконы преп. Макария Унженского и Желтоводского // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1902. Кн. 3. Отд. IV. С. 1—34; *Пигин А. В.* Сказание об иконе Макария Желтовод-



стырек был популярен среди богомольцев. Местность эта называлась Макарием.

Монастырь был упразднен в 1764 году в ходе секуляризационной реформы Екатерины II; церкви вошли в Хергозерский приход.<sup>17</sup> В XIX веке ежегодно 24—25 июля (по ст. ст.), в празднование Макария, из Каргополя в бывшую Хергозерскую пустынь совершался крестный ход, собиравший много богомольцев из разных мест. «Макарий желты пески», как следует из свадебных причитаний, входил в систему духовных ценностей заонежан.

Следует заметить, что топоним «Макарий на желтых песках» в свернутом виде отсылает к мифологическому сознанию. Желтый цвет, напомним, связан с «иным миром» и часто в поверьях осмысливается как символ смерти.<sup>18</sup> В имени же Макарь, при всей определенности указания на Хергозерскую обитель, скрыт сложный комплекс представлений об умирающем и воскрешающем божестве, что описал в одной из своих статей Н. И. Толстой.<sup>19</sup>

Пространственными вехами заонежанки, таким образом, повторим еще раз, являются в основном селения, расположенные на Онежском озере: само Онего как центр, Петровский город (Петрозаводск), Повенец, Толвуй, Кижы, Палеостровский монастырь (и отдаленная обитель Макарий на желтых песках). Пространственное мышление плакальщиц — это прежде всего региональное мышление.

Однако онежские плакальщицы включали в свой пространственный кругозор и столичные города **Петербург** и **Москву**. Если в былинах (в редких случаях) и исторических песнях Москва наделяется исключительно положительными коннотациями (в этих жанрах доминирует государственное мышление), то в причитаниях этот топоним в равной мере получает и позитивное, и негативное значение.

С одной стороны, в рекрутских причитаниях Москва оказывается в тесном сопряжении с топонимом «Русия/Россия подселенная» (самый ценностный, с точки зрения государственного сознания, топоним). Москва входит в формулу «за веру, царя и отечество», играющую важнейшую роль в солдатской жизни и получившую поэтическое воплощение в тексте плачей, создаваемых женщинами. Причитание рисует картину принятия солдатами присяги в Божьей церкви:

И мы служить будем царю-богу российскому,  
И мы стоять будем за веру христианскую;  
*И мы не сделаем измены в каменной Москвы,*  
И мы спасать будем Россию подселенную.

(Барсов, II, с. 103, ст. 14—17)

Формула «каменна Москва», по всей вероятности, позаимствована голошениями из эпической поэзии — из исторических песен. В картине возможного нападения врагов на «Русию подселенную» в рекрутском причитании от-

ского и Унженского в Хергозерском монастыре Каргопольского уезда // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. СПб., 2011. Т. 2. С. 76—111 (с публикацией текста Сказания). См. также: *Докучаев-Басков К. А.* Подвижники и монастыри крайнего севера: Хергозерская Макарьевская пустынь // Христианское чтение. 1890. № 11/12. С. 787—814.

<sup>17</sup> Об утраченных и сохранившихся архитектурных памятниках Хергозера см.: *Гунн Г. П.* Каргопольский озерный край. М., 1984. С. 55—56.

<sup>18</sup> *Усачева В. В.* Желтый цвет // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1999. Т. 2. С. 202.

<sup>19</sup> *Толстой Н. И.* Блаже-Макарий // Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 347—358.

мечаются то же сопряжение «Русии подселенной» и «Москвы» (Барсов, II, с. 217, ст. 62—66).

Однако, с другой стороны, топоним Москва получает в причети и отрицательные характеристики. Негативные коннотации строятся на основе оппозиции «свой»/«чужой». Так, в свадебных причитаниях проявляется сема «чужой», характерная для восприятия жениха невестой. В Москве наняты плотнички, поднявшие крылечко (сделавшие его труднодоступным), по которому девушке-невесте следует пройти в «гостибище» к двоюродной сестре (Барсов, II, с. 325, ст. 15, 21).

В рекрутской причети сохраняется то же значение «чужого» мира, причем «чуждость» Москвы в тексте сопоставляется с «чуждостью» Литвы, долгое время бывшей противником русских богатырей в эпосе. В плаче Марии Федоровой мать выражает надежду, что родительское благословеньице обережет ее сына:

*Ни в Москвы — под боярином,  
Ни в Литвы — под татаринном  
Не загинет твой (так!) буйная (головушка? — Т. И.).*

(Барсов, II, с. 109, ст. 61—63)<sup>20</sup>

Образ Петербурга в причитаниях предстает в отрицательном контексте. Грозный поезд жениха по тексту свадебных (сговорных) плачей рисуется как поезд, набранный из молодцев, бывавших в Петербурге:

*И поезд набран молодцев да всё удалых,  
И кои в Питере бурлакушки бываюца...*

(Барсов, II, с. 291, ст. 658—659)

В похоронных голошениях Москва и Петербург являются образами «иногo» мира — мира мертвых. Например, сестра, развивая традиционную формулу пути, в который собирается покойник, обращается к умершему брату:

*Ты куды, мой белой светушко, сряжаешься,  
Ты в котору путь-дорожку отправляешься?  
Ты во славной ли во город Петербургской,  
Аль в охотну во бурлацкую работушку,  
Аль к купцам да ты во лавочку приказчикком?*

(Барсов, I, с. 89, ст. 129—133)

Во внешнем мире, в подтексте образов которого прочитывается семантика «иногo» мира, плакальщица готова искать умершего:

*Я во первое бы Поле во Лодейное,  
Во другой славной город Петербургской бы,  
Я во матушку слетела бы в большу Москву...*

(Барсов, I, с. 102, ст. 38—40)

Как уже видно из приведенных примеров, к середине XIX века у плакальщиц сложилось достаточно твердое представление о государственном пространстве, которое находит отражение в первую очередь в рекрутских плачах. Важным топонимом в этом виде причети является «**Русия/Россия подселенная**».

<sup>20</sup> См. в свадебном плаче испорченную формулу: «Уж в Москву отдай татарину, / А во Литву да ко боярину» (Михайлов, с. 213, ст. 194—195).

Топоним «Русия подселенная» входит в формулу, отражающую официальную государственную идеологию «за веру, царя и отечество».<sup>21</sup> Рекрутские причитания, как мы показали выше, дают картину принятия солдатами присяги — служить «*царю-богу российскому*», стоять «*за веру христианскую*», спасать «*Россию подселенную*» (Барсов, II, с. 103, ст. 9—17).

В другом эпизоде, рисуя картину неприятельской угрозы устами солдата, пришедшего на побывку в родную деревню, плачем выражает готовность солдат защищать государство следующим образом:

И тут мы скажем-то солдаты новобранны:  
 «И постоим да за *Русию подселенную*,  
 И сбережем да мы *царя-то благоверного*,  
 И сбережем да мы *царицу милосердную*,  
 И все *наследство-то его да правоверное!*»

(Барсов, II, с. 204, ст. 767—771)

Наследник престола благодарит солдат за ратные подвиги:

Уж вы, бравыи солдаты завоеванны,  
 И постояли вы за *веру христианскую*,  
 И пострадали за *Русию подселенную*,  
 И сберегали вы *царя-бога великого...*

(Барсов, II, с. 189, ст. 99—102)

См. формулу «служить / стоять (за) / трудиться (за) / сберечь / спасти Русию подселенную» в других текстах (Барсов, II, с. 201, ст. 642; с. 205, ст. 792; с. 206, ст. 846; с. 217, ст. 69; с. 218, ст. 86; с. 244, ст. 344; с. 245, ст. 389, 396). В редких случаях образ «Русии подселенной» (большой родины) в сознании рекрута сливается с образом «родимой сторонюшки» (малой родины). Прощаясь с родными местами, рекрут говорит:

И ты прости да нас, *Русия подселенная*,  
 И ты прости да нас, сесветное живленьице,  
 И ты, *родимая, прости да нас, сторонюшка!*

(Барсов, II, с. 143, ст. 57—59)

В формуле «Русия подселенная» обращает на себя внимание форма «Русия». Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, слово «Русия» впервые зарегистрировано в документах 1493 года. Как название Московского государства этот топоним активно использовался в XVI—XVII веках, а в XVIII веке встречается у А. Н. Радищева.<sup>22</sup> По-видимому, это слово в XIX веке оставалось в диалектном (или только в поэтическом?) языке Заонежья. Во всяком случае оно оказалось формулообразующим для олонекских воинских причитаний этого времени. Знают заонежские плачи и позднюю форму «Россиюшка», которую Ирина Федосова использует в одном из самых острых в социальном плане причетов — в «Плаче о писаре». В эпизоде о Горе читаем:

Зло-несносное велико это горюшко  
 По *Россиюшке летает ясным сболом*,  
 Над крестьянами, злодийно, черным вброном...

(Барсов, I, с. 239, ст. 18—20)

<sup>21</sup> Подробнее об этом см.: *Иванова Т. Г.* Идеологемы и их формульное воплощение в русских плачах воинской тематики (XIX—XX век) // *Русская литература*. 2010. № 1. С. 142—171.

<sup>22</sup> *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. 3. С. 221, 520.

Следует отметить, что в 1930-е годы, в связи с изменениями в идеологии страны, произошли кардинальные изменения в поэтическом языке причитаний, в частности, в формульном языке, связанном с топонимами.

Формула «Русия подселенная» в записях М. М. Михайлова не встрети-лась ни разу. Лишь единожды в свадебном причете собиратель регистрирует близкий топоним — Русиюшка. Просватанная девушка обращается к своему зычному голосу:

А ты бежи-тко, мой зычен голос,  
Во церковь во соборную,  
Там ударь-ка во большой колокол,  
Чтобы шел звон по Русиюшки...

(Михайлов, с. 232, ст. 12—15;  
плач М. Ф. Павковой)

Записи М. М. Михайлова устойчиво фиксируют слово «Россия/Россиюшка». В плачах о советских вождях<sup>23</sup> зарегистрированы формулы «Россия» (Михайлов, с. 277, ст. 46; плач Е. П. Копейкиной о Ленине), «славная Россия матушка» (Михайлов, с. 258, ст. 13; плач Ф. И. Быковой о Ленине), «Россиюшка» (Михайлов, с. 268, ст. 117; с. 269, ст. 142 — плач М. Ф. Павковой о Ленине; с. 275, ст. 43 — плач А. С. Уконен о Ленине; с. 276, ст. 37 — плач Е. П. Копейкиной о Ленине; с. 308, ст. 66 — плач Е. А. Кокуновой о гибели дирижабля), «матушка Россеюшка» (Михайлов, с. 300, ст. 17 — плач А. М. Пашковой о Горьком). Сложно сказать, отражает ли топоним «Россия/Россиюшка» временную трансформацию (Русия → Россия) или же региональное своеобразие формульного языка. В отличие от заонежанки Ирины Федосовой, названные плакальщицы были родом из других мест: Е. П. Копейкина, Е. А. Кокунова, М. Ф. Павкова, А. М. Пашкова — с Пудожья; Ф. И. Быкова, кажется, с Выга; А. С. Уконен проживала в Петрозаводске, но место ее рождения неизвестно.

Однако очевидно, что другая зафиксированная М. М. Михайловым формула — «советская Россиюшка» (Михайлов, с. 278, ст. 116 — плач Е. П. Копейкиной о Ленине) — отражает поэтическое мышление нового времени, сформированное большевистской идеологией. В советских плачах для обозначения государства мы находим новые топонимические формулы: «Советская страна» (Михайлов, с. 287, ст. 7 — плач А. Т. Конашковой о Н. К. Крупской; с. 291, ст. 19 — плач А. М. Пашковой о В. П. Чкалове; с. 303, ст. 22 — плач С. Я. Якушовой об экипаже Леваневского) и «Советская земля» (Михайлов, с. 289, ст. 5 — плач Е. С. Журавлевой о Н. К. Крупской).

Можно утверждать, что плачи 1860-х (Е. В. Барсов) и 1930-х годов (М. М. Михайлов) отражают принципиально разные уровни пространственного кругозора плакальщиц. В XIX веке это в основном региональное сознание; в советское время — государственное. Новый уровень поэтического мышления (региональное → государственное) сказывается в системе топонимов, зафиксированных в сборнике М. М. Михайлова.

Онегушко — стержневой топоним собрания Е. В. Барсова — явно теряет свои доминирующие позиции. Дважды Онегушко встретилось в свадебном плаче А. И. Зуевой. Девушки-истопницы в ряду разных водных источников, из которых они наносили воду, называют и Онегушко:

<sup>23</sup> О причитаниях этого рода см.: Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора / Изд. подг. А. Л. Топорков, Т. Г. Иванова, Л. П. Лаптева, Е. Е. Левкиевская. М., 2002. С. 432—510, 897—916 (комм.).

Как со дрúгого колодецка —  
 Со шумливого Онегушка...  
 (Михайлов, с. 223, ст. 665—666)

Приезд жениха в день венчания рисуется как туча, которая «по Онегушкам катилася — волна на море сходилася» (Михайлов, с. 226, ст. 783—784).

Образ Онегушко сохраняется в традиционной похоронной причети (Михайлов, с. 106, ст. 39; с. 107, ст. 96; с. 193, ст. 146; с. 203, ст. 15; с. 204, ст. 38). Однако лишь единожды собиратель зафиксировал Онегушко в советском похоронном плаче — в причитании о Чкалове А. М. Пашковой. Как и в голошении Ирины Федосовой, Онегушко в данном тексте становится камертоном настроения плакальщицы, переживающей гибель прославленного летчика:

И смотрю я, кручинная,  
 На шумливое Онегушко.  
 Волна в озере сходилася,  
 Со песком вода смутилася...  
 (Михайлов, с. 291, ст. 3—6)

Онегушко, таким образом, в целом в 1930-е годы остается в рамках традиционного поэтического языка причитаний. Однако, повторим еще раз, топоним теряет свою частотность.

Центральным топонимом онежских причитаний в советское время, что вполне ожидаемо, становится Москва, в формульном языке называемая «славная» (Михайлов, с. 254, ст. 17; с. 260, ст. 1), «столица славная» (Михайлов, с. 310, ст. 41), «каменная» (Михайлов, с. 308, ст. 65), «белокаменная» (Михайлов, с. 271, ст. 71; с. 289, ст. 15). Система эпитетов свидетельствует, что, в отличие от дореволюционных причитаний, топоним Москва в советское время включает в себе сему только «своего» (не «чужого») пространства.

Принципиальное расширение круга источников знания о столице Советского Союза (школа, газеты, радио) позволило плакальщицам детализировать московское пространство. В голошениях встречаются **Кремль, Красная площадь, Воробьевы горы, Москва-река**. В плаче Е. А. Кокуновой о Ленине читаем:

Что у нас-то во Россиюшке,  
 Как во каменной Москве,  
 В каменной Москве, да в золотом Кремле,  
 В том Кремле да в мавзолее-то,  
 Там лежит да тело мертвое,  
 Лежит да наш вождь Владимир Ильич...  
 (Михайлов, с. 263, ст. 9—14;  
 ср.: с. 285, ст. 15)

В причитании Е. С. Журавлевой о Ленине названа Красная площадь:

Прилетала я, победнушка,  
 Во Москву да белокаменну,  
 Как на ту да площадь Красную...  
 (Михайлов, с. 272, ст. 6—8;  
 ср.: с. 290, ст. 5)

В другом голошении о Ленине сказительница А. М. Пашкова упоминает Москву-реку:

Полетела бы прямёшенько  
 Я за матушку Москву-реку,  
 На Краснѹ площадь бы спустилася,  
 К мавзолею б попросилася...

(Михайлов, с. 249, ст. 18—21)

Во втором варианте плача о Ленине, развивая традиционную для похоронных причитаний тему локусов, куда удалился умерший, А. М. Пашкова упоминает Воробьевы горы. Здесь же появляется и заграничный топоним **Испания**, актуальный в 1936—1939 годах в связи с гражданской войной в этой стране, в которой участвовали советские добровольцы:

Он (Ленин. — Т. И.) куда да поразъехался;  
 Он на горы ль Воробьевские  
 Или в далекую Испанию  
 Защищать людей невинных?

(Михайлов, с. 252, ст. 9—12)

О расширении пространственного кругозора плакальщиц в 1930-е годы свидетельствуют и топонимы: **Америка**, что нашло место в соответствии с реальной биографией в плаче о Чкалове сказительницы А. В. Ватчиевой (Михайлов, с. 298, ст. 22); **Ледовитый окянн** (Михайлов, с. 303, ст. 7; плач С. Я. Якушевой о гибели экипажа Леваневского); **Архангельск** (Михайлов, с. 309, ст. 25; плач Ф. И. Быковой о летчиках, погибших под Архангельском).

В разговоре о семантике топонимов в олонецких причитаниях необходимо коснуться темы художественных приемов, складывающихся на основе географических названий.

Прежде всего следует сказать, что топонимы входят в систему метафорических замен, свойственных языку причитаний.<sup>24</sup> Слово в метафорическом значении, как известно, наделяется смысловой двуплановостью. В нем проявляется семантическое несоответствие контексту, а важнейшей становится функция иносказания.

Основой определенного ряда метафорических замен считаются табу, различного рода запреты, в том числе и связанные с темой смерти. Олонецкие похоронные плачи избегают слова «кладбище», метафорически заменяя его словами «улица» и «буява», причем с топонимическим прилагательным. Вдова вопит:

Нонь я дольщица *Никольской славной улицы*,  
 Половинщица *Варварской славной бѹявы*...

(Барсов, I, с. 35, ст. 24—25)

В другом похоронном голошении читаем:

Как отпустим мы надежную головушку  
 Да на эту на *Иванску славну уличку*,  
 Мы на эту на *Варварску славну буяву*.

(Барсов, I, с. 178, ст. 21—23)

<sup>24</sup> См. «Словарь устойчивых метафорических замен», составленный К. В. Чистовым (Барсов, II, с. 647—649). Интересное исследование о метафорических заменах в карельских голошениях выполнено А. С. Степановой (см.: *Степанова А. С. Метафорический мир карельских причитаний*. JL., 1985).

Метафорическая замена сохраняется и в поэтическом языке причитаний советского времени (кладбище — Михайловска улушка — Михайлов, с. 192, ст. 87). В свадебном причитании 1930-х годов текст строится на метафорической замене («буевка Петровская») и ее раскрытии («могилка»). Невеста-сирота голосит:

Уж вы сведите меня, девушку,  
Уж вы на *буевку Петровскую*,  
На могилку родительскую,  
Уж вы к кормильцу-свету-батюшку...

(Михайлов, с. 218, ст. 416—419)

На основе топонимов строятся и другие художественные приемы. Весьма любопытно превращение прилагательных, образованных от географических названий, из простых определений в эпитеты с оценочным значением. Прежде всего это касается слова «новгородский», на что обратил внимание еще К. В. Чистов. Новгородская утопия, живущая в сознании заонежан, заставляет все предметы из Новгорода оценивать как лучшие, обладающие превосходными качествами. Брат-рекрут дарит сестре на память «опояску новгородскую» (Барсов, II, с. 72, ст. 287, 293). Железная петелька дверей в бане, где моется невеста, скована у «славных кузнец новгородских» (Барсов, II, с. 362, ст. 9); жених дарит невесте «зеркало новгородское» (Барсов, II, с. 373, ст. 99); «часторыбей гребешёк» невесты взят с Новагорода (Барсов, II, с. 368, ст. 290); водочка для свадебного угощения доставлена из Новагорода (Барсов, II, с. 451, ст. 8), и т. д.

Другие топонимы в поэтическом языке причитаний получают то же значение — «что-то из такого-то локуса есть лучшее в своем классе». «Остудник-блад отечский сын» (жених) приезжает к невесте в дубовых саночках с петербургскими колокольцами: «И зазвонили колокольча питенбургский» (Барсов, II, с. 371, ст. 11; ср.: с. 382, ст. 59). Тем же качеством мерилა чего-то лучшего причитания награждают олонеккие города Вытегру и Каргополь, известные плачем. В свадебном причитании баенная истопщица предлагает невесте мыло и белила — ритуально значимые предметы в свадебном обряде:

И как мылья да столько есть-то *питенбургский*,  
И как другй еще мылья-то *вытегорский!* <...>  
И как билила-то, румяна *каргопольский!*

(Барсов, II, с. 368, ст. 285—288;  
также см.: с. 369, ст. 333; с. 375, ст. 13—14)

Из «железа вытегорского» выкованы петельки в баенных дверях (Барсов, II, с. 362, ст. 8). Среди свадебных подарков называются башмачки козловые — «цепётного шитья да вытегорского» (Барсов, II, с. 470, ст. 129); «белила каргопольские» (Барсов, II, с. 373, ст. 99). Эпитеты «питенбургский» и «вытегорский» использованы для характеристики баенных принадлежностей в свадебных плачах советского времени (Михайлов, с. 223, ст. 642—643).

Укажем, что подобное значение топонима («что-то из такого-то локуса есть лучшее в своем классе») сложилось за пределами жанра причитаний. Оно характерно, например, для былин. В эпосе «сибирский соболь» — это лучший соболь; «черкасское седельшко» — лучшее седло, и т. д.

Топоним как мерилло чего-то лучшего встречается и в конструкциях, не связанных с эпитетами. В свадебном плаче (на сговоре) невеста, описывая

«затулу-сiню зiвеску» (украшенное вышивкой покрывало на лицо), причитывает:

*Из Москвы швiйки у меня да ведь наниманы,  
Из Новагорода учёны-то привезены.*

(Барсов, II, с. 290, ст. 610—611)

В свадебном голошении 1930-х годов невеста просит подруг вышить на завесе

*...полк да со солдатама,  
Петроград да со бурлакама,  
Вы — Москву да со боярама.*

(Михайлов, с. 243, ст. 178—180)

В баенном плаче в сцене торговли за «волю» между истопницей и женихом цена «воли» соразмеряется богатством Петербурга и Кронштадта:

*Он давал за дорогу волю,  
Давал Питер со бурлакамы,  
Давал Кронштадт да со солдатамы.*

(Михайлов, с. 224, ст. 720—722)

В похоронном плаче родную деревню («родимую родинку») по красоте плакальщица сравнивает с Москвой как мерилom высшего «угожества»: «Ко Москвы эта деревня применитая», т. е. на Москву похожая (Барсов, I, с. 92, ст. 100).

В причитании советского времени мать, потерявшая сына, желает строить «нову горенку» (метафорическая замена «гроба») и готова поручить эту работу плотникам из Ленинграда и Москвы:

*Как достать бы тебе, молодцу,  
С Ленинграда бы строителей,  
А с Москвы бы плановителей...*

(Михайлов, с. 191, ст. 62—64)

Топонимы становятся основой еще одного художественного приема — сравнения, которое, как известно, строится из предмета сравнения, образа сравнения и признака сравнения. Ирина Федосова знает формулу сравнения, в которой образом сравнения являются топонимы Свирь-река и Ладожское озеро. В свадебном плаче (на сговоре) невеста так образно описывает свою будущую свекровь:

*И зла-спесива богоданна буде матушка,  
И быдто Свирь-река она да ведь свирепая,  
И быдто Ладожско она, скажут, сердитая...*

(Барсов, II, с. 287, ст. 448—450)

Эта же формула употребляется плакальщицей в похоронном «Плаче о старосте» при описании судьи «неправедного» и «страховитого» (Барсов, I, с. 232, ст. 61—62).

Бурная природа Ладожского озера, на котором часто случаются шторма, была хорошо известна онежанам. Напомним, что мужчины Заонежья (например, знаменитый былинщик Т. Г. Рябинин) ходили на Ладожское озеро артелями на рыболовный промысел. Топос «бурная Ладога» встречается в местных преданиях. Так, от знаменитого былинщика В. П. Щеголен-



ка Е. В. Барсов записал предание, согласно которому Ладога была когда-то тихим озером, но за «беззакония» девиц и молодых, устраивавших «караводы» на плотах на Ладоге, Господь покарал людей, сделав озеро бурным: «После этого Ладожское никогда тишиной, а всё ветрами живет».<sup>25</sup> Популярным в регионе было предание о Петре I, приказавшем высечь озеро во время бури.<sup>26</sup>

В причетной формуле о Свири (река вытекает из Онежского озера и впадает в Ладожское), по-видимому, отразилось знание онежских мужиков о порогах на реке. В поэтическом языке причитаний проявляется народная этимология: топоним сближается со словом «свирепый».<sup>27</sup>

В свадебных причитаниях образом сравнения становятся и другие топонимы. В плаче невесты, обращенном к крестной матери при ритуале, когда та дарит крестнице сорочку, девушка сопоставляет эту сорочку с **Волгой** и **Белым озером**:

*И долиной эта сорочка в Волгу-матушку,  
И шириной эта сорочка с Белоозеро...*

(Барсов, II, с. 336, ст. 13—14)

\* \* \*

Анализ топонимов, встретившихся в причитаниях Олонецкой губернии, неожиданно выявил довольно обширный пласт лексики этого плана. Система топонимов в жанре, носительницами которого были женщины, оказалась многомерной и разветвленной. Топонимы в первую очередь отражают онежское пространство (Онега/Онегушко, Петровский город, Кижы, Толвуй, Повенец, Вытегра, Палеостровский монастырь). Они демонстрируют представления плакальщиц о более широком севернорусском пространстве (Макарий желты пески, Каргополь, Лодейное Поле, Свирь-река, Ладожское озеро, Белое озеро, Новгород), знание о котором могло быть привнесено их родственниками-мужчинами. Наконец, географические названия Москва, Петербург (Питер, Петроград, Ленинград) и единично встретившийся топоним Волга свидетельствуют о знании женщинами главных вех общерусского пространства.

Семантика топонимов, зафиксированных в причитаниях, во многом раскрывается в параметрах оппозиции «свой»/«иной». Иномирная природа достаточно явственно прочитывается в образе Онегушко. Для топонимов, в которых основным является реалистическое содержание, актуальной, особенно в свадебных плачах, становится оппозиция «свой»/«чужой». Семантикой «чужого» в причитаниях нагружаются и губернский город Петрозаводск, и Петербург, и Москва.

Внутри топонимической системы причитаний сохранился один из образов социальной утопии (страна Беловодье, Дарья-река и проч.). Новгород в плачах Ирины Федосовой играет роль идеального локуса и одновременно идеального времени.

<sup>25</sup> Северные предания (Беломорско-Обонежский регион). С. 124.

<sup>26</sup> Там же. С. 124, 144.

<sup>27</sup> В науке географическое название Свирь этимологизируется, как правило, через финно-угорский корень «*svvā*» (глубокий). Сближают слово с древне-литовским «*svīrus*» (валкий, зыбкий). Об этом см.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 4. С. 580. В Новгородских летописях название реки писалось как Сверх, что позволяет видеть в топониме корень «сверлить», «сверло»; это связывают с течением реки на определенном участке сквозь скалистые хребты.

Сопоставление материала, записанного Е. В. Барсовым и М. М. Михайловым, позволяет осмыслить развитие топонимической системы во времени. Исторические изменения, произошедшие в советской России, наложили свой отпечаток на топонимическую лексику (Русия подселенная → Советская страна), на иерархию топонимов (Онегушко → Москва), на расширение круга географических названий (Кремль, Москва-река, Красная площадь, горы Воробьевские, Кронштадт, Архангельск, Ледовитый океан, Испания, Америка). Топонимическая система причитаний, таким образом, берет на себя (и вероятно, брала в прошлые века) важнейшие идеологические функции.

Топонимы оказались интересными не только с точки зрения их семантики, но и как опорные слова при создании художественных тропов (метафорическая замена, эпитеты со значением «лучшее», образ сравнения в сравнении).

И наконец, подчеркнем: топонимическая система в причитаниях имеет региональный характер. Если топонимы в былинах едины для всех регионов, то в основе топонимической системы плачей лежит региональное своеобразие. Очевидно, что образ Онегушко, стержневой для Олонецкой губернии, не встретится в голошениях на реке Печоре или в других местах. В связи с этим большие перспективы раскрываются для сравнительного изучения топонимов в плачах разных локальных традиций.

## ПОД «КОЛЕСОМ» ИСТОРИИ: ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА И П. П. ПЕРЦОВА 1917 ГОДА

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА  
И КОММЕНТАРИИ © Е. И. ГОНЧАРОВОЙ)

Публикуемая переписка Василия Васильевича Розанова (1856—1919) и Петра Петровича Перцова (1868—1947) относится к одному из самых драматических периодов русской истории: к весне 1917 года. Поводом к эпистолярному общению двух философствующих публицистов явилось событие чрезвычайное — Февральская революция в Петрограде.

Переписка между Розановым и Перцовым завязалась давно — с ноября 1896 года. Прочитав статью Розанова, значительная часть которой была посвящена Н. Н. Страхову, Перцов написал письмо и сразу же получил отклик. Мотивом знакомства был интерес к идеям только что ушедшего в мир иной Страхова, «естественные ассоциации идей», как выразился Перцов. Молодому журналисту Перцову было тогда двадцать восемь лет. Розанов был старше его на двенадцать лет. Ему казалось, что младший друг очень напоминал по складу личности самого Страхова. «А приходило ли Вам на ум, — писал он, — что сами Вы страшно повторяете „en tout”<sup>1</sup> Страхова: конечно, с оттенками и „я”, но по существу — это та же категория мысли, существования, судьбы».<sup>2</sup> Розанов очень ценил нравственные качества Петра Петровича, называл его «благородным отшельником» и был благодарен ему за бескорыстную деятельность по изданию четырех своих сборников статей, которые положили начало литературной известности Розанова.<sup>3</sup> «...умерев для себя на год, — писал Розанов о роли Перцова в своей жизни, — воскресил (из газетного мусора) и создал „как писателя с физиономиею” и некоторою суммой данных и заслуг — меня».<sup>4</sup>

Их свяжет многолетняя дружба и столь же продолжительная переписка, которая прервется в 1918 году, незадолго до смерти Розанова. Наполненная обсуждением литературных, религиозно-философских, бытовых проблем, она порой приостанавливалась из-за возникающих размолвок и ссор, «кризиса дружбы», как писал Розанов, но через некоторое время вновь возобновлялась. Оба корреспондента любили перечитывать письма друг друга и мечтали об издании этой переписки. «Ну, переписку нашу если издаст когда-нибудь будущий Венгеров <...>, — писал Перцов Розанову, — то

---

Елена Ивановна Гончарова — старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

<sup>1</sup> во всем (*фр.*)

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 185. Л. 31 об.

<sup>3</sup> Перцов издал четыре книги Розанова: «Сумерки просвещения» (СПб., 1899), «Религия и культура» (СПб., 1899), «Литературные очерки» (СПб., 1899), «Природа и история» (СПб., 1900).

<sup>4</sup> Розанов В. В. Письмо в редакцию (о П. П. Перцове) / Мир искусства. 1900. № 9/10 (май); цит. по: Розанов В. В. Юдаизм. Статьи и очерки 1896—1901 гг. М.; СПб., 2009. С. 433 (Собр. соч. [Т. 27]).

ослепнет сперва над Вашим бисером. Я многое угадал лишь „верхним чутьем“. Знаете ли, что у меня, кажется, 8 или 9 пакетов, туго набитых Вашими листами». <sup>5</sup> Любопытно, что в серию «Литературные изгнанники», задуманную как своего рода памятник литераторам-консерваторам, Розанов хотел включить и письма Перцова, причисляя его к консервативному направлению русской мысли.

Казалось бы, их психологическая несхожесть не давала повода для таких длительных дружеских отношений. «Эх, если бы Вы были поживее и поинтимнее, — сожалел Розанов. — А то „корректность“ Ваша связывает язык собеседнику». <sup>6</sup> И хотя Перцов считал, что они «разного фасона человеки», <sup>7</sup> да к тому же принадлежат к разным поколениям, тем не менее признавался своему старшему другу: «Я всегда мысленно сосуществую с Вами». <sup>8</sup> Порой, одергивая, он просил освободить его от «лишней фамильярности», чем очень огорчал Розанова. «...у меня на душе к(ак) слезы на глазах», — писал тот ему в ответ на замечания. И тем не менее Перцов признавался, что такой «метафизической близости», как с Розановым, не чувствовал ни с кем. <sup>9</sup> «Да кроме того оба мы — „философы“», <sup>10</sup> — так объяснял он основную причину многолетних дружеских отношений. Действительно, Петр Петрович Перцов, вероятно, и сам в большей степени ощущал себя философом, чем литературным критиком, публицистом, поэтом, издателем.

Через год после знакомства с Розановым, в 1897 году, он начал работу над обширным философским исследованием. Причем исходная точка его системы, как считал он сам, была близка к ранней философской книге Розанова «О понимании» (М., 1886). Зная о том, что философскую систему Перцов выстраивал на протяжении десяти лет, Розанов предостерегал своего друга от судьбы помещика Тентетникова, героя второго тома «Мертвых душ» Гоголя, который никак не мог завершить книгу о России. «В сущности, — писал Перцов в 1908 году, имея в виду свои философские занятия, — у меня только одна тема, и только на этой струне я могу сыграть мою симфонию. Но пока до нее еще не дошел черед». <sup>11</sup> В 1918 году Перцов завершил свою философскую работу, назвав ее «О пневматологии», но напечатать главный труд своей жизни в советской России он уже не смог. <sup>12</sup>

Таким образом, начинали свои отношения Розанов и Перцов как единомышленники, но к 1917 году подошли с разным идейным багажом и поэтому очень по-разному отнеслись к произошедшим в России событиям.

<sup>5</sup> РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 86. Л. 12 об.

<sup>6</sup> Там же. № 82. Л. 28 об.

<sup>7</sup> Там же. № 81. Л. 9.

<sup>8</sup> Там же. № 82. Л. 8.

<sup>9</sup> Там же. № 86. Л. 34. Позже Перцов совершенно по-иному оценивал свое отношение к Розанову: «Вообще мой духовный тип совсем не розановский, и „жизни“ Вы у меня не найдете. Только „схемы“ и „схемы“, вне-жизненные и сверх-жизненные, — аустерлицкое небо, равнодушное к битве внизу. Если это не нравится (почти никому), — идите к Розанову: он Вас заделует» (Письмо к Д. Е. Максимову от 30 декабря 1930 года // РНБ. Ф. 1136. № 35. Л. 36).

<sup>10</sup> РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 86. Л. 34.

<sup>11</sup> Там же. № 84. Л. 44.

<sup>12</sup> Неполный текст исследования «Основание пневматологии» сохранился в архиве Перцова (Там же. № 11). О завершении своей философской работы Перцов известил Розанова в письме от 7 сентября 1918 года: «Хуже всего, что рухнуло издание моей философской книжки («Основание пневматологии» — скажите Флоренскому, что пишется книга под таким, довольно бесцеремонным заглавием). Издательство „Наука“, к(ото)рое ее взяло, накануне реквизиции; у них взяли типографию и т. д. — так что они вынуждены были приостановить свое дело» (Там же. № 87. Л. 51 об. — 52). В дальнейшем Перцов продолжил работу над философским исследованием, которое позже получило другое название. См.: Перцов П. II. Введение в «Диалогию» / Публ. А. В. Лаврова // Канун: альманах. СПб., 1996. Вып. 2: Полярность в культуре. С. 217—243; Резниченко А. И. П. П. Перцов: морфология недостроенной системы (1897—1947) // Резниченко А. И. О смыслах имен: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. М., 2012. С. 253—299.

Отличительной чертой переписки 1917 года, представляющей из себя небольшой фрагмент обширного архивного корпуса,<sup>13</sup> состоящего из 500 писем, является ее политический характер. В ней обсуждаются проблемы, которые взволновали тогда все русское общество. Отношение к крушению монархии, установлению республики в России у корреспондентов очень отличается. Они неоднократно возвращаются к обсуждению личности царя Николая II, к «Гришке Распутину», к царским министрам, Временному правительству. И, конечно, размышляют о будущем России, которое видится им совершенно по-разному.

Первое письмо Перцова из Москвы к Розанову в Петроград было написано 1 марта и предварялось следующим эпиграфом: «Русской Республики день 3-й».

Перцов начал письмо с вопроса: «Ну, что, батюшка? Чай, вспоминаете теперь меня и мои письма осенью 1915 г(ода), так Вас тогда возмущавшие?»<sup>14</sup> Он напомнил Розанову об их недавней политической переписке. Всплеск полемики относился к тому времени, когда русская армия начала терпеть сокрушительные поражения на фронтах Первой мировой войны. Эти трагические для России события порождали в русском обществе недовольство прежде всего царем и царскими министрами, возмущение приближенным к царской семье Григорием Распутиным.

Перцов был уверен еще в 1915 году, что династия Романовых доживает свои «последние вольные деньки». Все беды России виделась ему не в «абстрактном самодержавии», а прежде всего в личности царя, которого он пренебрежительно называл в письмах «Николай Гнилой», «супруг m-me Распутиной». И уже тогда Перцов предсказывал революцию в России: «Я не сомневаюсь в революции после войны».<sup>15</sup> В ближайшем будущем предрекая России «американский» путь развития, т. е. республику, он вспомнил стихи Александра Блока о «новой Америке-России».<sup>16</sup> Однако «американизм» как итог для России, по его мнению, являлся нелепостью и республика возможна только как временное явление. «Я так думаю: *кончится* в России, конечно, все — теократией (и новой религией). (...) Ибо наш час еще не пробил и он далек»,<sup>17</sup> — писал он Розанову. И теперь, в 1917 году, Перцов напоминал Розанову, что предрекал в ближайшее время революцию и республику в России.

Размышляя о будущем, он полагал, что на смену империи придет теократическое государство с некой новой религией. Речь явно шла не о православии, поэтому Перцов также напомнил о своих давних идеях: о теократическом «славянофильском» духовном творчестве, к которому причислял Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева, А. С. Хомякова, Розанова и себя. Эти размышления Перцова Розанову казались мало серьезными. Он полагал, что его друг просто увлекается: «Вот теперь вообразили даже „будет новая религия“. И не будет, и не нужно».<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Переписка Розанова и Перцова за 1896—1918 годы готовится нами к печати совместно с О. Л. Фетисенко как двухтомное издание под условным названием «Переписка В. В. Розанова и П. П. Перцова». Некоторые письма уже были опубликованы. См.: Воспоминатели мгновений: Переписка и взаимные рецензии Василия Розанова и Петра Перцова. 1911—1916. СПб., 2015; 1900 год в неизвестной переписке, статьях, рассказах и юморесках Василия Розанова, Ивана Романова-Рцы и Петра Перцова. СПб., 2014.

<sup>14</sup> См. п. 1.

<sup>15</sup> РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 86. Л. 51 об.

<sup>16</sup> Речь идет о стихотворении А. Блока «Новая Америка» (Блок А. А. Стихотворения: [В 3 кн.]. М., 1916. Кн. 3 (1905—1914)). См.: Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 3. С. 181—182.

<sup>17</sup> РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 86. Л. 51 об.

<sup>18</sup> Там же. № 185. Л. 5.

Правда, и Розанов испытывал некие иллюзии по поводу произошедших в России событий в течение очень короткого периода, в марте 1917 года. «Революция есть Победа Нестерова <...> как равно начало Победы Розанова и Флоренского», — писал он Перцову.<sup>19</sup> Восприятие им начала революции в 1917 году очень напомнило его отношение к Первой русской революции. Тогда он сочувствовал революции, но постепенно отошел от всех своих либеральных увлечений. В революции и в либеральной интеллигенции он увидел только разрушителей России. Общий смысл происходящего Розанов, один из немногих, улавливал очень тонко.

И тем удивительнее, что Розанову, который постоянно размышлял об опасности социал-демократических идей для России, к 1917 году показалось, что наметился «закат революции», «6 часов вечера революции», еще немного — и о ней не будут и вспоминать.<sup>20</sup> И во втором Коробе «Опавших листьев», вышедшем в июле 1915 года, сам Розанов так определил господствующий тон своей книги: «Россия. Вера. Царь».

Он писал Перцову, не соглашаясь с ним: «...царская власть на Руси м<ожет> б<ыть> и разрушится в 2915-м году».<sup>21</sup> Ни о какой республике Розанов и не помышлял. В ответ на размышления Перцова о будущем России он писал: «<...> я думаю, *при* христианстве — каждому народу понятна, ясна и доступна только монархия, „бабушка-царь“, „поп“ и „г. исправник“».<sup>22</sup> «А Н<иколая> „Гнилого“, хотя бы всё в нем понимал, но ИСТОРИЧЕСКИ смежу глаза и всё же ЗА НЕГО УМРУ. И не хочу критиковать, порицать. НЕ СМЕЮ»,<sup>23</sup> — утверждал он в 1915 году.

События Февральской революции (для Розанова и Перцова это «государственный переворот») дали толчок к возобновлению переписки, прерванной в мае 1916 года.

Розанов невольно оказался в эпицентре событий. Дом на Шпалерной улице в Петрограде, где он жил со своей семьей, находился в двух шагах от Таврического дворца, куда привозили арестованных царских министров. Здесь же разместилось Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Революция застала Розанова врасплох. Когда Петроград начал «шуметь», он занимался древним Египтом: «Это было 22 февраля 1917 года, когда улицы Петрограда начали шуметь. Я не замечал самого шума, знаменовавшего падение целой нашей династии, весь поглощенный восторгом: „Неужели я нашел подлинный и неоспоримый храм египетских таинств...“».<sup>24</sup> Для Розанова революция, произошедшая в Петрограде, оказалась действительно полной неожиданностью.

Его первое письмо к Перцову было написано после отречения Николая II от престола: «Боженька взял все в Свои Пречистые руки <...> и „Дом Романовых больше не быть“».<sup>25</sup> Размышления приверженца монархии Розанова о произошедшей революции весьма прихотливы и противоречивы. Ему кажется, что, оказавшись в правящих сферах, социализм очень скоро всех разочарует. И высказываясь, что он «не *против* республики («по-русски»), а «„царства“, пожалуй, — совсем действительно, не надо»,<sup>26</sup> он большую часть письма посвящает апологии царя. Для Розанова отрекшийся от престола царь — это «юродивый» и «святой», который «ныне мудро колет

<sup>19</sup> См. п. 3.

<sup>20</sup> Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 235 (Собр. соч. [Т. 2]).

<sup>21</sup> РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 185. Л. 1.

<sup>22</sup> Там же. Л. 2 об.

<sup>23</sup> Там же. Л. 3.

<sup>24</sup> Розанов В. В. Возрождающийся Египет. М., 2002. С. 207—208 (Собр. соч. [Т. 14]).

<sup>25</sup> См. п. 3.

<sup>26</sup> См. п. 8.

лед в Царском». Он назовет письма Перцова 1915 года с оскорбительными отзывами о царе «беснованиями à la Михайловский». Н. К. Михайловский — постоянный идейный противник Розанова, которого он окрестил в свое время «старым волком красного лагеря». Ему кажется, что Перцов превратился в Николая Михайловского-младшего. Он задает Перцову вопрос: «...просто не понимаю, о чем и зачем нам переписываться?»<sup>27</sup> И завершает письмо грустным выводом: «Мы с Вами просто перестали понимать и *чувствовать* друг друга».<sup>28</sup>

Розанов не стал извещать Перцова о том, что отправил царю в Царское Село заказным письмом свою брошюру «О подразумеваемом смысле нашей монархии» (СПб., 1912), в которой принцип монархии ставился очень высоко. При этом он сопроводил брошюру «страстно-любящим» письмом к царю «с нежными упреками за „глупости управления“».<sup>29</sup>

Судя по последнему в 1917 году письму Розанова именно 2 марта, в день отречения царя от престола, он начал работу над «Апокалипсисом нашего времени». Написав об «Апокалипсисе ненавидения» между людьми, Розанов далее в письме назвал время начала работы над неким текстом объемом 2—2,5 печатных листа: «Я написал, 2—3—5 марта: „Истаяние Царства. (В утешение русским)“».<sup>30</sup>

Публикуемая переписка позволяет внести поправку в творческую историю создания последнего произведения Розанова «Апокалипсис нашего времени» — перенести датировку начала работы над последним произведением на начало марта 1917 года. Таким образом, точку зрения, что «Апокалипсис» создавался после переезда Розанова в Сергиев Посад, т. е. осенью 1917 года «в условиях жестоких лишений „нового“ быта»,<sup>31</sup> можно подвергнуть сомнению. Пережив внутренне потрясение от переворота, Розанов сразу же воспринял события как апокалиптические, и тогда же откликом на крушение монархии и стали первые записи «Апокалипсиса нашего времени».

Революционной эйфории, в отличие от Перцова, Розанов не испытывал. В марте 1917 года в газете «Новое время», где он являлся штатным сотрудником, появляется его статья «Светлый праздник русской земли», посвященная празднованию Пасхи 1917 года. Заканчивается статья, казалось бы, оптимистически: «Все будет хорошо, если мы сами будем хороши...»<sup>32</sup> Но в личных записях от 24 марта 1917 года, накануне Пасхи, он с грустью размышлял: «Помолимся о Царе нашем несчастном, который в заключении встречает Пасху. И о наследнике Алексее Николаевиче, и о дочерях Ольге и Татьяне (других не знаю, кажется, Анастасия)... О немке — нет».<sup>33</sup> И далее размышления о царе-земном боге завершает следующим выводом: «Почему наше время, состоящее исключительно из смердов, и должно было „низвергнуть царя“, и самый сан его, и державность, и смысл в истории».<sup>34</sup>

С апреля 1917 года Розанов по просьбе редакции печатался в «Новом времени» только под псевдонимом, выбрав весьма характерный для себя, — Обыватель. Прочитав в газете статью «В Совете рабочих и солдатских депу-

<sup>27</sup> См. п. 6.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Письмо Розанова к П. А. Флоренскому (лето 1917 г.) // Розанов В. В. Литературные изгнаники: В 2 кн. М., 2010. Кн. 2. С. 410 (Собр. соч. [Т. 29]).

<sup>30</sup> См. п. 13.

<sup>31</sup> Палиевский П. В. «Апокалипсис нашего времени» // Розановская энциклопедия. М., 2008. Стб. 1224.

<sup>32</sup> Новое время. 1917. 2 апр. № 14742; цит. по: Розанов В. В. Мимолетное. С. 340—342.

<sup>33</sup> Розанов В. В. Последние листья. М., 2000. С. 244 (Собр. соч. [Т. 11]).

<sup>34</sup> Там же. С. 245.

татов»,<sup>35</sup> подписанную этим псевдонимом, Перцов сразу же угадал, кто скрывается под ним. Зная по письмам позицию Розанова о полном неприятии революции и сравнив ее со статьей Обывателя в газете, он заметил: «Вот с кем В. В. Р<озанов> диаметрально противоположен...»<sup>36</sup>

Очень скоро, в апреле 1917 года, тон переписки изменится. В статье «Революционная Обломовка» Розанов упоминает своего литературного друга, который «сперва было очень о революции утешавшийся и поставивший в заголовке восторженного письма: „3-й день Русской Республики“, со времен приезда в Петроград Ленина — весь погас и предрекает только черное».<sup>37</sup> Речь в статье шла о Петре Петровиче Перцове. Розанов сразу же почувствовал явный поворот в революции с приездом Ленина — «пломбированного господина, выкинутого Германией на наш берег».<sup>38</sup> Особенно его встревожило то, что Ленин отрицает Россию. Перцов, кажется, тоже встревожен «ленинством», но он считает это временным явлением и продолжает радоваться тому, что все-таки «вычистили этот самодержавный нужник».<sup>39</sup>

В замечательном хаотичном письме, написанном в первой половине апреля 1917 года, Розанов касается многих тем — пошатнувшихся отношений с Перцовым из-за политических разногласий, «мистериальной личности» «Гришки» Распутина, завершения книги о Египте, а затем, неожиданно перебрасываясь на размышления о будущем России и своей судьбе, делает вывод: «Время наше страшно. Если вправду России придется сделаться марксистской и социалистической, то, конечно, я умер и никогда не воскресну».<sup>40</sup> Он размышляет о том, останется ли что-нибудь от русской души? И пророчески предсказывает, кто же дальше будет править Россией: «„Чумазый раб, распоряжающийся всем“ — это завтрашний безумный рев всей интеллигенции».<sup>41</sup>

В середине апреля беспокойство охватило не только Розанова, но и Перцова, которому начинает казаться, что «вместо ожидаемых „эмпиреев“, покатались в яму <...> Ну, Рассеюшка! — с тревогой пишет он Розанову. — Похоже, что и эта наша революция оказывается, как и все прежние <...> только бунтом — русским бунтом, „бесмысленным и беспощадным“».<sup>42</sup>

Их переписка оборвалась весной 1917 года. Возможно, летом, когда Перцов приезжал в Петроград (в письмах он неоднократно говорил о приезде), они виделись с Розановым. Диалог возобновился только через год. Пытаясь помочь бедствующему в Сергиевом Посаде писателю, Перцов с горечью писал ему: «Попали мы с Вами под „колесо“...».<sup>43</sup>

В своем последнем письме из Сергиева Посада, написанном за несколько месяцев до гибели, Розанов напомнил ему о первом восторженном письме о революции: «Зябну. Голодно. Дров чуть-чуть. <...> В дому только несколько копеек. Ужас... А помните Ваше в С<анкт>-П<етер>б<ург> письмо „3-й день русской Республики“. Нагулялись с республикой. Экая гоголевщина. Вонючая, проклятая».<sup>44</sup>

Переписка печатается по автографам, хранящимся в Российском государственном архиве литературы и искусства: Ф. 1796. Оп. 1. № 186 (письма

<sup>35</sup> Новое время. 1917. 9 апр. № 14747. См. п. 7.

<sup>36</sup> См. п. 11.

<sup>37</sup> Розанов В. В. Мимолетное. С. 390.

<sup>38</sup> Там же. С. 404.

<sup>39</sup> См. п. 4.

<sup>40</sup> См. п. 5.

<sup>41</sup> См. п. 5.

<sup>42</sup> См. п. 9.

<sup>43</sup> РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 87. Л. 52.

<sup>44</sup> Там же. № 186. Л. 41.



Розанова); Ф. 1796. Оп. 1. № 86 (письма Перцова). Авторские подчеркивания одной чертой выделены курсивом. Подчеркивания двумя чертами и более выделяются жирным полукурсивным шрифтом. Даты приводятся по старому стилю. Все письма Розанова датируются по пометам Перцова о получении.

## 1

## П. П. Перцов — В. В. Розанову

1917 1/III.

*Русской республики день 3-й.*<sup>1</sup>

Ну, что, батюшка? Чай, вспоминаете теперь меня и мои письма осенью 1915 г⟨ода⟩, так Вас тогда возмущавшие?

Вам тогда содержание этих писем казалось сплошным «легкомыслием», а вышло-то в аккурат «как по-писанному»...

Вот то-то и оно-то! Нужно слушать умных людей.

Где теперь Ваш Николай Гнилой? И что же, разве неправ я был в этом эпитете? Гнил он еще 1 ½ года, но вот, наконец, слава Богу, распался.

Москва вчера и сегодня «присоединилась». Положительно общее ликование. Да и как же иначе? Ведь эти последние месяцы дали опыт релетиции из Апокалипсиса: если бы они еще продлились «сии дни», кажется, не выдержала бы никакая плоть.<sup>2</sup>

А Вы, небось, хотели ведь их продления? И это у Вас называлось «патриотизмом»? Патриотизмом — кого? Щегловитова?<sup>3</sup> Протопопова?<sup>4</sup> Гнилого?

Что Вы за ними видели? Чего от них ждали?

Неужели можно было надеяться выиграть войну при Гнилом? А теперь она выиграна.

Воображаю эффект и впечатление в Германии! Их ярость и чувство бессилия. Теперь ведь это своего рода «остров реакции» в мире. И, конечно, сразу там почувствуется, что история не с ними, а против них. И увидите, как руки сами начнут опускаться.

Не писал ли я Вам еще 23/VII 1915 (письмо сейчас передо мной), что «речь идет не столько о Гогенцоллернах, сколько прежде всего о Романовых»?<sup>5</sup> Не говорил ли в письме от 24 сент⟨ября⟩ 1915 г⟨ода⟩ о двух родах русского духовного творчества: 1) «американский», республиканский — от Радищевых и Добролюбовых, и 2) теократический, «славянофильский» — от Хомяковых и Достоевских?<sup>6</sup> Вот привезу Вам письма назад — почитаете.

А Вы еще недавно (в «Нов⟨ом⟩ вр⟨емени⟩»): «Революция так окончательно кончилась».<sup>7</sup> Вот Вам и кончилась! Где Вы жили — на какой луне? Вот до чего доводит сидение «в ватере»...<sup>8</sup>

Любопытно, что теперь с газетой? Говорят, разгромили типографию?<sup>9</sup> Но главное — нужно разгромить редакции. С Мишелями теперь не проживешь.<sup>10</sup> Предстоит, конечно, процесс Штюрмера и «С<sup>о</sup>»,<sup>11</sup> и, вероятно, опять выплывут какие-нибудь от векселей Мишеля,<sup>12</sup> найденных в шкафу М⟨анасевича⟩-Мануйлова...<sup>13</sup> Конечно, нужно звать Алексея (благо, он еще есть),<sup>14</sup> и расстаться с Мишей Меньшиковым. Довольно насмердил.

Ну, пока vale.<sup>15</sup> Целую. Не писал все это время, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ знал, что рано или поздно напишу это письмо. — А помимо сего, неизменно Ваш П. Перцов.

<sup>1</sup> В Москве о революции в Петрограде узнали из сообщений по телеграфу. До 27 февраля 1917 года в городе сохранялось относительное спокойствие. Утром 28 февраля колонны демонстрантов с красными знаменами с пением революционных песен начали стягиваться к центру города. Начались столкновения рабочих с полицией, забастовали заводы и начались митинги. Военские части начали переходить на сторону восставших. Командующий войсками Московского военного округа генерал И. И. Морозовский доносил 1 марта 1917 года: «В Москве полная революция. Военские части переходят на сторону революционеров» (Красный архив. 1927. Т. 2. С. 46).

<sup>2</sup> Неточно цитируется Евангелие (Мф. 24: 22).

<sup>3</sup> Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — министр юстиции (1906—1915), председатель Государственного совета (1917) Российской империи. 1 марта 1917 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, расстрелян.

<sup>4</sup> Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918) — министр внутренних дел Российской империи (сентябрь 1916—февраль 1917). 1 марта 1917 года был заключен в Петропавловскую крепость, расстрелян.

<sup>5</sup> Речь идет о письме Перцова Розанову от 23 августа 1916 года (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 86. Л. 44 об.).

<sup>6</sup> В письме от 24 сентября 1915 года Перцов писал Розанову: «1) *Один ряд* — Добролюбовы, Писаревы, Белинские, Чернышевские, „светлые личности“ (и в самом деле долею «светятся») что же они зря на свете были? зря „геройствовали“? Не бывает такого „зря“. А их предел, естественный, — „республика“; ну, американская Россия (хоть и монархия, «с общественным элементом»). 2) *Второй ряд* — Достоевские, Тютчевы, Хомяковы, Розановы, Перцовой. Это еще откуда? Явно не из Америки. И явно, они — *последние*, „настоящие“» (Там же. Л. 53 об.).

<sup>7</sup> «Теперь, когда революция так окончательно прошла» (Розанов В. В. Маленькие думки // Новое время. 1916. 9 дек. Цит. по: Розанов В. В. В чаду войны. Статьи и очерки 1916—1918 гг. М.; СПб., 2008. С. 434 (Собр. соч. [Т. 24])).

<sup>8</sup> Перцов в письме от 24 сентября 1915 года критиковал излишнюю откровенность Розанова во втором Коробе «Опавших листьев» (Пг., 1915): «Какое дело нам — страдал ты или нет? и тем более — сидел ли „в ватере“ и каким пифифаксом там пользовался» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 86. Л. 50). Позже, в письме от 10 октября 1915 года, осуждая царя, он добавлял: «Вы меня очень обрадовали сообщением, что и Нестеров моих мнений о „возлюбленном“. Я этого никак не ждал! Вот видите — он человек не „впечатлительный“, очень умен, очень патристичен. Этого Вы не станете отрицать. И, конечно, *именно поэтому* так думает. Не все еще заперлись „в ватере“, а кто не равнодушен к „окружающему“ — не может думать иначе. Мне Россия дороже Гнилого, а вот Ему-то *наоборот* — и за это именно я Его ненавижу» (Там же. № 87. Л. 10).

<sup>9</sup> Имеется в виду типография газеты «Новое время», не выходявшей с 25 февраля 1917 года. Первый номер после перерыва вышел 5 марта. Перцов и Розанов были постоянными сотрудниками газеты. Перцов начал печататься в «Новом времени» в 1898 году, а с 1908 года благодаря помощи Розанова был зачислен в штат газеты. В среднем Перцов помещал в «Новом времени» семь статей в месяц. С 1908 по 1917 годы он напечатал в газете 564 материала. Перечень статей см.: РНБ. Ф. 1136. Оп. 1. № 58.

<sup>10</sup> Речь идет о главном редакторе газеты «Новое время» Михаиле Алексеевиче Суворине (1860—1936) и о ведущем журналисте газеты Михаиле Осиповиче Меньшикове (1859—1918), который начал сотрудничество в ней с 1901 года. Меньшиков печатался в «Новом времени» как воскресный фельетонист и как автор ответственных статей по общественным вопросам. Благодаря поддержке Суворина Меньшиков занимал в газете исключительное положение.

<sup>11</sup> Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — председатель Совета министров Российской Империи и одновременно министр внутренних дел в 1916 году. В том же году был назначен министром иностранных дел, но вскоре уволен в отставку. 28 февраля 1917 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Находился под следствием по обвинению во взяточничестве, превышении власти. Умер в тюрьме «Кресты».

<sup>12</sup> Намек на М. А. Суворина, имевшего постоянно долги.

<sup>13</sup> Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (наст. фам. Манасевич; 1869/1871?—1918) — авантюрист, агент столичного охранного отделения, состоявший на службе в Министерстве внутренних дел. Печатался с 1906 года в «Новом времени», писал пьесы. Входил в близкое окружение Б. В. Штюрмера. В августе 1916 года Манасевич-Мануйлов был арестован по обвинению в шантаже крупного банка. Освещению этого громкого дела в «Новом времени» выделялись целые полосы. Манасевич-Мануйлов был приговорен к полутора годам заключения, но в феврале 1917 года освобожден.

<sup>14</sup> Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937) — редактор газеты «Новое время» (1886—1901); младший сын А. С. Суворина от первого брака. Покинув газету отца, начал самостоятельно издавать газету «Русь» (1903—1908). Взгляды А. А. Суворина, по сравнению со старшим братом Михаилом, были более либеральными, и отношения между ними были сложными.

<sup>15</sup> до свиданья (*лат.*)

## 2

## П. П. Перцов — В. В. Розанову

Москва; Б(ольшая) Молчановка; 23; кв. 25.  
1917 20/III

Э-э, батенька, вот к(ак) Вы теперь запели: «Угас тот высочайший эгоизм одной точки, который подавлял собою жизнь везде, жизнь всех. Эгоизм одной точки — и в смысле пространства, и в смысле лица».<sup>1</sup>

И прочее, тому подобное...

А кто это мне клялся еще осенью 1915 г(ода) умереть за царя?! А, батюшка? Помните нашу тогдашнюю переписку (чай, вспоминаете — разве не предсказал я Вам тогда всё до точки)? Вы тогда писали так торжественно: «А за Гнилого (мой термин, оказавшийся достаточно верным), хотя бы всё в нем понимал, всё же ЗА НЕГО УМРУ».<sup>2</sup>

Э-э, батюшка, — еще ночных туфель не износили! И не верно ли я Вам тогда предсказал, — что если начальство опять «уйдет»<sup>3</sup> — Вы его и не вспомните? (письмо от 28 сент(ября)).<sup>4</sup>

А теперь скажу Вам откровенно (разрешите по старой дружбе) — лучше не трогайте этой темы (т. е. «республика-монархия»). Предоставьте это Меньшикову (к(ото)рый сегодня в нижнем этаже кувыркается изо всех сил: «монархия совершенно невольна, единственно по существу своей природы, обманывала и народ, и лучших людей народа, и, наконец, самого Бога» — вот поганая душа, и «Бога»-то даже не пожалел!).<sup>5</sup>

Пишите на Ваши, розановские темы. Ведь превосходно написали воззвание к Керенскому (и почти что «на ты» — ну, совсем «республика»!),<sup>6</sup> горячо, искренне. У Вас есть такие темы, у Вас есть «свое» за душой — Вы не Меньшиков. Не смешивайте же себя с ним — тогда и другие не будут смешивать (сегодня в «Бирж(евке)».)<sup>7</sup> Право, по-моему, лучше сейчас ехать «под усиленным конвоем, в военном автомобиле» прямо в Петропавловку, к(ак) наш бедный Валентин (да за что это он?),<sup>8</sup> чем так подло и униженно лизать руки, к(ак) поганый Меньшиков!

Вы мои взгляды знаете — я, конечно, рад перевороту (даже из самолюбия рад), всецело за республику. Визу великие горизонты, вдруг распахнувшиеся впереди, хотя и ранее уже мерещившиеся. Но именно потому и тем противнее, когда старая, мокрая жаба (Миша)<sup>9</sup> старается и тут прилепиться после того, что изо всех сил старался раньше в пользу всего старого. И никому он не нужен теперь, к(ак) ни кувыркайся.

Напишите мне, если что знаете насчет Валентина. Мне все-таки жаль его по прежней дружбе и по его «гениальности», хотя при последних встречах он производил на меня неприятное впечатление (какого-то надутого «бюрократа»). Еще больше жаль бедную Марию Адамовну<sup>10</sup> — только в январе убили сына,<sup>11</sup> теперь такая история! Для Валентина это должен быть ужасный удар и с духовной стороны — где теперь его «священное самодержавие»?<sup>12</sup>

А Ваш-то Флоренский («первый ум в России») к(ак) отличился — только-только провозгласил незыблемость и святость царского престола! Бывают такие удачливые пророки.

Я Вам написал еще 1 марта, в первый вечер победы революции в Москве.<sup>13</sup> Но письмо пропало, конечно (тогда, по-видимому, все письма пропадали). Там я Вам писал, что аз был и есмь в неизменных чувствах к «В. В. Р(озанову)», а если не писал давно, то потому, что Вы меня раздосадовали тог-

да (зима 1915—1916) невниманием к весьма серьезным (к⟨ак⟩ теперь видите) моим письмам и скучной журьбой за «легкомыслие».

Да, «наружность» моя «легкомысленна» — это я и сам знаю (также к⟨ак⟩ «легкий стиль» писаний). Это мое несчастье. П⟨отому⟩ ч⟨то⟩ *сущность* моя вовсе противоположна всякому легкомыслию — и это опять несчастье (тоже и в писаниях — ведь по содержанию я никогда почти не Ренников<sup>14</sup>).

Собираюсь скоро в Петроград (м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, даже до Пасхи, но вернее на Фоминой<sup>15</sup>), п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ собираюсь уходить из «Нов⟨ого⟩ Вр⟨емя⟩» и нужно «откланяться» (а главное устроиться с получением обратно 4% вычета за время сотрудничества<sup>16</sup>). Уйти хочу, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ уж очень невоготу — ничего серьезного *мне* «Нов⟨ое⟩ Вр⟨емя⟩» не дает<sup>17</sup> и не даст г⟨ово⟩рять (любезность Мазаева),<sup>18</sup> а на старые темы мал⟨еньких⟩ фельетончиков, рецензий и проч⟨его⟩ сейчас просто совестно писать. Я чувствую, что мне есть много и много чего сказать (м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ слегка еще рано — через полгода, год), но говорить все это рядом с «республиканцем» Мишей Меньшиковым и проч⟨ими⟩ уж очень претит, да и смысла нет — не будет своей публики. Конечно, в денежном отношении это ущерб, но к⟨ак⟩-нибудь справлюсь.

Был у нас на днях Нестеров.<sup>19</sup> Вот разбит человек — просто жалко смотреть! Говорит, что переживает «едва ли не самые страшные дни в своей жизни». Видно, что для него все рухнуло, чему он верил и чем жил. А ведь только что кончил большую свою картину «*Душа народа*»<sup>20</sup> (процессия, почти крестный ход идет «куда-то», ко Христу, конечно, — в центре *царь* московского типа, рядом патриарх, возле старцы, монахини, юродивый, сзади толпа, крестьяне, купцы, слепой, офицер с Георгием, сестра милосердия, жена Черткова с «интеллигентным лицом»<sup>21</sup> и на самом краю — Достоевский, Лев Толстой, Вл. Соловьев). Да, батюшка, целая философия истории — более того, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, целая особая религия рухнула! Я понимаю настроение Нестерова. Вот потому и досадно, когда вдруг Розанов «благовестит за республику».<sup>22</sup> Нет, в крепость нас всех, в крепость! Давайте-ка сядем все «огулом».

В дни, когда эта гладкая мокрица, А. В. Карташев,<sup>23</sup> призывает управлять церковью<sup>24</sup> (брр, что за кощунство! и в сущности ведь будет заведовать, должно быть, Зиновья и С<sup>о</sup>) — пожалуй, всего достойнее сидеть в кутузке.

Но, конечно, *то* (т. е. образ той «души») еще вернется! Не теперь, конечно, и не в том аспекте, но опять пойдет «крестный ход». В это я верю больше, чем в красную тряпку,<sup>25</sup> хотя на сегодня нужно ею утираться. Каждому дню — свой цвет. Для себя я ждал бы фиолетового, да жаль — не дождусь! Ну, addio, целую! Пишите — не злясь!

Ваш П. П.

<sup>1</sup> Цитата из статьи Розанова «„Само“-определение» (Новое время. 1917. 19 марта. № 14731. С. 5; см.: Розанов В. В. В чаду войны. С. 501).

<sup>2</sup> Имеется в виду письмо Розанова от (27 сентября) 1915 года (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 185. Л. 3).

<sup>3</sup> Намек на книгу Розанова «Когда начальство ушло...: 1905—1906 гг.» (СПб., 1910). В ней были собраны очерки автора, очевидца революционных событий 1905—1906 годов в Петербурге.

<sup>4</sup> Перцов писал Розанову 28 сентября 1915 года: «Ну, батюшка, умирать за „нашего собственного Фердинанда“ — это себе дороже. Да и Вы не собирались в 1905—1906 гг., „Когда начальство ушло“, — и если уйдет опять, вряд ли его вспомните» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 87. Л. 1).

<sup>5</sup> М. О. Меньшиков, имевший репутацию консерватора, после Февральской революции резко поменял свои взгляды. На страницах «Нового времени» печатались его статьи с красноречивыми названиями «Жалеть ли прошлого?» (7 марта. № 14720. С. 6), «Кто кому изменил»

(18 марта. № 14730. С. 13), в которых приветствовалась республика и носилась монархия. Перцов передает общий смысл статей Меньшикова этого времени.

<sup>6</sup> Вероятно, речь идет о статье Розанова «Пока кровь бежит горячо...» (Новое время. 1917. 17 марта. № 14729. С. 4—5; см.: *Розанов В. В.* В чаду войны. С. 499—501). С момента крушения монархии Александр Федорович Керенский (1881—1970) оказался в центре событий. 2 марта 1917 года он получил пост министра юстиции Временного правительства, являясь единственным социалистом в правительстве, в котором занял доминирующее положение.

<sup>7</sup> Речь идет о статье Лукиана (С. Б. Любошиц) «Хвала Маркову 2-му» (Биржевые ведомости (утр. вып.). 1917. 20 марта. № 16144. С. 3). Розанов и Меньшиков упомянуты здесь как пресмыкающиеся перед новой властью.

<sup>8</sup> Речь идет о Валентине Александровиче Тернавцеве (1866—1940), друге Розанова и Перцова, арестованном в марте 1917 года, но вскоре выпущенном на свободу. Тернавцев заведовал Синодальной типографией в Петрограде.

<sup>9</sup> М. О. Меньшиков.

<sup>10</sup> Тернавцева Мария Адамовна (урожд. Арцимович; 1872—1942) — жена В. А. Тернавцева, дочь самарского губернатора. 17 марта 1917 года З. Н. Гиппиус сделала запись о встрече в Синоде А. В. Карташева с М. А. Тернавцевой: «Карташев встретил там жену Тернавцева: „касивый бронет“ — арестован» (*Гиппиус З. Н.* Дневники: В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 498).

<sup>11</sup> Сын Тернавцевых Адам (1893—1916), участник Первой мировой войны, был убит под Ригой 26 декабря 1916 года.

<sup>12</sup> В. А. Тернавцев был хилиастом, верил в грядущее тысячелетнее царство святых и говорил о священной магии самодержавия. Во втором Коробе «Опавших листьев» Розанов писал о нем: «Тернавцев — благороднейший мечтатель, à la Гамлет» (*Розанов В. В.* Листва. М.; СПб., 2010. С. 270 (Собр. соч. [Т. 30])).

<sup>13</sup> См. п. 1.

<sup>14</sup> Ренников А. (наст. имя и фам. Андрей Митрофанович Селитренников; 1882—1957) — с 1912 года сотрудник и редактор отдела «Внутренние известия» газеты «Новое время», где печатал фельетоны, рассказы, очерки, списавшие ему популярность у читающей публики. Отдельными изданиями вышли: сборник «Спириты и др. юмористические рассказы» (2-е изд. СПб.; М., 1912), книга очерков «Самостийные украинцы» (СПб., 1914), сатирический роман «Сеятель вечного» (2-е изд. Пг., 1915) и др. В 1917 году в Петрограде появилась книга «...Разденьея, человек. Социалистический роман».

<sup>15</sup> Православная Пасха в 1917 году отмечалась 2 апреля. Пасхальная неделя длилась до 8 апреля, за ней следовала Фомина неделя. Вероятно, Перцов не приезжал в Петроград в назначенные дни, но он побывал все-таки в Петрограде в 1917 году. В письме к Д. Е. Максиму от 21 июля 1932 года, сообщая ему о своей мечте приехать в Ленинград, Перцов писал: «15 лет не был! — с дней Керенского» (РНБ. Ф. 1136. Оп. 1. № 35. Л. 15 об.).

<sup>16</sup> Имеется в виду расчет с кассой взаимопомощи газеты «Новое время», куда сотрудники вносили определенный процент денег.

<sup>17</sup> В основном Перцов печатал в «Новом времени» библиографические заметки, фельетоны на самые разнообразные темы, не касающиеся общественных вопросов. Последняя статья Перцова «Кромвель или Кречинский» в «Новом времени» была напечатана 21 октября 1917 года за несколько дней до закрытия газеты, которая прекратила свое существование 26 октября 1917 года, на следующий день после Октябрьского переворота.

<sup>18</sup> Мазаев Михаил Николаевич (1869 — после 1917) — библиограф, поэт, сотрудник газеты «Новое время» с 1900 года. Вел раздел «Среди газет и журналов». С 1911 года — второй редактор «Нового времени».

<sup>19</sup> Перцов был знаком с художником Михаилом Васильевичем Нестеровым (1862—1942) с 1903 года. Будучи редактором журнала «Новый путь», он обратился к художнику за разрешением поместить в журнале репродукции с его религиозных картин. В дальнейшем отношения между Перцовым и Нестеровым приняли дружественный характер, они часто встречались в Москве. Нестеров следил за статьями Перцова в «Новом времени».

<sup>20</sup> Над картиной «Душа народа» (имела и другие названия: «Христиане», «На Руси») М. В. Нестеров работал более двадцати лет. В январе 1917 года он показывал друзьям законченную картину, на которой изображены берег Волги и толпа, движущаяся по лугу. Эпиграфом к картине художник взял евангельские слова (Мф. 18: 2): «Пока не будете как дети, не можете войти в Царствие Божие» (*Перцов П. П.* История русской живописи. Гл. XX. Нестеров // С. Н. Дурылин и его время. М., 2010. Кн. 1. С. 403). Для работы над картиной Перцов дал художнику портрет Вл. Соловьева (см.: *Нестеров М. В.* Из писем / Вступ. статья, сост., комм. А. А. Русаковой. Л., 1968. С. 211).

<sup>21</sup> Речь идет об Анне Константиновне Чертковой (урожд. Дитерикс; 1859—1927), публицистке, издательнице, мемуаристке. Вероятно, имеется в виду дама, изображенная на втором плане картины «Душа народа» рядом с Ф. М. Достоевским. А. К. Черткова — модель портрета работы М. В. Нестерова более раннего периода — «Портрет А. К. Чертковой» (1890). Упоминаний о том, что А. К. Черткова явилась моделью для картины «Душа народа», не обнаружено.

<sup>22</sup> Вероятно, Перцов имеет в виду статьи Розанова, опубликованные в газете «Новое время» в марте 1917 года. Уже в первой статье «Перед положительными задачами истории», напечатанной после Февральской революции, Розанов писал о неудачном царствовании, начиная с трагедии на Ходыньском поле во время коронационных торжеств Николая II в 1896 году, проигранной Русско-японской войны и заканчивая неудачами России в Первой мировой войне (Новое время. 8 марта. № 14721. С. 5; *Розанов В. В.* В чаду войны. С. 499). Статьи «Пока кровь бежит горячо...», «„Само“-определение» написаны в оптимистических тонах (Там же. С. 499—504).

<sup>23</sup> Позднее слова «эта гладкая мокрица, А. В. Карташев» подчеркнуты Перцовым карандашом и над словом «мокрица» помета: «очень хорошо!». Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — с марта 1917 года помощник обер-прокурора Святейшего Синода, приглашенный на эту должность как либеральный богослов. Председатель Религиозно-философского общества (1909—1917), Карташев являлся членом религиозной общины Мережковских. З. Н. Гиппиус (в письме «Зиночка») в дневнике отмечала частые его визиты к Мережковским как раз в марте 1917 года. О назначении Карташева на должность помощника обер-прокурора Синода Гиппиус сожалела: «...он худ, остр, тонок, истеричен, проникновенно-умен, порывист — сдержан, вибрирует как струна (...) при неистовой его добросовестности погрязнет дотла в государственно-синодальных поповских делах и делишках» (*Гиппиус З. Н.* Дневники. Т. 1. С. 498). С августа 1917 года Карташев был назначен министром исповеданий Временного правительства.

<sup>24</sup> Вверху листа помета Перцова: «Это-то должно быть, и есть искомое „исполнение церкви“?»

<sup>25</sup> Намек на красные знамена.

### 3

#### В. В. Розанов — П. П. Перцову

⟨Март 1917 года⟩

Дело в том, дорогой П⟨етр⟩ П⟨етрович⟩, что пока «не пришел час воли Божией»,<sup>1</sup> как в 1905—6 г⟨оду⟩, то хотя *вся* Россия разволновалась, «и везде митинги», от Владикавказа до Риги, и в «С⟨анкт⟩-П⟨етер⟩б⟨урге⟩ сразу в один день 10 митингов», но — *ничего ровно не вышло*; и хотя в Москве было даже «по всей форме», с баррикадами и проч., — но *один* Семеновский полк разбарабанил «эти человеческие глупости».<sup>2</sup> А когда, наоборот, Боженька взял все в Свои Пречистые руки: то хотя «решительно ничего не произошло», кроме того, что «образовались за черным хлебом хвосты» (и *теперь* стоят, а булок мы не видим уже с февраля): но «все совершилось» и «Дома Романовых больше не бысть».<sup>3</sup>

Но Вы думаете, очевидно, все это для *beaux yeux*<sup>4</sup> Плеханова, Верочки Фигнер и кн⟨язя⟩ П. Крапоткина.<sup>5</sup> Удивительно. Я Вам скажу — наоборот: все для *beaux yeux* Розанова и Флоренского, который ровно так умен, как умен (Вы над ним посмеиваетесь),<sup>6</sup> п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ они-то уж «в Бога верят. И чтут Его». И — для Нестерова, которому *теперь*-то и нужно рисовать крестный ход: хотя бы, пожалуй, и без патриарха и Царя,<sup>7</sup> которые — ведь и Вы знаете, не суть дела. Нестеров, при художественном гении, все же ведь чуть-чуть не образован, и думает, что «без Царя, Патриарха и толстого купца Руси не обойтись». Но, очевидно, Русь есть Русь и без этих аксессуаров. Все это пустяки. Революция есть победа Нестерова (т. е. *начало* победы), как равно начало победы Розанова и Флоренского. С сего часа Плехановы и Веры Фигнер начнут таять яко снег в марте, и истают — как с 1812 г⟨ода⟩ начали таять Романовы.<sup>8</sup> И к 1980 году «о Плехановых никто не будет упоминать», ибо все уже будут засматриваться на «Св⟨ятой⟩ ход» Нестерова<sup>9</sup> и зачитываться «Уедин⟨енным⟩» и «Оп⟨авшими⟩ л⟨истьями⟩»<sup>10</sup> В. Розанова.

Так что «все слава Богу». И я радуюсь: как Суворов — увидавший после Альп впервые поля Ломбардии.<sup>11</sup>

Нестерову же скажите:

«Брате Михаиле! Чего смущаешься! Не ты ли „видеть не мог кадет”. Но приспе час воли Божией: к дочке твоей посватался кадет, конституционный демократ, да еще с немецкою окаянною фамилиею.<sup>12</sup> Но ты увидел, что он истину любит твою дочку, гордую Ольгу. И полюбил *его* сам, и выдал дочь за него. И все Слава Богу. Чего же ты, неразумный, смущаешься о России. Когда он сделал с нею буквально то, что с Нестеровым, Ольгою и с тем немцем».

Я б(ыл) болен. Страдал невыносимо. «Вся Россия зачеркнута. Нет более России, а марксизм и П. Струве со своими ограниченностями».<sup>13</sup>

Но помните:

«И возрадовался Дух Пустыни, дух Небытия»... (у Достоевского).<sup>14</sup>

Ну, Розанов, напротив, есть Дух Бытия, и просто *renis*, переполненный кровью:

«И возрадовался Дух Бытия. И улыбнулся. И пошел навстречу революции. П(отому) ч(то) революция есть вовсе не то, что в нее вкладывают теперешние крикуны ее. А то, что о ней соображает Розанов».

А как, что и почему — об этом том писать. А в листике она не укладываетсяся.

Скажу намек:

«— Господи. Впервые Гоголь кончился.<sup>15</sup> И теперь начнется все положительное, доброе и благое в России; начнется — *деликатное*. После стольких грубостей и у такого грубого народа».

Ну, разве это не начало «Положительной России»?

А Романовы? Он прекрасно ушел, добрый, простой, *совершенно частный человек на троне* (я ужасно обмолвился, сравнив его с «гнилым дуком»: это — почти филологическое отражение Вашего письма о Гнилом Николае. Эта Ваша грубость меня поразила, но как иногда бывает на улице: и ругательство *застряло в ухе*). Это — *не мое*, а — Ваше слово. Мое слово о прекрасном Романове: что он тихо сошел с престола, без ломки, почти без огорчения, как Михаил тихо же — вошел на престол, вошел из монастыря.<sup>16</sup> И последний Романов почти выстроил себе монастырь в Феодоровском Соброре.<sup>17</sup> Это прекрасный его памятник, почти его Пирамида. И да будут они все благословенны, все Романовы. Конечно, это не чета пошлым Рылеевым и Пестелям.

Но «время их прошло». Бог позвал, и они умерли. Просто и прекрасно. Безмолвно. Без слов и речей. Только и умел, бедный, подписать: «Прочел с удовольствием». Так и надо. «Не плоди много речей». «Не пиши много бумаг». Это дело Вильгельмов<sup>18</sup> и прочих пошлостей. Ты сам делай себе гроб, строй собор. И — умалаяйся до исчезновения.

— Я поеду в Ливадию.<sup>19</sup> Там много цветов. Я так люблю цветы. И будущий Пушкин напишет еще о нем поэму. Ну, а эта сволочь (вернее — мелочь), руками коей Бог сделал революцию, — к «сороковым годам» ХХ-го века совсем исчезнет.

В. Розанов.

Датируется по карандашной пометке Перцова о получении письма: «1917 29 III — ответ 7 IV».

<sup>1</sup> Возможно, неточная цитата из сказки Н. С. Лескова «Час воли Божией» (см.: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 36 т. СПб., 1903. Т. 29. С. 191).

<sup>2</sup> Напоминание о событиях Первой русской революции, когда в 1905 году Семеновский полк был переброшен из Петербурга в Москву для подавления декабрьского вооруженного восстания.

<sup>3</sup> 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. Манифест об отречении царя от престола был опубликован в газетах 4 марта. В газете «Новое время» Манифест об отречении царя появился только 5 марта 1917 года (№ 14719. С. 1).

<sup>4</sup> красивых глаз (фр.)

<sup>5</sup> Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — теоретик марксизма, публицист. Входил в число основателей Российской социал-демократической рабочей партии. На протяжении 37 лет находился в эмиграции. Вернулся в Россию после Февральской революции 31 марта 1917 года. Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — террористка, член Исполнительного комитета партии «Народная воля», участница покушения на императора Александра II в Одессе (1880) и Петербурге (1881). Князь Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — теоретик анархизма, вернулся в Россию из эмиграции, где провел 41 год, после Февральской революции 30 мая 1917 года.

<sup>6</sup> В это же время Розанов написал П. А. Флоренскому обширное письмо, которое в оценке революции перекликается с письмом к Перцову (Розанов В. В. Литературные изгнанные. Кн. 2. С. 398—404).

<sup>7</sup> См. прим. 20 к п. 2.

<sup>8</sup> Карандашная помета Перцова на полях: «Правильно! 1922 г.» около текста: «Русь есть Русь <...> начали таять Романовы».

<sup>9</sup> Вероятно, речь идет о картине М. В. Нестерова «Душа народа». См. прим. 20 к п. 2.

<sup>10</sup> Розанов называет книги, которые особенно ценил: «Уединенное» (СПб., 1912; 2-е изд. СПб., 1916) и «Опавшие листья» (СПб., 1913).

<sup>11</sup> Имеется в виду Итальянский поход А. В. Суворова через Альпы в 1799 году.

<sup>12</sup> Старшая дочь художника Ольга Михайловна Нестерова (1876—1973) в 1912 году вышла замуж за юриста Виктора Николаевича Шретера (1875—1939).

<sup>13</sup> Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — публицист, философ, эволюционировал от марксизма к либерализму. После выхода в 1910 году сборника ранних политических статей Розанова «Когда начальство ушло...: 1905—1906 гг.» Струве написал резкую статью «В. В. Розанов, большой писатель с органическим пороком» (Русская мысль. 1910. № 11. Отд. 2. С. 38—146). Розанов был сильно задет выступлением Струве, назвавшим его писателем, «лишенным признаков нравственной личности», и воспринимал статью как начало травли со стороны либеральных кругов.

<sup>14</sup> Неточная цитата из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (Кн. 2. Гл. V. «Легенда о Великом инквизиторе»; см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 229).

<sup>15</sup> Любопытна развернутая оценка Н. В. Гоголя в письме Розанова к П. А. Флоренскому, написанном в марте 1917 года. Размышляя о революции, Розанов писал: «Нельзя быть стране благородною и сильною, если всякий гимназистикко надругается своему отечеству. А это началось с Фон-Визина, Грибоедова, „прославилось в декабристах” и „всё покрыло собою” в хохоте Гоголя. (...) И вот у нас вышел „Гомер наоборот”. Гомер хохота и издевательства (...) Эпоха Гоголя кончилась 26-го февраля 1917 г., когда 4-ая рота Измайловского полка с музыкой и знаменем прошла к Таврическому дворцу» (Розанов В. В. Литературные изгнанные. Кн. 2. С. 402, 404).

<sup>16</sup> Михаил Романов (1596—1645), первый русский царь из династии Романовых, до того как вступить на престол, жил в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре в Костроме. В 1613 году в Троицком соборе монастыря был совершен обряд призвания Михаила Романова на царство.

<sup>17</sup> Речь идет о Феодоровском Государевом соборе в Царском Селе под Петербургом, построенном к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году.

<sup>18</sup> Намек на Вильгельма II Гогенцоллерна (1859—1941), последнего кайзера Германии.

<sup>19</sup> После отречения от престола Николай II просил Временное правительство оставить ему с семьей дворец в Крыму в Ливадии и разрешить там поселиться как частному лицу.

#### 4

### П. П. Перцов — В. В. Розанову

1917 7 IV.

X<ристок> В<оскресе>

Ну, дорогой Вас<илий> Вас<ильевич>, сколько ни самоутверждайтесь, а ясно, что «к 40-м годам XX-го столетия» будет вполне *новое* и довольно неожиданное, а не простой ренессанс «Розанова—Флоренского». Да и Вы сами сие знаете...

В этом смысле непосредственное чувство Нестерова гораздо ближе к истине. Несомненно, что нечто очень большое *кончилось*, оборвалось... «Царя



и патриарха» ведь приходится выбросить из «хода»<sup>1</sup> — хотя бы ход этот когда-нибудь и возобновился. С этим и Вы сейчас согласны. А сказать бы Вам месяца 2—3 назад — небось бы, и руками, и ногами!

В этом вся и суть. В Вашей вражде и ненависти к революции и социалам было больше правды и подлинного Розанова, нежели в теперешних вариантах на мотив «несть власть, аще не от Бога».<sup>2</sup> Небось, Вы этого не думали, когда писали: «смазали хвастунишку по морде — вот и вся история социализма в России» (в «Листьях»)<sup>3</sup>.

На деле вышла совсем другая история: «смазали Помазанника» (афоризм Чхеидзе — тоже не очень изящный).<sup>4</sup>

Так что, после такого «даже совсем напротив», на «40-е годы» мудрено рассчитывать. Очевидно, что философия истории и «школы» Розанов—Флоренский—Тернавцев и С<sup>о</sup> «шла в комнату, пришла в другую».<sup>5</sup>

Николай Последний, при всей своей «тихости», тем отличается от Михаила Первого,<sup>6</sup> что, когда он был уволен от должности, после него осталось одних «собственных» земель («кабинетских») 42 ½ миллиона десятин (не тысяч, а миллионов!). В сущности, это черт знает что такое! Тут и — поневоле треснет всякий «монархизм». Эти последние «Романовы» были нечто вроде того цыгана, к(ото)рый, когда его царем сделали, «стащил кусок сам и бежал»... Уж кажется, если Ты — «Божьей Милости», к чему еще тут «рудник на Каре», «имение на Мургабе»,<sup>7</sup> «леса на Алтае» и пр., и пр., и пр.? Какая-то чисто владельческая точка зрения, как некогда у наследников Калиты,<sup>8</sup> к(ото)рые «завещали престол Московского княжества, вместе с своей лисьей шубой и собольей шапкой» (Ключевский). Так концы сходятся с началом...

Нет, что бы там ни было впереди и какое-бы «ленинство»<sup>9</sup> нас временно ни удручало, а все-таки хорошо, что вычистили этот самодержавный нужник.

Ну, так addio! Все собираюсь и собираюсь в Петроград... А что же это Миша Меньшиков вдруг оборвал свое благородное исповедание республиканских убеждений?<sup>10</sup> Неужели я его сглазил? Теперь, вм(есто) него, к(ак) видно Иполлит Гофштетер,<sup>11</sup> наконец-то дождавшийся своего часа.

Что же Вы мне ни звука не сообщили про бедного нашего Валентина?<sup>12</sup> Или ничего в волнах не видно?...

Ваш П. П.

Ответ на письмо З.

<sup>1</sup> О картине М. В. Несерова «Душа народа» см. прим. 20 к п. 2.

<sup>2</sup> Рим. 13: 1.

<sup>3</sup> Цитата из второго Короба «Опавших листьев» (см.: *Розанов В. В.* Листва. С. 289).

<sup>4</sup> Цитируются слова Николая Семеновича Чхеидзе (1864—1926), председателя Петроградского совета рабочих депутатов, сказанные 14 марта 1917 года на заседании Совета РСД по поводу германского императора Вильгельма II Гогенцоллерна. На этом заседании присутствовал М. М. Пришвин, отметивший в своем дневнике: «Президиум: Чхеидзе (помазанник: смазали!») (Пришвин М. М. Дневники. 1914—1917 / Подг. текста Л. А. Рязановой, Я. З. Гришиной; комм. Я. З. Гришиной, В. Ю. Гришина. СПб., 2007. С. 384).

<sup>5</sup> Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 1, явление 4); см.: *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 19).

<sup>6</sup> См. прим. 15 к п. 3.

<sup>7</sup> Имение императора Николая II находилось на р. Мургабе, в Туркмении.

<sup>8</sup> Речь идет о наследниках великого московского князя Ивана Даниловича Калиты (1288—1340?), заложившего основы государственности России.

<sup>9</sup> Речь идет о В. И. Ленине, который приехал в Петроград из эмиграции в ночь с 3 на 4 апреля 1917 года. Его выступление с броневика на Финляндском вокзале при огромном стечении народа было воспринято неоднозначно. Путешествие Ленина по Германии, с которой в это время воевала Россия, было названо в газете «Новое время» скандальным, а возвращение его в Россию оценивалось как работа в пользу Германии (см.: Приветствие Ленину // Новое время. 1917. 6 апр. № 14744. С. 6).

<sup>10</sup> В марте 1917 года М. О. Меншиков был вынужден покинуть службу в газете «Новое время». Он уехал вместе с семьей из Петрограда на Валдай в собственный дом. 20 сентября 1918 года Меншиков был расстрелян ЧК на глазах у жены М. В. Меншиковой и шестерых детей.

<sup>11</sup> Гофштеттер Ипполит Андреевич (1860—1951) — публицист, сотрудник газеты «Новое время».

<sup>12</sup> См. прим. 8 к п. 2.

## 5

## В. В. Розанов — П. П. Перцову

(Первая половина апреля 1917 года)

Дорогой П(етр) П(етрович)! Нынешнюю ссору нашу, как и прошлую, лет 5—6 назад, я переживаю очень тяжело, едко, несчастно. Как-то становится вдруг особенно горько, скучно, неутолимо, «я не знаю что», злишься на Вас, злишься на себя, и вообще «не хорошо, не хорошо». С Мер(ежковским), Фил(ософовым), Зин(ой)<sup>1</sup> я разошелся совершенно «не почесавшись», п(отому) ч(то) они люди холодные, формальные, *не русские, вот и всё*, и вообще для души несколько не нужные, и ни в каком отношении ненужные и неинтересные. Мер(ежков)ского (и К°) нельзя помнить, нельзя вспоминать о нем. Это (к(а)к и Вл. Сол(овьев)) вообще только литераторы, и с ними могут быть только деловые отношения или может «не быть дел». И от меня ничего не «уходило без них», как ничего не «приходило с ними». Но Вы прежде всего честный и добрый русский человек, сами с памятью о другом, с заботой о другом и вот отчего расхождение с Вами или *разлука с Вами* как-то внутренне невозможна и этого не надо делать, и *никогда не надо*. Так и возьмем это оба *в зарок*. Т. е. что этого *никогда не должно быть*.

Правда, Ваша ужасная глухота,<sup>2</sup> при которой собственно невозможно *журчанье бесед*, т. е. журчащие ½ словечки, полунамеки, ½ шепоты, безумно мешало настоящему слиянию в дружбе. Не было тех обмениваний, какие бывали со Шперком.<sup>3</sup> Эта физическая ужасная преграда, *неодолимая*, сделала из нашей возможной дружбы — ½-дружбы. «Все недоговорено. Все недосказано». Ну, что такое наши с Вами разговоры: и сводились к начатому ½-делу, на каковое громкого голоса еще хватит, а на прочее и самое главное, *самое лучшее* — «голоса всегда не хватало». И собственно мы более догадывались друг о друге, нежели *обменивались* друг с другом.

В(аши) письма с 1916 г(ода) правда ужасно огорчали меня.<sup>4</sup> Особенно Н(иколай) Гнилой и М-те Распутина.<sup>5</sup> Даже если принять, что Вы были правы, все же нельзя так безжалостно, беспощадно относиться к другому. «Все-таки и Царь человек, пусть даже самый худой Царь». Потом: история с Распут(иным), о которой я оч(ень) много думал, более и более мне представляется форменно мистерией, и «Гришка» вообще мистериальная личность, вполне чувствовавший себя, хотя, конечно, вполне о себе не сознававший ничего, исторически не сознававший.<sup>6</sup> Это, я думаю, не «соблазнившийся святой» Православия, а форменно языческий: святой, «точь-в-точь», и я безумно жалею, что не свел с ним (для любопытства) дружбы, чтобы увидеть воочию «древние таинства». Половые его эксцессы, которые нельзя же отрицать ввиду общих рассказов, имели очевидно не подсмотренный «про-

фанами» другой тон, другую — эссенцию и материал: почему его форменно все любовницы считали «богом», — «Христом» по православию, т. е. в христианских терминах. Но разве египтяне не считали «богом» просто быка, — и *оплакивали* смерть быка слезами отнюдь не риторическими, не «театрально». Я совершенно согласен, что у Гришки все основывалось на «х»: *но только у него, по-видимому*, и можно было узнать «что же такое в конце концов *эта вещь*»: о коей ведь весь мир в сущности ничего совершенно не знает. Как я упустил это (Гришка манил меня к ближайшему знакомству) — не понимаю. Вся болезнь Варв(ары) Дим(триевны),<sup>7</sup> ее безумная ревность, «чистота» etc. И потом я думал: «успею». «Гришка» есть величайший феномен религиозной истории, куда важнее лютеранских мелочей: и я просмотрел, пропустил, «как же люди некогда поклонялись Аписам».<sup>8</sup> Он был вовсе не мнимый, вовсе не воображаемый, вовсе не «у одних учениц» — Апис: а — подлинный, с верою в него как в бога, и имевший «точь в точь успехи», как в Египте. Это — не мое слово, не моя выдумка, а все «прошло воочию»: а я даже и не взглянул.

Нужно сказать, он мне сказал 1 слово, в ответ на вопрос мой: «Отчего Вы так скоро ушли от отца Ярослава» (Медведя, — поп, в него влюбленный, вместе с матушкой, идеальной интеллигентной женщиной, медичкой Рождественских курсов<sup>9</sup>), — которое я, выслушав, пренебрег, как *случайно сказанное*.<sup>10</sup> Но когда его убили,<sup>11</sup> я стал об этом думать: слово было необыкновенно странно, «ни на что не похоже», хотя в то же время обыкновенно, отчего я его и позабыл. *Но оно могло и иметь смысл, и именно об этом смысле в угаре сказал Гришка* (а я не поверил ему): но если *так*, то и я скажу: бог. Дело в том, что если он *вправду сказал, отчего он ушел*, то значит Гришка в 1904 или 5-м году, едва взглянув на меня вошедшего и впервые в мире увидев — *знал обо мне*, но со страшной серьезностью, всё что, напр(имер), знаете Вы: но и знал или узнал всё, напр(имер), до сего 1917 г(ода). Конечно, это *вполне чудо* и только это чудесное давало вообще какой-нибудь смысл его ответу, каковой поэтому я и счел за «прибаутку», так — «за что-нибудь, иначе ответить».

Но дело в том (как я много раз наблюдал), что «ведение пола», вообще «ведение» — дает какое-то особенное веденье людей, — особенное, глубинное и исключительное. И тогда «Гришка, конечно, мог знать», и его ответ становился рациональным.

Сер и необразован он был именно как сибиряк. Никакой даже «Костромы» не выходит.

Я недавно прочел письма к нему Царицы, *всех* дочерей, до 12—20 лет (тогда, когда б(ыли) написаны):<sup>12</sup> и показал Варе. И она сказала твердо: *не возможно* думать, чтобы была *связь*. И я думаю — не было. Его именно почитали как бога («наш Друг», «мой Друг и Ангел», подпись царицы: «твое дитя А.»). Это не тон любовницы, да и тон тот же, что у 12-летней. Очевидно, он и был форменно «богом» в царской семье. Но тайна нескончаемая заключается в том, как он мог выучить или вернее как мог передать или внушить музыку бесконечной нежности к себе, деликатности, молитвенности. Как он *мог стать иконою*. А он ею *стал*, это впечатление не только мое, но и Вари. А она до писем думала о нем, что «он только Гришка Распутин».

Т(аким) обр(азом) в нем прошел феномен величайшего религиозного значения и интереса. Убивавшие его совершенно ничего в нем не понимали. Собственно, он б(ыл) убит «по сплетне», «по анекдоту», не иначе как Чацкий на балу у Фамусова.

— «Заговорили».

— Ах, «все с ним совокупаются».

Поразительно, что не пришло в голову: «Да неужели так бесстыдны люди», «Неужели таковы женщины???»». Не пришли на ум самые простые и ясные вопросы. Ведь «взбесившийся Новоселов» есть просто дурак.<sup>13</sup> Важный, чопорный дурак, возомнивший себя «столпом православия».

Нужно Вам сказать, что «конкретности», передаваемые о Гришке, подробно особенно позорные, *точка в точку* (а не *приблизительно*) совпадают с тем, что было в Египте. Об Египте и его «тайнстве» мне пришло на ум в декабре: а как раз около 22 февраля, именно к(а)к начал шуметь Петроград,<sup>14</sup> я, вторично перелистывая не помню Rossellini, не помню Французскую экспедицию<sup>15</sup> *в связи с зародившимися* у меня подозрениями о египетских «тайнствах», вдруг открыв «малый храм в Эдфу», почти греческий по красоте архитектуры, — увидел, что *фронтон его*, т. е. гладкая невысокая стена, на которую очень удобно ставить статуи, установлена (я насчитал) 24-мя статуями все одного и того же *беса*, и — никакими еще, еще — никаких изображений, никаких рисунков. Вы знаете противную, отвратительную статую беса, раскоряченную, с висящим длинным фаллом, и с буквально висящим из рта огромным языком. «Такая гадость как Распутин в патетическую минуту». Мне никогда на ум не приходила связь этой статуи с «тайнствами»: и только, когда я обратил внимание на повсюду заливающие храм изображения, совершенно *уже приличные*, хотя *немного странные*, п(отому) ч(то) «этого вообще ни у греков, ни у римлян никогда не делалось», — то у меня начала мерцать и связь беса с мистериями. Вдруг открываю этот храм в Эдфу: «Да *это* и есть храм мистерий».<sup>16</sup> До того — очевидно!! Никакого нет сомнения!! А если так, то и «странные изображения Египта» — совершенно объясняются, а с ними объясняется и всё, всё. «Мистерии» попали ко мне «в ладонь». Тогда я обратил внимание еще на группу изображений, в наперсток величины, и на которые тоже не обращал внимания, ибо они лишь аксессуары при больших изображениях, занимающих всё Ваше внимание. Это-то *обращение внимания на другое* — и скрывает всё дело. Изображения там очень странные и если «взять как *есть*» — приличны. Но стоит спросить себя: а *что же могло произойти через 3—4 минуты* после того, как «*вот видишь*» — то изумлению, неестественности, явно *полной невообразимости ни для одного смертного*, — чего ни «сказать» нельзя, а можно только вообразить, да и вообразить-то только можно лишь очень долго провозившись с Египтом — станет совершенно очевидно. Египтяне, очевидно, не совершенно затаили свои «мистерии»: но выразили их так незаметно, неуловимо, «скользя», как бы «тень на стене», «зайчик» (пускают в гимназиях) «от двояко-выпуклого стеклышка», что, напр(имер), всем грекам и римлянам всё же и вдомёк не пришло, что именно «совершается в мистериях». Между тем это совершенно очевидно, непререкаемо, все вполне связано, всё «одно через другое ясно становится», и я нисколько не сомневаюсь (окончательный вывод), что «тайнства были *фактически верны*», т. е. рождали идею «загробной жизни», «Бога» и «бессмертия души», п(отом)у ч(то) вот «Гришка ко всему этому тоже через 4.000 лет *приводил*». Как и вообще «хлысты» со своими *радениями*.

Ну, устал. Поговорим о нашем времени. Как печально, что о Египте я почти кончил: огромный том, стран(иц) в 400 in quarto.<sup>17</sup> И вдруг «немец или революция помешают издать». Истрачено на бумагу (*уже* куплена верже) на 5.000 р., цинкографий цветных и штриховых сделано на 2.000, и за 1 выпуск уплачено 1.154 р. — Вообще придется истратить ½ всего накопленного. Выпусков будет 15. По 3 р(убля) за выпуск. Но за то хороший конец жизни. Египет в самом деле будет впервые и *доказательно объяснен*: о массе вещей я догадался только в 1916—17 году. Раньше я знал лишь «общее

направление», знал из *очевидности*. Но никому не приходит на ум, до чего это «вообще» разработано было в конкретностях, и особенно — *как именно разработано*.

Время наше страшно. Если вправду России придется сделаться марксистской и социалистической, то, конечно, я *умер и никогда не воскресну*. П(отому) ч(то) это вообще есть *пустота*, из которой не вымолотишь зерна. Тогда умерла цивилизация, христианство, религия, культура. Тогда вообще нужно умирать. Это для меня абсолютно бесспорно. У меня было замелькала мысль, что можно бороться, можно даже победить, даже для победы слагаются лучшие условия. Мечта эта не пропала, но еще колеблется. Ею я и «живу», а если нет ее — то «умираю».

Дело в том, что они, конечно, «на верху положения» и «во власти» — и вот мне думается, как-то они справятся с этим «положением». Прежде они были «гонимыми идеалистами», теперь они уже делаются, через 2 месяца всего, «гонящими тиранами». Против них задавлена тоска и злоба: но она уже кипит. И справиться с этим очень мудрено. Напротив, борьба против них впервые получает идеалистический тип страдальчества. Это совершенно ново. Смотрите 1-ую книжку о революции былого «Русск(ого) богатства»: поразительно: «Нет радости о победе», ибо показался *черный раб*, вонючий и злой. «Нам» же давно пора пострадать: а то попы, проповедующие Голгофу, спокойно ели стерляжью уху, да и вообще всё было скверно, все консерваторы пичкались «около богатого стола Господина своего». И этого гадкого положения нельзя было изменить. Позитивисты, атеисты, Боклевцы, Спенсеровцы<sup>18</sup> — все были в «страдании» и единственно страдание и придавало им ореол. Теперь и страдание снимается. «Не Шлиссельбург,<sup>19</sup> а — трон». И вот на троне-то удержаться гораздо мудренее. Все увидят, что им просто нечего сказать, что у них одна заработная плата и конкуренция мешанишек. Всяк увидит «старую процентщицу» Раскольниковова и убьет ее как процентщицу. Радикальные журналы, как начало скорби радикальной — поразительно теперь интересны. Я раз прочел Ив. Жилкина в «Русск(ом) слове»: какая *мука* прежнего «трудовика».<sup>20</sup>

Вообще, «ниспадение ореола радикализма» — судьба завтрашнего дня в литературе, в философии, в поэзии. «Чумазый раб, распоряжающийся всем» — это завтрашний безумный рев всей интеллигенции. Посмотрите тоску Плеханова, Дейча, Засулич,<sup>21</sup> «Северных записок»:<sup>22</sup> разочарование уже началось, уже *черные дни* для Морозовых,<sup>23</sup> Лопатинных<sup>24</sup> — пришли. Слетел ореол с Веры Фигнер,<sup>25</sup> которую возили по Петербургу по Невскому в автомобиле — и *всем показывали*, и она (в 60 лет!!) кокетливо всем улыбалась и была «так счастлива». Вообще у революции вдруг стали вырастать рога и копыта, не египетские, а самые ослиные. Вообще, став на вершину, на «штык» — революция впервые заколебалась в высшей степени неустойчивом положении. *Пойдет фактическая проверка социализма*: того, чего именно надо было желать и ожидать. Что же тут «теории» и «критика капиталистического строя», ты — «сделай». Ну, а «написать книжку по педагогике» и «действительно самому оказаться хорошим учителем гимназии» — это большая разница.

Конечно, «Совет рабочих и солдатских депутатов»<sup>26</sup> возьмет в руки всю власть; со штыком и шилом сапожника. И вот мы поглядим его у власти.

Пока писать нельзя. Заткнут горло. И вот это, что они затыкают горло, — тоже хорошо.

1) Если выйдет — нам отчаиваться нечего. «Хорошее» отчего не взять, от кого бы оно ни шло. Тогда мы будем просто полемизировать против *строя души их*, и позиция для полемики будет небывало выгодная.

2) Если «не выйдет» — получится фактическая реставрация, которой я не особенно радуюсь, и даже вовсе не радуюсь. «Что такое эти Фердинанды болгарские с присягою конституции».<sup>27</sup> Дрянь дрянью и решительная неопределенность. Те же «интриги при дворе», происки, пронырство и обогащение «под сурдинку».

3) Нет, пусть будет «демократическая республика». Неужели русские и здесь могут быть только компиляторами? Т. е. «только по Марксу и Лассалю», а не «по Некрасову и Михайловскому»? Вопрос в *этом*. Вопрос в том, останется ли что-нибудь от русской души?

Ну, уж, и написал.  
В. Розанов.

Собственно, социализм во всех странах Европы так настойчиво и «с верой, надеждой и любовью» работал, что мы все были очень наивны, воображая, что «никогда все-таки не прорвет». Было очевидно, что когда-нибудь «прорвет». И вот оно и «прорвало». Прорвало в России, на 1/6 суши. И — с русским — «не удержишь». Конечно, мы вступили в самый интересный фазис своей истории. «Некрасов — Царь», «Гроб его — Царева пирамида». Посмотрим, посмотрим. Наконец, пришла русскому человеку возможность сказать и сделать всё, чего его душа хочет. Ну, и что он скажет и сделает.

Меня радует, что эти энергичные люди в молекулярной бытовой работе ни еврею, ни немцу не уступят. Собственно, до сих пор я только этому и радуюсь. Всё прочее для меня сомнительно.

Две мелочи: переодетый и загримированный Марков 2-ой работает в Совете солдатс(ких) и рабоч(их) депутатов.<sup>28</sup> Что? Зачем?

У банков несколько раз в последнее время неизвестно по чьему распоряжению снималась военная охрана.

У черносотенцев главная ненависть к «Врем(енному) правительству», и они думают, что «русский здравый смысл и здоровая душа — выведет». Это мне сказали, когда я спросил, «почему Марков в Совете рабочих и солдатских депутатов».

Про банки мне сказали: «очевидно есть план разграбить их».

Датируется по карандашной помете Перцова: «1917; апрель. Получ. 1917 5 / VI».

<sup>1</sup> Речь идет о З. Н. Гиппиус. Расхождение Розанова с Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философовым началось еще в 1909 году. Причиной этого расхождения явился отход Розанова от либеральных увлечений. Мережковские, напротив, начали стремительно «леветь» и, по мнению Розанова, перекинулись на социалистов. Поэтому он причислял их к разрушителям России. Окончательный разрыв произошел после исключения Розанова из Религиозно-философского общества в 1914 году.

<sup>2</sup> О дружбе Розанова с замкнутым глуховатым Перцовым вспоминала З. Н. Гиппиус в очерке «Задумчивый странник»: «Как они дружили, — интимнейший, даже интимничавший со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? Непонятно, однако, дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: „Голубчик, голубчик, да что это право! Ну, как Вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится на ушко шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом“. Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, — не сердился, не отвечал» (*Гиппиус З. Н.* Живые лица. Тбилиси, 1991. С. 90—91).

<sup>3</sup> Шперк Федор Эдуардович (псевдоним Апокриф, Ор; 1872—1897) — критик, философ, поэт, друг Розанова, автор ряда работ о его творчестве. Сотрудник газеты «Новое время». Имя Шперка встречается у Розанова в «Уединенном» и «Опавших листьях». «Гениального Шперка», умершего в 26 лет, Розанов считал даровитее себя. Спустя 15 лет после смерти своего младшего друга он с грустью вспоминал: «Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете* — невозможно. Там, м(ожет) б(ыть), в платоновском смысле „бессмертие души“ — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно» (*Розанов В. В.* Листва. С. 80). Подробнее о нем см.: *Шперк Ф.* Как печально, что во мне так много ненависти... Статьи, очерки, письма / Вступ. статья, сост., подг. текста и комм. Т. В. Савиной. СПб., 2010.

<sup>4</sup> Розанов ошибается: речь идет о письмах Перцова 1915 года.

<sup>5</sup> Т. е. императрица Александра Федоровна. Розанов вспоминает слова из письма Перцова от 9 сентября 1915 года: «Для меня несомненно, что супруг m-me Распутиной доживает теперь свои последние вольные деньки» (РГАЛИ. Ф. 1796. № 86. Оп. 1. Л. 46 об.).

<sup>6</sup> Розанов продолжает обсуждать личность Г. Е. Распутина (наст. фам. Новых; 1869—1916), затронутую ранее в переписке 1915 года.

<sup>7</sup> Бутягина Варвара Дмитриевна (урожд. Руднева; 1863—1923) перенесла инсульт 26 августа 1910 года. У нее была парализована левая часть.

<sup>8</sup> Утверждая, что главное в Распутине — это мистика пола, Розанов связывал «сибирского старца» не только с хлыстами, но и со священным быком древнего Египта Аписом. В 1917 году, завершая работу над книгой «Возрождающийся Египет», Розанов включил в нее главу «О поклонении Аписам у древних египтян» с описанием храма в Мемфисе, в котором содержался бык, почитаемый как божество (Розанов В. В. Возрождающийся Египет. С. 227—230). В письме к Э. Ф. Голлербаху от 6 октября 1918 года Розанов повторил эту же мысль: «...Гришка среди женщин был Священный Апис» (Розанов В. В. В нашей смуте. М., 2004. С. 374 (Собр. соч. [Т. 17])).

<sup>9</sup> Священник Роман Иванович Медведь (1874—1937) являлся настоятелем храма Марии Магдалины при Училище лекарских помощниц и фельдшерц в Петербурге с 1902 года. Розанов познакомился с о. Романом в 1906 году, когда пришел в его дом (ул. 2-я Рождественская, д. 4, кв. 1) за медицинской помощью к магушке Анне Николаевне Медведь (урожд. Невзоровой; 1878 — после 1937). У него в это время остановился приехавший в Петербург Г. Е. Распутин. Тогда же с ним у о. Романа и познакомился Розанов. А. Н. Медведь вместе с о. Романом — персонажи (имена их не названы) главы «О „Сибирском страннике“» в книге Розанова «Апокалиптическая секта (Хлысты и скопцы)». В 1906 году о. Роман по болезни был вынужден уехать из Петербурга и вскоре был назначен настоятелем Свято-Владимирского собора в Севастополе и благочинным береговой команды Черноморского флота.

<sup>10</sup> В письме к Э. Ф. Голлербаху в октябре 1918 года, описывая свое свидание с Г. Е. Распутиным в доме о. Романа, Розанов цитирует слова, сказанные ему Распутиным: «Отчего вы тогда, Григорий Ефимович, ушли так скоро? От отца Ярослава (...) Он мне ответил: „Оттого, что я тебя испугался“. Честное слово. Я опешил» (Розанов В. В. В нашей смуте. С. 374).

<sup>11</sup> Г. Е. Распутин был убит в Петрограде заговорщиками в ночь на 17 декабря 1916 года в Юсуповском дворце (наб. Мойки, д. 94).

<sup>12</sup> Копии писем императрицы Марии Федоровны и великих княжон к Г. Е. Распутину, отпечатанные на гектографе, в 1917 году распространялись в Петрограде.

<sup>13</sup> Новоселов Михаил Александрович (1864—1938) — писатель, публицист, издатель. Розанова, вероятно, возмутила брошюра М. Н. Новоселова «Григорий Распутин и мистическое распуство» (М., 1912).

<sup>14</sup> Как раз 21 февраля 1917 года начались хлебные бунты в Петрограде.

<sup>15</sup> Речь идет о трудах по египтологии, к которым обращался Розанов, занимаясь Египтом. Хотя он и изучал исследования итальянского египтолога И. Росселлини (1800—1843), но скорее всего малый храм в городе Эдфу, расположенном на берегу Нила, с изображениями бесов на фронтоне, он нашел в книге французского египтолога Г. Масперо «Египет» (М., 1915).

<sup>16</sup> О бесах, изображенных в храме в Эдфу, Розанов писал в выпуске IX—X «Résumé и таинства», вошедшем в книгу «Возрождающийся Египет» (см.: Розанов В. В. Возрождающийся Египет. С. 207—208).

<sup>17</sup> Речь идет о книге «Возрождающийся Египет». К марту 1917 года вышло три выпуска под заглавием «Из восточных мотивов» (Пг., 1916. Вып. I—II; 1917. Вып. III). Розанов изменил название — «Возрождающийся Египет». Замысел Розанова издать книгу о Египте при его жизни не осуществился. (Впервые: Розанов В. В. Возрождающийся Египет).

<sup>18</sup> Намек на популярных в России «знатных иностранцев»: английского историка Генри Томаса Бокля (1821—1862), книга которого «История цивилизации в Англии» выдержала в России до 1917 года десять переизданий, и английского философа Герберта Спенсера (1820—1903), идеолога либерализма. Любопытно, что Розанов-гимназист, прочитав Бокля, выbral себе английский имя «Вильям» (Розанов В. В. Листва. С. 235).

<sup>19</sup> Речь идет о Шлиссельбургской крепости, политической тюрьме.

<sup>20</sup> Жилкин Иван Васильевич (1874—1958) — журналист, прозаик, общественный деятель. В 1906 году Жилкин был избран в 1-ю Государственную думу от Саратовского Союза трудящихся. Был членом редколлегий газет трудящихся — «Крестьянский депутат» (1906) и «Трудовой народ» (1907). Розанов поддерживал с Жилкиным дружеские отношения, бывал у него в гостях. В 1917 году Жилкин регулярно печатал статьи на политические темы в газете «Русское слово».

<sup>21</sup> О Г. В. Плеханове см. прим. 5. к п. 3. Дейч Лев Григорьевич (1855—1941) — один из лидеров социалистического движения, основатель марксистской группы «Освобождение труда» (1889). Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — первая русская террористка, деятельница социалистического движения, народница, член групп «Освобождение труда» и «Черный передел».

<sup>22</sup> Речь идет о журнале либерально-демократической направленности «Северные записки», выходившем в Петрограде с 1913 года.

<sup>23</sup> Морозов Николай Александрович (1854—1946) — революционер-народник, участник покушения на Александра II, приговоренный к вечной каторге; был заключен в Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости до 1905 года.

<sup>24</sup> Лопатин Герман Александрович (1845—1918) — революционер, первый переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык.

<sup>25</sup> О В. Н. Фигнер см. прим. 5 к п. 3.

<sup>26</sup> Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов был создан в первые дни Февральской революции. В апреле 1917 года Розанов, получив пропуск, отправился в Таврический дворец, где раньше заседала Государственная дума. Он был поражен изменившимся «захвачанным», «демократическим» видом Таврического дворца, наполненного солдатами с ружьями. Для него оказалось полной неожиданностью, что все кабинеты дворца заняты Советом рабочих и солдатских депутатов: «Мне это в голову не приходило, и, очевидно, в России тоже „смутно“ на этот счет: что *теперешняя* Государственная Дума, которая естественно и конечно распущена сейчас, территориально занята *Советом Рабочих и Солдатских Депутатов*, который и есть на самом деле и временно пока единственное „представительное учреждение в России“» (*Обыватель*. [Розанов В. В.] В Совете рабочих и солдатских депутатов // Новое время. 1917. 9 апр. № 14747; цит. по: *Розанов В. В.* Мимолетное. С. 344).

<sup>27</sup> Имеется в виду избрание на престол в 1887 году народным собранием в Болгарии принца Фердинанда (1861—1948) после отречения князя Александра Баттенбергского. Фердинанд принес присягу на верность конституции и не мог вести собственную политику. С 1908 года Фердинанд становится царем Царства Болгарского.

<sup>28</sup> Марков Николай Евгеньевич (1866—1945) — глава фракции правых в 3 и 4 Государственных думах, монархист, председатель Союза русского народа. Был известен как Марков 2, так как в думе были его однофамильцы. После Февральской революции покинул Петроград. Несмотря на измененную внешность (отрастил бороду и коротко подстригся), в июне 1917 года Марков был арестован и доставлен в Петроград.

## 6

### В. В. Розанов — П. П. Перцову

〈Первая половина апреля 1917 года〉

Я написал было В(ам) длинное письмо,<sup>1</sup> но не посылаю «в наказание»: с 1916 г(ода), как Вы превратились в Ник. Михайловского Младшего<sup>2</sup> — просто не понимаю, о чем и зачем нам переписываться? О всем этом я читал с 1890 г(ода) во всех журналах и газетах, и неужели в 100.000 раз надо еще читать в письмах, в мелком характерном почерке П. П. П(ерцова) «Tritum per tritum».<sup>3</sup>

Никол(ай) II и удивительный Распутин лет через 200 будут признаны настоящими основателями русской свободы, которую ведь не Милюков же с Родичевым<sup>4</sup> сделали. «И дана б(ыла) власть зверю»...<sup>5</sup>

«И пришел черед Святым»...

Осмеиваемые, проклинаемые — они, я думаю, даже сознательно, чуть-чуть и сознательно — соделали волю Божию: даровать несчастному, загнанному, затоптанному народу свободу. Ник(олай) II — остроумнейший и интеллигентнейший человек в личном общении (все говорят, общее всех впечатление), — «почти энциклопедист» по впечатлению Н. П. Лихачева<sup>6</sup> (русск(ого) историка) был вовсе не «Гнилой», как Вам показалось в «беснованиях à la Михайловский», а был юродивым и святым, был поистине Николаем II Великим, который совершенно по Гамлету ныне мудро колет лед в Царском.<sup>7</sup> И он сам умом своим, тонким, одухотворенным, и Распутин вещим даром подсказал ему — что «всякая политика есть вообще *грунда*», — совершенно по Розанову. И он сошел с Престола, совершенно спокойно, без всякой тревоги, без всякого сопротивления, — и «как бедный Йорик»,<sup>8</sup> сказал: — «И отлично: я пойду в Ливадию, ибо там много цветов, а я так люблю цветы». Через 200 лет он будет признан удивительнейшим, величайшим Го-



сударем, Государем-*so* — ни на кого не похожим в отрицании самой сущности *государственности*. Это — давно пора. «И вот он любит армянские анекдоты», рассказываемые Сухомлиновым,<sup>9</sup> воюет и не воюет, и начинает вообще дурачиться на Престоле, назначает министров один хуже другого, старикашек, ясно показывая народу: «гоните их *von*». Народ поздно догадался, но, наконец, догадался о мысли Царя-Юродивого, который строил себе мавзолей-Собор в Царском:<sup>10</sup> в то время как Дума разыгрывала какую-то «оппозицию». Из всех лиц КУТЕРЬМЫ Царь I был мудр: а и мы были жертвами его смеха, остроумия и святости. «Николай Блаженный». И вот — «хлыстовщина на Престоле». Ваши же мысли «о длине полового органа у Распутина», к(а)к мотив всего — суть не из лучших мыслей Скабичевского<sup>11</sup> — Михайловского.

Мы с Вами просто перестали понимать и *чувствовать* друг друга.

Vale B. Роз.

Тернавцев *давно* выпущен.<sup>12</sup>

Датируется по карандашной помете Перцова на письме: «1917 19 IV (отвеч.)». Письмо на бланке газеты «Новое время».

<sup>1</sup> См. п. 5.

<sup>2</sup> Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — идеолог народничества, публицист, редактор журнала «Русское богатство». По мнению Розанова, именно Михайловский толкнул молодежь на путь «кающихся дворян» и захватил этих «кающихся» в невод социал-демократии.

<sup>3</sup> «терто-перетерто» (лат.)

<sup>4</sup> Названы имена лидеров Конституционно-демократической партии, преобладавшей в составе Временного правительства. Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — один из основателей Конституционно-демократической партии, министр иностранных дел Временного правительства. Родичев Федор Измайлович (1854—1932) — один из организаторов Конституционно-демократической партии. Розанов возмутился, когда на съезде партии в конце марта 1917 года кадеты провозгласили, что они не за конституционную монархию, как утверждалось ранее, а за республику. В неопубликованной тогда статье «Монархия — старость, Республика — юность» Розанов писал о лжи кадетов: «...они все время существования своей партии обманывали всю Россию. (...) „никакой конституционной монархии *как идеала* у них в душе не стояло, а они говорили или тараторили о конституционной монархии, потому что не перед русскими говорить было *о республике*”. „А когда теперь республика, то они, конечно — за республику» (Розанов В. В. Мимолетное. С. 379).

<sup>5</sup> Неточно цитируется Апокалипсис: Откр. 13: 4.

<sup>6</sup> Лихачев Николай Петрович (1862—1936) — историк, архивист, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Розанов обращался к Лихачеву в связи со своим интересом к Египту.

<sup>7</sup> С 9 марта 1917 года царская семья находилась под арестом в Александровском дворце в Царском Селе под Петроградом.

<sup>8</sup> Восклициание принца Гамлета над черепом шута Йорика в пьесе У. Шекспира «Гамлет» (действие 5, сцена 1).

<sup>9</sup> Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — генерал, военный министр России (1909 — июнь 1915).

<sup>10</sup> Речь идет о Феодоровском соборе. См. прим. 17 к п. 3.

<sup>11</sup> Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911) — критик, историк литературы, всегда упоминаемый Розановым в негативном контексте. Розанов причислял Скабичевского к критикам западного толка.

<sup>12</sup> См. прим. 8 к п. 2.

## 7

П. П. Перцов — В. В. Розанову

⟨10 апреля 1917 года⟩

Bravo, «Обыватель»!<sup>1</sup>

П. П.

На почтовой карточке:

«г. Петроград  
Шпалерная, 44-б; кв. 22.  
Е⟨го⟩ В⟨ысоко⟩б⟨лагородию⟩  
Василию Васильевичу Розанову»

Датируется по штемпелю отправления на почтовой карточке.

<sup>1</sup> С апреля 1917 года Розанов все статьи в «Новом времени» печатал под псевдонимом Обыватель. Розанову, имевшему репутацию консервативного журналиста, прибавили жалование с тем, чтобы он печатался только под псевдонимом. Первая статья, подписанная «Обыватель», «В Совете рабочих и солдатских депутатов» была опубликована 9 апреля 1917 года.

## 8

В. В. Розанов — П. П. Перцову

⟨Апрель 1917 года⟩

В⟨оистину⟩ В⟨оскресе⟩!

Валентин через 4 дня б⟨ыл⟩ выпущен, с большими извинениями.<sup>1</sup> Недоразумение. Непонятно, перед чем и кем республ⟨ика⟩, так очевидно и широко всеми признанная, все боится измены и *contre-révolution*.<sup>2</sup> Это — смешно. «Старый режим» понятно, что всего боялся. Его точили со всех сторон, и, наконец, восстал даже деликатный П. П. П⟨ерцов⟩, не говоря о прошедших Философ⟨ове⟩ и Мереж⟨ковском?⟩<sup>3</sup> и «подкапываемомся и грязном» Ни⟨колае⟩ Михайл⟨овском⟩ синей бороде с 7-ью любовницами и с двумя именниками в году.<sup>4</sup> Меня собственно возмутили Ваши письма 1916 г⟨ода⟩.<sup>5</sup> Я «ахнул» в душе тону, *грубости*: «m-me Распутина», «Николай Гнилой». Вы не покраснели повторить гнусного Амфитеатрова с «Ни⟨колаем⟩ Обмановым».<sup>6</sup> Я радуюсь, что Царь отрекся от *такой* России; где нет подданных, какой же Царь. Признаюсь, Ваш этот тон (неужели навсегда?) отчудил меня от Вас, *столько лет непрерывно дорогого и милого* (и *во время ссор* — из-за корректур). Вы были — Вы: гордый, с «суеверьями», но *везде* всегда благородный, ко всем всегда деликатный, никого не оскорбляющий. Вдруг я читаю о «Ник⟨олае⟩ Гнил⟨ом⟩» и «m-me Распутиной». Кто пишет. «Где он?» Невыразимо больно. Нынешние письма лучше: но повторяют ту же мелочь и злободневность без всякого сознания, веков и времен. Конечно, мы (пишу о *себе*) ошиблись: радикалы — лучше, честнее. Это — прямая и жестокая ошибка, и в ней нужно прямо сознаться. Чтò я написал о Керенск⟨ом⟩ в «Оп⟨авших⟩ л⟨истьях⟩» за 1914—15 гг.<sup>7</sup> А между тем оказалось — он прямо *прекрасен*. Меня собственно отравлял Ни⟨колай⟩ Михайл⟨овский⟩, еще с университета, этот Мих. Меньшиков радикализма. Но и Пешехонку, и Иванч⟨ина⟩-Писар⟨ева⟩, и Мякотина<sup>8</sup> — я прямо любил. Какие чудные воспоминания Елпатьевского («Русская мысль» этот месяц):<sup>9</sup> добр, ясен, почти интересен. Какой чудный Фед. Анненский.<sup>10</sup> Это я *всегда*

видел. Я ничуть не меняюсь, хоть Вам и кажется. Я всегда кое-что очень любил в радикализме: прямоту, ясность, добро, грубоватость. «Рвота» моя от них начиналась, от «их убеждения», а не от *личности*, или — *редко от личности* (Н. Мих(айловский)). «Убеждения?»... Но тут я машу рукой и ничего не говорю. Как всю жизнь, так и *сейчас*. Они просто глупы, все радикалы. И дураками остаются и теперь.

Но ведь «Иваны спасали Царства» (Ив(ан) Дурак). Вот это-то я и вижу сейчас: «Дураки-то они дураки, но *отлично наступают*: решительно, быстро, благостно. Как-то ясно и широко. «Широкая натура» — у них. А ведь это «русская натура». Все же мудрецы à la Н. Н. Стр(ахов), Н. Я. Данил(евский), Кон. Леонтьев и даже «великие Катков и Леонтьев» (и я) буквально онанисты под одеялом, потели, пердели и ничего не сделали, ни для себя, ни для России. В *делах* славянофильство — это такая сволочь, что и разговаривать нечего. Это решительно *всегдашнее мое мнение*. Вообще (мне кажется) я понимаю историю алгебраически, а Вы, арифметически: для Вас — «примеры», факты, «сло(во)употребления», «Ник(олай) Гнилой» и «скандал с Распутиным». Для меня просто все это сплетни, и я никакого значения «не дам и фактам» и «3-м крапам бочки не придавал». Для меня есть живущие энергии. Увидя молодость и энергию у «них» — я кричу *ура*. И всегда — кричал. А что «дураки» — то выучатся. Выучились же Ни(колай) Бердяев и С. Н. Булгаков. Вообще мы все учимся и история вечно учится. Я думал, что «радикалы к учению неспособны», но Бердяев и Булгаков показали, что «способны». <sup>11</sup> Еще лучше это показали Петерсон и Кожевников, чудные идеалисты, издатели «Общего дела» Фёдорова. <sup>12</sup> Может быть, показал и П. П. П(ерцов), перешедший из «Русск(ого) богат(ства)» в «Н(овый) путь». <sup>13</sup> Тут тоже моя грубая ошибка, т. е. о «неспособности к учению».

Но: перемена произойдет именно от «сейчас», когда социализм вдруг очутился в «правящих сферах». Я только теперь, всего недели 2 почувствовал, до чего все переменялось в нашу пользу, до чего слагается все превосходно «в мире идей и фактов». Мое из «умер» в «воскресну» началось потому, что я увидел целое море условий для победы, увидел впервые с 1890-х годов: когда столько лет я работал, чувствуя, что «ни сейчас, ни в будущем — никакой надежды». Какая грустная книга «Литер(атурные) изгнанники», «Уедин(енное)», «Оп(авшие) л(истья)». «Нет воздуха под крылами»: 30-летнее ощущение. Вот 2 недели я непрерывно чувствую воздух под крылами. «Все наше поднимается», и с 1917 года начнет подниматься, крепнуть, отвоевывать пункт за пунктом. И «в 40-х годах — *любимые* писатели Достоевск(ий), П. Флоренск(ий), В. Розанов» — в этом я *не сомневаюсь*. Вы до 40-х или по крайней мере 30-х годов доживете: *и вот тогда*, уже к 30-м и даже к самому концу 20-х годов — *увидите*. Я не доживу, Вы — доживете; особенно Мар(ия) Пав(ловна) <sup>14</sup> доживет, а Андрюша «пойдет в самую середину». <sup>15</sup> И ничего «другого и особенного» не придет, п(отому) ч(то) ведь ничего вообще другого и особенного нет: ибо *идеи* вечны, и суть теперь та же, как при Платоне и Аристотеле, Гераклите и Демокрите. Республика определится как сытая и довольная собою скука, а если она пойдет по-русски — всё в юность, в крепость, в «Керенского», то и «Розанов 1895 г(ода)» (так!) <sup>16</sup> скажет: «Давай Бог: я не *против* республики («по-русски»), а *против* республики des Etats Unis (так!)». <sup>17</sup> Но, напр(имер), *за* communes des France de XIII—XII вв., <sup>18</sup> за «Podestà Савонароллоу (так!) и Медичи» Италии. <sup>19</sup> Как Вы не видите *разницу методов*, конкретный Вы человек. «Что нам республика», «Что нам царство»: подавай — Берендея, сказку, песню, Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Уже сейчас перемена: в 70-е годы Царь Некрасов и гонимый нищий Александр П. Неужели «Розанова это могло радовать».

Неужели тоскливое, испуганное, загнанное царство, «О провались ты, страшный призрак».<sup>20</sup> Совсем иное дело «100 Чхеидзе»<sup>21</sup> и «прекрасно отрекшийся от власти Николай II». Какая разница в положении. Самый образ Царя переходит из «окруженного жандармами» — во что-то чистое и грустное». А «100 Чхеидзе вокруг коих штандарты скачут» — надоест безумно через 3 года. Впрочем, в идеях я за *долгое* существование республики, и «царства», пожалуй, — совсем действительно, не надо: опять начнутся «интриги при дворе», лстящие министры, пройдохи, «III отделение», и словом опять начнется «от Альфреда Великого<sup>22</sup> до Н(иколая) Гнилого» (ужасное слово, гоголевское по мерзости, и которое остается мерзким даже если бы и было истинным). Вообще у меня на душе — УРА. А П. П. П(ерцов) пусть думает как думает.

Устал. В. Р.

М. Меньш(иков) «в долгом отпуске»,<sup>23</sup> М. А. Сув(орин) «надолго уехавши в имение», Тычинкин и Мазаев — «вон».<sup>24</sup> И — по доброму почину самой редакции (прочие по требованию Совета Товарищества) — «Розанов» временно превращен в «Обывателя».<sup>25</sup>

Мне все равно, ибо на душе праздник.

Какие письма с *любовью* к «Гнилому» я получаю — одно из Харькова, от лазаретного еврея.<sup>26</sup> Какие на самом деле евреи бывают иногда *нравственно-гениальные* люди. Недаром я всегда любил их больше греков и позитивных римлян (мерзких). Среди них только «Грузенберги и Винаверы»<sup>27</sup> мерзки. Но «жидова», мелкая и незаметная — чудесная.

Датируется по карандашной помете Перцова о дате получения письма: «25 IV 1917 г.».

<sup>1</sup> См. прим. 8 к п. 2.

<sup>2</sup> контрреволюции (*фр.*)

<sup>3</sup> См. прим. 1 к п. 5.

<sup>4</sup> Во втором Коробе «Опавших листьев», размышляя о том, что нигилизм есть «прихлеба-тель богатого», Розанов вспомнил эпизод, рассказанный ему «смеющимся» Перцовым, о том как «лакей-Михайловский с размахом праздновал свои именины два раза в год — на зимнего и на весеннего Николу. На поклон к нему приезжали в этот день литераторы не только из Петербурга, но и из Москвы. Курсистки приходили к нему в этот день с букетами цветов, а студенты лепетали свою „опозицию“» (*Розанов В. В. Листва. С. 282, 283*).

<sup>5</sup> Розанов ошибается: имеются в виду письма 1915 года.

<sup>6</sup> Речь идет о фельетоне А. В. Амфигеевцева «Господа Обмановы» (Россия. 1902. 13 янв.), где высмеивались члены династии Романовых, в том числе и Николай II (Ника Милуша).

<sup>7</sup> Имеются в виду записи, вошедшие в рукописи «Мимолетное. 1914 год» и «Мимолетное. 1915 год», где А. Ф. Керенский всегда упоминался негативно. Так, в записи от 4 февраля 1914 года, вспоминая заседание Религиозно-философского общества, когда его исключали, Розанов писал: «Потом завыл этот Керенский, до того дурак, что я такого не слыхивал, и в *литературном* обществе неприлично слушать...» (*Розанов В. В. Когда начальство ушло... С. 205*). Об этом же заседании и выступлении Керенского запись от 3 июня 1914 года (Там же. С. 386). Такая же отрицательная оценка Керенского сохранилась и в записях 1915 года, где его имя упоминается чаще, чем в записях 1914 года. В представлении Розанова главная черта Керенского — безликасть: «депутат Думы и мелкий социал-демокр. писателишка», «тупой, формальный, деревянный» (*Розанов В. В. Мимолетное. С. 100*). Керенский — «„серая шинель“ парламента и парламентаризма» (Там же. С. 279). Пустое красноречие Керенского и его беспомощность, которые привели Временное правительство к краху, были замечены Розановым еще в 1915 году: «Ведь он бедный ничего не умеет и ничего не видит. Он только кричит. Причем пальцем перед собой рассекает воздух и наклоняется вперед как маятник» (Там же. С. 281).

<sup>8</sup> Перечисляются имена радикальных деятелей. Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933) — публицист, неоднократно выступал как организатор акций протеста в Петербурге против властей. Попытался возродить традиции народничества для борьбы с самодержавием. Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849—1916) — деятель народнического движения. Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — либеральный деятель, один из организаторов партии эсеров, историк и публицист.

<sup>9</sup> Воспоминания прозаика и публициста-народника С. Я. Елпатьевского (1854—1933) в журнале «Русская мысль» за 1917 год не выявлены.

<sup>10</sup> Ошибка. Речь идет о Николае Федоровиче Анненском (1843—1912), публицисте, общественном деятеле, брате И. Ф. Анненского. Неоднократно был арестован за политическую неблагонадежность, участник многих оппозиционных союзов и обществ.

<sup>11</sup> Оба философа, Николай Александрович Бердяев (1874—1948) и Сергей Николаевич Булгаков (1871—1944), были в молодости увлечены освободительным движением.

<sup>12</sup> Речь идет об учениках русского мыслителя Н. Ф. Федорова (1829—1903) В. Я. Кожевникове и Н. П. Петерсоне. Ученики философа издали исследование Федорова уже после его смерти, дав ему название «Философия общего дела» (Т. 1. М., 1906; Т. 2. М., 1913). Книга вышла тиражом 480 экземпляров и предназначалась «не для продажи». Владимир Александрович Кожевников (1852—1917) — религиозный философ, историк культуры. Розанов сблизился с ним в 1910-е годы. Николай Павлович Петерсон (1844—1919) — публицист, учитель школ в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого. Был близок к революционному кружку «ишутинцев». Уехал в Богородицк в 1864 году для пропаганды среди интеллигенции революционных идей, занимал должность учителя арифметики и геометрии. Там же познакомился с Н. Ф. Федоровым, который был учителем в Богородицком уездном училище. Под влиянием идей Федорова, Петерсон полностью отказался от революционной деятельности.

<sup>13</sup> Напоминание о том, что и Перцов в свое время ушел с дороги радикально-демократического направления, когда разошелся с журналом «Русское богатство», в котором сотрудничал в молодости. В 1903—1904 годах он был редактором-издателем модернистского журнала «Новый путь».

<sup>14</sup> Перцова Мария Павловна (урожд. Бунина; 1872 или 1873 — после 1949), гражданская жена Перцова, жена его двоюродного брата В. В. Перцова.

<sup>15</sup> Перцов Андрей Владимирович (1900 — после 1949) — сын М. П. Перцовой от первого брака. С 1912 года учился в Москве в гимназии А. Е. Флерова (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 302. Л. 5).

<sup>16</sup> Ошибка: речь идет о 1995 годе.

<sup>17</sup> Имеются в виду Североамериканские Соединенные штаты (*фр.*).

<sup>18</sup> Коммуны Франции XIII—XII вв. (*фр.*). Речь идет о коммунах средневековой Франции, созданных восставшими горожанами. Восстание начиналось с объявления города коммуной. С криками «Коммуна!» восставшие горожане с оружием в руках поднимались против притеснителей феодалов. Если горожане побеждали, то в городе устанавливалась коммуна, подтвержденная хартией, полученной от феодала.

<sup>19</sup> Власть (*ит.*). Савонарола Джироламо (1452—1498) — итальянский монах-реформатор, настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции, управляемого семейством Медичи. В своих проповедях Савонарола обличал не только католическую церковь, но и самого Лоренцо Медичи в злоупотреблениях властью и преступлениях.

<sup>20</sup> Возможно, неточная цитата из трагедии У. Шекспира «Макбет» (действие 3, явление 4). Ср.: «Прочь!.. Прочь с глаз моих! / Сквозь землю провались и скройся! Прочь! <...> Тень страшная, исчезни! Призрак лживый!..» (пер. С. А. Юрьева; Русская мысль. 1882. Кн. II. С. 63—64 (приложение)).

<sup>21</sup> См. прим. 4 к п. 4.

<sup>22</sup> Король Уэссекса (849—901) — правитель англо-саксонской Британии. Возможно, образ короля уэссекского Альфреда для Розанова соотносился с незаконченной драмой Н. В. Гоголя «Альфред» (1835?). Действие пьесы происходит в Англии конца IX века. В центре пьесы король Альфред, с именем которого связывали перелом в английской истории. Он освободитель Англии от иноземного вторжения, преобразователь государства, ученый, писатель.

<sup>23</sup> См. прим. 10 к п. 4.

<sup>24</sup> Тычинкин Константин Семенович (1865 — после 1925) — редактор газеты «Новое время»; о М. Н. Мазаеве см. прим. 18 к п. 2.

<sup>25</sup> См. прим. 1 к п. 7.

<sup>26</sup> Вероятно, речь идет о письме Лейзера Шацмана, находящегося в туберкулезном санатории в Харьковской губернии: «Жаль царя Николая. Догадываюсь, что он был человек мягкого характера и безвольный очень» (Цит. по: *Розанов В. В. Мимолетное*. С. 426).

<sup>27</sup> Грузенберг Израиль Иосифович (1866—1940) — юрист, адвокат М. Бейлиса по делу об убийстве А. Ющинского в 1913 году. Винавер Максим Моисеевич (1863—1926) — юрист, один из основателей и лидеров Конституционно-демократической партии.

## 9

## П. П. Перцов — В. В. Розанову

Б(ольшая) Молчановка, 23, кв. 25.

1917 16 / IV.

Дорогой Василий Васильевич! Сегодня приехала из Петрограда одна наша знакомая, тамошняя жительница, бежавшая «заблаговременно, пока все не побежали». Судя по ее рассказам, да впрочем и по всему, Петроград в самом деле под ударом немцев и в более опасном положении, чем в 1915 г(оду).<sup>1</sup> То же пишет мне и Кострова («Русс(кое) богат(ство)»)<sup>2</sup> Флот, говорят, фактически не существует (вследствие избиения всех главных шкиперов), армия в развале, а Финляндия, напуганная нашей анархией, будет рада высадке немцев.

Черт знает, может и правда? По-видимому, мы вместо ожидаемых «эмпиреев», покатались в яму (см. еще вырезку).<sup>3</sup> Ну, Рассеюшка! Похоже, что и эта наша революция оказывается, как и все прежние (Смутное время; 1905 г(од)) *только* бунтом — русским бунтом, «бесмысленным и беспощадным».<sup>4</sup> Может, еще выйдет прав Ваш Флоренский, «умнейший из смертных»,<sup>5</sup> коего я вчера впервые видел (сидящим на эстраде митинга возле С. Н. Булгакова)? А Булгаков тоже пророчил какие-то ужасы...

Но дело вот в чем: мы с Машей<sup>6</sup> на случай «бегства» предлагаем Вам взять нашу квартиру (т. е. занять ее на лето — у нас контракт по 1 августа). Летом она все равно будет стоять пустая, а так Вы едва ли что в Москве найдете — Москва набита также, к(а)к Петроград. Г(ово)рят, даже комнату в гостин(ице) нельзя найти. Если решите переехать, сообщите только *скорее*, ибо мы уезжаем из Москвы *6 мая* (кончается у А(ндрюши)?),<sup>7</sup> а до тех пор нужно соответственно устроить всё.

У нас — 5 комнат, все хороши, 2, даже 3 большие, и остальные не малы. Ну, кухня, конечно, ванна и Ваш любимый «ватер». Цена сравнит(ельно) низкая (осталась старая) — 100 р(ублей) (отопления нет). Теперь это дешево. У нас найдете мебель, хоть не так много, но достаточно. Есть и посуда, конечно, и вообще все эти «домашности». 4 кровати (+ 5/я прислуги). Еще диван для спанья. Мы Вам оставим все ключи (если приедете после нас) у одних здешних знакомых. Словом, разместиться есть где, если в самом деле придется уезжать. И если случится такая катастрофа с Петроградом, м(ожет) б(ыть) мы могли бы Вам оставить квартиру (в какой-либо комбинации) и на зиму. Она собственно очень просторна (и тепла).

Сами мы на лето укрываемся «пока что» в сусанинские леса<sup>8</sup> — благо, их, кажется, еще не начинали рубить свободные граждане. Но, конечно, и там теперь ни за что поручиться нельзя. Может и туда доплеснуть «ленинство».

Суть момента — конечно, в отсутствии (фактическом) правительства. Кадеты провалились совершенно. Прав К. Леонтьев: Львов (кн(язь))<sup>9</sup> потому, конечно, и пасует так перед Лениным и С°, что линия: кадеты-трудовики-социал-анархисты — *одна линия*, и Ленин только *договаривает* то, о чем мямлит Львов и все эти «временно-болтающие».<sup>10</sup>

— Ну, addio. Так если нужно — берите квартиру.

Всего хорошего!

Ваш П. Перцов.

С пищей здесь сравнительно легче — всегда есть мясо и бел(ый) хлеб (и молоко).

<sup>1</sup> В августе 1915 года, когда опасались наступления немцев на Петроград, Розанов обращался с просьбой к Перцову приютить сына Василия в Москве (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 86. Л. 36).

<sup>2</sup> Кострова Лидия Валериановна (1861—1918) — сотрудница журнала «Русское богатство».

<sup>3</sup> Упомянутая в письме «вырезка» не сохранилась в архиве.

<sup>4</sup> Измененная цитата из главы 13 повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (*Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1938. Т. 8. С. 364*).

<sup>5</sup> Ср. в «Уединенном»: «...глубочайшие умом Флоренский, Рцы» (*Розанов В. В. Листва. С. 65*).

<sup>6</sup> См. прим. 14 к п. 8.

<sup>7</sup> См. прим. 15 к п. 8.

<sup>8</sup> Имеется в виду дом под Костромой в деревне Масленницы, принадлежавший жене Перцова М. П. Перцовой и приобретенный в мае 1913 года.

<sup>9</sup> Князь Георгий Евгеньевич Львов (1861—1925) возглавлял Временное правительство со 2 марта по 7 июня 1917 года.

<sup>10</sup> С приездом В. И. Ленина в Петроград 3 апреля 1917 года политическая ситуация изменилась. На другой день после возвращения, 4 апреля, он выступил с «Апрельскими тезисами» с балкона особняка М. Кшесинской с требованиями заключения немедленного мира, роспуска Временного правительства («никакой поддержки Временному правительству») и передачи власти Советам. Ленин призывал к перерастанию буржуазно-демократической революции в социалистическую. В результате правительственного кризиса во Временное правительство вошли наряду с министрами-капиталистами социалисты.

## 10

### В. В. Розанов — П. П. Перцову

(После 17 апреля 1917 года)

Дорогой П(етр) П(етрович)! Оказывается, я совсем запутался с письмами. Писал и *не отправлял*, воображая, что *уже отправил*. Передайте 1 Нестерову, а другое уже запечатанное — Вам.<sup>1</sup> Что в них — не знаю.

Спасибо за заботу. Но дети<sup>2</sup> идут «на полевые работы», а мы с мамой думаем остаться в Петрограде: куда с нею *ехать*, когда она не владеет рукой и немножко хромает на ногу. Авось немец не придет. Побойтся *рискнуть*.

В Петрограде плохо. Мы собственно не можем и не умеем стать гражданами, оставаясь все обывателями. Мы не знаем размеренности и «провала». Русский человек типично не гражданин. И м(ожет) б(ыть), станем «гражданами» только потухая. Это отвратительно политически, но культурно «ничего». Нас будут много еще любить, но уважать никто.

Итак, квартиру сдавайте, дорогой. А вообще-то было бы удобно. Но «семейный совет» отверг.

Датируется по содержанию.

<sup>1</sup> Не ясно, о каком неотправленном ранее письме Перцову идет речь.

<sup>2</sup> Старшая дочь Розанова Татьяна (1895—1975), слушательница Бестужевских курсов, уехала летом 1917 года в Рязанскую губернию устраивать ясли. Варвара (1898—1943) вместе с гимназией А. А. Оболенской работала на огородах в деревне. Надежда (1900—1956) гостила в имени своей подруги. Сын Василий (1899—1918) был на фронте. Дочь Вера (1896—1919), монахиня, заболевшая туберкулезом, находилась в санатории. После возвращения дочерей в августе 1917 года на семейном совете было принято решение об отъезде из Петрограда в Сергиев Посад.

## 11

### П. П. Перцов — В. В. Розанову

1917 19/IV.

Эх, Вы, батюшка! Ведь к(а)к сердится, злится, слюной брызжет... Но я к(а)к-то не могу на Вас обижаться — ведь трудно брать всерьез всю эту благопочухистикку о «Николае Великом» (не корове седло). Хорошо бы только

дать прочесть Ваше письмо г. Обывателя из «Нов(ого) Врем(ени)» — а то уж очень он бежит петушком за триумфальной колесницей Совета рабочих и с(ол)д(атских) депутатов.<sup>1</sup> Вот с кем В. В. Р(озанов) диаметрально противоположен...

Но отвечаю по пунктам:

1) засыпать морской берег собирался совсем не Гамлет (Ваше «колет лед»), а *Фауст*.<sup>2</sup>

2) «Михайловский» и иже с ним есть непререкаемый факт русской и «общественной» истории и души, и даже — что же врать? — общечеловеческого *идеализма*. Предпочитаю быть с Михайловским и даже Скабичевским,<sup>3</sup> нежели с Распутиным.

3) О последнем я, конечно, никогда не писал так вульгарно-физиологично («длина» penis'a). Это уже скорее из Вашего «ватера». Я думаю, что Распутин есть *соблазнившийся святой*, и, конечно, о нем будут писать тома. Перед нами прошло нечто крайне важное.

4) А «оседланная корова» (Николай) — ничтожество. Если он был за «частное» против «государственного» (очень понимаю), то сойдя с престола, будь к(а)к Федор Иоаннович.<sup>4</sup> Но он жалко цеплялся за власть, метался по России, хотел всех бросить на Петербург,<sup>5</sup> и залил бы все кровью во имя своего «святого самодержавия», в (кот)орое безбрежно верил. И тут ему Бог и дал по лапочкам и посадил в клеточку. И поделом — не водись с чертями!

Но не стоит больше. У Вас нет искренности в сердце, и оттого все для Вас затуманилось.

Addio!

П. Перцов

Ответ на письмо 6.

<sup>1</sup> Имеется в виду позиция Розанова в статье «В Совете рабочих и солдатских депутатов», опубликованной в двух номерах газеты «Новое время», под псевдонимом Обыватель (1917. 9 апр. № 14747; 13 апр. № 14751; *Розанов В. В.* Мимолетное. С. 342—353).

<sup>2</sup> Отсылка к 5 действию драмы И.-В. Гете «Фауст» (*Гете И.-В.* Фауст: В 2 ч. СПб., [1910]. Ч. 2. С. 374).

<sup>3</sup> См. прим. 11 к п. 6.

<sup>4</sup> Федор Иоаннович, известный также как Феодор Блаженный (1557—1598) — царь всея Руси и великий князь Московский с 1584 года, последний представитель династии Рюриковичей. Был неспособен к государственной власти и принимал очень незначительное участие в управлении государством. Избегал мирской суеты, много молился.

<sup>5</sup> Имеются в виду попытки Николая II навести порядок, когда он узнал о начавшейся в Петрограде революции. Царь находился в это время в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве и, узнав о революционных событиях с опозданием на два дня, приказал 25 февраля 1917 года командующему Петроградским военным округом генералу С. С. Хабалову пресечь беспорядки военной силой. Царский поезд пытался проехать в Царское Село, но не смог. Тогда по приказу царя поезд развернулся на Псков. На станции Дно под Псковом 2 марта 1917 года Николай II подписал отречение от престола.

## 12

П. П. Перцов — В. В. Розанову

1917 25/IV.

«Чувствую воздух под крыльями» — и «в Петрограде плохо»...<sup>1</sup>

«Россия расцветет» — и «мы не годимся в граждане». «Ура» Совету рабочих и проч. — и «в социальном строе один везет, а девятеро лодырничают» («Опав(шие) лист(ья)», вып. I, стр. 210 — случайно сейчас раскрылась).<sup>2</sup>



И т. д. Но только — чувствую, что Вы легко можете меня поймать: у меня, если сопоставить письма, верно тоже блох достаточно... Дело в том, что все теперь путаемся в противоречиях, а главное дело — что путается сама «реальная действительность», и еще главное и окончательное, что *все* это в конце концов *верно*: т. е., что и «расцветет», и «мы — не граждане». Дело в многосоставности, самопротиворечивости самой России: огромное государство, «подобного к(ото)рому не видали со времен Римской империи» (Ключевский), — и несомненная всё-таки а-политичность; Базаров и Серафим Саровский (и оба «характерны» национально); Стенька<sup>3</sup> и Тишайший<sup>4</sup> — рядышком; Чхеидзе<sup>5</sup> с «социалами»-«атеистами»-ерундистами, — и на соседней улице «Господи возвах к Тебе»: <sup>6</sup> к(ото)рому они к(ак)-то не мешают (и даже не хотят мешать), и оно закрывает глаза на них.

Тут можно «спятить», и нужно быть, должно быть, «теленком в истории» (Ваше меня определение), дабы все-таки всё это «возвести в систему» (ибо для меня ясен весь внутренний «строй» этой противоречивости).

Что не бежите из Петрограда — м(ожет) б(ыть), пока и правильно. Немец, пожалуй, и «замялся» (хотя тут тоже разногосица изрядная — Алексеев г(ово)рит одно,<sup>7</sup> Гучков другое,<sup>8</sup> Корнилов третье<sup>9</sup>).

Но я теперь скорее боюсь внутрен(него) развала. Я мистически боюсь, что Петрограду придется так ли, иначе ли «искупить» свою вину перед Россией (весь этот «период»). Просто не представляю, чтобы мы могли перейти к всамделишной «новой России» без этого «разрушения Вавилона»<sup>10</sup> — немецкими ли руками или русскими. И столица должна оттуда уйти и душа народная оторваться от петровского гипноза, — а *это легко* не дается!

Квартиру мы не сдаем. Я только *Вам* предлагал. Сдать ее не хитрость, но мы пока не собираемся покидать Москву вовсе, хотя и страшна продовольственно-дровяная (голодно-холодная) перспектива будущего года.

О метаморфозе «Нов(ого) Врем(ени)» знаю давно — рассказал заезжавший к(ак)-то ко мне Тычинкин.<sup>11</sup> И о Валентине<sup>12</sup> — от Новосёлова.<sup>13</sup> Пока Вы соблаговолили ответить, сто лет прошло.

Письмо Нестерову передам,<sup>14</sup> хотя Вы меня там и ругаете, что есть свинство. Но он теперь, кажется, бодр — мечтает о Михаиле II-м, к(ак) «итоге». Vale.

П. П.

Возможно, также ответ на письмо 6.

<sup>1</sup> Цитируются фразы из писем Розанова. См. п. 8, 9.

<sup>2</sup> См.: *Розанов В. В.* Опавшие листья. Кн. 1. С. 210.

<sup>3</sup> Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — донской казак, предводитель крупнейшего восстания 1670—1671 годов.

<sup>4</sup> Речь идет о русском царе из династии Романовых Алексее Михайловиче (1629—1676), которого за спокойный добродушный нрав называли Тишайшим.

<sup>5</sup> См. прим. 4 п. 4.

<sup>6</sup> Пс. 140.

<sup>7</sup> Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал, начальник штаба при Николае II. Во время Февральской революции выступил за отречение императора от престола. После отречения царя генерал Алексеев был назначен Верховным главнокомандующим русской армии.

<sup>8</sup> Гучков Александр Иванович (1862—1936) — военный и морской министр Временного правительства, принимал 2 марта 1917 года отречение Николая II. Являлся сторонником про-

должения войны. Из-за невозможности противостоять анархии и разложению армии в апреле 1917 года принял решение об отставке.

<sup>9</sup> Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал, назначен командующим Петроградским военным округом 2 марта 1917 года.

<sup>10</sup> Здесь «Вавилон» упоминается как символ безнравственности. В Апокалипсисе: «пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр. 14: 8).

<sup>11</sup> См. прим. 24 к п. 8.

<sup>12</sup> См. прим. 8 к п. 2.

<sup>13</sup> См. прим. 13 к п. 5.

<sup>14</sup> Имеется в виду письмо Розанова к М. В. Нестерову.

## 13

### В. В. Розанов — П. П. Перцову

⟨Май 1917 года⟩

Ну, и слава Богу. Значит, «мы живы», т. е. «дружны». Значит, *общий принцип*:

В мире так много ссорливости (так!), вражды, ненавидения, — людей, партий, — форменный

*Апокалипсис Ненавидения:*

что —

в Борьбе со Зверем:

— не надо вообще ссориться, никому и ни с кем.

Я Вам послал *очень длинное* (и хорошее) письмо с адресом:

В Кострому, в Почтовую *Контору*,  
с просьбой положить в ящик П. П. Перцова — простое письмо. Я был уверен, что Вы уже в Костроме.

Я написал, 2—3—5 марта:

«Истаяние Царства.

(В утешение русским)».<sup>1</sup>

(NB. У меня были 2 поразительные *видения*, и я с них и начал).

Очень хорошая вещь. Листа на 2, на 2 ½ печатных; и самое большее — листа на 3.

Хотелось бы безумно издать.<sup>2</sup>

*Полезно* — было бы, для всех русских. Мечтается: чтобы взялись москвичи, Нестеров,<sup>3</sup> еще тот, что «Апостолов писал»: это всего рублей на 300. В 1.500—2.000 экз⟨емпляров⟩. Окупились бы моментально и деньги «со всей честностью Розанова» уплатил бы. Скажите-ка им, чертям! Самая малая предприимчивость. В С⟨анкт⟩-П⟨етер⟩б⟨урге⟩ *все типографии* не работают (не принимают никаких новых заказов). Всего рублей 300 затратить. И кредит — в 6 месяцев. А ведь может разойтись и 10.000 экз⟨емпляров⟩, и тогда я в больших «+++». Но а «московские увальни когда же тронутся?» Разве мы «граждане»:

«Сторона наша убогая».<sup>4</sup>

В. Р.

Да уж не сказать ли Рябушинскому? Может, он меня помнит по «Золотому руну»?<sup>5</sup>

Или — *Сытину*?<sup>6</sup> Тоже голова умная.

<sup>1</sup> См. с. 40.

<sup>2</sup> Десять выпусков «Апокалипсиса нашего времени» напечатал на свои средства книгоговец Михаил Савельевич Елов (1862 — после 1928). Его магазин, существовавший с 1899 года в Сергиевом Посаде, располагался около Троице-Сергиевой лавры на Красногорской площади. В магазине Елова продавались выпуски «Апокалипсиса нашего времени». Последний издатель Розанов являлся крупным торговцем книгами и газетами, старостой Успенского собора, имел собственный дом в Сергиевом Посаде (ул. Валовая, 12).

<sup>3</sup> Вероятно, речь идет об оформлении обложки «Апокалипсиса нашего времени» М. В. Нестеровым.

<sup>4</sup> Цитируется первая строка стихотворения Н. А. Некрасова «Дума» (1861).

<sup>5</sup> Рябушинский Николай Павлович (1877—1951) — меценат, выходец из известного купеческого рода, редактор-издатель символистского журнала «Золотое руно», где Розанов напечатал ряд статей в 1906—1907 годах.

<sup>6</sup> Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — издатель газеты «Русское слово», где в 1905—1911 годах печатался Розанов под псевдонимами «В. Елецкий» и «В. Варварин». В декабре 1917 года Розанов писал И. Д. Сытину: «Как же это мы просмотрели всю Россию, прогуляли всю Россию, прозевали всю Россию, и развалили всю Россию, делая с нею то же самое, что с нею сделали поляки, когда-то в Смутное время, в 1613 год! (...) И мы, как вся печать русская, только и делали одно: провозили 30 лет *Ленина* в *Петербург*. Не хочу укорять, упрекать, хочу плакать. Плакать над разоренной Россией» (цит. по: Розановская энциклопедия. Стб. 984).

© М. Л. СПИВАК

## СБЕЖАВШИЙ ПРОКУРОР, ПРОПАВШАЯ КНЯГИНЯ И ДЕРЗЯЩАЯ ФРЕЙЛИНА: ОБ ОШИБКАХ В «ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ» И ЗАПИСЯХ А. А. БЛОКА 1917 ГОДА\*

В марте 1917 года Александр Блок, как известно, начал службу в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (далее — ЧСК), где редактировал стенограммы допросов царских министров, военачальников, сановников, политических деятелей и людей, приближенных к императорской семье.<sup>1</sup> На основе документов ЧСК он составил своеобразный отчет, напечатанный сначала в журнале «Былое» (под заглавием «Последние дни старого режима»),<sup>2</sup> а потом выпущенный отдельной книгой: «Последние дни императорской власти».<sup>3</sup> Впечатлениями от показаний подследственных и мыслями о подготовке отчета инспирирована и значительная часть записей Блока в дневнике и в записных книжках.

Подавляющее большинство лиц, упомянутых в «Последних днях...» и в связанных с работой в ЧСК записях, — исторические персонажи. Они фигу-

Моника Львовна Спивак — заведующая Мемориальной квартирой Андрея Белого (отдел Государственного музея А. С. Пушкина); ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН.

\* Работа велась при поддержке гранта РГНФ № 15-34-12003 «Русская революция 1917 г. в литературных источниках (1917 — нач. 1920-х)» (ИМЛИ РАН).

<sup>1</sup> Подробно об этом см.: *Перегудова З. И.* Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц и Александр Блок // Блок А. А. Последние дни императорской власти / Сост. З. И. Перегудова, С. С. Лесневский; комм. З. И. Перегудовой, О. А. Поливанова. М., 2012. С. 298—365; *Иванова Е. В.* Александр Блок: последние годы жизни. СПб.; М., 2012. С. 64—85.

<sup>2</sup> *Былое*. 1919. № 15. С. 3—50. См. также перепечатку: Архив русской революции. Берлин, 1922. Вып. IV. С. 5—54.

<sup>3</sup> *Последние дни императорской власти* / По неизвестным документам составил Александр Блок. Пб.: Алконост, 1921.

рируют в многочисленных мемуарах и исследованиях, посвященных эпохе Первой мировой войны и русской революции, а потому при составлении аннотированного указателя к этим блоковским текстам не должно было бы возникать каких-либо сложностей. И действительно, как в старом 8-томном Собрании сочинений поэта,<sup>4</sup> так и в недавнем (2012 года) научном издании «Последних дней императорской власти» (куда вошли также дневники и записные книжки той поры)<sup>5</sup> почти все упомянутые политические деятели прокомментированы и проаннотированы. Ключевое слово здесь «почти», потому что недоумение и беспокойство вызывают те немногие, сведения о ком оказываются не просто неполными (отсутствие даты рождения или смерти — дело понятное, объяснимое и восполнимое), но вовсе маловнятные и мутными. К таким неопознанным персонам относятся, например, военный прокурор Мендель в «Последних днях императорской власти» и княгиня Туманова в записной книжке № 42.

### 1. Сбежавший прокурор

Заинтересовавший нас прокурор упоминается в третьей главе («Перевоорот») «Последних дней...» в связи с беспорядками в Петрограде 26 февраля 1917 года и тщетными попытками начальника Петроградского военного округа генерала Хабалова их подавить. Сергей Семенович Хабалов (1854—1924), назначенный на этот ответственный пост в 1916 году, а накануне, 24 февраля, получивший всю полноту власти в столице, начал использовать для разгона демонстрантов находящиеся в городе военизированные части. Но 4-я рота запасного лейб-гвардии Павловского полка вышла из подчинения. Солдаты захватили имеющееся в цейхгаузе оружие, самовольно вышли на улицу, смешались с толпой митингующих и стали стрелять в полицию.

Блок подробно описал этот эпизод, так как мятеж Павловского полка был первым случаем такого неповиновения: «Около 4-х часов дня Хабалову доложили, что четвертая рота запасного батальона Павловского полка, расквартированная в зданиях конюшенного ведомства, выбежала с криками на площадь, стреляя в воздух около храма Воскресения, и при ней находятся только два офицера, рота требовала увода в казармы остальных и прекращения стрельбы, а сама стреляла по взводу конно-полицейской стражи» (СБ 6, 233).

Перед Хабаловым встал вопрос о том, что делать с бунтовщиками. Военный министр Михаил Алексеевич Беляев (1863/1864—1918), назначенный только 3 января 1917 года, настаивал на их скорейшем показательном расстреле. Однако Хабалов испугался и переложил ответственное решение на представителя закона, на военного прокурора Петроградского округа. Блок рассказал этот эпизод так: «Беляев потребовал немедленно военно-полевого суда, но прокурор военно-окружного суда Мендель посоветовал Хабалову сначала произвести дознание. Хабалов приказал, чтобы сам батальон выдал зачинщиков и назначил следственную комиссию {...}. Батальонное началь-

<sup>4</sup> Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6: Проза 1918—1921 / Подг. текста Д. Е. Максимова, Г. А. Шабельской; прим. Г. А. Шабельской. С. 188—572 (далее сокращенно: СС, с указанием номера тома и страницы); Блок А. А. Записные книжки. 1901—1920 / Сост., подг. текста, предисловие и прим. В. Н. Орлова. М., 1965 (далее сокращенно: ЗК, с указанием номера страницы).

<sup>5</sup> Блок А. А. Последние дни императорской власти. М., 2012. Здесь текст очерка воспроизводится по изданию 1921 года.

ство выдало 19 главных виновников, которых и препроводили в крепость, как подлежащих суду (...)» (СС 6, 233—234; здесь и далее курсив мой. — М. С.).

В именном указателе Собрания сочинений Блока поясняется, кто такой Хабалов, кто такой Беляев, а вот Мендель оказывается не только без дат рождения и смерти, но только без имени и отчества, но даже и без инициалов. Его дефиниция механически повторяет блоковское определение: «Мендель, прокурор военно-окружного суда» (СС 8, 693). В издании «Последних дней...» (2012) он представлен немногим лучше, если не сказать — хуже, потому что вся добавленная по сравнению с Собранием сочинений информация не верна: «Мендель (?—1930), прокурор военно-окружного суда в Петрограде (февраль 1917), кадет».<sup>6</sup>

Если бы речь шла о кухарке, продавщице или, наконец, солдате, то «непроясненность» персонажа могла бы быть понятна. Но ведь здесь — военный прокурор, фигура, заметная на политической арене. Каким же образом обладатель столь высокой должности мог остаться неопознанным?

Причина тому проста: Блок ошибся в написании его фамилии, добавив две лишние буквы (л и мягкий знак) и таким образом невольно передолав ее на еврейский лад. Если обратиться к показаниям генерала Хабалова, данным ЧСК 22 марта 1917 года, то станет очевидно, что речь шла не о прокуроре Менделе, а о прокуроре Менде: «Меня все время требовал военный министр, чтобы по телефону я ему сообщал, что делается в городе. Я по телефону и сообщал. Когда было сообщено вечером об этой роте, он потребовал сию же минуту полевой суд и расстрелять... Признаюсь, я считаю невозможным не то что расстрелять, но даже подвергнуть какому-либо наказанию человека, не спросив его, хотя бы упрощенным судом, не осудив его... а тем паче предать смертной казни!.. Поэтому я потребовал *прокурора военно-окружного суда Менде* с тем, чтобы спросить, как быть с этой ротой (...): что же делать? — „Несомненно, должно быть дознание, и только после дознания, — полевой суд”».<sup>7</sup>

Если исправить ошибку Блока и вернуть прокурору его настоящую фамилию, то все встанет на свои места: у человека появятся имя, отчество, послужной список, биография и судьба. Сведений о Менде, к сожалению, не так много, как хотелось бы, но все же исследователи русской армии, Белого движения и ГУЛАГа собрали достаточно для того, чтобы восстановить заповздалую историческую справедливость.

Михаил Константинович Менде родился в 1861 году<sup>8</sup> и с детства был нацелен на военную карьеру. Он окончил 2-ю Московскую военную гимназию (1877), 3-е военное Александровское училище (1879), Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му разряду (1887), Александровскую воен-

<sup>6</sup> Там же. С. 525.

<sup>7</sup> Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства: В 7 т. / Под ред. П. Е. Щеголева. М.; Л., 1924. Т. 1. С. 196. Далее сокращенно: ПЦР, с указанием номера тома и страниц; здесь и далее курсив мой. — М. С.

<sup>8</sup> См. биографические справки о нем, например: *Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В.* Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. М., 2003. С. 139; *Симонов Д. Г.* Белая Сибирская армия в 1918 году / Отв. ред. В. И. Шишкин. Новосибирск, 2010. С. 472; *Шишкин В. И.* «Государство находится в исключительно критическом положении, поэтому прежде всего является необходимым создание его боевой мощи...» // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 4. С. 79 (прим. 9). См. также аккумулированные из разных источников сведения в базе данных «Офицеры русской императорской армии» (<http://ria1914.info/index.php> (дата обращения: 30.04.2017)) и в картотеке проекта «Русская армия в Первой мировой войне» (<http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3716> (дата обращения: 30.04.2017)).

но-юридическую академию по 1-му разряду (1895); служил в лейб-гвардии Волынском полку (с 1877), пройдя путь от подпоручика до полковника (1906) и генерал-майора (1913).

Большую часть жизни Менде находился на военно-судебных должностях: был помощником военного прокурора Петербургского военно-окружного суда (1907), начальником отделения Главного военно-судного управления (1908); во время Первой мировой войны — военным судьей Минского военно-окружного суда на театре военных действий, а с марта 1916 года — военным судьей Петроградского военно-окружного суда. На этой должности он встретил Февральскую революцию, пытаясь, как видно из показаний Хабалова, в дни беспорядков соблюсти закон и не допустить бессудных расправ. Судя по всему, к Временному правительству он был лоялен, а вот Октябрьскую революцию не принял и примкнул к Белому движению.

Видимо, сразу после Октябрьского переворота Менде покидает Петроград и вскоре «всплывает» в должности военного прокурора Омского военного округа. Уже 1 ноября он оказывается одним из руководителей мятежа юнкеров 2-й школы прапорщиков — первого очага сопротивления большевикам в Сибири.<sup>9</sup> Бунт юнкеров подавили 3 ноября; обошлось без крови, но Менде был арестован Объединенным комитетом революционной демократии Западной Сибири и вышел из тюрьмы под залог в апреле 1918 года.<sup>10</sup>

Потом в Омске, ставшем оплотом Белого движения, Менде продолжил работу на самых разных, но всегда высоких и ответственных постах. В 1918 году он — прокурор Западно-Сибирского (Омского) военно-окружного суда в войсках Временного Сибирского правительства, главный начальник снабжения Западно-Сибирского военного округа, главный начальник Западно-Сибирского военного округа, исполняет должности управляющего военным министерством Временного Сибирского правительства и председателя Соединенного присутствия Главных военного и морского судов. В апреле 1919 года Менде был произведен приказом А. В. Колчака в генерал-лейтенанты.

Разрозненные сведения позволяют предположить, что Менде в Омске так же, как ранее в Петрограде, старался следовать букве закона и карать его нарушителей. Так, летом 1918 года он пытается остановить и привлечь к ответственности главного начальника Восточно-Сибирского (Иркутского) военного округа полковника А. В. Эллерц-Усова, который, превысив свои полномочия, объявил призыв в Сибирскую армию казацкого населения и людей с образовательным цензом.<sup>11</sup>

Осенью 1918 года Менде участвует в разработке «вопроса о возможности реквизиции одежды казенного образца у гражданского населения» для нужд армии. Комиссия, которую Менде возглавил, предложила «обратиться к населению с воззванием о добровольной сдаче в семидневный срок необходимых для армии предметов обмундирования» и приняла решение «уплачивать за шинель от 60 до 80 руб., за походную суконную рубашку — от 40 до 60 руб., за походные суконные шаровары — от 30 до 50 руб., за ватную тулупку — от 30 до 40 руб.».<sup>12</sup> Таким образом Менде и его коллеги стремились не допустить повальных грабежей со стороны казачьих атаманов.

<sup>9</sup> Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 2001. С. 41. В книге ошибочно указаны инициалы брата военного прокурора Г. К. Менде.

<sup>10</sup> Иркутские дневники Г. Е. Катанаева / Вступ. статья, подг. текста, комм. К. Э. Безродного, О. А. Пьяновой // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 1999. № 7. С. 257—275 (прим. 56). См.: <http://museum.omsktelecom.ru/ogik/Izvestiya7/Bezrodny.html> (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>11</sup> Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия в 1918 году. С. 139—140.

<sup>12</sup> Там же. С. 170.

Впрочем, законотворческие инициативы Менде большого эффекта не имели.

Как свидетельствуют дневниковые записи омского историка-краеведа и одновременно белогвардейского генерала Г. Е. Катанаева, начало 1920 года Менде провел в иркутской губернской тюрьме. Сам Катанаев при подходе Красной армии к Омску бежал (вслед за членами Омского правительства) в Иркутск, где был вскоре арестован. В Иркутске, а потом в иркутской тюрьме оказались тогда и члены Омского правительства, и многие колчаковские офицеры, в том числе Менде. В той же тюрьме дожидался суда и казни сам Колчак. Обстановка в камере, где содержались Катанаев, Менде и другие высокие чины, надеявшиеся (как потом выяснилось, напрасно) на то, что их освободит армия В. О. Каппеля, описана Катанаевым весьма детально:

«2 февраля. К вечеру слухи, слухи, слухи слишком тревожные в смысле нашего благополучия (заключения) характера.

3 февр⟨аля⟩. Слухи противоположного характера. Успехи Каппелевцев. Взаимные предложения.

4 февр⟨аля⟩. Приказ по тюрьме. В виду осадного положения тушить огни и ложиться спать в 8 ч. вечера. Свидания и всякая переписка воспрещаются. Получение газет также.

5 февр⟨аля⟩. Говорят, ввиду приближения Каппелевцев (за 45 в⟨ерст⟩) рабочим раздается оружие. ⟨...⟩

6 февр⟨аля⟩. Новые известия газет о „победах” над Каппелевцами и усиленной эвакуации из города всего наиболее ценного по Якутскому тракту. В тюрьме нет ни горячей, ни холодной воды, ни дров.

7 февр⟨аля⟩. Говорят, из нашей тюрьмы увели (или увезли) куда-то Колчака и Пепеляева. По-видимому, это следствие приближения к Ирк⟨утску⟩ Каппеля. ⟨...⟩ Дежурство по параше бывш⟨его⟩ Тов⟨арища⟩ министр⟨а⟩. Наша комп⟨ания⟩ — Генерал-М⟨айор⟩, ⟨...⟩, Тов⟨арищ⟩ Мин⟨истра⟩, Капитан ⟨...⟩. Рядовые офицеры. Нервность настроения. Ловля слухов...

8 февр⟨аля⟩. К⟨апель⟩, говорят, под городом. Усиление строгости тюр⟨емного⟩ режима. ⟨...⟩ В газете появилось известие о расстреле Кол⟨чака⟩ и Пепел⟨яева⟩ по приговору суда (какого?). ⟨...⟩

10 февр⟨аля⟩. ⟨...⟩ Упорно говорят, что Кап⟨пель⟩ прошел мимо Иркут⟨ска⟩.<sup>13</sup>

В записи за 8 февраля 1920 года отмечено, что «вчера вечером выпущен Менде». Сам Катанаев также был вскоре (2 марта) освобожден с условием регистрации «у гор⟨одского⟩ коменданта» и «обязательством о невыезде из гор⟨ода⟩ Иркутска без разрешения След⟨ственной⟩ Ком⟨иссии⟩ и Коменданта». <sup>14</sup> Катанаев эти условия принял, а Менде, скорее всего, нет и бежал из Иркутска.

Более 10 лет он скрывался от советских властей в Петрограде—Ленинграде с подложными документами на имя Федора Александрова. Трудно представить, как и на что он существовал. Его дальний родственник И. С. Ларионов в заявлении прокурору при Верховном суде по надзору за органами НКВД (от 17 апреля 1935 года) писал о Менде и его жене как о «голодных стариках», которым приходилось оказывать «некоторую материальную помощь» «исключительно из чувства жалости к голодным старым людям». В преамбуле к этому заявлению он напоминал, что «в 1932 г. в Ленинграде органами ОГПУ был выявлен и задержан некий старик Менде

<sup>13</sup> Иркутские дневники Г. Е. Катанаева. См.: <http://museum.omskelecom.ru/ogik/Izvestiya7/Bezrodney.html> (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>14</sup> Там же.

Мих(аил) Конст(антинович), бывший военный судья, проживавший под фамилией Александрова с целью сокрытия своего бывшего генеральского военного звания».<sup>15</sup>

Вместе с Менде осенью 1932 года арестовали его супругу Александру Сергеевну Менде (урожд. Бессонова; приговорена к 3 годам ссылки в Северный край), а также — «за недоносительство и укрывательство» — вдову его брата Алевтину Николаевну Менде (1882 г. р.; приговорена к 3 годам ссылки, отправлена в Мурманск),<sup>16</sup> двоюродного брата жены, уже упоминавшегося выше Иосифа Сергеевича Ларионова (1876 г. р.; приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей; в 1936 году ему дали еще три года ИТЛ, а в 1938 году расстреляли как троцкиста)<sup>17</sup> и его жену Александру Сергеевну Ларионову (приговорена к 3 годам ссылки, отправлена в Кострому).<sup>18</sup>

Сам бывший военный прокурор Михаил Константинович Менде был арестован осенью 1932 года и приговорен 29 декабря к 5 годам ссылки в Северный край.<sup>19</sup> На момент приговора ему был 71 год...

## 2. Пропавшая княгиня

Сходная история приключилась с «кн. Тумановой, старушкой». Она упоминается в записной книжке Блока 21 июня 1917 года при пересказе пятого допроса Степана Петровича Белецкого (1873—1918), «специалиста по полицейскому розыску, с многолетним стажем по департаменту полиции» (ПЦР IV, III). Допрос был почти целиком посвящен последнему (с конца 1916 года) царскому министру внутренних дел Александру Дмитриевичу Протопопову (1866—1918), фигура которого Блок весьма сильно интересовала.<sup>20</sup> Вслед за Белецким Блок отметил этапы продвижения Протопопова по карьерной лестнице, делая акцент на неформальных механизмах его возвышения: «Стремление Протопопова в ряды правительства (сначала скромно — директор канцелярии министерства внутренних дел). С войной горизонты его расширились, погрузился в промышленность. Близко стоял к Родзянко и сообщал Белецкому все, с чем Родзянко едет к царю. Протопопов ищет через Белецкого сближения с А. А. Вырубовой. Потом он познакомился с Распутиным — у Бадмаева (через Бадмаева, Беляева и кн. Туманову, старушку). Протопопов — министр» (ЗК 366—367).

Общий смысл этой записи вполне понятен. Протопопов был в курсе дел председателя Государственной думы М. В. Родзянко, так как до назначения министром занимал в ней пост товарища председателя.

<sup>15</sup> Заявление с просьбой о смягчении участи было отправлено из ссылки (Архангельск). См. материалы интернет-проекта Международного Мемориала и Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) «Заклейменные властью: Анкеты, письма, заявления политзаключенных в Московский Политический Красный Крест и Помощь политзаключенным, во ВЦИК, ВЧК-ОГПУ-НКВД». См.: <http://pkk.memo.ru/page%202/search.html> (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>16</sup> Там же. См.: <http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Me.html> (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>17</sup> Подробную справку о нем см.: Ленинградский мартиролог 1937—1938. СПб., 2008. Т. 8. См.: <http://vizz.nlr.ru/person/book/t8/13> (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>18</sup> «Заклейменные властью...». См.: <http://pkk.memo.ru/page%202/search.html> (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>19</sup> Там же: <http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Me.html> (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>20</sup> Блоку было предложено написать о Протопопове отдельный очерк (СС 7, 286), но этот план не осуществился. См.: Иванова Е. В. Александр Блок: последние годы жизни. С. 75—81; Спивак М. Л. Последний царский министр внутренних дел А. Д. Протопопов в политической публицистике А. А. Блока и его современников // Вестник РГГУ. Сер. «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2016. № 8 (17). С. 102—118.



и Протопопов принадлежали к партии октябристов и входили в оппозиционный правительству думский Прогрессивный блок. Именно Родзянко предложил кандидатуру Протопопова на должность главы Министерства внутренних дел. Но, как оказалось, главным покровителем и «продвигателем» Протопопова стал Г. Е. Распутин, а способствовали тому люди из распутинского окружения, так называемые «темные силы». В качестве такого Блок упоминает С. П. Белецкого, служившего в 1912—1914 годах директором департамента полиции, а с сентября 1914 по февраль 1915 года товарищем министра внутренних дел, фрейлину и ближайшую подругу императрицы Анну Александровну Вырубову (1884—1964), лечившего по тибетской системе и обслуживавшего в качестве врача царскую семью Петра Александровича Бадмаева (1851?—1920), уже упоминавшегося ранее последнего военного министра М. А. Беляева (1863/1864—1918) и... никому не ведомую «кн. Туманову, старушку».

Биографии четырех представителей «темных сил» известны в деталях. А вот старушка Туманова не опознается ни в томе «Записных книжек» (в именном указателе: «Туманова, княгиня» — ЗК 651), ни в издании «Последних дней императорской власти» 2012 года (в именном указателе совсем лаконично: «Туманова»<sup>21</sup>). Это тем более странно, что княжеских родов в России было все же ограниченное число, а внимания «темным силам» всегда уделялось немало.

Тайна старой княгини раскрывается тем же простым методом, что и тайна военного прокурора Менде, то есть — с помощью обращения к источнику, из которого Блок, работая в Чрезвычайной следственной комиссии, черпал сведения. В данном случае это — показания Белецкого. Стенограмма его допроса от 21 июня 1917 года помогает понять контекст записей Блока, роль загадочной княгини в истории с получением Протопоповым кресла министра и, главное, определить ее имя.

Если Блок лишь указывает на «стремление Протопопова в ряды правительства» и его «погружение в промышленность», то Белецкий поясняет: «У Протопопова было стремление как-нибудь вступить в ряды правительства, и стремления его были не так честолюбивы (...). Протопопов хотел сделаться только директором канцелярии министра внутренних дел — вот какое скромное желание. В период военных действий, когда война уже была объявлена, Протопопов вошел в коммерческую жизнь и, здесь (...) благодаря тому, что он вступил в массу банков, у него горизонты сделались шире и его желания уклонялись в сторону поста министра внутренних дел» (ИЦР V, 253).

Если Блок лаконично отмечает, что Протопопов «близко стоял к Родзянко и сообщал Белецкому все, с чем Родзянко едет к царю», то Белецкий в деталях описывает организованную им систему утечки информации из думских кабинетов: «Когда я сделался товарищем министра, Протопопов находился в хороших отношениях с Родзянко; я через Протопопова имел сведения о том, зачем едет Родзянко, и, имея в своем распоряжении думскую агентуру, широко поставленную, имел всегда возможность дать материал. Затем я знал, благодаря ему и благодаря своей агентуре, о том, что говорилось по приезду в совете старейшин, среди наиболее излюбленных членов Государственной Думы, близких к Родзянко, и в интимном кружке думских деятелей» (ИЦР V, 253).

Если Блок только фиксирует, что Протопопов искал «через Белецкого сближения с А. А. Вырубовой», и называет фамилии тех, кто этому содействовал, то Белецкий раскрывает роль каждого в принятии Протопопова в

<sup>21</sup> Блок А. А. Последние дни императорской власти. С. 548.

распутинский круг и подчеркивает, что именно услуги информатора сделали это принятие возможным: «Это дало мне возможность указать Анне Александровне, какую помощь оказывает Протопопов в такие минуты <...>. С Распутиным Протопопов еще не был знаком. Когда устроились свидания с Анной Александровной, явилась необходимость познакомиться с Распутиным. Так как Протопопов лечился у Бадмаева, который был хорош с Распутиным, так или иначе проникал во дворец и принимал некоторое участие в интимных беседах, ведя конспиративно свою политику, то Протопопов, благодаря Бадмаеву, заинтересовался личностью Распутина. Затем я говорил Распутину о Протопопове» (ПЦР V, 253).

Имя военного министра Беляева, действительно находившегося под кровительством Распутина, в этих показаниях Белецкого не названо, и непонятно, откуда оно у Блока взялось. Может быть, из показаний других допрашиваемых, а может быть, поэт просто услышался. Как бы то ни было, но, думается, в этом ряду Беляев лишний; вряд ли он оказывал помощь Протопопову на этом витке его карьеры. А вот о помогавшей Протопопову старой княгине Белецкий рассказывает как о весьма влиятельной даме. Только зовут ту даму не старушкой Тумановой, как у Блока, а иначе — старушкой Тархановой: «Кроме того, у Протопопова была одна старушка, княгиня Тарханова, которая делала ряд обедов и свела его с Распутиным» (ПЦР V, 253).

Эту же историю сближения Протопопова с Распутиным Белецкий пересказал еще раз в письменных показаниях ЧСК от 20 июля 1917 года, добавив ряд дополнительных деталей: «Когда я был товарищем министра внутренних дел, то я не скрывал от Протопопова о моих <...> сношениях с Распутиным и Вырубовой, посвящая его в силу и значение услуг, оказываемых нам этими лицами, в особенности мировоззрения их, в обстановку жизни двора и влияний, <...> указал ему на лиц, пользовавшихся особым доверием Распутина и Вырубовой, заинтересовал последних личностью Протопопова и, в свою очередь, получал от него ценные для меня в ту пору сведения о настроениях Государственной Думы, советских совещаниях, существовании намечаемых М. В. Родзянко тем для докладов государю не только в форме пожеланий большинства Государственной Думы, но и личных вопросов, кои предполагал затронуть Родзянко в высочайшей аудиенции, прося иногда вмешательства Протопопова в смысле убеждения М. В. Родзянко не касаться нежелательных <...> предметов, хотя я должен отметить, что уже к концу 1916 г. влияние Протопопова на Родзянко было слабо» (ПЦР IV, 471).

Там же Белецкий дал краткую характеристику княгине Тархановой (он ошибочно называет ее княжной) и объяснил причины ее влиятельности: «В этот период времени свидания Протопопова с Распутиным происходили в конспиративной обстановке, главным образом, на квартире одной грузинской княжны Тархановой, пожилой, лет за 50, женщины, принадлежавшей к числу лиц, к которым особо доверчиво относились и Распутин, и владыка-митрополит и которой Протопопов оказывал материальную поддержку» (ПЦР IV, 471).

То, что благодарность министра помогавшей его продвижению княгине выражалась в «материальной поддержке», косвенно подтверждают письменные признания самого Протопопова (от 28 июля): «Тарханова <...> хлопотала о пенсии своей дочери вдове кн. Геловани, и я, насколько мог, помогал ей» (ПЦР IV, 35). Или: «Тарханова знала Шифлера.<sup>22</sup> Должна была ему

<sup>22</sup> Ф. К. Шифлер был уже в 1900-е известен как поставщик оружия (Федосеев С. Л. Все пистолеты и револьверы СССР и России. Стрелковая энциклопедия. М., 2015. С. 74, 77); еще до начала Первой мировой войны за ним закрепилась репутация германского шпиона и вербовщика:

по закладной на ее имение 60 тысяч рублей. Я обещал ей, если буду участвовать в каменноугольном деле, уплатить ее долг по закладной Шифлеру акциями, которые причтутся на мою долю. До войны Шифлер, как я слышал от него, был представителем завода Круппа <...>» (ПЦР IV, 34).

Примечательно, что княгиня Тарханова в роли связующего звена между Протопоповым и Распутиным фигурирует и в показаниях (от 10 апреля 1917 года) другого представителя «темных сил», чиновника особых поручений Департамента полиции и известного афериста И. Ф. Манасевича-Мануйлова. Выйдя в декабре 1916 года из-под ареста (был задержан по подозрению в шантаже и взяточничестве, но, к возмущению прогрессивной общественности, отпущен), он обнаружил «расцвет отношений» между Распутиным, его кружком и Протопоповым: «Протопопов звонил туда, они звонили Протопопову <...>. Одним словом, тут постоянные были сношения. Кроме того, <...> Тарханова постоянно туда ездила» (ПЦР II, 91).

Во время допроса у Манасевича-Мануйлова настойчиво выясняли причины стремительного взлета Протопопова, и в его ответах неизменно присутствовала интересующая нас княгиня:

*«Председатель»*. — <...> как это произошло, что Протопопова назначили? Как произошло его сближение с Распутиным?

*Мануйлов*. — Протопопов, как я вам говорил, уже давно искал этих путей <...>. Очевидно, он подумал, что я тут могу быть полезен, но я совершенно отклонился и больше ничего не знал. Распутин мне рассказывал, что он сблизился с Протопоповым через... старушка есть, княгиня Тарханова.

*Председатель*. — Это кто вам рассказывал?

*Мануйлов*. — Распутин. Она большая приятельница Протопопова и большая приятельница Симановича» (ПЦР II, 65).

*Или:*

*«Председатель»*. — Скажите, на чем основано ваше утверждение, что княгиня Тарханова сблизила Протопопова с Распутиным, в той части, где, значит, вы утверждаете, что княгиня Тарханова была в некоторых отношениях с Распутиным?

*Мануйлов*. — Дело в том, что когда я последнее время бывал у Распутина, то она постоянно там бывала. Почти каждый раз, как я там был, я видел княгиню Тарханову, затем она мне сама сказала, что она 38 лет в дружбе с А. Д. Протопоповым, и затем княгиня Тарханова в самых близких отношениях с Симановичем. Так что это было очевидно, что это был один из каналов сближения» (ПЦР II, 76).

Свидетельство Манасевича-Мануйлова о том, что княгиня Тарханова привлекла к интриге с Протопоповым А. С. Симановича, представляется

---

«Известно, что Федор Карлович-Каспарович Шифлер был подданным Бельгии, представителем иностранных оружейных заводов, в том числе завода „Браунинг“ в Германии, потомственным почетным гражданином, кандидатом коммерции, православного вероисповедания. Он проживал в С.-Петербурге и был взят под негласное наблюдение с Николаевского вокзала С.-Петербурга 9 декабря 1911 г. Можно предположить, что официально Шифлер находился в России с целью строительства нового оружейного завода» (*Пинк И. Б.* Военно-промышленный шпионаж Германии в России накануне Первой мировой войны: агентурная сеть Ф. К.-К. Шифлера в С.-Петербурге в 1911—1912 гг. // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Годичная конференция, 2009. М., 2009. С. 222—223). См. также о его связи с обвинявшимся в предательстве военным министром В. А. Сухомлиновым (1908—1915): «В числе посещавших дом Сухомлинова был некий Федор Шифлер, которого подозревали в шпионской деятельности. При объявлении войны его арестовали и хотели выслать, но Сухомлинов снесся по телефону с петроградским градоначальником — и Шифлер был освобожден. Вскоре Шифлера арестовали вторично и решили выслать в Вологодскую губернию; Сухомлинов опять вмешался и приказал начальнику генерального штаба отменить высылку Шифлера» (*Сейдаметов Д., Шляпников Н.* Австро-Германская разведка в царской России // Исторический журнал. 1938. Т. 8. Вып. 1. С. 34).

весьма значимым, ведь Симанович был личным секретарем и доверенным лицом Распутина, к тому же замешанным в самые разные финансовые аферы. В его мемуарах «Распутин и евреи» «старая приятельница»<sup>23</sup> княгиня Тарханова упоминается многократно, прежде всего как единомышленница и ходатай по общим, часто весьма мутным делам. Вместе с ней они — всегда с ведома и при поддержке Распутина — хлопотали то «о помиловании евреев, уличенных в неблагоприятных поступках при военных поставках»,<sup>24</sup> то об отмене смертной казни обвинявшимся в шпионаже и финансовых махинациях В. Д. Думбадзе и М. И. Веллеру<sup>25</sup> (они проходили по знаменитому делу полковника С. Н. Мясоедова, повешенного в 1915 году). После смерти Распутина Симанович «из предосторожности» прятал у Тархановой часть его бумаг.<sup>26</sup> И, наконец, в феврале 1917 года именно Тарханова предупредила Симановича о грозящей опасности ареста: «После свержения царской власти ко мне на квартиру явились солдаты и искали бывших министров Протопопова и Штюрмера, но никого не нашли и ушли. Тогда ко мне явилась моя старая приятельница, госпожа Тарханова, и сообщила мне, что Керенский требует моего немедленного отъезда из Петербурга».<sup>27</sup>

Карьере Протопопова Симанович посвятил целую главу, в которой отметил как собственные заслуги, так и заслуги «госпожи Тархановой»: «Протопопов, решив выдвинуть себя на пост министра, вошел сперва в сношения со мной. Мы скоро с ним подружились и стали на ты. Я его свел с Распутиным, который начал ему доверять. Он часто разговаривал с царем о Протопопове и старался царя им заинтересовать. Его старания не остались без результатов. Первые встречи Распутина с Протопоповым происходили у княжны Тархановой. Потом они встречались в доме князя Мышецкого. Протопопов мечтал о министерской карьере. Мы выдвинули ему наши условия: заключение сепаратного мира с Германией и проведение мер к улучшению положения евреев. Он согласился».<sup>28</sup>

Мемуары Симановича не относятся к числу достоверных источников. Однако это свидетельство перекликается с показаниями Протопопова (от 21 августа 1917 года), из которых следует, что Симанович с Тархановой одновременно с Распутиным известили его о готовящемся назначении: «В конце августа я уехал из Петрограда (<...>). Я просил Курлова<sup>29</sup> известить меня, если мне надо будет приехать. В начале сентября я получил две телеграммы: одну от Курлова П. Г. — „приезжай скорее“, другую от кн. М. М. Мышецкой — „будешь назначен, не на торговлю, а внутренние дела“. Приехав в Петроград, я узнал, что Курлов послал мне телеграмму по поручению Распутина, а кн. Мышецкая предположение о моем назначении узнала от кн. Тархановой; думаю, что после дней сообщил Симанович, который вел дела Распутина и часто бывал у него» (ПЦР IV, 62).

<sup>23</sup> Симанович А. С. Распутин и евреи. Воспоминания личного секретаря Григория Распутина. Рига, 1921. Цит. по репринтному воспроизведению: Тель-Авив: Просвещение, [б. г.]. С. 184.

<sup>24</sup> Там же. С. 62.

<sup>25</sup> Там же. С. 94—95. См. об обвинениях в их адрес: Сейдаметов Д., Шляпников Н. Австро-Германская разведка в царской России. С. 36—40.

<sup>26</sup> «После смерти Распутина все документы, письма и бумаги Распутина, в том числе и много писем царской четы, мною были изъяты из квартиры Распутина. (<...> Часть бумаг я передал на хранение княгине Софии Тархановой, а остальные находились у митрополита Питирима» (Симанович А. С. Распутин и евреи. С. 177).

<sup>27</sup> Там же. С. 184.

<sup>28</sup> Там же. С. 131. Князь Михаил Михайлович Мышецкий и его жена также содействовали карьере А. Д. Протопопова (Мария Михайловна Мышецкая состояла с ним в близком родстве).

<sup>29</sup> Павел Григорьевич Курлов (1860—1923) в 1916 году недолгое время был товарищем министра внутренних дел.

Кем же была эта княгиня, ошибочно названная Блоком Тумановой и по тому не опознанная ни в одном из изданий?

В Петербурге ее знали как Софью Власьевну Тарханову, хотя на самом деле она была Соной Касполатовной Тархан-Моурави (урожд. Есеновой). Подобные метаморфозы русификации, впрочем, нередко происходили с инородцами и, в частности, с представителями горских народов. К прославленному древнему грузинскому роду Тархан-Моурави (потомков легендарного воина и правителя Георгия Саакадзе) принадлежал ее муж генерал-майор Георгий Иорамович Тархан-Моурави (1841—1911).<sup>30</sup> Но и сама она происходила из знатной семьи тагаурских алдар, привилегированного сословия Тагаурского общества Северной Осетии.<sup>31</sup>

Ее отец гвардии полковник Касполат Габисович Есенов (1819—1867) оставил дочери немалое наследство,<sup>32</sup> а через год после его смерти был заключен выгодный брак, в котором Сона Тархан-Моурави родила шестерых детей. Одна из ее дочерей вышла замуж за князя Варлаама Левановича Геловани (1878—1915), депутата IV Государственной думы от Кутаисской губернии, социал-федералиста, «трудовика»,<sup>33</sup> впервые поставившего в Думе вопрос о территориальной автономии Грузии. В Первую мировую войну он стал командиром санитарного отряда и умер на Кавказском фронте, заразившись в лазарете сыпным тифом. Именно вдове Геловани Нине Георгиевне, урожд. Тархан-Моурави (1876—1948) Протопопов по просьбе княгини Тархановой выхлопывал пенсию. Проникновенный некролог В. Л. Геловани написал А. Ф. Керенский, его давний соратник и близкий друг.<sup>34</sup> Этой дружбой, очевидно, объясняется то, что Тарханова передала Симановичу от Керенского требование «немедленного отъезда из Петербурга», фактически предупреждая о готовящемся аресте и намекая на возможный побег.

Сона Касполатовна Тархан-Моурави (она же — Софья Власьевна Тарханова) родилась в Петербурге в 1851 году и в Петербурге же провела большую часть жизни, снискав известность гостеприимным домом, а также тем, что покровительствовала представителям кавказской диаспоры, оказавшимся в столице Российской империи. Так, например, она величественно восседает в центре символической групповой фотографии 1902 года с «Вечера кавказских горцев в Санкт-Петербурге»: вокруг нее — студенты, ученые, деятели искусства — более 30 человек.<sup>35</sup> К ней обращается за помощью сосланный в Херсон 1899 году знаменитый осетинский поэт Коста Хетагуров, и она изо всех сил старается отменить приговор или, на худой конец, его смягчить

<sup>30</sup> Сохранилась его могила в грузинском селе Эртацминда на древнем родовом кладбище у церкви Св. Евстафия (Св. Естата). См.: [http://georoute.ge/ertatsminda\\_church](http://georoute.ge/ertatsminda_church) (дата обращения: 30.04.2017).

<sup>31</sup> См. подробную биографическую справку о ней, а также сведения об отце и детях: *Марзоев И. Т.* Тагиата: Привилегированное сословие Тагаурского общества Северной Осетии. Владикавказ, 2012. С. 156—158. В «Падении царского режима» (в именном указателе) написано, что княгиня Тарханова «в молодости была придворной акушеркой» (ПЦР VII, 423), однако нам не удалось найти источники, это подтверждающие. К тому же, как кажется, работа акушеркой не очень согласуется с биографией, репутацией и социальным статусом княгини.

<sup>32</sup> «Дом во Владикавказе, надворные строения, сад, 112 голов рогатого скота, 46 лошадей, 3 экипажа, 3 азиатских ружья, 3 пистолета, кинжал в серебряной оправе, седло „венгерское“, оправленное в серебро, уздечку, двое золотых карманных часов, разный столовый и чайный сервиз, дрова в количестве 220 сажень, участок земли в Тагаурском округе близ селения Саниба» (*Марзоев И. Т.* Тагиата. С. 157).

<sup>33</sup> См. подробнее: Государственная дума Российской империи: 1906—1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 154.

<sup>34</sup> *Керенский А. Ф.* Варлаам Леванович Геловани // Северные записки. 1915. № 2. С. 217—219.

<sup>35</sup> *Марзоев И. Т.* История одной фотографии // Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых. Владикавказ, 2010. Вып. 3. С. 74—80.

(что в конце концов удаётся, изменяется место ссылки, сокращается её срок). Коста Хетагуров называет в письмах Сону Тарханову своей «патронессой» и подробно рассказывает, как самоотверженно и вдохновенно она использует связи в высших кругах для решения её проблемы.<sup>36</sup> Если для русских историков Тарханова — приближённая к Распутину интриганка, способствующая гибели империи, то для осетинских — «известная в светских кругах женщина, поддерживающая связь с земляками и покровительствовавшая им не просто из желания потешить свое тщеславие, а склонная по зову сердца помогать всеми силами им и нуждавшимся в помощи вообще».<sup>37</sup>

Своими обширными связями она, как отмечалось выше, продолжала активно пользоваться вплоть до революции, а возможно, и после, так как в 1918 году уехала из Петрограда в Тифлис к дочери Марии, где умерла в 1936 году в возрасте 85 лет. Несомненно, старой княгине Тархановой в жизни повезло много больше, чем доблестному военному прокурору Менде.

### 3. Между «думой» и «душой»

Некоторые странности, если не сказать нелепости, встречаются в «Последних днях императорской власти» не только в написании фамилий, но и в самом повествовании. Они не так бросаются в глаза, но тоже заслуживают внимания, ведь одна неверная буква радикально меняет значение слова и смысл всего высказывания. Многое, конечно, здесь можно списать на оригинальное мышление поэта и его стилистику, но не все и не всегда.

Так, например, в «Последних днях...», в главе «Состояние власти» Блок даёт выразительные характеристики её высочайших представителей: сначала императора Николая II, потом императрицы Александры Фёдоровны, фрейлины А. А. Вырубовой и других. Завершается обзор портретом А. Д. Протопопова, «личность и деятельность» которого, по мнению Блока, «сыграли решающую роль в деле ускорения разрушения царской власти» (СС 6, 199). «С первого шага, — подчеркивал Блок, — Протопопов возбудил к себе нелюбовь и презрение общественных и правительственных кругов. Отношение Думы сказалось на совещаниях с членами прогрессивного блока, устроенном 19 октября у Родзянки <...>; но Протопопов <...> оказался <...> неприемлемым и для бюрократии, увидавшей в нем мечтателя и общественного деятеля <...>» (СС 6, 198—199).

Причины превращения Протопопова во всеобщее посмешище, кроющиеся и в его психике, также оказались в поле зрения автора «Последних дней императорской власти»: «К этому присоединилось влияние личного харак-

<sup>36</sup> См., например, в письме к Елене Цаликовой от 9 марта 1899 года: «По делу моему <...> очень вероятно только, что мне устроят с Голицыным свидание на почве, чуждой чопорной официальности... Стараются, конечно, женщины во главе с одной очень влиятельной фрейлиной. Повезли меня к ней в дом, познакомили, и я, грациозно усевшись в её будуаре на позолоченное кресло, делая ей глазки, поведал ей с восточным красноречием всю свою печальную повесть... Ахам, охам, закатываниям глаз, нервным движениям рук, ног, плеч и т. д. не было конца... <...> На другой день я отвез ей копии сенатских указов. Вечера она была у Голицына, но не застала его. Голицын, узнав, что в его отсутствие была у него моя патронесса, немедленно командировал к ней своего чиновника особых поручений кн. Куракина. Последнему она и выложила все, рекомендова меня как своего старого знакомого, известного ей за самого скромного и благонамеренного ещё со времен бытности моей в Академии» (*Хетагуров К. Полн. собр. соч.*: В 5 т. Владикавказ, 2001. Т. 5. С. 99—100). Подробно о хлопотах Соны Тархановой см.: *Бигулаева И. С. Коста Леванович Хетагуров: Научная биография.* Владикавказ, 2015. С. 174—198. См. также: *Гостиева Л. К.* Окружение К. Л. Хетагурова // *Дарьял.* 2012. № 5. С. 198—219.

<sup>37</sup> *Бигулаева И. С. Коста Леванович Хетагуров.* С. 174.

тера Протопопова, который „стал в контры с собственной думою” и заставил многих сделать из него „притчу во языцех” и отнести к нему юмористически» (СС 6, 199).

Протопопов действительно был до назначения на министерский пост одним из руководителей Государственной думы, и он действительно переживал, что разругался с бывшими соратниками по Прогрессивному блоку. Но все же называть Государственную думу — «собственной», т. е. «протопоповской», странно, даже абсурдно. При этом слова «стал в контры с собственной думою», заключены в кавычки, обозначающие цитату. Ее источником, как и в предыдущих случаях, оказываются материалы ЧСК, в данном случае — первый допрос Протопопова. В показаниях, данных 21 марта 1917 года, он весьма сбивчиво пытался объяснить свои министерские планы и намерения («зла я никогда не хотел»), а также причины полного провала своей программы. «...Все это делалось урывками, так нескладно, так скверно работалось, что для меня было это сущее мучение, это была не жизнь, а каторга», — сетовал Протопопов. А потом горестно сокрушался: «...я стал с самим собою в контры, я стал с своею душою в контры» (ПЦР I, 121).

Очевидно, что и в блоковском отчете речь шла не о конфликте министра с Государственной думой, а о его душевном разладе, о контрах не «с думою», а с «собственной душою»...

Показания Протопопова могут прояснить одну странность и в характеристике А. А. Вырубовой (из той же первой главы «Последних дней императорской власти»): «В „мистический круг” входила наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы А. А. Вырубова, иногда *судившая царя „своею простотою ума”*, покорная Распутину, „фонограф его слов и внушений” (слова Протопопова)» (СС 6, 190).

Здесь настораживает некоторое превышение Вырубовой своих полномочий при императорском дворе: неслыханная дерзость «судить царя» не была позволена никому, а тем более фрейлине. О том, что источником характеристики здесь служат «слова Протопопова», указано в тексте. В данном случае это не стенограмма допроса, а «Записка о состоянии власти», составленная 19 июня 1917 года в камере и переданная в ЧСК. В ней Протопопов, как вслед за ним и Блок, дает портреты царя, царицы и приближенных к ним лиц, начиная с А. А. Вырубовой: «Вырубова — друг царицы, ее доверенный в течение многих лет несчастливой жизни (...); фонограф слов и внушений и всецело Распутину преданная, послушная и покорная. Государственной мысли своей нет, механически передавала слышанное» (ПЦР IV, 8).

Есть в «Записке...» и упоминание о «простоте ума» фрейлины. Но смысл высказывания Протопопова прямо противоположен тому, что мы читаем в «Последних днях императорской власти». Оказывается, что не Вырубова «судила» Николая II «своею простотою ума», а, напротив, Николай II сердился на Вырубову за ее недалекость: «К Вырубовой и у царя была большая привычка и заботливое к ней отношение (часто все же его *сердила ненадолго своею простотою ума*)» (ПЦР IV, 8).

Названные ошибки<sup>38</sup> впервые были явлены читателю еще при жизни Блока, в журнальном варианте «Последних дней...», на основе которого поэт готовил отдельное издание 1921 года, и неизменно повторялись при

<sup>38</sup> В дополнение к уже отмеченным погрешностям можно предположить еще одну, в описании государя в «Последних днях императорской власти»: «Император Николай II, упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задержанный и осторожный в словах, был уже „сам себе не хозяин”» (СС 6, 189). «Притупившимися» обычно бывают карандаши; здесь же, думается, император характеризуется как человек, «притерпевшийся ко всему».

всех последующих перепечатках книги. Сверка с автографами, хранящимися в рукописном отделе Пушкинского Дома,<sup>39</sup> показала, что это описки Блока, а не результат неверного прочтения рукописи при подготовке к первому изданию. К счастью, при наличии неоспоримых источников такого рода ошибки/описки можно исправить.

В дневниках поэт цитировал латинскую формулу «Caveant consules ne quid res publica detrimenti capiat» («Пусть консулы будут бдительны, чтобы республика не понесла какого-либо ущерба»), предупреждая о нежелательных последствиях при принятии поспешных решений. Эту же формулу — «Caveant consules...» — можно, как кажется, обратить к публикаторам и исследователям послереволюционных сочинений Блока: если в них есть невнятица и несуразица, то... ищите источник. В случае с «Последними днями императорской власти» и записями того времени документы Чрезвычайной следственной комиссии могут служить проверочным материалом.

<sup>39</sup> ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 212 («Последние дни...»), 52 (Записная книжка № 42). Выражаю благодарность за неоценимую текстологическую помощь и консультации Д. М. Магомедовой и М. М. Павловой.

© П. Н. ГОРДЕЕВ

## В ПОИСКАХ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДРАМАТУРГИИ: КАК БЫВШИЕ ИМПЕРАТОРСКИЕ ТЕАТРЫ СТАРАЛИСЬ В 1917 ГОДУ «СООТВЕТСТВОВАТЬ МОМЕНТУ»

После Февральской революции администрация и артисты бывших императорских театров, ставших теперь государственными, столкнулись с необходимостью появления на их сцене репертуара, созвучного революционным событиям. Задача оказалась непростой: как только актеры Александринского театра, спустя несколько дней после переворота, заговорили о «более „свободном” репертуаре», то оказалось, что «ставить нечего: русские драматурги писали, приноравливаясь к требованиям цензуры». Зарубежные произведения также годились не все: в условиях продолжающейся войны было по-прежнему «неудобно ставить пьесы немецких авторов».<sup>1</sup> Многие частные театры, в особенности небольшие театры-фарсы, легко вышли из положения, ставя наспех написанные пьесы с эротическим подтекстом, главными героями которых были, как правило, бывшая императрица, А. А. Вырубова и Г. Е. Распутин.<sup>2</sup> Но для казенной, «образцовой» сцены подобная низкопробная драматургия была неприемлемой. В итоге, хотя во время торжественного открытия государственных театров (12 марта в Петрограде и 13 марта в Москве — после перерыва, вызванного революцией), активно использовалась революционная символика (так, в Москве впервые прозвучали со сцены запрещенные ранее цензурой строки из «Горя от ума»:

Петр Николаевич Гордеев — доцент кафедры истории РГПУ им. А. И. Герцена.

<sup>1</sup> Театральный курьер // Петроградский листок. 1917. 6 марта. С. 2.

<sup>2</sup> Мокульский С. Петроградские театры от Февраля к Октябрю // История советского театра: Очерки развития. Л., 1933. Т. I. С. 23—26.



«Кто что ни говори, хоть и животные, а все-таки цари»<sup>3</sup>), все спектакли мартовского репертуара были «из прошлого»: любые премьеры требовали «продолжительной подготовки, костюмов, декораций и т. д.»<sup>4</sup>, а в обстановке бесконечных собраний и выборов (артистических комитетов, управляющих труппами, проектов уставов театров) исключалась всякая серьезная художественная работа.

Не все критики, впрочем, готовы были с этим считаться; одним из первых повел наступление на Дирекцию театров Д. В. Философов, возмущавшийся на страницах «Речи»: «Опять идут „Милые призраки” и „Маскарад”. Объявлено даже, что „билеты, взятые на 1-е марта — действительно на 18-е”. Дело не в самих пьесах. Может быть, они великолепно поставлены. Имена же Андреева и Лермонтова говорят сами за себя. Дело в том духе небытия, который проявили наши освобожденные театры». Призывая к превращению казенной сцены в театры «нового духа, нового пафоса», критик резюмировал: «Это задача трудная. Но лучше ошибка, лучше увлечения, чем старые туфли и халат».<sup>5</sup> Взгляды Философова вызвали отпор у театралов, придерживавшихся более умеренных позиций. «Болтуны от искусства засуетились, зашумели, завопили вокруг и около темы: „переживаемый момент”... {...} Один из болтливых Катонов от искусства — Д. Философов в газете „Речь” договорился до того, что стал призывать правительство к насильственному насаждению у нас в театрах некоего „моментального искусства”» — отмечалось в «Обзрении театров».<sup>6</sup> «На днях в одном из заседаний по преобразованию государственных театров было высказано мнение, что театр в настоящее время должен быть революционным», — рассуждал один из рецензентов в «Вечернем времени». «Так ли это? Революция сделала свое дело, и для народа театр именно теперь обязан внести в жизнь возможное успокоение».<sup>7</sup> Следует все же отметить, что подобная точка зрения в театральной печати была в то время не особенно распространенной.

Вскоре после переворота в газетах появились предложения обновить репертуар за счет произведений, запрещенных для постановки на сцене старым режимом.<sup>8</sup> Это казалось особенно заманчивым на фоне сообщений о находке около 50 000 пьес в архивах драматической цензуры.<sup>9</sup> Впрочем, некоторые скептически настроенные рецензенты обращали внимание на то, что количество не допущенных на сцену пьес «из тех, которые написаны известными драматургами, — чрезвычайно ограничено», а что касается произведений, обнаруженных в огромном архиве цензурного ведомства, «кто знает, какой процент их представляет хоть какую-нибудь художественную ценность».<sup>10</sup> Так или иначе, необходимость введения в репертуар хотя бы части той драматургии, которая находилась ранее под запретом цензуры, стала весной 1917 года одной из наиболее популярных идей у выступавших в печати представителей театральной общественности.

<sup>3</sup> *Свифт Э.* Культурное строительство или культурная разруха? (Некоторые аспекты театральной жизни Петрограда и Москвы в 1917 г.) // *Анатомия революции. 1917 год в России: масы, партии, власть.* СПб., 1994. С. 395—396.

<sup>4</sup> Спектакли в казенных театрах начнутся 13 марта // *Петроградская газета.* 1917. 8 марта. № 57. С. 5.

<sup>5</sup> *Философов Д.* Духа не угашайте // *Речь.* 1917. 14 марта. № 62. С. 3.

<sup>6</sup> *Albus.* Болтуны на свободе // *Обозрение театров.* 1917. 9—10 апр. № 3390—3391. С. 9.

<sup>7</sup> Должен ли театр быть революционным? // *Вечернее время.* 1917. 6 апр. № 1788. С. 3.

<sup>8</sup> *Театрал.* Свободный репертуар // *Театр.* 1917. 19—20 марта. № 1992. С. 6; *Репертуар запрещенных пьес* // *Петроградская газета.* 1917. 26 марта. № 72. С. 10; *Леонидов В.* Письмо в редакцию // *Театр и искусство.* 1917. № 15. С. 241.

<sup>9</sup> 50 тысяч пьес // *Петроградская газета.* 1917. 28 марта. № 73. С. 5.

<sup>10</sup> Старый и новый репертуар // *Русская воля (веч. вып.).* 1917. 25 марта. № 33. С. 4.

В государственных театрах, по воспоминаниям актрисы Е. И. Тиме, «в вопросах выбора репертуара — царили растерянность и неуверенность».<sup>11</sup> И все же бывшая императорская сцена предпринимала попытки соответствовать духу времени. Так, Н. В. Давыдов, возглавлявший до революции Московское отделение Театрально-литературного комитета, в письме уполномоченному по Малому театру А. И. Сумбатову-Южину от 4 мая советовал включить в репертуар «Власть тьмы» Л. Н. Толстого. Несмотря на то, что толстовская пьеса неоднократно ставилась до революции,<sup>12</sup> аргументы, приведенные в письме, соответствуют духу времени: «Важно поставить „Власть“ не только потому, что это настоящая драма, но главным образом потому, что она чисто народная, русская, а теперешнее время настоятельно требует постановки не только „буржуазных“ пьес (...), но более близких „демосу“, особливо лучшей его части — крестьянству».<sup>13</sup> В конце апреля «Власть тьмы» решили вернуть в репертуар и в Александринском театре.<sup>14</sup>

И все же время требовало от государственных театров именно премьер, так или иначе связанных с темой революции. Игнорировать этот общественный запрос было невозможно. 28 марта актеры Александринского театра избрали Репертуарный совет, которому сразу дали напутствие «пересмотреть пьесы, находившиеся до сих пор под запретом».<sup>15</sup> Спустя несколько дней в печати появился список предполагаемых в будущем сезоне новинок; в числе последних значились «Павел I» Д. С. Мережковского, «Зарево» Е. П. Карпова, «Декабрист» П. П. Гнедича.<sup>16</sup> Первой же поставленной после Февраля на государственных подмостках пьесой из тех, которые хотя бы отчасти можно было отнести к «революционному» репертуару, стали «Мещане» М. Горького. Хотя пьесы Горького на казенную, «образцовую» сцену до революции не допускались, для «Мещан» было сделано исключение — эту драму избрал для своего ежегодного спектакля «Литературный фонд» (немаловажный момент: таким образом, хотя произведение ставилось силами и на сцене императорских театров, в их основной репертуар оно не входило), и в феврале 1917 года актеры русской драматической труппы «усиленно репетировали» спектакль; премьера была намечена на 3 марта в Михайловском театре.<sup>17</sup> Разрешение постановки «Мещан» «старым режимом», конечно, несколько снижало революционный пафос события. Вследствие закрытия театров спектакль пришлось перенести с 3 на 17 марта,<sup>18</sup> а затем, когда и к этой дате не успели подготовиться — на 7 апреля, когда пьесу, наконец, увидела публика. Отзывы рецензентов были противоречивыми: одни отмечали «стройную сценическую картину», созданную артистами, и «горячие овации по адресу Максима Горького»,<sup>19</sup> другие подчеркивали «сырость спектакля», отсутствие режиссерской работы и игру актеров «с большим или меньшим талантом, но по линии наименьшего сопротивления»;<sup>20</sup> в некоторых рецензиях высказывались похвалы отдельным исполнителям (в частности,

<sup>11</sup> Тиме Е. И. Дороги искусства. М., 1967. С. 185.

<sup>12</sup> А. Шн. [Шнеер А. Я.] «Власть тьмы» // Театральная энциклопедия. М., 1961. Т. I. С. 978.

<sup>13</sup> РГАЛИ. Ф. 878. Оп. 1. № 950. Л. 24—24 об.

<sup>14</sup> Отдел рукописей и документов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства (СПбГМТМиМИ). Ф. 67. КП 7042/1-16. Л. 2.

<sup>15</sup> Театр и музыка // Речь. 1917. 30 марта. № 75. С. 5.

<sup>16</sup> Будущий репертуар Александринского театра // Петроградская газета. 1917. 31 марта. № 76. С. 5.

<sup>17</sup> Театр и музыка // Речь. 1917. 22 фев. № 50. С. 5.

<sup>18</sup> Театр и музыка // Там же. 14 марта. № 62. С. 7.

<sup>19</sup> Спектакль Литературного фонда // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1917. 9 апр. № 16174. С. 7.

<sup>20</sup> Ковалевский Б. Михайловский театр. «Мещане» М. Горького // Речь. 1917. 9 апр. № 82. С. 7.

И. М. Уралову, игравшему роль Бессеменова) на фоне критической оценки их коллег.<sup>21</sup>

И до, и после премьеры в прессе писали о намерении труппы перенести спектакль, поставленный александринцами на Михайловской сцене в пользу Литературного фонда, в основной репертуар Александринского театра.<sup>22</sup> Однако, ничего подобного не произошло. В оставшийся до конца сезона короткий временной промежуток пьеса, показанная публике только один раз, более не увидела света рампы, а перед осенним открытием театров, 28 августа, на заседании Художественно-репертуарного комитета (далее — ХРК) Александринского театра артист Г. Г. Ге предложил «Мещан» «временно не ставить», что было присутствующими, согласно протоколу, «подтверждено единогласно».<sup>23</sup> В документе предложение Ге не снабжено, к сожалению, какой-либо мотивировкой, однако высказать ряд предположений по поводу этой инициативы и ее единогласного одобрения членами ХРК мы, думается, вправе. К концу лета 1917 года Горький стал известен в России не только как выдающийся писатель и драматург, но и как редактор «Новой жизни», стоявшей на крайне левой политической платформе и по ряду вопросов смыкавшейся с большевиками. Это вызывало неприязнь у большей части интеллигенции, не сочувствовавшей подобным взглядам. Уже в июле актеры московского Народного дома отказались от участия в спектакле по одной из пьес Горького — именно в знак протеста «против деятельности А. М. Горького в качестве руководителя газеты большевистского направления „Новая жизнь“».<sup>24</sup> Можно предположить, что в труппе Александринского (бывшего императорского) театра такое отношение к Горькому проявлялось еще более отчетливо — тем более, в конце августа, в дни корниловского выступления (писательница С. И. Смирнова-Сазонова, мать актрисы этого театра Л. Н. Шуваловой, записала 31 августа в дневнике: «В Александрин(ской) труппе актеры не скрывают св(оего) сочувствия Корнилову; все за него»<sup>25</sup>).

Спустя ровно неделю после премьеры «Мещан» в Михайловском театре, 15 апреля на той же сцене силами александринской труппы была представлена еще одна новинка, на этот раз вполне соответствовавшая «переживаемому моменту». В пьесе «Зарево», написанной за шесть лет до революции, героями были рабочие и девушка-пропагандистка социалистических идей. Дополнительный вес произведению придавал тот факт, что его автором был Е. П. Карпов, до революции занимавший пост главного режиссера Александринского театра, а после Февраля избранный управляющим труппой. Он же выступил и в качестве постановщика. Несмотря на это, спектакль провалился — рецензенты отмечали тяжеловесность произведения, шаблонность характеров действующих лиц. Немало критики содержалось и в отзыве на пьесу, составленном членами Петроградского отделения Театрально-литературного комитета. Все это послужило причиной того, что «Зарево», которое так же, как и «Мещан», до премьеры планировалось включить в основной репертуар Александринского театра (спектакль 15 апреля был бенефисом вторых режиссеров и суфлеров, которые и выбрали карповскую пьесу), повторило судьбу драмы Горького и более в 1917 году на сцене государственных театров не ставилось. Карпов сам снял свою пьесу при обсуждении проекта будущего репертуара — причем сделал это на том

<sup>21</sup> Люций. «Мещане» // Вечернее время. 1917. 8 апр. № 1790. С. 3.

<sup>22</sup> С Максима Горького снято запрещение // Петроградская газета. 1917. 12 марта. № 61. С. 10; «Мещане» включены в репертуар // Там же. 9 апр. № 82. С. 14.

<sup>23</sup> СПбГМТиМИ. Ф. 67. КП 7042/1-16. Л. 11.

<sup>24</sup> Против Максима Горького // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1917. 23 июля. № 16350. С. 6.

<sup>25</sup> ИРЛИ. Ф. 285. № 66. Л. 340—341.

же собрания 28 августа, на котором Г. Г. Ге предложил отказаться от постановки «Мещан».<sup>26</sup>

Таким образом, к концу сезона 1916—1917 годов проблема поиска «революционного» репертуара в государственных театрах решена не была. В мае, вскоре после окончания сезона, интервью газетам дали Е. П. Карпов и его московский коллега, управляющий Малым театром О. А. Правдин. Карпов, говоря об итогах работы Репертуарного совета Александринского театра, сообщил, что «из новых пьес пока, кроме „Павла I-го“ Д. С. Мережковского, еще ни об одной не было разговора».<sup>27</sup> Правдин высказался об обновлении репертуара с большим оптимизмом, объявив о грядущей постановке на сцене Малого (впервые) не только «Павла I», но и «Саломеи» О. Уайльда, «Декабриста» П. П. Гнедича, «К звездам» Л. Н. Андреева и ряда других пьес.<sup>28</sup> Из них «Саломея» и «К звездам» были ранее запрещены драматической цензурой,<sup>29</sup> а «Декабрист», по словам его автора, до революции в цензуру вообще не представлялся.<sup>30</sup> Планам Правдина было суждено сбыться лишь частично, и виной тому стали обстоятельства материального порядка.

В мае 1917 года, когда революционная эйфория несколько спала, театральной общественности, находившейся в поисках нового репертуара, пришлось обратить внимание на труднопреодолимое препятствие — ограниченность бюджета государственных театров, бывших и без того глубоко убыточными для казны. Директор театров В. А. Теляковский еще в марте в одном из докладов предупреждал комиссара Временного правительства над бывшим МИДв Ф. А. Головина: «За последние 20 лет дефицит театров Петроградских и Московских колебался между 2 и 2 ½ миллионами. В будущем году при сохранении абонементов он дойдет минимум до 4 миллионов, а может быть и до 4 ½, а потому с реформой новой надо быть крайне осторожным».<sup>31</sup> Спустя два месяца видный филолог и критик Ф. Д. Батюшков, сменивший Теляковского на посту руководителя театрального ведомства (в качестве главноуполномоченного по государственным театрам), выступил в «Речи» с программной статьей, в которой откровенно признавался: «В той же пропорции, как увеличены оклады, должны быть уменьшены расходы по постановкам. Выхода нет».<sup>32</sup> В то же время, как стало известно прессе, против новых постановок стал высказываться из финансовых соображений и начальник Батюшкова комиссар Головин; это вызвало возмущение одного из рецензентов: «Искусство, и... экономия! Вот два понятия, совершенно несовместимых. Может ли остаться такой институт, как казенные театры, „на точке замерзания“ и не давать в сезоне новых постановок? Особенно теперь, когда казенные театры еще, собственно, не выступали с „свободным“ репертуаром».<sup>33</sup>

<sup>26</sup> Гордеев П. Н. «Рабочая» пьеса на революционной сцене: постановка «Зарева» Е. П. Карпова в Михайловском театре 15 апреля 1917 года // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 403. С. 34—38.

<sup>27</sup> Театрал. Проект репертуара Александринского театра (из беседы с Е. П. Карповым) // Петроградская газета. 1917. 11 мая. № 108. С. 14.

<sup>28</sup> Москвич. Беседа с О. А. Правдиным // Новое время. 1917. 29 апр. № 14764. С. 6; Н. Б. Будущий репертуар Малого театра. (Из беседы с О. А. Правдиным) // Театр. 1917. 18—19 мая. № 2018. С. 8.

<sup>29</sup> Т. Р. [Родина Т. М.] Андреев, Леонид Николаевич // Театральная энциклопедия. Т. I. С. 204; Запрещенная пьеса // Петроградская газета. 1917. 30 июня. № 150. С. 4.

<sup>30</sup> П. Гнедич о своем «Декабристе» // Петроградская газета. 1917. 6 апр. № 79. С. 14.

<sup>31</sup> РГИА. Ф. 497. Оп. 6. № 5117. Л. 16.

<sup>32</sup> Батюшков Ф. Ближайшие задачи государственных театров // Речь. 1917. 17 мая. № 114. С. 2.

<sup>33</sup> Родя. Арабески // Театр. 1917. 26—27 мая. № 2021. С. 6.

Жертвой объявленной бюджетной политики оказалась драма Д. С. Мережковского «Павел I», поставить которую в следующем сезоне намеревались весной 1917 года и Александринский, и Малый театры. Произведение Мережковского идеально подходило для обновления репертуара в соответствии с духом переживаемого революционного времени. В итоге администрации Малого театра пришлось отказаться от постановки, так как необходимой для нее суммы («не менее 30 000 р.») в смете театра не было. Отказались от «Павла» и александринцы, однако в их случае роль играл не только денежный фактор, но и продажа Мережковским прав на пьесу петроградскому Малому (Суворинскому) театру, а также изменение отношения к произведению Головина, весной рекомендовавшего «Павла» актерам, а летом уже признавшего спектакль на тему цареубийства «бестактным» и несвоевременным.<sup>34</sup>

В условиях отсутствия «революционных» премьер театральным деятелям приходилось делать акцент на постановке тех или иных пьес с восстановлением купюр, сделанных в свое время цензурой. Так, в конце марта в прессе появилась информация о намерении государственных театров «реставрировать некоторые пьесы Островского»: в частности, речь шла о пьесе «Свои люди — сочтемся», в которой «в первой репетиции на сцене (...) не было квартального. Он был введен автором по требованию цензуры, чтобы порок не остался безнаказанным».<sup>35</sup> Когда осенью 1917 года ХРК Александринского театра наметил возобновление уже ставившихся до революции «Холопов» П. П. Гнедича, автор обратился к Ф. Д. Батюшкову с предложением восстановить вымаранные цензурой места. Батюшков в письме от 21 сентября откликнулся с благодарностью на инициативу Гнедича и вызвался сообщить «о таковом (...) любезном предложении» членам ХРК.<sup>36</sup>

К осени оценка театральными деятелями перспектив появления в ближайшее время «революционной» и в то же время художественно значимой драматургии стала отчетливо пессимистической. Е. П. Карпов, выступая 26 сентября на заседании созданной труппой Александринского театра (в целях обсуждения грядущей театральной реформы) «Комиссии десяти», заявил: «В театре революцию творит талант, но во времена революции и театр, и литература падали». Отметив, что в этом году ему пришлось прочесть 50 новых пьес, Карпов признавался: «я и раньше их много читал, но никогда это не было так бедно, так скудно и серо, как теперь. Газеты сейчас кричат о том, что везде все переменялось и только в театре осталось по-прежнему. Нет, не по-прежнему. Театр понизился, он опустился до улицы».<sup>37</sup> В октябре несколько известных драматургов дали свои ответы на вопрос, поставленный редакцией нового театрального журнала «Бинокль»: «Возможна ли теперь какая-нибудь творческая работа в области театра?». Если И. Н. Потапенко и П. М. Невежин с определенными оговорками («человеку, который принимает участие в „кипении“ жизни, чрезвычайно трудно работать», «как ни подло, как ни гадко вокруг, но писателю нет оснований бросать перо») все же дали положительный ответ, то П. П. Гнедич прямо усомнился в том, «чтобы настоящее время представляло благоприятную почву для творчества». Резче остальных высказался Л. Н. Урванцов: «Для кого творить? Какой толпе отдать свое детище? Той, которая не понимает нашего

<sup>34</sup> Гордеев П. Н. «Показать на сцене цареубийство»: к истории неосуществленной постановки драмы «Павел I» Д. С. Мережковского в государственных театрах в 1917 году // Обсерватория культуры. 2016. № 1. С. 70—77.

<sup>35</sup> Реставрация Островского // Петроградская газета. 1917. 31 марта. № 76. С. 5.

<sup>36</sup> ИРЛИ. Ф. 73. № 154. Л. 1.

<sup>37</sup> СПбГМТнМИ. Ф. 67. ГИК 22056. Л. 19 об.

языка, не понимает наших слов? <...> Народ? Его нет. Это не тот народ, который мы любили всем своим сердцем, которому служили».<sup>38</sup>

Театральные критики спустя несколько месяцев после переворота также вынуждены были признать провал попытки «обновления» репертуара. «Государственные театры, после целого ряда заседаний своих выборных комитетов, не придумали ничего интереснее, как поставить для открытия будущего сезона „Горе от ума“ и „Руслана и Людмилу“ — отмечалось в «Петроградской газете». «Где же тысячи пьес, казалось бы только и ждавших революции, чтобы увидеть свет рампы?».<sup>39</sup> «Кю всевозможным мясопустам, хлебопустам и маслопустам Петрограда прибавился еще один пуст, а именно: „пьесопуст“» — шутил один из рецензентов в сентябре, комментируя жалобы антрепренеров столичных театров на «отсутствие заслуживающих внимания новинок».<sup>40</sup> Впрочем, летом и осенью 1917 года в театральной периодике стали все чаще раздаваться голоса, не только констатировавшие отсутствие пьес, соответственных «переживаемому моменту» (это было общим мнением), но и не находивших в этом ничего дурного. Известный критик и историк театра барон Н. В. Дризен, указывая на неизбежное падение уровня драматургии во время «крупных мировых событий», задавался вопросом, должен ли театр быть революционным: «Мне кажется, что по этому поводу не может быть двух мнений. Театр при каких бы то ни было обстоятельствах должен быть только художественным».<sup>41</sup> Дризену вторил Н. А. Россовский, отметивший в своей заметке появившиеся известия о том, что «постоянные поставщики театров приготовили к наступающему сезону многочисленные пьесы на политические злобы дня». По мнению критика, от подобных драм, в которых авторы будут «инсценировать газетные известия, проводить политические партийные вопросы, превращать сцену в арену для сведения старых счетов», лучше было бы «изолировать все выносящий русский театр».<sup>42</sup>

На подобном фоне внимание театральной общественности привлекла дискуссия, развернувшаяся на страницах «Петроградской газеты» между заслуженными артистами Н. Н. Ходотовым и Ю. М. Юрьевым. Еще в мае Юрьев, рассказывая прессе о работе Репертуарного совета Александринского театра, членом которого он состоял, отметил, что совет «по отношению к новинкам <...> решил не торопиться с выбором», так как «в течение летних месяцев может поступить что-нибудь интересное, более достойное внимания, чем то, что раньше обсуждалось».<sup>43</sup> Однако ничего «интересного» к концу лета так и не появилось, на что обратил внимание театралов один из ведущих актеров Александринского театра Ходотов. Критикуя создавшееся в театре положение, Ходотов обрушивался, в том числе, и на составителей репертуара: «Это не „репертуарная комиссия“, а какие-то старьевщики <...> Мало ли найдется интересных пьес, из категории бывших под цензурным запретом: „Поручик Гладков“ Писемского, „Савва“ и „К звездам“ Леонида Андреева, „Мужики“ Чирикова, „Павел I“ Мережковского и т. д. Наконец, из тех же старинных пьес можно было выбрать более подходящие к момен-

<sup>38</sup> *Театрал*. Возможна ли теперь какая-нибудь творческая работа? (Анкета) // Бинобль. 1917. № 2. С. 12—13.

<sup>39</sup> *Театрал*. Что дала свобода театру? // Петроградская газета. 1917. 21 июня. № 142. С. 5.

<sup>40</sup> Театр // Живое слово. 1917. 12 сент. № 96. С. 4.

<sup>41</sup> *Дризен Н.* О задачах театра в настоящий момент // Биржевые ведомости (утр. вып.). 1917. 9 июня. № 16274. С. 6.

<sup>42</sup> *Россовский Н.* Драматические шарманки // Петроградский листок. 1917. 19 авг. № 199. С. 4.

<sup>43</sup> Какие пьесы поступают в репертуарный совет // Петроградская газета. 1917. 27 мая. № 121. С. 5.

ту. Я отнюдь не хочу сказать, что театр должен идти на уступки партийности, но революцию он должен все-таки отражать».<sup>44</sup>

Через несколько дней Ходотову на страницах того же издания ответил его коллега по труппе Юрьев, бывший одним из наиболее активных членов ХРК: «Почему мы „старьевщики“? Старое старому рознь, но мне думается, что государственные театры должны быть во всяком случае хранилищем образцовых произведений искусства». Юрьев в принципе отвергал идею «революционного» репертуара, отстаивая эстетический критерий в его формировании: «При выборе старых пьес мы руководствовались только художественной стороной дела. (...) Для современных пьес мы оставили в репертуаре три места. Правда, эти пьесы нами не зафиксированы, но что делать, если современных пьес очень мало, по крайней мере, мы их не нашли».<sup>45</sup> Спустя месяц полемика возобновилась: Ходотов, среди прочих обвинений, выдвинутых им по адресу коллег, вновь напал на репертуарную часть, настаивая на необходимости того, «чтобы каждая избранная пьеса отвечала потребностям духа творящего и зрящего».<sup>46</sup> Ему вновь ответил Юрьев, указавший на нехватку произведений, темы которых были бы созвучны революционной эпохе, а литературный уровень соответствовал бы сцене государственного театра.<sup>47</sup> Любопытно, что Ходотов делал свои заявления, противопоставляя себя труппе и избранному ей ХРК, а Юрьев, наоборот, высказывался от лица своих товарищей: консервативная позиция последнего была ближе большей части актеров Александринского театра. Участники полемики, впрочем, сходились в одном: репертуар в начале первого театрального сезона «свободной России» состоял целиком из старых пьес и революцию никак не отражал.

Некоторые произведения, относившиеся к «запрещенной» ранее драматургии, были намечены к постановке в государственных театрах еще весной — летом 1917 года, но показаны уже после Октябрьской революции. Это, конечно, сказалось на их восприятии публикой. Подобная судьба ожидала трагедию О. Уайльда «Саломея», включенную уже в июне в проект репертуара московского Малого театра.<sup>48</sup> Несмотря на то, что произведение Уайльда, запрещенное к представлению в театрах в авторской версии, все же увидело и до революции свет рампы с измененным названием («Пляска семи покрывал») и другими именами персонажей, а также на традиционную неспешность государственных театров (до Малого пьесу осенью 1917 года успели поставить два московских частных театра — Камерный и Молодой), премьеру в «Доме Щепкина» публика ждала. Однако спектакль состоялся 27 октября — когда, по словам рецензента, «введено было военное положение, улицы и театральная площадь приняли пустынный и жуткий вид, а кое-где раздавались уже и партизанские выстрелы любителей кровавого искусства. Поэтому надлежащим образом отдаться восприятию иного, более привычного искусства было не особенно легко».<sup>49</sup>

Весной 1917 года в обеих столицах обсуждалась возможность постановки пьесы Гнедича «Декабрист». Комментируя подобные слухи, Гнедич уверял корреспондента «Петроградской газеты», что «об этом не может быть пока и речи, ибо первый акт по нынешним временам невозможен. Пьеса требует переделки» (в той же заметке, впрочем, сообщалось о предстоящих

<sup>44</sup> Р. Александринская разлука (беседа с заслуженным артистом Н. Н. Ходотовым) // Там же. 20 авг. № 194. С. 9.

<sup>45</sup> Р. Ответ г. Юрьева г. Ходотову // Там же. 23 авг. № 196. С. 5.

<sup>46</sup> Р. Н. Н. Ходотов — о разложении Александринского театра // Там же. 27 сент. № 227. С. 5.

<sup>47</sup> Юрьев Ю. Мой ответ Н. Н. Ходотову // Там же. 28 сент. № 228. С. 4.

<sup>48</sup> РГАЛИ. Ф. 659. Оп. 5. № 74. Л. 4 об.

<sup>49</sup> Джонсон И. Московские письма // Театр и искусство. 1917. № 47. С. 785—786.

переговорах на эту тему уполномоченного по Малому театру, знаменитого актера и лидера труппы А. И. Сумбатова-Южина с Гнедичем).<sup>50</sup> Переговоры прошли успешно: в начале мая появились сведения о грядущей постановке пьесы в Малом театре,<sup>51</sup> затем, как уже говорилось выше, ее в числе новинок сезона назвал в интервью О. А. Правдин. Известие о работе труппы Малого над «Декабристом» (произведение иногда неправильно именовали «Декабристами») не вызвало в театральных кругах и малой толики того ажиотажа, который породила история с постановкой «Павла I», да и в самом театре к драме Гнедича относились, по-видимому, достаточно прохладно. Так, 27 апреля в письме к Правдину Н. В. Давыдов, отстаивая в условиях ограниченного театрального бюджета необходимость введения в репертуар «Власти тьмы» Л. Н. Толстого, советовал (в случае осуществления также и дорогостоящей постановки «Павла I»): «лучше пожертвовать „Декабристами“». <sup>52</sup> В результате «Декабрист» все же был поставлен в Малом, но лишь в конце сезона (2 апреля 1918 года<sup>53</sup>), еще позже (23 октября 1918 года) он появился на сцене Александринского театра.<sup>54</sup> Обе премьеры вышли уже в иных исторических условиях, когда основным заказчиком «революционных» постановок стала большевистская власть.

Были ли в это время востребован подобный репертуар у театральной публики и самих артистов? На данный вопрос (при всей его широте), как представляется, можно дать в целом отрицательный ответ. Разочарование в ходе развития революции, охватившее интеллигенцию летом—осенью 1917 года, сказывалось и на настроении зрительного зала. Гнедич передавал в печати свой разговор с одним «видным общественным деятелем», который признался, что «занятый делами внутренней политики днем, он вечером хочет отдохнуть, и если идет в театр, то требует от него успокоения и забвения от тревог пережитого дня. <...> Он хочет вздохнуть, посмеяться и забыть про всякие идеи».<sup>55</sup> «Прежде ходили в театры развлечься. Теперь ходят только „отвлечься“... Отвлечься хоть на два-три часа от той невыносимой, беспросветной осенней слякоти, которая мутной, тяжелой и властной волной захлестнула нашу „яркую и свободную“ жизнь...»,<sup>56</sup> — констатировал в октябре драматург и театральный критик К. С. Острожский. Такого же мнения придерживался и выдающийся актер, один из «могикан» Александринского театра В. Н. Давыдов, заявивший в интервью сотруднику журнала «Бинокль»: «мы переживаем такое сумбурное время, что не можем разобраться не только в общественных делах, но даже в семейных. У всех болит душа, всякий ужас и всякий пустяк тревожит. Можно ли, при таких условиях, требовать чего-нибудь от публики? Она идет в театр просто, чтобы встряхнуться, посмеяться какому-нибудь новейшему фарсу».<sup>57</sup> Известный театральный деятель Н. М. Фореггер предсказывал: «надо ждать возрождения мелодрамы <...> революция всегда влечет за собой падение морали и развитие эротики».<sup>58</sup>

<sup>50</sup> П. Гнедич о своем «Декабристе» // Петроградская газета. 1917. 6 апр. № 79. С. 14.

<sup>51</sup> «Декабристы» пойдут в Москве // Там же. 12 мая. № 109. С. 5.

<sup>52</sup> ГЦТМ. Ф. 217. № 237. Л. 1 об.

<sup>53</sup> Зограф Н. Г. Малый театр в конце XIX — начале XX века. М., 1966. С. 523.

<sup>54</sup> Альтшуллер А. Я., Лецинер М. А., Рыбакова Ю. П. Ленинградский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина // Советский театр: Документы и материалы. Русский советский театр 1917—1921. Л., 1968. С. 220.

<sup>55</sup> Гнедич П. Из дневника. «Идейный» репертуар // Петроградская газета. 1917. 29 июня. № 149. С. 1.

<sup>56</sup> Острожский К. Алчущие и жаждущие... забвения // Новое время. 1917. 21 окт. № 14903. С. 5.

<sup>57</sup> Зритель. Как играется, поется и танцует при новом режиме. (Актеры и актрисы о современном зрителе) // Бинокль. 1917. № 1. С. 13.

<sup>58</sup> Фореггер Н. Какой нас ждет репертуар? // Театр и искусство. 1917. № 47. С. 787.



Но если к осени 1917 года первоначальный интерес к «революционной» драматургии сменился у значительной части посетителей государственных театров безразличием, то в дальнейшем, в особенности после Октябрьской революции, в кругах театралов стала зарождаться симпатия к репертуару, который можно с определенными оговорками назвать «реакционным». Так, во время постановки в Александринском театре 9 октября трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» часть публики хлопала «монархическому» монологу Годунова, часть — свободолюбивым речам боярина Сицкого, но аплодисменты первому были громче.<sup>59</sup> Весьма показательным был инцидент, произошедший на представлении в том же театре пьесы Толстого «Живой труп». Она не относилась к числу запрещенных, после революции ставилась 9 апреля и 9 ноября (в 50-й раз на сцене Александринского театра).<sup>60</sup> Скандальный случай произошел при следующей постановке «Живого трупа» в Александринском театре, 13 ноября. С. И. Смирнова-Сазонова записала в этот день в дневнике (со слов своей дочери Л. Н. Шуваловой): «В одной картине „Живого трупа“, в сцене суда, при поднятии занавеса, вдруг раздалась в зале аплодисменты, к(ак) при выходе какого-ниб(удь) любимца публики. Люба, находившаяся за кулисами, не могла понять, кому это аплодируют. Оказывается, городовому, кот(орый) один только и б(ыл) на сцене. (...) Вот как стосковался Пет(роград) по прежн(ей) полиции, по безопасности и порядку на улицах!».<sup>61</sup> «Демонстрация была настолько бурная и единодушная, что действие приостановилось, и статист, изображавший городского, растерялся, не зная, что ему делать — не кланяться ли публике?» — вспоминал много лет спустя С. Л. Бертенсон.<sup>62</sup> При таких настроениях публики вопрос о появлении в театрах «революционного» репертуара становился в послеоктябрьское время неуместным.

Схожие чувства испытывали и многие представители артистического сообщества, наблюдавшие распад отлаженного механизма бывших императорских театров на фоне погружения страны в хаос и активно (вплоть до рубежа 1917—1918 годов) противостоявшие большевикам в их стремлении контролировать казенную сцену. «Чем нас утешит 18-й год? Неужели же проклятие будет долго еще тяготеть над нашей бедной Россией! Ни выхода, ни спасения не вижу» — признавалась 29 декабря 1917 года в письме В. А. Теляковскому старейшая актриса Малого театра Г. Н. Федотова.<sup>63</sup> «При сложившихся тяжелых условиях жизни и всевозможных неожиданных недоразумениях или, вернее сказать, кошмарных безобразиях, учиняемых даже вполне мирному, благородному искусству и его жрецам — работать немислимо!» — жаловался в декабре 1917 года в письме к Ф. Д. Батюшкову «первый русский актер» В. Н. Давыдов.<sup>64</sup> «Я устал невыносимо. Как только появятся условия, я совсем и навсегда откажусь от какого бы то ни было участия в управлении. Говорить нечего, что если только удержится общее управление страной в руках, в которые оно попало, то это будет для меня решающим условием немедленного ухода» — сообщал тому же Батюшкову 12 ноября А. И. Сумбатов-Южин, занимавший пост уполномоченного по Малому театру.<sup>65</sup>

Если весной государственные театры искали, пусть и не особенно успешно, запрещенные ранее пьесы с революционным уклоном, то осенью,

<sup>59</sup> Снимать ли «Смерть Грозного»? // Петроградский листок. 1917. 12 окт. № 245. С. 4.

<sup>60</sup> РГИА. Ф. 497. Оп. 10. Д. 1360. Л. 56, 137.

<sup>61</sup> ИРЛИ. Ф. 285. № 67. Л. 32.

<sup>62</sup> Бертенсон С. Л. Вокруг искусства. Холливуд, 1957. С. 231.

<sup>63</sup> ГЦТМ. Ф. 280. № 747. Л. 1.

<sup>64</sup> ИРЛИ. № 15074. Л. 24.

<sup>65</sup> Там же. № 15227. Л. 7 об.

после Октября, создались предпосылки для появления на сцене противоположного по идейному звучанию репертуара. Весьма примечательным в этом смысле оказалось состоявшееся 9 ноября заседание Литературной комиссии при ХРК Александринского театра, на котором члены комиссии «слушали: „Военно-революционную пьесу «Волки» из эпохи 1793 г. в 3 актах, соч. Сен-Жюста. Перевод Федора Сологуба и Анастасии Чеботаревской»». <sup>66</sup> Пока не удалось выяснить, зачем Ф. К. Сологуб и А. Н. Чеботаревская, переведя на русский язык написанную в 1898 году драму Р. Роллана «Волки» (непосредственным поводом для создания произведения, о котором сам автор говорил «это — пьеса политическая», стало знаменитое «дело Дрейфуса»<sup>67</sup>), пошли на мистификацию с именем революционера Л. А. де Сен-Жюста.<sup>68</sup> Любопытно, что ни председатель Литературной комиссии П. О. Морозов, ни ее члены (А. А. Блок и А. Г. Горнфельд) не указали в протоколе подлинный источник перевода (в связи с чем, несмотря на широчайшую эрудицию всех членов комиссии, все же остается открытым вопрос — догадались ли они об авторстве Роллана), хотя и отметили, что «автор „военно-революционной” пьесы, конечно, не знаменитый якобинец Сен-Жюст, который с точки зрения автора должен быть отнесен к самым кровожадным из обличаемых им „волков”». <sup>69</sup>

«Волки» Р. Роллана, который, как известно, придерживался социалистических взглядов, стали первой пьесой из созданного им впоследствии цикла драм «Театр революции». Но, не зная (возможно) имени и идейной репутации автора и в то же время находясь в эпицентре другого, не менее радикального политического переворота, члены Литературной комиссии увидели в «Волках» чуть ли не манифест реакции. «Основной ее порок, делающий ее во всяком случае нежелательной для сцены — ее чрезвычайная грубость» — отмечалось в протоколе. «Груба прежде всего ее тенденция, явствующая из вышеизложенного ее содержания: низы народные дают общественно-политической жизни только „волков”; истинным героям пьесы аристократу Дойрону и ученому Телье противопоставлены колбасник, конюх, лавочник, тупые фанатики, а то и негодяи, лишённые всякого нравственного чувства. Понятнее соблазн именно в наши дни показать русскому зрителю со сцены это яростное обличение якобинства; но едва ли от обличений такого рода выигрывают что-либо ясность общественной мысли и искусство». Членами комиссии, признавшими пьесу неприемлемой для постановки на сцене государственного театра, были высказаны претензии и к качеству перевода: «не имея подлинника, нельзя судить о его точности, <sup>70</sup> но совершенно очевидно, что легкую французскую речь переводчик слишком часто передает дословно тяжелыми русскими фразами, которые звучали бы тускло или крикливо с русской сцены. Переводчик заставляет офицеров обращаться к представителю конвента с наименованием „Представитель”, он влагает им в уста фразы вроде „это не в последний раз факты опрокидывают его идеи” (стр. 7) или „Разве славные малые из Санкюлотов не должны всегда посту-

<sup>66</sup> РГИА. Ф. 497. Оп. 10. № 1343. Л. 41.

<sup>67</sup> Петрова Е. А. «Театр революции» Ромена Роллана: (Драмы конца 1890-х — начала 1900-х годов и их исторические источники). Саратов, 1979. С. 10—11.

<sup>68</sup> Отметим, что в список осуществленных Сологубом и Чеботаревской переводов эта пьеса впервые была включена совсем недавно: Стрельникова А. Б., Филичева В. В. Библиография художественных переводов, выполненных Ф. Сологубом. Незданные и несобранные поэтические переводы // Федор Сологуб. Разыскания и материалы / Под ред. М. М. Павловой. М., 2016. С. 648, 659.

<sup>69</sup> РГИА. Ф. 497. Оп. 10. № 1343. Л. 42.

<sup>70</sup> Это признание можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что члены Литературной комиссии не догадались об авторстве Роллана.

паться своими симпатиями или антипатиями ради интересов нации?" (стр. 11) или: „Ты в хорошеньком виде" (стр. 28) и т. п.».<sup>71</sup>

В архивном фонде Сологуба в Пушкинском Доме отложились несколько вариантов перевода «Волков» Р. Роллана. Один из них, машинописный, подписан именем Сен-Жюста — именно копию с него (после правки) Сологуб и Чеботаревская представили в Литературную комиссию.<sup>72</sup> Любопытно, что некоторые из отмеченных членами комиссии фраз первоначально звучали еще более злободневно: высказывание Кенеля «Разве славные малые из санкюлотов не должны» было переведено как «Разве славные пролетарии не должны», но затем исправлено.<sup>73</sup> В имеющейся в том же деле корректуре драмы (где автором уже указан Р. Роллан), отпечатанной в январе 1918 года в типографии Николаевской военной академии, предложения, названные в протоколе заседания Литературной комиссии «тяжелыми русскими фразами», были сохранены.<sup>74</sup>

Констатировав запрос части публики во второй половине 1917 года (как и формирующееся «предложение» среди драматургов и переводчиков, особенно тех, кто работал в фарсовом жанре<sup>75</sup>) на «реакционный» репертуар, следует все же признать, что эта тенденция не получила в то время в государственных театрах сколько-нибудь заметного развития, и придерживавшимся правых взглядов зрителям пришлось довольствоваться монологом Годунова в «Смерти Иоанна Грозного» и явлением городского в «Живом труп». Последовавшее на рубеже 1917—1918 годов установление контроля большевиков над государственными театрами поставило крест на возможности появления на их сцене пьес, идеологически враждебных новым хозяевам.

Изложив, таким образом, фактическую сторону поиска государственных театрами в 1917 году «революционной» драматургии, представляется возможным сделать ряд выводов.

Во-первых, весной, непосредственно после Февральской революции, государственные театры столкнулись с мощным общественным запросом на обновление репертуара в соответствующем «переживаемому моменту» духе. При этом в их положении, в отличие от частных театров, имелись две особенности: бывшая императорская сцена нуждалась в подчеркивании разрыва со своим придворным прошлым, но не могла использовать ту низкопробную «распутинскую» драматургию, которая еще в марте начала победное шествие по сценам театров-фарсов.

Во-вторых, поиск хоть в какой-то степени «революционных» произведений оказался для казенных театров непростым делом. В марте не было показано ни одного подобного спектакля, в апреле — два (оба — на сцене петроградского Михайловского театра), из них «Мещане» Горького были разрешены к постановке еще царским правительством. Характерно, что обе пьесы прошли вне основного репертуара («Мещане» — как спектакль в пользу Литературного фонда, «Зарево» Е. П. Карпова в качестве бенефиса вторых режиссеров и суфлеров), в котором они так и не закрепились: «Зарево» вследствие неуспеха у критики, а «Мещане», по всей видимости, не были включены в репертуар нового сезона из-за неприятия большинством артистов политической, «пробольшевистской» позиции Горького. Хотя эти спектакли вкуче с поставленной Малым театром «Саломеей» и не позволя-

<sup>71</sup> Там же. Л. 42—42 об.

<sup>72</sup> В деле отсутствует общая пагинация; данный вариант перевода см.: ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 213. Л. 38—140.

<sup>73</sup> Там же. Л. 49.

<sup>74</sup> Там же. Л. 7 об., 9 об.

<sup>75</sup> Мокульский С. Петроградские театры от Февраля к Октябрю. С. 26.

ют согласиться с тем, что артисты государственных театров России в 1917 году вообще «отказались от осуществления каких-либо значительных новых постановок»,<sup>76</sup> все же скудость, недостаточность, в сравнении с общественными запросами, подобного репертуара на казенной сцене была очевидна для современников.

В-третьих, большое влияние на репертуарную политику государственных театров оказало решение руководителей Комиссариата Временного правительства над бывшим МИДв (высказанное комиссаром Ф. А. Головиным и главноуполномоченным по государственным театрам Ф. Д. Батюшковым) экономить на новых постановках. Жертвой подобной бюджетной стратегии пала драма Д. С. Мережковского «Павел I», которую хотела и планировала показать на сцене труппа московского Малого театра.

В-четвертых, летом и осенью 1917 года театральные рецензенты, вынужденные констатировать отсутствие на казенной сцене «свободной» драматургии, разделились на два лагеря: одни упрекали государственные театры в неумении соответствовать духу времени, другие настаивали на первичности эстетического критерия при выборе пьес. Наиболее ярким воплощением этой полемики стала публичная дискуссия на страницах «Петроградской газеты» между заслуженными артистами Н. Н. Ходотовым и Ю. М. Юрьевым — причем последний, отвергая необходимость постановки «революционных» драм, представлял в то время мнение большинства труппы.

В-пятых, растущее разочарование революцией в артистических кругах осенью 1917 года встречалось в наэлектризованной искусством и политикой атмосфере зрительного зала со схожими настроениями публики. Ряд инцидентов (аплодисменты «монархическому» монологу Годунова в «Смерти Иоанна Грозного», городовому в «Живом труппе») говорит о формировании к тому времени у части театралов запроса на «реакционный» репертуар. Можно предположить, что если бы большевики не захватили, а затем не удержались у власти, эта тенденция получила бы на государственной сцене дальнейшее развитие, равно как и «мелодраматическое» направление, которому ряд критиков предсказывал большое будущее в связи с потребностью зрителей в эпоху тяжелейшего общенационального кризиса «забыться» во время спектакля.

<sup>76</sup> *Frame M. Theatre and Revolution in 1917: The Case of the Petrograd State Theatres // Revolutionary Russia. Vol. 12. № 1. P. 90.*

© И. В. КОЩИЕНКО

## РЕВОЛЮЦИОННОЕ МИХАЙЛОВСКОЕ ГЛАЗАМИ В. В. ТИМОФЕЕВОЙ

В 1929 году в Пушкинский Дом поступил архив писательницы Варвары Васильевны Тимофеевой (1850—1931),<sup>1</sup> издававшей свои повести и романы под псевдонимами «О. Починковская», «Анна Стацевич», «В. Тимофеева-

Ирина Владимировна Кощиенко — научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

<sup>1</sup> Пост. № 991 от 30 июня 1929 года. Ему был присвоен порядковый номер: фонд № 425. Об истории поступления архива см.: *Кощиенко И. В. Сотрудники Пушкинского Дома в судьбе В. В. Тимофеевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2015 год. СПб., 2016. С. 235—236.*

Починковская» и др. Ее основным занятием была работа корректором в журналах «Гражданин» (под руководством Ф. М. Достоевского, о чем опубликованы ее воспоминания), «Отечественные записки», «Искра», «Вестник Европы». По своим общественно-идеологическим взглядам она была последовательницей А. И. Герцена, сторонницей республиканской формы правления, принадлежала к кругу радикальной демократии, группировавшейся вокруг «Отечественных записок». С лета 1911 года Тимофеева жила в Колонии для престарелых и неимущих литераторов, открытой в Михайловском в память об А. С. Пушкине.<sup>2</sup> «Уголок» Псковской земли после выкупа его государством у родственников поэта (1899), а особенно после образования на его территории этого благотворительного учреждения стал стремительно превращаться в место паломничества почитателей Пушкина. Тимофеевой суждено было стать первым хранителем и экскурсоводом его родовой усадьбы. В 1920 году она передала в Рукописное отделение Пушкинского Дома свои воспоминания «Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911—1918 гг.».<sup>3</sup> Эта рукопись, поступившая раньше архива и ставшая доступной читателям, частично введена в научный оборот,<sup>4</sup> архив же долгое время оставался неразобранным. В настоящее время его научно-техническая обработка близится к завершению.

По результатам этой работы можно сказать, что самой ценной частью весьма внушительного фонда являются мемориальные свидетельства периода проживания в Псковской губернии, запечатленные в дневниковых записях 1918—1921 годов, о существовании которых до недавнего времени известно не было. Обработка архива позволяет открывать новые факты из жизни не только самой Тимофеевой, но и первого в России пушкинского музея-усадьбы в предреволюционные годы и свидетельства его бедственного положения в конце 1910-х — начале 1920-х годов.<sup>5</sup> В них зафиксирована без купюр тыловая, а затем и революционная повседневность сельца Михайловского и его окрестностей. Свидетельства эти тем весомей, что написаны они пером профессионального литератора. Мемуары Тимофеевой отличает динамичный сюжет, представленные в развитии образы окружавших ее людей, художественные живописания природы, использование местного диалекта в бытовых сценах из жизни крестьян, описании их внутреннего мира, их видения проблем деревни в годы революции и Гражданской войны.

<sup>2</sup> См. о ней: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 122—123; Тихонова Л. П. Из истории «Пушкинского уголка»: В. В. Тимофеева-Починковская // Михайловская пушкиниана. М., 2001. Вып. 19. С. 183—187.

<sup>3</sup> ИРЛИ. № 14487. Далее ссылки на этот источник приводятся в тексте с указанием номера листа.

<sup>4</sup> Давыдов А. И. Воспоминания В. В. Тимофеевой (Починковской) «Шесть лет в Михайловском» // Михайловская пушкиниана. М., 1996. Вып. 1. С. 5—28; Бурченкова Р. В. Усадьбы пушкинской поры по воспоминаниям В. В. Тимофеевой-Починковской // Там же. Пушкинские Горы; М., 2005. Вып. 37. С. 115—131. Об истории обретения этой рукописи в стенах Пушкинского Дома см.: Кошценко И. В. Сотрудники Пушкинского Дома в судьбе В. В. Тимофеевой. С. 229—230.

<sup>5</sup> См. наши публикации: Кошценко И. В. 1) Десять лет из жизни «Домика няни» в Михайловском: 1911—1921 (По материалам архива В. В. Тимофеевой) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2009—2010 годы. СПб., 2011. С. 290—301; 2) Отзвуки Первой мировой войны в селе Михайловском (по материалам воспоминаний В. В. Тимофеевой) // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні: мат. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 7—8 кастрычніка 2014 г.) / Прадм. і ўклад. С. Л. Гараніна; навук. рэд. А. І. Лакотка. Мінск, 2014. С. 212—218; 3) Из переписки Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой: Мария Александровна Каллаш и Варвара Васильевна Тимофеева (по материалам архивов Музея МХАТ и Рукописного отдела Пушкинского Дома) // Михайловская пушкиниана. Сельцо Михайловское, 2016. Вып. 67. С. 199—234 (совместно с К. Энгельгардт); 4) Сотрудники Пушкинского Дома в судьбе В. В. Тимофеевой. С. 228—238.

На первых страницах дневника «Шесть лет в Михайловском» слово «революция» употребляется с некоторой иронией, поскольку имеет отношение к самой Тимофеевой. Ее «бунтующую» натуру невзлюбил управляющий Колонией П. Ф. Карпов за активное недовольство порядками, заведенными им с выгодой для себя: «...обо мне наводились — через полицию — справки. И оттуда (из Петербурга) прислали такие будто бы сведения: „Смелая. Никого не боится. Царю самому в глаза правду скажет“. Не пахнет ли уж и тут „революцией“?» (л. 17). Ей передавали угрозы Карпова, что он сделает так, «„что литераторы жить здесь не будут...“ <...> „Литераторов он боится...“ Им чудится революция там, где их нет» (л. 20). Конечно, с ней, как с «умственным человеком», пытались поговорить и о разных щекотливых вопросах: «об опасности „красного цвета“ идей и журнальных обложек, о каких-то „наших революционерах“ в земстве, о шпионстве Ириши (кухарка Колонии. — И. К.), о глухом брожении народа и т. п. Мне кажется, они ждут от меня предьявления моих замыслов, и я спешу успокоить их: я говорю, что приехала в Михайловское для выполнения давно задуманных литературных работ и для отдыха от сорокалетней корректорской лямки» (л. 17).

Угроза грядущей революции слышалась также в разговорах крестьян, не принимавших нового государственного статуса этих земель и лесов, но наблюдавших самоуправство попечителей: «Мужики постоянно грозятся, что придут в село с топорами и вилами, что вся земля, и лес, и усадьба — все ихнее. „Лет через десять ничего здесь не останется“, — говорил мне соседний, бугровский (из деревни Бугрово. — И. К.) мужик, в ответ на мои пояснения, в чем „всероссийское“ значение села Михайловского и почему надо хранить его в полной неприкосновенности» (л. 21—22).

С началом Первой мировой войны тон дневниковых записей меняется с идиллического и иронически-критического на тревожный и настороженно-выжидающий. В 1915 году началась вырубка заповедных рощ для строительства железной дороги «Псков—Полоцк»,<sup>6</sup> в связи с чем случаи неконтролируемого вывоза леса стали постоянными. Местные власти бездействовали. Прислуга Колонии и крестьяне советовали Тимофеевой «предать публичному оглашению» все эти факты: «Везде то же самое. Оттого и Россия ведь погибает!» Она писала в Губернский попечительский совет В. В. Философовой.<sup>7</sup> А ее продолжали увещевать: «Что хотят, то и делают. Все заодно, и все жулики. Сказать всего невозможно. Ежели до суда довести, страм большой выйдет. На всю губернию страм. Только вы здесь правильно и живете. Вас только и боятся, и уважают. А другие все никуда не годятся. И меняются, а ничего толку нет. Только одни вы. Вас Бог сюда прислал им на устрашение...» (л. 154—155).

Проблема истребления Михайловских рощ постоянно будет присутствовать в свидетельствах Тимофеевой, ведь только «пушкинская» природа и спасала от ужасных, противных всему ее существованию картин настоящего: «Вспоминается и еще один разговор мой в лесу с заведующим порубкой прапорщиком квартирующего при железнодорожной постройке какого-то батальона.

<sup>6</sup> О строительстве и функционировании этой железнодорожной ветки см.: Алексеев С. А., Кондратеня А. В. Опочка: 1917—1941. Сб. статей и материалов. Псков, 2012. С. 131—133.

<sup>7</sup> Философов Владимир Владимирович (1857—1929) — с конца XIX века губернский предводитель псковского дворянского собрания. Почетный попечитель Михайловского. Именно по его инициативе на собранные по подписке средства у младшего сына Пушкина была приобретена в государственную казну усадьба Михайловское с целью открытия в нем «какого-либо благотворительного учреждения».

— Долго ли вы еще тут рубить будете? — спросила я. — Пожалели бы память Пушкина.

— Что же нам, из-за *какого-то* Пушкина всем погибать прикажете?

— У нас был *один* только Пушкин: великий поэт. И другого такого не было и не будет!

— Вырубим все, если понадобится. Народ русский дороже одного поэта, хотя бы и *великого*.

— Нет, не дороже народ, если не умеет ценить своих лучших певцов. Поэт — носитель духа народного. Он сам мечтал о народном богатстве и народной свободе... <...>

— Только и ждем, когда терпение народа истощится и разразится у нас революция... Вот тогда и полетит тут все вверх тормашками... Не останется ничего ни от ваших великих поэтов, ни от Михайловского...» (л. 153).

Тимофееву тревожат грядущие изменения. Она постоянно отмечает недовольство в народе: «Народ и без войны страшно бедствует. А здешних „господствующих“ как-то это не беспокоит. Еще норвят поживиться сами. Вот это признаки, едва ли обещающие „радость в будущем“, когда кончится эта мучительная война. <...> Мне представляется в будущем такой хаос, такое возмущение всех стихий, физических и моральных, что едва ли дождемся мы с вами до первого дня нового мироздания. Дай Бог разве внукам да правнукам. А что этот мир рушится, и на смену ему идет совсем новый — в этом сомневаться уже нельзя. Рушится и валится в бездну» (л. 90), — пророчествует писательница. Царящий в стране произвол постепенно захватил и «Пушкинский уголок», как тогда называли эти места. Все вокруг представляло собой порочный круг лжи и расхищения, царил голод, дохли лошади, собаки. Ее «просвещенное сознание» угнетали призывы к ложным жертвам «во имя *якобы* любви и долга» (л. 88). Дневник этого периода подчас напоминает книгу жалоб, в котором его хозяйка как беспристрастный свидетель только фиксирует происходящее. В дневниковом пространстве можно было высказаться, пережить, осознать перемены. Это была едва ли не единственная возможность рассказать о своих страданиях. Письма нужно было писать с оглядкой, ведь в военное время действовала почтовая цензура.

Противоречивые новости из Петрограда, первые последствия установившегося в стране двоевластия — все эти события находят отклик на страницах с записями 1917 года, наполненными сомнениями Тимофеевой в правильности развития событий: «Все хорошее только в *идеализме* переворота, — в том, что вместо *сооружения* гильотины и виселицы, мы *отменили* смертную казнь... Вместо введения цензуры — освободили слово и мысль. Здесь — точки соприкосновения у людей разных партий и общественных положений. <...> Только *этого* мы хотели: освобождения от рабских цепей, улучшения нравов, просветления тьмы, облегчения тягостной доли всех трудящихся и обремененных... И чувства мои такие теперь — точно после землетрясения, ураганной бури или внутреннего *поджога*... Все развеяно! Все сметено! Ни прошлого, ни воспоминаний о нем. А будущее — в загадочном и зловещем тумане... *Что там* впереди? Что? Никто не знает и не предчувствует... Паралич!

Я республиканка по духу от молодых моих дней, но я с отвращением или болью переживаю этот *внезапный* переворот. Есть в нем что-то угрожающее своей легкостью. Сознательные, глубоко необходимые жизненные процессы совершаются не так-то легко...» (л. 171—172).

Отсутствие своевременной и достоверной информации, многочисленные слухи от приезжих из Петрограда вселяли постоянное беспокойство за судь-

бу России: «Нет газет, да и в газетах, я уверена, нет полной правды. И там подбор известных фактов для освещения (желанного или необходимого в данный момент) всех совершающихся событий» (л. 173).

Тимофеева оставила несколько ярких зарисовок народных собраний в Святых Горах, начиная с первого, проведенного в начале марта, когда началось формирование Советов рабочих и крестьянских депутатов. Она подмечает и стремление к власти недалеких ораторов, «полуинтеллигентных пролетариев», и осторожность народа в выборе представителей («„вожаков хороших” совсем не оказывается»)<sup>8</sup> После известия об отречении Николая II, когда старики начали говорить: «Не привыкли мы так, без набольшаго. Как бы хуже не вышло?» (л. 166), писательница ночами размышляла о новых формах правления: «Республика потому теперь лучше, что она сразу дает искомое *pec plus ultra*.<sup>9</sup> Всеобъемлющее содержание скорее удовлетворит всем требованиям, раскрывая пути ко всевозможным достижениям. Выбирайте и осуществляйте! Республика с основами конституции, но без классов, чинов и рангов, с *естественной* аристократией натур, избранных по талантам, образованию, знаниям или умственным или нравственным качествам. Все различия равных между собою в правах природных проявятся сами собою, не подчиняя и не насилуя. А монархия — даже строго конституционная — после *такого* переворота (солдатского и фабрично-заводского) покажется уже чем-то вроде *реакции*, изменой и фальшью „господ буржуев”...

И вот всю ночь напролет я готовилась подавать голос, придумывая наиболее выразительную сокращенную формулу. Государство Российское — сеть земских управ и собраний, объединенная в одной всеобщей Государственной Управе. Иначе: *Российская держава народоправствующая. Выборное управление с Государственным старшиной на три года.*

Но страшнее всего теперь невежество (самомнительное) чуть-чуть тронутых грамотностью „товарищей” и своекорыстие предприимчивых и честолюбивых „дельцов”... Мне видится отсюда, из моего глухого отдаления, вся перспектива ближайшего будущего... И свет, и тени... Мало света и много-много теней... Все в брожении... Встряска быта и нравов... А провокаторы и анархисты — это то же, что засуха и заморозки на весенние всходы... И никакие Керенские не одолеют их пагубного влияния... Вся надежда на сдержанность душевных привычек „богоносца” — народа российского. Только здесь, подле них, чувствуешь почву под ногами. „Нет лучше народа русского: *правда в ём*”<sup>10</sup> (л. 169—170).

Но ее надеждам на народную силу духа не суждено было сбыться: на сходках, митингах, в декларациях и манифестах вносилась смута в сознание народа: «Шайка разнузданных насильников вместо солдат... Армии, полчища тупоголовых невежд и совершенно потонувшее в тине своекорыстия, безверия и безучастия торгашество... А к нему-то и рвется все это столь наивное, столь простодушное, беспомощное во тьме, исконное наше крестьянство... „Господ не надо!” „Купцов толстобрюхих не надо!” „Телигентов не надо!” „У нас будут свои торги, свои суды, свои законы”... И вот началось это их „свое” — грабежи, захваты, насилия, озорство... И гг. „временные правители” на все это мечтательно взирают и только говорят, говорят,

<sup>8</sup> См. публикацию данного эпизода: Бурченков К. Пушкинский уголок в канун смутного времени (1911—1917) // Михайловская пушкиниана. Сельцо Михайловское, 2012. Вып. 53. С. 12—13.

<sup>9</sup> самый лучший, непревзойденный (лат.)

<sup>10</sup> Тимофеева здесь цитирует слова «полесовного» (лесника): «Как же так: прежде Россия непобедима была, а теперь вот и одолеть никого не можем. Захудали совсем! А ведь говорят же про нас: „Нет лучше народа русского — правда в ём!” По-божьему, значит, жить захотели, чтоб не обижать никого...» (л. 165).



говорят о „правах” и „свободе” всеобщего равенства и братства... Нет, нет, довольно! Бегу в гамак, к деревьям, к птицам, к молчанию, к душевной тишине...» (л. 205).

На одном из таких собраний зашла речь и о судьбе Михайловского:

«— Вы должны помнить, товарищи, — взывал прапорщик Павлов (агитатор из Опочки. — *И. К.*), — что село Михайловское — место святое. Оно должно принадлежать всему государству. Там жил и работал для вашей свободы великий человек — Александр Сергеевич Пушкин...»

Сейчас же за ним выступает снова и Ольхин,<sup>11</sup> эффектным жестом сдвигает шляпу на затылок и, приняв картинную позу, во всеуслышание провозглашает:

— Михайловское, согласен я, — место святое. Да, там жил Пушкин, писатель-стихотворец. Литература и, что может быть выше, *паэзия* — все это так. Но ведь в чем дело, товарищи: Михайловское — место святое, но живут в нем *гады*. Предыдущий товарищ называл вам светлую личность теперешнего управляющего (Н. А. Зварковский. — *И. К.*), который-де „может и вам принести пользу”. А я ничего светлого в нем не вижу. И вот доказательство: дал подписку — у меня здесь она, — что дрова давать будет; а когда я прислал к нему солдатку, он сказал, что дров у него нет...

Поднимается шумный спор и разбор всего дела, основанием которому послужило недоразумение в понимании слов „дрова” и непиленые бревна, а также и предвзятость самого обвинения. Защитником отсутствующего на митинге управляющего является тот же сын Марфы, как ближайший свидетель-очевидец всего происшедшего.

Я стою в толпе как раз против оратора, и вдруг слышу такое же велегласное суждение о самой себе:

— Есть там, по-моему, один человек только светлый — Варвара Васильевна! — выпаливает он. — И то я бы сказал: не совсем, а так, полусветлый. И то потому, что пишет она *в каких-то газетах*...<sup>12</sup> <...>

И по мнению этого ценителя и судьи, в Михайловском надо устроить больницу и школу, „и тогда в нем будут жить не гады, а действительно светлые люди... И тогда это место будет действительно уж святое...”

— Вот нашли тоже место святое! — качая головой, говорит подле меня какой-то мужик, наворачывая цыгарку.

На нас (т. е. на меня и жену Зварковского) все оглядывались. И я с улыбочкой отвечала на эти взгляды:

— Мели, Емеля! Твоя неделя.

В Михайловском отнеслись неодобрительно ко всем этим приговорам. „И вышел сам — сказать бы ему — как есть *полудурак!*” — решил за всех нас Илья. А ночной караульный, „Гвоздок”, долго не мог успокоиться и все повторял с глубоким негодованием в голос: „Какие же мы тут гады? Мы все здесь крещеные, как быть следует!”» (л. 198—201).

Совет крестьянских депутатов был организован в Опочецком уезде к августу 1917 года. Об особенностях выборов и избранного контингента красноречиво свидетельствует следующий разговор:

<sup>11</sup> Ольхин Николай Николаевич — владелец мельницы в дер. Бугрово, находившейся недалеко от Михайловского. После февральских событий 1917 года — начальник милиции Воронцовского уезда, затем председатель волостного Совета крестьянских депутатов. Избран членом Учредительного собрания от Псковской губернии, входил в бюро фракции левых эсеров. В конце 1910-х годов, после разочарования в успешности своей политической карьеры, занялся исключительно литературным трудом. Стал членом Всероссийского Союза поэтов, занимался журналистикой.

<sup>12</sup> Имеются в виду ее публикации в журналах. Например, в 1916 году в журнале «Исторический вестник» (№ 8—12) была опубликована ее повесть «У чужих алтарей».

«— Зачем же вы выбираете все тюремных, кто в тюрьме сживал? — спрашивает Н(иколай) А(лександрович) (Зварковский. — И. К.) у полесового.

— Да никто их не выбирал. Они себя сами выбрали. Нам и рта разинуть не дают, отводят назад. Вы, говорят, молчите, вы ничего не знаете и не понимаете, — вы старого порядка. Ну, а те, что в тюрьмах-то сживали, те языком ворочать наострились. Ну и ворочают всем. Кто больше кричит: „Землю отбирайте, лес рубите, у помещиков все отнимайте, господ бейте” — вот тех и выбирают. А они, выбранные-то, деньги общественные все пропили да в карты проиграли. И ничего теперь в волости нет, все растратили. Прежний-то старшина хоть и лихо брал взятки, все же общественную казну сберегал. А нынешний все по митингам забавляется. И ровно они там как Петрушка на балагане: то один выскочит, наболтает, то другой... А толку все никакого...» (л. 230).

Такие «бурнопламенные» агитаторы повсеместно старались «приложить все усилия, чтобы пламя „народного гнева” не угасало...», а как следствие этого — народ просто «„заломает родную дубину” — на царя, на господ, на купцов, на попов... и на кого там еще с давних пор злость завидная разбирает...» (л. 175). Рушащийся вокруг мир не оставлял надежд на сохранение материальных свидетельств присутствия Поэта и поэзии в Михайловском.

Лицемерие и равнодушие проникало в храмы: «„Отпадают от церкви и веры. Многие отпадают, — жаловался он (святогорский монах о. Даниил. — И. К.). — Не нуждаются теперь в молитве по-прежнему”. И духовенство предчувствует свое низложение. „Ни духовенства, ни церкви, говорят, не надо. Про это так ведь и сказано: настанет время, не будет совершаться жертва”...Боже, спаси Россию! Освободи нас еще от одного врага — тоже сильного и жестокого: от языкоблудия, празднословия, любоначалия и всякого мракобесия! Вот мой гимн» (л. 180).

Не прекращала Тимофеева своей просветительской деятельности. Для нее огромное значение имела каждодневная работа: потребность мыслить, читать, слушать музыку, писать «свое» и помогать другим писать письма на фронт, читать лекции, проводить экскурсии, консультации. В ноябре 1917 года она прочла солдатам латышской дивизии выученный еще в молодости ответ декабристов на пушкинское «Послание в Сибирь» «Струн вещей пламенные звуки» А. И. Одоевского: «С священным трепетом в груди и вся в огне читала я эти стихи, впервые читала *вслуш*, впервые ощущая свободу. Они просили повторить. Один солдат вынул записную книжку, приготавливаясь записывать. Я повторила, пояснив на прощанье: „Вы этих стихов в прежних книгах не прочтете, они запрещены <...>”. „Спасибо, бабушка! — отвечали те хором, — все поняли как надо и очень довольны вами!”» (л. 248). Варвара Васильевна и сама была благодарна всем, кто проявлял неподдельный интерес к этому местечку, как, например, пришедшим пешком со станции офицерам, интересующимся «достопримечательностями» Михайловского: «И честь вам и слава, господа, что вспомнили литературу. Может быть, никто теперь так и не страдает, как именно литература. Та самая литература, которая всегда составляла нашу лучшую силу и славу. Литература теперь в загоне» (л. 252).

Повседневная жизнь в Михайловском складывалась из напряженного ожидания погромов, бессонных ночей, нервов, напряженных «до галлюцинаций», не было ни писем, ни газет, ни керосина, только слухи, слухи, слухи. Такие, например, что дошли 5 ноября (по старому стилю, т. е. через 10 дней после революции в Петрограде): «К обеду приехали из Острова

инженеры и навезли новых слухов. К рубке (михайловских роц. — *И. К.*) приступить они *не смеют!* В политических делах полная неизвестность. Туман непроницаемый между нами и Петроградом. Большевики теперь властвуют надо всем. Казаки сдались или отступили. 75 % юнкеров и женский ударный батальон — невозвратно погибли. Властей нигде никаких, но везде расклеены манифесты и декреты Исполнительного Комитета. Один декрет (в два этажа) подписан Лениным и возвращает немедленный мир, всю землю и весь инвентарь — живой и мертвый — трудящемуся народу, и т. п. Госуд(арственный) Банк функционирует, но вся золотая наличность (в 1½ миллиарда) вывезена на судно „Аврора”. Немцы прорвали фронт у Минска. Солдаты русские уходят с позиций *домой*. Японцы уже в Сибири. На Мурмане хозяйничают англичане и американцы. Между Лугой и Петроградом ведутся переговоры о перемирии. Генералов и стражу в Быхове будут судить за содействие побегу Корнилова. Послы отозваны... Ну, что же ещё?! Боже, что же ещё! „Чем хуже, тем лучше, — говорят инженеры. — Это эпидемическая болезнь. Хуже уж ничего не будет. Не может быть. Месяцев на шесть затянется, а там и пройдет. Опомнятся, отрезвеют...” „Если с голоду не перемрут”, — прибавляют потом. „Боюсь, как бы и вы здесь не попали в живой инвентарь!” — смеется один. И (весь. — *И. К.*) вечер они заводили на граммофоне арию Сусанина и гимн „Боже, царя храни!”, запрещенный уже в Петрограде» (л. 248—249). А Тимофеева часто заводила граммофон с молитвенными песнопениями, «чтобы хоть немного отвлечь душу от „злости дня” и вспомнить прежнее житие — теперь, мнится, как будто лучшее, полное духовных благ и красоты...» (л. 245).

Весьма показательными являются записи о предстоящих выборах в Учредительное («Утвердительное») собрание, которые состоялись в Вороничкой волости 13 ноября.<sup>13</sup> «Старики ходили в монастырь к настоятелю спрашивать, за кого подавать голоса. Настоятель „за Ленина подавать не советует; потому, говорит, это человек не хороший, богохульник и как есть настоящий изменник, немцами прислан”. Т. е. сказал им то самое, что говорила и я. Но мне, разумеется, не поверили» (л. 253—254).

«Матвей Гвоздок {...} рассказывает свое: „Земляк-фабричный из Петрограда приехал, вестей привез. Много народу заводского побито. Около 30-ти Красной гвардии. И студентов около 30-ти. А казаков всех уложили. Зимний дворец по углам разбили. Голову тоже проббили наскрозь (непонятно: городского голову Шнейдера или крышу Зимнего дворца?). Серенский (Керенский. — *И. К.*) в женском платье убежал. А кто взял верх — неизвестно пока. Только что державы — Франция, Англия — от нас отступились: ни мира, ни перемирия не хотят. „С кем же у вас, говорят, мириться? Хозяина нет. Заведите сперва хозяина”. Дело известное: без хозяина никуда не годится. Вот и будут теперь-ка у нас соборы хозяина выбирать. Как и прежде так было, когда Романовых выбирали.

— Ну, а если выберут любезного теперь всем мужикам и рабочим Лени-на-то, которого германцы к нам в запечатанном вагоне подослали, как же тогда? Ведь он настоящий изменник, шпион, и всю резню и междуусобицу он и завел. А если выберут его?..

<sup>13</sup> Временное правительство под председательством А. Ф. Керенского 9 августа постановило назначить выборы на 12 ноября. После Октябрьской революции Совет народных комиссаров 27 октября принял постановление о проведении выборов в этот же срок в течение трех последующих дней. Во многих губерниях сроки были сорваны, и голосование происходило до конца ноября (см.: *Протасов Л. Г.* Учредительное собрание: История рождения и гибели. М., 1997. С. 95, 145, 152).

— Ну так что же, сударыня-Васильевна, коли разберут все его дело, и его тоже оставят — не иначе как.

— А чего ваш фабричный хочет и на что надеется?

— Да на что все, чего все хотят. Чтобы свобода для всех и за землю чтобы никому не платить. А земли чтобы всем давать, всякому человеку, мужского ли, женского пола — как есть все едино. Только мне одному ничего (хочет). — Потому года вышли. 83 года живу. <...>

— Може Корнилов подойдет, все устроит, — неожиданно заявляет он.

— А разве вы хотите Корнилова? — с недоверием спросила я.

— А мне что! Мне все равно, кто ни будь, только иди за Россию.

— Вот! — с умилением восклицаю я. — Как же не умный вы! Самый вы что ни на есть умнейший русский крестьянин! Вот и я так же думаю, Матвей Петрович. Кто ни приди, только иди стеной за Россию!

Весь день читала большевистскую газету „Солдат”.<sup>14</sup> „День”<sup>15</sup> тоже вышел и весь наполнен *протестами*. Все остальные запрещены: „буржуазные”! Поезда начали ходить до самого Петрограда. Но под Москвой (кажется, у Бологого) путь разобран, и двинулись туда большевистские броневики и пулеметы. Николай А<лександр>вич рассказывал, что в волостном встретил сегодня знаменитого „орла” здешних мест, Н. Н. Ольхина <...>.<sup>16</sup> Очевидно, приехал для предвыборной агитации.

Зварковский застал его в споре с солдатом-большевиком (сам Ольхин — под флагом эс-эров) и задал ему вопрос:

— За кем теперь власть?

— За штыками.

— А штыки за кого?

— Ну, за кого придется. Сегодня за одних, завтра за других...

*Суббота 11 ноября.* — Пришли две первые (со времени перерыва) московские газеты: „Русские ведомости” и „Р<усское> слово”. Невольный вздох облегчения, несмотря на ужасающие, сообщенные в них события... Лучше *знать*, чем томиться неизвестностью.

Получены выборные списки. Рабочая артель Михайловского, слава Богу, не за большевиков.<sup>17</sup> Все за *своих* (№ 3 — крест<ьянство> труд<овое>).<sup>18</sup> Впрочем, кто их знает! Нам говорят одно, про себя же, наверное, замышляют другое.

*Понедельник 13-го.* — Утром ездили в Святые Горы подавать голоса. Мы за № 2 (конст<итуционный>-дем<ократическая> партия). Марья А<лександр>овна<sup>19</sup> пишет из Пскова, что все слухи „страшно преувеличены”. Ник<олай> А<лександр>ович вычитал в „Р<усских> Вед<омостях>” одну „хорошую надежду”: „Все предвещает возврат монархии, самой неконституционной, самой первобытной и ограниченной...”

— Однако, как мы с вами подвинулись! — говорю я. — Несколько месяцев тому назад вы бы сказали, что это — „угроза”, а не „надежда”.

<sup>14</sup> Ежедневная газета, издававшаяся в Петрограде с 13 (26) августа 1917 года вместо закрытой Временным правительством «Солдатской правды» и «Правды».

<sup>15</sup> Ежедневная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге с 1912 года, с июня 1917 года — меньшевистская. Закрыта после Октябрьской революции.

<sup>16</sup> Здесь Тимофеева приводит папечатанные в местной газете стихотворения Н. Н. Ольхина, в которых он сравнивает себя с орлом.

<sup>17</sup> По результатам выборов большинство голосов получила партия эсеров, большевикам было высказано недоверие со стороны большинства населения страны (см.: *Протасов Л. Г.* Учредительное собрание. С. 164).

<sup>18</sup> Под № 3 в выборных списках значилась партия социалистов-революционеров, которая защищала интересы трудового крестьянства.

<sup>19</sup> Алексеева Марья Александровна — кассирша Губернской земской управы г. Пскова, гостившая в Михайловском в октябре 1917 года и подружившаяся с Тимофеевой.

Гуляла в сумерки по кругу.<sup>20</sup> Красота! В лебяжий пух закутанные деревья, перламутровое небо и жемчужная луна. И как мираж степных оазисов — эта мирная тишина и спокойствие...

О, если б так было *внутри* — у всех, у всех!» (л. 255—259).

Между тем народ «на гулянках» обсуждал будущие «новые порядки»:

«— Построят такую большую казарму — обедать, ужинать чтоб всем вместе. Господа и мужики — все заодно. Наймут большуху варить и готовить. И всем выдавать каждый день будут мяса по полтора фунта. (Вот и все благополучие „нового прижима“! («режима». — *И. К.*))» (л. 243).

В ноябре были захвачены все дворянские имения в округе, Михайловское — 18 ноября по старому стилю. Тимофеева до середины декабря еще оставалась в здании уже бывшей Колонии для престарелых литераторов, а потом была вынуждена переселиться в Воронич. Это с первого дня предвещали те самые «новые крестьянские порядки»: «Столовая „Колонии для престарелых литераторов“ превращена была в „штаб-квартиру“ и ночлежный приют дезертиров всех родов и профессий, представителей и осужденителей новых порядков и новой власти. Контролером приставлен был тот же „Санька“, солдат в серой папахе, надвинутой на ухо, с лицом цыгана и контуженной правой кистью. Всех особенно привлекал только что перенесенный перед тем из конторы в столовую телефон. С утра до позднего вечера, иногда же и ночью, раздавались звонки и слышались бесконечные переговоры с „товарищами“, то деловые, то самые вздорные, — что только приходило им в голову... С раннего утра на столе у них кипел большой самовар, а вокруг за столом сидели все эти „Саньки“, „Петьки“ и „Васьки“, товарищи, земляки, сослуживцы по новой профессии „учета“ и „контроля“... „народного достояния“. Приглашали за стол с собой и „семейную“ (обслуживающий персонал колонии. — *И. К.*), и всех, кто желает. Но нас, несчастных „буржуев“, отталкивал и пугал один вид всей этой грязи, один этот воздух, пропитанный испарениями неопрятных тел и одежд, и мы ютились все трое в читальной, за узеньким столом, заваленным по-прежнему еще газетами и журналами. Обед изготовлялся один и тот же для всех. Кофе подавалось уже без сливок (запрещено было «брить» молоко на сепараторе). Сливочное масло совсем исчезло по тем же причинам. А полпуда, накопленные экономией Надежды Петровны, исчезли с первых же дней, когда его подавали тарелками и увозили с собой, кто и куда хотел. Все заготовленные к зиме продукты истреблялись так же незаметно и быстро, за исключением соленых томатов, на которые не нашлось охотников: „буржуйная еда“ оказалась не по вкусу „товарищам“. Салфеток, скатертей и всей обычной для колонии сервировки нам более не выдавали. „Могут и так обойтись. Мы же едим без салфеток и из одной чашки хлебаем“. Вся посуда — дорогой английский фарфор и фаянс, от времен опекунства барона Розена, подарившего свой буфет вновь нарождающейся колонии, — все лишние ложки, вилки, ножи и хрусталь (прикупленный С. И. Зубчаниновым для высокопоставленных приемов), никелированные подносы и полоскательницы — все это пошло в „учет“, как „народное достояние“ и заперто было на ключ контролером. Я дрожала от страха в ожидании, что начнут заводить граммофон. В Петровском они потребовали граммофон к себе в кухню и, как в трактире, заводили его целый день без малейшего перерыва... Этого бы нервам моим не

<sup>20</sup> Круглая площадка перед господским домом в Михайловском, вокруг которой располагались усадебные постройки. Во времена поэта тут росла желтая акация, сирень и жасмин. В 1899 году Григорием Пушкиным, младшим сыном поэта, в центре площадки были посажены липы с вязом, который, как утверждает Тимофеева в этих же записках, был перенесен им из Петровского.

вынести! Нам удалось уговорить их не трогать пока граммофона, за недостатком иголок, и это испытание на время миновало нас. Но укладка вещей и целодневная суতোлка приводила нас, женщин, в состояние полубреда. Нервы были напряжены у нас до истерики, до галлюцинаций. Как только начинались сумерки, мы с Надеждой Петровной бежали в лес — опомниться и отдышаться... И всякий раз проходя „ночлежкой” (через столовую), с запахом запотелых онуч и грязных портянок, с плевками по всему полу, с окурками папирос и сигарок, с обрывками изорванных „бумаг”, с ворохами шинелей и тулупов на протертом, обшарпанном за несколько суток диване, Надежда Петровна зажимала нос и бормотала сквозь зубы:

— Замечательная способность сначала все привести в состояние свиарника, а потом располагаться в нем на житье!

А выходя за двери, мы обе в один голос вспоминали: „Не стая воронов слеталась...”» (л. 281—284).<sup>21</sup>

Советская власть в Опочечком уезде была установлена в январе 1918 года, что сопровождалось крестьянскими восстаниями, подавляемыми военными. 18 февраля германские войска начали наступление по всему русско-германскому фронту, к 23 февраля заняв г. Остров, а 25-го — Псков и частично волости Псковского и Опочечкого уезда.<sup>22</sup> Дом «первейшего поэта России» был уничтожен местными жителями, когда немецкие войска стояли в 30—40 верстах от Пушкинских мест;<sup>23</sup> с 18 по 20 февраля 1918 года крестьянами были также разграблены и сожжены Тригорское, Петровское и еще несколько соседних дворянских «змеиных гнезд». <sup>24</sup> Руководили разгромом лица с уголовным прошлым, убеждавшие крестьян громить помещичьи усадьбы, чтобы их обитатели не вернулись с приходом немцев. В Петрограде узнали об этих событиях после публикации в газете «Наш век» обстоятельного сообщения Тимофеевой о разгроме Михайловского,<sup>25</sup> которое передала в редакцию М. Н. Стоюнина.<sup>26</sup> Об этом ее просила сама автор письма, просьбу которой можно назвать криком о помощи: «Дайте знать в газеты (существуют ли они) о фактах здешнего повального истребления всех очагов культуры, всех памятников умственной, духовной красоты». <sup>27</sup> Сама писательница свидетелем сожжения не была, однако в ее архиве сохранилась сделанная ее рукой запись<sup>28</sup> о разгроме пушкинской усадьбы со слов учительницы из деревни Зимари (она располагалась на противоположном берегу реки Сороть). Приводим полностью этот текст.

<sup>21</sup> Цитируется первая строка поэмы Пушкина «Братья-разбойники».

<sup>22</sup> В период с февраля по ноябрь 1918 года немецкие войска оккупировали Псков и ряд западных волостей. См.: Иванов С. А. Большевики Псковской губернии в борьбе за победу Великой Октябрьской революции. Псков, 1960. С. 79—82.

<sup>23</sup> См.: Васильев-Ушкуйник Ф. А. Пушкинские уголки. М., 1924. С. 44—45.

<sup>24</sup> Публикацию этого фрагмента рукописи см.: Кошценко И. В. Десять лет из жизни «Домика няни» в Михайловском: 1911—1921. С. 294—296.

<sup>25</sup> Автор статьи «Разгром пушкинского уголка» С. Бурьяков практически полностью воспроизвел письмо Тимофеевой, интерпретировав подобные погромы как некие знаки времени и отметины истории на памятниках культуры, добавляющие им ценность (Наш век. 1918. 29 (16) марта. № 60. С. 2).

<sup>26</sup> Стоюнина Мария Николаевна (1846—1940) — основательница женской гимназии, жена педагога В. Я. Стоюнина. Подруга Тимофеевой с 1900-х годов, после революции хлопотавшая за нее в Постоянной комиссии для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам при Академии наук.

<sup>27</sup> Наш век. 1918. 29 (16) марта. № 60. С. 2.

<sup>28</sup> Запись представляет собой ветхий лист с наспех сделанными карандашными набросками (угасающий текст).

**«КАК ЗАЖИГАЛИ МИХАЙЛОВСКОЕ**  
**(рассказ очевидицы, П(елагеи) С(ергеевны) Сергеевой).**  
**В ночь с 18 на 19 февраля 1918 г.**

Из Зимарев увидела зарево. Вся наша деревня собралась на берегу смотреть, но никто не хотел идти туда. Боялись ответственности. Мы с З(инаидой) А(ндреевной)<sup>29</sup> думали, что зажгли дом-музей и хотели спасти хотя что-нибудь — картину,<sup>30</sup> книги... Когда мы пришли в Мих(айловское), оказалось, что горит не дом, а костры разводили в лесу. Народу там собралось уже масса. Возле флигелей у ворот стояли возы. Быв(ший) заведующий, кучер Матвей не хотел отпирать дом и предлагал нам самим разбить окна и влезть туда. Мы не соглашались. Мы просили выдать нам хоть одно полотно на хранение, раму пусть ломают и жгут...

Все мужики были с топорами, на(род) толпился возле дома, чего-то выжидая. Матвей все ходил и шептался с ними... Вдруг из лесу раздался выстрел — видимо, это был сигнал, — тогда все бросились с топорами к дому. Сначала рубили двери, били стекла. Потом начался грабеж... ворвались в дом и хватали, кто что хотел... Даша Савкинская (из деревни Савкино. — И. К.) тоже была там и тащила к себе... Ерёминские проехали мимо нас с телегой.

Когда все разнесли, начали жечь... мы просили дать нам картину на хранение, говорили, что потом отдадим, кому следует, или будем хранить у себя. Раму пусть жгут, но картины не трогают! Один мужик начал было вырезать полотно, но тут же разведенный на полу костер из книг охватил и картину... Она вспыхнула... Загорелась...

Книги смотрели: нет ли картинок, и, не находя их, бросали и жгли... Из флигелей тащили буфет, разбив его на две части, а мы потом видели, как его везли. Бюст Пушкина взяли в охапку и со всего размаху бросили наземь... Все было варварски дико. Мы смотрели и плакали, но ничего не могли спасти. Боялись взять что-нибудь, чтобы не сказали потом, что и учительницы тоже тут грабили.<sup>31</sup>

После, на другой день, мы пошли в Петровское. Возле сгоревшего дома, у (нрзб.), стояла Кл(ара) Ф(едоровна) и Ал(ександра) Дм(итриевна)<sup>32</sup> и проклинали народ».

<sup>29</sup> Белокуровой; также учительница местной школы.

<sup>30</sup> Здесь и далее речь идет о картине псковского художника В. О. Рехенмахера «Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого» (1913).

<sup>31</sup> В рукописи 1922 года «Пушкинский уголок прежде и теперь» Тимофеева подводит печальный итог революционного разграбления усадьбы: «После разгрома усадьбы, в феврале 1918 г., на сугробах и по дорожкам в лесу валялись обгорелые листы „Капитанской дочки“ из первого посмертного издания, рядом с осколками посмертной гипсовой маски и кусками старого бильярда, на котором игрывал в одиночку поэт». Далее следует абзац, зачеркнутый автором из цензурных соображений при подготовке к публикации: «Другой шкаф с книгами и полки с периодическими изданиями в кухне „Дома-Музея“, помещенные там за недостатком места в „Колонии“, составляли разношерстную библиотеку, приобретенную от Псковского Соединенного общества председателем Пушк(инского) Комитета, С. И. Зубчаниновым, для пансионеров „Колонии“. Вся эта библиотека погибла на кострах или в реке и озерах, а не то распродавалась отдельными пачками и томами в частные руки, раскуривалась и раскуривалась по избам, и только изредка попадала в совет кр(естьянских) и раб(очих) деп(утатов). Та же участь постигла тогда и бюсты поэта, и картину худ(ожника) Рехенмахера „Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого“. Бюсты разбивались топорами и ломом в куски вместе с умывальниками в комнатах „для почетных гостей“, а картина, по словам лиц, присутствовавших на пожаре, пошла на растопку, несмотря на просьбу зимаревской учительницы вынести ее и дать ей на хранение. Карета Ганнибалов, возившая Пушкина в Москву и Петербург, стоявшая в сарае, изломана тоже в куски и пошла на запасной материал для соседских кузнецов» (л. 14—15). Рукопись подготовлена к изданию автором настоящей статьи, см.: Михайловская пушкиниана. Вып. 69 (в печати).

<sup>32</sup> Княжевич Клара Федоровна (ум. 1919) — владелица имения Петровское с 1870 года. Красуская Александра Дмитриевна (урожд. Шелгунова) — владелица имения Дериглазово, также разоренного, сестра невестки К. Ф. Княжевич — Е. Д. Княжевич (урожд. Шелгуновой).

После Октябрьской революции стремительными темпами нарастал продовольственный кризис. Проблемы с хлебозаготовками в Псковской губернии начались еще во время войны, когда прежняя эффективная система была разрушена.<sup>33</sup> Губерния, традиционно являвшаяся потребляющей и зависящей от поставок из хлебных губерний, накануне Гражданской войны оказалась в крайне бедственном положении. Крах экономики, нарушение транспортного сообщения привели к тому, что объем ввозимого зерна в 1918 году по сравнению с 1916 годом сократился в 10 раз.<sup>34</sup> Ситуация осложнялась также тем, что постоянно увеличивался рост потока беженцев из разоренных войной районов, обеспечивать которых должно было новое государство. Цены росли постоянно, превысив за год 200 %. Бумажные деньги обесценивались. Уже к весне 1918 года все эти многолетние нерешенные проблемы привели к голоду. Опочецкий уезд значился первым в списке голодающих: здесь были съедены даже запасы семян, предназначенных для ярового сева.<sup>35</sup> Начались «голодные» волнения крестьян.

Все эти потрясения, конечно же, отразились на эмоциональном состоянии Тимофеевой и повлияли на характер дневниковых записей: многие страницы посвящены описанию жизни «приспособленцев» новой власти, выживанию крестьянских хозяйств, священников, оставшихся дворян и их слуг и, конечно же, ее собственному выживанию, особенно мучительному в престарелом возрасте. Она нищенствовала, «пролетарствовала» (так она называла это свое состояние). Однако отсутствие денег (Тимофеева жила только на редкие мизерные пособия от Академии наук (49 рублей 50 копеек), денежные переводы младшей сестры Евгении и друзей из Петрограда, уроки французского языка и «гостинцы»), обуви (с мая по сентябрь ходила везде босиком, чтобы сберечь ветхие босоножки и ботинки), работы (безуспешно просилась к крепким крестьянам и в Комитеты), свечей, дров и продуктов — всё это не сломило ее: «Я не жалуясь, — писала она, — а только занову данные в летопись здешней жизни» (Т. 1—3, л. 288).<sup>36</sup> Тимофеева чувствовала свою ответственность перед будущими поколениями, которые должны были знать, что происходило здесь: «Не страшит *мой конец*. Страшно, что погибнут все мои недосказанные мысли. Мои дневники, мои записные книжки, тетрадки». Это была ее ежедневная работа: «Как бы я хотела теперь „писать и писать“ (когда-то так мне советовал Шеллер-Михайлов),<sup>37</sup> и

<sup>33</sup> Приход Временного правительства и введение им хлебной монополии, когда излишки объявлялись государственной собственностью и торговля ими запрещалась, не решили своих задач; советская власть продолжила эту же политику, превратив ее в продовольственную диктатуру. Крестьян не устраивали ни мизерные закупочные цены, установленные государством, ни товарообмен сельскохозяйственных продуктов на промтовары, введенный в апреле 1918 года. Торговля и самогонарение оставались надежными и стабильными источниками дохода. См.: *Васильев М. В.* Учет и реквизиция продовольствия в Псковской губернии 1917—1920-х гг. // Псков. 2012. № 37. С. 124—147.

<sup>34</sup> Там же. С. 125—128.

<sup>35</sup> Недостаток посевного материала привел к тому, что сократилась посевная площадь: в ряде уездов необработанными остались не только конфискованные земли, но и крестьянские наделы, в Опочецком уезде отмечался значительный недосев. См.: *Васильев М. В.* Крестьяне Псковской губернии в годы Гражданской войны 1917—1920 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 117—131.

<sup>36</sup> *Тимофеева В. В.* После Михайловского (записи 1917—1922 годов) // ИРЛИ. Ф. 425. Цитируемый дневник еще не получил свой архивный шифр. Эти записи разделены Тимофеевой на пять томов; в томах 1—3 (декабрь 1917 — январь 1920 года) сплошная авторская нумерация листов. Здесь и далее ссылки на этот источник приводятся в тексте сокращенно: Т. 1—3, с указанием номера листа.

<sup>37</sup> Шеллер Александр Михайлович (1838—1900; псевд. А. Михайлов) — беллетрист, известный как Шеллер-Михайлов, редактор журналов «Русское слово», «Дело», «Живописное обозрение» и др.



зачем это мне 30-го (января 1919 года. — *И. К.*) исполнится 69 лет, когда я впервые теперь ощущаю мою свободу и силу художника-бытописца! Когда нет ни чернил, ни бумаги, чтобы записывать все, чем горит мое сердце, мой ум!» (Т. 1—3, л. 246). И поэтому Варвара Васильевна «счастлива была как ребенок», когда ей пришла необычная посылка: «Гору бумаги, карандашей и перьев получила вчера от милой Единой Трудовой школы (бывшая гимназия М. Н. Стоюниной). Какой благородный и умный дар! <...> И утро сегодня обещает тоже счастливый день. Все мое счастье теперь в природе. И писать хочется только о природе... ее образы <...> потому и бессмертны, что вместе с природой живут, вместе с ней умирают и оживают вновь» (Т. 1—3, л. 329). Это написано весной, в мае, когда она ждала «теплотворной силы света», чтобы пробудиться вместе с землей, ощутить в себе новые силы. Несмотря на страшные события, Варвара Васильевна сохранила поэтический взгляд на мир, способность видеть прекрасное в самых простых, обычных явлениях природы. Описание практической работы каждого дня начинается с маленького пейзажного наброска, часто созвучного картине окружающей жизни. Так, лето 1919 года было особенно холодным и дождливым, как отмечали старожилы, что привело к большим потерям урожая, который не мог обеспечить потребностей ни в ржи, ни в овсе, ни в картофеле. «Ненасстье замучило всех не хуже междоусобицы» (Т. 1—3, л. 473), — читаем в ее дневнике.

Записи о росте цен под пером Тимофеевой выглядят как сводки с фронта. Приведем некоторые из них.

20 июня 1918 года: «Те, кто жалованья получают преувеличенные (от 700 рублей. — *И. К.*) — за все здесь платят втридорога («набивают цены»): за 20 фунтов смешанной муки — 30 руб., бутылку молока — 1 руб., 1 р. 50 коп., творог — 2 р., сметана — 5 руб. За отвоз в Опочку и обратно железнодорожный сторож Федор Михалыч берет 80 руб. (вместо 20—40)» (Т. 1—3, л. 134).

21 января 1919 года: «Вчера весь день приходилось слушать талаликанье матушки<sup>38</sup> в кухне, и все об одном и том же: мясо — 5 р. 50 коп., сало — 20 коп.,<sup>39</sup> картофель — мера 12 руб. <...> Молоко для меня уж исчезло. Вчера получила от Катерины последнюю бутылку за 2 руб., а дороже платить я не в состоянии (в остальных местах, по ее записям, уже по 4 руб. — *И. К.*) Жена о. дьякона до истощения кормит грудью второй год ребенка своим молоком, потому что „больше нечем кормить“» (Т. 1—3, л. 235).

19 февраля 1919 года: «За деньги ничего не купить: цены нам недоступные — 50 руб. фунт масла, 25 руб. десяток яиц, 10—15 р. фунт творогу. Фунт ржаного печеного хлеба покупают уже в Воронице по 12 руб. и дороже. Что же ждет нас весной? — Смерть голодная. И помощи ниоткуда» (Т. 1—3, л. 266).

22 апреля 1919 года: «...мясо в Святых горах и в Воронице 8 и 10 р. за фунт, яйца — 35 руб. десяток» (Т. 1—3, л. 309).

Тимофеева с горькой иронией отмечает, что «только твердые цены на хлеб (кто говорит 56 р., кто — будто бы 29 — за пуд) вызывают недовольствие и неизбежность *припрятывания*» (Т. 1—3, л. 407), что «большинство „втихомолку“ ублажается всем, <...> зерно прячут в ямы и жалуются: „При прежних порядках-то мы знали, что у нас наше. А теперь сами не знаем — чье“. Нравится грабить самим, но их чтобы трогать — ни-ни!» (Т. 1—3,

<sup>38</sup> С мая 1918 по август 1920 года Тимофеева жила в доме о. Александра в Воронице.

<sup>39</sup> Здесь Тимофеева, скорее всего, сделала опisku: нужно — «руб.», что соответствует ее сведениям от 31 января этого же года.

л. 285—286). Средняки были недовольны продразверсткой, остальные крестьяне — призывом в Красную армию. Продотряды, организованные из бедняков летом 1918 года для изымания излишков в пользу Комитетов бедноты, по факту превращались в группировки по конфискации всех найденных продуктов, оседающих в их личных хозяйствах.<sup>40</sup>

Не хватало даже самого необходимого: соли, спичек, сахара, семян, плугов. Соль скупалась у немцев в Острове, а потом во Пскове «у белых». Сахар стоил 90 руб. за фунт, «даже чайная под вывеской „Коммуна” закрылась по недостатку мучных или паточных конфет и сахарного песка». Весной 1919 года в Опочку прибыло 15 вагонов овса и около 190 плугов, что несколько смягчило положение с посевом.<sup>41</sup> А в округе по этому поводу ходили слухи, что «пришел вагон с мукой для евреев. Вагон этот был арестован, вероятно, комитетом (?), и, вероятно, в свою пользу (?). Слухи о поездках с хлебом ничем не оправдываются» (Т. 1—3, л. 298). Ученый и организатор продовольственного дела Н. А. Орлов отмечал, что из-за голода «настроение масс настолько неустойчиво, что какие угодно нелепые слухи находят ответный отклик и благодатную почву».<sup>42</sup> О таких слухах, конечно же, пишет и Тимофеева: «В Новоржеве, говорят, расстреляны семьсот с чем-то человек, восставших против советской власти», а в апреле 1919 года «немцы, будто бы, уже в Пыталове (первая станция за Опочкой), и их каждую минуту ждут в Острове и во Пскове (...) Но опять-таки, *может быть*, все это просто одна и та же *прошлогодня* история или клубок слухов: катится из конца в конец по России, и то наматывается, то разматывается...»<sup>43</sup> (Т. 1—3, л. 299). Вся жизнь тогда строилась на догадках, «слухах» и «отголосках».

Со 2 марта 1917 года, когда Николай II во Пскове отрекся от власти, Псковская губерния стала одной из главных арен в схватке противоборствующих сторон: немцев, словаков, латышей, большевиков, меньшевиков и эсеров, восставших войск и крестьян, дезертирующих солдат, белогвардейцев (корниловцев, деникинцев, сторонников Балаховича и Колчака).<sup>44</sup> До Вороницкой волости, с ее центром — слободой Тоболенец, немецкие части не дошли, но, конечно, здесь обсуждались требования, которые были выдвинуты при германской интервенции соседних волостей.<sup>45</sup> Все отмечали, что «под немцем тяжело», а в рассказах бывших пленных немцы представлены как «зверский народ».

Через полгода после немецкой оккупации Псков снова был занят, на этот раз белогвардейскими частями под командованием польского помещика С. Н. Булак-Балаховича, которые пребывали там с мая по ноябрь 1919 года. На востоке наступала армия А. В. Колчака, перекрывшая хлеб-

<sup>40</sup> Алексеев С. А., Кондратеня А. В. Опочка: 1917—1941. С. 38. См. также: Иванов С. А. Большевики Псковской губернии в борьбе за победу Великой Октябрьской революции. С. 88—92.

<sup>41</sup> Алексеев С. А., Кондратеня А. В. Опочка: 1917—1941. С. 38.

<sup>42</sup> Орлов Н. А. Продовольственная работа Советской власти. М., 1918. С. 42—43.

<sup>43</sup> Слухи о том, что немцы скоро займут близлежащие дома и села, были самыми передаваемыми в 1918 и даже в 1919 году.

<sup>44</sup> См.: Васильев М. В. Крестьяне Псковской губернии в годы Гражданской войны 1917—1920 гг. С. 148—178.

<sup>45</sup> На оккупированной территории действовали распоряжения о добровольной сдаче оружия, информировании о запасах продовольствия, запрете на вывоз товаров или торговлю ими, о запрете пользоваться землями, полученными по декрету «О земле», о возвращении владельцам леса и дров. Жители привлекались к разного рода работам. Налоги возросли в несколько раз. С апреля 1918 года была введена подушная подать для мужчин от 15 до 60 лет, подать на домашний скот (например, за корову, помимо 40 руб. в год, взималась и натуральная подать — 8 кружек молока, 2 фунта масла и 2 фунта творога в месяц), с мая — поземельный налог. Была создана целая система штрафов и наказаний за уклонение от выполнения многочисленных требований. См.: Там же.

ный подвоз, в связи с чем надвигалась новая волна голода. Началась новая мобилизация для борьбы с Колчаком.<sup>46</sup> Поскольку Опочецкий уезд находился в прифронтовой зоне, на его территории постоянно шло формирование воинских частей. Мобилизации крестьянства в Красную армию, дезертирство и повстанческое движение в округе — эти темы тесно переплетены в воспоминаниях: упоминая об одной, Тимофеева непосредственно касается и другой:

«20 февраля (5 марта) <1919 года.> Вчера сторож церковный рассказывал: „Собирают новый набор, молодых и старых, которые не были еще в обучении, воевать брат на брата. Только ничего из этого не выйдет. Не пойдут. Под Новоржевом три волости отказались. Пошли с пулеметами разбивать советы и комитеты.<sup>47</sup> В Новоржеве теперь всех разогнали. Грабят и жгут (крестьяне. — И. К.). Идут волость за волостью — хотят, чтобы дружным скопом, не в одиночку действовать. И которые деревня не согласны, так зажигают с обоих концов. Идут прямо к союзникам, — просить, чтобы пришли к нам сюда и навели свой порядок как следует”. „Дух” здесь у народа теперь такой» (Т. 1—3, л. 273—274).

«Май <1919 года.> „Мы не бьемся теперь, берем оружие и как подойдем близко — бросаем и отступаем или переходим и сами туда” («Дяденьки, мы ваши!»). Это рассказывали о. Василию и о. дьякону на дороге солдаты, показывавшие воззвание „латышей” (белогвардейцев). <...> В Опочке „свои бьют своих”, и совсем ничего не поймешь. Но мосты еще целы, и подвозят рожь, и войска посылают... „Посылали вчера полтора человека, вернулось только двадцать. Разбежались в пути. А когда узнали, что те остались у белых — и эти остальные туда же ушли. Собираются бандами, нападают на поезда, отбирают оружие и бегут...”» (Т. 1—3, л. 327—328).

«20 июля (2 августа) <1919 года.> Солдаты, бывшие здесь (в Святых Горах. — И. К.) — эстонцы, — все красивые и все большевики, даже женщины. И Воронич начинает переходить на их сторону — из боязни разгромов и поджогов другого нашествия. Конца не видно нигде» (Т. 1—3, л. 407).<sup>48</sup>

Многообразие партий и мнений сказывалось на духе солдат, запутавшихся в их лозунгах и обещаниях. Весьма показателен в этом отношении следующий эпизод от 12 (25) апреля 1919 года: «В газетах все рубрики заполнены угрозами наступления Колчака. Дня три тому назад о. Александр возвращался со сборами из Носова и Дедовцев по шпалам. Красноармейцы ехали на дрезине и предложили его подвезти.

— Что, кажется, плохи дела наши? — спрашивает он их. — С востока Колчак надвигается?

— Да, — отвечают они. — Не важны дела. А впереди-то еще будет хуже. Сила большая за ним идет.

— Так неужто не одолеете? Вишь вы какие молодцы, как на подбор.

— Спайки промеж нас нет — вот беда. Не все согласны идти.

<sup>46</sup> Алексеев С. А., Кондратеня А. В. Опочка: 1917—1941. С. 39—41.

<sup>47</sup> Здесь попутно затрагивается еще одна проблема: многочисленные крестьянские волнения были серьезно подкреплены оружием, наводнившим Псковскую губернию (приносились солдатами с войны или обменивались на продукты у дезертиров). Оно применялось в случае любого конфликта. Целью становились большевики и участники продрозверстки, присланные из Петрограда в волости. Поэтому первоочередной задачей для властей стояло разоружение местного населения.

<sup>48</sup> В 1919 году при малейшем подозрении на принадлежность к белогвардейскому движению проводились аресты и расстрелы, особенно это касалось исполнительной власти (Алексеев С. А., Кондратеня А. В. Опочка: 1917—1941. С. 22—24). Тимофеева пишет о том, как слышала на сходке коммунистов указание доносить на всех, кто упоминает, что при помещиках лучше жилось (Т. 1—3, л. 370).

То же рассказывали мне и Преображенские (инспектор гимназии на Загородном и жена его, учительница, внучка здешней «горбатой матушки»), приехавшие навестить мать и бабушку: в вагоне красноармейцы читали воззвания Троцкого и Зиновьева идти на отбой к Уралу, разбивать Колчака и тут же приговаривали: „Как же, пойдем! Ждите!“» (Т. 1—3, л. 309).

Такие частые метаморфозы власти не могли не повлиять на настроения местного населения. Так, например, когда 4 июня 1918 года в Святых Горах появились войска, «крестьяне недоумевают и спрашивают, откуда они и зачем. И никто не знает. Не то немцы, не то латыши, не то „буржуазы“. Самое худшее — именно в такой неизвестности о причинах и целях нашествия. Вернее всего — бродячие остатки бывших батальонов, строевых команд, ищущие крова и пропитания. Их гонят здесь, зовут и ждут в других местах. Здесь *на них* ополчаться, там *они* ополчаться сами за хорошую плату» (Т. 1—3, л. 129). Тимофеева упоминает об интересном факте: намерении местной власти провести своеобразную «перепись». 13 (26) июня 1919 года «в Святых Горах была назначена сходка для решения важных вопросов: будут переписывать всех „кто за кого“: кто коммунист, кто за белых или зеленых и желтых. Крестьяне зажиточные (вроде Клиша) хотят объявить себя беспартийными: „Мы всякому правительству покорствоваться будем, кто ни приди, — только оставьте нас в покое“. Но объявление от совета, чтобы хлеб целиком по волостям собирать в комитет, вызывает решительные протесты: „Мы всех их отсюда разгоним — попробуй только они отбирать. И боятся они валовой нашей сходки пуще чёрта! Теперь объявили, что пришли двадцать инструкторов обследовать все дела. А «Карпушку» на голову разбили красные: не устояли, отошли“. (Под «Карпушкой» разумеются все эти сборные разных цветов и названий враги)»<sup>49</sup> (Т. 1—3, л. 338—339).

Похожие мнения высказывались в это же время и в рядах исполнительной власти: «Нам все равно теперь, кто ни приди, — говорят здешние исполкомцы, — только бы кормили» (Т. 1—3, л. 328). Крестьяне понимали, что коммунисты (часто 19-летние) их грабят, думая только о собственной наживе, и, как только начинались волнения, в рядах исполкома проводились чистки, поэтому его состав в уездных и волостных организациях часто менялся. Для иллюстрирования беспорядков и нравов, царивших в руководстве власти, уместно привести рассказ телефонистки Комитета центрального инженерного управления отдела отправки грузов Руфины Белокуровой: «Если б я не отказалась от этой службы, мне кажется, я бы не выдержала. Мальчишки командуют и распоряжаются. А распоряжения такие, что с ума сойти нужно. И сами они точно все из сумашедшего дома. Только и делала, что передавала по телефону: „Срочно! Отправить 20 тысяч пудов груза туда-то!“ „Без замедления! Отправленный груз возвратить обратно туда-то!“ ...А на другой день новый приказ: „Вернуть груз за № таким-то — без замедления!“ И это так каждый день с утра и до вечера. И все до одного там воруют. Кажется, без воров ни одного дела там нет. Да *не-воров* и людей нет. Я не воровала только потому, что еще не умела. Если б осталась, наверное, научилась бы тоже. Керенками (деньгами 1917—1922 годов. — *И. К.*) там все закуплены... И народа *хуже русского*, кажется, тоже нет... По крайней мере, хуже я никого не видала. Мужики теперь говорят, что им „надоело“? Врут они все, подлецы! Нет, если б вправду-то надоело, не сидели бы они так сложа руки. Не злорадствовали бы, как теперь злорадствуют... В вагонах, на поезде, куда ни войдешь — *занято!* „Здесь комитетские!“ „Здесь отдел санитар-

<sup>49</sup> Еще об одном унитарном «метком» слове Тимофеева сообщала, что в августе 1918 года «впервые услышала от печанского батюшки (из поселка Печане. — *И. К.*) народное прозвище революции: „кроволюция!“» (Т. 1—3, л. 201).

ный!» „Здесь делегатский” — только и слышишь. Это во 2-м классе. А в теплушках лежат развалясь на нарах. „Союзная артель трудовой коммуны, не пускать сюда никого! — кричат. — Поездили и будет с них! Не пускать буржуев!” (Руфина была в шляпке, значит — «буржуйка»). И вместо итога у этой мнимой буржуйки (...) вырывается одно только желчное восклицание: „Погибла Россия, и мы все погибли!”» (Т. 1—3, л. 482—484). Впрочем сама Тимофеева никогда не теряла надежды, самым пронзительным ее восклицанием, наверное, можно признать это: «О Русь, о родина моя бесталанная! Когда же опамятуешься ты? — Не скоро еще, старушка, не скоро! Слишком велико пространство твое расшатанное, слишком сильна наплывная волна!» (Т. 1—3, л. 358).

В монологе телефонистки Руфины упомянуты мужики, которым «надели» новые порядки. Все эти события, действительно, порождали у крестьян настроения о возвращении к прежней жизни. Разговоры о том, что их «обманули», что их права сейчас «хуже всякого крепостного права», начались уже к концу 1918 года, многие задавались вопросом, зачем разорвали своих помещиков. Прежнее ожесточение, когда всех господ хотели утопить в Сороти, прикончить, придушить, «всех передать с дитяими», ушло с осознанием, что сами они остались такими же бесправными, но только обнищавшими и измученными голодом, войной, поборами, неразберихой в головах и стране в целом. Теперь они спрашивали у Тимофеевой, «когда это мы освободимся от *неверной-то силы?*», как подступиться к такому делу и жаловались, что некому их повести, «а вот где белые, там белая жизнь», и жалели об их уходе из Пскова. Не верилось и автору записок, что прежнюю жизнь можно было вернуть, хотя «страшно хотелось верить».

Варвара Васильевна стремилась пробудить и поддержать человеческое в окружающих ее людях. Ей доверяли и уважали, учителя признавались, что она всем очень нужна, крестьяне, вспоминая ее рассказы, чтение им газет, подкармливали ее и никогда не отказывали в хлебе (если она приходила к ним). Ведь голод — «чувство беспокойное и недоброе», когда можно потерять себя в погоне за куском. Она сумела сохранить и отстоять собственное достоинство в условиях хаоса, мародерства, воровства, она утверждала тем самым свое бытие. Регулярно навещала могилу Пушкина, в любую погоду посещала панихиды, которые служились на этом священном месте и после революции.

В Михайловском, ставшем для нее родным, жили теперь, по словам местных жителей, «осковерники»,<sup>50</sup> невзирая на это, она старалась по мере сил проводить свои любимые места, собирая грибы, травы, цветы или хворост. «Нет, непременно надо иметь на всю жизнь что-нибудь *свое собственное*, чтобы лепиться сердцем к нему и болеть об утраченном... Любовь есть жизнь. И мы живем — пока *кого-нибудь* или *что-нибудь* любим...»

И вот мне кажется, — *казалось там* (в михайловских рощах. — И. К.), — я любила всем сердцем, до кровной боли любила — это отнятое у меня Михайловское!» (Т. 1—3, л. 415).

Она жила воспоминаниями, признавая их губительную силу: «Это чувство — воспоминание прошлой жизни, точно Гетевская „Невеста Коринфская”, высасывает жизнь, все живое...<sup>51</sup> Это фатальная сила самовозврата:

<sup>50</sup> Во флигеле Колонии, построенном в 1911 году по проекту архитектора В. А. Шуко, располагалась коммуна, где жили 5 семей. В дальнейшем (вплоть до 1992 года) здесь размещалась администрация Пушкинского заповедника.

<sup>51</sup> Речь идет об одноименной балладе И.-В. Гёте, в которой умершая невеста губит своего жениха.

le mort saisit le vif.<sup>52</sup> Она губительна, если поддаваться ей для нее самой. Воспоминания спасительны, когда творят искусство. Тогда в них самый могущественный родник вдохновения. А так, без творчества, — „le mort saisit le vif”... Хорошо все-таки в Тригорском парке. Точно у близких друзей бывала» (Т. 1—3, л. 351). Но воспоминания Варвары Васильевны (в этом фрагменте навеянные прогулкой по соседнему с Вороничем Тригорскому) не увели ее в бесконечные сожаления, она создала на их основе дневники, наполненные философскими размышлениями, поэзией и чувствами.

Большое влияние оказывали на нее встречи с «сочувственными душами», какими она считала людей, духовно ей близких. После революции такие встречи стали исключительными, изредка радовали только заезжие интеллигенты (учителя, дачники), которые узнавали о проживании здесь «писательницы», искали с ней знакомства, чтобы «поговорить как раньше» и послушать ее экскурсию по Михайловскому. Это были счастливые часы общения, когда душа «освежалась». Одним из таких людей стал преподаватель из Опочки, «славный Никифоровский», который вскоре стал помощником Тимофеевой в деле защиты и возрождения Михайловского и первым директором Пушкинского заповедника (с 17 марта 1922 года). Познакомившись с ее рукописью «Шесть лет в селе Михайловском», Василий Митрофанович объяснял Варваре Васильевне ценность ее труда и ее самой: «Вы ведь единственный источник сведений о всем, что здесь происходило, единственный свидетель-рассказчик» (Т. 1—3, л. 462). Именно он предложил передать рукопись Н. А. Котляревскому, и ровно через год после первой встречи с Тимофеевой, в конце августа 1920 года Никифоровский лично отвез ее в Пушкинский Дом.

Однажды, подавая в продовольственном комитете очередные (в основном, безрезультатные) заявления на хлеб и дрова, писательница присутствовала при передаваемой «телефонограмме из Псков(ского) Центр(ального) исполкома о прекращении рубки лесов и охране памятников старины и искусства в Михайловском и Тригорском». «Надумались! — заметил тут же вслух председатель Васильев. — Когда там все уже вырублено и в сады рубить деревья пошли» (Т. 1—3, л. 240). Почти через год после погромов усадеб, 14 (27) января 1919 года, новая власть вспомнила о значении этих мест.

Испытывая постоянную нужду, пожилая женщина хотела зарабатывать, а не «побираться». За отсутствием работы в культурно-просветительском отделе, куда она обратилась в первую очередь, ей предложили ходить по деревням и производить сельскохозяйственную перепись, которая в 1919 году выборочно проводилась в советской России для выявления изменений в крестьянских хозяйствах после отмены частного землевладения. Вот что из этого вышло:

«20 июля (2 августа). Перепись посева и скота уже началась. За каждую голову взимается налог в 10 руб.

22 июля (4 августа). Вчера проснулась в 5-м часу, только что рассвело, и долго не могла заснуть от стрельбы. Пальба непрерывная — точно белье катали на гигантском катке за рекой. Говорят, это красноармейцы упражняются „для собственного удовольствия” из бронированных вагонов. А в бою „недостает им снарядов”, и они бегут.

— Ничего хорошего скоро ждать нельзя — говорил тогда молодой человек, только что „взятый на фронт” (из Петрограда). А другой человек (бывший писец из министерства юстиции), чтоб избежать „взятия” служивший на железной дороге, переходит в учителя, так как семьсот рублей в месяц ему теперь мало, и так как „только учителя пользуются теперь привилегия-

<sup>52</sup> Французская поговорка: «Мертвый хватает живого».

ми всяческих льгот...". Но вот в каких теперь руках судьба народного образования, от которого зависят, быть может, все судьбы отечества, вся будущность государства российского! С опросными бланками ездят и ходят по деревням те же учителя. Недавно в Шевели прислали „молоденькую жидовку", и никто не хотел записаться. Прислали ее в другой раз, но уже не одну — с *красноармейцами*.

Перспектива для меня далеко не утешительная, и да мимо идет чаша сия! То же говорят и на селе у нас: „Крестьяне, которые сознательные, — те поймут, что вы тут не при чем; ваше дело — сторона. А другой из нашего брата зарычит и турнёт в глаза: Вот, скажет, прислали старого черта хлеб описывать!". Любопытно, что все против описи, и не верят, что *не будут хлеб отбирать* — „для поравнения неимущих с имущими" во имя принципов *Р.С.Ф.С.Р.* „Как бы не так! Отберут себе все эти бродяги!"

„Коммунисты" в Тригорском ловят „воров" в вишнях и яблоках, ведут их потом на веревке и грозят „расстрелять"... То есть признают свое право на исключительное для одних себя владение уворованным или ограбленным ими местом. Вот и втолковывайте им начала и основания *социального быта!* А против моих походов по деревням с опросным листом уже поднялись голоса недовольных: „Пусть только сунется к нам — мы ее в амбаре заквасим! И не выйдет оттуда!"

Вот чудачки! Устроили себе сами собственное самоуправление и сами же вопиют и не хотят ему повиноваться. Лучшее доказательство, что не сами они все это устраивали, а их — как выражаются они же — „обвели", „обманули", насулив с три короба благополучий, с одними правами, без всяких обязанностей. Я, разумеется, откажусь от этого *не своего дела* («Занимайся лучше своим делом, Васильевна», — говорит тот же тесть Антона Михайлова, прибаутчик и балагур Иван Васильевич, бывший церковный староста и знаток всей округи). „Но ведь другие придут и заставят вас исполнить закон". — „Пусть другие, только бы не наши отседова. Мы тех и ругать будем". Вот результат моей пробной трудовой „анкеты"» (Т. 1—3, л. 407—410).

Только через год для Тимофеевой нашлась работа: ее пригласили заведовать библиотекой-читальней им. А. С. Пушкина, открытой в Святых Горах, куда она и переехала в августе 1920 года. Тимофеева стала также одним из первых членов общества по охране «Пушкинского уголка», инициировала восстановление полуразрушенного «домика няни» — единственной постройки, сохранившейся со времен поэта.<sup>53</sup> В газетах и журналах выходят ее статьи,<sup>54</sup> а в 1922 году ею написан путеводитель «Пушкинский уголок — прежде и теперь». К сожалению, работа заведующей в невыносимо тяжелых условиях (отсутствие пригодного помещения, отопления, света, постоянного питания) окончательно подорвала ее здоровье. А несчастный случай — перелом правой руки осенью 1921 года — лишил Тимофееву должности и прервал ее героическую в условиях полнейшей разрухи летописную деятельность. Позже, все лето и осень 1922 года, она будет только набело переписывать свои воспоминания, находясь в Святогорской больнице. В сентябре 1925 года престарелая писательница с помощью Никифоровского переезжает в Ленинград, где проще было выбить постоянную пенсию. Наступившая слепота, результат работы корректором, не дала ей больше возможности продолжить свои дневники.

<sup>53</sup> См.: Кощенико И. В. Десять лет из жизни «Домика няни» в Михайловском: 1911—1921. С. 297—299.

<sup>54</sup> «Среди памятников былых вдохновений» (Вестник литературы. 1921. № 12/36. С. 16—17), «Судьба и гений Пушкина» (Новые дни. 1922. № 21—25); написанная совместно с В. М. Никифоровским заметка «Пушкинская годовщина» (Псковский набат. 1923. № 125).

Более тысячи страниц дневников Тимофеевой сохранили подробности о судьбах десятков ее современников, заметных и совсем неизвестных: С. Б. Вревской, хозяйки Тригорского, и ее рода, Княжевичей и Шелгуновых, хозяев усадеб Петровское и Дериглазово, местных священников и крестьянских семей, уставших от войны солдат. Нужно отметить, что ее наблюдения и размышления сопровождаются аллюзиями из русской и европейской литературы. На страницах этих дневников, помимо Пушкина, встречаются имена А. Ревилля, Т. Карлейля, А. Ламартина, П. А. Вяземского, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Вл. Соловьева и др. И это не случайно, ведь на ее глазах происходила гибель цивилизации, культурные ценности которой базировались на творчестве русских поэтов и писателей. Рушился ее мир. Это была психотерапевтическая потребность — обращаться к дневнику: ежедневные записи помогали выжить духовным началам ее личности.

Дневник для Тимофеевой — единственное средство сопротивления обстоятельствам, где есть свое видение происходящего, оценка разных реакций, разных способов выживания в новых исторических условиях. В нем отражена трагедия разрушающегося, а затем и уже разрушенного мира: сожженные усадьбы, искалеченные войной и революцией судьбы. Ее признания обращают внимание на другую, бытовую, повседневную сторону событий. Сожаление М. А. Осоргина, выраженное им в автобиографической книге «Времена», о том, что исследователи как всегда напишут лишь о роли значительных «многодумных людей», «а солдата, продававшего из-за пазухи „игранный“ сахар, бывшую даму, поменявшую будильник на щепотку муки (...) история не припомнит за малостью и ненужностью на страницах ее соломенной бумаги»,<sup>55</sup> не оправдывается. Архивы, подобные архиву Тимофеевой, открывают нам неизвестные реальные страницы событий столетней давности. Опираясь на факты и свидетельства записок, которые, мы надеемся, будут опубликованы полностью, можно будет дополнить картину новой власти в Псковской губернии, пересмотреть некоторые взгляды на роль крестьянства в Гражданской войне, его настроения и мотивы действий. Как истинный летописец, Тимофеева хотела, чтобы ее страницы были прочитаны другими.

<sup>55</sup> Осоргин М. А. Времена: Автобиографическое повествование. Романы. М., 1989. С. 126.

## МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ОТДЕЛА ИЗО НАРКОМПРОСА

(ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ)\*

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА  
И КОММЕНТАРИИ © А. В. КРУСАНОВА)

После обретения левыми деятелями искусства административной власти в 1918—1921 годах, доминировавшие в их сознании социально-политические и социально-художественные утопии получили шанс на реализацию.

Андрей Васильевич Крусанов — эксперт Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева.

\* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект 16-04-00257 «Материалы по истории русского авангарда в собраниях Рукописного отдела Пушкинского Дома»).



Так, осенью 1918 года среди деятелей московского Отдела Изобразительных искусств (ИЗО) Наркомпроса возник грандиозный пропагандистский замысел, не получивший адекватного воплощения, но отразивший, тем не менее, некоторые характерные черты той утопии, которая владела умами художников-авангардистов.

Миф о взаимосвязи революции в искусстве с революцией социальной и выходе футуризма из рамок искусства в непосредственное творчество форм социальной жизни имел разнообразные последствия. На его основе возникали различные теории: от концепции пролетарского (производственного) искусства до всеобъемлющих миростроительских утопий. В частности, дальнейшее распространение футуризма связывалось с успешным развитием мировой революции, а искусство при этом рассматривалось как «могучее орудие в борьбе за осуществление мирового социализма».<sup>1</sup> Иллюзорные перспективы деятельности в мировом масштабе побудили московскую коллегию по делам искусства и художественной промышленности в конце ноября 1918 года приступить к организации Международного художественного бюро (МХВ).<sup>2</sup>

«Основные положения» Международного бюро Отдела ИЗО Наркомпроса, выработанные Д. П. Штеренбергом, состояли в следующем:

Бюро делится на две части: теоретическую и практическую.

*Положения Теоретической части*

ИЗДАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА, РАЗРАБАТЫВАЮЩЕГО ФИЛОСОФИЮ ТВОРЧЕСТВА НА КОММУНИСТИЧЕСКИХ НАЧАЛАХ как то:

а) ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА ВЗАМЕН ИНДИВИДУАЛИЗМА, выразившегося вследствие беспощадной конкуренции в эстетизм.

б) Коммунистические начала выдвинули громадный спрос на искусство, следствием чего явилось РАСШИРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В МАСШТАБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ.

в) ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА ХУДОЖНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ, для выделения группы инициативных единиц Художник(ов)-Изобретателей, которые образуют международный коллектив, компетентный в делах искусства всего мира.

ЦЕЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ БЮРО — ВОССОЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ИСКУССТВ В ОДНО ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО ИСКУССТВ.

*Положения практической части*

ПРОПАГАНДА РАБОТ ПО ИСКУССТВУ, ВЫДВИНУТЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ как то:

а) ВОЗЗВАНИЯ К ХУДОЖНИКАМ ИЗОБРАЗ(ИТЕЛЬНЫХ) ИСКУССТВ след(ующих) пунктов мира: Германии, Франции, Италии, Турции, Англии, Америки, Индии, Японии и Китая.

б) ОБМЕН ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ на почве выставок(,) издательства, Худож(ественной) Кустарной Промышленности, Музеев и т. д.

в) РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СИЛ и произведений в масштабе интернациональном.

<sup>1</sup> Международное Бюро при Отделе Изобразительных искусств // Искусство. 1919. 5 янв. № 1. С. 2.

<sup>2</sup> Международное художественное бюро // Жизнь искусства. 1918. № 1. 23 нояб. С. 6; Международное художественное бюро // Красная газета (веч. вып.). 1918. 26 нояб. № 230. С. 3.

## ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ БЮРО — ОБМЕН ПОСТОЯННЫМИ ПОСЛАМИ ИСКУССТВ.<sup>3</sup>

А. В. Луначарский одобрил идею МХБ, но поставил резолюцию: «Необходимо особо побеседовать в Петербурге, прежде чем опубликовывать».<sup>4</sup>

Организованное 1 января 1919 года, бюро ставило своей целью «объединение передовых бойцов нового искусства во имя строительства новой всемирной художественной культуры»,<sup>5</sup> «информацию и пропаганду деятельности Отдела Изобразительных Искусств в международном масштабе, а также работу по созыву международной конференции художников, скульпторов и архитекторов для разрешения вопросов в международном масштабе, в связи с мировой революцией».<sup>6</sup> Личный состав МХБ состоял из заведующего, заместителя заведующего, заведующего изданием журнала, пяти членов редакционной коллегии журнала, секретаря, делопроизводителя, машинистки и курьера.<sup>7</sup>

МХБ возглавила комиссия из 6 человек: А. В. Луначарский, Д. П. Штеренберг, Н. Н. Пунин, В. Е. Татлин, В. В. Кандинский и С. И. Дымшиц-Толстая. Заведующей назначили Дымшиц-Толстую. Деятельность МХБ была направлена на создание Интернационала искусств, замышлявшегося как своеобразный аналог III Интернационала в области искусства. При этом если задача III Интернационала заключалась в организации социальной мировой революции, то задачей Интернационала искусств должна была стать мировая революция в искусстве.

Используя обширные связи Кандинского с художественными кругами Германии, а также отъезд в Германию художника Людвиг Бэра, МХБ поручило последнему «в числе других художественных заданий международного масштаба передать немецким художественным организациям родственного Отделу духа воззвание. Это воззвание было товарищеским приветом и призывом к международному объединению в строительстве новой художественной культуры».<sup>8</sup> Воззвание было послано 3 января 1919 года. Ответ «Рабочего совета по искусству» (Б. Таут, В. Гропиус, Ц. Клейн, М. Пехштейн) с заявлением «о полной солидарности германских художников с деятельностью отдела»<sup>9</sup> был получен в марте. Через год (март 1920 года) дошли ответы «Ноябрьской группы» (Берлин), «Организации изобразительных искусств» (Баден), группы «Запад-восток» (Баден). Кроме того, в Москву были отправлены ответы «Нового Дрезденского союза художников», «Баденского рабочего Художественного совета», «Государственного строительства» (Веймар), «Общества Марэса» (Дрезден) и других обществ, но они не дошли до МХБ.<sup>10</sup> Во всяком случае, в Германии инициатива МХБ получила явную поддержку.

5 марта 1919 года было послано воззвание и отчетные материалы к французским художникам. Были выработаны также воззвания к английским, итальянским и китайским деятелям искусства.

<sup>3</sup> Основные положения // ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 218. Л. 2—2 об.

<sup>4</sup> Там же. Л. 2 об.

<sup>5</sup> Международное Бюро при Отделе Изобразительных искусств. С. 2.

<sup>6</sup> В мире искусства // Вечерние известия Московского совета рабочих и красноармейских депутатов. 1919. 20 марта. № 197. С. 3.

<sup>7</sup> Смета Международного Бюро на 6 месяцев (31 мая 1919) // ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 219. Л. 24.

<sup>8</sup> К. [В. Кандинский] Шаги Отдела Изобразительных искусств в международной художественной политике // Художественная жизнь. 1920. № 3. Март—Апрель. С. 16.

<sup>9</sup> В мире искусства. С. 3.

<sup>10</sup> К. [В. Кандинский] Шаги Отдела Изобразительных искусств... С. 16—18.

Одновременно велась подготовка к изданию журнала «Интернационал искусства». Согласно одному из протоколов заседания МХБ (14 марта), Дымшиц-Толстая предлагала для журнала название «Интернационал» Отдела Изобразительных искусств. К. С. Малевич предложил «Интернационал искусства», орган Международного бюро. Было принято предложение Малевича. Кроме того, А. Моргунов считал возможным допускать статьи, написанные необычным способом выражения (заумный и идеографический языки и т. д.). Предложение было принято. Заказ на иллюстрированную обложку журнала был дан Малевичу, Татлину, Моргунову, П. Кузнецову и Д. Штеренбергу. Была также установлена редакционная коллегия из 10 человек: К. Малевич, А. Моргунов, П. Кузнецов, В. Татлин, С. Поляков, С. Дымшиц-Толстая, В. Хлебников, А. Луначарский, Д. Штеренберг и Н. Пунин (протокол № 3). Весной для журнала были написаны следующие статьи: «Художникам всего мира» (Штеренберг), «Каллистика» (А. К. Топорков), «Инициативная единица в творчестве коллектива» (Татлин), «Новаторам всего мира» (Малевич), «Интуиция — основа живого творчества» (Дымшиц-Толстая), а также работы В. Хлебникова «Колесо рождений», «Голова вселенной. Время в пространстве» и «Художники мира».<sup>11</sup> Однако весной 1919-го в Москве и Петрограде развернулась кампания гонений на футуристов, в результате которой под предлогом недостатка бумаги была закрыта газета Петроградского Отдела ИЗО Наркомпроса «Искусство коммуны» (последний номер вышел 13 апреля), а также приостановлено издание ряда намеченных к печати книг. Среди них оказался и журнал «Интернационал искусства». Сама работа МХБ была парализована переездом Татлина и Дымшиц-Толстой летом 1919 года в Петроград. Хотя последние протоколы МХБ не датированы, можно предположить, что его заседания прекратились в конце апреля — начале мая.

Помимо подготовки к изданию журнала МХБ планировало организацию грандиозной выставки в Берлине, на которой предполагалось показать 5000 картин. В мае 1919 года была составлена денежная смета с росписью всех расходов, необходимых для организации такой выставки.<sup>12</sup> Однако условия Гражданской войны не позволили даже начать подготовку к ней.

Фактически, после переезда Дымшиц-Толстой в Петроград деятельность МХБ развивалась в обоих городах одинаково безрезультатно, поскольку главное условие для плодотворной деятельности — мировая революция — так и не произошла. Не имея реальной возможности приступить к строительству на Западе новой художественной культуры, деятельность московского отделения МХБ свелась к политической пропаганде. Так, Штеренберг призывал, чтобы западные художники «отказались от занесенной в область искусства конкуренции рынков, наследия бывшего строя буржуазной жизни» и соединились «с нами и с авангардом рабочих масс, борющихся у вас на Западе за те же формы жизни, какие устанавливают с величайшими трудностями и громадными жертвами русские рабочие и крестьяне».<sup>13</sup> Формой будущего объединения виделась «Международная федерация работников изобразительного искусства», в задачи которой предполагалось включить разработку «социально-материальных государственных условий

<sup>11</sup> Неопубликованные материалы журнала «Интернационал искусства» хранятся в РГАЛИ (Ф. 665. Оп. 1. № 32) и ИРЛИ (Р. I. Оп. 6. № 203—218). Статья Штеренберга была впоследствии опубликована в газете «Искусство» (1919. 2 авг. № 7. С. 1), статья Хлебникова «Художники мира» в пятом томе Собрания произведений (Л., 1933. С. 216—221). Согласно воспоминаниям Дымшиц-Толстой статьи были заказаны также В. Маяковскому и М. Матюшину (Воспоминания Дымшиц-Толстой // ГРМ. Ф. 100. № 249. Л. 41).

<sup>12</sup> Смета Международного Бюро на 6 месяцев (21 мая 1919). Л. 24 об.

<sup>13</sup> Штеренберг Д. П. Художникам всего мира // Искусство. 1919. 2 авг. № 7. С. 1.

творчества», а также создание международного жюри, компетентного в делах искусства всего мира, которое в свою очередь оценивало бы те или иные достижения и вершило судьбы мирового искусства.<sup>14</sup> Предполагался международный обмен выставками, музеями, книгами, «послами искусств», устройство международных конгрессов и конкурсов. В рамках этой программы МХБ направило (сентябрь 1919 года) «в качестве „послов искусств“, для налаживания интернациональной связи художников тов. Кампа в Италию и тов. К. Крайнего (Уманского) в Германию и Австро-Венгрию».<sup>15</sup>

Осенью 1919 года деятельность МХБ была подвергнута обследованию инспектором Народного комиссариата государственного контроля. В результате обследования были сделаны выводы о «полнейшей нецелесообразности предпринятого бюро издания „Интернационал искусств“. <...> Столь же нецелесообразным с точки зрения государственной необходимости представляется решение Бюро издавать журнал на японском и китайском языках, что потребовало бы чрезвычайно крупных расходов на переводы и, главным образом, на набор текста и его корректуру, так как японский и китайский шрифты имеются, может быть, в одной только типографии б(ывшей) Академии наук, да и то, вероятно, в весьма ограниченном количестве. <...> С точки зрения практической целесообразности и необходимости даже самое существование Международного бюро, при наличии III Коммунистического Интернационала, представляется несвоевременным и нецелесообразным. Сообщая обо всем этом, Народный Комиссариат Государственного Контроля просит Народный Комиссариат по Просвещению в кратчайший срок пересмотреть вопрос о существовании Международного бюро и уведомить о последующем».<sup>16</sup>

Штеренберг не прислушался к рекомендации производившего обследование члена коллегии Наркомгосконтроля и не стал упразднять МХБ.

Однако в связи с общим осложнением на фронтах и трудностью связи с границей МХБ прервало свою деятельность до весны 1920 года, когда появилась возможность для связи с западными странами через Эстонию. Весной возобновилась издательская деятельность ИЗО Наркомпроса, однако журнал «Интернационал искусства» так и не вышел. В то же время с угасанием надежд на скорую мировую революцию (после подавления революций в Германии и Венгрии), цели МХБ приобрели более скромный характер и заключались лишь в пропаганде нового русского искусства в Западной Европе.<sup>17</sup> С этой целью петроградским отделением МХБ и его заведующей Дымшиц-Толстой в мае 1920-го был разработан проект отправки за границу картин современных художников.<sup>18</sup> Предполагалось устройство специальной выставки для демонстрации работ за рубежом. Наряду с картинами и скульптурой планировалось выставить изделия художественной промышленности. Выставку рассчитывали устроить на одном из кораблей и при первой возможности отправить за границу.<sup>19</sup> В связи с подготовкой к этой вы-

<sup>14</sup> Крайний К. [К. Уманский] Интернационал искусства. (Задачи международного объединения работников Изобразительных искусств) // Там же. 5 сент. № 8. С. 1—2.

<sup>15</sup> Искусство. 1919. 5 сент. № 8. С. 7. Одоардо Кампа (Odoardo Campa) — итальянский писатель; Константин Александрович Уманский (1895—1945) — журналист, впоследствии дипломат.

<sup>16</sup> Цит. по: Парнис А. Хлебников и неосуществленный журнал «Интернационал искусства» // На рубеже двух столетий. Сборник в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова. М., 2009. С. 549.

<sup>17</sup> Международное художественное бюро // Жизнь искусства. 1920. 22 апр. № 430. С. 1; Пропаганда советского искусства // Там же. 24—26 апр. № 432—434. С. 1.

<sup>18</sup> Художественная жизнь // Там же. 1—3 мая. № 439—441. С. 2.

<sup>19</sup> Художественная жизнь // Там же. 12 мая. № 449. С. 1.

ставке русские левые художники обратились к немецким, английским, французским и другим художникам с воззванием, в котором во имя интернациональной связи искусства призывали западных коллег:

1) Требуйте, во имя роста художественной культуры, чтобы ваши правительства сняли блокаду с молодой Республикой и тем самым дали возможность великому народу с давними культурными традициями общаться с другими народами, прекрасными своим художественным прошлым;

2) Требуйте, во имя профессиональных интересов, чтобы ваши правительства пропустили в ваши порты оборудованные нами суда с образцами наших работ, как в области станковой живописи, так и в области художественно-промышленного производства.<sup>20</sup>

В это время (июль 1920 года) шла война с Польшей, Красная армия развивала наступление, и западные правительства, поддерживавшие поляков в военном и пропагандистском аспектах, конечно, не были заинтересованы в художественной советской контрпропаганде. Замысел выставки остался нереализованным.

Вскоре само МХБ было ликвидировано при реорганизации Наркомпроса.

Деятельности Международного бюро Отдела ИЗО Наркомпроса был посвящен ряд научных публикаций.<sup>21</sup> Частично протоколы заседаний были опубликованы по материалам архивных фондов РГАЛИ (Ф. 665. Оп. 1. № 1; Ф. 3145. Оп. 1. № 641).<sup>22</sup>

Впервые полностью публикуемые протоколы Международного бюро были переданы в 1934 году Дымшиц-Толстой в Пушкинский Дом, где хранятся в Рукописном отделе (Р. I. Оп. 6. № 219). Орфография и пунктуация приведены к современным нормам.

<sup>20</sup> К художникам всего мира // Там же. 8 июля. № 498. С. 1.

<sup>21</sup> Харджиев Н. И. «Интернационал искусства». Из материалов по истории советского искусства // Russian literature. 1974. № 6. Р. 55—57 (перепеч.: Харджиев Н. И. Статьи об авангарде: В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 257—259); Повелихина А. В. Интернационал искусства // Великая утопия. Русский и советский авангард 1915—1932. Берн; М., 1993. С. 735—736; Янгиров Р. «Великий красный лик» авангарда: Василий Кандинский и «Интернационал искусств» (sic!) (Новые материалы и документы) // Wiener Slawistischer Almanach. 1998. Bd 42. S. 129—146; Крусанов А. В. Русский авангард. 1907—1932. Исторический обзор: В 3 т. М., 2003. Т. 2. Кн. 1. С. 207—209; Лавров А. В. Вячеслав Иванов в неосуществленном журнале «Интернационал искусства» // Лавров А. В. Русские символисты. Этюды и размышления. М., 2007. С. 415—426.

<sup>22</sup> Парнис А. Хлебников и неосуществленный журнал «Интернационал искусства». С. 530—556.

## ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ОТДЕЛА ИЗО НАРКОМПРОСА

### 1

#### Протокол № 1.

Заседание Редакционной комиссии Международного Бюро  
при Отделе Изобразительных искусств.

27 января 1919 г.

Присутствовали: тт. Поляков, Татлин, Дымшиц-Толстая, Пунин, Моргунов, Суфаварди.<sup>1</sup>

Порядок дня:

1) Утверждение положения Международного Бюро.

2) Принцип коллективного творчества.

3) Литературная форма журнала.

Слушали:	Постановили:
1) Читается Положение Международного Бюро	1) Положение принять, относя пункт «в» из практической части «положения» в «Теоретическую часть».
2) Выдвигается принцип коллективного творчества, который должен лечь в основу международного журнала.	2) Принцип принимается и принимается предложение издавать журнал коллективно-анонимно
3) Выдвигается принцип введения литературной обработки статей журнала совместно с автором.	3) Принцип принимается.

<sup>1</sup> Поляков Сергей Александрович (1874—1943) — издатель; Таглин Владимир Евграфович (1885—1953) — художник; в описываемое время — заведующий московским Отделом ИЗО Наркомпроса; Дымшиц-Толстая Софья Исааковна (1889—1963) — художница, заведующая Международным бюро ИЗО Наркомпроса; Пунин Николай Николаевич (1888—1953) — историк искусства, критик; в описываемое время — заведующий петроградским Отделом ИЗО Наркомпроса; Моргунов Алексей Алексеевич (1884—1935) — художник; Хасан Шахид Сураварди (Сураварди, Suhrawardy; 1890—1965) — индийский поэт и искусствовед.

## 2

## Протокол № 2.

Заседание Редакционной комиссии Международного Бюро при Отделе Изобразительных искусств.

5 января (февраля — А. К.) 1919 г.

Присутствовали: гг. Поляков, Случановский, Шапошников,<sup>1</sup> Дымшиц-Толстая.

Порядок дня:

- 1) Установление формы, размера и тиража журнала. Вопрос об обложке.
- 2) Доклад С. А. Полякова о выработанном им принципе вознаграждения сотрудников-литераторов.
- 3) Вопрос о свободных и заказанных темах статей.
- 4) Выработка содержания первого номера и утверждение общего основания составления дальнейших номеров.
- 5) Выбор сотрудников для первого номера.

Слушали:	Постановили:
1) Установление формы, размера и тиража журнала. Вопрос об обложке	1) Форма журнала установлена согласно утвержденному образцу бумаги. Размер журнала от 3 до 4 листов. Тираж 5000 экземп(ляров): 2000 на русск(ом) языке, 1000 на английском и французском в одной книжке; 1000 на немецком и испанском и 1000 на японском и китайском. Обложка типографская с заглавием на нескольких языках.

<p>II) Доклад С. А. Полякова о выработанном им принципе вознаграждения сотрудников-литераторов.</p>	<p>1) Определяется максимум гонор(ара) за журнальный лист 3000 р. Если рукопись подвергается редакцион(ному) сокращению, она оплачивается пропорционально квадрату сокращения представленной рукописи. 2) Предложить авторам доставлять одновременно со статьями отдельно тезисы их, причем последние оплачиваются как несокращен(ный) материал.</p>
<p>III) Вопрос о свободных и заказных темах статей</p>	<p>III) Постановлено по основным вопросам статьи заказывать, оставляя за авторами право предложения собственных тем.</p>
<p>IV) Выработка содержания первого номера и утверждение общего основания составления дальнейших номеров.</p>	<p>IV) Принятые темы и намеченные авторы, которым предлагается их разработка: 1) Искусство как творческая лаборатория мира (Связь искусства с революцией) автор А. В. Луначарский. 2) Современное искусство как зиждательная борьба с природой, — автор Аксенов.<sup>2</sup> 3) Изображение мира с точки зрения высших измерений, — автор Успенский.<sup>3</sup> 4) Точные начала в искусстве, — автор Малевич. 5) Искусство — Воляпук,<sup>4</sup> — автор — кол(лектив) искусствоведов. 6) Современное красотоведение — автор Топорков.<sup>5</sup> 7) Синтез, соединение и слияние искусства, — автор Андрей Белый. 8) Коллективное творчество (роды и возможности его), — автор Вячеслав Иванов.</p>

<sup>1</sup> Случановский Антоний Витольдович (—?) — поэт, искусствовед, специалист по искусству Дальнего Востока. Был привлечен к работе в Коллегии искусствоведов при Международном Бюро (ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 204. Л. 1 об.); Шапошников Борис Валентинович (1890—1956) — искусствовед, художник, музейный работник. В 1919—1921 годах профессор истории искусства в Московском Пролеткульте.

<sup>2</sup> Аксенов Иван Александрович (1884—1935) — поэт, теоретик литературы, переводчик.

<sup>3</sup> Успенский Петр Демьянович (1878—1947) — математик, философ, мистик, психолог.

<sup>4</sup> Здесь метафорически — международный язык.

<sup>5</sup> Топорков Алексей Константинович (1882—1934) — философ, искусствовед, критик.

## 3

Протокол № 3.  
Заседания Международного Бюро  
от 14 марта 1919 г.

Присутствовали: гг. Дымшиц-Толстая, Малевич, Татлин, Моргунов и Кузнецов.<sup>1</sup>

Слушали:	Постановили:
<p>1. Название журнала. Дымшиц-Толстая предлагает название: «Интернационал» Отдела Изобразительных искусств. Малевич предлагает: «Интернационал Искусства». Орган Международного бюро.</p>	<p>1. Принято предложение Малевича.</p>
<p>2. Моргунов предлагает допускать статьи, написанные необычным способом выражения (заумный и идеографический языки и т. д.).</p>	<p>2. Принято.</p>
<p>3. Шрифт для журнала.</p>	<p>3. Принять следующий шрифт (корпус на кегель 10—104).</p>
<p>4. Обложка для журнала.</p>	<p>4. Принята иллюстрированная обложка.</p>
<p>5. Конкурс-заказ для иллюстрированной обложки. Дымшиц-Толстая предлагает конкурс-заказ следующих художников: Малевича, Татлина, Моргунова, Кузнецова, Штеренберга,<sup>2</sup> причем конкурс-заказ оплачивается в 1.000 руб.</p>	<p>5. Принято.</p>
<p>6. Малевич предлагает зафиксировать Редакционную Коллегию в количестве 10 человек: Малевича, Моргунова, Кузнецова, Татлина, Полякова, Хлебникова, Дымшиц-Толстой, Луначарского, Штеренберга, Пунина.</p>	<p>6. Принято.</p>
<p>7. О воззвании для первого номера журнала. Малевич предлагает писать воззвание всем членам Международного Бюро. Все эти воззвания должны быть отпечатаны на одном листе, который и будет таким образом коллективным воззванием Международного Бюро.</p>	<p>7. Принято.</p>
<p>8. Зафиксированные темы для первого номера «Интернационала искусства».</p>	<p>8. Окончательно принятые темы и назначенные авторы, которым предлагается их разработка: 1) Искусство как творческая лаборатория мира (связь искусства с революцией). Автор А. В. Луначарский.</p>



- 2) Современное искусство как зиждательная борьба с природой. Автор Аксенов и Павел Кузнецов.
- 3) Изображение мира с точки зрения высших измерений. Автор Успенский и Матюшин.<sup>3</sup>
- 4) Точные начала в искусстве. Автор Малевич.<sup>4</sup>
- 5) Искусство эсперанто. Автор Пунин.
- 6) Современное красотоведение. Автор Топорков.<sup>5</sup>
- 7) Синтез соединения и слияния искусства. Автор Андрей Белый.
- 8) Коллективное творчество (роды и возможности его). Автор Вячеслав Иванов.<sup>6</sup>
- 9) Инициативная единица в коллективном творчестве. Автор Татлин.<sup>7</sup>
- 10) Разум в искусстве. Автор Моргунов.
- 11) План организации Международной конференции. Автор Брик.
- 12) Письменный язык земного шара (система иероглифов общих для народов планеты) и ритм человечества. Автор Хлебников.<sup>8</sup>
- 13) Интуиция — основа живого творчества. Автор Дымшиц-Толстая.<sup>9</sup>
- 14) Рациональные и иррациональные отношения в живописи. Автор Поляков.<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878—1968) — художник.

<sup>2</sup> Штеренберг Давид Петрович (1881—1948) — художник, заведующий Всероссийским отделом Изобразительных искусств.

<sup>3</sup> Матюшин Михаил Васильевич (1861—1934) — художник, музыкант, теоретик искусства. Статья Матюшина «Новый пространственный реализм» и переводы ее на французский и английский языки: ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 208. Совместная статья Успенского и Матюшина не была написана.

<sup>4</sup> Рукопись статьи Малевича хранится в ИРЛИ (Там же. № 207). Машинописный вариант тезисов: РГАЛИ. Ф. 665. Оп. 1. № 32. Л. 4. Машинописный вариант статьи: РГАЛИ. Ф. 3145. Оп. 2. № 802. Тезисы и статья опубликованы: *Малевич К. С.* Собр. соч.: В 5 т. М., 2004. Т. 5. С. 141—148.

<sup>5</sup> Черновая рукопись статьи Топоркова «Каллистика»: ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 216.

<sup>6</sup> Конспект статьи Иванова «О коллективном творчестве», сделанный Дымшиц-Толстой: ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 205. Опул.: *Лавров А. В.* Вячеслав Иванов в неосуществленном журнале «Интернационал искусства» // Лица: Биографический альманах. СПб., 2002. Вып. 9. С. 526—529; перепеч.: *Лавров А. В.* Русские символисты. Этюды и разыскания. М., 2007. С. 415—426.

<sup>7</sup> Тезисы статьи Татлина «Инициативная единица в творчестве коллектива»: ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 214.

<sup>8</sup> Впоследствии название статей Хлебникова было изменено на «Художники мира!» и «Ритмы человечества». Кроме этих статей Хлебников предложил для журнала еще две: «Голова вселенной. Время в пространстве» и «Колесо рождений». Статья «Художники мира!» впервые напечатана А. Е. Крученых в сборнике «Неизданный Хлебников» (М., 1928. Вып. 6. С. 12—21), а затем в «Собрании произведений» Хлебникова (Л., 1933. Т. 5. С. 216—221). Статья «Колесо рождений» опубликована Крученых в машинописном сборнике «Неизданный Хлебников» (М., 1935. Вып. 30); перепеч.: *Хлебников В.* Собр. соч.: В 6 т. М., 2005. Т. 6. кн. 1. С. 161—165). Тезисы статей «Голова вселенной. Время в пространстве» и «Колесо рождений» напечатаны в книге Хлебникова «Утес из будущего» (Элиста, 1988. С. 213—215).

<sup>9</sup> Тезисы статьи: ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 203.

<sup>10</sup> Черновая рукопись статьи Полякова «Всякое истинное произведение искусства...»: Там же. № 212. В статье А. В. Повелихиной «Интернационал искусства» (Великая утопия. С. 735—736) дано ошибочное название статьи Полякова по первой фразе черновой рукописи. Первая страница его рукописи, написанная карандашом, представляет собой неточную цитату из статьи Малевича, предназначенной для этого же журнала. Текст же самой статьи Полякова начинается только со второй страницы и написан чернилами.

## 4

## Протокол № 4.

Заседания Редакционной Комиссии Международного Бюро  
Отдела Изобразительных искусств. 24/III — 1919 г.

Присутствовали: тов. Малевич, Татлин, Дымшиц-Толстая, Поляков и Кузнецов.

Порядок дня:

- 1) Обложка журнала
- 2) Срок конкурса заказа
- 3) Жюри
- 4) Срок статьям
- 5) Текущая работа бюро

Слушали:	Постановили:
1) Обложка журнала.	1) Принять пропорцию неквадратного формата. Буквы на обложке предоставляется художнику ввести в том случае, если он это найдет возможным.
2) Срок конкурса заказа.	2) Со дня вручения повестки 10 дней.
3) Жюри.	3) Порядок использования обложки устанавливается художниками, участвующими в конкурсе, и членами Редакционной Коллегии.
4) Срок статьям	4) Месяц со дня вручения повестки.
5) Текущая работа Бюро. Воззвание практической секции Бюро.	5) а) Воззвание французским художникам поручается Моргунову. б) к итальянским — Малевичу <sup>1</sup> в) к американским и австралийским — Татлину.

<sup>1</sup> Воззвание К. Малевича к «передовым художникам Италии» опубликовано: Харджиев Н. И. «Интернационал искусства». Р. 55—57 (перепеч.: Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. Т. 1. С. 257—259; Футуризм — радикальная революция. Италия—Россия. К 100-летию художественного движения. М., 2008. С. 187). См. также: Парнис А. О воззвании Казимира Малевича в журнале «Интернационал искусства» // Там же. С. 188—191.

## 5

## Протокол № 5.

Заседания Международного Бюро 1-го апреля 1919 г.

Присутствовали: С. Поляков, Татлин, Хлебников, Моргунов, Дымшиц-Толстая и К. Малевич.

Слушали:	Постановили:
<p>1) О праве Редакционной Коллегии утвердить статью.</p>	<p>I) Редакционная Коллегия имеет право статью отвергнуть, заплатить за нее.            II) Тщательно выбирать сотрудников и статьи не корректировать.            III) Выдавать не более половинного размера гонорара.            IV) В виду сокращения общей сметы с 300.000 р. до 100.000 р. в то время как одна смета на журнал исчислена при всех возможных сокращениях в 137.000 р. Практическая часть Отдела остается совершенно без средств.<sup>1</sup> Между тем открывается широкая возможность в международном общении. В виду этого необходимо восстановить смету Международного Бюро полностью в 300.000 руб.</p>

<sup>1</sup> Смета МХБ на первое полугодие 1919 года в ИРЛИ отсутствует. Согласно смете Международного бюро на второе полугодие (от 31 мая 1919 года), расходы на издание трех номеров журнала составляли 332.925 рублей (ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 218. Л. 24—24 об., 25). Общая сумма расходов, включенных в смету на весь 1919 год, составляла 1.350.645 рублей (Там же. Л. 26).

## 6

## Протокол № 6.

Заседание Международного Бюро от 10-го апреля 1919 г.

Присутствовали: тов. Татлин, Малевич, Хлебников, Поляков, Дымшиц-Толстая, Кузнецов.

Слушали:	Постановили:
<p>1) О бумаге для журнала и печатание журнала.</p>	<p>1) Дать мандат тов. Полякову на то, чтобы выхлопотать разрешение от Полиграфического Отдела на печатание в типографии бывш(его) тов(арищества) Мамонтова. О бумаге отложить до выяснения с Оффенгенденом.<sup>1</sup></p>
<p>2) Хлебников выдвигает вопрос о праве общаться по делам искусства по Радио.<sup>2</sup></p>	<p>2) Ходатайствовать в случае надобности иметь право пользоваться Радио по делам искусства.</p>

3) Малевич предлагает организовать инициативную группу для организации Российской конференции по делам искусства и науки. Для пересмотра прежних принципов и методов науки и искусства.	3) Принять для разработки в ближайшем заседании.
---	--

<sup>1</sup> Оффенгенден М. С. — заведующий финансовым отделом ИЗО Наркомпроса.

<sup>2</sup> Впоследствии, осенью 1921 года, В. Хлебников написал статью «Радио будущего» (Хлебников В. Творения. М., 1987. С. 637—639).

## 7

## 〈Протокол〉

Заседание Международного Бюро 14-ое апреля 1919 г.

Присутствовали: В. Хлебников, С. Поляков, К. Малевич, Пав. Кузнецов, Дымшиц-Толстая.

Слушали:	Постановили:
1) О сроках для обложки.	1) Последний срок для обложки назначить 16 апреля, после чего конкурс считается законченным.
2) Об украинском отделе по делам искусства.	2) Делегировать тов. Хлебникова с материалами Международного Бюро для связи с Украиной. <sup>1</sup>
3) О воззвании для журнала Хлебникова. <sup>2</sup>	3) Принято.

<sup>1</sup> Хлебников уехал из Москвы на Украину в конце апреля 1919 года.

<sup>2</sup> Очевидно, речь идет о написанной накануне статье Хлебникова «Художники мира!», датированной 13 апреля 1919 года.

## 8

## Протокол № 7.

Заседание Международного Бюро от 〈дата не проставлена〉.

Присутствовали: А. Моргунов, Малевич, Татлин, Поляков и Дымшиц-Толстая.

Слушали:	Постановили:
1) Об обложках.	1) Обложки представленные Малевичем и Моргуновым принимаются со следующими оговорками: Относительно обложки Моргунова, из печатных знаков остается только название журнала, согласно протоколу. Относительно обложки Малевича, <sup>1</sup> на красном диске сделать отчетливые белые буквы. В виду того, что не представ-

	лены все обложки, рассматривалась обложка, представленная Дымшиц-Толстой. Обложка принята при условии возможности технического выполнения. <sup>2</sup> В виду болезни Кузнецова разрешено ему представить обложку к следующему заседанию.
2) Порядок воспроизведения обложек.	2) Первой использовать обложку Малевича. Порядок использования остальных, ввиду отсутствия Моргунова <sup>3</sup> и Кузнецова, решить на следующем заседании.
3) О воззваниях для первого номера.	3) Воззвание Татлина и Дымшиц-Толстой принято. <sup>4</sup> Воззвание Малевича и Моргунова принимается. <sup>5</sup>
4) Моргунов вносит предложение отпечатать все воззвания и раздать членам Редакционной Коллегии для заключительного решения.	4) Принимается.

<sup>1</sup> Эскиз обложки журнала работы Малевича хранится в Стеделийк Музеуме (фонд Харджиева). В книге «A legacy regained: Nikolai Khardzhiev and the russian avant-garde» (Palace editions, 2002. С. 184) эта работа ошибочно переатрибутирована и приписана Моргунову.

<sup>2</sup> Эскизы обложек этого журнала работы Моргунова и Дымшиц-Толстой см.: РГАЛИ. Ф. 665. Оп. 1. № 35, 36.

<sup>3</sup> В этом же протоколе Моргунов указан в числе присутствовавших на заседании.

<sup>4</sup> Совместное воззвание Татлина и Дымшиц-Толстой см.: ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 215.

<sup>5</sup> Воззвание Малевича «Новаторам всего мира»: Там же. № 206. Машинописный вариант: РГАЛИ Ф. 665. Оп. 1. № 32. Л. 3. Опул.: *Малевич К. С.* Собр. соч. Т. 5. С. 140—141. Воззвание Моргунова «Обращение к художникам мира» см.: ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 211.

## 9

### Протокол № 8. Заседания Международного бюро.

Присутствовали: тт. Малевич, Моргунов, Татлин, С. Поляков, Дымшиц-Толстая.

Слушали:	Постановили:
1. О выпуске первого номера журнала без участия Вяч. Иванова, Андрея Белого и Аксенова.	1. Независимо от получения статей от Вяч. Иванова, Андрея Белого и Аксенова, тов. Поляков, завед(ующий) изданием журнала, считает возможным выпуск первого номера, т(ак) к(ак) имеющиеся на руках статьи (считая в том же обещанную статью А. В. Луначарского) дают для него достаточно материала.
2. Вопрос о месте печатания.	2. Печатать в Москве.
3. Вопрос о бумаге.	3. Печатать на бумаге, имеющейся в Отделе Изобразительных искусств.
4. Вопрос об общем воззвании для журнала.	4. Принято и выражено пожелание редактировать в кратчайший срок.

5. Вопрос об оплате по заседаниям.	5. Оплату за заседание получают те, которые не состоят на жаловании в Международном Бюро.
6. Вопрос об авансе для Кампа. <sup>1</sup>	6. Предоставить на заключение Нар(одному) Ком(иссару) А. В. Луначарскому.
7. О связи с «III Интернационалом».	7. Установить связь с Информационным бюро «III Интернационала».
8. Информация Полякова об обложке Дымшиц-Толстой (на основании протокола № 7).	8. После экспертизы специалиста цинкографа тов. Вельмана, обложку на общих основаниях конкурс заказа считать принятой.
9. Вопрос о командировке тов. Уманского за границу. <sup>2</sup>	9. Редакционная Комиссия, считая, что командировочный вопрос вне ее компетенции, решила предоставить вопрос на заключение Нар(одному) Ком(иссару) Просв(ещения) А. В. Луначарскому, завед(ующему) Отделом Штеренбергу и завед(ующей) Бюро Дымшиц-Толстой.

<sup>1</sup> См. прим. 15 к вступительной статье.

<sup>2</sup> Там же.

© М. А. ВАСИЛЬЕВА, © О. А. КОРОСТЕЛЕВ

## СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ ИСТОРИИ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКОВ В. Н. БУНИНОЙ И Е. И. БУЛГАКОВОЙ)\*

Дневник революционной поры — уникальный материал. Исследовательский и читательский интерес к такому эгодокументу огромен, особенно если авторство принадлежит выдающемуся представителю своего времени. Между тем женский дневник как предмет читательского интереса нередко оказывается вытеснен на периферию. Причины подобной асимметрии были названы О. Р. Демидовой, составителем тематического сборника, специально посвященного женскому исповедальному нарративу: «Роль женщин в официальной общей истории традиционно сводится к роли „молчаливого большинства“, поскольку женщина как субъект в Большой истории, т. е. истории мужской, отсутствует. Это при том, что женские исповедальные тексты, в том числе дневники и мемуары о войне, в ходе которой необратимо рушится весь прежний уклад и жизнь превращается в хаос, отражают действительность принципиально иначе, чем мужские (...) Совершенно очевидно стремление авторов не просто рассказать о событиях, но и дать им определенную оценку в границах той аксиологической системы, которую у

Мария Анатольевна Васильева — ученый секретарь Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Олег Анатольевич Коростелев — зам. директора по научной работе Института мировой литературы РАН.

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-04-00107 «И. А. Бунин: Новые материалы и исследования (подготовка 2-й книги тома в серии «Литературное наследство»)».

людей „старого порядка” принято было считать единственно возможной, — системы христианских ценностей. Совершенно естественно, что преобладающими становятся оценки этические, а неприятие прежде всего вызывает отсутствие нравственных законов и обусловленные этим „безобразия”.<sup>1</sup>

Исследователями не раз отмечалось, что женские мемуары и дневники отличаются эмоциональностью, гуманизмом и выделяются на фоне других исторических документов своей необыкновенной живостью. Если же дневниковые тексты созданы женами выдающихся современников революции 1917 года, то, как исторический и литературный документ, они обретают особую ценность. Значительно дополняя фактографию семейной хроники и революционных событий, эти тексты создают особый эффект «отражения отражений». Благодаря дневникам жен исторический период, уже известный по текстам их супругов, мы можем увидеть под новым углом зрения — женский эгодокумент выстраивает свой ракурс видения катастрофы революции 1917 года и Гражданской войны и, как следствие, свой ответный дискурс в литературе.

Ярким примером таких исповедальных текстов революционной поры служат дневники Веры Николаевны Буниной (урожд. Муромцева; 1881—1961) и Елены Ивановны Булгаковой (урожд. Токмакова; 1868—1945). В отличие от малоизвестных авторов процитированного выше сборника «„Претерпевший до конца спасен будет”...», Бунину и Булгакову представлять не надо: оставаясь в тени своих знаменитых мужей, они все же на слуху и довольно часто фигурируют в печати. В рамках нашей темы эти имена выбраны не случайно. Жены, пожалуй, самых известных представителей русской эмиграции, они обе незаурядные женщины и обе авторы дневников.

Как правило, женские дневники отличает пристальное внимание к быту, к таким простым и в то же время фундаментальным вещам, как дом, семейные заботы, еда, здоровье, благополучие близких; к житейским мелочам, на которые мужья не обратили бы внимания или, по крайней мере, не сочли нужным отметить их в дневнике. Умалять ценность бытовой стороны женского эгодокумента революционной поры не приходится, это детальная фиксация того, как стремительно и радикально менялась повседневная жизнь, навсегда утрачивая многие привычные черты. Впрочем, что такое революция, гражданская война, изгнание, как не потрясение первооснов существования? В случае же Буниной и Булгаковой «женское бытописание» усложнено творческой рефлексией. Эти дневниковые тексты созданы талантливыми писательницами.

Дневник Е. И. Булгаковой (рукопись) хранится в архиве Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.<sup>2</sup> Первая запись датируется 9 октября 1921 года, последняя — 30 апреля 1922 года. Хронологически дневник падает на переломный и крайне тяжелый период в жизни прот. Сергия Булгакова во время «крымского сидения» накануне его насильственной высылки из России вместе с семьей. По содержанию дневника можно предположить, что это фрагменты обширного текста, либо утраченного, либо до сих пор нам неизвестного. Возможно, более полный текст постигла та же участь, что и ценные автобиографические заметки о Сергия того же периода.<sup>3</sup> Дошедший

<sup>1</sup> Демидова О. Р. Жизнь как «история изнутри» // «Претерпевший до конца спасен будет»: Женские исповедальные тексты о революции и гражданской войне в России / Сост. О. Р. Демидова. СПб., 2013. С. 5—16.

<sup>2</sup> Ф. 222. Л. 1—8 об. Фонд Е. И. Булгаковой в Доме русского зарубежья проходит научно-техническую обработку, поэтому материалы дневника цитируются далее без специальных отсылок.

<sup>3</sup> Так, об одном несохранившемся тексте С. Н. Булгаков вспоминал потом: «Во время жительства в Крыму под большевиками, в 1918—19 гг. я написал толстую тетрадь с повестью о

до нас фрагмент — записи на отдельных чистых и линованных тетрадных листах формата А3, в качестве последнего листа использован бланк товарищества «Первая лечебная колония в Крыму». Записи сделаны чернилами, некоторые фрагменты дневника, в особенности, касающиеся 21 и 24 апреля 1922 года, сильно выгорели и не поддаются расшифровке. До сих пор дневник Булгаковой был неизвестен исследователям и широкому читателю и в этой статье впервые вводится в научный оборот. Литературную ценность этих дневниковых фрагментов объясняет библиография произведений Булгаковой. Автор многочисленных исторических очерков и книг для детей и юношества,<sup>4</sup> она публиковалась также в журнале «Вопросы жизни» (1905),<sup>5</sup> идейное содержание которого во многом определяли С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев; в эмиграции издала книгу «Царевна Софья» (Париж, 1930).

Дневники В. Н. Муромцевой-Буниной, которые она более или менее регулярно вела с 1914 по 1961 год, куда более масштабны, они сохранились в гораздо более полном виде в «парижском» архиве Буниных, насчитывают 113 единиц хранения (тетрадей, блокнотов, ежедневников и др.) и ныне находятся в Русском архиве в Лидсе.<sup>6</sup> Дневники представляют собой первостепеннейший источник для изучения как жизни и творчества И. А. Бунина, так и всей литературной эпохи. Жизнь писателя со всеми его поездками, публикациями, встречами запротоколирована в дневниках в мельчайших нюансах, но их содержание этим не ограничивается. Муромцева-Бунина и в России, а в еще большей степени в эмиграции, была одним из активнейших организаторов культурной жизни, принимала участие в подготовке творческих вечеров многих видных литераторов и деятелей культуры (Б. К. Зайцева, М. А. Алданова, Л. Ф. Зурова и др.), составляя и обсуждая программы вечеров, распространяя билеты и т. д. Она и сама писала статьи и очерки, публиковалась в крупнейших эмигрантских изданиях, таких, например, как «Последние новости».<sup>7</sup> Кроме того, она живо интересовалась жизнью и судьбами не только своего ближайшего окружения, но и всей эмиграции, а также близких, друзей и знакомых, оставшихся в советской России, вела переписку со многими из них. Все это находит отражение в дневниках и делает их одним из важнейших документальных свидетельств того периода.

своей жизни, примерно в течение 30 лет. При моей высылке я ее оставил, казалось, в надежные руки, но во время очередной паники перед обыском тетрадь была зарыта в землю и — погибла. Ее содержание невосстановимо...» (*Булгаков С. Н. Автобиографические заметки // Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи / Предисловие Н. А. Струве; сост., подг. текста А. П. Олейниковой, Н. А. Струве. Орел, 1998. С. 25*).

<sup>4</sup> Среди книг, изданных Булгаковой до революции: Из жизни средневекового ремесленника. М., 1902; Страничка из жизни киевских рабочих. Киев, 1906; Цикада (Сказка). М., 1907; Герои и подвизники Смутного времени. М., 1912; Марина Мнишек, или От царского двора до мрачного подполья. М., 1913; Лошадки маленького Ибрагима. М., 1914; Стрелецкий батька. М., 1915; Старый дом. Повесть для детей среднего возраста. М., 1915, и др. Более полный список см.: Писательницы России (Материалы для библиографического словаря) / Сост. Ю. А. Горбунов. Екатеринбург, 2004—2011. См.: <http://book.uraic.ru/elib/authors/gorbunov/sl-2.htm> (дата обращения: 20.03.2017).

<sup>5</sup> Публикации Булгаковой см.: Журналы «Новый путь» и «Вопросы жизни», 1903—1905 гг.: Указатель содержания / Сост. Е. Б. Летенкова. СПб., 1996. С. 49, 56.

<sup>6</sup> РАЛ. MS 1067/345—458. Далее при цитировании материалов архива указывается РАЛ, номер фонда и единицы хранения.

<sup>7</sup> Бунина в межвоенные годы опубликовала ряд мемуарных очерков в «Последних новостях»: о С. А. Муромцеве, Л. Н. Андрееве, Н. П. Кондакове, С. А. Найденове, Д. Н. Овсянко-Куликовском, А. И. Эртеле, С. И. Юшкевиче и др. Позже печаталась в журналах «Возрождение», «Новый журнал» и «Грани», выпустила книгу «Жизнь Бунина. 1870—1853» (Париж, 1958). Фрагменты другой ее книги воспоминаний «Беседы с памятью» публиковались в журналах, а отдельное издание вышло посмертно (см.: *Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989*).



Дневник Буниной довольно часто цитируется, поскольку фрагменты его были включены в книгу «Устами Буниных».<sup>8</sup> Однако полностью он так и не был опубликован, и хотелось бы надеяться, что рано или поздно это произойдет. Готовится к печати и дневник Булгаковой. В то же время, разъятые по отдельным публикациям, тексты окажутся за пределами объединяющей проблемы, которая обозначена в данной статье. Нам же представляется важным подчеркнуть хронологические и содержательные переклички дневников Буниной и Булгаковой как между собой, так и с известными дневниками Бунина и Булгакова периода революции. Перед нами не только лучшие образцы пореволюционного женского эгодокумента, но и содержательное «„резонантное” пространство»<sup>9</sup> вокруг бунинских «Окаянных дней» и булгаковского «Ялтинского дневника».

В задачу статьи не входит проводить всесторонний сопоставительный анализ между дневниками Буниной и Булгаковой — это разные судьбы, характеры и тексты. Между тем за пределами искусственных пересечений и параллелей дневниковый материал сам выстраивает глубинные переклички и на уровне биографий, и на уровне восприятия событий. Во многом они продиктованы судьбами мужей, одинаково не принявших и осудивших октябрьский переворот, одинаково прошедших путь в изгнание из Москвы на юг России (в случае Булгакова это Крым, в случае Бунина — Одесса). Осознание необходимости эмиграции из советской России, пик которой пришелся на 1920—1922 годы, зачастую возникало у представителей «первой волны» гораздо раньше. Обычно к столь серьезному шагу приходили отнюдь не внезапно. Нередко это был постепенный, растянувшийся на годы, «откат». Дневники и Буниных, и Булгаковых отмечают это затянувшееся скольжение в изгнание. В той или иной степени каждый из дневников фиксирует пограничное ментальное состояние — ощущение эмигрантства еще на своей земле, когда юг страны становится буфером между прежней Россией, в которую невозможно вернуться, враждебной Россией большевиков и чужой страной, в которую суждено уехать. Траектория исхода для многих изгнанников была схожей: Киев, Одесса, Новороссийск, а в Крыму — Севастополь (или другие крымские порты: Евпатория, Ялта, Керчь), затем эмиграция, отплытие в Константинополь, далее — путь на Балканы, в Берлин и затем, через эти перевалочные пункты, в места, где можно было попытаться выстроить новую жизнь, — в Прагу и Париж. Дневники в уникальных подробностях воссоздают эпопею такого «отката». Таким образом, история революции и эмиграции сама насильственно объединяла очень разные судьбы в один масштабный феномен — Россию в изгнании. Подобное насильственное перекраивание биографий сказалось и на судьбах Буниной и Булгаковой, нашедших свой последний приют рядом с мужьями на одном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. То, что и Вера Бунина, и Елена Булгакова до конца оставались верными спутницами жизни и стали в эмиграции настоящей опорой для своих избранников — сближает их биографии лишь отчасти. И все же для русского рассеяния это знаменательное совпадение. Кардинальные повороты истории не лучшим образом отражаются на семьях — вынужденные расставания, разводы в эмиграции были едва ли не более частым явлением, чем в обычной жизни. Однако браки Бунина и Булга-

<sup>8</sup> Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под ред. М. Грин. Frankfurt a/M., 1977—1982.

<sup>9</sup> Термин В. Н. Топорова (см.: Топоров В. Н. О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // *Literary tradition and practice in Russian culture. Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman.* Rodopi, 1993. P. 16—21).

кова оказались крепкими, несмотря на сложные перипетии их эмигрантского существования. Это неудивительно для православного священника Сергея Булгакова и в то же время уникально для светского писателя Ивана Бунина. Стоит, однако, обратиться к записям Бунина и Булгакова, чтобы понять, какую действительно огромную роль играли в изгнании их спутники жизни.

14 (27) января 1923 года в «Константинопольском дневнике» о. Сергей Булгаков запишет: «Сегодня благословенный день — 25-летие нашего брака, серебряная свадьба! (...) Какое благословение Божие на мою всю жизнь было действеннее и очевиднее, нежели то, что Бог свел меня и дал мне ангела-хранителя, подругу жизни, которой я никогда не стоил и которая всегда была для меня верной опорой (...) И теперь, на чужбине мы оба вместе, Господь сохраняет ее чистую душу и жизнь. (...) Господи, благодарю тебя, сохрани и продли нашу жизнь. По человеческому разумению, кажется, вся жизнь моя сложилась бы по-иному, если бы мы не встретились или же не сошлись тогда».<sup>10</sup>

22 апреля 1940 года Бунина пишет мужу: «Надеюсь, что завтра ты вспомнишь обо мне. 33 года жизни вместе».<sup>11</sup> Растроганный, Бунин откликнулся 24 апреля: «О наших 33 годах вспомнил вчера ночью — с сильной нежностью о тебе, с великой благодарностью тебе. Мысленно о тебе молился. И все тщетно думал — что это такое — прошлое? Как определить представление о нем? Храни тебя Божья Матерь, бесценный друг, целую тебя горячо и крепко».<sup>12</sup> Услышать такое из уст Бунина, не очень склонного к сентиментальности, — дорогого стоит.

### **«...Нам пришлось увидеть перелом эпохи...»: дневник В. Н. Буниной**

У Буниных «откат» в эмиграцию продолжался более полутора лет — с июня 1918 года, когда они выехали из Москвы на юг, до февраля 1920 года, когда они навсегда покинули Россию, отплыв из Одессы в Константинополь на пароходе «Спарта».

Этому периоду посвящены «Окаянные дни» Бунина и большинство его публицистических выступлений первых лет эмиграции. В дневнике Буниной этим дням также отдано немало места. Радикальный переворот всего жизненного уклада огромной страны никого не оставил равнодушным и вызвал к осмыслению или хотя бы фиксированию стремительно меняющихся условий существования.

Если в столицах и центральной России революция шла полным ходом, и уже начинался голод, то на юге еще какое-то время сохранялся привычный быт. Бунина, ощущавшая этот контраст, по приезде в Одессу стеснялась, записав в дневнике 19 июля 1918 года: «Живем, как буржуи, две прислуги, сыты, погода хорошая, дача большая. Сначала мне было стыдно, что теперь, в такое время, я пользуюсь удобствами и комфортом».<sup>13</sup>

Круг общения Буниной был очень широк, она в изобилии приводит сведения о родственниках, друзьях и знакомых, часто сопровождая их сравне-

<sup>10</sup> Булгаков С. Н. Константинопольский дневник // Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 136.

<sup>11</sup> РАЛ. MS 1067А/251.

<sup>12</sup> Цит. по: Коростелев О. А. «Вести из Пасси»: Рукописная газета В. Н. Буниной // Литературный факт. 2016. № 1—2. С. 350.

<sup>13</sup> РАЛ. MS 1067/351.

ниями. 24 августа 1918 года она записывает в дневнике: «Из Москвы приехала Толстая, жена А(лексея) Н(иколаевича), вид сытый, она очень хорошенькая. Муж в поездке зарабатывает на жизнь. О Москве рассказывает много ужасного. Нет молока, голод наступил. Что делают наши? Туся рассказывала, что видела издали Юлия Алексеевича сидящим на Тверском бульваре, и мне так сделалось жалко его, одинокого старика, напрасно мы не захватили его с собою, погибнет он там! Нет энергии уехать. Ведь он и здесь устроился бы. Нет отваги. Бунинский страх перед жизнью. От этого и Маша пропала, и если у Жени самого не будет настойчивости, то и он пропадет. Вот разница — Толстой, что за жизнеспособность, нужно 5 000 р. в месяц — будет и пять».<sup>14</sup>

Многочисленные знакомства и общительность Буниной удачно сочетались с интересом к людям и любопытством к деталям, отражаясь в дневниковых записях и давая в совокупности многогранную картину быта эпохи. 11 февраля 1919 года она делает запись: «Был Ал. Ал. Яблоновский. Вид у него человека, много пережившего. В Одессе 3 недели. Из Киева ехали в вагонах с разбитыми окнами и дверями, с пробитой крышей. Стоило много денег, самые дешевые билеты. Носильщик взял 300 рублей. Несколько раз их вытаскивали из вагонов. Некоторые миллионеры за купе платили 60 000 р.»<sup>15</sup> 20 марта 1919 года отмечает: «Приехал из Москвы какой-то инженер, кот(орый) служил там в Совнархозе, находился в привилегированном положении, как специалист получал 5 000 рублей. Он рассказывает, что кружка молока в день ему обходилась в 2 000 р., затем баба отказалась брать деньги, пришлось пропить женину шубу. Вообще, деревня совсем съела город, все тащат из города, подушки, платья, мебель, вплоть до детских колясочек».<sup>16</sup>

Мелкие бытовые заметки чередуются с известиями о политических событиях, сливаясь в единую картину эпохи.

21 июля 1918 года: «Известие о расстреле Николая II произвело удручающее впечатление. В этом какое-то безграничное хамство: без суда...»<sup>17</sup>

19 декабря 1918 года: «Вчера весь день шел бой. Наша улица попала в зону сражения. До шести часов пулеметы, ружья, иногда орудийные выстрелы раздавались безостановочно. На час была сделана передышка, а затем опять».<sup>18</sup>

17 августа 1920 года: «Мы узнали, что расстрелян Леша, почти что на Верочкиных глазах. Он служил в деникинской контрразведке. Это было зимой, кажется, в декабре. Я не могу успокоиться. Когда умирает близкий человек, то невольно вся жизнь проходит его перед внутренним взором. Так и я сегодня вижу Лешу то маленьким мальчиком, первым смеющимся и быстро, быстро махающим своими ручонками, то уже офицером, представляющим нам, как он становится во фронт, и он почти красив был в эту минуту, когда он в одну линию вытянулся».<sup>19</sup>

29 октября 1920 года: «Вчера у Мережк(овских) мы узнали, что Пилсудский дал Балаховичу и Сав(инкову) 3 000 000 р.»<sup>20</sup>

15 ноября 1920 года: «Армия Врангеля разбита. Чувство, похожее на то, когда теряешь близкого человека».<sup>21</sup>

<sup>14</sup> РАЛ. MS 1067/354.

<sup>15</sup> РАЛ. MS 1067/355.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> РАЛ. MS 1067/351.

<sup>18</sup> РАЛ. MS 1067/354.

<sup>19</sup> РАЛ. MS 1067/367.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же.

Под большевиками Бунины прожили в Одессе лишь четыре с половиной месяца, с 6 апреля по 23 августа 1919 года, но воспоминаний об этом им хватило на всю оставшуюся жизнь. Обыски, реквизиции, расстрелы, газетное, плакатное и просто уличное хамство приводили Бунина в бешенство. Уже через две недели после установления советской власти в Одессе, 25 апреля 1919 года Бунина передала в дневнике слова мужа: «Идти служить к этим скогатам я не в состоянии. Я зреть не могу их рожи, быть с ними в одной комнате». <sup>22</sup> Такое отношение Бунина не менялось на протяжении всех этих четырех месяцев. 9 августа 1919 года, за две недели до оставления большевиками Одессы его жена заметила: «Николаевский бульвар изгажен близостью чрезвычайки, сытыми мордами солдат и наглостью чекистов... гулять по улицам тоже противно... „Я не могу видеть их. Мне противна вся плоть их, человечина, как-то вся выступившая наружу“, — говорит Ян теперь почти всегда, когда мы с ним идем по людным улицам». <sup>23</sup>

Собственно литературные темы в дневниках Буниной в этот период отходят на второй план, уступая по значимости социальным вопросам. Да и сам Бунин в первые пореволюционные годы гораздо чаще обращается к публицистике, чего не было ни раньше, ни потом. 18 марта 1919 года Бунина записала слова супруга: «Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают, и кто же? Свердловы!.. Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен быть писателем, а должен принимать участие в правительстве. <...> Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольч(ескую) и вступить в правительство. Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка». <sup>24</sup>

В освобожденной от большевиков Одессе Бунин в октябре 1919 года стал редактором газеты «Южное слово» (точнее соредактором академиком Н. П. Кондакова, по рекомендации которого и сменил Д. Н. Овсяннико-Куликовского на посту редактора официального печатного органа Добровольческой армии). <sup>25</sup> Вера Николаевна заметила в дневнике 20 октября 1919 года: «Ведь, пожалуй, это впервые, что Ян на службе. Яну нравится, что он ездит на машине с национальным флагом. За ним приезжает доброволец, очень милый, с калмыцким лицом офицер. И к каждому слову говорит: „Есть, ваше превосходительство“. Все эти дни Ян оживлен, возбужден и деятелен. То бездействие, в котором он пребывал летом при большевиках, было, несомненно, очень вредно и для его нервов, и для его души. Ведь минутами я боялась за его психическое состояние. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы нас не освободили добровольцы. Редко кто так страдал, как он. Он положительно не переносит большевиков, как я кошек...» <sup>26</sup>

Бунина зафиксировала многие мнения и суждения своих знакомых, неожиданные высказывания и оценки, причем с самых разных сторон. Правда, одно настроение встречается чаще других, становясь своеобразным рефреном: «„Вы слышали, — спросил Ян Яблоновского, — что говорят, Горький стал товарищем министра народного просвещения“. Яблоновский со злорадством ответил: „Это хорошо, теперь можно будет его вешать!“»; <sup>27</sup> «М. Ос. Цетлин был в театре, рядом с ним сидели два офицера из Добро-

<sup>22</sup> РАЛ. MS 1067/358.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> РАЛ. MS 1067/353.

<sup>25</sup> Подробнее об этом см., в частности, в мемуарах: Варнеке Б. В. Материалы для биографии Н. П. Кондакова / Публ. И. В. Тункиной // Диаспора: Новые материалы. СПб., 2003. Вып. IV. С. 72—151.

<sup>26</sup> РАЛ. MS 1067/364.

<sup>27</sup> 20 сентября 1918 года. См.: РАЛ. MS 1067/352.

вольческой армии, из их разговора он узнал, что решено, если Керенский попадется, то его даже не расстреливать, а повесить»;<sup>28</sup> «Савинков сказал, что когда ложится спать, то он мечтает, что на Красной площади будут повешены Ленин, Троцкий, Дзержинский, и „я буду стоять тут же, а оркестр будет играть «Святорусскую землю»”». <sup>29</sup> Бунин в результате и сам обратил на это внимание. 8 апреля 1919 года Бунина записала в дневнике: «Ян был на бульваре, там кучки народу. И все одно и то же: вешать, резать. „Два года я слушаю, — сказал Ян, — и везде только злоба, низость, бессмыслица, ни разу я не слышал ни одного доброго слова, к какой бы кучке я ни подходил, с кем бы из простых я ни разговаривал”». <sup>30</sup>

В дневниках Буниной много свидетельств о муже, записаны его мнения, высказывания, более нигде не сохранившиеся. 26 декабря 1919 года: «Вчера мы пили вино. Ян возбудился, хорошо говорил о том, что он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее. Когда он говорил, то на глазах у него были слезы. Ни социализма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ему». <sup>31</sup>

Бунина в дневнике в чем-то соглашается с мужем, иногда спорит с ним, и почти всегда добавляет новые штрихи. Его суждения о наивности бесконечных прекраснодушных разговоров она разделяла, записав 8 июля 1918 года: «Опять раздавались интеллигентные мнения, ничего общего не имеющие с действительностью. Твердохлебов и Лидия Карловна (жена Федорова) хотят учредительного собрания, а не знают, как в деревнях происходят выборы, как каждый подает записки за себя!.. Федоров хорошо сказал: „Когда соберутся десять человек и спорят, то мне кажется, что они бегут по кругу друг за другом и не догонят”... Как в молотилке лошади, — подумала я. Ян был возбужден, много говорил, но я не вслушивалась. Только когда шла домой, он сказал: „И до сих пор интеллигентские споры, интеллигентское отношение к жизни, и немец это прекрасно знает и обдумывает только, как ему лучше взять”». <sup>32</sup>

Некоторые записи повторяют или дополняют отдельные фрагменты дневника писателя. 8 июня 1918 года, проехав Оршу, Бунина процитировала слова мужа: «Никогда в жизни я не проезжал с таким чувством границу — неужели я избавился от власти этого грубого скотского народа. Я весь дрожу». <sup>33</sup> Сам Бунин в этот день (26 мая по старому стилю) записал в дневнике: «В 12 ч. без 10 м. мы на „немецкой” Орше — за границей. Я со слезами сказал: „Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!”». <sup>34</sup> Таких переключек в их дневниках много, только записи Веры Николаевны, как правило, более подробны и обстоятельны.

Детальнее изложены в дневнике Буниной и многие эпизоды «Окаянных дней». К примеру, Бунин посвящает Волошину запись 13 апреля 1919 года: «Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг («по украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: „Искусство вне времени, вне по-

<sup>28</sup> 9 декабря 1918 года. См.: РАЛ. MS 1067/367.

<sup>29</sup> 17 мая 1920 года. См.: РАЛ. MS 1067/364.

<sup>30</sup> РАЛ. MS 1067/354.

<sup>31</sup> РАЛ. MS 1067/358.

<sup>32</sup> РАЛ. MS 1067/351.

<sup>33</sup> РАЛ. MS 1067/349.

<sup>34</sup> РАЛ. MS 1066/515.

литики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник". В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал. А на другой день в „Известиях": „К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам..." Теперь Волошин хочет писать „письмо в редакцию", полное благородного негодования. Еще глупей». <sup>35</sup>

В дневнике Буниной подробно воспроизведен и сам разговор с Волошиным, и его проект украшения города к Первомаю, и упомянутый Буниным инцидент с «Известиями» в записи 12 (25) апреля 1919 года: «В „Известиях" написано, что Волошин отстранен из первомайской комиссии. „Зачем втирается в комиссию по устройству первомайских торжеств он, который еще так недавно называл в своих стихах народ «сволочью»". Часов в десять утра Волошин прибегает к нам. Он написал ответ и хочет прочесть его Яну. Содержание его письма приблизительно следующее. Есть разница между тем, сам человек предлагает свои услуги, или к нему обратились за помощью. В данном случае обратились к нему как к знатоку русской поэзии. Он согласился оказать послышную помощь, и вдруг его за это порочат. Ян слушает его, ухмыляется: „Прекрасно, но только ваш ответ не будет напечатан". Волошин удивлен: „Что вы, мне обещали, я уже был в редакции". „Попробуйте, — говорит Ян, — я очень сомневаюсь". Письма его не напечатали». <sup>36</sup>

Бунин со своими дневниками обходился жестко: «...неоднократно переписывал сам или давал перепечатывать Вере Николаевне свои дневниковые записи. При этом он редактировал свой дневник прошлых лет, отбирал и сокращал записи, доводя их нередко до предельной лаконичности. После этого оригиналы уничтожались». <sup>37</sup>

Вера Николаевна подобную процедуру проделывала лишь с дневниками за отдельные годы, но, к счастью, не уничтожала оригиналы. Она неоднократно переписывала (обильно при этом права) именно дневники за 1918—1919 годы, видимо, выделяя их особо и, возможно, рассматривая как самостоятельную книгу, собственные «Окаянные дни».

22 января (4 февраля) 1920 года генерал Шиллинг объявил эвакуацию Одессы. Бунина в этот день сделала запись: «Яну и Кондакову выдали билеты III класса на пароход „Дмитрий", интересно, кто будет ехать в первом? Кондаков сказал: „Прикажу с собой в гроб положить. Я думал, что отечество мой должник, а оно на 76 году жизни не дает даже мне койки во время эвакуации"». <sup>38</sup> Через день, 24 января (6 февраля) Бунины сели на пароход, через неделю были в Константинополе, а в марте уже в Париже.

### «...Чтобы это темное время миновало...»: дневник Е. И. Булгаковой

Постановлением Крымского политического управления от 10 (23) ноября 1922 года священник Сергей Булгаков был выдворен «из пределов РСФСР без права возвращения». <sup>39</sup> Вместе с отцом Сергием навсегда покину-

<sup>35</sup> Цит. по: Бунин И. А. Собр. соч. Berlin: Петрополис, 1935. Т. X: Окаянные дни. С. 79.

<sup>36</sup> РАЛ. MS 1067/358.

<sup>37</sup> Пономарев Е. Р. Бунин, Бунина и Кузнецова: Факты и домыслы // И. А. Бунин: Новые материалы. М., 2014. Вып. III. С. 569.

<sup>38</sup> РАЛ. MS 1067/360.

<sup>39</sup> Филимонов С. Б. 1) Тайны судебно-следственных дел. Документальные очерки о жертвах политических репрессий в Крыму в 1920—1940-е гг. // К 80-летию окончания Гражданской войны в Крыму. Симферополь, 2000. С. 15—27; 2) Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь, 2010. С. 126—156.

ли родину его жена Елена Ивановна, дочь Мария (1898—1979) и сын Сергей (1911—?); старший сын Федор (1902—1991) остался в России, в сущности, оказавшись заложником у большевиков.<sup>40</sup> 17 (30) декабря 1922 года пароход «Жан» отплыл из Севастополя и взял курс на Константинополь (по данным КПУ, высылка состоялась 14 (27) декабря); судя по различным материалам и документам, 9 января 1923 года Булгаков уже достиг места назначения.<sup>41</sup> Годы между отъездом из Москвы в июне 1918 года (первый шаг в эмиграцию)<sup>42</sup> и окончательным прощанием с Россией — один из самых драматичных этапов его жизни. Этот исторический промежуток, полный неопределенности, крайней нужды и душевных потрясений, он фиксирует в «Ялтинском дневнике» (июнь 1921 — сентябрь 1922), который положит начало целому своду дневниковых текстов, созданных в изгнании.<sup>43</sup> За последние десятилетия были предприняты разнообразные научные и архивные разыскания и ценные публикации, посвященные периоду «исхода» прот. Сергея Булгакова, между тем слова исследователя, что период с 1918 года и вплоть до эмиграции — это «наиболее „темные годы“» в судьбе философа<sup>44</sup> — остаются актуальными до сих пор. В контексте сказанного крымский дневник Е. И. Булгаковой обретает статус уникального документа.

С 1918 по 1922 годы общественно-политическая жизнь на юге России протекает исключительно бурно. Очень активен в этот период и Булгаков — и как священник, и как философ.<sup>45</sup> 6 сентября 1921 года он становится вторым священником Александро-Невского собора в Ялте. Драматичный «Ялтинский дневник», который о. Сергей начинает вести 16 июня 1921 года, имеет непреднамеренную, но весьма символичную «годовую» цикличность — последняя запись в нем сделана спустя ровно год после начала священства в Ялте (6 сентября 1922 года). Летом же 1922 года он отметил в дневнике: «И особенно дивно, что этот год оказался таким поворотным в моем церковном сознании» (16 июля 1922 года).<sup>46</sup> Причины мировоззренче-

<sup>40</sup> Во время высылки чекистами была сделана попытка отделить от семьи и младшего сына Сергея, к счастью, не удавшаяся (см. об этом: *Филимонов С. Б.* Тайны судебно-следственных дел. С. 24).

<sup>41</sup> См. об этом: *Колеров М. А.* С. Н. Булгаков в 1923 году: Из Константинополя в Прагу // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2003 год. М., 2004. [Вып.]. 6. С. 601.

<sup>42</sup> По воспоминаниям С. Н. Булгакова, после рукоположения в сан священника 11 июня 1918 года, на Духов день, он через две недели «выехал в Крым для свидания с семьей» (*Булгаков С. Н.* Мое рукоположение // Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 74).

<sup>43</sup> «Ялтинский дневник», «Константинопольский дневник», «Духовный дневник (Прага, Париж)», «Американский дневник» (см.: *Булгаков С. Н.* Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 75—323; а также: *Козырева А., Голубкова Н.* Прот. С. Булгаков. Из памяти сердца. Прага [1923—1924] [Из архива Свято-Сергиевского богословского института в Париже] // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1998 год. М., 1999. С. 105—256).

<sup>44</sup> *Колеров М. С. Н. Булгаков в 1923 году: Из Константинополя в Прагу.* С. 598.

<sup>45</sup> О крымском периоде в жизни и творчестве С. Н. Булгакова см.: *Колеров М. С. Н.* Булгаков в Крыму осенью 1919 года: *Vegetus.* Неделя о Булгакове // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 1997 год. СПб., 1997. С. 232—236; *Филимонов С. Б.* 1) По страницам первого номера газеты «Vivat Academia!» // Крымский архив (Симферополь). 2000. № 6. С. 171—181; 2) К истории религиозно-философских обществ в Крыму в годы Гражданской войны: новые материалы о С. Н. Булгакове // Там же. 2002. № 8. С. 52—64; 3) Сергей Булгаков — профессор Таврического университета // Таврический университет (Симферополь). 2005. Январь—Февраль. № 12 (928). С. 8—9; 4) Ялтинское Религиозно-философское общество: неизвестные материалы о С. Н. Булгакове // Философия хозяйства: альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 2006. № 3 (45). С. 226—241; *Половинкин С. М.* Семья свящ. Сергея Булгакова // С. Н. Булгаков: Религиозно-философский путь: Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения / Науч. ред. А. П. Козырева; сост. М. А. Васильевой, А. П. Козырева. М., 2003. С. 9—28, и др.

<sup>46</sup> *Булгаков С. Н.* Ялтинский дневник // Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 110.

ского перелома, обернувшегося для Булгакова «общей проверкой церковно-мировоззрения»<sup>47</sup> и конфессиональными сомнениями, вплоть до временного увлечения католицизмом, сложны и в то же время имеют далеко не только «метафизические» истоки. Сам Булгаков назовет этот годовой круг «страшным годом голода и зверства»<sup>48</sup> и признает, что стал в крымский период «элементарнее в своих мыслях и чувствах, значительно освободился от привкуса теософизма» и что его «почти перестала интересовать литературщина в религии».<sup>49</sup>

Именно «голод и зверство» — тема дневника Булгаковой. Благодаря ее записям можно порой до минут восстановить семейные коллизии тех лет и буквально физически почувствовать, как пережила семья священника печально известную крымскую гуманитарную катастрофу начала 1920-х годов. В отечественной истории данный период до сих пор сквозит лакунами, именно поэтому крымский дневник Булгаковой имеет особую значимость не только как содержательная семейная хроника, но и как ценное свидетельство о жизни на юге России при «вторых большевиках».

В начале 1920-х годов в Крыму разразился массовый голод, унесший жизни более ста тысяч человек.<sup>50</sup> Пик голодомора пришелся на 1921—1922 годы. Продразверстка, отмененная X съездом РКП (б) в марте 1921 года, держалась в Крыму до июня. Картину дополняли невиданная за многие годы засуха лета 1921 года, размах бандитизма, разразившаяся эпидемия тифа. В эти годы в Крыму были зафиксированы случаи людоедства. Однако только 16 февраля 1922 года заседание Президиума ВЦИК постановило отнести всю территорию Крымской АССР к числу областей, признанных голодающими. 14 февраля 1922 года в первую седмицу Великого Поста отец Сергей с горечью пишет: «Основное мое чувство жизни личное — это бессилие и поражение перед голодом. Как тяжело и постыдно чувствовать себя жадным и трусливым себялюбцем, прячущимся и запирающимся в свой угол с своим куском для себя и семьи, под стук и стоны голодных. Я чувствую себя недостойным даже говорить о Боге и вере, а в то же время должен учить других, литургисать, и сам окаянный причащаюсь плоти и крови Господней. На днях я был со Св. Дарами у умирающей от голода старухи, которая лежит одна в холодной сырой комнате. Я чувствовал себя таким уничтоженным и духовно бессильным, и она стоит передо мною, как на Страшном Суде».<sup>51</sup> Чем больше Булгаков фиксирует *бытийный* контекст намечающегося духовного кризиса (голод, многочисленные смерти прихожан, друзей и родственников, страх за свою семью — и как итог чувство личного «бессилия и поражения»), тем сильнее его дневник резонирует с крымским дневником Елены Булгаковой, сохранившаяся часть которого почти совпадает по хронологии с «Ялтинским дневником». Иногда их записи звучат в унисон — те же события, те же переживания. В ее дневниках больше приземленной действительности и драматичной повседневности, но именно там стоит искать глубинные истоки крымского духовного перелома прот. Сергея Булгакова.

Обратимся к дневниковым записям Елены Ивановны. Их отличает гипертрофированное искажение привычных реалий всего, что составляет основу женского мира и мировидения. В исковерканной реальности, которую зорко, предметно фиксирует дневник, есть много смертей и только одно

<sup>47</sup> Булгаков Сергей, прот. Автобиографические заметки. Париж, 1991. С. 49.

<sup>48</sup> Булгаков С. Н. Ялтинский дневник. С. 111.

<sup>49</sup> Там же. С. 100, 104.

<sup>50</sup> Об этом см.: Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму. Симферополь, 1997.

<sup>51</sup> Булгаков С. Н. Ялтинский дневник. С. 91.



рождение ребенка, и оно не в радость (Булгакова беспристрастно описывает скорбную реакцию Волика Водовозова<sup>52</sup> на рождение первенца). Крым перестает быть символом благополучия, родительский дом, родовое гнездо «Олеиз» — символом радушия. Для Токмаковых, известных своим гостеприимством, это фундаментальное переименование замысла их крымской усадьбы как центра культуры, места хлебосольного и открытого. Купцы Иван Федорович и Варвара Ивановна Токмаковы (родители Булгаковой) прославились в Крыму как выдающиеся преобразователи и благотворители. Возведение в Кореизе больницы, церковноприходской школы, чайной с библиотекой-читальней (позднее превратившейся в Народный дом, известный своими театральными постановками), перестройка кореизской церкви, крупный денежный вклад в строительство главного ялтинского Александро-Невского собора, содержание в Алупке пансиона «Хоба-Туби» для малоимущих — немногие примеры щедрых пожертвований семьи. В дружелюбном «Олеизе» в разные годы гостили М. А. Волошин, А. И. Куприн, А. М. Горький, С. В. Рахманинов, Н. А. Бердяев, В. И. Иванов, С. Н. Дурьлин, В. А. Тернавцев, Е. Д. Турчанинова, М. Н. Ермолова, К. А. Эрдели, юный В. В. Набоков и др.<sup>53</sup> Об усадьбе Токмаковых позже Булгаков вспоминал как о «священном старом доме, в котором мы жили и любили, венчались, хоронили, молились».<sup>54</sup>

В крымском дневнике Булгаковой «Олеиз» полностью меняет свой статус. «Ровно через месяц — мамочкины именины, — пишет она 4 ноября 1921 года. — Доживем ли мы до этого дня? Прежде, бывало, какие ростбифы жарились к этому дню, какие окорока и пироги приготавливались, стол ломился от целой батареи бутылок, а теперь, теперь... Теперь нам самим нечего есть! И все-ж-таки около скудного и жидкого мамочкиного супа всегда бывает „табун“ пришлого люда (по выражению нянюшки). Как будто никто не замечает, что *ей самой нечего есть*. И она такую же щедрю рукою раздает от своего скудного стола, как раздавала когда-то от обильного и богатого стола. И чем нахальнее гость, тем больше он съедает, урывая из последнего, тем бледнее становится ее тонкое личико: точно гость вместе с крохами хлеба и последними каплями супа выпивает ее кровь...» Запись того же дня: «Божья Матерь, не посылай мне непосильного креста!! Я готова претерпеть голод, холод, всевозможные лишения, я готова быть простой кухаркой у Сережи и старших детей, но не отнимай у меня Федичку, *сохрани моих детей*, огради их Святым своим Покровом, помоги провести нам как-нибудь грядущую зиму и не умереть с голода. (...) Нет, Божья Матерь, я не теряю надежду: я верю, что ты сохранишь моих детей, Сережу, мамочку... Помоги нам дожить до весны!..» Основной пафос ряда записей 1921 года — суровый вердикт в адрес приходящих в «Олеиз» голодающих: «Выработался особый тип людей-желудков на двух ногах. Для них безразлично, *где* поесть, *что* поесть, лишь бы где-нибудь жевать...» (21 ноября 1921 года).

Вместе с тем крымский дневник отражает душевную эволюцию в «обратной прогрессии»: чем сильнее голод и бесчеловечнее исторический контекст (людоедство, исчезновение или убийство соседей: «Треть татарского населения уже вымерла. Вымирают семьями, матери едят своих детей...

<sup>52</sup> Владимир Николаевич Водовозов (1895—1924), племянник Е. И. Булгаковой. Сообщение С. М. Половинкиным.

<sup>53</sup> Об этом подробнее см.: Люблинский С. Б. Подвижники книги: Е. Н. Водовозова, Л. Ф. Пантелеев, А. М. Калмыкова, О. Н. Попова, М. И. Водовозова. М., 1988; *Водовозова М. В. Письмо в Кореиз // Чеховские чтения в Ялте: Чехов сегодня: Современные проблемы чеховедения: Сб. науч. трудов. М., 1987. С. 100—104; Половинкин С. М. Семья свящ. Сергия Булгакова; Галиченко А. А. Старинные усадьбы Крыма. Симферополь, 2010.*

<sup>54</sup> Булгаков С. Н. Константинопольский дневник. С. 153.

Божья Матерь, спаси Россию!..»; 12 марта 1922 года), тем явственнее постепенное этическое преображение автора текста. Сформированное в 1921 году страхом и голодом душевное оцепенение отступает. Еще в конце года Булгакова запишет: «Недавно меня называли „скупой“». Но я никогда прежде не была скупой. Для меня это было, как острый нож. Я плакала. „Боже мой“, думала я, „неужели я так и умру с искаженным моим существом. Ведь это же не есть моя сущность. Господи, неужели же жизнь не изменится, и я не успею до смерти выявить свой подлинный лик?“ Так смиряет меня Господь» (15 ноября 1921 года).

Дневник содержит массу наглядных зарисовок крымского голода. 4 декабря 1921 года: «Дорога утоптана, даже укатана ногами бесчисленных паломников, идущих из окрестных деревень с мешками за спиной в Ялту за хлебом. Между тем пароходы, нагруженные зерном и мукой, неразгруженные уходят в море, п(отому) ч(то) власти не дают требуемой цены, а частным лицам запрещено покупать... Какой ужасный вид — эти пароходы, удаляющиеся с хлебом от голодающей местности, когда почти каждый день кто-нибудь умирает с голоду!! Божья Матерь, пощади, спаси и помилуй!..» Запись того же дня: «...она ⟨няня в семье Булгаковых. — М. В., О. К.⟩ злится, швыряет посуду, ругает в первую голову меня, скоро, наверное, будет выть, как вчера неистово выла из-за того, что нечем кормить Машурку... И всему этому название голод, голод и голод... Голод глядит из провалившихся глаз диаконицы, которая и сегодня пришла на именины тощая, жалкая, желтая, подвязанная какой-то веревкой. Диакон получил место в Аутской церкви, но он находит, что доходов хватает только на него одного и предоставляет жене и пятерым детям умирать с голоду. Голод глядит из лупоглазых, вытаращенных глаз Вари, которая прежде была такая пышная, грудастая, губастая, а теперь уныло жметс к стенке, похожая на корову, которую долго не кормили: кости по-прежнему широкие, а жира и мяса нет, и кожа повисла складками... Призрак голода стоит перед Федей, когда он, придя усталый из таможни, забрасывает меня потеряно-заботливыми вопросами: „Ну что, вы опять голодали? Я вижу по твоему лицу: у тебя, мама, складки под глазами и глаза слезятся. Это от голоду. Хлеба нет?“ — Нет». 12 марта 1922 года Булгакова запишет: «...никаких средств не хватит, чтобы поддерживать более или менее долгое время приют или столовую на сто детей... Цены безумно лезут вверх... Спекулянты откупают вагоны и в пустых вагонах, куда не пускают простых смертных, вывозят остатки картофеля и хлеба, страшно взвинчивая цены. Где те силы, кот⟨орые⟩ могли бы бороться с этим ужасным злом? Голод и спекуляция — они идут рука об руку. Гной просочился внутрь организма России и доходит до ее сердца... Божья Матерь, спаси, спаси Россию!..»

Скорее всего, к началу весны 1922 года Булгакова переживает душевный перелом. Ее острая критика, еще недавно обращенная на окружающих, меняет траекторию — это заметно по дневнику: «19 марта 1922 г(ода). Сегодня в ночь скончалась Любовь Андреевна... Она давно была живым трупом, поедаемым вшами... Но я по отношению к ней не все сделала, и весть об ее кончине поразила мою совесть, как небесный гром... Только сегодня думала я после причастия вторично отнести ей рису и сахару... Так это было бы красиво: „интеллигентная“ матушка в своем белом наряде с елейным лицом после причастия несет пищу умирающей. Но Бог оказался милосерднее нас: он еще раньше позаботился о ней и поспешил прекратить ее страдания».

То же чувство стыда и бессилия испытывает о. Сергей Булгаков в голодную крымскую зиму 1922 года. «У меня темнеет на душе. Наступает для

меня какой-то страшный и жуткий кризис, — со стороны, которой я не ждал, хотя и должен был ждать. Я мечтал о *сладо*сти священства, а пью горькую, отравленную маловерием чашу страдания и бессилия. То, что ежедневно происходит вокруг, непоправимо и непросто» (11 марта 1922 года).<sup>55</sup> Бессилие перед «тьмой, которая окутывает нашу жизнь»,<sup>56</sup> Булгаков в эти годы проецирует и на Православную Церковь. «Собор российский, патриаршество... — все это очень быстро раскрылось в своем бессилии», — напишет он из Крыма своему другу о Павлу Флоренскому.<sup>57</sup> Из ялтинской зимы 1922 года Булгаков выходит, существенно пересмотрев свои взгляды, его увлечение католичеством найдет отражение в ялтинском и константинопольском дневниках, а также в известном тексте «У стен Херсониса» (1922). «Римское искушение», которое о Сергий «пережил в страданные дни своего Крымского сидения под большевиками во время самого первого и разрушительного гонения на Церковь в России»,<sup>58</sup> довольно скоро иссякло, что и нашло отражение в «Пражском дневнике» (1923—1924). Здесь лишь обозначим эту тему, так как она масштабна и не является главной для данной статьи. Между тем — и это крайне показательно для судьбы Булгакова — этапы духовного становления («ряд ступеней»,<sup>59</sup> по его же определению) он преломлял как религиозный философ через историю семьи. Так было с потерей среднего сына Ивашечки (1905—1909), смерть которого решающе повлияла на булгаковское религиозное сознание. Так было и с крымским периодом, завершившимся насильственным разделением семьи накануне эмиграции. «Отъятие» старшего сына Федора, навсегда оставшегося в России, Булгаков воспринял как часть большого крымского испытания. В итоге конфессиональные сомнения, высылка и семейный «раскол» слились в единый пореволюционный опыт. 19 июня (2 июля) 1923 года о Сергий запишет в своем пражском дневнике: «То, что Бог отъял Федю, принимаю как перст Божий, грозящий мне за измену православной церкви, миру незримую, но Богу ведомую».<sup>60</sup> Эта запись отсылает нас к исповедальному нарративу крымского дневника Булгаковой с ее материнской мольбой за детей и за «Федичку». Дошедший до нас текст, при всей отрывочности, фрагментарности, имеет свою непреднамеренную завершенность и циклическую композицию, чем-то и здесь переключаясь с циклическостью «Ялтинского дневника». Рукопись Булгаковой открывает стихотворное посвящение погибшему сыну кореизских друзей,<sup>61</sup> который, судя по всему, был ограблен и убит во время одного из ялтинских рейдов за хлебом, — и завершает стихотворное посвящение сыну Федору, совершавшему точно такие же рейды из Кореиза в Ялту за хлебом для семьи. Это символическое послание от матери к сыну (скорее — молитва в стихах) обретает особый оттенок трагизма, если наложить на условный «финал» разрозненной рукописи исторические реалии. Расставание с сыном хронологически оказывается за пределами дневникового текста. Что значила для семьи эта разлука — можно понять по дневни-

<sup>55</sup> Булгаков С. Н. Ялтинский дневник. С. 93.

<sup>56</sup> Там же. С. 81.

<sup>57</sup> Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Томск, 2001. С. 185.

<sup>58</sup> Булгаков Сергей, прот. Автобиографические заметки. С. 48.

<sup>59</sup> Булгаков С. Н. Константинопольский дневник. С. 137.

<sup>60</sup> Козырев А., Голубкова Н. Прот. С. Булгаков. Из памяти сердца. С. 132.

<sup>61</sup> Установить личность помогает запись Булгакова от 26 сентября 1921 года: «...день этот был омрачен сначала глухою вестью и тревогой о Котике Михайлове, потом стало известно, что найдено тело» (Булгаков С. Н. Ялтинский дневник. С. 81). Речь идет о сыне Константина Александровича Михайлова (1872—1920) и его жены Елены Николаевны (1872—1963), врачей местной кореизской больницы.

ку о. Сергия Булгакова: «...Богу было угодно, чтобы через Федю всегда оставалась открытая рана в сердце, — связь страдания и боли с Россией, чтобы не было забвения, холодности и довольства. Чувствую, что кто-то властно берет меня и обращает лицом туда, к родине, к матери...»<sup>62</sup> Один и тот же сюжет, таким образом, перебегая от дневника к дневнику, обрастает все новыми реалиями и новыми переживаниями. Перед нами — уникальное дневниковое эхо.

\* \* \*

Как авторы дневниковых текстов, и Бунина, и Булгакова хорошо сознавали свое положение свидетельниц истории, постепенного слома прежнего мира. 25 апреля 1922 года Елена Булгакова запишет: «...жили мы в Олеизе десятки лет и не ценили этой красоты, близости моря, свиста дроздино. Теперь, когда мы выгнаны из Олеиза изменившимися условиями, нуждой, голодом, мы возвращаемся туда, как в потерянный рай... (...) И мы теперь приходим в свое родовое имение, в кот(ором) протекла вся наша юность, как *гости*. Мы живем не по праву, а из милости. Нас кто-то должен кормить, кто-то должен о нас заботиться! (...) Как всё меняется! И как еще переменится... А чем это кончится?» 7 января 1922 года Вера Бунина сделала запись: «Мы и очень несчастные, и очень счастливые. Несчастные потому, что на наших глазах разрушился наш мир, ибо, проживши полжизни в прошлом, ушедшем мире, мы не сможем будущий мир, уклад жизни считать своим. А потому мы обречены до гроба испытывать почти всегда тоску по минувшему и ушедшим. Счастливые же мы потому, что нам пришлось увидеть перелом эпохи, что в будущем нам будут завидовать, хотя и не будут в состоянии представить себе наших страданий. И страданий нам выпало столько, что будущие поколения никогда не смогут представить их во всей глубине и силе».<sup>63</sup>

Очевидно, что женский дневник в революционную эпоху становился своеобразным камертоном исторических сломов и сам одновременно трансформировался, менял привычное «жанровое лицо». Дневнику в целом присущи сокровенность интонации, лирическая экспрессия, сосредоточенность на внутреннем мире, эти качества в женском дневнике, как правило, гиперболизированы — потому острее и диссонанс между «своим миром» и описываемым сюжетом — агрессивным, «революционным» вторжением исторической данности в глубоко личную сферу жизни человека. «Повседневную» кардинальным образом влияла и на судьбы, и на «повседневную» специфику женского дневника. В случае же дневниковых текстов Буниной и Булгаковой мы имеем дело также с очень интересной формой бытования дневника как литературного жанра. Их дневниковые записи и хронологически, и сюжетно вступают в «затекстовый» диалог с дневниками своих мужей и тем самым значительно усложняют и меняют присущий дневнику монологический нарратив. Здесь «отдельные голоса», самобытные «языковые личности», объединяясь вокруг одних и тех же событий, выстраивают метатекст, объемное полифоническое пространство, или многогранную призму, через которую мы можем по-новому увидеть и воспринять драматичные события революции 1917 года.

<sup>62</sup> Козырев А., Голубкова Н. Прот. С. Булгаков. Из памяти сердца. С. 132.

<sup>63</sup> РАЛ. MS 1067/374.

## О ГНИЕНИИ КУЛЬТУРНОГО ТЕЛА И СПАСИТЕЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ: Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА\*

Революционные события 1917 года и последующая Гражданская война породили большевистское государство и антибольшевистскую эмиграцию. История взаимоотношений этих двух противоборствующих сил многообразна и сложна. Русская литература и историко-культурная мысль — и в Советской России, и в рассеянии — были не подсобными инструментами в этом противоборстве, но одними из важнейших его факторов. Одним из наиболее ярких примеров практической рефлексии стал опыт кн. Д. П. Святополк-Мирского (1890—1939), историка русской литературы и литературного критика, эмигранта, принявшего решение приехать в СССР в 1932 году и погибшего в ГУЛАГе.<sup>1</sup>

В конце февраля 1932 года, почти точно к пятнадцатилетию Февральской революции, «Литературная газета» опубликовала статью Мирского «История одного освобождения».<sup>2</sup> Публикация стала первым — и двусмысленным — представлением Мирского советской аудитории, причем, как сообщал редакционный комментарий, в качестве «белого эмигранта», «одного из видных представителей так называемого „евразийства”»,<sup>3</sup> о котором, впрочем, советский читатель не имел никакого представления.

Мирский апеллирует к своему опыту, «когда был еще по ту сторону баррикады, в белой армии», но в статье, однако, никак его не детализирует. «Освобождение», о котором он говорит, это «скорее освобождение, чем траур» по умершему евразийству<sup>4</sup> и, что важнее, освобождение интеллектуальное. Важнейшую роль в этом для Мирского сыграл, по его словам, Ленин: «Ленин был моим интеллектуальным освободителем, так как он помог мне увидеть действительность такой, какая она есть, а не такой, какой ее многие хотят видеть или ее воображают».<sup>5</sup>

Михаил Витальевич Ефимов — соискатель Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

\* Благодарю Дж. Смита (Оксфорд), С. Сендеровича (Итака, штат Нью-Йорк), И. П. Смирнова (Констанц) за ряд сделанных ими ценных замечаний.

<sup>1</sup> См. основополагающую работу Дж. Смита: *Smith G. S. D. S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890—1939*. Oxford, 2000.

<sup>2</sup> *Мирский Д.* История одного освобождения // *Литературная газета*. 1932. 29 февр. № 10 (179). С. 2. В редакционном комментарии говорилось, что статья печатается «с сокращениями» и что впервые она была помещена «в прошлом году во французской печати». Имелась в виду публикация: *Mirsky D. S. L'histoire d'une emancipation* // *La Nouvelle Revue Française*. 1931. 1 septembre. Vol. XXXVII. № 216. P. 384—397. См. пер. на англ.: *Mirsky D. S. The Story of a Liberation* // *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature* / Ed. by G. S. Smith. Oakland, 1989. P. 358—367 (*Modern Russian Literature and Culture, Studies and Texts*. Vol. 13).

<sup>3</sup> Ко времени публикации в «Литературной газете» Мирский все еще находился в Великобритании, где жил с 1920 года, но об этом в газете не упоминалось. В СССР Мирский приехал лишь в конце сентября 1932 года.

<sup>4</sup> См.: *Ефимов М. В. Д. П. Святополк-Мирский в газете «Евразия» (1928—1929 гг.): поиск синтеза «авторского канона» русской литературы с евразийской и марксистской идеологиями* // *Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета*. Серия III: Филология. 2015. Вып. 1 (41). С. 39—52.

<sup>5</sup> *Мирский Д.* История одного освобождения. См. специальную работу, в которой интересный нас сюжет рассматривается под другим углом зрения: *Зубарев Д. И.* Князь и вождь (исследование). М., 2015; см.: [http://scepis.net/library/id\\_3720.html](http://scepis.net/library/id_3720.html) (дата обращения: 30.04.2017).

Чтение Ленина, сообщает Мирский, дало ему «возможность окончательно вырасти из <...> умственного отрочества, которое перешло все сроки, положенные для этого природой». «Отрочество» здесь помянуто не зря; в той же статье Мирский писал: «Как и вся буржуазная интеллигенция моего поколения, я с 1907 года испытывал на себе весь гнет идеалистического воспитания». Таким образом, Мирский представляет дело так, что он «освобождался» не только от евразийства, но и от собственного воспитания.

В «Истории одного освобождения» Мирский, не упоминая ни Первую мировую войну (которую прошел боевым офицером), ни обе революции 1917 года, обозначает вехи своего идеологического развития:

- предреволюционный идеализм,
- опыт эмигрантского *ressentiment*'а,
- участие в евразийстве, оказавшегося, по определению Мирского, «прямым преемником российских религиозных философов»,
- обращение к советской литературе попутчиков как отражению «динамичной России»,
- английская забастовка 1926 года (осознание необходимости борьбы с буржуазией),
- чтение пролетарской художественной литературы (в первую очередь — «Разгрома» А. Фадеева),
- работа над биографией Ленина и последующее «освобождение» от всех предшествующих заблуждений.

В своих опубликованных текстах 1920-х годов Мирский в единичных случаях отсылал к своему личному опыту. В «Истории» же он предлагает, по сути, идейную автобиографию. «История одного освобождения» — это и вполне официальный (и публичный) оммаж коллективному советскому сиюзерену, и, вместе с тем, сложно-построенное автометаописание, которое, однако, было бы опрометчиво принимать на веру. Некоторые утверждения Мирского кажутся специально приспособленными для необходимого подтверждения лояльности советскому строю. Эмигранты, современники Мирского, определяли эту статью как «покаянную».<sup>6</sup>

Одним из ключевых в тексте является фрагмент, посвященный Ленину: «Конечно, личность Ленина всех нас (евразийцев. — М. Е.) давно привлекала. Я чувствовал величие этого человека, когда был еще по ту сторону баррикады, в белой армии, по одним его газетным выступлениям, а особенно по его самокритике, которая производила впечатление безграничной смелости и необычайной силы самоуверенности. Но то, что я знал о Ленине, было очень незначительно и взято мною из третьих рук. Облик, который я себе создал, был скорее „интуитивным“ построением, чем историческим образом».

Чуть раньше Мирский говорит о «счастливом случае», когда в августе 1929 года он принял предложение «от одного английского издателя написать биографию Ленина, которое <...> принял, не будучи совершенно знаком с материалом». Советскому читателю не предоставлялось возможности подтвердить или опровергнуть утверждения Мирского. Собственно, такой задачи не ставил, конечно, и сам Мирский.

Предлагаемая Мирским схема неизбежно вызывает вопросы. В области «разрешения политических проблем» евразийцы вместе с Мирским, по его же словам, «побивали все рекорды глупости», а «облик национальной проблемы» представлялся Мирскому «в 1924—26 гг. <...> таким же, каким он нашел свое отражение в советской литературе» (и тут Мирский называет...

<sup>6</sup> Письмо В. Набокова к Г. Струве от 25 апреля 1932 года // Письма В. В. Набокова к Г. П. Струве. Часть вторая (1931—1935) / Публ. Е. Б. Белодубровского и А. А. Долинина; комм. А. А. Долинина // Звезда. 2004. № 4. С. 146.

Пастернака и Бабеля). Может показаться, что Мирский абсурдно смешивает явления разного порядка — идеологию (государственную/классовую), индивидуальную психологию и художественную литературу. Однако это смешение было, скорее всего, осознанно. Собственно, «История одного освобождения» и была призвана продемонстрировать, как первоначальная сословная мотивировка меняется под воздействием слова — сначала слова литературного («Разгром» Фадеева), потом — идеологического (Ленин, М. Покровский, К. Маркс), и, наконец, литература и идеология образуют некий созидательный синтез и творят «нового человека», и этим «новым человеком» и является Мирский.

Мирский говорит об «идеалистическом плене», в котором провел «почти четверть века». Однако решающие события, подготовившие «освобождение», относятся к десяти годам — от пребывания Мирского в белой армии (т. е. 1918—1920 годы) до 1929 года. Мирский, как и абсолютное большинство его современников, пережил русскую революцию как событие катастрофическое. Он был не сторонним наблюдателем, а активным участником Гражданской войны. Его личный опыт требовал рефлексии, каковой, в значительной степени, и стала его публичная деятельность в качестве историка, историка литературы и литературного критика.<sup>7</sup> Попробуем проследить хронологию высказываний Мирского, что послужит своеобразным коррелятом и комментарием к утверждениям 1932 года. Попробуем также прокомментировать утверждение Дж. Смита, крупнейшего специалиста в области изучения наследия критика, о Мирском как «„политическом существе” (пусть наивном)».<sup>8</sup>

В сентябре 1920 года, вскоре после того, как оказался в Европе, Мирский писал своему давнему знакомцу, английскому писателю М. Берингу, говоря о периоде, начиная с 1914 года: «Это были ужасные годы потерь (в феврале 1920-го был убит мой брат, погибли *все* мои друзья, за исключением двоих) и разочарований. Сначала в России, с ее Распутиным, Керенским, большевиками и всеми остальными, а затем и в Европе с ее бесславным Версальским договором, проклятым надувателем Вильсоном, ничтожным трусом Ллойдом Джорджем и предателями-французами».<sup>9</sup>

Отметим, что Мирский, только что покинувший Россию, прошедшую Гражданскую войну, не делает никаких различий между Распутиным, Керенским и большевиками. Для него они — звенья одной цепи, агенты разрушения России, наряду с заслуживающими презрения западными союзниками царской России (и «the Polish dogs» («польскими собаками») впридачу).

Совсем вскоре после письма Берингу Мирский в октябре 1920 года пишет статью, которая впервые представила его европейской публике. Это было написанное по-английски первое (из пяти) «Русское письмо» («A Russian Letter»), опубликованное в авторитетном британском издании «The London Mercury». «Русские письма» были призваны дать английскому читателю картину современного положения русской словесности из первых рук. Это ни в коей мере не политический памфлет, а, скорее, литературная критика (хотя вопрос жанра применительно к работам Мирского все еще

<sup>7</sup> См.: Ефимов М. В. Д. П. Святополк-Мирский: нетипичный эмигрант в нетипичных обстоятельствах // Нансеновские чтения 2012 / Науч. ред. М. Н. Толстой. СПб., 2014. С. 354—366.

<sup>8</sup> Смит Дж. Марина Цветаева и Д. Святополк-Мирский // Смит Дж. Взгляд извне: Статьи о русской поэзии и поэтике. М., 2002. С. 266.

<sup>9</sup> Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи / Сост., подг. текстов, прим. и вступ. статья В. В. Перхина. СПб., 2002. С. 240—241 (пер. И. Н. Герасимовой). В оригинале: Lavroukine N. Maurice Baring and D. S. Mirsky: A Literary Relationship // The Slavonic and East European Review. 1984. January. Vol. 62. № 1. P. 27.

требует особого рассмотрения). Однако даже периферийные (по видимости) отсылки к политическим реалиям позволяют составить представление о «политической внешности» Мирского в 1920 году. Уже во вступительном письме Мирский замечает: «...никоим образом неудивительно обнаружить, что пессимизм и мистицизм доминируют в литературе нации, которая была подвергнута далеко идущему эксперименту наивного и безбожного оптимизма».<sup>10</sup>

Во втором «Письме»<sup>11</sup> Мирский упоминает Учредительное собрание как «несущественный и непривлекательный призрак» («unsubstantial and unpleasing phantom»),<sup>12</sup> в третьем<sup>13</sup> — описывает левых эсеров как революционных романтиков.<sup>14</sup>

Гражданскую войну Мирский характеризует как «крошечный ад, каким тогда была Россия» («the pandemonium that once was Russia»),<sup>15</sup> и, говоря о футуристах, замечает: «В разрушительных теориях мы часто впереди Запада» («In destructive theories we are often in advance of the West»).<sup>16</sup> Политические коннотации здесь явно ощутимы.

Одним из наиболее значительных политически окрашенных высказываний в «Русских письмах» является начало четвертого письма, озаглавленного «Литература большевистской России».<sup>17</sup> Мирский — впервые — говорит о Ленине, причем о Ленине как ораторе,<sup>18</sup> и делает значимое признание: «Я никогда не имел возможности слышать Ленина, но я читал множество его речей и не думаю, что я или, возможно, кто-то еще будет снова их читать ради литературного удовольствия. Они написаны на партийном жаргоне, неприятном и почти непонятном тому, кто не погряз в изучении партийных традиций и съездов. Этот жаргон — погубитель для всей партийной литературы в России, не только большевистской».<sup>19</sup>

<sup>10</sup> Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 25 (пер. Н. К. Шуликина); *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 48. Впервые: *Mirsky D. S. A Russian Letter: Introductory* // *The London Mercury*. 1920. December. Vol. III. № 14. P. 207—209.

<sup>11</sup> *Mirsky D. S. A Russian Letter: The Symbolists — I* // *The London Mercury*. 1921. February. Vol. III. № 16. P. 427—429.

<sup>12</sup> *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 53; Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 29.

<sup>13</sup> *Mirsky D. S. A Russian Letter: The Symbolists — II* // *The London Mercury*. 1921. April. Vol. III. № 18. P. 657—659.

<sup>14</sup> А после «вполне невинного восстания» (1918) — как «своего рода легальную оппозицию (большевикам. — М. Е.), в деле социализма — plus Royalists que le Roy» (Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 34; *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 58). В другом письме этого же цикла Мирский аттестует как «романтических большевиков» Блока, Белого и Ремизова (Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 38; *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 64).

<sup>15</sup> Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 37; *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 62. Впервые: *Mirsky D. S. A Russian Letter: Recent Developments in Poetry. Poetry and Politics* // *The London Mercury*. 1921. August. Vol. IV. № 22. P. 414—418.

<sup>16</sup> Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 37; *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 62.

<sup>17</sup> Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 41—52; *Mirsky D. S. The Literature of Bolshevik Russia* // *The London Mercury*. 1922. January. Vol. V. № 27. P. 276—285.

<sup>18</sup> И сравнивает его с Ламартином — в пользу последнего, поскольку Ленин «заставил толпу сделать то, что они были склонны делать, в то время как Ламартин мог убедить толпу отступить от того, за что она уже принялась» (Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 41—42; *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 68).

<sup>19</sup> Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, рецензии, портреты, некрологи. С. 42; *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 68.



Свидетельство исключительно важное. Во-первых, потому что подтверждает слова в «Истории одного освобождения» о знакомстве с фигурой Ленина еще «в белой армии, по одним его газетным выступлениям». Во-вторых, поскольку фокусируется не на содержании речей Ленина, а на их стиле. В-третьих, потому что стилистический аспект выступлений Ленина Мирский видит не как специфическую черту большевистской риторики, а как общее место российского политического журнализма. В-четвертых, Мирский делает прогноз («едва ли буду читать статьи Ленина в будущем»), который сам же и опровергнет менее чем через десять лет — причем как раз на том же «стилистическом основании», придя к выводу, что сочинения Ленина «наряду с Толстым являются наиболее адекватной прозой на (русском языке. — М. Е.) («together with Tolstoy's, it is the most adequate prose in the language»)).<sup>20</sup>

Последний пункт важен, поскольку позволяет оценить диапазон оценок (в данном случае — Ленина), пройденный Мирским менее чем за десять лет: от «партийного жаргона» до «ровни Толстому». В промежутке между этими двумя крайними точками есть и характеристика Ленина как писателя и оратора, данная Мирским в 1926 году в его знаменитой книге «Contemporary Russian Literature: 1881—1925»: «Из всей большевистской литературы писания Ленина — самое интересное со всех точек зрения. Ленин, безусловно, был великолепным оратором и в речах, и в своих писаниях. Язык его сравнительно свободен от официального жаргона. Изложение ясное. У него есть дар иронии и гениальное умение облекать свои идеи, как и свои повороты и перевороты в политике, в оракулоподобные, запоминающиеся формулировки. Его статьи — статьи человека действия. У него есть ораторский темперамент, но нет литературной культуры, и его речи и статьи не есть литература в том смысле, например, как речи Жореса».<sup>22</sup>

Высказывания Мирского-эмигранта после 1922—1923 годов о современных ему российских политико-социальных реалиях (как печатные, так и приватного, эпистолярного характера) позволяют — для удобства дальнейшего изложения — суммировать их следующим образом:

1) Политика Николая II была бездарна и опасна, потому Февральская революция была неизбежна, но при этом она и ее сторонники оказались бессильными предложить конструктивную альтернативу распавшемуся царскому режиму;

2) Октябрьская революция была попыткой преодоления анархии, порожденной Февралем;

<sup>20</sup> *Mirsky D. S. Lenin. Makers of the Modern Age. Boston: Little, Brown & Co., 1931. P. 27.* В той же книге о Ленине Мирский писал: «Как писатель Ленин ни в коей мере не был „литератором“. Его отношение к своим сочинениям было строго утилитарным. Он не только никогда не писал кроме как для того, чтобы сказать нечто необходимой для дела, он никогда не позволял проникать в свои тексты чему-либо, что ни было жестко необходимо для его аргументов. Во всех двадцати томах собрания сочинений Ленина нет и следа излишней словесности. Нет в них и следа тех бессмысленных журналистских цветистостей, которые портят столь много русской политической журналистики — и не в последнюю очередь работы Плеханова. Суровая прозаичность царит во всем, что написал Ленин. Он был заклятый враг риторики и никогда не упускал случая презрительно обнаружить ее, даже когда речь шла о писаниях его ближайших друзей. Его неприязнь к риторике была неотъемлемой частью его нелюбви к преувеличению, „левой фразе“ и революционной эмфазе. Ленин, быть может, единственный революционный писатель, который ни разу не сказал больше, чем имел в виду» (*Mirsky D. S. Lenin. P. 26—27;* здесь и далее перевод мой, кроме особо оговоренных случаев. — М. Е.).

<sup>21</sup> *Mirsky D. S., prince. Contemporary Russian Literature: 1881—1925. London: George Routledge; New York: Alfred Knopf, 1926.* В последующие сокращенные переиздания книги на английском языке цитируемый далее фрагмент не включался.

<sup>22</sup> *Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зернова. Новосибирск, 2007. С. 726.*

3) Большевики — агрессоры, но их навыки и практические методы управления страной оказались хоть и жестокими, но эффективными;

4) Русская эмиграция оказалась бессильной плодотворно осмыслить опыт революций 1917 года и Гражданской войны (единственное исключение — евразийское движение);

5) Дореволюционное прошлое — в свете происшедшей революционной катастрофы — должно быть преодолено, вне зависимости от персональных политических и этических предпочтений.

В изложении политических взглядов Мирского есть немалая доля условности. Был ли Мирский идеологом по сути, и ощущал ли он себя таким? Сам Мирский в нарочито-сниженном тоне писал о себе в письме 1922 года как о человеке «настолько несерьезном, что бывает евразийцем в четные, и европейцем в нечетные годы», и характеризовал себя как «вообще человека без убеждений, и прирожденного, хотя и не всегда открытого, врага идей вообще».<sup>23</sup> При этом Мирский — до «Истории одного освобождения» (1932) — ни разу публично не обнародовал *своих политических* воззрений, хотя мастерски излагал идеологические взгляды политических деятелей и социальных групп, вне зависимости от сочувствия или антипатии к ним.<sup>24</sup> Необходимо, однако, проследить *логику* взглядов Мирского, а не только констатировать их разницу в разное время. Неизбежный редукционизм подобного занятия очевиден, и важно не забывать, что сам Мирский, вслед высоко ценимому им Герцену, воспринимал историю как творческий процесс, как «стихийную непредопределенную, не поддающуюся вычислению силу»,<sup>25</sup> т. е. отрицал, казалось бы, и индивидуальную телеологию. Впрочем, как увидим позже, Мирский защищал как раз телеологический подход, противопоставляя его пассивному детерминизму.

Несколько месяцев спустя после публикации англоязычных «Русских писем», в июне 1922 года, Мирский пишет свою первую большую статью по-русски — «О современном состоянии русской поэзии».<sup>26</sup> В ней он характеризует революции 1917 года и Ленина в ключе, который заметно отличается от того, что был им предложен английскому читателю. Февральскую революцию Мирский называет «трагической опереттой», а большевистскую — «великой трагедией Октября».<sup>27</sup> Февраль 1917-го оценивается Мирским однозначно негативно: «Именно отсутствие Воли и Разума сделало нашу „бескровную“ бездарной».<sup>28</sup> Мирский постулирует необходимость исторической трагической ответственности. Потому — внешне парадоксально — Мирский исключительно высоко оценивает «Сумерки свободы» Мандельштама, «оду Ленину, которого он прославил за то, за что, кажется, никто другой его не славил: за мужество ответственности».<sup>29</sup>

<sup>23</sup> *Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii, 1922—1931. Birmingham, 1995. P. 23* (пунктуация исправлена).

<sup>24</sup> См., например, статью о Гражданской войне на Украине: Д. П. Святополк-Мирский: историк и исторический публицист / Публ. М. В. Ефимова и О. А. Коростелева; пер. с англ. и вступ. статья М. В. Ефимова; прим. О. А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2014—2015 / Отв. ред. Н. Ф. Гриценко. М., 2015. С. 358—370. Впервые: *Mirsky D. S. The Ukraine // The Quarterly Review. 1923. April. № 239. P. 318—325.*

<sup>25</sup> *Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. С. 338.*

<sup>26</sup> Статья планировалась для публикации в журнале П. Б. Струве, но увидела свет лишь в 1978 году.

<sup>27</sup> *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature. P. 94.*

<sup>28</sup> *Ibid. P. 117.*

<sup>29</sup> *Ibid. P. 110.* И именно поэтому Мирский столь пренебрежительно отзывается о «большевизме Городецкого или (Алексея. — М. Е.) Толстого»: он «стоит ниже моральной оценки и не представляет интереса с точки зрения национальной. Это случайные шатания людей, не знающих ответственности и чуждых трагедии» (*Ibid. P. 94—95*).

Уже в самом конце обширной статьи — в главке, формально посвященной Ирине Одоевцевой — Мирский делает важнейшее утверждение: «Нельзя закрывать глаза на тот факт, что наиболее талантливая и энергичная часть нации стала на сторону разрушения и разложения; что единственный гениальный человек действия действует исключительно в интересах гибели и смерти, что вне коммунистической партии, систематически зиждущей экономическую смерть и моральное уничтожение, нет ни одной группы людей, способных к действию и объединенных общностью положительных задач, что мы все преклоняемся перед властью стихии и на разные лады повторяем „князь-Георгий-Львовское“ „здоровый смысл народа возьмет свое“, только подставляя на место народа то „историю“, то „реальные экономические силы“. В политике мы все или бездарны, или зловредны, и мы правы, в плане политическом, если мы строим наши расчеты в надежде на одного только Николая Чудотворца».<sup>30</sup>

Аттестация Ленина в 1922 году как «единственного гениального человека действия» в неопубликованной русскоязычной статье будет для Мирского принципиально важной. Он вернется к ней — и усилит ее — несколько лет спустя, в 1926 году, в англоязычной статье в «The London Mercury»: «...Ленин был великим человеком, быть может, величайшим человеком действия за последние пятьдесят лет, чего не будет отрицать ни один разумный человек».<sup>31</sup>

«Бездарность или зловредность» в тексте 1922 года, в свою очередь, кажется, являются парафразом знаменитого вопроса П. Н. Миллюкова в его думской речи 1 ноября 1916 года: «Что это — глупость или измена?» Мирский, однако, предлагает некий выход помимо «расчета на Николая Чудотворца»: «Мандельштам сказал: „Классицизм — поэзия Революции“».<sup>32</sup> И, если под Революцией понимают то, что начал Петр Великий, в этом есть доля истины. Классицизм — поэзия активная, поэзия Воли и Разума, искусство телеологическое, в противоположность пассивному детерминистскому искусству, Романтизму. (...) присутствием их (Воли и Разума. — М. Е.), если суждено нам победить, мы победим».<sup>33</sup>

Здесь обращает на себя внимание принципиальное смешение Мирским нескольких планов — мировоззренческого, литературного и идеологического. Возможная «победа», о которой говорит Мирский, это и «торжество классицизма», и «дело Петра Великого», и победа телеологии над детерминизмом, и преодоление интеллигентско-обывательского конформизма. При этом показательным образом Мирский никак не уточняет, какую победу он имеет в виду — победу над литературными ретроградными или некую политическую победу? В одном и том же тексте Мирский употребляет местоимение «мы» в прямо противоположных контекстах: «мы — бездарны и зловредны в политике», «мы все преклоняемся перед властью стихии» и тут же — «мы победим», под знаменем Воли и Разума. «Мы» здесь можно интерпретировать как некий сплав, включающий в себя сверстников автора, разделивших его предреволюционный и эмигрантский опыт, в диапазоне от столичной петербургской интеллигенции до кадровых военных (с учетом того, что Мирский принадлежал обоим группам).

<sup>30</sup> Ibid. P. 115.

<sup>31</sup> *Mirsky D. S. Recent Foreign Books* (M. Praz. Poeti inglesi dell' Ottocento. Firenze, 1925; M. Praz. La Fortuna di Byron in Inghilterra. Firenze, 1925; G. Prezzolini. La Culture italienne. Trad. G. Bourgin. Paris, 1925; M. Gorki. Lénine et le paysan russe. Trad. M. Dumesnil de Gramont. Paris, 1925; A. Germain. De Proust à Dada. Paris, 1924; J. Romains. Le Mariage de Le Trouhadec La Scintillante. Paris, 1925) // *The London Mercury*. 1925. № 13. P. 444.

<sup>32</sup> Неточная цитата из «Слова и культуры» О. Мандельштама: «Классическая поэзия — поэзия революции».

<sup>33</sup> *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature*. P. 117.

Определение Ленина — «единственный гениальный человек действия, действующий исключительно в интересах гибели и смерти» — демонстрирует амбивалентное отношение к нему Мирского. «Человек действия» — это и есть «политическая телеология», двигаемая Волей и Разумом, чаемая Мирским. Ленин, таким образом, оказывается воплощенным идеалом Мирского, «за вычетом» его «интересов».

Однако дело, как представляется, не только в политических маркерах. В следующем, 1923 году Мирский опубликовал большую статью о Пушкине,<sup>34</sup> в которой среди утраченных XIX веком пушкинских достоинств называет «разум и здравомыслие, мужественную силу» и «ярко очерченную страстность», а мировоззрение Пушкина описывается как «чрезвычайно трагическое современное представление о жизни, практически единственный разумный нерелигиозный взгляд на жизнь».<sup>35</sup> Мирский видит Пушкина в категориях античного мировосприятия: «Подлинно классическая черта — приближение к греческому пониманию Рока».<sup>36</sup> Пушкин в статье 1923 года, по сути, является персонафицированным воплощением идеала статьи 1922 года, «классицизма — поэзии активной, поэзии Воли и Разума», чьим современным образцом Мирский считал Мандельштама, прославившего именно Ленина «за мужество ответственности». Таким образом, Мирский создает своеобразную амальгаму из «трагической ответственности», Пушкина, «Воли и Разума» и Ленина. Связка «Ленин — Пушкин» не была для Мирского мимолетной оговоркой 1922—1923 годов. В книге о Ленине (1931) Мирский писал, что из всех русских классиков Ленин предпочитал Пушкина, Некрасова и Толстого, причем Пушкина — «за здравомыслие и трезвый гуманизм» («...sanity and sober humanism»). При этом, добавляет Мирский, Ленин «не имел вкуса к „левому крылу“ литературы и искусства и предпочитал Пушкина коммунистической поэзии футуриста Маяковского».<sup>37</sup>

Уже в 1922—1923 годах в текстах Мирского вполне различим акцент: первичным злом 1917 года был Февраль; Ленин — агент злой воли, но у его противников (и либералов, и социалистов, и правых) политической воли нет вовсе, потому нужно считаться с той волей, которая реально существует, а не гипотетически могла бы быть. Потому совсем не случайно в 1923 году он напишет: «То, что было сделано большевиками созидательного, было сделано после того, как они расстались с обществом левых социалистов-революционеров. Можно по-разному оценивать эту созидательную работу, но несомненно, что большевики, по крайней мере, оказались большими государственниками, чем люди 1917 года <...> Если деятельность Временного правительства в 1917 г. была чисто разлагающая, то в Ленине и Троцком был, по крайней мере, намек на что-то, напоминающее строительство. Многие подлинные патриоты, находившиеся на советской территории, — например, генерал Брусилов поддержали большевиков на чисто патриотических основаниях».<sup>38</sup>

Речь здесь не идет о какой-либо идеализации Мирским большевиков в 1923 году.<sup>39</sup> Сочувственные публикации Мирского начала 1920-х годов, по-

<sup>34</sup> *Mirsky D. S. Pushkin // The Slavonic Review. 1923. June. Vol. 2. № 4. P. 71—84.*

<sup>35</sup> *Мирский Д.* О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937 / Сост., подг. текстов, комм., материалы к библиографии О. А. Коростелева и М. В. Ефимова; вступ. статья Дж. Смита. М., 2014. С. 60, 64.

<sup>36</sup> Там же. С. 65.

<sup>37</sup> *Mirsky D. S. Lenin. P. 26, 27.*

<sup>38</sup> Д. П. Святополк-Мирский: историк и исторический публицист. С. 346, 347. Впервые: *Mirsky D. S. Russian Post-Revolutionary Nationalism // The Contemporary Review. 1923. № 124. P. 191—198.*

<sup>39</sup> В 1926 году в книге «Contemporary Russian Literature: 1881—1925» Мирский писал о жизни в Советской России в 1918—1921 годах: «...резкое усиление абсолютной монополии госу-

священные евразийскому движению, вполне определенны в этом отношении. Например: «Они (евразийцы. — М. Е.) безоговорочно враждебны большевизму и твердо убеждены, что адресованное миру послание России будет „отвержением социализма и утверждением Церкви”». <sup>40</sup> При этом Мирский определенно скептичен по отношению к сменовеховцам, видя в их строе мыслей «глубокое идолопоклонство, глубокий фетишизм по отношению к самой идее государства и империи». <sup>41</sup>

Мирский последовательно проводит тезис, впервые изложенный им еще в 1921 году: «...необходимо отметить, что от почтенных ветеранов интеллигенции, ничему не научившихся и ничего не забывших, <sup>42</sup> до ветеранов, собравшихся вокруг „Современных Записок” в Париже и других зарубежных изданий, откровения ждать не приходится. Если новое слово будет сказано русскими, можно быть уверенными, что придет оно не от патриархов Парижа или Берлина, а от новых поколений, ныне подрастающих, которые очищены в огне многих чистилищ в России и смыли всю пену девятнадцатого века». <sup>43</sup>

В 1921 году Мирский заключал, что «новые поколения» еще «не заставили себя слышать», <sup>44</sup> потому вектор его высказываний в значительной степени направлен против существующих «ветеранов» — в чаянии некоего будущего. Мирский настойчиво повторяет (в 1926 году): «Дело не в большевиках. В дореволюционной культуре нечего сохранять, или, точнее, в предреволюционной. Это не значит, что мы должны отречься от „интеллигентского” периода нашей истории или забыть о нем. Наоборот, сильные его примером, положительным и отрицательным, мы должны уходить от него, не забывая о нем». <sup>45</sup>

Важнейшим — и, быть может, наиболее значительным — высказыванием Мирского являются слова из цитированного диалога «О консерватизме» (и чрезвычайно показательным, что для формулирования своих воззрений Мирский выбирает диалогическую, а не монологически-декларативную форму): «Реставрации не бывает ни в политике, ни в культуре. Новое должно быть новое, а не подогретое вчерашнее. Оно должно быть революционным, должно смотреть вперед, а не назад. Правда, оно иногда надевает маску, стилизованную под старое. Но это только маска. (...) Мы должны делать революцию.

— „Углублять?”

дарства в соединении с повсеместным политическим (и экономическим) террором и полное разрушение железнодорожного сообщения сделали жизнь в городах Советской России, особенно в Петербурге, такой неопишимо ужасной, что попытки просто пересказать факты наталкиваются на естественное недоверие — кажется невозможным, что человек мог прожить три-четыре года в таком непрекращающемся кошмаре» (*Святополк-Мирский Д. II. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. С. 731*).

<sup>40</sup> Д. П. Святополк-Мирский: историк и исторический публицист. С. 342. Впервые: [S. s.] A «Eurasian» Manifesto. The Exodus toward the East («Iskhod k Vostoku»). Articles by Peter Savitski, P. Suvchinsky, Prince N. S. Troubetzkoy, and George Florovsky. (Sofija) // The Times Literary Supplement. 1922. 1 June. P. 350.

<sup>41</sup> Д. П. Святополк-Мирский: историк и исторический публицист. С. 347.

<sup>42</sup> Ср. в «Истории одного освобождения»: «Подобно Бурбонам, русская эмиграция принадлежит к числу тех, кто ничего не забыл и ничему не научился» (*Мирский Д. История одного освобождения. С. 2*).

<sup>43</sup> *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature. P. 68. Впервые: Mirsky D. S. A Russian Letter: Recent Developments in Poetry. Poetry and Politics // The London Mercury. 1921. August. Vol. IV. № 22. P. 414—418.*

<sup>44</sup> *Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature. P. 68.*

<sup>45</sup> *Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 146. Впервые: Святополк-Мирский Д., кн. О консерватизме. Диалог // Благонамеренный. 1926. Март—апрель. № 2. С. 87—93.*

— Не углублять, а возвышать. Строить на революции. Содержание революции — если у нас есть свое содержание — мы не должны принимать, обязаны отвергнуть. Но ее динамическую форму мы должны наполнить своим содержанием. „Мы”, конечно, это не непременно мы с Вами, а все те русские люди, которые не отравлены трупным ядом и любят будущее.

— Это звучит очень хорошо. Но в нашей революции так много гнилого, так много... уж сказал бы слово, да не напечатают!

— Неужели Вы никогда не слыхали о применении навоза в сельском хозяйстве?»<sup>46</sup>

Слова о гниющей материи, становящейся удобрением для будущих поколений, могут показаться шуткой сомнительного вкуса,<sup>47</sup> но в них заключен один из важнейших тезисов Мирского, точнее — одна из наиболее значимых для Мирского метафор.

В своем знаменитом выступлении (1926) и последующей статье (1927)<sup>48</sup> «Веяние смерти в предреволюционной литературе» Мирский писал о «смерти исторической, смерти культурной формации, культурного тела» в период 1894—1917 годов. Предчувствие смерти, проявленное в русской литературе, «было не причиной, конечно, а симптомом предсмертного разложения петербургской России». <sup>49</sup> Русская культура заражена гниением, причем гниение не исключает персонального таланта: «Не было ни одного <...> жильца («верхнего этажа» русской культуры. — М. Е.), не зараженного этим гниением. Гениальнейший из людей своего времени, Розанов, был насквозь проникнут им». <sup>50</sup>

Смерть культурного тела, тела национальной культуры — это всегда гниение. Еще в 1922 году, сравнивая Великобританию и Германию, Мирский заметил: «Англия много здоровей. Если хотите, Англия сохнет и отмирает, но Германия гниет». <sup>51</sup> Исключительно высоко ценимый Мирским «Суходол» Бунина<sup>52</sup> определялся им в 1926 году как «страшный, убедительный, гнетуще-неизбежимый эпос о гниении и умирании уездного дворянства», <sup>53</sup> а в «Веянии смерти» (1927) Бунин характеризовался «необыкновенно острым историческим чувством гниения и разложения всего старого уклада русской жизни». <sup>54</sup> В 1926 году Мирский описал «Полых людей» Т. С. Элиота как «вещь гениальную по концентрированности чувства смерти, гниения и импотентности послевоенной Европы, и действительно очень большой художественно». <sup>55</sup> В конце 1928 года, призывая П. П. Сувчинского идти на

<sup>46</sup> Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 147.

<sup>47</sup> Например, М. А. Арцыбашев был крайне резок в своей оценке остроты Мирского: «Разложение не может быть ничем иным как разложением. <...> Великолепно! Но, вероятно, благодаря своей громкой фамилии Святополк-Мирский имеет слабое представление о сельском хозяйстве. Иначе бы он знал, что навоз есть продукт распада и роль его заключается в том, чтобы, сгнив до конца, удобрить почву. И только. Но из самого навоза, как такового, никакой новой культуры построить нельзя. <...> Ошибка всех „приемлющих революцию” заключается именно в том, что в навозе они уже ищут хлеба. Хлеба, конечно, не находят, а вымазываются в навозной жиже по уши» (Там же. С. 446. Впервые: Арцыбашев М. Литературные заметки: Большевицкий «ренессанс» // За свободу! 1926. 15—16 мая. № 110 (1841). С. 5).

<sup>48</sup> Святополк-Мирский Д., кн. Веяние смерти в предреволюционной литературе // Версты. 1927. № 2. С. 247—254.

<sup>49</sup> Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 159.

<sup>50</sup> Там же. С. 162.

<sup>51</sup> Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. P. 19.

<sup>52</sup> См.: Ефимов М. В. К рецепции творчества И. А. Бунина в эмиграции: Д. П. Святополк-Мирский // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2011. Т. 70. № 6. С. 44—57.

<sup>53</sup> Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 143.

<sup>54</sup> Там же. С. 161.

<sup>55</sup> Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. P. 52. Важно отметить, что историческая интуиция, по Мирскому, изоморфна выразительным средствам, в которых она выражается.

разрыв с основоположниками евразийства, П. Н. Савицким и Н. С. Трубецким, Мирский категорично утверждал: «Понимаю, что этот разрыв будет для тебя болезнен, но он необходим, иначе Евразийство обречено на гниение заживо. (Достаточно того, что мы все разлагаемся каждый индивидуально.)»<sup>56</sup>

Слова об «индивидуальном разложении» позволяют уловить в высказывании о разложении предреволюционной России и послевоенной Европы личную интонацию.<sup>57</sup> Мирский, как и прежде, никак не расшифровывает смысла метафоры гниения. Допустимо, как представляется, предположить, что для Мирского гниение — это бесплодный распад, смерть без воскресения, т. е. нечто противоположное тому, что было тематизировано В. Ходасевичем в стихотворении «Путем зерна» (1917): «в заветный срок» умирает и прорастает зерно, душа поэта, «моя страна и ты, ее народ».<sup>58</sup> Параллель с текстом Ходасевича уместна и потому, что Ходасевич подчеркивает естественность и предзаданность «пути зерна»: «...по ровным бороздам / Отец и дед по тем же шли путям». Мирский едва ли не заметил сходства топики Ходасевича со своей собственной: свою единственную книгу стихов (1910) Мирский завершил стихотворением «Наш род» со следующей концовкой:

«...И вот встает все выше, горделивей,  
Мужая в благодатном летнем блеске,  
Чтоб в осень дней легко и величаво  
Рассыпаться по плодородной ниве».<sup>59</sup>

Мирский, таким образом, в юношеском стихотворении предсказывает тот «путь зерна», который Ходасевич прозревал в революционном 1917 году.

В пореволюционной реальности середины 1920-х годов, однако, Мирский видит — индивидуально, по крайней мере — не «плодородную ниву», а рассадник гниения. Как же возможно это гниение и разложение остановить? и возможно ли? В финале «Веяния смерти» Мирский сделал знаменитое заявление об «освобождающем обеднении», включающем в себя и революцию 1917 года, и «новую тональность русской литературы», связанную с формализмом, футуризмом и акмеизмом: «Смысл всех трех был в ампутации духа, настолько охваченного гниением, что исцелить его было уже невозможно. Но *ferrum sanat*, и для спасения организма гниющий дух был вылуцен».<sup>60</sup> Эта операция, может быть, нас и не спасла, но без нее спастись нам было невозможно. (Так и сама революция была кризис, за которым может следовать или смерть, или выздоровление, но без которого выздоровление невозможно.) Поэтому и поэзия Маяковского, с ее презрением ко всем „вышшим ценностям“, и нигилистический формализм Шкловского, и даже „материализм“ комсомола имеют свою целебную ценность, так как отсекают от

<sup>56</sup> Ibid. P. 115.

<sup>57</sup> Любопытна реакция П. Б. Струве на 2-ю книгу «Верст», где было опубликовано «Веяние смерти»: «Это неглупый и небездарный человек, с недурным историко-филологическим образованием (...) не то возмечтал о себе, не то свихнулся и стал — на глазах всего честного народа За рубежом — объедаться большевицкой гнилью и угощать ею других, приплясывая и притоптывая» (Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 18. Впервые: Струве П. Отвратная ненужность // Русская мысль. 1927. № 1. С. 62—63).

<sup>58</sup> Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 2009. Т. 1: Полн. собр. стихотворений / Сост., комм. Дж. Малмстада и Р. Хьюза; вступ. статья Дж. Малмстада. М., 2009. С. 85.

<sup>59</sup> Мирский Д. С. Стихотворения. Статьи о русской поэзии / Compiled and ed. by G. K. Perkins and G. S. Smith. Oakland, 1997. P. 78.

<sup>60</sup> Ю. И. Айхенвальд в своей рецензии отозвался на эти слова следующим образом: «...как можно ампутировать дух? какой оператор решится на это? (...) вылуценный дух!..» (Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 456. Впервые: Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. 1927. 26 янв. № 1871. С. 2—3).

нас зараженный член. Конечно, ни формализм, ни материализм положительной ценности не составляют. Но уже стала возможной и уже зародилась новая фаза русского духа. История не считается с хронологией, и фаза эта, которую для краткости я назову „возрождением героического“, началась до революции в (еще недооцененном) творчестве Гумилева. В самой совершенной форме оно видно в творчестве лучших из молодых поэтов, Пастернака и Цветаевой, но в большей или меньшей мере оно выпирает из многих молодых писателей, работающих в России». <sup>61</sup>

В постскриптуме к «Веянию смерти» Мирский объяснял, что русские символисты до 1917 года, «лучшие люди своего поколения» (Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, З. Гиппиус, А. Блок, Андрей Белый), должны почитаться, поскольку их болезнь — «...это наши грехи, которые они приняли на себя как крест. Если бы они не были в такой мере заражены гниением своего времени, они бы не исполнили перед Россией возложенного на них историей подвига искупления. Именно потому, что они так явно, героически переболели нашей проказой, мы теперь можем надеяться на исцеление и уж предвидеть его срок». <sup>62</sup>

Здесь, сколько можно заметить, наступает (непреднамеренный?) конфликт метафор. Сначала Мирский говорит о «смерти культурного тела», потом — о его же, тела, гниении и разложении, потом — уже не о теле, но о духе, охваченном гниением, потом — об ампутации этого духа (но кто в таком случае является обладателем этого духа? не то ли «культурное тело», которое все же умерло?). Потом место «смерти культурного тела» заступает «проказа», от которой, переболев, можно исцелиться (или: «можем надеяться на исцеление»), и «ампутация», имеющая «свою целебную ценность». «Духу, охваченному гниением», наследует «новая фаза русского духа». При этом новая фаза имеет два несвязанных между собой течения: «ампутация» и «возрождение героического» начала. Маяковский, Шкловский и комсомол хороши тем, что выполняют трудную работу «ампутации зараженного члена», но будущее принадлежит не им, а поэзии Гумилева, Пастернака, Цветаевой и «молодым писателям» в России.

Мирский 1927 года чаёт «выздоровления». Революция положила конец предшествующей эпохе («Реставрации не бывает ни в политике, ни в культуре»). Новая фаза, однако, это — «возрождение героического», а не его рождение (при том, что «новое должно быть новое, а не подогретое вчерашнее»), и Мирский не уточняет, что он под этим «возрождением» понимает, равно как — в очередной раз — оставляет непроясненным, о чем идет речь — о советской государственной идеологии, о надеждах на обновление идеологии оставшейся в Советском Союзе интеллигенции, о политических чаяниях «прогрессивной» части эмиграции или о художественном творчестве.

Чуть раньше «Веяния смерти», в 1925 году, в статье, посвященной столетию восстания декабристов, <sup>63</sup> Мирский задается вопросом: «Что бы сказали сами декабристы, окажись они в состоянии наблюдать сегодняшнюю Россию?» И делает важное утверждение, которое не без оснований можно счесть автоописательным: «Значимое меньшинство, включая (убежден в этом) лучших — Рылеева, Якушкина, Батенькова, — сплотилось бы вокруг республиканцев, также презирающих нынешних правителей России, но не снисходящих до сожаления о прошлом». <sup>64</sup>

<sup>61</sup> Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 163.

<sup>62</sup> Там же.

<sup>63</sup> *Mirsky D. S. The Decembrists (14 (26) December, 1825) // The Slavonic Review. 1925. Vol. 4. № 11. P. 400—404.*

<sup>64</sup> Д. П. Святополк-Мирский: историк и исторический публицист. С. 354.



Мирский не имеет в виду эмигрантский истеблишмент, политиков-републиканцев (кадетов и эсеров), к которым относился с нескрываемым презрением.<sup>65</sup> Но в таком случае — кого? Слова о «значимом и лучшем меньшинстве» позволяют предположить, что Мирский имеет в виду себя<sup>66</sup> и — на тот момент — евразийцев. Если такая гипотеза правомочна, то «презрение к нынешним правителям России» «без сожаления о прошлом» — это позиция самого Мирского в 1925 году.

Два года спустя, в 1927 году, в статье, посвященной евразийскому движению и опубликованной в главном британском славистическом издании «The Slavonic Review»,<sup>67</sup> Мирский, говоря о том, «чего недостает русским интеллектуалам „после 1917 года“», вновь обращается к своему излюбленному тезису о динамической форме большевиков и динамическом (в данном случае — евразийском) содержании: «...это не поза неуязвимой гражданской добродетели в духе Катона, а мышление, способное быть творчески оплодотворенным самим ходом истории. Некоторые представители дореволюционных партий, в особенности из числа коммунистов, оказались способны к этому, и — по крайней мере, в практической деятельности — доказали своими поступками наличие здравого реалистического мировоззрения. Но эта деятельность остается связанной с застывшей теорией, и вытекающее из этого противоречие между теорией и практикой неизбежно ведет их к политике, внешне напоминающей беспринципный оппортунизм. Долг пересмотреть запас политических и исторических идей русских интеллектуалов был до настоящего времени исполнен лишь одной группой — евразийцами».<sup>68</sup>

И хотя в январе 1928 года<sup>69</sup> Мирский еще будет публично утверждать, что к русской революции (которую он называет «Великой Русской Революцией») «у всякого из нас отношение (...) двойное, „амбивалентное“, отношение ненависти и любви, притягивания и отталкивания, и притягивания тем сильнее, чем сильнее соответное ему отталкивание»,<sup>70</sup> почти в то же самое время, в декабре 1927 года, он напишет своему ближайшему другу, П. Сувчинскому: «Конечно, психоз и безумие были в начале 17 г., и октябрь был шагом к отрезвлению».<sup>71</sup>

Октябрь 1917-го — это «шаг к отрезвлению», но отрезвление превращается в оппортунизм. «Хорошее дело» («отрезвление», «здравый реализм») портится «застывшей теорией» (большевиков). Потому-то единственные, кому удалось совмещать «реализм» (который Мирский, что весьма показательно, никак не расшифровывает) и «хорошую теорию» — это, в 1927 году, евразийцы, но и они, как обнаруживает Мирский в 1928—1929 годах «отрываются от жизни» (Мирский будет называть это также «отрывом от

<sup>65</sup> См., например: *Святополк-Мирский Д., кн. «Современные записки» (I—XXVI, Париж 1920—1925 гг.)*. «Воля России» (1922, 1925, 1926 гг. № I—II. Прага) // Версты. 1926. № 1. С. 206—210. См. также позднейшие (1928) слова в письме к Сувчинскому о М. Вишняке: «...любопытна (...) психология этого человека, так объективно рассказывающего об убожестве У(чредительного) С(обрания), и потом распинающегося за это убожество» (*Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii*. P. 100).

<sup>66</sup> Антимонархизм Мирского известен. См., например, крайне жесткие оценки деятельности Николая II и императрицы Александры Федоровны: *Mirsky D. S., prince. A History of Russia*. London: Ernest Benn, 1927. P. 75. Хорошо известны также острокритические оценки Николая II, данные родителями Мирского — кн. П. Д. Святополк-Мирским, министром внутренних дел в 1904—1905 годах, и кн. Е. А. Святополк-Мирской (см.: [Святополк-Мирская Е. А.] Дневник кн. Е. А. Святополк-Мирской за 1904—1905 гг. // Исторические записки. М., 1965. Т. 77).

<sup>67</sup> *Mirsky D. S. The Eurasian Movement // The Slavonic Review*. 1927. December. Vol. 6. № 17. P. 311—320.

<sup>68</sup> Д. П. Святополк-Мирский: историк и исторический публицист. С. 374.

<sup>69</sup> *Святополк-Мирский Д., кн. Критические заметки* // Версты. 1928. № 3. С. 155—160.

<sup>70</sup> *Мирский Д.* О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922—1937. С. 183—184.

<sup>71</sup> *Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii*. P. 96.

масс»). Потому-то в марте 1929 года Мирский с несвойственной ему горячностью писал Сувчинскому: «...что мы делаем? и чего хотим? Дело не в содержании Евразийства, а в пути его прикосновения с жизнью. Ждем ли мы власти? воспитываем ли новое поколение? занимаемся ли за других общеполезной проблематикой? стремимся ли влиять на Сталина?»<sup>72</sup>

Последний вопрос может показаться совершенно фантастическим, но Мирский не случайно до того говорил о «долге интеллектуала» «пересмотреть запас политических и исторических идей». «Прикосновение к жизни», по Мирскому, возможно только в России. «Динамическую форму» большевистской революции должно «наполнить своим содержанием» (диалог «О консерватизме»). Именно это Мирский и предполагал сделать — в союзе с Сувчинским и с теми «русскими людьми, которые любят будущее» (потому и русскую эмиграцию Мирский воспринимал — не только в 1932-м, но и в 1922 году — как совершенно бесплодную, питающуюся «подогретым вчерашним»). Вероятно, именно в этом ключе Мирский видел свое внешнее сходство с Лениным, о чем говорил с гордостью своему лондонскому коллеге Янко Лаврину.<sup>73</sup>

Вышеизложенное, казалось бы, представляет Мирского в качестве некоего политического журналиста с нереализованной амбицией быть политическим деятелем. Определенные основания для подобного восприятия есть, однако необходимо учитывать одно обстоятельство, и важнейшее: Мирский был не человеком политики,<sup>74</sup> а человеком литературы. Потому внешне парадоксально, но, по сути, совершенно естественно, что Мирский воспринимал любую реальность (историческую, современную) литературоцентрично. Потому Мирский несколько не лукавил, когда настаивал в «Истории одного освобождения», что важнейшую роль в его повороте к СССР сыграла именно литература. Профессиональный историк и боевой офицер, он, тем не менее, считал *литературный* текст адекватным и законным инструментом для понимания современных реалий Советской России. При этом Мирский, вопреки своему пресловутому эстетизму, настаивал на том, что «прикосновение к жизни», в конечном счете, важнее эстетических достоинств, даже при всех его, Мирского, личных предпочтениях. В 1931 году<sup>75</sup> он высказался на этот счет совершенно недвусмысленно: «Хотя ни одно из произведений пролетарских писателей не находится на том же литературном уровне, что и лучшие произведения Пастернака, Бабеля или Маяковского, для любого, кто обладает чувством истории, очевидно, что пролетарии — живая сила, а все остальные — мертвая».<sup>76</sup>

Неслучайно тексты Мирского, имеющие дело с социально-политической реальностью, это, по сути, визионерские высказывания, и потому они тотально-метафоричны и принципиально несводимы к какому-либо жанру литературно-критической или политико-обозревательской работы. Мирский прокламирует в них не новую эстетику, а новую социальную антропологию.

<sup>72</sup> Ibid. P. 122.

<sup>73</sup> Smith G. S. D. S. Mirsky: A Russian-English Life. P. 209.

<sup>74</sup> Принципиально важно, что Мирский происходил из семей князей Святополк-Мирских и графов Бобринских, в течение многих поколений занимавших высокие государственные и военные посты.

<sup>75</sup> В статье «Books and Films in Russia» (The Yale Review. 1931. Vol. XX. № 3. P. 472—487).

<sup>76</sup> Mirsky D. S. Uncollected writings on Russian Literature. P. 324. Ср. в статье «Две смерти: 1837—1930», написанной по случаю смерти В. Маяковского: «Вопреки упадочно-буржуазному культу „культурных ценностей“ художественное творчество ни в какой мере не является показателем ценности или силы данной социальной группы в данное время. Наоборот, скорее можно утверждать, что художественное творчество, являясь результатом внутренней травмы, ценно прямо пропорционально количеству социальной энергии, ни находящей себе приложения в действии» (Мирский Д. С. Стихотворения. Статьи о русской поэзии. P. 133).

Неслучайно и то, что в конце 1920-х годов Мирский делает попытку из историко-литературного дискурса «уйти в историю», в прямом и переносном смысле.<sup>77</sup> Мирский был комментатором и систематизатором чужих литературных текстов, ныне он намеревался стать актором, лицом, творящим историю. Ленин «помог» Мирскому «увидеть действительность такой, какой она есть, а не такой, какой ее многие хотят видеть или ее воображают» («История одного освобождения»). Это, по сути, и есть отказ не только от реальности художественного творчества, но и вообще от всякого интеллектуального опосредования. При этом характерно, что «помощник»-Ленин (с притяжательным «мой», создающим некую иллюзию личного общения<sup>78</sup>) был для Мирского такой же опосредующей инстанцией. В этом смысле нет никакой разницы между «литературой Бабеля и Пастернака» и «литературой Ленина»: и та, и другая были для Мирского «способом познания действительности». В качестве идеолога Мирский был в точном смысле *книжным человеком*.

Мирский выбрал «живую силу» и посредника — по-прежнему литературного, Максима Горького, о котором сам же в октябре 1929 года написал, что «всё, создав(ав)шееся по инициативе Горького, было всегда поражено бесплодием».<sup>79</sup> Агентом «жизни» оказывался «порождающий бесплодие».

Мирский признавался тому же Горькому в конце 1930 года, что им движет «не советский патриотизм, а ненависть к буржуазии международной и вера в социальную революцию всеобщую» и что он «совсем не хочет быть советским обывателем, а хочет быть работником ленинизма. Коммунизм мне дороже СССР».<sup>80</sup> Потому еще в Лондоне в 1929 году Мирский категорически настаивал, чтобы в его статье фигурировала «Советская Евразия», а не «Советская Россия».<sup>81</sup> национализм евразийцев представлялся ему коренным образом ошибочным. И сам евразийский историко-идейный проект Мирский мыслил как некую сверх-национальную модернизаторскую тотальность. В этом смысле Мирский — фигура переходная между интеллектуалами 1920-х годов, «нищими наследниками» мировой войны и русской революции, и интеллектуалами-тоталитаристами 1930-х годов. Однако то «идеологическое творчество»,<sup>82</sup> которого в 1931 году жаждал Мирский, было иллюзией: проект «мировой революции» уже был свернут Сталиным.

<sup>77</sup> Формально это было связано с возможностью получения постоянной работы в США. В январе 1930 года Мирский подчеркивал в письме к М. Флоринскому: «...специальность моя не литература, а история» (*Smith G. S. The Correspondence of D. S. Mirsky and Michael Florinsky, 1925—32 // Slavonic and East European Review. 1994. Vol. 72. № 1. P. 133*).

<sup>78</sup> В «Истории одного освобождения» Мирский отметил в специальном примечании: «...сами произведения Ленина дали мне возможность приобщиться к его мысли и личности. Но я должен отметить, что наиболее полному их пониманию способствовали две совершенно замечательные книги: „Основы ленинизма“ Сталина, которые являются мастерским изложением мыслей учителя его самым великим и лучшим учеником, и „Воспоминания“ Н. К. Крупской» (*Мирский Д. История одного освобождения. С. 2*). Статья заканчивается многозначительно: «Через Ленина я приобщился к Марксу». То есть, признавая Сталина «самым великим и лучшим учеником» Ленина, Мирский приобщается не к ученику («сыну») Ленина, а к идейному «отцу» Ленина — Марксу. Ср. с фигурой Ленина в «Высокой болезни» Б. Пастернака (1928): приятие советского действительности здесь выражается, как и у Мирского, в восхищении перед личностью Ленина, умершего вождя, а не его живых преемников. Отметим попутно близость пастернаковского «держатъ от первого лица» (о Ленине) с тезисом Мирского о Ленине как «единственным гениальном человеке действия».

<sup>79</sup> *Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. P. 141.*

<sup>80</sup> *Smith G. S., Kaznina O. D. S. Mirsky to Maksim Gorky: Sixteen Letters (1928—1934) // Oxford Slavonic Papers. 1993. № 26. P. 94.* См. также: *Ефимов М. Мирский как советский критик: стратегия / трагедия двусмысленности // Политика литературы — поэтика власти: Сб. статей / Под ред. Г. Обатнина, Б. Хеллмана и Т. Хуттунена. М., 2014. С. 214—226.*

<sup>81</sup> *Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. P. 121.*

<sup>82</sup> *Мирский Д. С. Стихотворения. Статьи о русской поэзии. P. 130.*

Мирским двигала ненависть и вера, столь сильно напоминающие анти-мещанскую и анахроническую (для начала 1930-х годов) риторику Герцена. Доказывая историческую неизбежность, а потому целесообразность смерти Маяковского, Мирский писал: «Было бы нелепо как поэта сравнивать с Маяковским Демьяна Бедного, но Демьян Бедный мог быть тем, чем Маяковский никогда не мог сделаться — подлинным публицистом. Та свобода самокритики, которая отличает его стихотворные фельетоны, возможна потому, что автор не должен считаться с генеральной линией, а носит ее в себе».<sup>83</sup>

Именно эта риторика и потребность «носить в себе», а не «считаться», и породила «освобождение» Мирского 1932 года. Пять лет спустя, в год двадцатилетия Октября, Мирский станет советским заключенным, а через семь — погибнет в лагунке «Инвалидный» около Магадана.

Как отметил И. П. Смирнов, «чем неустойчивее фундамент, подведенный под сотериологию, тем больше простора открывается для индивида и тем двусмысленнее здесь персональная творческая активность. Даже если интеллектual ангажированно соприкасается в данном случае с политикой государства, он не растворяется в ней без остатка. Между господствующей политической системой и интеллектualом, поддерживающим ее слишком уж своеобразно, зачастую экстравагантно, появляется зазор, в конце концов обнаруживающий неудачу коллаборационизма».<sup>84</sup>

«Политическая наивность» Мирского могла ошеломлять его современников, но сам Мирский, при всех своих политических иллюзиях, был на свой счет совершенно трезв. К Мирскому в полной мере приложимы слова о «пути мазохистского перевоспитания своего естества и характера, когда в подчинении открывается псевдогегельянская радость сотрудничества с уничтожающей тебя исторической непреложностью».<sup>85</sup> За три года до приезда в СССР Мирский написал: «...всякий переход поездки (в СССР. — М. Е.) в пребывание кончится, конечно, плохо, вернее всего — местами, более или менее отдаленными».<sup>86</sup> Этот прогноз — в отличие от более раннего, касающегося перечитывания Ленина, — сбывается. Своей биографией Мирский воплотил то, что писал о Пушкине и Маяковском: «Оба не сумели разрешить внутри себя конфликта между старым и новым, между классом, их вырастившим, и классом, восхождению которого их творчество было литературным аккомпанементом».<sup>87</sup>

<sup>83</sup> Ibid. P. 131.

<sup>84</sup> Смирнов И. П. О людях 1930-х годов // Смирнов И. П. Кризис современности. М., 2010. С. 34 (сер. «Библиотека журнала „Неприкосновенный запас“»).

<sup>85</sup> Гольдштейн А. Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы / Предисловие М. Харитоновна. М., 2009. С. 178.

<sup>86</sup> Smith G. S. The Letters of D. S. Mirsky to P. P. Suvchinskii. P. 140.

<sup>87</sup> Мирский Д. С. Стихотворения. Статьи о русской поэзии. P. 123.

© С. М. Шумило (Украина)

## БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПРОПОВЕДИ: ПОУЧЕНИЯ ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА

Любая средневековая проповедь, в том числе и произведения Григория Цамблака, имеет несколько литературных источников. Прежде всего, это библейские тексты, которые, если идет речь о Господском или Богородичном празднике, задают тему проповеди, кроме того, из Библии сочинитель избирает для цитирования и пересказа большие фрагменты текста или образы и художественные обороты. Он может заимствовать их из проповеди знаменитых ораторов древности, например, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого. Если проповедь посвящена памяти того или иного святого, то автор черпает цитаты из жития этого святого. Мы же предлагаем рассмотреть богослужебный текст в качестве возможного литературного источника проповеди как жанра и, в частности, проповеди Григория Цамблака.<sup>1</sup>

Заимствования из богослужебных текстов особенно часто встречаются в проповедях и житиях так называемого орнаментального стиля, получившего особое распространение в эпоху позднего средневековья и связанного, по мнению многих ученых, с актуализировавшимся в ту же эпоху учением исихастов.

С точки зрения использования богослужебных произведений в качестве источника интересны и некоторые более ранние сочинения, например, пасхальный цикл проповедей Кирилла Туровского. Киевский проповедник некоторые огласительные слова практически полностью составляет из гимнографических цитат, искусно перемежая их между собой. Так, например, Слово на Пасху, довольно лаконичное по объему, включает в себя более десятка цитат из Пасхального богослужения, вписанных в текст проповеди именно в той очередности, в которой исходные тексты расположены в чинопоследовании Светлого воскресения.<sup>2</sup> Позднее Епифаний Премудрый, мастер стиля «плетение словес», составлял целые главы агиографических произведений в виде мозаик из богослужебных цитат. Так, в Житии Стефана Пермского есть фрагмент, в котором в восьми строках рукописного текста насчитывается десять цитат из Ирмология, причем взятых исключительно из третьей песни.<sup>3</sup>

Говоря о заимствовании и цитировании, мы должны понимать условность термина «цитата» применительно к древней литературе. Древнерусский книжник не цитирует какие-либо тексты в прямом смысле слова, за редкими исключениями, которые специально оговаривает, а использует чужой текст как элемент свое-

---

Светлана Михайловна Шумило — докторант Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, доцент кафедры украинского языка и литературы Черниговского национального педагогического университета им. Т. Г. Шевченко (Украина).

<sup>1</sup> Подробнее о нем см.: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Л., 1988. Вып. 2 (вторая половина XIV—XVI в.). Ч. 1. С. 175—180.

<sup>2</sup> Подробнее см.: *Шумило С. М.* Заповизнення з богослужбових текстів у проповідях Кирилла Туровського (на прикладі проповіді на Великдень) // *Преподобний Нестор Печерський в історії української культури*. Харків, 2014. С. 106—113.

<sup>3</sup> Подробнее об этом см.: *Шумило С. М.* Музыкальный подтекст древнерусской агиографии: К постановке проблемы // *Труды отдела древнерусской литературы*. СПб., 2014. Т. 63. С. 29—44.

го — частично приводит его дословно, частично вольно пересказывает, может заменять те или иные слова в нем и вводить амплификацию. Это литературный прием, который обусловлен особенностями средневекового эстетического восприятия и мировоззрения и который слишком давно ушел в прошлое литературы, чтобы иметь возможность обозначаться каким-то современным литературоведческим термином.

Исследуя проблему заимствования, мы заметили такую закономерность: из всех богослужбных книг древнерусские книжники чаще всего выбирают в качестве источника цитат три — Ирмологий, Триодь (в частности, тексты первой и последней недель Великого Поста и Пасхи) и Требник, а именно — службы Отпевания или Панихиды.

Ирмологий, очевидно, становится источником заимствований чаще всего по причине легкости запоминания ирмосов.

Второй наиболее часто цитируемой книгой мы обозначили Триодь, а конкретнее — тексты первой недели Поста и Страстной седмицы. Действительно, триодные богослужения очень отличаются и по содержательности, и по эстетическому оформлению от, скажем, Октоиха или Миней — Триодь намного глубже, поэтичнее и эмоциональнее. Кроме того, именно в Триоди можно найти указания на нарушения привычного цикла дневных богослужений, например, изменения текста Херувимской песни, введение литургии Преждеосвященных даров, Великого повечерия и т. п.<sup>4</sup> Иными словами, Триодь составлена именно так, чтобы прерывать собой череду привычных богослужений, отличаться от них и на короткий период Поста и Пасхи вырывать молящихся из обиходного круга. Это сделало Триодь одной из наиболее любимых гимнографических книг для авторов и читателей средневековой литературы. Кроме того, именно в службах Страстной седмицы сосредоточено богословие Пасхи: все они рассказывают о величайшем сострадании Творца к людям и призваны вызывать ответное сострадание людей ко Христу. Переживание событий Страстной седмицы, которое возможно именно благодаря системе страстных богослужений, — это своеобразный психологический и духовный центр православного мировосприятия, и, думается, именно поэтому древнерусские авторы чаще всего прибегают к заимствованиям из Страстных песнопений.

Третьим источником мы назвали Требник, вернее, заупокойные богослужения, помещенные в нем. Отпевание и панихида, с одной стороны, ассоциативно, текстологически и музыкально связаны с богослужением Страстной седмицы, потому популярность этого источника может быть истолкована с той же позиции, что и популярность Триоди. С другой стороны, символическая связь смерти любого человека с событием распятия и воскресения особенно ярко должна была проследиваться в произведениях, описывающих смерть праведника, который действительно уподобился Христу, а значит и воскреснет в жизнь вечную.

Итак, литературными источниками многих средневековых произведений чаще всего являются три названные нами книги: Ирмологий, Триодь и Требник. Намного реже литературным источником становится Минея — только в проповедях, посвященных какому-то святому.

Мы рассмотрим на примере проповедей Григория Цамблака случаи обращения к Триоди и Минее.

Григорий Цамблак жил и творил в эпоху позднего средневековья, и стиль его проповедей, несомненно, в какой-то мере отражал особенности стиля эпохи — «плетения словес».<sup>5</sup> Рассмотрение его сочинений с точки зрения использования богослужбных текстов в качестве литературного источника позволяет сделать неко-

<sup>4</sup> Никольский К. Т. Пособие к изучению устава богослужения православной церкви. СПб., 1907. С. 419—420.

<sup>5</sup> Об этом см.: Пелешенко Ю. В. Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII—XV ст.). Київ, 2012. С. 300.

торые выводы о преемственности и самобытности его манеры письма, а также о том, как именно использовалась гимнография в жанре проповеди.

У Григория Цамблака не удастся найти такого обильного цитирования церковных служб, как, например, у Кирилла Туровского или Епифания Премудрого. Проповеди Цамблака гораздо менее лиричны, чем произведения многих его современников, творивших, по выражению Д. С. Лихачева, в экспрессивно-эмоциональном стиле,<sup>6</sup> они сдержаннее и логически точнее; проповедник, кажется, стремится более к размышлению над праздником, чем к его воспеванию. Параллельные же с богослужением места в проповедях, как правило, возникают именно в лирических отступлениях, когда автор, как бы прервав на время повествование, увлекается молитвой или просто эмоциональным описанием. Такова закономерность использования заимствований практически у всех проповедников позднего средневековья.

Такова она и у Григория Цамблака. Так, Слово на Великий четверг достигает наивысшего эмоционального напряжения, когда автор восклицает, мысленно обращаясь к Иуде: «Кій ты образ на преданіе подвиже! Еда прочих апостоли нарече, тебе же остави? Еда с ними бесѣдоваше, тебе же отгоняше? Еда тѣм ковчежец вручи, от тебе же утай? Еда с ними ядыаше, тебе же презираше? Еда о нѣм ноги омы, тебе же възгнушася? О слѣпоты!»<sup>7</sup>

Сравним со стихирой на утрени Великой пятницы: «Кой ты образ, Иудо, предателя Спасу сътвори! Еда ты от лика апостольска отлучи? Еда дарования исцелением лиши ты? Еда со онѣми вечеряв, тебе же ли от трапезы отрину? Еда онѣм нозѣ омы, и твоя ли презре? О коликих благъ беспамятливъ бывъ!»<sup>8</sup>

И композиция этого отрывка, и его образность, и анафоры, использованные в нем, свидетельствуют о том, что страстная стихира взята за источник, хотя нельзя сказать, что она именно процитирована. Проповедник осваивает чужой текст, развивает его, перерабатывает — и перед нами уже не просто цитирование, а своего рода трансплантация чужого текста в ткань оригинального.

Переключка со службой Великой пятницы возникает еще несколько раз, хотя и в менее явной форме. Так, размышляя о принятии Иудой хлеба на Тайной вечере, Григорий Цамблак пишет: «Ты же, предатель сый, почто руку к хлѣбу простираеш дерзостнѣ, яко да лукавому предаси себе на скорѣ, яко да исполниши псаломское: Ядый хлѣбы моя, возвеличил есть на мя ков (запинания). Сия не услыши, ни помысли несмысленный ученик. Но не исправлен пребысть».<sup>9</sup>

Сравним с кондаком Великого четверга: «Хлѣбъ прием в руцѣ предател, скривенно тыя простирает, и приемлет цѣну Създавашаго Своима рукама чловѣка, / и не исправленъ бысть Иуда рабъ и льстець».<sup>10</sup>

Сами же слова «Сия не услыши, ни помысли несмысленный ученик. Но не исправлен пребысть», думается, тоже нужно рассматривать в контексте многократного повторения фразы: «Безаконный же Иуда не восхотѣ разумѣти», — которая является эпифорой третьего антифона на утрени Страстной пятницы: «Лазарева ради востания, Господи, осанна Тебѣ взываху дѣти еврейския, Человеколюбче. Безаконный же Иуда не възхотѣ разумѣти. Иоанну вопросившу: Господи, кто есть предааи Тя. Сего хлѣбом показа...»<sup>11</sup>

Рефрен «Безаконный же Иуда не восхотѣ разумѣти» повторяется в антифоне шесть раз.

<sup>6</sup> См.: Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 7—56.

<sup>7</sup> Цамблак Г. Слово в великий четверток на часех // Пелешенко Ю. В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV — початку XVI ст. Київ, 1990. С. 119.

<sup>8</sup> Триодь цветная, рукопись XVI века // РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры. Ф. 304. Оп. 1. № 399. Л. 55 об.

<sup>9</sup> Цамблак Г. Слово в великий четверток на часех. С. 120.

<sup>10</sup> Триодь цветная. Л. 44 об. — 45.

<sup>11</sup> Там же. Л. 55.

Подобные переключки отдельных коротких фраз — при условии их многократного повторения во время службы, а следовательно, и крепкого запоминания слушателями, — встречаются и во многих других проповедях Григория Цамблака. Особенно много их в Слове на Вербную неделю.

Эта проповедь — пересказ евангельского события, включающий в себя не только толкование, но и комментирование произошедшего с точки зрения выполнения пророчества Захарии. Думается, выбор этого библейского отрывка не случаен: из трех пророческих паремий, предписанных уставом для чтения на утрени, именно пророчество Захарии положено в основание богослужения Вербной недели: в службе, по крайней мере в первой ее половине, т. е. на малой и великой вечерне, постоянно обыгрываются первые фразы этой паремии: «Радуйся зъло, дщи Сионя, проповѣдуй, дщи Иерусалимова, се Царь твой грядет ти, праведенъ и спасаи, кроток, и възсѣд на еремничя и на жребца юна. И погубит оружиа изъ Ефрема, и конь из Ерусалима...»<sup>12</sup>

Особенно часто цитирование пророчества Захарии встречается на вечерне: «Радуйся и веселися, граде Сионъ, красуйся и радуися, церкви Божиа, се бо царь твой грядет въ правдѣ на жребяти съдя...»; «Радуйся, дщи зъло Сионова, проповѣдуй, дщи Ерусалимова, яко се царь твой грядет тебѣ, кротокъ и спасаи, възсѣде на жребяти осли, сына яремничя...»<sup>13</sup>

Обыгрывание этих фраз практически прекращается после чтения самого пророчества на паремиях.

Цамблук, как мы уже сказали, также обращается именно к Захариину пророчеству, хотя вспоминает о нем очень коротко: «Что проповѣдати повелеваеши, проче».<sup>14</sup> И еще однажды: «Сеи бо, о нем же глаголаше пророкъ».<sup>15</sup>

Но помимо этих двух явных указаний на пророка, Григорий Цамблук рассылает по проповеди множество неявных — совершенно так же, как это сделано в богослужении. Так, он пишет: «Не бояся, дщи Сионова, се царь твой грядет кто бѣ кротко на жребяти осли...»<sup>16</sup> Встречаются и совсем короткие фразы, которые, как рефрен, повторяются в проповеди, весьма условно связываясь с основным текстом: «Се царь твой грядет тобѣ кроток...», «Се царь твой грядет тобѣ кротокъ и спасаи...»<sup>17</sup> Есть и более пространные цитаты, которые автор использует уже не столько как простой рефрен, а для толкования, но которые также переключаются со службой: «Радуйся зъло, дщи Сионова, проповѣдуй, дщи Иерусалимова...»; «В тобѣ еже погубити оружиа из Ефрема. И конь из Иерусалима...»<sup>18</sup> А через несколько строк встречается повтор — уже без прямой связи с общим ходом мысли, вновь как рефрен: «Проповѣдуй, дщи Иерусалима, проповѣдуй».<sup>19</sup>

Иными словами, и в богослужении, и Григорием Цамблаком в качестве основного источника образности используется один и тот же фрагмент пророчества Захарии, а именно тот, что выбран для паремии праздника. Тема исполнения предсказаний, которая таким образом подчеркивается в службе, знаменует собой начало Страстной седмицы — как главного исполнения важнейшего пророчества. Григорий Цамблук как бы следует этому правилу, акцентируя внимание на теме прообразовательности.

После чтения паремий из службы, как мы уже указывали, исчезают заимствования из пророчества Захарии и возникает другой рефрен, взятый из евангельско-

<sup>12</sup> Там же. Л. 14 об.

<sup>13</sup> Там же. Л. 14 об., 13 об.

<sup>14</sup> Цамблук Г. Слово в неделя връбна // Кенанов Д. Озареният Григорий Цамблук. Пловдив; Велико Търново, 2000. С. 128.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же. С. 129.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Там же.



го рассказа о событии недели Ваий: «Осанна в вышнихъ, благословенъ еси грядый» (Мф. 21: 9). Гимнограф варьирует эти слова по-разному, но все стихиры и большинство тропарей канона заканчиваются этими словами. Всего насчитывается более десятка употреблений этой фразы в службе.

Характерно, что и Цамблак прибегает к тем же стихам, описывая вход Господень в Иерусалим. Можно было бы считать это обычным совпадением или неизбежностью при описании одного и того же события, если бы это не вписывалось в общий контекст заимствований.

В службе Вербной недели можно заметить и некоторые пасхальные интонации, поскольку эта неделя открывает собой последнюю седмицу перед Пасхой. Так, пасхальная тема возникает в каноне. Она едва читается, слушателю нужно было хорошо знать богослужение, чтобы услышать аллюзию, вписанную гимнографом. Так, в последнем тропаре пятой песни читаем: «Сионе Божия гора святая, Иерусалиме, окрестъ очи възведи и виждь собрана чада твоя в тебѣ: се бо приидоша издалеча поклонитися царю твоему...»<sup>20</sup> Перед нами явная переключка с одним из тропарей пасхального канона: «Възведи окрестъ очи твои Сионе и виждь: се бо приидоша къ тебѣ яко благосвѣтлаа свѣтила, от Запада, и Севера и моря, и Въстока чада твоя, въ тебѣ благословяще Христа во вѣки».<sup>21</sup>

У Цамблака в проповеди также встречается большой фрагмент, посвященный всеохватности проповеди Христовой: о приходе к Христу от Запада, и Востока, и Юга, и Севера.<sup>22</sup> Правда, рассуждения о Севере он продолжает, развивает и проводит тему Пасхи намного дальше — до темы Вознесения. Так, Цамблак соединяет рассуждения о Севере с пророчеством о ребрах северовых: «Не къ тому ребра северови <...> но градъ Царя великого».<sup>23</sup> Эта цитата из 47 псалма («Ребра северовы, градъ Царя великого» (Пс. 47: 3)) используется в качестве антифона на Вознесение<sup>24</sup> и, как антифон, дважды повторяется во время литургии в этот праздник, а соответственно также хорошо запоминается.

В том же фрагменте, рядом с аллюзией на пасхальное и вознесенское богослужение, Григорий Цамблак помещает цитату из пророчества, которая по богослужебному кругу связана с Рождеством: «Восияет бо нам, во тме и сѣни смертнѣй сѣдящим».<sup>25</sup> Эта фраза широко обыгрывается в рождественском богослужении, она же использована в светильне Рождества: «...и сущей во тмѣ и сѣни обрѣтохомъ истинну...»<sup>26</sup>

Нужно сказать, что указанные фрагменты вводятся Цамблаком в рассуждении о том, с какой стороны и в какую сторону продвигался Иисус, входя в Иерусалим, но, связанные ассоциативно и текстуально с праздниками Рождества, Пасхи и Вознесения, они на уровне подтекста во входе в Иерусалим заставляют видеть весь жизненный путь Христа: от пришествия на землю до вознесения на небо. Думается, такая сложная комбинация коротких богослужебных отрывков введена проповедником неслучайно и призвана обострить восприятие слушателей и заставить их почувствовать всю прообразовательность происходящего в Евангельской истории и на земле вообще.

Еще одна цитата из Псалтири, используемая Григорием Цамблаком, также имеет источником службу на Вербную неделю: «Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу».<sup>27</sup>

<sup>20</sup> Триодъ цветная. Л. 17.

<sup>21</sup> Там же. Л. 103.

<sup>22</sup> См.: Цамблак Г. Слово в неделя вѣрна. С. 128.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> См.: Триодъ цветная. Л. 249.

<sup>25</sup> Цамблак Г. Слово в неделя вѣрна. С. 128.

<sup>26</sup> Минея служебная, декабрь, конец XV века // РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры. Ф. 304. Оп. I. № 504. Л. 324.

<sup>27</sup> Цамблак Г. Слово в неделя вѣрна. С. 128.

Этот же стих восьмого псалма в службе использован на стиховне. Он также легко узнаваем, поскольку речь идет о первой кафизме, чтение которой предписывается уставом в начале практически каждой вечерни, а потому средневековый читатель легко узнавал строчку из псалма как внутри службы Вербной недели, так и внутри проповеди.

Таким образом, Григорий Цамблак объединил в одной проповеди заимствования из пророчества Захарии, евангельского повествования о входе в Иерусалим, а также небольшие реминисценции из пасхального богослужения, Псалтири, службы на Рождество и Вознесение. Все указанные источники точно совпадают с источниками службы на неделю Ваий, что заставляет думать о преднамеренности таких параллелей, вводимых Цамблаком в текст проповеди.

Цельный богослужбный подтекст характерен только для тех проповедей, которые касаются больших праздников. Для менее значимых праздников или памятей святых предназначались проповеди попроще, не содержащие в себе такого сложного ассоциативного ряда, но, тем не менее, тем или иным образом перекликающиеся с богослужением.

Так, Кирилл Туровский в Слове о расслабленном выбирает в качестве литературного источника всего одну стихирю из службы этого праздника, но именно она является в службе богословски наиболее наполненной, а оттого наиболее акцентированной на общем спокойном фоне богослужения. Определив ее в качестве литературного источника, киевский проповедник практически все произведение выстраивает в виде большой амплификации к ней.

Точно такой прием можно наблюдать у Григория Цамблака в Слове о пророке Илие. Это очень содержательная проповедь, главная цель которой — подробное изложение связанных с пророком ветхозаветных событий, переплетенное с толкованиями тех или иных мест в этой истории. Пересказывая, Григорий явно опирается на паремии службы пророку Илие, поскольку выбранный сюжет следует той очередности и с теми купюрами, которые предприняты в паремиях. Иными словами, проповедник толкует своим слушателям сами паремии, чтобы пояснить читаемое на службе. Что же касается рассуждений автора об описываемых событиях, то несколько раз он отходит от сюжетного повествования, и произведение в некоторой степени уподобляется молитвенным восклицаниям. Наиболее ярко это осуществляется в первой половине текста, когда Цамблак сравнивает Илию с Иоанном Предтечей и затем неоднократно называет пророка вторым Предтечей. Это сравнение и наименование может быть заимствовано из минейной службы Илие. Так, в тропаре пророку читаем: «Иже въ плоти аггелъ, пророком степень, второй Предтеча пришествия Христова, Илия славный...»<sup>28</sup>

Григорий Цамблак с самого начала проповеди именует Илию Предтечей: «Илия (...) ко второму Его (Христа) пришествию предотеца сохраненъ».<sup>29</sup> Затем он развивает эту тему, проводя детальные параллели между Илией и Иоанном: «Илия Ахавовъ обличитель, якоже Иоаннъ Предтеча — Иродовъ, Илия — Иезавелин поребитель, якоже Креститель — Иродиадинъ».<sup>30</sup>

Далее вся проповедь строится как простой пересказ библейских событий, и только в конце снова возвращается к теме, затронутой в службе.

Канон пророку Илие содержит один удивительный тропарь, который выделяется на фоне других семантической наполненностью и оттого сразу привлекает внимание. Все тропари посвящены тем или иным событиям из жизни пророка или воспеванию его горячей веры, и лишь один — теме прообразовательности: «...и сам

<sup>28</sup> Минея служебная, июль, конец XV века // РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры. Ф. 304. Оп. 1. № 579. Л. 101.

<sup>29</sup> Цамблак Г. Слово за св. пророк Илия // Кенанов Д. Озарения Григория Цамблака. С. 131.

<sup>30</sup> Там же.

Господь рекль еси: понеже, Илия, человекъ жестокъ еси, съгрешающу Израилю трѣпѣти не можещи, възди ты къ Мнѣ, да Аз долъ сниду».<sup>31</sup> Здесь гимнограф отступает от библейского повествования, вкладывая в уста Создателя фразу, которая отсутствует в Библии, но заключает в себе важную богословскую идею домостроительства. Тема бесконечного милосердия высказана очень коротко и неявно. Тропарь находится в последней песни канона и логически завершает собой повествование об Илии предсказанием о пришествии Христа.

Тропарь поставлен в конец канона неслучайно: именно девятая песнь традиционно посвящена идее сошествия Христа и домостроительства, ее же диктует и ирмос канона. Как известно, в классической гимнографии тропари канона идейно и композиционно уподобляются соответствующему ирмосу,<sup>32</sup> так что развитие богословской темы, возникающее в конце канона, обусловлено логикой службы.

Григорий Цамблак выбирает именно этот фрагмент богослужения и вводит его в проповедь, чем также, вслед за службой, отступает от точного пересказа библейских событий. Он пишет: «Что же по сих глаголетъ къ нему Богъ; елма ты, Илия, человекъ жестокъ еси, и Израилю сокрушаему трѣпѣти не можещи: ниже человекъскими страстями преклоняещи ся. И прочее не клочится тебѣ с человекъки жити, но възди ты ко Мнѣ, да Азъ къ человекомъ сниду».

Проповедник не удовлетворяется лишь пересказом затронутой в службе темы домостроительства. Звучащая в богослужении коротко и неявно, у Григория Цамблака она разворачивается в довольно большое толкование о милости Божией, вложенное опять же в уста самого Творца: «...измена будетъ посреде насъ, да въздеть человекъ и да снидеть Богъ. Азъ бо не Израиля ради единого, но и всехъ языкъ неправды и беззакония зря, и долготерпя, краиния ради благости, понеже человеколюбець Азъ, и грехи ихъ понесу, кроме греха, темъ уподобися... Возди ты съ плотию, да Азъ сниду взяти плоть, безплотныи, и възди ты на колесницѣ огненѣи ко Мнѣ, да Азъ къ тебѣ сниду, яко на руно дождь, ты яко в трусь на небо, Азъ же яко в тишинѣ на землю...»<sup>33</sup> и проч. Далее следует большой лирический период, в котором продолжается сопоставление двух событий: взятия на небо Илии и нисшествия на землю Христа, причем второе описывается со строго евангельской точки зрения, уже не прообразовательно, а открыто — с названием имен апостолов, с проповедью о сошествии Духа в Пятидесятницу и т. д.

Таким образом, Григорий Цамблак не просто пересказывает в проповеди паремии и толкует их, но, опираясь на текст службы, выбирает из него две основные темы, самые яркие в службе и богословски наиболее значимые: параллель между Илией и Иоанном Предтечей, связанную с идеей Илии как второго Предтечи, и сопоставление двух событий — взятия Илии на небо и воплощение сына Божия. Это сопоставление становится кульминационным и завершающим в проповеди, именно оно является ядром всего произведения. Предпринимая такой литературный ход, Григорий Цамблак поступает точно так же, как в свое время Кирилл Туровский в Слове о расслабленном: взяв один из наиболее содержательных гимнов соответствующей службы, который мог бы пройти незамеченным для молящихся, использует его в проповеди и раскрывает его смысл, вводя многочисленные амплификации и рассуждения на эту тему.

Отмечая определенный параллелизм в том, как проповедники используют текст богослужения в своих произведениях, мы должны признать, что перед нами определенный художественный метод, сознательно используемый разными проповедниками различных периодов средневековья, который пока не имеет названия. Заимствования из гимнографии в проповеднических произведениях можно услов-

<sup>31</sup> Миняя служебная, июль, XVI век // РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры. Ф. 304. Оп. 1. № 580. С. 203.

<sup>32</sup> См.: Скабалланович М. Н. Толковый типикон. С. 674—675.

<sup>33</sup> Цамблак Г. Слово за св. пророк Илия. С. 140.

но разделить на два вида. Первый — это заимствования, украшающие текст; в этом случае автор использует образность богослужебного текста, обильно цитирует его, превращая определенные фразы из богослужения в своеобразные рефрены своей проповеди, мозаически переплетая небольшие гимнографические цитаты, ассоциативно соотнося тот или иной фрагмент проповеди с определенным церковным праздником и, соответственно, с каким-то событием библейской истории. Второй — это заимствования, используемые для раскрытия той или иной богословской идеи.

Итак, проследив различные обращения к богослужебным текстам в проповедях Григория Цамблака, мы можем утверждать, во-первых, что он наследует проповедникам, писавшим в орнаментальном стиле, и использует богослужебные тексты в качестве литературных источников. Во-вторых, он пишет намного более логически структурированные и менее лиричные произведения, чем его современники, творившие в экспрессивно-эмоциональном стиле, но лирические отступления Цамблака так же зависят от гимнографической образности и художественности, как и у Епифания Премудрого, Пахомия Логофета и других. В-третьих, существовал определенный художественный метод использования гимнографических текстов в оригинальных произведениях средневековых авторов, который заключался, с одной стороны, в заимствовании художественных приемов, синтаксиса и образности гимнографии, а с другой — в раскрытии наиболее содержательных гимнов в проповеди, интерпретации богословских идей, содержащихся в богослужении.

© Н. Д. Кочеткова

## ЗАГАДОЧНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В. К. ТРЕДИАКОВСКОГО А. П. СУМАРОКОВУ\*

Трагедия «Деидамия», написанная Тредиаковским в 1750 году, была напечатана спустя двадцать пять лет, уже после смерти автора в 1775 году с удивительным посвящением: «Его превосходительству господину статскому действительному советнику, ордена святыя Анны кавалеру и Лейпцигского ученого собрания члену Александру Петровичу Сумарокову сия трагедия, по завещанию сочинителя, в знак вечныя памяти, посвящается».<sup>1</sup>

Это посвящение до сих пор остается загадочным. Благодаря исследованиям, начатым П. Н. Берковым и продолженным другими учеными,<sup>2</sup> хорошо изучена ожесточенная литературная полемика, в которой принимали участие крупнейшие писатели середины столетия, включая Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова. Полемика, доходившая до откровенной брани, оставалась в рукописном виде. К тому, что шло в печать, а тем более к посвящению, было совершенно иное отношение. Тредиаковский любил сопровождать свои книги посвящениями, но все они были в соответствии с обычаями того времени адресованы или государыне, или

Наталья Дмитриевна Кочеткова — главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ): проект № 16-01-000012.

<sup>1</sup> Тредиаковский В. К. Деидамия. М., 1775. С. 3 зенум.

<sup>2</sup> Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765. М.; Л., 1936; Серман И. З. Из литературной полемики 1753 года // Русская литература. 1964. № 1. С. 99—104; Гринберг М. С., Успенский Б. А. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-е — начале 1750-х годов. М., 2001.

влиятельным вельможам и меценатам. Кроме того, все эти дедикации были развернутыми: это были посвящательные письма.

Для выбора адресата посвящения долго существовали определенные ограничения, а тексты нередко подвергались строгой критике. Известно, что в 1750 году в Академии наук было серьезно раскрытиковано посвящение Третьяковского, предварявшее его перевод романа Дж. Баркляя «Аргенида» и обращенное к Елизавете Петровне.<sup>3</sup> В результате книга вышла без посвящения. В это же время Третьяковский завершал работу над своей трагедией «Деидамия» и уже отдавал готовые части в типографию, но издать это сочинение ему тогда так и не удалось. Н. Ю. Алексеева справедливо указывает на связь, существовавшую между отрицательным отзывом на посвящение к «Аргениде» и запретом на издание «Деидамии».<sup>4</sup> Представляется маловероятным, чтобы в 1750 году, когда полемика Ломоносова и Сумарокова с Третьяковским превращалась в настоящую войну, он сопровождал свою публикацию посвящением Сумарокову.

Дедикаций собратям по перу в то время вообще еще не было: книги обычно посвящались правителям или вельможам, меценатам, помогавшим издать литературный труд. В 1750—1760-е годы посвящения «партикулярным особам» вызывали настороженность, а иногда и изымались из книг.<sup>5</sup> Лишь с 1780-х годов стали появляться посвящения писателям: М. М. Хераскову, Я. Б. Княжнину, Д. И. Фонвизину, Г. Р. Державину, Н. М. Карамзину. Это было связано с тем, что менялись постепенно и самый статус писателя, и его роль в общественной и культурной жизни страны. В этих посвящениях подчеркивались именно литературные заслуги, часто даже не упоминались чины и награды, что ранее было обязательным.

Обратимся к самому тексту дедикации к «Деидамии». Этот текст не мог быть написан автором в 1750 году, когда шла работа над трагедией, прежде всего потому, что Сумароков в это время не имел ни чина действительного статского советника, ни ордена святой Анны: он получил их только в 1767 году.<sup>6</sup> Можно, конечно, предположить, что посвящение было написано или дополнено позднее. Как показал С. И. Николаев, довольно большие цитаты из отринутых критиками «Деидамии» уже после 1754 года Третьяковский вставлял в свою поэму «Феоптия».<sup>7</sup> Третьяковский долго не оставлял надежды напечатать трагедию и даже предполагал включить ее во второй том своих «Переводов и сочинений».<sup>8</sup> Он с горечью писал: «Неужели-то нет в ней таких мест, которые несколько будут достойны правосудного чтения?»<sup>9</sup>

Правда, в ходе ожесточенной литературной борьбы у него появлялось иногда покаянное настроение, и в 1755 году в своем «Ответе на письмо о сафической и орацианской строфах» он писал Сумарокову: «Я уже в летах; и не более пекусь о красном разуме, коль о добром несколько житии. (...) Попустите мне несмущенно

<sup>3</sup> См.: Алексеева Н. Ю. Несостоявшееся посвящение русской «Аргениды» // Оказиональная литература в контексте праздничной культуры XVIII века. СПб., 2010. С. 135—147.

<sup>4</sup> Там же. С. 145—146.

<sup>5</sup> См.: Космолинская Г. А. Два куратора Московского университета — две цензуры: И. И. Шувалов и В. Е. Адогуров // Век Просвещения = Le siècle des Lumières. М., 2008. [Вып.] 2. Кн. 1: Цензура и статус печатного слова во Франции и России эпохи Просвещения. С. 273.

<sup>6</sup> Степанов В. П. Сумароков А. П. // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 2010. Вып. 3: Р—Я. С. 185.

<sup>7</sup> Николаев С. И. К истории текста «Феоптии» Третьяковского // В. К. Третьяковский: К 300-летию со дня рождения. СПб., 2004. С. 76—79.

<sup>8</sup> См.: Serman I. Z. Trediakovskii and his Deidamia: An unpublished document // Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter. 1979. September. № 7. P. 23—28; Алексеева Н. Ю. «Сочинения и переводы как стихами, так и прозой» В. К. Третьяковского: История издания // Третьяковский В. Сочинения и переводы как стихами, так и прозой / Изд. подг. Н. Ю. Алексеева. СПб., 2009. С. 487—489 (сер. «Литературные памятники»).

<sup>9</sup> Serman I. Z. Trediakovskii and his Deidamia. P. 27.

размышлять иногда и о совести моей: настает время и мне туда явиться, куда должно всем человекам». <sup>10</sup> Однако, публикуя это письмо, П. П. Пекарский усомнился в «искренности этого смиренного обращения», так как полемические «схватки еще продолжались». <sup>11</sup> Кроме того, в этом же письме Тредиаковский не без иронии и даже с некоторой язвительностью уверял Сумарокова: «Верьте, я от всего сердца признаваю, понеже вам, как видно, того только и желается, первенствующим нашим Волтером (...)». <sup>12</sup> Не исключено, конечно, что и позднее, на склоне лет, Тредиаковский снова обратился к своей трагедии, и у него появилась мысль «завещать» ее Сумарокову. Текст этого «завещания» неизвестен, но могло сохраниться и какое-то устное предание о нем. С течением лет нетрудно было утратить иронический подтекст такого «завещания», если оно вообще существовало.

Обратимся снова к тексту дедикации: непонятными остаются слова «в знак вечныя памяти»: так говорится обычно об ушедших из жизни, а Сумароков во время выхода «Деидамии» в 1775 году был жив. Можно предположить, что эти слова относятся не к Сумарокову, а к уже почившему самому «сочинителю», то есть Тредиаковскому. В тексте посвящения нет подписи, как это было принято в большинстве дедикаций: или имя, или «сочинитель», или «переводчик». Здесь написано: «по завещанию сочинителя», то есть эти слова принадлежат не автору трагедии, давно уже умершему, а кому-то другому, скорее всего издателю.

Этот человек, располагавший текстом «Деидамии», очевидно, не только «оформил» посвящение к книге, но и сопроводил ее «Кратким описанием жизни и ученых трудов сочинителя сей трагедии». Н. В. Губерти писал по поводу издания этой книги: «По „Росписи“ продававшимся в типографии государственной Военной коллегии „без переплету“ и другим книгам, приложенной к № 90 „Московских ведомостей“ 1775 года, ноября 10-го, видно, что вместе с трагедиями В. Майкова „Агриопа“, „Фемист и Иеронима“ и „Меропа“ продавалась также „Деидамия“. Цена первым 3 трагедиям — по 50 и последняя 40 копеек». «Это известие, — заключает Н. В. Губерти, — наводит на предположение, что Майков был издателем „Деидамии“ Тредиаковского, напечатанной в вышеупомянутой типографии и продававшейся с трагедиями первого». <sup>13</sup>

Важно учесть, что в 1770-е годы Майков был прокурором Военной коллегии, так что издание «Деидамии» с такой странной дедикацией не могло осуществиться без его одобрения. Кроме названных Н. В. Губерти литературных трудов Майкова, в Военной типографии печатались также и его многочисленные оды. Хорошо известно, что он был большим почитателем таланта Сумарокова и, конечно, не хотел огорчать пожилого самолюбивого автора публикацией трагедии, принадлежавшей его давнему литературному противнику. Но посвящение, сделанное «по завещанию сочинителя» — это был важный шаг к примирению. В следующем, 1776 году Майков обратился к Сумарокову с «Одой о вкусе», где восхвалял его, называя «театра русского отцом», «Расином полночным»:

Твоей прелестной глас свирели,  
Твоей приятной лиры глас  
Моею мыслью овладели,  
Пути являя на Парнас:  
Твоим согласиём пленяясь,  
Пою и я, воспламеняясь. <sup>14</sup>

<sup>10</sup> Пекарский П. П. История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873. Т. 2. С. 185.

<sup>11</sup> Там же. С. 186.

<sup>12</sup> Там же. С. 256.

<sup>13</sup> Губерти Н. В. Материалы для русской библиографии. М., 1891. Вып. 3. С. 562—563.

<sup>14</sup> Майков В. И. Сочинения и переводы / Со статью о Майкове и прим. Л. Н. Майкова. СПб., 1867. С. 153.

Между тем двадцать пять лет, отделявшие время написания трагедии от времени ее публикации, принесли в русскую литературу много нового. Литераторы следующего поколения уже по-другому смотрели на давние разногласия поэтов прошлого. П. Н. Берков отметил, что имена Ломоносова и Сумарокова как одинаково уважаемых литературных мэтров уже в 1760 году рядом поставил Херасков:

Ты пением своим невеж увеселишь  
И грубость их сердец, как Амфион, смягчишь,  
Когда так станешь петь для утешенья россов,  
Как Сумароков пел и так, как Ломоносов,  
Великие творцы, отечеству хвала,  
И праведную честь им слава воздала.<sup>15</sup>

В журнале Ф. А. Эмина «Адская почта» (1769) говорилось, что «между нашими хорошими стихотворцами поныне были два, которых сочинения украшают славу нашего отечества; один из них обожал Клию, а другой Мельпомену»,<sup>16</sup> то есть речь шла о Ломоносове и Сумарокове. Хотя здесь же упоминалось, что в некоем доме «любителя наук» велись споры о преимуществах того или иного, рассказчик предлагал «положить равную цену достоинству сих стихотворцев».<sup>17</sup>

Новый взгляд на Тредиаковского и его творчество в 1772 году высказал Н. И. Новиков в своем «Опыте исторического словаря о российских писателях». Здесь сообщались довольно подробные сведения о жизни и деятельности Тредиаковского, перечислялись его сочинения и переводы, как опубликованные, так и не напечатанные, в том числе «Деидамия». «Сей муж, — говорилось в «Опыте словаря», — был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия. (...) При том не обинуясь, к его чести сказать можно, что он первый открыл в России путь к словесным наукам, а паче к стихотворству...».<sup>18</sup> Эта статья была очень важным шагом на пути к исторической оценке заслуг Тредиаковского: «Первый профессор, первый стихотворец и первый положивший толико труда и прилежания в переводе на российский язык преподлезных книг».<sup>19</sup> Напомним, что в ходе споров Ломоносова и Тредиаковского придавалось большое значение вопросу о первенстве в реформировании русского стиха, как отметила Н. Ю. Алексеева.<sup>20</sup>

«Краткое описание жизни и ученых трудов сочинителя», предшествовавшее тексту «Деидамии», содержит в основном те же сведения, которые приведены в статье о Тредиаковском в «Опыте словаря», дословно повторяются многие формулировки. Однако есть и различия: в очерк добавлены некоторые детали, в частности, известия о женитьбе Тредиаковского и его сыне Льве, служившем при герольдмейстерской конторе секретарем; приведен текст надписи к портрету Тредиаковского: «Стих начавшего стопой прежде всех в России...». По сравнению с «Опытом словаря», существенно пополнен перечень трудов Тредиаковского, причем среди напечатанного названа «Духовная его, при самой кончине сочиненная в 1769 году».<sup>21</sup> Наконец, завершая перечисление сочинений Тредиаковского, автор

<sup>15</sup> Полезное увеселение. 1760. Декабрь. С. 196. Здесь проявилось уже новое отношение к давней полемике, что отметил П. Н. Берков. См.: *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени. С. 272.

<sup>16</sup> Адская почта, или Переписки Хромононого Беса с Кривым / Текст подг. и комм. сост. В. Д. Рак. СПб., 2013. С. 276.

<sup>17</sup> Там же. С. 277.

<sup>18</sup> Материалы для истории русской литературы / Изд. П. А. Ефремова. СПб., 1867. С. 106—107. Можно заметить, что характеристика Сумарокова в «Опыте словаря» была более сдержанной.

<sup>19</sup> Там же. С. 107.

<sup>20</sup> Алексеева Н. Ю. «Сочинения и переводы как стихами, так и прозой» в творчестве В. К. Тредиаковского. С. 474.

<sup>21</sup> Краткое описание жизни и ученых трудов сочинителя сей трагедии // Тредиаковский В. К. Деидамия. С. 13 н.н. Как позднее документально установлено, Тредиаковский

«Краткого описания» вновь подчеркивает его заслуги: «Опречь сего, сей трудолюбивый и вечной похвалы достойный муж при всяком томе древней Римской и об императорах римских истории, как и при других своих книгах, сочинял от себя пространные рассуждения о разных материях, коих собрание учинит нарочитую книгу». <sup>22</sup> Слова о «вечной похвале» как бы соотносятся с выражением «вечныя памяти» из текста посвящения. В «Кратком описании» особенно интересно дополнение к словам Новикова «...первый в России сочинил правила нового российского стихосложения»: «...первый издал правила российского нового стихосложения, коим следовали и ныне следуют все почти российские стихотворцы (курсив мой. — Н. К.)». <sup>23</sup>

Очерк был опубликован без подписи. Можно выдвинуть гипотезу о том, что издание «Деидамии» осуществил Новиков, бережно сохранявший сведения по истории отечественной словесности. Вернувшись к своей прежней статье о Тредиаковском и дополнив ее, он поместил ее в этом издании. Примечательно, что в «Кратком описании» есть и отсылка к «Опыту словаря» с указанием соответствующих страниц. Правда, воспользоваться его словарной статьей мог и другой издатель, предположительно Майков, причастный к работе Военной типографии. Он сотрудничал в журнале Новикова «Трутень», <sup>24</sup> а в «Опыте словаря» ему была дана очень лестная характеристика: «...почитается в числе лучших наших стихотворцев». <sup>25</sup> В первой половине 1770-х годов Новиков и Майков были связаны с тем же кругом петербургских литераторов, которым покровительствовали А. Г. и Г. Г. Орловы. <sup>26</sup>

В 1777 году в Военной типографии был напечатан «Разговор в царстве мертвых Ломоносова с Сумароковым» за подписью Алексея Дружерукова, <sup>27</sup> и в этом же издании были приплетены страницы с эпитафиями Сумарокову, одна из которых принадлежала Майкову.

Во всех этих публикациях нетрудно заметить вполне определенную тенденцию: стремление примирить былых противников, показать достоинства и заслуги каждого из них. Соответственно, можно признать, что посвящение в издании «Деидамии» 1775 года, включенное в книгу ее издателем и, скорее всего, им же и написанное (кто бы им ни был) — это еще один существенный факт своего рода реабилитации Тредиаковского в глазах читателей XVIII века, помнивших о литературных войнах прошлого. Самое издание «Деидамии» с этим посвящением и очерком о жизни и деятельности автора, написанным в уважительном тоне, стало важным фактом русской литературной жизни 1770-х годов.

скончался в 1768 году. См.: Самаренко В. Первый академик. Памяти В. К. Тредиаковского // Волга (Астрахань). 1969. 17 авг. № 192 (15020). С. 4.

<sup>22</sup> Краткое описание жизни и ученых трудов сочинителя сей трагедии. С. 18 нenum.

<sup>23</sup> Там же. С. 7 нenum.

<sup>24</sup> См.: Стенник Ю. В. В. И. Майков // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2: К—П. С. 259.

<sup>25</sup> Материалы для истории русской литературы. С. 69.

<sup>26</sup> См.: Майков Л. Н. О жизни и сочинениях В. И. Майкова // Майков В. И. Сочинения и переводы. С. XXV; Алексеев М. П. Д. Дидро и русские писатели его времени // XVIII век. М.; Л., 1958. Сб. 3. С. 423.

<sup>27</sup> Ссылаясь на свидетельство Н. Е. Струйского, исследователи считают, что Алексей Дружеруков — это псевдоним Ф. Г. Карина, почитателя таланта Сумарокова. См.: История Московского университета (вторая половина XVIII — начало XIX века): Сб. документов / Сост., автор вступ. статей и прим. Д. Н. Костышин. М., 2016. Т. 4: 1758. С. 589.



**И. И. ДМИТРИЕВ И ВОЛЬТЕР.  
О МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ  
«ДВОЙНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» ЛИТЕРАТОРА  
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА\***

Литературная репутация И. И. Дмитриева, начиная с середины 1800-х годов, строилась на варьировании двух взаимоисключающих моделей поведения: демонстративного дистанцирования от поэтической деятельности при явном предпочтении ей карьеры высокого государственного чиновника-дворянина (сенатора, а затем министра) и настойчивого культивирования собственного положения в литературе как писателя-«классика» и авторитетного «патриарха» русской словесности.<sup>1</sup> В этом смысле его профессиональная стратегия лучше всего описывается, на наш взгляд, термином «двойная идентичность». Дмитриев принципиально по-разному интерпретировал собственную позицию в литературном поле, апеллировал к противоположным типам писательского поведения.<sup>2</sup> В настоящей статье мы попытаемся исследовать стратегию Дмитриева-полемиста во время конфликта с М. Т. Каченовским в 1806 году, т. е. в ключевом, по нашему мнению, эпизоде литературной биографии Дмитриева, в котором окончательно складывается формула «двойной идентичности» поэта и сановника.<sup>3</sup> Напомним, что в 1806 году издатель «Вестника Европы» Каченовский, покровительствуемый Дмитриевым и пользовавшийся его связями в литературном мире, «обиделся» на поэта за якобы унижительное и высокомерное обращение и решил порвать патронажную связь. С этой целью в мае этого года критик поместил в своем журнале крайне язвительный отзыв на третий том «Сочинений и переводов» Дмитриева. Кроме прочего, критика содержала две четко верифицируемые «личности». Указанием на эти фрагменты Д. Н. Блудов закончил статью против Каченовского (датирована 28 мая 1806 года), сохранившуюся в бумагах П. А. Вяземского: «Зачем г. критик на странице 290-й говорит (как будто мимоходом, как будто для примера) о неудовольствии одного человека малого чина на министра или сенатора, и говорит своим обыкновенным языком: *Сенатор, который, прежде обходившись с ним приятельски, вздумал бы и проч.?* Зачем на странице 296-й он опять возвращается к вельможе, который, как ему кажется, хочет иметь *невольников* за своим лакомым столом?»<sup>4</sup>

Михаил Брониславович Велижев — профессор Школы филологии НИУ ВШЭ.

\* Статья подготовлена в рамках проекта: «Европеизированная элита в России XVIII — начала XIX в.: роли и идентичности» («The Creation of a Europeanized Elite in Russia: Public Role and Subjective Self»), поддержанного фондом Леверхульм Трест (The Leverhulme Trust) (R-357). Благодарю коллег по Школе филологии НИУ ВШЭ за советы и замечания, сделанные во время обсуждения текста настоящей статьи на одном из научных семинаров Школы.

<sup>1</sup> По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, «в самом же Дмитриеве (пусть ныне назовут это предрасудком) старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер» (*Вигель Ф. Ф. Записки / Ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха. М., 1928. Т. 1. С. 301*). Подробнее см.: *Велижев М. Б. «Сенатор» vs. «Поэт»: (авто)биографическая мифология и литературная репутация И. И. Дмитриева // Avtobiografija. Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture. 2015. Vol. 5. P. 117—150* (<http://www.avtobiografija.com/article/view/143> (дата обращения: 30.04.2017)). См. также: *Балакин А. Ю., Велижев М. Б. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину А. Л. П...» // Новое литературное обозрение. 2007. № 86. С. 123—133.*

<sup>2</sup> О смысле термина см.: *Зорин А. Л. Разлука с семьей весной 1797 года: двойная идентичность Михаила Муравьева // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 188—201.*

<sup>3</sup> О полемиках 1800-х годов с участием Дмитриева см., прежде всего: *Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 9—53.*

<sup>4</sup> Неизданная статья (графа) Д. Н. Блудова по поводу критики Каченовского на сочинения И. И. Дмитриева // *Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 278. См.: Каче*

Рецензия вызвала бурное негодование поэта, который откликнулся несколькими «злыми» эпиграммами, распространявшимися в письмах и, вероятно, в устных разговорах и опубликованными уже после смерти Дмитриева:

1) «Нахальство, Аристарх, таланту не замена;  
Я буду все поэт, тебе наперекор!  
А ты — останешься все тот же крохобор,  
Плюгавый выползок из (гузна) Дефонтена»;<sup>5</sup>

2) «Ему плетет венец терновый Каллиопа,  
А родина давно признала в нем Эзопа»;<sup>6</sup>

и, возможно,

3) «Не понимаю я, откуда мысль пришла  
Клеону приписать Фуфоновой „Цирцею“?  
Цирцея хитростью своею  
Героев полк в зверей оборотить могла,  
А эта — мужа лишь, да и того в козла!»<sup>7</sup>

Дмитриев провел резкую демаркационную линию между различными системами ценностей: в своих эпистолярных суждениях об отзыве Каченовского он демонстративно отстранился от какой бы то ни было связи с литературным миром, но вместе с тем объяснил журнальную выходку критика его низким социальным статусом и незнанием норм светского поведения. Говоря о Каченовском, Дмитриев особо подчеркивал, во-первых, его низкое происхождение, во-вторых, его также невысокое положение в университетской иерархии — «бурсак», «малороссийский школьник», «магистр».<sup>8</sup>

Суть полемического жеста Дмитриева состояла в проекции конфликта на ставший к тому времени хрестоматийным сюжет из истории французской литературы *новский М. Т.* [Рец. на:] Сочинения и переводы Ив. Дмитриева. Ч. III. М., 1805 // Вестник Европы. 1806. № 8. С. 290—291, 296.

<sup>5</sup> Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений / Сост., вступ. статья и комм. Г. П. Макогоненко. Л., 1967. С. 357 (Библиотека поэта. Большая сер.). Впервые опубликовано: Русский архив. 1867. № 5—6. С. 985.

<sup>6</sup> Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. С. 357. Впервые опубликовано: Русский архив. 1867. № 5—6. С. 983.

<sup>7</sup> Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. С. 358. Впервые опубликовано: Русский архив. 1867. № 5—6. С. 982. О французском источнике третей эпиграммы см.: *Добрицын А.* Вечный жанр. Западноевропейские истоки русской эпиграммы XVIII — начала XIX века. Верне, 2008. С. 180—181. Полемический контекст позволяет дополнить версию М. Н. Лонгинова, считавшего, что эпиграмма «Не понимаю я, откуда мысль пришла...» «направлена против некоей дамы, которой приписывался один из переводов „Цирцеи“» (Там же. С. 180). Дело в том, что формальным поводом к ссоре Дмитриева и Каченовского в 1806 году послужило недоразумение, возникшее при подготовке к печати в «Вестнике Европы» державинского перевода кантаты Ж.-Б. Руссо — «Цирцеи» (две версии случившегося — соответственно М. А. Дмитриева и Д. Н. Блудова — см.: *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 115—116; Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грога. СПб., 1869. Т. 2. С. 342). Спор шел вокруг правки, внесенной в текст Державина, — достоверно так и неизвестно, кому она принадлежала — Дмитриеву или Каченовскому. Эпиграмма заставляет предположить, что Дмитриев от переделки кантаты решительно отказывался.

<sup>8</sup> Из более поздних отзывов Каченовского мы знаем, что критик отчетливо представлял себе социальный подтекст обвинений, предъявляемых ему Дмитриевым, Вяземским и их литературными союзниками: «Мы мужики, деревеньщина перед образованными литераторами: поем, шумим, спорим, говорим, точно как крестьяне или как неученые дети; и как они упоминают о вельможах, только лишь по слуху им известных, так мы болтаем о Фукидидах, Софоклах, Анакреонтах, Цицеронах, Горациях, никого из них в глаза не зная. Вот что у нас делается на Парнасе! И при таких обстоятельствах партии!. И в партиях есть люди, способные вредить тому, кто возвысил бы свой голос и сказал бы некоторые им неприятные истины!» (письмо М. Т. Каченовского к Н. И. Гнедичу от 12 июля 1820 года: Русский архив. 1868. № 6. С. 972). Ср. письмо Д. В. Дашкова к К. Н. Батюшкову от 12 июля 1812 года: «Арзамас»: Сборник. В 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 200.

середины XVIII века, на взаимоотношения Вольтера и его критиков. Тема французских журналистов XVIII века возникла в первом же письме Дмитриева к А. И. Тургеневу о конфликте с Каченовским, удостоившимся известного определения — «плюгавый выползок из гузна Дефонтена».<sup>9</sup>

«Плюгавый выползок из гузна Дефонтена» — как известно, это буквальный перевод строки из сатиры «Бедняга» («Le pauvre diable») Вольтера<sup>10</sup> (1760), обращенной к литературному критику Э.-К. Фрерону,<sup>11</sup> — «Vermisseau né du cul de Desfontaines».<sup>12</sup> Аббат Пьер-Франсуа Гийо-Дефонтен (1685—1745) прославился как переводчик с английского языка, журналист и яркий полемист с хорошо узнаваемым стилем. Он сотрудничал в «Journal des Savants» (1725—1727), издавал «Le Nouvelliste de Parnasse» (1731—1732), «Observations sur les écrits modernes» (1735—1743) и «Jugements sur quelques ouvrages nouveaux» (1744—1745).<sup>13</sup> Однако в большей степени Дефонтен стал известен как первый литературный враг Вольтера.<sup>14</sup> Эли-Катрин Фрерон, издатель знаменитого в XVIII веке журнала

<sup>9</sup> «Плюгавцем» В. И. Майков назвал В. П. Петрова в «Елисее, или Раздраженном Вакке» (1771): «Иль воскресения уж мертвых быть не чают, / И не страшатся быть истязаны за то, / Что Ломоносова считают ни за что? / Постраждут, как бы в том себя не извиняли, / Коль славного певца с плюгавцом соравняли. / Но умченья, кажется, довольно им сего, / Что бредни в свете их не стоят ничего» (*Майков В. И.* Избр. произведения / Вступ. статья, подг. текста и прим. А. В. Западова. М.; Л., 1966. С. 89 (Библиотека поэта. Большая сер.)). Однако после того, как Дмитриев в 1806 году «за-» Каченовского стихом из Вольтера (выражение из письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 18 сентября 1818 года: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 122), прозвище стало прочно ассоциироваться с Каченовским: «Уймись — и прежним ты стихом доволен будь: / Плюгавый выползок из гузна Дефонтена!» (*Пушкин А. С.* «На Каченовского» «Бессмертною рукою раздавленный зоил...» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2. Кн. 1. С. 29; «Читал ли ты плюгавое произведение плюгавого Каченовского в „Вестнике Европы“?» (письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 30 июля 1818 года: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 111); «Пиши против плюгавца» (Письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 12 марта 1819 года о Каченовском: Там же. С. 201); «Но мне самому скучно и совестно занимать вас нашими литературными плюгавцами» (Письмо И. И. Дмитриева к П. А. Вяземскому от 8 марта 1820 года о критиках Карамзина: Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому // Старина и новизна. СПб., 1898. Кн. 2. С. 135); «Беда только в том, что я один если не из хороших, то, по крайней мере, из честных полемиков, и потому всегда ити сам должен наскочить на какого-нибудь плюгавца, или какому-нибудь плюгавцу дать наскочить на себя» (Письмо П. А. Вяземского к Д. В. Дашкову от 30 мая 1824 года: «Армазас»: Сборник. Кн. 2. С. 420) и др. Дефиниция «крохобор» из эпиграмы Дмитриева на Каченовского 1806 года («Нахальство, Аристарх, таланту не замена / Я буду все поэт тебе наперекор, / А ты останешься все тот же крохобор, / Плюгавый выползок из гузна Дефонтена») также стала источником позднейшей полемической терминологии. См., например: «Чем бы Каченовскому наполнить „Вестник“, если бы не крохоборил в „Литовском кувьере“?» (письмо И. И. Дмитриева к А. И. Тургеневу от 1819 года: Письма 1806—1823 годов Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) к Александру Ивановичу Тургеневу (1784—1845) // Русский архив. 1867. № 7. Стлб. 1115); «Менее ли экземпляров разоидется истории Карамзина в империи от сборника Каченовского? Воейков, кажется, готовит ответ: пусть воюют крохоборы за свои крохи» (письмо А. И. Тургенева к И. И. Дмитриеву от 12 апреля 1821 года: Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву. 1816—1837. М., 1867. С. 199).

<sup>10</sup> О влиянии Вольтера на Дмитриева см., например, комментарий В. Э. Вацуры: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 442.

<sup>11</sup> См.: *Томашевский Б.* Пушкин — читатель французских поэтов // Пушкинский сборник памяти профессора Семена Афанасьевича Венгерова. М.; Пг., 1922. С. 223 (Пушкинист IV).

<sup>12</sup> *Voltaire. Le pauvre diable // Voltaire. Œuvres complètes.* [Kehl], 1784. Т. 14. Р. 133. В русском прозаическом переводе сатиры, выполненном И. Рахманиновым, упоминание Дефонтена отсутствовало: Сатирический дух г. Волтера, или Собрание некоторых любопытных сатирических его сочинений. СПб., 1789. С. 73—74 (1-й pag.).

<sup>13</sup> Подробнее о биографии Дефонтена см.: *Morris Th.* L'Abbé Desfontaines et son rôle dans la littérature de son temps. Genève, 1961.

<sup>14</sup> См. реплику Вольтера о Дефонтене в письме к Н.-К. Тирью от 10 декабря 1738 года: «Я его ненавижу, презираю, не боюсь и не упущу ни одной возможности наказать его. Я умею ненавидеть, потому что умею и любить» («Je le hais, je le méprise, je ne le crains pas, et je ne perdrai aucune occasion de le punir. Ja sais haïr parce que je sais aimer» (*Voltaire. Œuvres complètes.* Т. 53. Р. 123). Здесь и далее пер. с фр. мой. — М. В.

«L'Année littéraire», известного и в России,<sup>15</sup> являлся учеником, сотрудником и затем полноправным «наследником» Дефонтена.<sup>16</sup> С легкой руки Вольтера и его литературных союзников имя Фрерона стало нарицательным при обозначении завистливого критика.<sup>17</sup> Несмотря на то, что тексты Фрерона были общедоступны, а его линия в критике имела своих весьма влиятельных продолжателей (Ж.-Л. Жоффруа из «Journal des Débats»), Фрерон зачастую воспринимался сквозь призму полемических текстов Вольтера.

Негативный образ французского критика в России начала XIX века был овящен авторитетом Карамзина. В «Письме к Издателю» (1802) Карамзин писал: «...вообрази бедного автора, может быть добродушного и чувствительного, которого новый Фрерон убивает одним словом!»<sup>18</sup> Д. В. Дашков в письме Н. Ф. Грамматину в 1805 году так рассуждал о конфликте аббата Дефонтена с Вольтером: «Мне досадно только то, что ты обижаешь Вольтера, говоря, что он упал в тех местах, где ругает своих противников. Я теперь не могу вспомнить того места, которое ты привел в пример, и следственно не могу защитить его от твоего яростного нападения; но есть много таких мест, которые делают честь если не сердцу, то по крайней мере перу его. К тому ж должно сказать, что он не начинал первый ни с кем браниться; а с Дефонтемом поссорился он не за критику его трагедии, что случилось гораздо после, а за то, что сей подлец, облагодетельствованный Вольтером, осмелился написать на него пасквиль. Итак, остерегайся, любезный друг, судить несправедливо такого человека, который, конечно, достоин нашего почтения и благодарности».<sup>19</sup> Анализ журнальных публикаций первой половины 1800-х годов, связанных с именем Жоффруа (на тот момент еще пишущего критика), также высвечивает его негативную репутацию «ругателя», покушающегося на признанные литературные авторитеты.<sup>20</sup> Упоминания французских журналистов в отрицательном контексте можно найти и в текстах более позднего времени — вплоть до полемики 1818 года и далее. Остроумие Фрерона и Жоффруа, известное из отчета В. Л. Пушкина о своем путешествии в Париж: «„Le Journal des Débats” и „l'Observateur François” любопытнее всех прочих журналов. Жоффруа заступил здесь место покойного Фрерона; ругает и критикует Вольтера, Жан-Жака, и проч. Он пишет очень умно и забавно и все читают с удовольствием его журнал — даже и враги его»,<sup>21</sup> — скорее, исключение из общего числа негативных откликов, фиксирующих сам факт «фреронической» иронии.<sup>22</sup> В высшей степени характерно противопоставление Фрерона

<sup>15</sup> Рогов К. Ю. Из материалов к биографии и характеристике взглядов А. А. Шаховского // Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 73.

<sup>16</sup> О Фрероне подробнее см.: Biard-Millerieux J. L'esthétique d'Élie-Catherine Fréron 1739—1776. Littérature et critique au XVIII-e siècle. Paris, 1985.

<sup>17</sup> «Имя Фрерона стало ругательством...» («Le nom de Fréron est devenu une injure...»: Voltaire. Les honnêtetés littéraires // Voltaire. Œuvres complètes. Т. 48. Р. 20). О взаимоотношениях Фрерона и Вольтера см.: Braun Th. E. D. Voltaire's perception of truth in quarrels with his enemies // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. 1967. Vol. 55. P. 287—297; Williams D. Voltaire's guardianship of Marie Corneille and the pursuit of Freron // Ibid. 1972. Vol. 98. P. 27—47.

<sup>18</sup> Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Л., 1964. Т. 2. С. 176.

<sup>19</sup> Письма Д. В. Дашкова к Н. Ф. Грамматину // Библиографические записки. 1859. № 9. Стлб. 258.

<sup>20</sup> См.: Спор о Вольтере // Вестник Европы. 1802. № 7. С. 237—240; Вольтер и Мабли. Разговор в царстве мертвых (Из «Минервы») // Там же. 1804. № 17. С. 58—59, 61; Новые заблуждения известного Мерсье // Там же. № 18. С. 139; Смесь // Там же. 1805. № 5. С. 62—63; см. также позднее свидетельство К. Н. Батюшкова в «Путешествии в замок Сирей. Письмо из Франции к г. Д.» (после 1814 года) (Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 111); о других сторонах репутации Жоффруа в России см.: Рогов К. Ю. Из материалов к биографии и характеристике взглядов А. А. Шаховского. С. 83—86.

<sup>21</sup> Пушкин В. Письмо русского путешественника из Парижа // Вестник Европы. 1803. № 20. С. 250.

<sup>22</sup> Жуковский В. А. О критике (1809) // Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 223.

и «нравственности» в письме К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу от 1 апреля 1810 года: «У вас в Питере Каченовский — бритва парнасская, родной брат Фрерона, но нравственности прекрасной, человек истинно добрый; по крайней мере так говорят его приятели. Познакомься с ним».<sup>23</sup>

Сатира «Бедняга» относилась к числу текстов Вольтера, направленных на открытое унижение и осмеяние его литературных противников. Она была написана в 1760 году во время полемики вокруг комедий Ш. Палиссо «Философы» («Les Philosophes») и Вольтера «Шотландка» («L'Écossaise») и содержала в себе сниженные характеристики многих врагов Вольтера, в том числе и Фрерона. «Бедняга» — образец бескомпромиссной литературной борьбы, явление, которое Вяземский позже объяснил следованием библейскому принципу «око за око и зуб за зуб».<sup>24</sup> Афористичное уподобление Фрерона экскрементам Дефонтена — яркий пример такой полемической стратегии.

Кроме того, Вольтер подчеркивал негативную преемственность между Дефонтемом и Фрероном, имевшую под собой, как уже было сказано, конкретные биографические основания. Эта деталь укладывалась в общую схему развития французской «низкой» журналистики, легитимирующей себя исключительно через оппозицию Вольтеру. Согласно «ветхозаветной» шутке аббата Вуазенона, «*Зоил роди Мевия, Мевий роди Гийо Дефонтена, Гийо роди Фрерона, сам Фрерон роди Клемана, вот как приходят в упадок великие дома*».<sup>25</sup> В рамках этой схемы противник Вольтера оказывался вписанным в универсальный ряд завистников таланта. Дмитриев таким образом включал Каченовского в контекст вечного противостояния «талантов» и их критиков.<sup>26</sup>

Каченовский оказывался в этой перспективе не только «Фрероном», но и буквально «наследником Дефонтена». Как видно из писем к А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому, Дмитриев не соотносил историю французской журналистики с историей русской: у Каченовского-Фрерона не было никакого предшественника — «русского Дефонтена». Каченовский олицетворял и того, и другого, представлял универсальный тип завистливого критика. Именно поэтому Каченовский на-

<sup>23</sup> Батюшков К. Н. Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 130; курсив мой. — М. В.). См. также о Дефонтене, Фрероне и Каченовском: «Нелепые ругательства Дефонтемов, Фреронов, Лабомелев, Нонотов и других могут по крайней мере оправданы быть обиженным самолюбием, расчетами корысти или ослеплением зависти; но где найти оправдание для нашего современника, который охотою идет опспаривать у Вольтера славу, уже на незыблемом основании утвержденную судом народов и потомства» (Вяземский П. А. О новых письмах Вольтера // Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1878. Т. I: Литературные критические и биографические очерки. 1810—1827. С. 66). Фрерона упоминал Вяземский и в статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» (Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. СПб., 1823. Ч. I. С. XLVII).

<sup>24</sup> «Но ведь дело в том, что у меня была полемическая натура. Дмитриев и я принадлежали литературе (sic!) 18 века: в котором Вольтер и другие держались старозаветного закона: зуб за зуб и око за око» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1195. Л. 1. Комментарий Вяземского к «Литературным воспоминаниям» неустановленного автора). Ср.: Вяземский П. А. Из «Автобиографического введения» // Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. I. С. 109.

<sup>25</sup> «*Zoile genuit Mevium, Mevius genuit Guyot Desfontaines, Guyot genuit Freron, Freron autem genuit Clement, & voilà comme on dégénère dans les grandes maisons*» (Voltaire. Commentaire historique sur les oeuvres de l'auteur de la Henriade. 1776 // Voltaire. Œuvres complètes. Т. 48. Р. 211). В литературной ситуации начала XIX века наследником Фрерона оказывался уже не Клеман, а критик Вольтера и энциклопедист Жюффруа. Образцы подобной генеалогии встречал и в России: «Несчастный журнал! он точно попал из Харибды в Сциллу. Карамзин роди П. Сумарокова, Сумароков же роди Жуковского. Жуковский роди Каченовского, сей же роди Измайлова — и, кроме родоначальника и его внука, кто из его поколения не старался перещеголять других журналистов в искусстве усыплять своих читателей?» (Письмо Д. В. Дашкова к П. А. Вяземскому от 24 апреля 1814 года: «Арзамас»: Сборник. Кн. 1. С. 222).

<sup>26</sup> Ср.: «На лице иного, и не проникая в таинства учения Лафатера, можно уверительно прочесть, что смотря по времени и месту был бы он Зоилом Гомера, Дефонтемом Вольтера, щепетильным придирщиком Карамзина» (Вяземский П. А. О новых письмах Вольтера. С. 67). См.: Гиллельсон М. И. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 37.

делялся званиями «московского Фрерона» и «московского Жоффроа» одновременно.<sup>27</sup>

Наконец, указанием на Дефонтена Дмитриев контекстуализировал собственный конфликт с Каченовским. Строка «плюгавый выползок из гузна Дефонтена» приводилась только в письме Тургеневу, однако вполне уместно предположить, что и другим корреспондентам и союзникам Дмитриева — Жуковскому, Блудову, П. И. Шаликову, В. Л. Пушкину и др. — могли быть известны стих и содержащая его эпиграмма. Тем самым конфликт Вольтера с Дефонтеном 1730-х годов имплицитно вводился Дмитриевым в подтекст российской полемики. Цитатой из сатиры «Бедняга» поэт немедленно вызывал в памяти своих адресатов ряд хорошо известных текстов Вольтера, связанных с историей его взаимоотношений с французскими критиками. Посмертные собрания сочинений Вольтера (прежде всего, знаменитое «*édition du Kehl*», 1780-е годы) сопровождалось комментариями, так что причастность того или иного текста к истории литературных полемик с участием Дефонтена или Фрерона идентифицировать было относительно нетрудно.

Издатель «Вестника Европы» своей рецензией нарушал ряд правил светского общепития, бывших предметом особого культа Дмитриева.<sup>28</sup> Во-первых, Каченовский (будучи не «светским человеком», а «бурсаком») «не умел наблюдать деликатность».<sup>29</sup> Это выразилось, главным образом, в том, что критик включил в свою рецензию личный выпад против Дмитриева. Во-вторых, Каченовский на страницах популярного в России журнала свободно рассуждал о темах, уместных, с точки зрения поэта, лишь в сугубо приватном разговоре. Дмитриев специально оговаривал, что также критиковал язык Каченовского, однако делал это наедине, в рамках «дружеской» конфиденциальной беседы. Совокупность этих претензий складывалась в единый, резко отрицательный образ социально низкого журналиста, неблагодарного завистника, Дефонтена или Фрерона, описанного в ключевом, на наш взгляд, для понимания позиции Дмитриева тексте Вольтера — «*Mémoire sur la satire*» («Записка о сатире», 1739).

Предположение о том, что Дмитриев мог обратить внимание на «Записку о сатире» именно весной 1806 года, кажется вполне обоснованным. Как отметил В. Э. Вацуру, «в марте 1806 г. Дмитриев (...) впервые вышел на авансцену (...) как некий символ, персонификация таланта, преследуемого завистью».<sup>30</sup> Дмитриев, Шаликов и В. Л. Пушкин на страницах «Московского Зрителя» атаковали Д. И. Хвостова и литераторов «Друга Просвещения». Хвостов, в свою очередь, ответил Дмитриеву в первых номерах своего журнала. Анонимное послание «К Павлу Ив. Г. Кутузову» (автором которого по убедительному предположению Вацуру, был сам Хвостов<sup>31</sup>) содержало подробную критику «завистников», «Зоилов и Бавиев», пишущих на Кутузова-Пиндара оскорбительные сатиры, эпиграммы и рецен-

<sup>27</sup> «Московский Жоффроа» (Письмо В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому от 11 января 1812 года: Михайлова Н. И. Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому // Пушкин. Материалы и исследования. Л., 1983. Т. XI. С. 215); «Московский Фрерон» (Там же. С. 222); «Ваш Фрерон Каченовский» (Письмо В. Л. Пушкина к Д. Н. Блудову от 23 мая 1812 года: «Арзамас»: Сборник. Кн. 1. С. 195) и др. С Жоффроа сравнивал Каченовского Д. Н. Блудов в своем неопубликованном ответе на рецензию критика на третий том «Сочинений и переводов» И. И. Дмитриева (Неизданная статья (графа) Д. Н. Блудова по поводу критики Каченовского на сочинения И. И. Дмитриева. С. 267).

<sup>28</sup> См.: Песков А. М. Поэт и стихотворец Иван Иванович Дмитриев // Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 9—10. При этом М. А. Дмитриев интерпретировал светскость своего дяди как холодность и равнодушие ко всему, что выходит за рамки светских отношений, а кн. Вяземский, наоборот, видел в манере Дмитриева держаться черты столь дорогой ему блестящей французской салонной культуры XVIII века.

<sup>29</sup> Дмитриев И. И. Сочинения: [В 2 т.]. СПб., 1893. Т. 2. С. 207.

<sup>30</sup> Вацуру В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // Вацуру В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 37.

<sup>31</sup> Там же.

зии.<sup>32</sup> Обвинения, в частности, адресовались самому Дмитриеву. Именно в эти месяцы вопрос о природе сатиры приобретал для него особое значение.<sup>33</sup>

Открыто «сатирический» подтекст полемики Дмитриева с его противниками был декларирован в прямом ответе оппонентам в «Московском Зрителе» Шаликова. В шестом июньском номере журнала была опубликована басня Б. К. Бланка «Павлин и Орел», к которой было сделано примечание: «А иной — что еще примечательнее — написал гнусный пасквиль, и почитает себя остроумным сатириком. Но кто не вспомнит прекрасных Вольтеровых стихов?

On peut à Despréaux pardonner la satire,  
Il joignit l'art de plaire au malheur de médire:  
Le miel que cette abeille avait tiré des fleurs  
Pouvait de sa piqûre adoucir les douleurs;  
Mais pour un lourd frelon méchamment imbécile,  
Qui vit du mal qu'il fait, et nuit sans être utile,  
On écrase à plaisir cet insecte orgueilleux,  
Qui fatigue l'oreille et qui choque les yeux».<sup>34</sup>

Точного адресата реплики назвать со всей определенностью трудно. Объектом высказывания вполне мог быть Хвостов, который в майском номере «Друга Просвещения» за 1806 год опубликовал оду «Гремушка», в которой Дмитриев в решающий момент текущей войны с Францией обвинялся в вольнодумстве. Ода могла быть расценена как открытый политический донос, пасквиль.

Равным образом обвинение в «пасквильянтстве» могло адресоваться Каченовскому как автору рецензии на третий том сочинений Дмитриева. В пользу этой версии говорит, во-первых, тот факт, что именно критические статьи Каченовского подали повод к резким по тону жалобам Дмитриева в письмах друзьям от мая 1806 года. Во-вторых, Дмитриев мог воспринять «личности», открыто допущенные Каченовским в его рецензии, как пасквиль: уподобление «Вестника Европы» «котомке, висящей на Пасквиновой статуе»,<sup>35</sup> только подтверждает это предположение.

Вольтеровский контекст заметки в «Московском зрителе» также позволяет говорить о том, что именно Каченовского имел в виду автор примечания. Приведенная выше цитата — отрывок из «Третьего рассуждения в стихах. О Зависти» («Troisième discours en vers. De l'Envie») Вольтера (1738), текста, легшего затем в основу знаменитого «Послания к М. Т. Каченовскому» Вяземского (1821), во многом инспирированного Дмитриевым.<sup>36</sup> Не исключено, что Дмитриев поспособствовал появлению и сноски в журнале Шаликова: в «Рассуждении о Зависти» Вольтер

<sup>32</sup> Друг просвещения. 1806. № 3. С. 218—220.

<sup>33</sup> Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века. С. 38. Впрочем, отметим, что с Вольтером сравнивали себя и оппоненты Дмитриева, в частности Хвостов (см. его письмо к Х. О. Кайсарову от 12 апреля 1806 года: ОПИ ГИМ. Ф. 445. Оп. 1. Ед. хр. 151. Л. 60).

<sup>34</sup> Московский зритель. 1806. № 6. С. 45—46. Перевод: «Можно простить сатиру Дездемо, / Он соединил искусство нравиться и горе злословья: / Мед, что сия пчела извлекала из цветов, / Может смягчить боль от ее укуса; / Но что до тупого, злого и нелепого шершня, / Живущего творимым им злом, вредящего и не приносящего никакой пользы, / То раздавим с удовольствием это наглое насекомое, / Тяготящее слух и оскорбляющее взор».

<sup>35</sup> Письма 1806—1823 годов Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) к Александру Ивановичу Тургеневу (1784—1845). Стлб. 1074.

<sup>36</sup> О литературном контексте послания Вяземского см.: Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 475—476 (комм. К. А. Кумпан). Во время работы над «Посланием к М. Т. Каченовскому» Вяземский просил Шаликова найти ему номера «Вестника Европы» за 1806 год с рецензией критика на третий том «Сочинений и переводов» Дмитриева: «...не мог отыскать до сих пор желаемой Вами кн(иги) Вестника будто бы Европы; но Каченовский будто бы Лагарп не положил, кажется, на критику свою печати, достойной Вашего любопытства: вся соль его — не Аттическая, а Нежинская...» (письмо П. И. Шаликова к П. А. Вяземскому от 21 сентября 1821 года: РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3034. Л. 7 об. — 8).

описывал именно аббата Дефонтена.<sup>37</sup> Как представляется, именно «Записка о сатире» (полное название: «*Mémoire sur la satire, à l'occasion d'un libelle de l'abbé Desfontaines contre l'auteur*») легла в основу полемической стратегии Дмитриева в 1806 году.

В «Записке о сатире» Вольтер не только повествовал о фактической истории этого жанра во Франции, но и дал теоретическое обоснование «позволенной литературной критике» («*la critique permise*»). В основе воззрений Вольтера лежало представление о политесе, об искусстве беседы, регулирующем отношения между «порядочными людьми» («*les honnêtes gens*»): «Я полагаю, что всем людям свойственно неприятие пренебрежительного отношения к ним, столь же обязательное для разговора в обществе и прогресса искусств, как голод и жажда служат нам к сохранению жизни. Любовь к славе не столь распространена, но невозможность выносить пренебрежение кажется всеобщей. Человек больше не может жить с теми, кто постоянно выказывает ему презрение, как не может существовать с убийцами, всякий день наносящими ему раны. (...) Человеческая вежливость состоит лишь в том, чтобы придерживаться этого неодолимого отвращения, которое человеческая природа будет всегда иметь по отношению ко всему, что имеет характер пренебрежения. Первое правило доброго воспитания во всех странах состоит в том, чтобы никогда не говорить никому ничего оскорбительного. (...) Критиковать на бумаге позволено, без сомнения, лишь так, как принято спорить в разговоре. Следует держаться истины, но можно ли уязвлять из-за нее человечество? Можно ли отступаться от умения жить, если льстишь себе, что умеешь писать...»<sup>38</sup>

Во французской светской культуре XVIII века политес считался необходимым условием для разрешения интеллектуальных конфликтов. В его основе лежало представление об удовольствии как фундаментальной характеристике салонной беседы.<sup>39</sup> Политес позволял решать возникающие в обществе споры, при этом не обнаруживая самого факта столкновения и тем самым не унижая ни одну из конфликтующих сторон. Этот регулятивный социальный механизм функционировал как свободный обмен мнениями, корректное соперничество. Прямая критика допускалась (впрочем, далеко не всегда) лишь в интимном, находящемся за гранью светских условностей разговоре, но никак не на публике. Наоборот, в присутствии других людей следовало избегать открытого осуждения какого бы то ни было произведения или же тонко намекать на недостатки, так, чтобы сам упрек становился частью салонной игры.<sup>40</sup> Соответственно, призыв соотносить критику с правилами

<sup>37</sup> Кроме того, строка «*Mais pour un lourd frelon méchamment imbécile*» после появления комедии Вольтера «Шотландка» (1760) ассоциировалась с Френоном. В комедии Вольтер вывел наследника Дефонтена в образе продажного журналиста *Frelon'a*, «шершня». Кроме того, вспомним, что «дефонтовский» пласт полемики в 1806 году был «на слуху»: в первом номере «Московского зрителя» Б. К. Бланк опубликовал анти-шишковскую эпиграмму «Когда услышал наш Бездаров», заимствованную, как показывает А. А. Добрицын, из эпиграммы А. Брэ, направленной против аббата Дефонтена (*Добрицын А. Вечный жанр. С. 220*).

<sup>38</sup> «*Je crois qu'il y a dans tous les hommes une horreur pour le mépris, aussi nécessaire pour la conversation de la société & pour le progrès des arts, que la faim & la soif le sont pour nous conserver la vie. L'amour de la gloire n'est pas si général, mais l'impossibilité de supporter le mépris paraît l'être. Il n'est pas plus dans la nature qu'un homme puisse vivre avec des hommes qui lui feront sentir des dédains continuels, qu'avec des meurtriers qui lui feraient tous les jours des blessures. (...) Aussi toute la politesse des hommes ne consiste qu'à se conformer à cette horreur invincible que la nature humaine aura toujours pour ce qui porte le caractère de mépris. La première règle de l'éducation dans tous les pays est de ne jamais rien dire de choquant à personne. (...) Il n'est permis de critiquer par écrit, sans doute, que de la même façon dont il est permis de contredire dans la conversation. Il faut prendre le parti de la vérité, mais faut-il blesser par cela l'humanité? faut-il répondre à savoir vivre parce qu'on se flatte de savoir écrire...» (*Voltaire. Mémoire sur la satire, à l'occasion d'un libelle de l'abbé Desfontaines contre l'auteur, 1739 // Voltaire. Œuvres complètes. T. 47. P. 481—482*).*

<sup>39</sup> Подробнее см.: *Craveri B. La civiltà della conversazione. Milano, 2001. P. 321—332.*

<sup>40</sup> См., например, в «Философском словаре» («*Dictionnaire philosophique*») статью «Тонкость» («*Finesse*»): «Тонкость в творениях остроумия, как и в разговоре, состоит в искусстве не



возражений в светской беседе подразумевал введение в рецензию такой нормы салонного разговора, как умение позволить собеседнику продемонстрировать в диалоге свои лучшие интеллектуальные качества. Как представляется, именно это правило лежало в основе критики-«похвалы», цель которой заключалась исключительно в освещении «красот» рассматриваемого произведения. В своей «энциклопедической» статье «Критик» («Le Critique») Ж.-Ф. Мармонтель канонизировал такой взгляд на природу критики, сославшись на противостояние Вольтера с его литературными врагами: «...превосходный критик оставляет гению полную свободу: он ждет от него лишь великих вещей и побуждает создавать их. Посредственный критик подчиняет гения игу правил; он требует только точности и выводит из нее лишь холодное подчинение правилам и рабское подражание. (...) Но насколько превосходный критик выше критика посредственного, настолько последний вознесен над критиком невежественным. То, что последний знает о каком-либо жанре, исчерпывает, по его мнению, все, что можно об этом знать: замкнутый в своей сфере, собственный взгляд служит ему мерой всего: обделенный образцами и объектами сравнения, он сводит все к себе самому... Последние представители этого класса суть те, кои „ежедневно нападают на самое лучшее, хвалят самое худшее и делают из благородной литературной профессии ремесло, столь же низкое и презренное, что и они сами” (Вольт.)».<sup>41</sup>

Можно предположить, что Каченовский — «плюгавый выползок из гузна Дефонтена» соотносился Дмитриевым с «невежественным критиком» в классификации Мармонтеля. Каченовский открыто нарушал правила «салонной» литературы: допускал «личности» в критике, упрекал Дмитриева в его погрешностях и, главное, обнажал саму суть их взаимоотношений патрона и клиента. По мнению Дмитриева, Каченовский не принадлежал к «хорошему обществу» и этим объяснялся его чисто литературная стратегия.<sup>42</sup> Употребление критиком «малороссизмов» — результат харьковского образования<sup>43</sup> — подчеркивало его несветскость. Нападки

выражать свою мысль напрямую, но сделать ее легко угадываемой: это загадка, которую умные люди понимают с полуслова (...) Тонкость в разговоре, на письме, отличается от деликатности; первая распространяется как на язвительное, так и приятное, как на порицание, так и на похвалу, даже на неприличные вещи, покрытые вуалью, с помощью которой на них можно смотреть не краснея. С тонкостью можно говорить и дерзости. Деликатность выражает нежные и приятные чувствования, тонкие похвалы; тонкость соответствует более эпиграмме, деликатность — мадригалу» («La finesse dans les ouvrages d'esprit, comme dans la conversation consiste dans l'art de ne pas exprimer directement sa pensée, mais de la laisser aisément apercevoir: c'est une énigme dont les gens d'esprit devint tout d'un coup le mot (...) La finesse dans la conversation, dans les écrits, diffère de la délicatesse; la première s'étend également aux choses piquantes & agréables, au blâme & à la louange même, aux choses mêmes indécentes, couvertes d'un voile, à travers lequel on les voit sans rougir. On dit les choses hardies avec finesse. La délicatesse exprime des sentimens doux et agréables, des louanges fines; ainsi la finesse convient plus à l'épigramme, la délicatesse au madrigal» (Voltaire. Œuvres complètes. Т. 40. Р. 304). Представляется, что по своему значению «деликатность» Дмитриева соответствовала более «finesse», чем собственно «délicatesse».

<sup>41</sup> «...Le Critique supérieur laisse au génie toute la liberté: il ne le demande que de grandes choses, & l'encourage à les produire. Le Critique subalterne l'accoutume au joug des règles; il n'en exige que l'exactitude, & il n'en tire qu'une obéissance froide & qu'une servile imitation. (...) Mais autant que le Critique supérieur est au dessus du Critique subalterne, autant celui-ci l'emporte sur le Critique ignorant. Ce que ce dernier sait d'un genre, est, à son avis, tout ce qu'on en peut savoir: renfermé dans sa sphère, sa vue est pour lui la mesure des possibles: dépourvu de modèles & d'objets de comparaison, il rapport tout à lui-même... Les derniers de cette dernière classe sont ceux qui *attaquent tous les jours ce que nous avons de meilleur, qui louent ce que nous avons de plus mauvais, & qui font, de la noble profession des Lettres, un métier aussi lâche & aussi méprisable qu'eux-mêmes* (Volt.)» (Marmontel J.-F. Le critique littéraire // *Éléments de littérature*, par M. Marmontel. [S. l.] 1787. Т. 1. Р. 269—271).

<sup>42</sup> Социальная составляющая литературной репутации Каченовского отмечена в работе: Зыкова Г. В. Журнал Московского университета «Вестник Европы» (1805—1830 гг.): Разночинцы в эпоху дворянской культуры. М., 1998. С. 35—38.

<sup>43</sup> Каченовский учился в Харьковском коллегииуме.

Каченовского на галлицизмы у Дмитриева в свете невысокого происхождения журналиста выглядели проявлением его социальной ущербности и желания отомстить за «социальное» унижение — нападением на изящный язык лучших писателей.

Взгляды Дмитриева на критику в начале 1800-х годов трудно привести к одному знаменателю: они менялись в зависимости от конкретной литературной ситуации. Дмитриев разделял идеал «дружеской строгой критики», который предусматривал возможность пристального разбора сочинений друга, однако строгость сочеталась здесь с вежливостью, доброжелательностью и сугубой конфиденциальностью.<sup>44</sup> Такой была правка Карамзиным стихотворений Дмитриева,<sup>45</sup> Дмитриевым — стихотворений Державина,<sup>46</sup> советы Карамзина и Дмитриева молодому Жуковскому<sup>47</sup> и т. д. Однако в программной статье для первого номера «Московского зрителя» (январь 1806 года) Дмитриев писал о том, что критический отдел все же необходим журналу.<sup>48</sup> Такая позиция во многом объяснялась тактическими соображениями: вероятно, Дмитриев планировал бороться со своими оппонентами из «Друга Просвещения» в том числе и посредством прямых и резких критических инвектив. Конфликт с Каченовским, вероятно, мог скорректировать точку зрения Дмитриева. С одной стороны, поэт в письмах продолжал утверждать, что критика обладает своей пользой и прагматикой, с другой же, выступал против излишне критичного анализа литературных сочинений в печати: «...но они (критики XVIII века. — М. В.) останавливались только на красотах их. Зачем же? Для того, что хороших поэтов у нас еще не много».<sup>49</sup>

Необходимость критики-«похвалы» прямо соотносилась с точкой зрения на этот жанр Карамзина времен «Вестника Европы». Карамзин противопоставлял критику соперничеству («l'émulation»), «правильному», «благородному» механизму литературной эволюции, как это было во Франции: «Для истинной пользы искусства артист может презирать некоторые личные неприятности, которые бывают для него следствием искреннего суждения и оскорбленного самолюбия людей: но

<sup>44</sup> Подробнее см.: *Тодд III У. М.* Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994. С. 99—103.

<sup>45</sup> Делая Дмитриеву замечания на стихотворение «Ермак» Карамзин отметил: «В хорошем стихотворении я замечаю все и не пропускаю ничего без критики...» (письмо от 6 сентября 1794 года: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 50).

<sup>46</sup> См. выше историю о правке Дмитриевым стихотворений Державина для «Вестника Европы». См. также: [Вяземский П. А.]. Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева. С. XI.

<sup>47</sup> «И. И. Дмитриев, знавший его (В. А. Жуковского. — М. В.) и прежде, особенно обратил на него внимание по выслушании на пансионском акте его пьесы „К поэзии“. Он после акта пригласил его к себе и с этого времени на больше узнал и полюбил его. Угадывая его сильный талант, с тех пор он никогда не пропускал недостатков молодого поэта без строгих замечаний. Щадя способности слабые и немощные, он почтал делом поэтической совести не скрывать недостатков и уклонений от вкуса тех молодых поэтов, которые имели достаточно сил для овладения своим искусством (...) Молодой Жуковский жадно выслушивал замечания Карамзина и Дмитриева и много воспользовался их строгими замечаниями» (*Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти // Дмитриев М. А. Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти / Сост., предисловие и прим. Вл. Б. Муравьева. М., 1985. С. 257—258).

<sup>48</sup> *Дмитриев И. И.* Письмо к Издателю (журнала «Московский зритель») // Дмитриев И. И. Сочинения. М., 1986. С. 266—267. Дмитриев ставил в образец кн. Шаликову статью Вольтера «Советы журналисту...» («Conseils à un Journaliste, sur la philosophie, l'histoire, le théâtre, les pièces de poésie, les mélanges de littérature, les anecdotes littéraires, les langues & le style»; 1763) из первого тома «Литературной смеси» («Mélanges littéraires»). Текст был обращен к издателю «La Gazette littéraire», в которой Вольтер видел возможного конкурента «L'Année littéraire» Фрерона. См., например, письмо к графу Д'Аржанталю от 27 июля 1763 года: «Я получил наконец объявление от господ из „Литературной газеты“; я желаю, чтобы в ней было хоть немного соли, дабы свалить грузного пьяницу друга Фрерона» («J'ai reçu enfin le prospectus de messieurs de la Gazette littéraire; je souhaite qu'on y répandre un peu de sel, afin de faire tomber le gros poivre de l'ami Fréron...») (*Voltaire. Œuvres complètes.* T. 58. P. 161)).

<sup>49</sup> *Дмитриев И. И.* Сочинения. СПб., 1893. Т. 2. С. 207.

точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? И не везде ли таланты предшествовали ученому, строгому суду? *La critique est aisée, et l'art est difficile!* Пиши, кто умеет писать хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги! — С другой стороны, вообрази бедного автора, может быть добродушного и чувствительного, которого новый Фрерон убивает одним словом! (...) Но если выйдет нечто изрядное, для чего не похвалить? Самая умеренная похвала бывает часто великим ободрением для юного таланта». <sup>50</sup>

Дмитриев еще в 1805 году в письме к Д. И. Языкову указывал на литературное соперничество как единственную форму критики, что напрямую соотносилось с декларациями Карамзина в «Вестнике Европы». <sup>51</sup> Именно практика «благородного» соперничества стояла в подтексте протекции, которую Дмитриев оказывал в начале 1806 года начинающему баснописцу И. А. Крылову. Так, Шаликов вспоминал в 1845 году в письме к Вяземскому о баснях Крылова, «из которых первые привез мне равномерно незабвенный Иван Иванович Дмитриев для моего журнала («Московского зрителя». — М. В.), сказав:

„Cherissons le rival qui peut nous surpasser;  
Montrez-moi mon vainqueur et je cours l'embrasser”». <sup>52</sup>

Настойчивая апелляция к необходимости заниматься сенаторскими обязанностями и стремление быть «выше» любых журнальных конфликтов («Господину же критику отвечать не намерен. Пусть он останется в сладкой уверенности, что властен управлять вкусом публики и раздавать свои венцы или отнимать их когда захочет»; «Но теперь я буду гораздо осторожнее; я ставлю себя выше того, чтоб оскорбляться критикой какого-нибудь Каченовского»; «я, право, равнодушен» <sup>53</sup>) подразумевали обращение к еще одной хорошо известной и многожды опробованной литературной стратегии — «молчанию», «горацианскому» равнодушию к суждению толпы. В истории русской культуры начала XIX века подобная позиция, в первую очередь, ассоциировалась с репутацией Карамзина, не отвечавшего своим оппонентам ни во время атак со стороны Шишкова и его сторонников, ни позже, в конце 1810-х годов, в полемике карамзинистов с Каченовским вокруг «Записки о достопамятностях Москвы» и «Истории государства Российского». Во французской традиции такой тип поведения часто признавался самым достойным истинного таланта: «Молчание есть, вообще говоря, самая благородная и мудрая позиция... (...) Не продиктован ли этот закон, в наши дни утвержденный общим мнением, исключительным чувством почитания гения и высокой идеей того, что ему надлежит?...» <sup>54</sup>

<sup>50</sup> Карамзин Н. М. Письмо к издателю. С. 175—176. Впервые: Вестник Европы. 1802. № 1. С. 3—8. См. также: Карамзин Н. М. О Богдановиче и его сочинениях // Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 198—226 (впервые: Вестник Европы. 1803. № 9. С. 3—18). Воззрения Карамзина на литературную критику также тесно связаны с «Запиской о сатире» и рядом других текстов Вольтера (подробнее см.: Velizhev M. La profession del critico: le origini della critica letteraria russa. Tesi di dottorato di ricerca. Milano, 2006. P. 26—44).

<sup>51</sup> Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века. С. 20—21.

<sup>52</sup> Пухов В. В. П. И. Шаликов и русские писатели его времени (по архивным материалам) // Русская литература. 1973. № 2. С. 162. Имеется в виду цитата из стихотворения С. Р. Н. Шамфора «Литератор» («Homme de lettres. Discours philosophique en vers»): «Будем же дорожить соперником, способным нас превзойти; / Покажите мне того, кто победит меня, и поспешу его обнять». Строка «Montrez moi mon vainqueur...» была затем вынесена Дмитриевым в эпиграф второй части шестого издания его стихотворений (1823).

<sup>53</sup> Письма 1806—1823 годов Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) к Александру Ивановичу Тургеневу (1784—1845). Стлб. 1075; Дмитриев И. И. Сочинения. СПб., 1893. Т. 2. С. 204.

<sup>54</sup> «...Le parti du silence est, en général, le plus noble & le plus sage... (...) Cette loi aujourd'hui établie par l'opinion, n'a-t-elle été dictée que par un sentiment de vénération pour le génie, & par la haute idée de ce qu'il se doit à lui-même?...» (Éloge de Voltaire; par M. De La Harpe,

Однако, устранившись от участия в журнальных «сражениях», Дмитриев прозрачно намекал своим адресатам, что именно они должны дать отпор обидчику, как это прежде делал сам поэт: «О поступке Каченовского я не скажу ни слова, ибо мне и не ловко, и не прилично быть судьей в собственном деле», «к тому же он уверен, что мне защищать себя не прилично, а другие за меня не вступятся: всяк стоит за себя только. Правда, я не следовал сему правилу, пища „Орел и Змея“, „Осел и Кабан” и другие подобные пьесы. Но, может быть, поступок мой отнесут более к моей простоте и неосторожности»; «Самому за себя вступаться не ловко, а другим какая нужда!»<sup>55</sup> Дмитриев таким образом стремился нанести поражение Каченовскому «на поле противника», т. е. на страницах журнала. Призыв к помощи, обращенный к друзьям, соотносился с позицией Вольтера, изложенной в письмах времен конфликта с Дефонтемом. Вольтер также отказывался реагировать на нападки, неоднократно призывая своих друзей вступить за его честь: «Мне так скучно, что нет даже сил сердиться на аббата Дефонтема. Но вы, мои друзья, знающие, что я сделал для него, можете ли вы переносить то, с какой неблагодарностью и несправедливостью он говорит обо мне в своих листках? (...) низость, с которой он старается оклеветать меня, должна воодушевлять моих друзей, и именно им надлежит говорить за меня».<sup>56</sup>

Необходимость прямого или косвенного ответа критику оправдывалась наличием в антивольтеровских текстах Дефонтема личных оскорблений. Вольтер, в частности, различал два традиционных типа критики — с нападками на сами произведения и с персональными выпадами против их автора. На первые статьи отвечать не следовало, на вторые же реакция должна была быть незамедлительной и максимально жесткой. Критик, задевающий личность, покушался на репутацию Вольтера как «порядочного человека» (*honnête homme*). Восстановить свой пошатнувшийся имидж стоило потому, что именно публика, перед глазами которой разворачивался конфликт, была самым главным, высшим судьей, от решения которого зависел исход спора с критиком: «Из какого бы источника не исходили эти оскорбления, очевидно, что человек, который был атакован лишь на бумаге, не должен никогда отвечать на критики; ибо если они истинны, остается только исправить себя, ежели они худы, то умирают при рождении. (...) Автор всегда обязан забывать о себе, но человек этого делать никогда не должен: *se ipsum deserere turpissimum est*. Происходит так, что те, у кого не хватает ума атаковать наши произведения, клеветают на наши личности; что-то постыдное есть в том, чтобы отвечать им, иногда лучше промолчать... (...) Опровергать критики — свидетельство суетного самолюбия; расстраивать козни клеветы — обязанность».<sup>57</sup>

de l'académie française. Genève, 1780. P. 104). Ср.: «Что касается происходящего в наши дни, то еще больше я должен был жаловаться на Журналистов, более обязан быть настороже против моей собственной горечи: самые невежливые добьются от меня в ответ лишь молчания, и в этом я взял себе за правило обычай большого числа достойных уважения литераторов» («Quant à ce qui se passe de nos jours, plus j'ai eu à me plaindre des Journalistes, plus je dois me tenir en garde contre mon propre ressentiment: les plus malhonnêtes n'ont eu de moi que mon silence pour répondre; & en cela j'ai pris pour règle l'exemple d'un grand nombre d'hommes de Lettres recommandables» (Éléments de littérature, par M. Marmontel. T. I. P. 273; глава «Critique»)).

<sup>55</sup> Дмитриев И. И. Сочинения. СПб., 1893. Т. 2. С. 203, 206; Письма 1806—1823 годов Ивана Ивановича Дмитриева (1760—1837) к Александру Ивановичу Тургеневу (1784—1845). Стлб. 1072.

<sup>56</sup> «...Je suis si ennuyé que je n'ai pas la force de m'indigner contre l'abbé Desfontaines. Mais vous, qui avez de l'amitié pour moi, et qui savez ce que j'ai fait pour lui, pouvez-vous souffrir la manière pleine d'ingratitude et d'injustice dont il parle de moi dans ses feuilles? (...) la lâcheté avec laquelle on cherche à me diffamer, doit exciter le courage de mes amis, et c'est à eux à parler pour moi» (Voltaire. Lettre à M. Thiriot. À Cirey, le 24 septembre 1735 // Voltaire. Œuvres complètes. T. 52. P. 292—293).

<sup>57</sup> «De quelque source que partent ces outrages, il est sûr qu'un homme qui n'est attaqué que dans ses écrits, ne doit jamais répondre aux critiques; car si elles sont bonnes, il n'a autre chose à faire qu'à se corriger; si elles sont mauvaises, elles meurent en naissant. (...) Il faut toujours que

Важно, что Дмитриев, профессиональный «легкий стихотворец», ориентировался на образ «светско-литературного» Вольтера, умевшего адаптироваться к правилам и внутренним законам различных по своему характеру аудиторий. Французские «легкие» поэты ценили в Вольтере именно это качество. Так, кардинал Берни отмечал: «Вольтер, которого я почитаю величайшим умом нашего века, похож на писателя только в обществе писателей, в свете он — учтивый, остроумный и сведущий придворный (*courtisan*)».<sup>58</sup> Умение быть светским человеком будучи при этом литератором, основательное знание законов «*bonne compagnie*» ставилось в основу репутации Вольтера Фридрихом Великим: «Большой свет стал для него школой, где его вкус обрел тот уточненный такт, тот политес и ту вежливость, которых никогда не достигнут ученые отшельники-эрудиты, превратно судящие о том, кто мог нравиться изысканному обществу, слишком удаленному от их взора, чтобы они могли узнать его».<sup>59</sup> Именно протестичность являлась одной из основных характеристик дворянина *comme il faut*.<sup>60</sup>

l'auteur s'oublie; mais l'homme ne doit jamais s'oublier: *se ipsum deserere turpissimum est*. On fait que ceux qui n'ont pas assez d'esprit pour attaquer nos ouvrages, calomnient nos personnes; quel que honteux qu'il soit de leur répondre, il le serait quelquefois davantage de ne leur répondre pas... (...) Réfuter des critiques est un vain amour-propre; confondre la calomnie est un devoir» (*Voltaire*. *Alzire ou les Américains* (1736). Discours préliminaire // *Ibid.* T. 2. P. 373, 375). Ср.: «Пусть на меня как автора нападают, я молчу; но когда меня считают нечестным человеком, этот ужас исторгает у меня слезы» («Qu'on m'attaque comme auteur, je me tais; mais qu'on veuille me faire passer pour un mal-honnête homme, cette horreur m'arrache des larmes» (*Voltaire*. Lettre à M. Berger. Septembre 1735 // *Ibid.* T. 52. P. 297)); «Мне, действительно, очень важно, чтобы публика была выведена из заблуждения относительно оскорбительных слухов о моем нраве, распространявшихся в обществе. Человек, не заботящийся о своей репутации, недостойн иметь ее. Я ревнив в отношении этого, и вы как мой друг тоже должны быть ревнивы» («J'ai extrêmement à coeur que le public soit désabusé des bruits injurieux qui ont couru sur mon caractère. Un homme qui néglige sa réputation est indigne d'en avoir; j'en suis jaloux, et vous devez l'être, vous qui êtes mon ami» (*Voltaire*. Lettre à M. Thiriot. Cirey, le 4 octobre, 1735 // *Ibid.* P. 300)); «Вы справедливо полагаете, что я даже не тщеславною оскорблениями, которые мне говорят этот презренный; однако я признаю, что задет клеветами на мою личность, которые эти подлцы без конца повторяют. Вопли наглцов не стоят ничего против репутации одобряемого публикой писателя; но порочащие обвинения приводят в уныние честного человека» («Vous croyez bien que je ne tire pas même vanité des injures que me dit ce misérable; mais j'avoue que je suis blessé des calomnies personnelles que ces gredins répètent sans cesse. Les cris de la canaille ne peuvent rien contre la réputation d'un écrivain qui a les suffrages du public; mais les accusations infamantes désolent toujours un honnête homme» (*Voltaire*. Lettre à M. Thiriot. A Cirey, le 24 septembre 1735 // *Ibid.* P. 293)). См. также: «Пусть публика, по крайней мере, поддерживает меня, преследуемого со всех сторон. К моей выгоде и чести представлять под разными обличьями и поднимать в свою пользу голос публики, который, вкупе с вашим, утешит меня» («Persécuté de tous côtés, des j'aye au moins le public pour moi. Il est de mon intérêt et de mon honneur de me présenter sous des faces différentes, et d'élever en ma faveur la voix publique qui, jointe à la votre, me console de tout» (*Voltaire*. Lettre à M. le comte d'Argental, à Paris. 1743 // *Ibid.* T. 53. P. 440)).

<sup>58</sup> «Voltaire, que je regarde comme le plus bel esprit de son siècle, n'a l'air d'un écrivain qu'avec les écrivains; dans le monde, c'est un courtisan poli, spirituel et instruit» (*Mémoires du cardinal de Bernis*. [Paris], 1986. P. 78—79). Ср. стихотворные рассуждения о разносторонности как светской добродетели: *Poètes français ou collection des poètes du premier ordre, et des meilleurs ouvrages en vers du second ordre*. Paris, 1822. T. 26. Poesie du second ordre; Dorat. P. 330; *Poesies diverses du chevalier De Boufflers, avec une Notice bio-bibliographique par Octave Uzanne*. Paris, 1886. P. 40—41, 70, 186—187.

<sup>59</sup> «Le grand monde devint pour lui l'école où son goût acquit ce tact fin, cette politesse, & cette urbanité, à laquelle n'atteignent jamais ces savans erudits & solitaires, qui jugent mal de ce qui peut plaire à la société raffinée, trop éloignée de leur vue pour qu'ils puissent la connoître» (*Eloge de M. de Voltaire, composé au Camp de Schatzlar, par S. M. le Roi de Prusse*. Lu à l'Académie Royale des sciences & belles-lettres de Berlin, dans une assemblée publique extraordinairement convoquée pour cet objet, le 26me novembre 1778. Berlin, [s. a.] P. 10). См.: *Основам К. А. Сумароков — литератор в социальном контексте 1740 — начала 1760-х гг.* // *Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy*. Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Wittenberg 2004. Berlin, 2007. P. 46—48.

<sup>60</sup> «Премудр Протей, что был со здоровыми здоров, с больными болен, в постоянных состоянии, а между весельми весел. Сие есть единый способ, которым можно всех сердца к лоблению себя склонить, ведая, что союзом вида получается любовь. Узнавать разумы, и полити-

Идентичность Дмитриева можно уподобить набору поведенческих масок, имевших к тому же свою оборотную сторону: с одной стороны, побуждая Тургенева, Жуковского и Блудова вступить за него, поэт заявлял о своем «уходе от литературы» — ухода в глазах его современников, безусловно, фиктивного, с другой, в разговоре с вельможей он мог вполне серьезно возмущаться намеками на его поэтический талант. Как мы попытались показать, жалобы Дмитриева во многом носили конвенциональный характер: декларативный отказ от занятий литературой и от сложившейся репутации не следовало прочитывать буквально — как желание навсегда расстаться с занятиями словесностью. Перевод Дмитриевым строки из сатиры «Бедняга», несколько эпиграмм, басня Б. К. Бланка в «Московском Зрителе»,<sup>61</sup> неопубликованная антикритика Блудова,<sup>62</sup> настойчивые намеки в письмах Жуковскому и Тургеневу на необходимость вступить за честь «оскорбленного поэта» были частью заимствованного у Вольтера и хорошо узнаваемого сценария *литературной* войны. Именно стремление защитить собственную репутацию литератора заставляло Вольтера писать столь ненавистные ему сатиры или памфлеты, подобные знаменитому «Предохранительному средству» («Le Préservatif»), направленному против Дефонтена. Эпиграммы и письма Дмитриева кодировали целую систему ценностей, в которой каждому из участников конфликта была отведена определенная социо-культурная функция.

Основной чертой литературной стратегии Дмитриева была его способность свободно менять маски, не ощущая никакого противоречия между разными культурными ролями. Можно даже предположить, что сам термин «маска», указывающий на театральность поведения Дмитриева, адекватно передает смысл его поступков прежде всего в категориях современного представления о литературной репутации, но сам поэт вряд ли стал бы таким образом себя описывать: уникальным и не вполне понятным является его свойство быть *одновременно* поэтом и не-поэтом в одной и той же ситуации (как в случае конфликта с Каченовским), иначе говоря, носить обе маски сразу.

Противостояние Дмитриева с Каченовским в этом смысле чрезвычайно показательно. Мы становимся свидетелями столкновения двух типов мышления о литературе: интерпретации словесности как пространства, прежде всего ориентированного на нормы дворянского социального поведения (Дмитриев), и словесности, связанной с системой ценностей академического сообщества (Каченовский). Важно, что ни поэт, ни критик не мыслили свое поведение лишь в одной из упомянутых сфер, наоборот, стремились обосновать свою точку зрения таким образом, чтобы она оставалась релевантной сразу в обеих системах представлений. Описанная институциональная матрица «двойной идентичности» не снимает вопроса об историческом толковании социо-литературных переживаний, однако позволяет прояснить его связь с динамикой изменений в структуре литературного поля как элемента публичной сферы в России начала XIX века.

\_\_\_\_\_

ческою переменею применяться ко нраву всякого, есть великий секрет человеку подвластному, к чему весьма острогу разума потребно, а сие мудрому и искусному человеку делать не трудно» (Балтазара Грациана Придворной человек, переведен с гишпанского языка на французской Амелотом де ла Усей, а с французского на российской Сергеем Волчковым. 2-е изд. СПб., 1760. С. 113).

<sup>61</sup> Кроме того, уже после конфликта с Каченовским Дмитриев был вновь назван в «Московском зрителе» «нашим единственным Ла-Фонтемом, истинным соперником Баснописца Французского» (Ла-Фонте // Московский зритель. 1806. № 7. С. 50).

<sup>62</sup> См., во-первых, постоянные апелляции к читателю и публике в статье Блудова, во-вторых, критику Блудовым пассивной полемической позиции Карамзина: «Говорят, что на дурные критики надобно возражать хорошими сочинениями: мы смеем сомневаться в основательности сего древнего правила, уважаемого от многих» (Неизданная статья (графа) Д. Н. Блудова по поводу критики Каченовского на сочинения И. И. Дмитриева. С. 267).

## ЗАМЕТКА ГРАФА Д. И. ХВОСТОВА О ТРАГЕДИИ А. С. ПУШКИНА «БОРИС ГОДУНОВ»

На протяжении долгого времени биография и творчество Дмитрия Ивановича Хвостова воспринимались лишь сквозь призму его специфической литературной репутации признанного поэта-графомана. Между тем Хвостов оставил обширное и разнообразное творческое наследие. Хранитель традиций эпохи классицизма, он выступал в качестве писателя, критика и теоретика литературы. Помимо печатных работ, для характеристики литературной позиции Хвостова, его вкусов и пристрастий существенный интерес представляют и рукописные материалы его архива,<sup>1</sup> в своей значительной части остающиеся неизвестными исследователям. Так, наблюдая за современным литературным процессом, Хвостов выступал своего рода хроникером. Как правило, он брался за перо сразу же по выходе новой книги, журнала или альманаха, формулируя мнение о прочитанном для себя и фиксируя его для возможной будущей публикации в особых «Записках о словесности». Граф намеревался со временем поместить некоторые из заметок в состав 8 тома собрания своих сочинений, который включал прозаические произведения, но не вышел из-за его смерти.<sup>2</sup>

Свои регулярные записи граф обычно не датировал: исходящие и входящие письма наряду с собственными и чужими статьями Хвостов нумеровал, хронологически размещая материалы в больших тетрадах, заполнявшихся по большей части переписчиками. Затем он иногда собственноручно правил эти записи. Особого внимания здесь заслуживают материалы, относящиеся к Пушкину. В 1938 году А. В. Западным был опубликован хвостовский «Разбор стихов Пушкина под названием Разные стихотворения», где граф выступает с критикой первого сборника пушкинских стихотворений 1826 года.<sup>3</sup> В комментарии к публикации исследователь отмечал: «С большим прилежанием и важностью судил он (Хвостов. — А. К.) в своих заметках о произведениях русской словесности, однако критика его никогда не поднималась до значительных обобщений и ограничивалась частными замечаниями об отдельных недостатках строфы, строки, образа, эпитета и т. д. Так же подошел он и к созданиям Пушкина. <...> Не понимая и не принимая поэзии Пушкина, Хвостов требует от него подчинения классическим правилам и предлагает иногда Пушкину сделать то, чего последний стремится избежать, по многу раз переделывая какую-либо деталь».<sup>4</sup> Высказанная Западным резкая оценка Хвостова как критика Пушкина в дальнейшем не подвергалась пересмотру. Между тем некоторые ранее неизвестные суждения графа позволяют скорректировать подобное представление.

В одну из рукописных тетрадей переписчиком внесена заметка Хвостова «О критике на „Бориса Годунова“ Пушкина», обозначенная в оглавлении тетради под № 119.<sup>5</sup> Поводом для ее появления стал разбор трагедии, принадлежащий В. Т. Плаксину.<sup>6</sup> Его обширная статья — «Замечания на сочинение А. С. Пушкина

Александр Валентинович Курочкин — аспирант Санкт-Петербургского государственного университета; сотрудник Всероссийского музея А. С. Пушкина.

<sup>1</sup> Этот архив сосредоточен в фонде Д. И. Хвостова (ф. 322) в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.

<sup>2</sup> Содержание тома см.: ИРЛИ. Ф. 322. № 43. Л. 2—3.

<sup>3</sup> См.: Пушкин и Хвостов / Публ. А. В. Западова // Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1938. Т. I. С. 265—272.

<sup>4</sup> Там же. С. 268.

<sup>5</sup> ИРЛИ. Ф. 322. № 35. Л. 5 об.

<sup>6</sup> Василий Тимофеевич Плаксин (1795—1869) — преподаватель российской словесности в военно-учебных заведениях, литератор и критик, с конца 1820-х годов регулярно публиковал свои статьи в изданиях Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча.

„Борис Годунов”» — была напечатана в нескольких номерах журнала «Сын отечества и Северный архив» в июне—июле 1831 года.<sup>7</sup> Накануне публикации первой части статьи в «Северной пчеле» появилось уведомление: «Творение первоклассного Поэта, обращающего на себя внимание отечественной и иностранной публики, достойно подробного, основательного, во всех отношениях обдуманного разбора (...) Один просвещенный любитель Литературы доставил нам на сих днях разбор „Бориса Годунова”».<sup>8</sup> Современные комментаторы характеризуют статью Плаксина как «педантичную и громоздкую»: автор «требовал от трагедии „высокого” героя, непрерывного течения „случаев” одного за другим и неизменности характеров на протяжении всей драмы. Разбор выглядел архаично и, несмотря на большое количество псевдонаучных рассуждений, не выходил за рамки стандартного набора замечаний в адрес пушкинской трагедии».<sup>9</sup> Предваряя оценку «Бориса Годунова», критик констатирует: «...драма как изящное произведение требует известной идеи и сообразного оной выражения; она нуждается в стройности целого, в доблести чувствований и помыслов и в приятности форм; как словесное произведение, ищет связного течения речи и соблюдения правил языка; как поэзия, должна выражать в звучной, в согласно текущей речи мир идеальный».<sup>10</sup> «Просвещенного любителя литературы» в «Борисе Годунове» не устраивало, «с одной стороны, излишество или неуместное введение случаев, не имеющих ничего драматического, с другой — опущение необходимых для сообщения характера действию, для возбуждения участия, и третье, как следствие и того и другого, — недостаток связи в ходе целого, представляют драму в отрывках, заставляют беспрестанно переселяться с одного места на другое без всякой нужды. Это кочевание происходит оттого, что поэт выбирает места, которые совсем не способны развить действие, а иногда место прямо противоречит действию».<sup>11</sup> Кроме того, Плаксин требует от автора «Бориса Годунова» достоверности в представлении характера героя и его поведения: они, по мнению критика, не соответствуют складывающимся обстоятельствам.

Откликом на эти суждения Плаксина и стала заметка Хвостова. Ниже публикуем ее полностью. Текст приведен в соответствие с современной орфографией с сохранением особенностей авторского языка и стиля, подчеркивания выделены курсивом. Имя Плаксина в своем отзыве граф не упоминает, называя его «замечателем».

«№ 119. О критике на „Бориса Годунова” Пушкина.

Продолжая читать в „Сыне Отечества” № 25 и 26, под статью критика, стр. 281<sup>12</sup> по 294 замечания на сочинение Александра Сем.<sup>13</sup> Пушкина „Борис Годунов”, скажу, что я большею частью совершенно согласен с г. замечателем, но только не знаю, не лишнего ли он требует от последователя романтического учения, от поэта гениального, который отринул формы, правила и приличия — следовательно, по-моему, тут нечего спрашивать ни единства, ни порядка, ни хода действия в расположении сцен. Сочинение Пушкина, как говорят французы, не иное что, как *des scènes à tiroir*.<sup>14</sup> Опять повторю, что в подобном сочинении нечего заботиться о связности или несвязности целого и также о характерах. См. полное издание моих

<sup>7</sup> Сын отечества и Северный архив. 1831. Т. 20. № 24, 25—26; Т. 21. № 27—28; То же: Пушкин в прижизненной критике: [В 4 т.]. СПб., 2003. Т. 3. 1831—1833 / Под общ. ред. Е. О. Ларионовой. С. 92—114.

<sup>8</sup> Северная пчела. 1831. 17 июня. № 133. С. 1.

<sup>9</sup> Лотман Л. М., Виролойнен М. Н. Борис Годунов // Пушкинская энциклопедия: Произведения. СПб., 2009. Вып. 1. А—Д. С. 169; Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2009. Т. 7. С. 635 (комм. Л. М. Лотман, при участии Т. А. Китатиной).

<sup>10</sup> Пушкин в прижизненной критике. Т. 3. С. 94.

<sup>11</sup> Там же. С. 99.

<sup>12</sup> Описка, правильно: 218.

<sup>13</sup> Описка, правильно: Сер.(геевича) вместо Сем.(еновича).

<sup>14</sup> Не связанные между собой сцены (*фр.*).



стихотворений, где во 2-м томе в примечании к 4-му посланию „К питомцам муз“ на странице 254, примечание 214 сказано: „Я с удовольствием помещу здесь очень мудрое и справедливое изречение одного современника, который о подобных творениях отзывался: *«Это ни трагедия, ни комедия, но сценические отрывки, вымышленные или исторические»*. Таковой отзыв относится к большей части театральных сочинений нашего времени”<sup>15</sup>

Г. замечатель говорит: „Четвертую сцену (где Борис является царем по избранию народному) можно считать началом драмы. Если бы драма сия была названа «Григорий Отрепьев», если бы сей герой открыл здесь свои намерения, хотя не прямо, то и действие ее менее бы отступало от единства. Здесь является и поэзия, достойная г. Пушкина, особенно же отличается речь Летописца (а)<sup>16</sup> Пимена, монаха Чудова монастыря”.

Я совершенно согласен со всеми предположениями г. критика, повторяя, как выше сказано, что требование единств, связи в действии напрасно. Романтик объявляется возбуждать в зрителе или читателе чувства и сострадания без наблюдения форм и правил, самую природу начертанных, одними только эффектами; итак соглашаясь с г. критиком, противоречу ему только в том, что он сказал об изображении свойства или характера Бориса Годунова. Рецензент, выписав прекрасную речь к народу новоизбранного царя, говорит: „Человек обыкновенный, истинно боявшийся воцарения, в подобных обстоятельствах, конечно, не мог бы говорить иначе, но Борис, тот самый, каковым представляют его историки и поэты, не мог говорить таким образом. Следовательно, и эти прекрасные умильные стихи не сообразны лицу говорящему”.

Я спрашиваю, почему царь Борис в первом действии у Пушкина не мог говорить того, что он говорит устами поэта. Он трикратно отрицался от избрания и принял оное по склонению сестры своей, супруги царя Феодора. Разве г. замечатель требует той истины в характере, которая бы каждому преступнику внушила речь о его злодеяниях. Никто в злодействах своих и даже в лукавстве не признается, и в последнем действии сей драмы Борис говорит сыну при смерти, каясь Богу, словами неясными об убийстве царевича Дмитрия, намекает только Феодору Борисовичу:

Ты царствовать теперь по праву станешь,  
А я за все один отвечаю Богу.

Нет сомнения, как говорит незабвенный историограф, что Годунов жа(ж)дал престола, еще при царе Феодоре: когда колдуны объявили ему, что он будет царствовать, только недолго, именно 7 лет, Борис с восторгом подхватил: „*хотя бы семь дней*”<sup>17</sup> Заклучим, что ни от какого автора требовать нельзя, чтобы он Бориса в

<sup>15</sup> Здесь Хвостов указывает источник приведенной цитаты: *Хвостов Д. И.* Полн. собр. стихотворений. СПб., 1829. Т. 2. С. 254 (прим. 214).

<sup>16</sup> К данному фрагменту Хвостов делает примечание: «(а) Осмелюсь сделать маленькое замечаньецо на замечателя. Летописец Пимена — есть сочинение его, а о самом Пимене не лучше ли сказать: *Летописатель Пимен*». Таким образом, в понимании графа слово «летописец» обозначает не самого сочинителя, а принадлежащую ему летопись. В «Словаре русского языка XVIII века» различие в употреблении «летописатель» и «летописец» не обнаруживается: «Летописатель — то же, что летописец. Летописец — составитель, сочинитель летописи» (Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984. Вып. 11. С. 163). В «Словаре Академии Российской» данные слова отсутствуют. Интересно, что митрополит Киевский Евгений (Болховитинов), составивший словарь русских писателей, в статье о Несторе дает вариант «летописатель Пимен» (Болховитинов Е. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви: В 2 т. СПб., 1827. Т. 2. С. 83). В «Словаре языка Пушкина» случаи употребления слова «летописатель» не зафиксированы.

<sup>17</sup> Имеется в виду следующий фрагмент «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «Имея ум редкий, Борис верил однако ж искусству гадателей; призвал некоторых из них в тихий час ночи и спрашивал, что ожидает его в будущем? Льстивые волхвы или звездочеты ответствовали: *тебя ожидает венец...* но вдруг умолкли, как бы испуганные дальнейшим предвидением. Нетерпеливый Борис велел им договорить; услышал, что ему царствовать толь-

минуту избрания заставил признаваться в ужасном преступлении, и что речь Бориса к народу, как сам замечатель признается, прекрасная и сочинена в том духе, какого требовали обстоятельства, а не истина или история.

Разбирая целое творение, я не останавливаюсь на двух плохих стихах, мною выписанных из 5 действий. Первый хорош, а второй: „А я за все *ответу Богу*”, тяжел, в нем четыре односложные слова сначала, а притом, „*ответу Богу*” весьма низко и не пристойно в высоком слоге, только кучера или чернь грубая говорят теперь и говаривали при Борисе: „*ответу Богу*”. Сию хорошую мысль должно было облечь в стихотворческий наряд: „Я готов *ответать перед Богом*”, „я дам *ответ Всемогущему*” и подобное.<sup>18</sup>

Очевидно, с публикацией Плаксина Хвостов стал знакомиться с 24-го номера журнала. Об этом говорят первые слова его отзыва — «Продолжая читать (<...> № 25 и 26», указывающие как на начало статьи Плаксина в предыдущем номере, так и на только что появившееся ее продолжение. Номер 25/26 «Сына отечества», на который непосредственно ссылается Хвостов, вышел из печати 1—2 июля.<sup>19</sup> По-видимому, сразу же после его прочтения и возник отзыв графа. Исходя из этого, замечания Хвостова можно датировать первыми числами июля 1831 года.

В отклике на разбор Плаксина Хвостов позиционирует себя личностью широких, свободных взглядов на искусство, а не литературным сектантом. Это обстоятельство противоречит устоявшемуся взгляду на него как на упрямого защитника архаичных литературных догм. Граф считал себя профессиональным и объективным ценителем искусства, о чем заявлял еще в письме к А. С. Шишкову от 6 июля 1818 года: «С давнего времени, как вам известно, записался я в поборники критики. (<...>) Критика беспристрастным судом своим оценивает дарование разбираемого ею писателя, определяет силу слов и расположение речи по правилам языка, она обуздывает всякое гибельное для словесности нововведение, которое впоследствии времени обращается во вред общественный».<sup>20</sup> Таким беспристрастным судьей Хвостов и старается выступить в замечаниях по поводу пушкинской трагедии.

Как видно, отзыв графа о «Борисе Годунове» в целом имеет благожелательный характер. При этом особый интерес представляют его суждения о художественной природе пушкинского произведения, резко разрывающего связи с драматургией классицизма.

Вероятно, непосредственным толчком к написанию замечаний для Хвостова стала пространно развитая Плаксиным мысль об отсутствии у Пушкина единства действия. Как известно, сам автор «Бориса Годунова» его не отвергал. Определяя новаторские черты своего произведения, он ставил себе в заслугу, что «написал трагедию истинно романтическую»: «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе Отца нашего — Шекспира и принес ему в жертву пред его алтарь два классические единства, едва сохранив последнее».<sup>21</sup> Между тем, помимо Плаксина, отсутствие в «Борисе Годунове» единства действия отмечали и другие критики, не принявшие новаторства пушкинской трагедии. Так, П. А. Катенин в письме к неизвестному от 1 февраля 1831 года констатировал: «Борис Годунов» — «не драма отнюдь, а кусок истории, разбитый на мелкие куски в разговорах».<sup>22</sup> А. А. Бестужев в письме к Н. А. Полевому от 13 августа того же года признается, что не видит в «Борисе Го-

до семь лет, и, с живейшею радостью обняв предсказателей, воскликнул: *хотя бы семь дней, но только царствовать*» (Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1824. Т. 10. С. 127).

<sup>18</sup> ИРЛИ. Ф. 322. № 35. Л. 185 об. — 187 об.

<sup>19</sup> Северная пчела. 1831. 2 июля. № 145. С. 1.

<sup>20</sup> ИРЛИ. Ф. 322. № 15. Л. 40 об.

<sup>21</sup> <Письмо к издателю «Московского вестника» М. П. Погодину> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 66—67.

<sup>22</sup> Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 306—307.

дунове» «ничего, кроме прекрасных отдельных картин, но без связи, без последствия». <sup>23</sup> Вторя ему, Н. А. Полевой пишет: «Не общее ли мнение всех есть то, что когда вы прочитаете драму Пушкина, у вас остается в памяти множество чего-то хорошего, прекрасного, но несвязного, в отрывках <...>?» <sup>24</sup>

Суждения Хвостова и перекликаются с подобными оценками, и отличаются от них. При этом данные высказывания кажутся противоречивыми. Оставаясь принципиальным сторонником «единств, связи в действии», <sup>25</sup> граф вместе с тем полагает, что к «Борису Годунову» это важнейшее для традиционной литературы требование неприменимо, поскольку автор является «последователем романтического учения», а его произведение не имеет «единства, ни порядка, ни хода действия в расположении сцен». Считая, что романтики, отступая от правил, противоречат и самой природе (с точки зрения Хвостова, это важный недостаток), граф тем не менее признает право современных «театральных сочинений» на существование.

Замечания о «Борисе Годунове» отражают литературную позицию Хвостова тех лет в целом. В споре классиков и романтиков переводчик отвергнутого Пушкиным Расина и классической «Науки стихотворной» Буало стремится занять примирительную позицию. Представителем новой литературы и корифеев старой школы он помещает в единый Пантеон:

Коль нравятся иным и Гете, и Байроны,  
Не должно запрещать Софокла полюбить,  
И подражателем ему Расину быть. <sup>26</sup>

По мнению Хвостова, разные типы творчества способны сосуществовать, их подлинную ценность установит время: «Спор о той или другой Мельпомене не окончен». <sup>27</sup> Сам Хвостов остается приверженцем прежней, основанной на принципах Софокла и Расина, однако, считает он, «поэт гениальный» (именно так в заметке назван Пушкин) способен отступать от традиций.

Осенью 1831 года, одобрительно откликаясь на стихотворение Пушкина «Клеветникам России», <sup>28</sup> Хвостов обращается к нему со стихотворным посланием, где призывает:

Тебе дала поэта жар  
Мать вдохновения — природа;  
Употреби свой, Пушкин, дар  
На славу русского народа;  
Как начал громко — продолжай  
О древних подвигах великих,  
И вопли птиц ночных и диких  
Ты, песнопевец, презирай. <sup>29</sup>

К строке «О древних подвигах великих» Хвостов сделал примечание: «Смотри стихотворение Александра Сергеевича Пушкина: „Полтаву” и „Бориса Годуно»

<sup>23</sup> Русский вестник. 1861. Т. 32. № 3. С. 304.

<sup>24</sup> Московский телеграф. 1833. Ч. 49. № 2. С. 310. То же: Пушкин в прижизненной критике. Т. 3. С. 222. О новой природе единства действия у Пушкина см.: Карпов А. А. «Борис Годунов» А. С. Пушкина // Анализ драматического произведения. Л., 1988. С. 94.

<sup>25</sup> См., например: «У французов, подражательно Аристотелю, три единства: *действия, места и времени*. Искусный автор может продлить время представления и удалиться от единства места, но обязан необходимо сохранить единство действия» (Хвостов Д. И. Полн. собр. стихотворений. Т. 2. С. 258—259; прим. 224).

<sup>26</sup> Там же. С. 179.

<sup>27</sup> Там же. С. 261 (прим. 230).

<sup>28</sup> О данном эпизоде взаимоотношений Пушкина и Хвостова см.: Балакин А. Ю. Пушкин — читатель графа Хвостова. 2. «...Он помолодел и потрянул стариной» // Русская литература. 2014. № 4. С. 135—145.

<sup>29</sup> Хвостов Д. И. Полн. собр. стихотворений. Т. 7. С. 102.

ва».<sup>30</sup> Упоминание пушкинской трагедии в подобном контексте — дополнительное свидетельство того, что граф выделял ее среди других произведений Пушкина. Ныне мы располагаем достаточно развернутым суждением Хвостова об этом произведении.

Вводимый в научный оборот отзыв Хвостова о «Борисе Годунове» заслуживает внимания и как еще одно свидетельство интереса к пушкинской трагедии в современной поэту литературной среде, и как документ, позволяющий уточнить представления о самой фигуре Хвостова-литератора.

<sup>30</sup> Там же. С. 262 (прим. 95).

© С. А. Фомичев

## ПОВЕСТЬ Н. В. ГОГОЛЯ «НОС»: РЕАЛЬНОСТЬ АБСУРДА

8 февраля 1833 года Н. В. Гоголь сообщил А. С. Данилевскому: «На днях печатает он (В. Ф. Одоевский. — С. Ф.) фантастические сцены под заглавием „Пестрые сказки“. Рекомендую: очень будет затейливое издание, потому что производится под моим присмотром».<sup>1</sup> Можно было бы заподозрить здесь обычное для молодого Гоголя хвастовство. Но сохранился экземпляр книги с надписью автора: «Эти сказки написаны Кн. Одоевским и редактированы Н. В. Гоголем».<sup>2</sup>

Для манеры В. Ф. Одоевского была характерна назидательная умозрительность сатирико-фантастических рассуждений, ср. хотя бы полное заглавие книжки: «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою»<sup>3</sup> магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные г. Безгласным» — или такой пассаж из предисловия Гомозейки: «Представьте себе мое страдание! Мне, издержавшему всю свою душу на чувства, обремененному многочисленным семейством мыслей, удрученному основательностью своих познаний, — мне очень хочется иногда поблистать ими в обществе...»<sup>4</sup> Только в двух из его сказок, а именно в «Сказке о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем» и в «Сказке о том, каким образом коллежскому советнику Ивану Богдановичу не удалось в Светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником»<sup>5</sup> — имеются пространные житейские зарисовки, отчасти напоминающие гоголевскую художественную манеру.

Сергей Александрович Фомичев — главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

<sup>1</sup> Гоголь Н. В. Переписка: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 49.

<sup>2</sup> Фотокопию разворота авантюла с надписью из собрания библиотеки Кембриджского университета см.: *Одоевский В. Ф.* Пестрые сказки. СПб., 1996. С. 48—49 (сер. «Литературные памятники»). О совпадающих мотивах «Пестрых сказок» и «Носа» см. в комментариях М. А. Турьян к этому изданию (с. 158—159) и Е. Ю. Хин в книге: *Одоевский В. Ф.* Повести и рассказы. М., 1985. С. 465.

<sup>3</sup> «Гомзять стар., гомозить или гомозиться, возиться, беспокойно шевелиться, вертеться, не смирно стоять или сидеть; суесться; трогать что, копаться в чем» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 1. С. 373).

<sup>4</sup> *Одоевский В. Ф.* Пестрые сказки. С. 8.

<sup>5</sup> О мотиве «дело—карты» в этой сказке см.: *Падерина Е. Г.* К творческой истории «Игров» Гоголя. История текста и поэтика. М., 2009. С. 197—198. Здесь же отмечено: «У Гоголя оппозиционирование карточной игры делу впервые было заявлено в незавершенной комедии „Владимир 3-ей степени“, замысел и первые наброски которой относятся к 1832 году. В опубликованной в первом томе пушкинского „Современника“ за 1836 г. сцене из этой комедии под названием „Утро делового человека“ существенное место занимает оживленное обсуждение чиновниками „вчерашнего“ виста» (Там же. С. 198).

Гоголевский вклад в книгу Одоевского определенно обнаруживается в «Сказке о мертвом теле...»,<sup>6</sup> которая была предварена эпитафией из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и содержала по-гоголевски развернутую характеристику оборотистого приказного Севастьяныча, которому в пьяном угаре привиделся призрак обладателя мертвого тела. Заканчивалась же сказка изложением страшных рассказов о мертвом теле и его «хозяйке», что уже предвещало изложенные в повести «Нос» столичные слухи о необыкновенном происшествии.

По-видимому, в процессе редактуры этой сказки у Гоголя и возник собственный замысел «пестрого» повествования о пропаже носа у коллежского асессора Ковалева. «*Пестрый слог, пестрая речь* — по определению В. Даля, — неровная, нескладная, либо разнородная по набору выражений».<sup>7</sup>

В первоначальной редакции «Носа» все невероятные события происходили во сне, тем более что «Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный» (с. 31). В раннем наброске повести он был в этом отношении сближен с Ковалевым, нос которого «был полноват, с едва заметными тонкими и самыми нежными жилками, потому что коллежский асессор любил после обеда выпить рюмку хорошего вина» (с. 152). В окончательном тексте такая прямая мотивировка затейливых событий опущена, и содержанием стал сон *сон наяву* — морок, бред, которые погружены в нелепо-фантастический быт (ср., например, перечень газетных объявлений), что подспудно «подтверждало» и возможность невероятных приключений ковалевского носа.

Сюжет и композицию повести В. В. Виноградов сопоставил с традицией «нелогической» литературы первой половины XIX века.<sup>8</sup> В подобных сюжетах речь шла обычно о *большом* носе комических персонажей.<sup>9</sup> Так, еще в «Палатинской библиотеке» имеются эпитафии на носатых — например:

Нос такой длинный у Прокла, что он не способен рукою  
Высморкнуть толком его: нос ведь длиннее руки.

<sup>6</sup> Среди примет мертвого тела здесь отмечено: «...нос велик и несколько на сторону» (Гоголь Н. В. Петербургские повести. СПб., 1995. С. 18 (сер. «Литературные памятники»). Далее повесть «Нос» цитируется по этому изданию с указанием страницы (в скобках).

<sup>7</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. С. 104. События повести в окончательной редакции (судя по начальной дате, 25 марта, падающему на пятницу) отнесены к 1832 году. Этот год был указан и в первом наброске начала повести: «23 числа 1832-го года случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие» (с. 152).

<sup>8</sup> Виноградов В. В. Натуралистический гротеск. Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» // Виноградов В. В. Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 5—44.

<sup>9</sup> См. также: Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993. С. 227; Дилаторская О. Г. Художественный мир петербургских повестей Н. В. Гоголя (с. 222—223, 269—270). Особо отметим карикатуру И. И. Терехина «Нос, привезенный Наполеоном с собой из России в Париж» с соответствующей надписью:

«Наполеон. Вот какой нос приставили мне русские! Не знаю, как мне с ним показаться парижской публике! Нет ли средств укоротить его?

1(-й) докт (ор). Надобно его отрезать.

2(-й) докт (ор). В таком случае я не отвечаю за жизнь его вел(ичества).

Бертъе. Незачем его укорачивать; показывайтесь с ним смело парижанам. Мы напишем, что он у вас вырос от ранних морозов и гололедецы».

Этот текст является частью карикатуры и одновременно он больше, чем просто комментарий к рисунку. Его строение (вступление, перевод смысла и смысловое разрешение/кульминация) обнаруживает, скорее, структурные параллели с современным городским фольклором, вплоть до приема использования двойной семантики лексем и мотивов. Так, во вступлении легко узнать русские обороты речи *водить за нос*, *наставить нос* в значении обманывать, сознательно вводить в заблуждение; таким образом, речь идет о признании поражения французов и превосходства русских. В смысловую кульминацию маршал Бертъе при полной неадекватности восприятия реальности предлагает „естественное“ объяснение увеличения носа как следствие обморожений, которые нужно „гордо“ показывать парижской публике» (Отечество в изобразительном искусстве // Война 1812 года и концепт «отечество». Из истории осмысления государственной и национальной идентичности в России: исследование и материалы. Тверь, 2012. С. 160—161).

А при чиханьи о помощи даже не просит он Зевса:  
Носа не слышит, ведь он слишком далек от ушей!<sup>10</sup>

Гоголь же выстраивает своего рода трагикомический «минус-сюжет», повествуя о *безносом* герое.

Следует особо подчеркнуть, что распространенность носологического мотива в литературе, по сути, следует оценить как явление вторичного порядка, — имея в виду, прежде всего, богатство подобной идиоматики в самом языке. «Демонстрация носовых аллюзий в известной сцене пьесы Ростана „Сирано де Бержерак“, — справедливо отмечает В. В. Набоков, — ничто по сравнению с сотнями русских поговорок и речений».<sup>11</sup> По замечанию Гоголя о пословицах, «уже в самом образе выражения, в них отразилось много народных свойств наших; в них все есть: издевка, насмешка, попрек, словом — все, шевелящее и задирающее за живое; как столбчатый Аргус глядит из них каждая на человека».<sup>12</sup>

Ср., например, лексические иллюстрации в статье о носе в Словаре В. Даля: «*Лезть куда носом, совать нос*, мешаться не в свое дело. *Водить кого за нос*, обманывать и управлять кем-либо. *Оставить кого с носом, приставить кому нос*, отказать, либо одурачить. *Он дальше носа не видит. Сошлись, носом к носу. Уткнули его носом на это дело!* (...) *Подымать нос*, надмеваться, зазнаваться. *Заруби себе это на нос*, помни. *Утереть кому нос*, сделать выговор. *Дать щелчка в нос*, отогнать. *Нос (борода) с локоток, а ума с ноготок. Нос крив и нрав не прав. Свой нос тянись — свое лицо бесчестить.* (...) *Куда шестом не достанешь, туда носом не тянись. Тому виднее, у кого нос длиннее. Не по носу нам табак* (т. е. не по достатку). (...) *Под лесом видит, а под носом нет. Остался (или отошел) с носом. Много надежды впереди, а смерть на носу (за плечами). Спрос не бьет в нос. Кто возьмет без спросу, тот будет (...) без носу. (...) Меж глаз нос пропал! С дурной рожки, да еще и нос долой. Не тычь носа в чужое просо. (...) Поднял (задрал) нос. (...) Нос не по чину, т. е. зазнаешься. (...) Не подымай носу (не закидывай головы), спотыкнешься. (...) Прохор да Борис за носы подрались. Нос вытащит — хвост увязит; хвост вытащит — нос увязит* (докучная сказка). *Не ходи к воеводе (или в суд) с одним носом, ходи с приносом*».<sup>13</sup>

Понятно в народной фразеологии внимание к носу как центральной и наиболее заметной части, по сравнению со всеми остальными элементами человеческого лица. Но нельзя не заметить в подобной идиоматике и метафорического перенесения носа в различные бытовые ситуации — своеобразные эскизы комических сценок. В большинстве таких поговорок уже содержатся фабульные подсказки для автора повести «Нос». Так, отвечая Ковалеву, Александра Подточина недоумевает: «Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ; то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения...» (с. 45).

События двух первых частей повести Гоголя складываются все же по законам сна, но абсурдная мешанина снов по-своему реальна. Еще в «Пчеле» отмечалось: «Сонная видьня дньныхъ помысль суть възглашения...»<sup>14</sup> В повести переплелата-

<sup>10</sup> На длинноносого // Древнегреческая застольная, шутливая и эротическая эпиграмма / В пер. Е. В. Свиясова. СПб., 1997. С. 141.

<sup>11</sup> См.: Nabokov V. Nikolai Gogol. New York, 1961. P. 4.

<sup>12</sup> Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847. С. 240.

<sup>13</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 555—556. Ср.: Даль В. Пословицы русского народа. 2-е изд. СПб.; М., 1879. Т. 1. С. 383; Фразеологический словарь русского языка. М., 1968. С. 285—286.

<sup>14</sup> «Ночные сны — это отклик дневных помыслов...» (Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 514—515). «Сонная фантазия представляет нам ряд лиц, местностей и событий, целесообразно сцепляющихся между собою, т. е. конечно не глубокой осмысленностью событий, которыми направляется действие сонной драмы, а в смысле прагматизма:

ются два подобных «возглашения» тревожного свойства, что подчеркнуто перекличкой зачинов и финалов в первых двух частях повести. Ср. в первой части: «Цирюльник Иван Яковлевич (...) проснулся довольно рано» // «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно» (с. 30, 32). Во второй: «Коллежский ассессор Ковалев проснулся довольно рано» // «...но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно» (с. 32, 46).

То есть в повести использован «встречный ход» двух видений, подобно тому, как это изображено в стихотворении В. А. Жуковского «Счастье во сне»:

Дорогой шла девица;  
С ней друг ее молодой;  
Болезненны их лица;  
Наполнен взор тоской.

Друг друга лобызают  
И в очи и в уста —  
И снова расцветают  
В них жизнь и красота.

Минутное веселье!  
Двух колоколов звон:  
Она проснулась в келье;  
В тюрьме проснулся он.<sup>15</sup>

Подобная ситуация трактуется в повести в изначально заданном трагикомическом ключе,<sup>16</sup> а одновременные видения цирюльника и Ковалева сплетаются лишь в рассказе квартального надзирателя, принесшего коллежскому ассессору исчезнувший, было, его нос: «„...странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос (...) И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был”. — При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос» (с. 42).

7 апреля, впрочем, морок благополучно закончится. «Разница в две недели, — как заметил В. И. Ермаков, — соответствует разнице между новым и старым стилем, так что все события произошли в один день, в одну ночь с 25 на 26».<sup>17</sup> Недалором, вероятно, в связи со статским советником упоминается Рига (наверное, он там и служил): в католических соборах Благовещение отмечалось позже, чем на Руси, на две недели. Предполагая цензурные придирки, Гоголь писал 18 марта 1835 года М. П. Погодину: «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос

мы ясно сознаем связь, приводящую от некоторых причин, событий-причин, видимых во сне, к некоторым следствиям, событиям-следствиям сновидения; отдельные события, как бы ни казались они нелепыми, однако, связаны в сновидении причинными связями, и сновидение *развивается*, стремясь в определенную сторону и роковым, с точки зрения сновидца, образом приводит к некоторому заключительному событию, являющемуся развязкою и завершением всей системы последовательных причин и следствий» (Флоренский П. Иконостас: Избр. труды по искусству. СПб., 1993. С. 7).

<sup>15</sup> Жуковский В. А. Соч. М., 1954. С. 72.

<sup>16</sup> Колокольный звон здесь также не упомянут, хотя он и был возможен, учитывая обозначенный праздничный день.

<sup>17</sup> Ермаков В. И. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя // Ермаков В. И. Психологический анализ литературы. М., 1999. С. 282 (прим.).

не может быть в Казанской церкви, то, пожалуй, можно его перевести в католическую». <sup>18</sup>

Все это несказанно увеличивает внешнюю абсурдность изложенных происшествий, которые подспудно содержат, тем не менее, вполне реальные психологические и традиционно сказочные мотивировки, не говоря уже о постоянных намеках на известные поговорки и пословицы.

Можно понять, почему злополучный нос привиделся цирюльнику: ведь Ковалев — дважды каждую неделю! — «обыкновенно говорил ему во время бритья: „У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!“» (с. 31) (как же надоел мастеру чувствительный нос коллежского асессора!). А «майор Ковалев» угадывает свой нос в фигуре статского советника «по ученой части»; здесь своеобразно сочетаются честолюбивые мечтания героя (он постоянно «задирает нос») <sup>19</sup> и невольно подразумеваемая собственная ущербность («не по чину нос»): свой нынешний вожделенный чин он заслужил отнюдь не по ученой части.

Волею Прасковьи Осиповны, супруги цирюльника, ковалевский нос прошел сквозь огонь и воду. Брошенный в реку, он как будто бы возрожден в новом качестве «живой водой», «которая исцеляет раны, наделяет крепостью, заставляет разрубленное тело срастаться и возвращает саму жизнь». <sup>20</sup> Закаленный же ранее в печи, ныне «он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны» (с. 34). Недаром, вероятно, он увенчан и плюмажем (*фр.* plume — дождь, *маг.* — маг). <sup>21</sup>

И все же события в повести трактуются как достоверные, о чем свидетельствует уже точная их дата: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие» (с. 30). <sup>22</sup>

Однако и эта дата обыгрывается иронически двусмысленно.

Как известно, в этот день отмечался один из самых почитаемых на Руси праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В видении Ковалева столица не носит в этот день каких-либо праздничных примет (ему до них попросту нет дела). Но в народном календаре день этот связан со многими традиционными обычаями, и некоторые из них в повести Гоголя гротесково (по законам морока) искажены. В этот день выпускали на волю птиц, даруя им свободу. В повести — возносится на Вознесенский проспект нос майора Ковалева (ср. поговорку «лететь куда носом», а также сетования Ковалева: «Без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин; просто возьми да и вышвырни за окошко!» — с. 40). Впрочем, к «остаткам застарелой языческой грубости и невежества нужно отнести и то, что на Благовещение воры стараются что-либо украсть в надежде, что, если

<sup>18</sup> Гоголь Н. В. Переписка. Т. 1. С. 357. Курьезным образом рукопись «Носа», посланная Погодину, пропала на почте, по поводу чего Гоголь недоумевал: «Сам черт разве знает, что делается с носом! Я его послал как следует, зашитого в клеенку, с адресом в Московский университет. Я не могу и подумать, чтобы он мог пропасть как-нибудь. У нас единственная исправная вещь: почта. Если и он начнет заводить плутни, то я не знаю, что уже и делать» (Там же. С. 357—358).

<sup>19</sup> Между тем, другой частью своего лица — большими бакенбардами — Ковалев унижен до гайдука, сопровождавшего тоненькую барышню в Казанском соборе, и квартального, обнаружившего искомый нос. «Бакенбарды. Часть бороды, расположенная вдоль щек и сохраняемая при подстрижке, прежде — в соединении с выбритым подбородком» (Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 248). Ср. поговорку: «Нос (борода) с локоток, а ума с ноготок».

<sup>20</sup> Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865. Т. 1. С. 365.

<sup>21</sup> По народным верованиям, дождь также отождествлялся с живой водой (см.: Там же. Т. 2. С. 277).

<sup>22</sup> При первой публикации повести в журнале «Современник» (1836. Т. 3) по цензурным причинам указана была иная дата, 25 апреля, а встреча Ковалева со своим носом перенесена в гостиный двор. В народном календаре 25 апреля отмечали день Марка-ключника, «полагая, что он владеет ключами от влаги небесной — дождей» (Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь. СПб., 2007. С. 227).



это удастся сделать теперь, они могут быть уверены в успехе своих предприятий на целый год»<sup>23</sup> (выше уже отмечалась склонность Ивана Яковлевича к воровству). Неслучайно ковалевский нос оказывается и внутри только что испеченного хлеба, подобно тому, как на Благовещение в одну из изготовленных просфор клали на счастье гривенник.<sup>24</sup> Понятно, почему Гоголь особенно дорожил и сценой в Казанском соборе, получившем наименование по хранящейся там иконе Казанской Божией Матери; среди скульптурных панно наверху стен собора имелась и композиция «Благовещение».

Эротические же помыслы были вообще обычны для героя, и в день Благовещения подобные порывы у Ковалева то и дело готовы нарушить его тщетные поиски носа. Попав в Казанский собор вслед за статским советником, коллежский асессор невольно «обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркий белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос... Но носа уже не было: он успел ускакать...» (с. 35).

И в газетной экспедиции: «Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях: уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, — но мысль о носе все испортила!» (с. 39).

Между тем, обнаружив свой нос, самостоятельно разгуливающий в мундире статского советника, Ковалев направляется в Управу *благочиния* (так называлось высшее полицейское учреждение в столице).

На игре *Благовещения и благочиния* путаются мысли безносого «майора Ковалева», эротические порывы которого подавляются только негодованием против всяческих возможных унижений штаб-офицерских чинов.

«Единственным нематериальным началом в составе Ковалева, — отмечает Л. Магазаник, — оказался чин. Если бы это оказалась, к примеру, душа, тогда, видимо, было бы резонно ожидать, что хлопоты майора будут успешны не в полиции, а в какой-нибудь другой инстанции, в ведении которой души и находятся. Но это оказался чин. Стало быть, майор обращается по принадлежности: в области чинов и званий вся компетенция безусловно принадлежит властям. И коль скоро в этом мире чин есть вообще единственное нематериальное начало, то настоящее божество такого мира, разумеется, полиция».<sup>25</sup>

Но и здесь героя подстерегают неудачи. Главу Управы благочиния он не застал (возможно, тот попросту приказал не принимать в этот день посетителей). Обраще-

<sup>23</sup> *Калинский И. П.* Церковно-народный месяцеслов на Руси. М., 1990. С. 107—108. «На Благовещение воры наворовывают на весь год» (*Даль В.* Пословицы русского народа. Т. 2. С. 497).

<sup>24</sup> Монетку на счастье запекали и в одном из приготовленных к вербной субботе хлебцев (в 1832 году ее отмечали 26 марта). М. Вайскопф, пренебрегая точной датой, обозначенной в начале повести, полагает, что «глубинный слой повествования — трагедия евхаристии»; «во всей семиотической полноте Рождество, а равно распятие и воскресение Спасителя воспроизводятся в церковном обряде рассечения хлеба», а «в дальнейшей сцене триумфального посещения Носом собора нетрудно опознать шокирующую пародию на соединение Христа с Церковью» (*Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. С. 231—233, 322, 328, 329).

<sup>25</sup> *Магазаник Л.* «Нос»: морфология и метафизика имени и тропа // Академические тетради. М., 1996. Вып. 3. С. 109.

ние же, да еще без надлежащего подноса,<sup>26</sup> к частному приставу (полицейскому главе административной части), который по чину также был выше просителя, — оказалось тщетным: «Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (...), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропустить все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он потрянул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: „Признаюсь, после таких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить...” — и вышел» (с. 40).

В сущности, частный пристав *утер нос* Ковалеву. Спасителем оказался только квартальный надзиратель<sup>27</sup> «с бакенбардами не слишком светлыми и не темными» (с. 41), которому удалось обнаружить ковалевский нос, никак не желавший, однако, прирастать к лицу.

А далее столичным слухам о блуждающем носе довелось затмить даже традиционные обычаи Страстной недели (Пасха в 1832 году отмечалась 3 апреля). Двухнедельный морок одуроченного майора Ковалева, который парадоксальным образом *остался с носом*, обернулся поистине праздником для петербуржцев, так как «слухи об этом необыкновенном происшествии распространялись по всей столице, и, как видите, не без особенных прибавлений (...). Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою» (с. 45—46).

В ранней редакции повести по этому поводу было замечено: «Обо всех этих слухах бедный коллежский асессор, сам не зная каким образом, узнавал, не выходя почти из своей комнаты...» (с. 164). То есть во сне он чуть ли мысленно не присутствовал во всех местах, где столичные жители жаждали увидеть блуждающий нос. В окончательной редакции такая оговорка была опущена — тем самым вся рассказанная выше история стала уподоблена нелепым городским рассказам.

Нельзя не заметить, что на протяжении поисков своего носа Ковалев испытывает не просто неудачи, но и цепь постоянных унижений, завершившихся «пробами» доктора: «Спросивши, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: „Гм!” Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: „Гм!” — и в заключение дал опять ему

<sup>26</sup> Вся передняя и столовая у частного пристава была уставлена сахарными головами, которые при изготовлении увенчивались «носками», отламывавшимися при дальнейшем употреблении.

<sup>27</sup> Учитывая, что нос был выловлен из Невы, здесь, возможно, подразумевалась поговорка «Куда шестом не достанешь, туда носом не тянись».

большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы» (с. 43).

Фигурально безносому «майору» постоянно все дают «щелчка в нос».<sup>28</sup> Не смотря на свои амбиции, Ковалев психологически чувствует свою ущербность.

Лишенная фантастики третья часть повести наяву оказывается, может быть, наиболее невероятной: «Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева» (с. 46).

Странным образом Ковалев, хотя и не забывает свои былые переживания (когда *меж глаз нос пропал*), первым делом опять прибегает к услугам прежнего цирюльника, перенеся эту операцию, впрочем, со среды на четверг.

«И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку; неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена» (с. 47).

Наяву ему недоступно понять, что «Кто возьмет без спросу, тот будет без носу». Не для него и предупреждение: «Заруби себе это на нос». Поистине — «Он дальше носа не видит».

<sup>28</sup> «О! как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, проникающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку» (*Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями*. С. 137).

© М. Я. Саррина

## «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» И. С. ТУРГЕНЕВА В ОЦЕНКЕ А. А. ГРИГОРЬЕВА

Середину и вторую половину XIX века можно назвать классическим, «золотым» периодом русской критики, когда «определились ее взаимокоррелирующие отношения с литературой и органические связи с социальными процессами».<sup>1</sup> И не случайно, что именно в этот период возросло «напряжение» (термин А. М. Штейнгольд) между искусством слова и литературной критикой, вызванное возможностью многочисленных истолкований и оценок художественных произведений. «Содержательный объем художественного образа и образной системы произведения дает возможность большого диапазона его толкований в зависимости от социально-исторического и индивидуально-личностного опыта воспринимающего».<sup>2</sup> Так образуется вокруг произведения «литературно-критическая оболочка» (термин В. А. Громова).

Мария Яковлевна Саррина — аспирант Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

<sup>1</sup> Штейнгольд А. М. *Анатомия литературной критики (природа, структура, поэтика)*. СПб., 2003. С. 4.

<sup>2</sup> Там же. С. 6.

Подобная «оболочка» начала складываться вокруг очерков из будущего цикла «Записки охотника» И. С. Тургенева с самого начала их появления в печати. Сложность оценки критических отзывов о цикле обусловлена тем, что многие современники Тургенева (как и критики последующих поколений) рассматривали цикл уже после выхода отдельного издания 1852 года, «в статике», как цельное, сложившееся, «готовое» произведение, не учитывая как творческой эволюции автора, так и того факта, что очерки на протяжении пяти лет «не только публиковались в самом передовом печатном органе России, но и в некоторых случаях предвосхищались (...) общим содержанием журнала».<sup>3</sup>

Спектр мнений о рассказах цикла «Записки охотника» очень широк. Он включает отзывы представителей всех направлений литературно-общественной жизни России: либерального лагеря (В. Г. Белинский, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев), славянофилов (семья Аксаковых), демократов (А. И. Герцен и Н. П. Огарев), эстетической критики (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), а также эпистолярные высказывания Н. В. Гоголя, Ф. И. Тютчева и др. В этом ряду А. А. Григорьеву принадлежит особое место, поскольку только он был постоянным рецензентом каждого из рассказов по мере их появления на страницах «Современника», когда еще никто не подозревал, что речь идет о будущей книге, которой суждено сыграть выдающуюся роль в истории русской литературы.

Отзывы Григорьева относятся к разряду тех немногих откликов на «Записки охотника», которые создавались «вслед» за произведениями Тургенева и именно поэтому отражали (в зеркале критики) восприятие цикла современниками. Нетерпеливое ожидание каждого нового рассказа писателя, признание в «слабости» по отношению к его творчеству представителем противоборствующего журнала во многом характеризует эпоху «культурной полемики» конца 40-х — начала 50-х годов, предшествующую непримиримым «журнальным войнам» (по выражению Б. Ф. Егорова) эпохи Чернышевского и Добролюбова. Эти «журнальные войны» продолжились и в XX веке, когда на первый план выдвигались мнения представителей «прогрессивной» критики, к которой Григорьев, очевидно, не принадлежал.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Громов В. А.* «Записки охотника» И. С. Тургенева и русская литературно-критическая мысль XIX века (к постановке вопроса) // Межвузовский тургеневский сборник. Орел, 1975. Т. 4. С. 233 (Ученые записки Курского государственного педагогического института. Т. 17 (110)). Изучению вопроса «„Записки охотника“ и критика 1840—1850-х годов» посвящен, например: Межвузовский тургеневский сборник: Тургенев и русские писатели / Под науч. ред. Г. Б. Курляндской. Курск, 1975. Т. 5 (Научные труды Курского государственного педагогического института. Т. 50 (143)), включающий статьи М. О. Габель «Из истории литературной борьбы вокруг „Записок охотника“ в 1852 году» (с. 125—132), Л. М. Петровой «Натуральная школа и повести И. С. Тургенева 40-х годов» (с. 133—142), О. Я. Самочатовой «„Записки охотника“ Тургенева и журнальная проза 1840-х — первой половины 50-х годов» (с. 13—124) и др.

<sup>4</sup> Так, в антологии «Тургенев в русской критике» критическому наследию Григорьева не нашлось места. Здесь были подобраны высказывания о писателе В. И. Ленина, В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Н. И. Сафонова, Д. И. Писарева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, П. Ф. Якубовича, П. Л. Лаврова, С. М. Степняка-Кравчинского, В. В. Воровского и А. В. Луначарского, сопровождаемые выдержками из писем тех же авторов, дополненные фрагментами из писем И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. Г. Короленко и А. М. Горького (Тургенев в русской критике: Сб. статей / Вступ. статья и прим. К. И. Бонецкого. М., 1953). Место Григорьева в этом ряду было определено отчетливо автором вступительной статьи: «Когда либералы Боткин и Анненков в тесном союзе с реакционными критиками Дружининым и Григорьевым пытались втянуть Тургенева в болото так называемого „чистого искусства“, они встретили энергичный отпор со стороны революционных демократов» (Там же. С. 4). Несмотря на столь явно выраженную идеологическую оценку, нельзя не согласиться с К. И. Бонецким в том, что представители «мажорно-идеалистической эстетики» А. В. Дружинин, В. П. Боткин, А. А. Григорьев, П. В. Анненков, С. С. Дудышкин выступили за «решительный пересмотр» взглядов Белинского и его интерпретации творчества Гоголя, стремясь отделить Тургенева от идей «натуральной школы» (Там же. С. 22—24).

Большая часть отзывов Григорьева о рассказах Тургенева, вошедших в цикл «Записки охотника», была опубликована в 1851 году. Именно в это время вырабатывался метод Григорьева — «историческая критика», происходило изменение его философской и эстетической позиции. По странному совпадению, Тургенев также осознавал в начале 1850-х годов необходимость «завершения целой полосы в своем творчестве».<sup>5</sup> Писатель, осуждая «старую манеру», работал над большим романом и одновременно готовил к выходу в свет отдельное издание «Записок охотника», которое должно было подвести «черту под определенным и в целом действительно законченным этапом творческого пути писателя».<sup>6</sup> Не случайно 1851—1852 годы характеризует особенно пристальное внимание Тургенева к мнению о своем творчестве как корреспондентов и собеседников, так и критиков, в том числе из «враждебного» лагеря, к которому, без сомнения, следует отнести журнал «Москвитянин».

Между тем статьи Григорьева о рассказах, составивших позднее «Записки охотника», никогда не были собраны воедино. Они регулярно выходили с 1847 года в различных изданиях («Московский городской листок», «Отечественные записки», «Москвитянин»), но с тех пор не перепечатывались, некоторые цитировались с искажениями и купюрами.

Изучение критических отзывов Григорьева о «Записках охотника» представляется наиболее полным при сопоставлении с точками зрения его современников, например, близкого Тургеневу В. Г. Белинского и П. В. Анненкова, дружбу с которым писатель уподоблял содружеству Гете и Мерка. Нужно отметить, что при жизни Белинского в печати появилось лишь четырнадцать из двадцати двух рассказов, которые позже вошли в отдельное издание «Записок охотника», поэтому его отзывы носили скорее предварительный характер и не охватывали книги в целом. Положительно отзываясь о рассказе «Хорь и Калиныч», Белинский критиковал, например, очерки «Малиновая вода», «Лебедеянь» и «Уездный лекарь». Так, в письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 года Белинский охарактеризовал «Лебедеянь» как «один из самых обыкновенных рассказов его (...)». Цензура не вымарала из него ни единого слова, потому что решительно нечего вычеркивать».<sup>7</sup> В целом, по мнению критика, «во всех остальных рассказах много хорошего, местами даже очень хорошего, но вообще они мне показались слабее прежних».<sup>8</sup>

Роль и место рассказов Тургенева в современной литературе были определены Белинским в годовом обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года», где после анализа романов А. И. Герцена и И. А. Гончарова был отмечен «замечательный талант» Тургенева, имеющий, однако, «много аналогий с талантом» В. И. Даля. Объединял, с точки зрения Белинского, обоих писателей род дарования: «Настоящий род того и другого — физиологические очерки разных сторон русского быта и русского люда».<sup>9</sup> Очевидно, что отрицательные отзывы Белинского в дальнейшем связаны именно с восприятием им Тургенева не как художника, а как беллетриста, главным достоинством которого является «дар наблюдательности, способность верно и быстро понять и оценить всякое явление, инстинктом разгадать его причины и следствия».<sup>10</sup> Именно «дельность», «занимательность», «поучительность», а не художественные достоинства рассказов ставил на первое место Белинский,

<sup>5</sup> Цит. по: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1979. Соч. Т. 3. С. 433 (прим. А. Г. Цейтлина). Цейтлину была поручена историко-литературная часть введения к разделу «Примечания», однако смерть оборвала эту работу, которая впоследствии была закончена коллективом участников тома.

<sup>6</sup> Там же. С. 434.

<sup>7</sup> *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 12. С. 466.

<sup>8</sup> Там же. С. 466—467.

<sup>9</sup> Там же. Т. 10. С. 344.

<sup>10</sup> Там же. С. 345.

высоко оценивая рассказ «Бурмистр» и критикуя в письмах рассказ «Уездный лекарь».<sup>11</sup>

Спор о художественности рассказов цикла стал первым вопросом, вызвавшим полемику в литературной критике. Противоположными категоричной позиции Белинского оказались отзывы В. П. Боткина, сравнивавшего рассказы Тургенева с «золотыми работами Челлини» и отмечавшего «артистичность рисунка» и «поэтическое чувство природы».<sup>12</sup>

Позиция П. В. Анненкова в этом отношении является достаточно сложной. Первый опубликованный отзыв критика о «Записках охотника» содержится в годовом обзоре «Заметки о русской литературе 1848 года», в котором автор последовательно излагает размышления В. Г. Белинского, не упоминая имени опального критика, но указывая номер журнала с его статьей. Так, вслед за Белинским Анненков дает высокую оценку рассказу «Хорь и Калиныч»: «Г. Тургенев первый, кажется, из наших писателей понял важное значение того, что называется *беллетристической*, и первый показал примеры как замечательных результатов, какие она может дать, так и редких качеств, требуемых ею от самого писателя. (...) „Хорь и Калиныч“, первый (...) по появлению остается первым и по достоинству».<sup>13</sup> Все остальные рассказы, по мнению П. В. Анненкова, «держатся на силе наблюдения, на литературной и житейской опытности автора», которая является «важным условием» беллетристики наряду с «многосторонним знанием жизни, зоркостью взгляда, изоощренного опытом, всегдашним присутствием мысли, поясняющим наблюдение, и наконец еще талантом разбора самых явлений и вывода их перед читателем».<sup>14</sup>

В то же время Анненков впервые отмечает новаторство творческой манеры Тургенева: «Любопытно наблюдать, как меняет он для каждого нового представления краски и самый способ изложения, как верно рассчитаны для них свет и воздух, и в каких нежных оттенках и умно рассеянных подробностях выражаются у него люди и события. Верность окружающему (...) является тут сама по себе и часто достигает поэтического выражения, по глубокому проникновению в жизнь, по изучению ее».<sup>15</sup> Отодвигая на второй план значимые для Белинского принципы полезности и дельности, Анненков акцентирует внимание читателя на художественности, поэтичности рассказов и на «гуманности» автора, т. е. «уважении ко всем своим лицам».<sup>16</sup> Именно слова «уважение» и «гуманность» отражают новаторское восприятие Анненковым творчества писателя.

Начиная публикацию ежемесячных обзоров в газете «Московский городской листок», Григорьев декларировал свое нежелание участвовать в «журнальном споре» с петербургскими изданиями: «Мы не будем смотреть на журналы наши как на органы известных партий, мы станем рассматривать только явления знания и литературы независимо от их иногда случайного, иногда неслучайного помещения в журнал, или, если есть необходимость заставить нас говорить о самом журнале как органе известной партии, известного убеждения, то смотреть на это убеждение со спокойной, чисто исторической точки зрения, соблюдая то же самое и в отношении к газетам».<sup>17</sup> Такая позиция вызвана не только тем, что отъезд критика из Петер-

<sup>11</sup> Более подробно об отношении Белинского к «Запискам охотника» см.: Лукина В. А. «Записки охотника»: О завершении цикла (Тургенев и Белинский) // Тургеневские чтения. М., 2006. Вып. 2. С. 228—256.

<sup>12</sup> См.: П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. СПб., 1892. [Т.] I. С. 553—554.

<sup>13</sup> Анненков П. В. Критические очерки / Сост., подг. текста, вступ. статья и прим. И. Н. Сухих. СПб., 2000. С. 50—51.

<sup>14</sup> Там же. С. 51—52.

<sup>15</sup> Там же. С. 52.

<sup>16</sup> Там же. С. 51.

<sup>17</sup> [Григорьев А. А.]. Обозрение журнальных явлений за январь и февраль // Московский городской листок. 1847. № 51. С. 205. Об авторстве см.: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1960. Вып. 98. С. 229—231 (приложение 1).

бурга был вынужденным и контакты с петербургскими журналами продолжались (рецензии в «Отечественные записки» Григорьев писал вплоть до 1851 года), но и очевидным желанием встать «над схваткой», выработать более объективный критический взгляд на современный литературный процесс.

В газете «Московский городской листок» Григорьевым был опубликован отклик на рассказы «Бретер» и «Петр Петрович Каратаев». Согласно своей концепции «лермонтовского» и «гоголевского» направлений, критик считает Тургенева представителем «пришлого» («трагического») «лермонтовского» направления. Именно в этой рецензии, проведя литературную параллель «Лучников—Печорин, Грушницкий», Григорьев впервые высказывает мысль «об определенной преемственности в художественной разработке отдельных образов-типов у писателей, идущих вслед за главой литературного направления».<sup>18</sup> «„Бретер“, — писал Григорьев, — это Грушницкий с энергией Печорина или, пожалуй, Печорин, лишенный блестящего лоска его ума и образованности, олицетворение тупой апатии, без очарования, доставшегося даром...»<sup>19</sup> Современный исследователь творчества Григорьева справедливо отмечает, что высокая оценка этого произведения, наряду с поэмами «Параша» и «Помещик», свидетельствует о том, что «критик не приходит к выводу о ложности принципов изображения жизни или о „затухании“ в русской литературе трагического направления».<sup>20</sup>

Анализируя рассказ «Петр Петрович Каратаев», в котором «развита гибель от обстоятельств самого лучшего чувства, озарившего небогатую, чисто помещичью природу», Григорьев указывает на связь этого рассказа со стихотворением «Деревня» и утверждает, что «никто лучше него (Тургенева. — М. С.) не чувствует нашего быта — помещичьего, заметьте, не деревенского вообще — никто лучше не хандрит и не хандрит в этих знакомых ему формах жизни...»<sup>21</sup>

В 1848 году работа в журналах в силу ряда жизненных обстоятельств отошла для Григорьева на второй план. Тем более ярким и продуктивным стало возвращение Григорьева спустя два года к критической деятельности в качестве одного из лидеров «молодой редакции» журнала «Москвитянин». В эти годы Григорьев создает свою самобытную «историческую критику». Применяя новый метод сначала для анализа отдельных литературных произведений, в 1852 году Григорьев изложил этот подход в состоящем из трех частей обзоре «Русская литература в 1851 году». В первой статье обзора, назвав современную эпоху веком «исторической критики», Григорьев определил три ее составляющие: «Историческая критика рассматривает литературу как органический продукт века и народа (...). Но так как во всем временном есть частица вечного, неперемennого, (...) то и следует отсюда прямо, что общие эстетические законы подразумеваются исторической критикой художественных произведений. (...) Историческая критика рассматривает литературные произведения в их преемственной и последовательной связи (...). Историческая критика, рассматривая литературные произведения как живой продукт общественной и моральной жизни, определяет, что (...) внесло оно содержанием своим в массу познаний о человеке».<sup>22</sup>

Произведение искусства отражает «взгляд поэта на жизнь», т. е. его «миросозерцание», которое «не есть что-либо совершенно личное, совершенно принадлежа-

<sup>18</sup> Глебов В. А. Литературный процесс 1830—1840-х годов в оценке Аполлона Григорьева // Русская литература XIX века: Метод и стиль. Фрунзе, 1991. С. 32.

<sup>19</sup> [Григорьев А. А.]. Обзорение журнальных явлений за январь и февраль. С. 207.

<sup>20</sup> Глебов В. А. Литературный процесс 1830—1840-х годов в оценке Аполлона Григорьева. С. 32, 34.

<sup>21</sup> [Григорьев А. А.]. Обзорение журнальных явлений за январь и февраль. С. 207.

<sup>22</sup> Григорьев А. Русская литература в 1851 году. Статья первая: О значении исторической критики и о различных злоупотреблениях, к которым она, бывши совершенно невинною, подала в русской литературе повод // Григорьев А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. Пг., 1918. Т. 1. С. 99—102. К сожалению, этот том, снабженный подробными примечаниями, оказался единственным вышедшим в свет.

щее самому поэту». А «гениальная натура» становится «фокусом, отражающим крайние, истинные пределы современного ей мышления; последнюю, истинную степень развития общественных понятий и убеждений». <sup>23</sup> Гениальный художник является, с точки зрения критика, главным представителем литературной эпохи, «от которого, как от исходного пункта, ведет она свое начало. (...) она живет под его могущественным влиянием, она вся представляет собою, так сказать, периферию его личности. Новое слово сказано им, и это слово толкуется, поясняется более или менее даровитыми последователями. Новая стезя пробивается гением, и только расширяется, очищается талантами». <sup>24</sup>

«Исходным пунктом» литературы XIX века Григорьев называет мирозерцание Гоголя. Однако взгляд критика «Москвитянина» на творчество писателя диаметрально противоположен оценке Гоголя Белинским, хотя он тоже считал автора «Мертвых душ» центральной фигурой в литературе этого периода, главой нового направления. По меткому выражению П. В. Анненкова, Белинский видел в Гоголе исключительно социального обличителя и «считал своим жизненным призванием поставить содержание „Мертвых душ“ вне возможности предпологать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго обличающих, какие прямо из него вытекают». <sup>25</sup> Григорьев, напротив, всегда настаивал на «единстве и целостности Гоголя — обличителя европейского „прогресса“ и Гоголя — вдохновенного певца русского быта...» <sup>26</sup>

Этот пример наглядно демонстрирует, что «младомосквитяне», принимая критические открытия «неистового Виссарiona» периода «примирения с действительностью», опровергали воззрения «позднего» Белинского. <sup>27</sup> Одними из первых подвергая «беспощадной ревизии» наследие критика, они тем самым «углубляли понимание эволюции критического метода Белинского и первыми дали ему полную, хотя и резкую характеристику». <sup>28</sup>

Важной составляющей взглядов «молодой редакции» «Москвитянина», отодвигшей искусство и литературе в жизни «не служебную, а скорее царственную роль», <sup>29</sup> являются «представления о высшей объективности искусства, исключающего любые личные, ограниченные пристрастия». <sup>30</sup> Предвзятость художника приводит к «разрушению художественной объективной целостности». <sup>31</sup> Одна из важ-

<sup>23</sup> Там же. С. 105.

<sup>24</sup> Там же. С. 103.

<sup>25</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания / Вступ. статья В. И. Кулешова. М., 1983. С. 233.

<sup>26</sup> Тимашова О. В. Литературная критика журнала «Москвитянин» времен «молодой редакции» (1850—1855). Саратов, 2011. С. 20.

<sup>27</sup> Необходимо отметить, что критическое наследие Григорьева следует рассматривать как часть методологии и эстетики «молодой редакции» журнала «Москвитянин», создавшей самобытную критико-эстетическую программу. Внутренняя полемика внутри кружка лишь «свидетельствовала „в пользу“ самостоятельной и в то же время близкой позиции членов кружка», который характеризовало «удивительное творческое единство» (Там же. С. 12). Об эстетике и литературной программе «молодой редакции» журнала «Москвитянин» также см.: Венгеров С. А. Молодая редакция «Москвитянина»: Из истории русской журналистики // Вестник Европы. 1866. Кн. 2. С. 588; Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982; Зубков К. Ю. «Молодая редакция» журнала «Москвитянин»: Эстетика. Поэтика. Полемика. М., 2012.

<sup>28</sup> Тимашова О. В. Литературная критика журнала «Москвитянин» времен «молодой редакции». С. 16.

<sup>29</sup> Спиридонов В. Аполлон Александрович Григорьев // Григорьев А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. LXXXVI.

<sup>30</sup> Зубков К. Ю. «Молодая редакция» журнала «Москвитянин». С. 28.

<sup>31</sup> Там же. С. 33.



нейших отправных мыслей Григорьева состояла в том, что Гоголь — «поэт, чуждый всякой задней мысли».<sup>32</sup> «Задняя мысль» — одно из определяющих понятий в «исторической критике» Григорьева. В его работах возникает антиномия: «любовь к жизни, чутье жизни», «стремление к идеалу», т. е. изображение действительности в согласии с принципами художественной объективности, с одной стороны, и «болезненная раздражительность», «личное предубеждение», «односторонность», «отрицательный пафос негодования» — с другой. «Задняя мысль» мешает художнику объективно изображать действительность, «обладать ею мужски», а не просто «плакать над нею».<sup>33</sup> Именно поэтому в изображении жизненных явлений необходима «непосредственность», которая позволит избежать «явно-искусственной постройки» произведений, мысли «нимало не скрытой, а, напротив, просившейся наружу».<sup>34</sup>

В противоположность эстетике «позднего» Белинского, «историческая критика» Григорьева не ставила вопрос о влиянии литературы на жизнь общества. Идеологическая функция литературы (называемая последователями Белинского «дельной мыслью») для Григорьева была лишь «частным взглядом», «задней мыслью», мешающей художнику «отождествляться с представляемым, описываемым, изображаемым им предметом, (...) отрешаться от своей личности и ее обстановки и переноситься в чуждые личности с иною обстановкой».<sup>35</sup> Решение художником слова в литературном произведении социальных задач ведет к доминированию в произведении либо теории, либо «отрицательного пафоса негодования», а в итоге — к ложному изображению действительности.

Гоголь, юмор которого «полон любви к жизни и стремления к идеалу»,<sup>36</sup> изображал действительность «с чистыми руками и с желанием правды».<sup>37</sup> Его последователи, по мнению Григорьева, или воспринимают только гоголевскую форму, но не миросозерцание (например, лермонтовское миросозерцание в «Обыкновенной истории» Гончарова), или, не имея гоголевского идеала, создают болезненные крайности и искажают гоголевский юмор (как «Двойник» Достоевского). Анализируя увидевшие свет в 1851 году произведения, Григорьев убедительно доказывает, что эти литературные течения угасают. Положительно оценивается критиком только третья группа последователей Гоголя, к которой Григорьев относил и некоторые произведения Тургенева. Это писатели, которые, «следуя по пути, проложенному Гоголем, носят на себе, однако, признаки таланта, самобытности, жизни, хотя не представляют собою разрешения никаких новых задач», а их произведения являются «простым изучением и изображением действительности», которая «стоит сейчас на первом плане в современной литературе».<sup>38</sup>

Тема ложного изображения действительности под влиянием определенной идеи («задней мысли»), без сомнения, одна из центральных в «исторической критике» Григорьева. Именно за присутствие «задней мысли» он критиковал и некоторые из «рассказов охотника» Тургенева. Например, анализируя «Свидание», Григорьев отмечает, что «вся свинцовая тяжесть впечатления придается здесь присутствием задней мысли».<sup>39</sup> Стремясь посмотреть на свидание в лесу «с известной точки», автор создает неправдоподобные образы, идеализирует или, напротив, сгу-

<sup>32</sup> Григорьев А. Русская литература в 1851 году. Статья вторая: Общий взгляд на современную изящную словесность и ее исходная историческая точка. С. 112.

<sup>33</sup> Там же. С. 114.

<sup>34</sup> Там же. С. 127.

<sup>35</sup> [Григорьев А. А.]. Современные лирики, романисты и драматурги. П. Мериме // Москвитянин. 1854. № 11. С. 134. Авторство раскрыто в оглавлении, также см.: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. С. 231—232.

<sup>36</sup> Григорьев А. Русская литература в 1851 году. Статья вторая. С. 112.

<sup>37</sup> Там же. С. 129.

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник в 1850 году // Москвитянин. 1851. № 3. С. 390. Об авторстве см.: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. С. 231—232.

щает краски, что создает при чтении его произведений ощущение двойственности, борьбу в них «действительной и ложной стороны».<sup>40</sup>

В статье «Современник в 1850 году» Григорьев, называя Тургенева «одним из более замечательных, без сомнения, новых деятелей в нашей литературе», отмечает такие черты таланта писателя, как искренность, задушевность, «сочувствие природе, своеобразный, хотя часто причудливый взгляд на ее явления».<sup>41</sup> «Беда в том только, — пишет Григорьев, — что на все свои картины г. Тургенев накладывает туманный, серенький колорит, что на самые простые явления смотрит он под своим углом зрения, что никогда почти не удается ему возвыситься до непосредственности взгляда: от этого, читая его произведения, любишь в них поэта, но как-то невольно не доверяешь истине самого создания, чувствуешь как-то, что описываемое было на деле не так, как оно описано, что многому в сущности неважному или случайному придано значение типического под влиянием известного настроения души, известного направления мышления».<sup>42</sup>

Интересны последние строки этого отзыва: «известное настроение души, известное направление мышления». Вскоре Григорьев уточнит, что «известное настроение души» — это «болезненность». В отзыве столь различные «источники» болезненности — «направление мышления» и «настроение души» — неслучайно перечисляются, а не противопоставляются. С одной стороны, критик с безошибочным чутьем видел в Тургеневе «поэта», с другой — связывал «рассказы охотника» с традициями натуральной школы. При этом критик считал «болезненность» качеством, свойственным и некоторым поэтам, и натуральной школе в целом. Болезненная «манера натуральной школы состоит в описывании частных, случайных подробностей действительности, в придаче всему случайному значения необходимого, так же точно и манера болезненной поэзии отличается отсутствием типичности и преобладанием особенности и случайности в выражении, <...> все такие качества происходят от непомерного развития субъективности».<sup>43</sup> Именно словом «болезненность» Григорьев определял специфику литературного процесса конца 1840-х — начала 1850-х годов. В этот период Григорьев искал причины «болезненности» в творчестве европейских поэтов (главой поэзии такого рода Григорьев считал Г. Гейне, а одним из его последователей — А. Фета) и в том, что натуральная школа не поняла творчества Гоголя, для которого «болезненность» была характерна. В отличие от «столько же многообразной, но сангвинической натуры» Гете, от Шекспира, «носившего в себе светлый характер» Генриха V, от Пушкина, который был «чистым, возвышенным и гармоническим эхом всего, все претворяя в красоту и гармонию», Гоголь, по мнению критика, «натура холерически-меланхолическая, склонная к бесконечной вдумчивости, подверженная борьбе со всеми темными началами, и, между тем, сама в себе носящая залог спасения, желание быть лучшим, стремление к идеалу...»<sup>44</sup> Характерную черту гения Гоголя составляет «сосредоточенная страстность, эта способность болезненно, т. е. слишком чутко отзываться на все...»<sup>45</sup> Нужно заметить, что в работах начала 1850-х годов Григорьев еще не усматривал влияния «болезненного» гения Гоголя, центральной фигуры этой эпохи, на литературный процесс конца 1840-х — начала 1850-х годов.

«Болезненной» литературе критик противопоставлял творчество Пушкина, последние стихотворения которого «представляют недостижимый идеал красоты, чистоты, ясности мирозерцания — и того полного любви спокойствия, которое

<sup>40</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник в 1850 году. С. 386.

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup> Там же. С. 386—387.

<sup>43</sup> Григорьев А. А. Русская изящная литература в 1852 году. VII. Лирическая поэзия. Ога-  
рев. Гейне. Фет // Григорьев А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 191—192.

<sup>44</sup> Григорьев А. Русская литература в 1851 году. Статья вторая. С. 109.

<sup>45</sup> Там же.

дается только великим, избранным натурам»,<sup>46</sup> а также Островского, обладающего «коренным русским мирозерцанием, здоровым и спокойным, юмористическим без болезненности, прямым без увлечений в ту или другую крайность, идеальным, наконец...»<sup>47</sup>

Позже, в работе «Обозрение наличных литературных деятелей» критик прямо называет причину «болезненности» в творчестве Тургенева: «Самая болезнь произошла в его душе от противоречия поэтической, впечатлительной, на все отзывавшейся натуры художника с мертвящею пустотою добросовестно воспринятого мышления, с сухостью отношений, которые душе казались желаемыми, с безысходностью бездны, к которой привела праздная логическая мысль».<sup>48</sup> В рецензиях на «рассказы охотника» Григорьев советовал автору не принимать «частное и случайное за типическое» и стряхнуть «гнет болезненного взгляда». В рассказе «Певцы» критик отмечал одновременно и «не совсем правдоподобный сюжет» состязания, похожего «на какой-то спор германских миннезингеров», и реалистичность образов Обалдуя и Моргача, считая при этом очерк характера Моргача «решительным лучшим местом в рассказе».<sup>49</sup> Борьба «действительной» и «ложной» сторон создает ощущение, что «произведение как будто двойств перед вами».<sup>50</sup> От этого, по мнению Григорьева, «мало у Тургенева произведений, которые бы удовлетворяли, успокаивали требования: большею частью они только раздражают, приводят в напряженное состояние».<sup>51</sup> Григорьев вновь критикует писателя за «односторонность», «заданный угол зрения» в рассказе: «Всего неудовлетворительнее описание самого состязания певцов, описание, в котором отражается односторонность чисто личного впечатления. Вследствие этой односторонности, автором наброшен потом и на самую природу болезненный серый колорит. Повсюду видит автор какое-то истомление, обессиление; повсюду он под властью своей личной хандры и не может от нее отрешиться...»<sup>52</sup> Следует согласиться с О. В. Тимашовой в том, что отзыв о рассказе «Певцы» отражает взгляд «молодой редакции» «Москвитянина» на петербургских литераторов-западников, у которых «в основе трагизма деревенского жития (...) лежали не противоречия реальности, а собственное (...) „сплиническое“ настроение».<sup>53</sup>

В обзоре второго номера журнала «Современник» за 1851 год критик, признаваясь в «маленькой слабости к таланту г. Тургенева», в размышлениях о рассказе «Бежин луг» вновь повторяет мысль о том, что «г. Тургенев оком художника смотрит на всю физическую природу и только иногда, в угоду своей личной хандре — набросит на нее какой-то туманный колорит, который тоже не лишен своей прелести».<sup>54</sup>

Наиболее резкую критику Григорьева вызвал рассказ «Свидание». Крестьянская девушка «до такой степени идеализирована, что часто напоминает то Gretchen am Spinnrade, то Офелию, разбрасающую в безумии цветы. Само отчаяние ее, по уходе лакея, выходит как-то мелодраматично».<sup>55</sup> Критик отмечает «свинцовую тяжесть впечатления» от рассказа и советует автору «слушать песни народа» не

<sup>46</sup> Григорьев А. А. Русская изящная литература в 1852 году. VII. Лирическая поэзия. Огарев. Гейне. Фет. С. 177.

<sup>47</sup> Григорьев А. А. Русская изящная литература в 1852 году. IV. Островский. «Бедная невеста». С. 159.

<sup>48</sup> Григорьев А. Обозрение наличных литературных деятелей // Москвитянин. 1855. № 4. С. 193.

<sup>49</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник в 1850 году. С. 389.

<sup>50</sup> Там же. С. 387.

<sup>51</sup> Там же.

<sup>52</sup> Там же. С. 389.

<sup>53</sup> Тимашова О. В. Литературная критика журнала «Москвитянин» времен «молодой редакции». С. 25.

<sup>54</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник 1851 г. № 2-й, февраль // Москвитянин. 1851. № 6. С. 279. Об авторстве см.: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. С. 231—232.

<sup>55</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник в 1850 году. С. 390.

только «по притынным <...> кабакам» и не «принимать частное и случайное за что-то типическое». <sup>56</sup> Незнание народа (стилизированный язык), неспособность к типизации (в рассказе действительность не совпала «с настроением души поэта»), присутствие «задней мысли» — таковы нелепые критические замечания Григорьева. И лишь когда писателю удается «страхивать с себя гнет болезненного взгляда», когда действительность совпадает «с настроением души поэта», тогда «являлись типы, являлось настоящее дело» <sup>57</sup> — «лица в роде Овсянникова, Хоря и Калиныча, Сучка, Чертопханова, цыганки Маши». <sup>58</sup>

В числе рассказов, получивших положительную оценку ведущего критика «Москвитянина», — «Касьян с Красивой Мечи». Образы кучера Ерофея и Касьяна с Красивой Мечи «созданы цельно и прекрасно». Ерофей «не похож на известного кучера Селифана, на которого более или менее сбиваются все кучера у наших повествователей. Он — сам по себе и очень хорош». <sup>59</sup> Образ «любящей природы» Касьяна, по мнению критика, «совершенно понятен», т. е. (в отличие, например, от образа крестьянки из рассказа «Свидание») он «живой», а не «мертвый сколок с видимых явлений». <sup>60</sup> Григорьев, несмотря на сжатый формат рецензии, приводит большие цитаты из рассказа, потому что «все частички и мелочи в этом рассказе отличаются особенною прелестью. Есть, например, одна страница — описание впечатлений, когда лежишь на спине в лесу и глядишь вверх — страница, которая даже и отдельно взятая — прелестная картина истинного мастера!» <sup>61</sup>

По мнению критика, отличительная черта поэтики Тургенева — способность «подмечать самые, так сказать, тонкие черты местности, самые нежные оттенки природы». <sup>62</sup> Критик находит точное определение: писатель смотрит на природу «оком художника». «Живопись» его «описательной поэзии» «изящная, добросовестная, тонкая». Один недостаток отмечает Григорьев в «описательной поэзии» Тургенева: «...он иногда слишком щедр на краски, слишком занимается передачею самых мелочных оттенков, так что целое картины скорее затемняется ими, чем выясняется: каждая из мелочных частей, взятая отдельно, заставляет собою любоваться — а панорама исчезает — вы ее себе не представляете или можете представить только с известным усилием». <sup>63</sup>

В описании природы в рассказе «Бежин луг» критик видит именно этот недостаток: все «черты», «оттенки», «переливы света и тени» верны действительности, но при этом «сливаются во что-то неопределенно-пестрое», у читателя создается ощущение «неприятной изысканности»: «утонченность», «вычурность» метких сравнений утомляет. Живопись поражает «отсутствием того непосредственного наития, которое одним взмахом кисти творит целый, полный образ». <sup>64</sup> Критик приводит примеры неудачных сравнений («как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда»), «неприятно-натянутого остроумия» (собаки «изредка рычали с необъемленным чувством собственного достоинства»). Эта рецензия — самая объемная из всех отзывов Григорьева на «рассказы охотника». Критик приводит пространные цитаты из рассказа, восхищаясь то «цельным, гармоническим» описанием ночного неба, то рассказом мальчика Кости, в котором «звучит что-то сказочное — и вместе с тем что-то тоскливое». <sup>65</sup> Извиняясь перед автором и чита-

<sup>56</sup> Там же.

<sup>57</sup> Григорьев А. Обзорение наличных литературных деятелей. С. 193.

<sup>58</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник в 1850 году. С. 390.

<sup>59</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник. № III. Март // Москвитянин. 1851. № 7. С. 421. Об авторстве см.: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев — критик. С. 231—232.

<sup>60</sup> Григорьев А. Русская литература в 1851 году. Статья вторая. С. 107.

<sup>61</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник. № III. Март. С. 423.

<sup>62</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник 1851 г. № 2-й, февраль. С. 278.

<sup>63</sup> Там же. С. 279.

<sup>64</sup> Там же.

<sup>65</sup> Там же. С. 280, 281.

телями за «мелочные замечания», которые писатель, «как истинный артист, вероятно, не сочтет (...) придирками», Григорьев обращает внимание на два главных недостатка рассказа «Бежин луг»: «ложное идеализирование характеров» (скептицизм, фатализм характера Павлуши) и «разорванность впечатления»,<sup>66</sup> которая обусловлена противоречием между «поэзией» и «холодным рассуждением», «обаянием фантастического» и его «неуместным дидактическим толкованием». Например, звенящий, протяжный ночной звук, «как сухое толкование», разрушает впечатление от «простодушно-фантастического» рассказа Кости. По мнению критика, автор не умеет «ладить» с фантастическим, потому что вступает в сферу сказочного и суеверий «с заднею мыслию», отчего выходит «или сухая аллегория, или дидактическое резонерство».<sup>67</sup> Примером «истинно художественного такта в обращении со сказочным и с суевериями» Григорьев считает «Сон Обломова» И. А. Гончарова.

По цензурным соображениям Григорьев не мог составить рецензию на отдельное издание цикла. Тургенев же, как указывает Л. Н. Назарова,<sup>68</sup> написал предисловие к изданию 1852 года, полемически направленное против Григорьева. Как предположила исследовательница, оно было уничтожено В. П. Боткиным, когда он был привлечен по делу о напечатанной в «Московских ведомостях» статье Тургенева о смерти Гоголя.

Вопрос о содержании утраченного текста Тургенева, безусловно, мог бы стать темой отдельного исследования. Выдвигая предположения, необходимо учитывать, что это предисловие было написано под влиянием одного конкретного отрицательного отзыва в журнале «Москвитянин» — о рассказе «Три встречи», а не являлось заранее продуманной, необходимой частью отдельного издания «Записок охотника», позволяющей читателю лучше понять авторский замысел.

Можно предположить, что содержание предисловия, написанного спустя короткое время после смерти Гоголя и споров о комедии «Бедная невеста», было связано именно с этими событиями, а точнее — с проблемой гоголевских традиций в русской литературе.<sup>69</sup>

Содержание же возможной рецензии Григорьева на издание «Записок охотника» можно реконструировать с большей точностью на основании известных отзывов критика. Свои наблюдения Григорьев обобщил в работе «Обозрение наличных литературных деятелей». Прежде всего необходимо отметить симпатию к «истинному и блестящему дарованию» Тургенева, в которой критик неоднократно признавался в своих мини-рецензиях.<sup>70</sup> Эта симпатия основана на оценке характера таланта Тургенева — «артиста», «художника», «одной из самых поэтических натур эпохи», «замечательного описательного поэта», сочувствующего природе и тонко понимающего ее красоту.<sup>71</sup> На лучших произведениях цикла «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», «Чертопханов и Недопьюшкин», «Касьян с Красивой Мечи») «лежит печать свободного творчества». В отличие от Белинского и Анненкова Григорьев неизменно подчеркивает художественный талант Тургенева, предпочитая называть его «поэтом», а не беллетристом.

Несмотря на все выше сказанное, в большей степени отзывы Григорьева имеют негативную тональность. Что же, по мнению критика, мешало Тургеневу в полной мере проявить свой талант?

<sup>66</sup> Там же. С. 280, 283.

<sup>67</sup> Там же. С. 283.

<sup>68</sup> Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками (1851—1853 годы) // Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958. С. 162—167.

<sup>69</sup> О творческом диалоге писателя и критика в 1852 году см. подробнее: Саррина М. Я. Тургенев и Ап. Григорьев: Творческий диалог (1852—1853) // И. С. Тургенев: Новые исследования и материалы / Под ред. Н. П. Генераловой и В. А. Лукиной. СПб., 2012. Вып. 3. С. 165—204.

<sup>70</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник 1851 г. № 2-й, февраль. С. 278.

<sup>71</sup> Григорьев А. Обозрение наличных литературных деятелей. С. 192.

Прежде всего, как уже говорилось, Григорьева не устраивает наличие «задней мысли», т. е. определенной тенденции в большинстве «рассказов охотника». Эта тенденция состоит в предвзятом, «критическом» отношении к русской действительности, выдвигании в широком полотно русской жизни на первый план именно негативных явлений, которым придается значение типичности. И здесь «упрек» Григорьева целит прежде всего в Белинского как теоретика «натуральной школы», с его неверной интерпретацией творчества Гоголя. Тургенев попадает в число подражателей Гоголя, извлекающих «анатомическим ножом» «голые, отвлеченные мысли» из «живых произведений». <sup>72</sup>

В большинстве рассказов цикла «Записки охотника» Тургенев, под критическим взглядом Григорьева, предстает как аналитик действительности с позиции «добросовестно» воспринятых западных идей и копировщик Гоголя. «Настоящим художником» Тургенев становится лишь тогда, когда действительность совпадает «с настроением души поэта» («настоящее дело» появляется, например, в рассказах «Каратаев», «Чертопханов и Недопюскин»). <sup>73</sup>

Второй аспект — это вопрос о «народности», который занимает в середине 1850-х годов центральное место в критике Григорьева. Наиболее полные рассуждения критика о понятиях «народность», «народная литература» содержатся в запрещенной цензурой статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», где критик дал два определения понятия «народ»: «в обширном смысле» и «в тесном смысле». «В обширном смысле» народ — это «целая народная личность, собирательное лицо, слагающееся из черт всех классов народа: высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных; слагающееся не механически, а органически, если сам народ сложился не механически, а органически; носящее общую, типическую, характерную физиономию физическую и нравственную, отличающую его от других подобных собирательных лиц». <sup>74</sup> Такая народность на «точном, хотя бедном языке цивилизации зовется *nationalité*». <sup>75</sup> Это понятие «безусловное, в природе лежащее». <sup>76</sup> В этом смысле литература в первом, широком смысле бывает, по Григорьеву, народна, когда она «в своем мирозерцании отражает взгляд на жизнь, свойственный всему народу, определившийся только с большею точностью, полнотою и, так сказать, художественностию в передовых его слоях: в типах — разнообразные, но общедоступные типы народного образа; в формах — красоту по народному понятию, выработавшемуся до художественности; в языке — язык народа, развившийся на основании его коренных этимологических и синтаксических законов». <sup>77</sup> Таким образом, народная литература — это национальная литература.

Под именем народа «в тесном смысле» Григорьев понимает «ту часть его, которая наиболее, сравнительно с другими, находится в непосредственном, неразвитом состоянии». <sup>78</sup> Литература, ориентирующаяся на эту часть общества, называется «*popularité*», «*littérature populaire*». <sup>79</sup> Она «или 1) приносится к взгляду, понятиям и вкусу неразвитой массы, для воспитания ее, или 2) изучает эту массу, как *terram incognitam*, ее нравы и понятия, как нечто чудное, ознакомливая с ним развитые и, может быть, пресытившиеся развитием слои». <sup>80</sup> Эта вторая часть лите-

<sup>72</sup> Там же. С. 188.

<sup>73</sup> Там же. С. 193.

<sup>74</sup> Григорьев А. А. О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене. II. Обозрение отношений литературы нашей к народности // Григорьев А. Полн. собр. соч. и писем. Т. I. С. 216.

<sup>75</sup> Там же. *Nationalité* — «национальность» (фр.).

<sup>76</sup> Там же.

<sup>77</sup> Там же.

<sup>78</sup> Там же.

<sup>79</sup> *Popularité* — народность (фр.). *Littérature populaire* — народная литература (фр.).

<sup>80</sup> Там же.

ратуры о народе и для народа, на взгляд Григорьева, несопоставима по своему значению с первой, имеющей общенациональное значение. Отсюда и два понятия о народности. Второе обусловлено классовым расслоением общества, называемым Григорьевым, несомненно, по цензурным причинам, «болезненным фактом». Если в первом случае понятие народность поднимается до понятия нации, всего народа в целом, то во втором сужается и начинается противоречить искусству, или, по терминологии критика, «художеству».

Итак, по убеждению критика, отечественная литература постоянно стремится «к сознанию народности». Из представителей прошлых эпох только Пушкин «владел инстинктом народности в такой степени, что вышел из борьбы (за сознание самобытности. — М. С.) совершенно целым и только преждевременная смерть помешала ему совершить множество народных созданий...»<sup>81</sup> Однако на данный момент разорвана непосредственная связь письменности с народной жизнью, и литература «приступает к народности как к предмету, вне ее лежащему».<sup>82</sup>

Очевидно, что рассуждая о «*littérature populaire*», Григорьев имел в виду и славянофильское движение, которое идеализировало крестьян и считало исключительно их представителями национального характера, и беллетристические произведения натуральной школы, создаваемые именно с познавательной, «этнографической» целью. Большую часть «рассказов охотника», которые изначально задумывались как физиологические очерки, критик относил именно к «*littérature populaire*». Физиологические очерки, по мнению Григорьева, порождены западным влиянием, «естествоиспытательским» интересом к народному быту в результате исчерпанности интереса к «развитому быту». В них нет любви к народу, есть лишь любопытство исследователя.

Рассуждения о проблеме народности критик продолжил в «Обзрении наличных литературных деятелей» при обзоре произведений мастеров прозы. Однако после цензурного запрета продолжения статьи «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» критик рассуждал на эту тему с большей осторожностью, делая акцент на художественных особенностях произведений. Так, он использует прием иносказания, создавая антитезу «хозяева — гости». «Хозяином «народного быта» Григорьев в статье называет Потехина, которому «знаком вообще русский быт», у него «душа русская, талант русский, ум русский и речь русская», «гостями» — Тургенева и Григоровича.<sup>83</sup>

Определение «гости» подразумевает, что народный быт для таких писателей чужой, ведь тематика произведений «гостей» — Григоровича и Тургенева — заимствована «из общих европейских стремлений» «к изображению простого быта» и «естествоиспытательского стремления», которое заставляет писателей «жадно кидаться на всякий неисследованный быт, на всякие нетронутые нравы — ибо все известные значительно истрепались».<sup>84</sup> Взгляд писателей-«гостей» на народ «ложный», их произведения лишены объективности, ведь «нечего ждать правды от изображения», когда «к быту какого-либо народа приступают как к быту дикого американского племени...»<sup>85</sup> Только освобождение от «опекунства западных

<sup>81</sup> Там же. С. 223.

<sup>82</sup> Там же.

<sup>83</sup> Григорьев А. Обзорение наличных литературных деятелей. С. 207. Разговор о творчестве Островского критик оставляет за пределами статьи, потому что этот автор уже является создателем «своего совершенно нового (в литературе) мира» (Там же. С. 209).

<sup>84</sup> Там же. С. 205.

<sup>85</sup> Там же. С. 206. Очень интересно следующее замечание Григорьева: если Пушкин в «быту горохинцев» был «хозяином» и «любил в своих горохинцах те черты, которые в них только есть», то Тургенев и Григорович в народном быту «радуется (...) только таким чертам, которые можно подвести под черты чужеземные, вычитанные в том или другом новейшем романе, — когда удивляются общечеловеческому в этом быту и для того, чтобы выставить его порезче, поэффентнее — собирают наперед как можно больше черт грубых, нечеловеческих, — когда самому человеческому придают этим не то значение, какое оно имеет в жизни...» (Там

влиятельный»,<sup>86</sup> «сближение» с «избранною для изучения сферою жизни» помогут Тургеневу и Григоровичу стать не «гостями», а «хозяевами» в народном быту.

В «Обзрении наличных литературных деятелей» Григорьев продолжил наблюдения над языком «Записок охотника». Критик и ранее отмечал, что недостаток спокойного, свободного творчества, незнание народа сказывается на языке произведений: «Г. Тургенев явным образом старается подслушать народную речь, но большею частью переносит на бумагу только выражения; в постройке речи нет свободы, нет настоящих местных оттенков; видна какая-то тяжелая и мозаическая работа».<sup>87</sup> Вывод критика достаточно категоричен: «...чтобы уметь писать языком народным, надобно вырасти на нем и на языке его предков, неразрывно с ним связанном, — тем более (<...> это относится к нравам быта)».<sup>88</sup> Все неудачные «рассказы охотника» критик называет «этюдами, написанными мозаическим языком, которым добродушно-вежливо восторгались как народным, его (Тургенева. — М. С.) ценители».<sup>89</sup>

Статья «Обозрение наличных литературных деятелей» во многом объясняет, почему Григорьев, рассуждая об объективности, о сближении с действительностью, о «мозаическом языке» произведений, вопреки очевидному, отрицал центральную идею «Записок охотника» — «погружение» Тургенева «в живое народное воззрение».

Первая и самая главная причина, несомненно, — это ситуация в общественно-литературной жизни России. В период «мрачного семилетия» существовал антагонизм между «Современником» и «Москвитянином», напряженная идейная борьба побуждала ее участников заострять позиции, высказываться подчас с излишней резкостью. Заданный еще Белинским непримиримый тон по отношению к оппонентам, принятая за правило едкая и беспощадная насмешка нередко лишали участников спора объективности и возможности примирения. Тургенев и Григорьев были ярчайшими представителями «враждебных» журналов, критические статьи и отзывы в которых носили явно предвзятый характер. Так, отвечая на саркастические упреки «Современника» в необъективности статьей об Островском, Григорьев противопоставил Тургеневу и Д. В. Григоровичу А. А. Потехина прежде всего потому, что последний примкнул к «Москвитянину». Однако статью «Обозрение наличных литературных деятелей» можно считать последней «репликой» в иронических спорах эпохи «мрачного семилетия» между московским и петербургским журналами. И не только потому, что правление Николая I закончилось, журнал «Москвитянин» закрылся и некоторые московские писатели перешли в «Современник».

Можно предположить, что именно в 1855 году, после публикации статьи Григорьева «Замечания об отношении современной критики к искусству» (Москвитянин. 1855. № 4) Тургенев и его круг перестали предвзято относиться к московско-

же. С. 205). Эти строки, несомненно, полемичны по отношению к оценке рассказов Тургенева и Даля, данной Белинским в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». По мнению Белинского, чувствуется, что Даль «любит простого русского человека», а Тургенев описывает простой народ с «участием» и «добродушием», «умеет заставить читателей полюбить» своих героев (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 80). Полемичны эти строки Григорьева, противопоставлявшего «Летопись села Горюхина» Пушкина и «Записки охотника» Тургенева наблюдениям современных исследователей, усматривающих в «Записках охотника» связь с пушкинской традицией. Например, В. А. Громов заметил, что Тургенева «простонародное интересовало не только и даже не столько само по себе, а в первую очередь как выражение всенародного и общечеловеческого» и охарактеризовал своеобразие «Записок охотника» как «пафос художественности» (Громов В. А. Журнал «Современник» и «Записки охотника» (К проблеме взаимодействия критики и художественной литературы) // Межвузовский тургеневский сборник: Тургенев и русские писатели. Т. 5. С. 96).

<sup>86</sup> Григорьев А. Обозрение наличных литературных деятелей. С. 205.

<sup>87</sup> Г. [Григорьев А. А.] Современник в 1850 году. С. 387.

<sup>88</sup> Григорьев А. Обозрение наличных литературных деятелей. С. 206.

<sup>89</sup> Там же. С. 193.



му критику. В этой полемичной статье, представляющей собой некую «программу» развития отечественной критики, Григорьев не только высказал во многом близкие Тургеневу суждения о творчестве Пушкина и Гоголя, но и отдал должное «благородным усилиям» Белинского, «натуры могучей, вулканической», одаренной «словом живым и любовью к правде». <sup>90</sup> Тургенев, безусловно, был рад бережному и уважительному отношению к имени Белинского, которое столь долго находилось под цензурным запретом. Тем более что Григорьев был более точен, чуток в характеристиках «добросовестной, сочувствующей, верующей критики» «неистового Виссариона», чем Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы». <sup>91</sup> Именно поэтому отзывы Григорьева о «Записках охотника» в статье «Обзорные наличных литературных деятелей» не должны были вызвать у Тургенева исключительно негативную реакцию.

Вторая причина, по которой критик «Москвитянина» не относит «Записки охотника» к «народной литературе», — это жанровое своеобразие цикла: физиологические очерки критик относил к «*littérature populaire*», которую нельзя считать подлинно народной.

Наконец, третья причина обусловлена спецификой проблематики произведения Тургенева. «Записки охотника» посвящены теме крестьянства, а подлинно народная литература, по мнению критика, «в своем мирозерцании отражает взгляд на жизнь, свойственный всему народу», т. е. вопрос об определенном сословии должен решаться только в контексте общих национальных вопросов. По точному замечанию О. В. Тимашовой, для «молодой редакции» «Москвитянина» вообще было характерно «стремление к национальным обобщениям». <sup>92</sup> Отвергая «этнографический», «специальный подход к народу», «младомосквитяне» требовали «изучения его проблем в общем русле отечественных национальных вопросов». <sup>93</sup> К тому же, по мнению «молодой редакции» «Москвитянина» и прежде всего Григорьева, «остатки народного быта» лучше всего сохранились не в крестьянстве, а в купеческом классе, «огромном по значению в общественной жизни и огромном же по значению историческому». <sup>94</sup> Отчасти статьи середины 1850-х годов позволяют понять, почему Григорьев ушел от анализа проблемы народности в рассказах Тургенева.

«Мужицкая» тема вообще сравнительно мало занимала умы «молодой редакции», у которой было два «программных мотива» «невнимания» к этой теме: «урбанистический» склад личности критиков журнала и «игнорирование остросоциальных вопросов, которые казались „младомосквитянам“ разрушающими патриархальное единение русского общества». <sup>95</sup> Либералы-западники, напротив, «оглядываясь на свою юность, спустя годы считали основной своей исторической заслугой постановку перед обществом „крестьянской“ темы» и «не только поднимали наиболее важные вопросы о крепостном праве, но и рассматривали их в масштабе общеевропейских освободительных процессов». <sup>96</sup>

Многие положения статьи Григорьева, безусловно, должны были вызвать «ответ» Тургенева. Для Тургенева, как и для Григорьева, проблема «народности» искусства является одной из центральных, хотя в основе рассуждений писателя и критика лежали различные точки зрения. В то же время представляется неслучайным ряд прямых переключений в рассуждениях критика и писателя на эту тему.

<sup>90</sup> Григорьев А. А. Замечания об отношении современной критики к искусству // Григорьев А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 233.

<sup>91</sup> Там же. С. 257.

<sup>92</sup> Тимашова О. В. Литературная критика журнала «Москвитянин» времен «молодой редакции». С. 32.

<sup>93</sup> Там же. С. 26.

<sup>94</sup> Григорьев А. А. Замечания об отношении современной критики к искусству. С. 237.

<sup>95</sup> Тимашова О. В. Литературная критика журнала «Москвитянин» времен «молодой редакции». С. 24.

<sup>96</sup> Там же. С. 24, 26.

Глубокие замечания Тургенева о проблеме народности содержатся уже в статье «О современной русской литературе», опубликованной во Франции в 1845 году: «...многие суждения о русской литературе, высказанные здесь, в значительной мере повторяются в более поздних произведениях и письмах Тургенева, а также в его речи о Пушкине, произнесенной спустя 35 лет и почти текстуально совпадающей с положениями статьи об исключительной роли первого национального поэта России и его связи с народом».<sup>97</sup> Поэтому представляется возможным, рассуждая о проблеме народности в эстетике Тургенева, приводить цитаты из работ, созданных в течение достаточно большого промежутка времени.

Григорьев — один из немногих отечественных критиков, поднимавших проблему поиска народности в отечественной литературе на протяжении всего творческого пути, поэтому можно предположить, что постановка Тургеневым вопроса о народности литературы в Пушкинской речи свидетельствует о напряженном диалоге писателя с идеями Григорьева.

Наиболее близки позиции писателя и критика в восприятии проблемы взаимосвязи художника и народа. В работе «О правде и искренности в искусстве» Григорьев писал, что «художество есть выражение жизни народа, и коренные нравственные начала жизни народа суть неминуемо и коренные нравственные начала художества; (...) художник не может принять мерилom иных нравственных начал и иных содержаний, кроме тех, которые даются ему народной жизнью».<sup>98</sup> В Пушкинской речи Тургенев также указал на непосредственную связь между народностью и личностью художника. Писатель определил назначение поэта — быть «выразителем народной сути», а художество — как «воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию...»<sup>99</sup> В работе «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» писатель «восстал» против отделения таланта «от той почвы, которая одна может дать ему и сок и силу — против отделения его от жизни той личности, которой он дан в дар, от общей жизни народа, к которой как часть принадлежит сама личность».<sup>100</sup> При такой близости взглядов на проблему взаимосвязи художника и народа упреки критика Тургеневу в незнании народа и «естествоиспытательском» взгляде на него должны были вызвать у писателя резко негативную реакцию.<sup>101</sup>

В Пушкинской речи Тургенев, словно отвечая Григорьеву, писавшему о «тревожном искании» народности в отечественной литературе как об одной из существенных, определяющих ее черт, высказал мнение, что «выставлять лозунг народности в художестве, поэзии, литературе свойственно только племенам слабым, еще не созревшим или же находящимся в поработанном, угнетенном состоянии».<sup>102</sup>

Рассуждения и Григорьева, и Тургенева об истинно народном писателе построены на антиномии «народное» и «национальное». Критик пишет о народе в «тесном смысле» (о крестьянстве) и в «обширном смысле» (о нации, включающей в том числе крестьянское сословие) и делает вывод: народная литература — это национальная литература. Тургенев, рассуждая о творчестве великих европейских писателей, сопоставляет понятия «простой народ» и «нация» («простой народ» — часть

<sup>97</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 12. С. 704 (прим. А. И. Батюто).

<sup>98</sup> Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 68.

<sup>99</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 12. С. 341.

<sup>100</sup> Там же. Т. 4. С. 525.

<sup>101</sup> Писатель, стремившийся к объективности, простоте и целостности в искусстве, при переходе к «новой» манере критически оценивал свою «старую». Например, уже в 1852 году, опережая критику Григорьевым жанра физиологических очерков и упреки в «естествоиспытательском» интересе к народу, в письме к П. В. Анненкову Тургенев замечает: «Довольно я старался извлекать из людских характеров развозные эссенции — triples extraits — чтобы влить их потом в маленькие стекляночки — нюхайте, мол, почтенные читатели — откупорьте и нюхайте — не правда ли пахнет русским типом? Довольно — довольно!» (Там же. Письма. Т. 2. С. 155).

<sup>102</sup> Там же. Соч. Т. 12. С. 343.

«нации»). Несомненно, позиции писателя и критика в восприятии проблемы взаимосвязи художника и народа близки: считая простой народ (народ «в тесном смысле») частью нации (народа «в обширном смысле»), и Тургенев, и Григорьев утверждают, что народный поэт в истинном значении слова — это национальный поэт. Его творения свободны от заимствований, подражаний, подделок, в том числе — под народный тон, народный язык.<sup>103</sup>

«Первым национальным поэтом России» («le premier poète national de la Russie») Тургенев и Григорьев называют Пушкина. Писатель заявил об этом еще в упомянутой выше статье 1845 года. И хотя в 1880-м, в Речи о Пушкине, Тургенев оставил этот вопрос открытым, он дал очень точное определение особенности пушкинского гения — «независимый», потому что поэт «скоро (...) освободился и от подражания европейским образцам и от соблазна подделки под народный тон. Подделываться под народный тон, вообще под народность — так же неуместно и бесплодно, как и подчиняться чуждым авторитетам...»<sup>104</sup> Сказки и поэму «Руслан и Людмила», «самые слабые, как известно», изо всех произведений Пушкина, Тургенев называет одним из «немногих и незначительных уклонений» великого поэта в сторону подражания народности.

Рассуждения писателя о независимости истинного гения, об опасности подражаний и заимствований очень близки рассуждениям Григорьева о «сознании самобытности», «инстинкте народности», которым владел лишь гениальнейший Пушкин, «образ мыслей и чувствований» которого «сходится в величавости с мышлением и языком старых (...) памятников, в простоте — с мышлением и языком народа...»<sup>105</sup> В творчестве же Лермонтова и Гоголя видна, с точки зрения критика, «мучительная борьба» за «сознание самобытности»: борьба путем отрицания и борьба, в случае Гоголя, с влиянием «малороссийской местности».

Исследование творческого диалога писателя и критика в 1853—1854 годах позволяет сделать вывод о близости позиции авторов в вопросе о народности в литературе: литература не должна «иметь целью» исключительно «простой народ». В этом случае понятие «народность» не поднимается до понятия нации, всего народа в целом, а напротив — сужается и начинает противоречить искусству.

Протесту Григорьева против отчужденного взгляда писателя-гостя на народ чрезвычайно близка мысль Тургенева о связи таланта и «общей жизни народа», питающей талант «живительными соками». Пушкин как выразитель «народной сути» был, по точному определению Тургенева, «центральным художником, человеком, близко стоящим к самому средоточию русской жизни».<sup>106</sup>

«Записки охотника» Тургенева — это и есть стремление к «центру», «к самому средоточию русской жизни», поиск «взглядов на жизнь» и идеалов, «лежащих в основе народной жизни».

Можно предположить, что даже не принимая жанровое своеобразие и проблематику «Записок охотника», Григорьев, критик честный и чуткий, ценивший «истинное и блестящее дарование» Тургенева, должен был заметить стремление писателя к погружению в «народную, еще стихийную музыку». Поэтому при преодолении антагонизма между «Современником» и «Москвитянином» должна была

<sup>103</sup> Тургенев, рассуждая о произведениях великих композиторов, пишет: в них «вы не найдете следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже сходства с нею, именно потому, что эта народная, еще стихийная музыка перешла к ним в плоть и кровь, оживотворила их и потонула в них так же, как и самая теория их искусства, — так же, как исчезают, например, правила грамматики в живом творчестве писателя» (Там же). Точка зрения писателя, несомненно, требует комментария специалистов в области музыковедения. Григорьев также пишет, что только «истинно народные писатели» умели освободиться от «опекунов западных влияний» и в свое творчество «вносили только самобытное, только переработанное» (Григорьев А. Обозрение наличных литературных деятелей. С. 205).

<sup>104</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 12. С. 343.

<sup>105</sup> Григорьев А. А. О комедиях Островского... С. 222.

<sup>106</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 12. С. 345.

измениться и тональность рецензий Григорьева. Спустя год, в 1856 году, когда закрылся «Москвитянин», а в журнале «Современник» произошел перелом, вызванный приходом Чернышевского, произошло сближение Григорьева с кругом Тургенева. Дальнейшая эволюция Тургенева, преодолевшего «старую манеру», очевидно, дала критику основание более объективно взглянуть на ранний период творчества писателя и дать иную оценку циклу «Записки охотника» по сравнению с высказываниями 1840-х — первой половины 1850-х годов. Этому способствовало и личное сближение критика и писателя в 1858 году.<sup>107</sup>

В 1859 году Григорьев в одной из лучших работ «органического» периода, написанной «по поводу» романа «Дворянское гнездо», так обозначит стремление Тургенева «к самому средоточию русской жизни» в «Записках охотника»: «Пусть она (Обломовка. — М. С.) погубила Захара и его барина, но ведь перед ней же склоняется в смиренности Лаврецкий Тургенева, в ней же обретает он новые силы любить, жить и мыслить. *Он долго сближался с нею, шляясь охотником по полям, по трясинам и болотам*, он с болью сердца (да простится мне, что я начинаю уже смешивать самого поэта с героем его последнего произведения) видел и видит ее больные места, ее запущенные язвы...»<sup>108</sup>

Как видим, прежние упреки в присутствии «задней мысли» в рассказах «Записок охотника» сменяются пониманием высшей цели художника — приближению к правде народной и пониманию основ русской жизни. Именно в этом движении увидел Григорьев величайшую заслугу Тургенева перед русским обществом и русской литературой.

<sup>107</sup> См. об этом: *Саррина М. Я.* Тургенев и Аполлон Григорьев: диалоги во Флоренции // Тургеневский ежегодник 2010 года. Орел, 2011. С. 33—49. Есть основания предполагать, что общение с Григорьевым отразилось на создании образа Лаврецкого, см.: *Саррина М. Я.* К вопросу о прототипах героев «Дворянского гнезда» (в продолжение темы «Тургенев и Аполлон Григорьев») // И. С. Тургенев: Новые исследования и материалы. СПб., 2016. Вып. 4. С. 431—450.

<sup>108</sup> *Григорьев А. И. С.* Тургенев и его деятельность (по поводу романа «Дворянское гнездо») // Григорьев А. Собр. соч.: В 14 т. М., 1915—1916. Т. 10. С. 102. Курсив мой. — М. С.

© Т. Б. Ильинская, © А. А. Федотова

## ПОВЕСТЬ Н. С. ЛЕСКОВА «ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ» В КОНТЕКСТЕ ПРОЗЫ Н. В. ГОГОЛЯ\*

Творческая жизнь Лескова шла в «силовом поле» Гоголя — в постоянном притяжении к его художественному миру. В лесковском наследии многообразно преломляются гоголевские образы и мотивы (в одном из писем Лесков признавался, что «пробовал»<sup>1</sup> гоголевские сюжетные ходы). Кроме того, для Лескова сохраняла неизменную притягательность сама личность Гоголя, который стал героем его биографических очерков — документального «Нескладница о Гоголе и Костомарове» и художественного<sup>2</sup> «Путимец».

Татьяна Борисовна Ильинская — профессор кафедры русского языка Военной академии материально-технического обеспечения.

Анна Александровна Федотова — старший преподаватель Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

\* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-04-00192).

<sup>1</sup> *Лесков Н. С.* Письмо А. С. Суворину от 22 апреля 1888 года // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 385. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома римской цифрой и страницы арабской.

<sup>2</sup> М. А. Кучерская писала, что в очерке «Путимец» Гоголь, литературный герой Лескова, предстает «с одной стороны, своеобразным двойником самого Лескова, с другой — идеальным

Гоголевское влияние на Лескова было замечено еще современниками писателя («С Гоголем (...) меня не раз сравнивали» — XI, 385), а затем стало темой филологических исследований.<sup>3</sup>

Особенно интересно проявляется гоголевское присутствие в позднем шедевре Лескова — повести «Заячий ремиз». Еще более полувека назад Б. М. Другов заметил, что эта «самая „гоголевская“ повесть» Лескова — не подражание автору «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а «изумительно искусная передача гоголевского материала и гоголевских приемов».<sup>4</sup> Настало время понять, как же вплетается гоголевское слово в лесковский текст и в чем своеобразие его обращения к гоголевскому материалу.

Уже авторские характеристики «Заячьего ремиза» не могут не вызывать гоголевских ассоциаций. Одна из них: «Сцена перенесена в Малороссию (...) и с малороссийским юмором дело как будто идет глаже и невиннее» (XI, 606). В этих словах писателя связываются друг с другом две заметные грани повести: комический пафос произведения и Украина как место действия, что сразу погружает читателя в гоголевскую стихию. Другая лесковская характеристика повести: «колорит малороссийский и сумасшедший» (XI, 599) — своего рода наложение «Вечеров на хуторе близ Диканьки» на «Записки сумасшедшего», тем более что для знакомого с биографией Лескова читателя «Заячий ремиз» начинается как «петербургская повесть». «По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется „сумасшедшим домом“, чем она и есть на самом деле» (IX, 501), — этот зачин, казалось бы, указывает на то, что сюжетное развертывание повести имеет своей отправной точкой петербургскую больницу св. Николая Чудотворца для душевнобольных, где Лесков годами навещал страдающую тихим помешательством Ольгу Васильевну Лескову — свою первую жену. К тому же загадочное название произведения для петербуржца может показаться топонимом, вызывая в памяти один из районов Петергофа.<sup>5</sup>

Что же касается малороссийского и юмористического колорита повести, то имя Гоголя появляется уже в экспозиции: «Оно, то есть село наше (...) совершенно русским писателем, страждущим за Россию и русского человека» (*Кучерская М. А.* Лесков — интерпретатор Гоголя // Вестник Московского университета. 2012. Сер. 9. Филология. № 1. С. 106).

<sup>3</sup> *Гроссман Л. Н.* С. Лесков. Жизнь — творчество — поэтика. М., 1945; *Гельбель В. Н.* С. Лесков. В творческой лаборатории. М., 1945; *Другов Б. М.* Лесков. Очерк творчества. М., 1957; *Видуэцкая И. П.* Гоголь и Лесков (К вопросу о творческой преемственности) // Гоголь и литература народов Советского Союза. Ереван, 1986. С. 128—138; *Столярова И. В.* В поисках идеала. Л., 1978; *Кучерская М. А.* Лесков — интерпретатор Гоголя. С. 95—106; *Edgerton W. V.* Leskov and Gogol // American Contribution to the 9th International Congress of Slavists (Kiev, September 1983). New York, 1983. Vol. II. P. 135—148.

<sup>4</sup> *Другов Б. М.* Н. С. Лесков. С. 144. Книга Б. М. Другова (1908—1947) была опубликована в период «оттепели», но писалась с учетом всех запретов сталинской поры. Видимо, задачей исследователя было вывести из-под негласного запрета имя Лескова, обозначив политическую лояльность писателя. Так, в главе, посвященной позднему периоду творчества, после ряда тонких наблюдений над повестью «Заячий ремиз», ученый переходит к идеологической риторике своего времени, трактуя произведение как «гневную, обличающую темные силы церкви и царизма сатиру» (Там же. С. 146). Тезис о «гоголевской» повести Лескова остается лишь слегка обозначенным.

<sup>5</sup> О том, что в лесковские времена этот топоним был вполне в ходу, свидетельствует газетная заметка, сообщающая о незначительном происшествии: «На днях в Петергофе, близ Заячьего ремиза, катались на велосипедах несколько человек и в том числе один военный с дамой» (День. 1892. 7 июля. № 1463). Любопытно, что уже в послелесковское время понятия «Заячий ремиз» и «сумасшествие» пересеклись: сейчас на территории Заячьего ремиза находится психоневрологический интернат № 3. Это не первый случай лесковской «мистики» (например, в формировании поверий об александрите как камне одиночества значительную роль сыграл лесковский рассказ «Александрит. Натуральный факт в мистическом освещении» — См. об этом: *Ильинская Т. Б.* Образы камней-самоцветов в структуре рассказов Н. С. Лескова // Русская литература. 2009. № 3. С. 3—25).

как в романах пишут, раскинуто в прекрасно живописной местности, где соединились, чи свивались, две реки (...) И есть у нас в Перегудах все, что красит (...) Малороссию: есть сады, есть ставы, есть тополи, и белые хаты, и бравые паробки и чернобрыви дівчата (...) Про нашу Малороссию все это уже много раз описывали такие великие пань, как Гоголь, и Основьяненко, и Дзюбатьи, после которых мне уже нечего и соваться вам рассказывать» (IX, 510). «Заячий ремиз» написан в форме сказа, и приведенная цитата весьма показательна для характеристики точки зрения сказового нарратора. Прежде всего, обозначение пространства повести нарратором-протагонистом (по терминологии В. Шмида)<sup>6</sup> подчеркнуто литературно — и это достаточно необычно для сказа как типа повествования, даже несмотря на то что лесковский становой пристав Оноприй Опанасович Перегуд, по его словам, «урвал себе самое необыкновенное образование» (IX, 502). Имя Гоголя становится маркером того контекста, в который вписывается нарратором его рассказ: выбранные для описания мѣста действия детали апеллируют, преимущественно, к циклу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Лесков вводит в речь рассказчика такие гоголевские образы, как «тополи» («сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей»<sup>7</sup> — «Сорочинская ярмарка»; 1, 89), «реки» («река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою» — «Сорочинская ярмарка»; 1, 89) и, конечно, «чернобрыви дівчата» («на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями» — «Сорочинская ярмарка»; 1, 88; «чернобровым дівчатам и молодикам мало было нужды до родни его» — «Вечер накануне Ивана Купала»; 1, 116), и др. Характер отобранных нарратором «Заячьего ремиза» деталей отсылает к условному, романтизированному образу Малороссии, который сложился в прозе Гоголя и близкой ему литературной традиции.

Затем в произведении начинают звучать мотивы «Миргорода». Вместо романтических красавцев-парубков вроде Левко в лесковское повествование входят перегудинские мелкопоместные дворяне, и неоднократно упоминается об их мелких ссорах, что выглядит реминисценцией из «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (перегудинские дворяне «ссорились и старались докучать и досаждать друг другу» — IX, 509). Так у Лескова рядом оказываются и гоголевский романтизированный образ Малороссии, и снижение этой романтизации, в которой он идет еще дальше Гоголя, вводя образы телесного низа: «перегудинские пань (...) купались себе прямо с бережка (...) и не закрывались (...), а инышие даже и нарочито друг другу такое делали, что если один с гостями на балкон выйде, то другой, который им недоволен, стоит напротив голый...» (IX, 511).

Сюжетика «Заячьего ремиза» содержит немало переключек с гоголевской Малороссией. В давние времена предок героя, «лыцарь» старый Перегуд, «лихо командовал полком» (как и Тарас Бульба). Перегудинские казаки готовят депутацию «в Питер (...) достигнуть до царицы и доказать ей или ее великим российским панам, что в селе Перегудах было настоящее казацкое лыцарство...» (IX, 505—506). Этот эпизод соотносим со сценой из «Ночи перед Рождеством», когда Вакула становится свидетелем просьбы казаков о заступничестве царицы. Отец Оноприя Перегуда, учившийся вместе с архиереем, вспоминает, как в пору их учебы в бурсе они «вместе ходили кавуны красть» (IX, 513), что выглядит как параллель к гоголевскому «Вию», где бурсаки ходили «с мешками на плечах опустошать чужие огороды» (2, 416).

По-гоголевски звучат в «Заячьем ремизе» и «вытребеньки», и «бисова жинка», и «казацкое лыцарство», и «чертовы дети». Цитатой из Гоголя предстает у

<sup>6</sup> Шмид В. Нарратология. М., 2003.

<sup>7</sup> Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 1. С. 89. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы арабскими цифрами.

Лескова «доброе казачество», а также католические «недоверки», «хлопьята», объединение в одном контексте «москаля» и «черта» (у Гоголя в «Пропавшей грамоте»: «когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай как звали» (1, 158); у Лескова: «...не очень-то уважали и господ москалей и даже постоянно не иначе их называли, как „чертовы дети“, но, чтобы не накликать этим к себе „москаля на двор“, — они в открытую борьбу с москалями не вступали, а только молились тихо ко господу, щобы их „сила Бога побила“» — IX, 504).

Помимо этих лексических совпадений обнаруживается родство с гоголевской образностью. Так, по слову Перегуда, его голова «як дѳбра каунка» (арбуз; IX, 502), что напоминает редьку хвостом вверх и редьку хвостом вниз, на которые были похожи головы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича (см.: 2, 454). Алый жупан старого Перегуда вызывает в памяти красный жупан колдуна из «Страшной мести», тем более что смерть Перегуда, по народным поверьям, свидетельствует о его грешной жизни: «А как принесли его в церковь, то все его хотели видеть, бо он убран был в алом жупане и в поясе с золотыми цвяшками, но поп Прокоп не дал и смотреть на полковника, а, взлезши на амвон, махнул рукою на гроб и сказал: „Закройте его швидче: иль вы не чуєте, як засмердело!“» (IX, 507). Еще одна переключка гоголевских и лесковских образов — украденный налим в «Заячем ремизе» и краденый карась в повести «Вий». Образ дороги, пронизывающий все произведение Гоголя, весьма значим и в лесковской повести, герой которой, постоянно пребывая в пути, гордится своим выездом («А кони у меня были превостреннькие, так как я, не обзанный еще узми брака, любил слегда пошиковать...» — IX, 563).

Представления Оноприя Перегуда родственны мироощущению гоголевских героев. Отвечая суду, какова была ночь, в которую украли его коней, он, современный исторических событий второй половины XIX века, являет себя человеком гоголевского мира, впитавшего мифологические представления малороссиян: «Ночь була <...> в какие русалки любят подниматься со дна гулять и шукать хлопцов по очеретам» (IX, 566).

Продолжение этой речи выглядит парафразой Гоголя. Ср. у Лескова: «...ощутил в себе такое благоволение опочить, что уже думал, будто тепер даже всі ангелы божи легли спочивать на облачках, як на подушечках...» (IX, 566). У Гоголя (слова Ганны): «Посмотри, вон-вон, далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас?» («Майская ночь»; 1, 129).

Однако преобладает в лесковском повествовании снижение образа гоголевской Малороссии. Так, если у Гоголя Тарас Бульба со своими «хлопьятами» изображается в пылу битвы, то у Лескова воинские доблести старого Перегуда носят сомнительный характер: «...старый полковник наскочил с хлопьятами и разорил жидовский дом, а потом и самого жида выгнал из Перегуд» (IX, 506). Размышления лесковского героя о смерти — опять же снижение гоголевских образов: «Що тоди буде, як его казацкая душа мало-помалу да наконец совсем выскочит из тела? Ой, не миновать ей того, чтобы устретить тех самых повсеместно летающих страшных и престрашных воздушных духов, или, попросту сказать, бесов или чертяк, которые намалеваны в Лавре на стенке у Пещерной брамы на выходе!..» (IX, 506—507). Здесь Лесков также вторит Гоголю, но в более низком стилистическом регистре. «Казацкая душа», покидающая тело, неоднократно появляется в «Тарасе Бульбе», но у Гоголя эти моменты повествования окрашены высоким лиризмом. Гибель Кукубенка: «И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам...» (2, 386—387); гибель Бородатого: «Понеслась к вышинам суровая казацкая душа...» (2, 368). Очевиден контраст гоголевских глаголов, обозначающих полет («понеслась к вершинам», «вылетела»), и лесковского глагола «выскочила», вполне подходящего для описания движений лягушки и тем самым

подчеркивающего приземленность души стяжателя-Перегуда. «Бесы и чертяки» в рассматриваемом фрагменте, которые «намалеваны» на церковной «стенке», своим сниженно-разговорным обрамлением напоминают изображенного Вакулой черта, которым крестьянки пугают детей: «Он бачь, яка кака намалевана!» (1, 208). Видение старого Перегуда, последовавшее за размышлениями о смерти, также представляется эхом гоголевского слова: «Перегуд видел, как они, восшумев своими перепончатыми крылами хуже, як літучи мыши, схопят его за чуб и поволокут в ад...» (IX, 507). Напомним, что нечистая сила, бушевавшая в церкви вокруг Хомя Брута, изображается не только с помощью зрительных, но и слуховых образов;<sup>8</sup> неоднократно упоминаемые крылья нечистых духов пугают Хомя своим шумом: «Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон...» (2, 443); «Страшный шум от крыл...» (2, 448).

Влияние Гоголя не ограничивается специфически малороссийским содержанием «Заячьего ремиза». Внутренний сюжет повести составляет трансформация Оноприя Перегуда из персонажа, чьи субъективность и ограниченность являются типичными для сказового нарратора, в героя-сумасшедшего. Актуализация Лесковым сюжета нарастания сумасшествия, сочетающаяся с упоминаниями имени Гоголя в тексте, вызывает у читателей ряд закономерных ассоциаций<sup>9</sup> и прежде всего отсылает к повести «Записки сумасшедшего». Показательно и то, что начало монолога сказового нарратора в «Заячем ремизе» обозначено фразой: «В моей жизни было всего очень много, но особенно оригинальности и неожиданности» (IX, 510), — что напрямую перекликается с первой фразой «Записок сумасшедшего»: «Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение» (3, 158). Повествовательная организация произведений Лескова и Гоголя имеет определенное сходство: основная часть «Заячьего ремиза» выдержана в форме я-повествования, которая характерна и для «Записок сумасшедшего». Эта форма позволяет писателям подробно проследить процесс умопомешательства. Полностью выдерживая повествование от лица сумасшедшего рассказчика, Гоголь отказывается от стороннего взгляда на своего героя. Между тем у Лескова рассказ нарратора-протагониста дополняется повествованием первичного нарратора. Описание душевнобольного Перегуда дается в поведенческом поле, которое включает стороннего наблюдателя, что не только позволяет представить внешнюю, объективную точку зрения на героя, но и формирует необходимую дистанцию между нарратором и читателем, особенно значимую в случае сказового повествования.

Воссоздавая картину постепенного превращения Перегуда в умалишенного, Лесков проводит и другие параллели с «Записками сумасшедшего». Завязкой внутреннего сюжета «Заячьего ремиза» становится возникновение у рассказчика мечты о получении награды: «Я столько конюкрадов изловил и коней мужикам возвратил (...) а піп Назарко що-сь такое понаврал, и уже награду сцапал!.. (...) Не могу так служить — хочу награды (...) зашел я в собор, (...) поклялся тут у святых мощей не остыть до того, пока открою хоть одного потрясателя, и получу орден...» (IX, 542—543). Рождение у Оноприя Перегуда всепоглощающей мечты

<sup>8</sup> М. Вайскопф убедительно показывает связи ранней гоголевской прозы с отечественной романтической литературой, в частности, с «Марьиной рощей» Жуковского, где зооморфная нечистая сила изображается сходным образом (*Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993. С. 43).

<sup>9</sup> Писательская стратегия Лескова в повести «Заячий ремиз», где многое, по его словам, «тщательно маскировано и умышленно запутано» (XI, 599), направлена на то, чтобы вызвать определенные читательские ассоциации. Это отмечала О. В. Анкудинова, исследовавшая мотив вязания в повести: «Исторические ассоциации (...) помогли Лескову освободить читательское сознание от ограниченности непосредственного прямолинейного понимания рассказываемых событий» (*Анкудинова О. В.* К вопросу о поэтике повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз» (литературно-исторический комментарий к одному мотиву) // Русская литература. 1981. № 3. С. 153).



приближает его к типу гоголевского героя. По словам П. Бицилли, «мечта, центр притяжения всех восприятий, становится у гоголевских персонажей исходной точкой различных „комплексов” <...> У Гоголя каждый человек находится так или иначе во власти какой-нибудь „идеи” и автоматически подчиняется ей». <sup>10</sup> Страстное желание героя получить служебную награду, чин, занять высокое положение в обществе вообще является одним из наиболее характерных гоголевских мотивов. Именно «мания чина», по мнению Г. А. Гуковского, выступает причиной безумия Поприщина: так как герой «не может выскочить из рамок мышления чинами, то он и помешался на высшем чине, какой он только знает: „чине” монарха». <sup>11</sup>

Лесков намекает на необходимость прочтения «Заячьего ремиза» в этом гоголевском контексте благодаря введению в речь нарратора-протагониста следующей аллюзии: «Представьте себе, что я влюбился, да и в кого еще? во дух разом, из которых одна была вице-губернаторская дочь! Совершенно как у Гоголя» (IX, 532). В речи нарратора происходит контаминация нескольких гоголевских текстов: ухаживание Чичикова за губернаторской дочкой; увлечение Поприщина генеральской дочкой, не просто девушкой, а «её превосходительством»; у вице-губернаторском месте хлопочет майор Ковалев в «Носе». Контаминация основана на том, что в основе этих произведений Гоголя лежит мотив подмены человека чином, который в случае майора Ковалева оборачивается «вахханалией мании чинов». <sup>12</sup> К этому следует добавить хлестаковскую легкость переходов от ухаживания за Анной Андреевной к объяснению в любви Марье Антоновне. Такая переменчивость резко контрастирует с той последовательностью, которая характерна для хлестаковского выстраивания «имиджа» значительной особы.

Очевидны связи «Заячьего ремиза» и с «Шинелью». У Лескова, как и у Гоголя, смиренный труженик забывает свое служение, обольстившись суетной мечтой, и это разрушительно сказывается на его судьбе. В свойственной Лескову манере романтический по своей природе лейтмотив «безумной мечты» первоначально возникает в «Заячем ремизе» как интертекстуальный и несет на себе явный отпечаток комизма. Так, уже во второй фразе своего рассказа нарратор утверждает, что он «жил бы до века, если бы не романс: „И, может быть, мечты мои безумны!..”» (IX, 510). Лесков отсылает читателя к любовной лирике Е. П. Ростопчиной, сказовый повествователь цитирует начальную строку ее стихотворения «Может быть»: «И может быть, мечты мои безумны, / Безумны слезы и тоска, / Не вспомнит он в столице многошумной, / Что я одна и далека...» (см.: IX, 645). В сюжетном плане повести используемая нарратором цитата поддерживает интригу и в то же время формирует эффект обманутого читательского ожидания: трагической любовной истории, на которую намекает интертекстуальный контекст, в повести не будет. Комизм при употреблении цитаты возникает в результате несоответствия между романтическими любовными переживаниями лирической героини Ростопчиной и свойственными сказовому повествователю Лескова прозаическими заботами о получении служебной награды. Он поддерживается и на языковом уровне. Цитата вводится Лесковым во вполне соответствующий ей стилистический контекст, представляющий пример «поэтического» сказа нарратора. Однако сам этот «поэтический» сказ используется Лесковым бок о бок с диалогами на малороссийском диалекте, и неожиданное появление в речи нарратора лексики высокого стиля («дерзновенную», «бремя забот», «томление») заметно контрастирует с характерными для нее украинизмами и просторечиями.

Лейтмотив безумной мечты в «Заячем ремизе» служит знаком нарастания сумасшествия нарратора: «И думаешь, и не спишь, и молишься, и даже все спутаешь

<sup>10</sup> Бицилли П. М. Проблема человека у Гоголя // Бицилли П. М. Трагедия русской культуры: Исследования. Статьи. Рецензии. М., 2000. С. 147.

<sup>11</sup> Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М., 1958. С. 315.

<sup>12</sup> Там же. С. 285.

вместе, мечты и молитвы. Читаешь: „Господи! аще хощу или аще не хощу, спаси мя, и аще мечты мои безумны...” (IX, 559). Здесь ассимиляция разнородных дискурсов является тем стилистическим приемом, с помощью которого Лесков изображает сумасшествие героя в последней главе повести и в эпилоге. Хотя писатель и мотивирует эти странности речи полусонным, т. е. полубессознательным состоянием Перегуда, его внутренний монолог звучит прообразом бреда, что все настойчивее подводит читателя к печальному финалу повествования. Языковой комизм в этой связи оборачивается знаком постепенного угасания сознания героя.

Для осмысления вопроса о соотношении мечты и безумия Лесков привлекает еще один гоголевский текст: «И вот я себе (<...>) мечтаю, як оный гоголевский Дмухонец: що-то теперь из Петербурга, какую мне кавалерию вышлют: чи голубую, чи синюю?» (IX, 576). Во внутренний монолог нарратора включается отсылка к первому действию пятого явления «Ревизора». Важность этого претекста для «Заячьего ремиза» подчеркивается тем, что писатель использовал еще одну атрибутированную цитату из него в разговоре Перегуда с попом Назарием: «...а Петербург основал Петр Великий, и там есть рыба ряпушка, о которой бессмертный Гоголь упоминает...» (IX, 547). Обе цитаты восходят к диалогу городничего и его жены: «Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Этой богатый приз, канальство! (<...>) А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна: красную или голубую? (<...>) Да, там, говорят есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть» (3, 287—288).

Привлекаемый Лесковым эпизод из «Ревизора» сближает мечты двух центральных персонажей комедии — городничего и «вдохновенного мечтателя» (по характеристике Д. С. Мережковского) Хлестакова, которые едины в своем стремлении «сыграть роль чином выше своей собственной» (13, 410—411). В комедии мечтательность предстает как своеобразный духовный сон. Такое понимание мечтательности будет разрабатываться и в позднейших произведениях писателя (не случайно особое место в ряду гоголевских мечтателей займет Манилов).

Привлечение гоголевского контекста обогащает семантическое наполнение мотива мечты в повести Лескова. В цитируемом нарратором «Заячьего ремиза» стихотворении Ростопчиной любовная страсть как причина возможного безумия лирической героини в духе романтического дискурса оценивается позитивно. Между тем у Лескова мечтательность протагониста становится знаком ограниченности его сознания, сосредоточенности главного героя исключительно на самом себе, в чем проявляется близость писателя именно гоголевской позиции.

По-гоголевски развиваемая тема житейского успеха дополняется в повести беглым упоминанием о перегудинце Дмитрии Афанасьевиче Перегудове, русифицировавшем из карьерных соображений свою фамилию. Ранее он служил «по таможенной части», где и скопил состояние. «Еще состоя на службе, Дмитрий Афанасьевич Перегудов женился законным браком на начальственной родственнице Матильде Опольдовне, про которую, впрочем, говорили, будто она даже никому и не родственница...» (IX, 509). Служба на таможне, чин коллежского советника, скопленное состояние, совершаемые в угоду начальству матримониальные действия, — все это перекликается с биографией Чичикова.

В то же время гоголевские мотивы повести «Заячий ремиз» оттеняют глубокое своеобразие Лескова-художника.

Чисто лесковским является внутренний сюжет повести, построенный как душевное преображение героя (подобно сюжету таких произведений как «Зверь», «Очарованный странник» и др.). Эта особенность лесковского наследия («сила моего таланта — в положительных типах») <sup>13</sup> дала основание говорить о творческой

<sup>13</sup> Фаресов И. А. Против течений. СПб., 1904. С. 381.

преемственности между Гоголем и Лесковым в поступательном развитии отечественной литературы. «Лесков как бы непосредственно подхватывает и реализует намерения автора „Мертвых душ“»,<sup>14</sup> — так формулирует И. В. Столярова лесковский сюжет о трудном движении к праведничеству. И. П. Видуэцкая причисляет «Заячий ремиз» к числу тех произведений Лескова, которые написаны «будто по назначению Гоголем программно»: «если Гоголю не удалось воплотить в художественном творчестве, как он стремился, «пробуждение» человека «от позорного сна» (6, 70), то эта тема становится лесковской «специальностью» в русской литературе.

Другая истинно лесковская стихия «Заячьего ремиза» — это подробно изображенный процесс мифологизации, который всегда занимал писателя. Вести о «потрясателях», «стриженных жинках в окулярах», а также штундистах, собирающихся «по овинам» (реалии 1860—1870-х годов), передаются из уст в уста в Перегудах, и представления перегудинцев мало отличаются от мировосприятия жителей Диканьки и Миргорода. Слухи, толки,<sup>16</sup> облекающие политических «злодеев» в фольклорно-демонологические тона, становятся той атмосферой, в которой зарождается душевная болезнь лесковского героя.

Глубоко своеобразна и сама манера речи нарратора-протагониста «Заячьего ремиза», при том, что она создается Лесковым с ориентацией на гоголевское повествование. Г. А. Гуковский выделял две основные тональности сказа «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «речь (...) романтически-неопределенного поэта, то иронического интеллигента, то восторженного лирика», чередуется в повестях с «комически-бытовым»<sup>17</sup> сказом пасичника. Размышляя по этому поводу о художественной целостности гоголевских «Вечеров...», К. И. Чуковский писал о гоголевском «искусстве стирать грани между сказом и лирикой».<sup>18</sup> Лесковский сказ также неоднороден («Прошу меня не осудить за то, что здесь его и мои слова будут перемешаны вместе» — IX, 503). При имитации речи нарратора «Заячьего ремиза» Лесков воспроизводит главные стилистические признаки поэтического сказа Гоголя, дополняя книжное слово разговорным, в котором особенно заметны многочисленные украинизмы («...Дмитрий Афанасьевич, имея ревнивые чувства, не желали, чтобы иные люди на сих дам взирали. Господи мой! як бы то им что-либо от очей подіється!» — IX, 511). Прием контрастного совмещения в речи нарратора элементов книжного и разговорного стиля выступает одним из важнейших средств создания языкового комизма в повести. Характерна для Лескова и особая языковая игра в «Заячьем ремизе», когда вступают во взаимодействие три языка — русский, украинский и церковнославянский («богочужденные руки» — IX, 524, «архиерей созерцаний не обожал» — IX, 521).

Манера возвышенного полуперсонального сказа, когда речь в повести ведется от лица вообще «поэта», характерная для «Вечеров на хуторе близ Диканьки», была весьма распространена в романтической прозе 1820—1830-х годов. Восторженный лиризм гоголевского нарратора в знаменитых фрагментах «Как упоительно, как роскошен летний день в Малороссии!» или «Знаете ли Вы украинскую ночь?» создает исключительно высокую патетическую тональность. Однако в речи героя повести 1890-х годов подобные интонации выглядят совсем не органично.

<sup>14</sup> Столярова И. В. В поисках идеала. С. 6—7.

<sup>15</sup> Видуэцкая И. П. Гоголь и Лесков. С. 138.

<sup>16</sup> Б. С. Дыханова обратила внимание, что название села восходит к просторечному слову «гудить», имеющему, по Далю, двойное значение: 1) «поризать, корить, хаять, хулить, осуждать, порочить»; 2) «играть на дудке». «В этом аспекте художественный топос — село Перегуды — маркируется как место пересудов, поношения, порицания, с одной стороны, и как источник слухов — с другой. Актуализируемые в фамилии героя значения (...) сигнализируют о склонности ее носителя (и его односельчан) к пересудам, их готовности бездумно доверяться слухам, молве, чужому суду» (Дыханова Б. С. В зазеркалье волшебника слова. Поэтика «отражений» Н. С. Лескова. Воронеж, 2013. С. 107).

<sup>17</sup> Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. С. 46—49.

<sup>18</sup> Чуковский К. И. Гоголь и Некрасов. М., 1952. С. 74.

Появление в словах повествователя романтических клише вносит в его образ архаичность, что также свидетельствует о комических функциях «поэтического» гоголевского сказа в «Заячем ремизе».

Показательным в этой связи является эпизод выступления сказового повествователя в суде по поводу кражи у него лошадей. Характерен предведомляющий этот фрагмент текста диалог нарратора-протагониста с героем повести, претендующим на роль его наставника: «Научите меня <...> як я имею в сем представлении суда говорить <...> — Говори <...> как можно пышно, щоб вроде поэзии...» (IX, 565). Используемое Лесковым сравнение вновь указывает на литературную ориентацию сказового повествователя, своеобразие же представления нарратора о «поэзии» проясняется в яркой картине выступления Перегуда: «И вот, как меня спросили: „Что вам известно?“, я и начал:

— Мне, — говорю, — то известно, що все было тихо, и был день, и солнце сияло на небе высоко-превысоко во весь день <...> а потом оно взяло да и пошло отпочить в зори, и от того стало как будто еще лучше — и на небе, и на земли, тихо-тихесенько по ночи» (IX, 565).

Стилистика рассказа нарратора о ночи преступления снова носит отчетливые следы гоголевских описаний в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Маркерами претекста является гиперболизированное обилие любимых Гоголем сравнений (практически каждое существительное в фрагменте сопровождается сравнительным оборотом), фольклорные образы нечистой силы («русалки любят подниматься со дна гулять»), наконец, упоминание об исчезновении и появлении месяца (деталь, отсылающая к известному эпизоду из «Ночи перед Рождеством»).

Своеобразие эпизода суда заключается в обнажении несоответствия выбранного рассказчиком речевого дискурса и коммуникативной ситуации. Субъективная оценка нарратора («все слушатели слушают меня очень с большим удовольствием», «публика по мне поборает» — IX, 566) корректируется цитатами из речи председателя суда: «Вы о деле говорите, как лошади украдены» (IX, 565); «Говорите о том: как были украдены лошади» (IX, 566). В начальных главах повести господствовала внутренняя точка зрения, а «чужое» слово воспроизводилось преимущественно с помощью косвенной речи. Включение в повесть внешней точки зрения персонажа, подчеркнуто противопоставленной точке зрения рассказчика в идеологическом и фразеологическом плане, впервые акцентирует неадекватность речевого поведения нарратора. Однако в целом в эпизоде преобладает комическая направленность, ситуация еще не выходит за границы «малороссийского юмора», на что указывает единство сказового повествователя и его слушателей: «В залі всі захохотали» (IX, 565); «в публике прошел смех» (IX, 566); «ему и самому смішно и публике тоже» (IX, 566). Таким образом, «гоголевское» в «Заячем ремизе» призвано оттенять чисто «лесковское».

Рассматривая повесть в «гоголевском» ракурсе, можно сделать вывод, что она содержит переключки с гоголевскими произведениями разных эпох — начиная от «Вечеров...» и заканчивая «Авторской исповедью», которые объединены Лесковым в целостное смысловое поле.

При осмыслении гоголевских мотивов в «Заячем ремизе» необходимо учесть, что и Гоголя, и Лескова питала одна почва — малороссийская народная жизнь с присущим ей этнографизмом и фольклоризмом. Неизменную притягательность для Лескова сохранял Гоголь еще и потому, что общим у них был родной для Лескова украинский мир, который он так любил воссоздавать. Особая для русского уха ласковость украинской речи в «Заячем ремизе» — это не только отголосок Гоголя, но и воспоминания о молодости, проведенной на Украине. И в то же время, не умаляя роли реальных жизненных впечатлений, легших в основу «Заячьего ремиза», стоит заметить, что ориентация на гоголевскую Малороссию, соединившую в себе Диканьку и Миргород, становится ведущим принципом художественного

воссоздания села Перегуды. Весьма важно, что «гоголевская» Малороссия появляется у Лескова только на страницах позднего «Заячьего ремиза» — произведения, завершающего «украинский текст» в творчестве писателя.<sup>19</sup> С этой точки зрения, «Заячий ремиз» — встреча позднего Лескова и раннего Гоголя. Лескова — религиозного мыслителя, взыскающего нравственного преображения падшего человека, с молодой творческой силой Гоголя. Встреча старости и молодости. Поэтому переосмысление романтизма и исторического прошлого Украины становится в повести Лескова не только юмористическим, но и горьким.

<sup>19</sup> «Заячий ремиз» создан через 20 лет после первого крупного произведения на малороссийскую тему. «Украинский текст» Лескова образует целый ряд повестей и рассказов: «Запечатленный ангел» (1874), «Детские годы» (1874), «Владычный суд» (1877), «Некрещеный поп» (1877), «Печерские антики», «Пугимец» (1883), «Старинные психопаты» (1885), «Фигура» (1889), «Заячий ремиз» (1894) — а также публицистических произведений, содержащих живые сценки малороссийской жизни (например, очерк «О сводных браках и других немощах»).

© М. М. Павлова

## К ИСТОРИИ НЕОХРИСТИАНСКОЙ КОММУНЫ МЕРЕЖКОВСКИХ

(НА МАТЕРИАЛЕ «ДНЕВНИКОВ» Т. Н. ГИППИУС)

СТАТЬЯ 1

«Дневники» Татьяны Николаевны Гиппиус (1877—1957)<sup>1</sup> принадлежат к ряду уникальных и практически неосвоенных культурно-исторических памятников эпохи модернизма. Изучение этого «человеческого документа» в будущем потребует усилий не только историков литературы, но также сектоведов, историков церкви, культурологов, психологов. В нашей статье мы знакомим читателей с предварительными замечаниями относительно своеобразия и проблематики источника.

Основной массив «дневников» (1906—1908; часть 1910—1913) сосредоточен в США в Центре русской культуры Амхерста (Массачусетс). Документы отложились из некогда обширного парижского архива Мережковских.<sup>2</sup> В 1973 году их

Маргарита Михайловна Павлова — ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

<sup>1</sup> Наиболее полные сведения о Т. Н. и Н. Н. Гиппиус содержатся в публикациях: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* 1) А. А. Блок. Письма к Т. Н. Гиппиус // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 209—217; 2) Символисты вблизи. Статьи и публикации. СПб., 2004. С. 260—271; *Истории «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в свете «Главного»: Из «дневников» Т. Н. Гиппиус 1906—1908 годов / Вступ. статья, подг. текста и прим. М. М. Павловой // Эротизм без берегов. Сб. статей и материалов. М., 2004. С. 391—455; а также в мемуарах: *Филлипов Б.* Всплывшее в памяти. Рассказы. Очерки. Воспоминания. London, 1990. С. 253—259 (впервые: Новый журнал. 1988. № 171. С. 246—255); *Ковалев Б. Н.* Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941—1944. М., 2004. С. 379—380; *Мантейфель С.* Воспоминания о Татьяне Николаевне и Наталье Николаевне Гиппиус // Мантейфель С. Бегство из погребели. Воспоминания, стихи. Великий Новгород, 2010. С. 108—147 (о послевоенном новгородском периоде; впервые: Чело (Великий Новгород). 2000. № 1. С. 38—47); *Белавская А. П.* Воспоминания о Т. Н. и Н. Н. Гиппиус / Публ. М. М. Павловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб., 2012. С. 707—721.*

<sup>2</sup> См.: *К истории парижского архива З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. Из переписки В. А. Злобина с Б. И. Николаевским и М. С. Цетлиной / Вступ. статья, подг. текста и комм. М. М. Павловой // Русская литература. 2009. № 2. С. 207—223.*

приобрел американский коллекционер Т. Уитни в совокупности с другими бумагами писательской четы<sup>3</sup> у владельца парижского букинистического магазина И. М. Лемперта и подарил Амхерстскому Центру. Позднейшие «дневники» (часть 1910—1913; 1914—1917) хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в составе архивных фондов З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского (ф. 481) и Д. В. Философова (ф. 814), куда были переданы владельцами в 1919 году.

«Дневники» не являются в прямом смысле автокоммуникативным текстом, — по сути, это эпистолярный континуум, осколок обширной семейной переписки, сохранившейся, за небольшим исключением, в одностороннем порядке. В семейном кругу Мережковских «дневниками» называли объемные письма-отчеты, которые Т. Гиппиус почти ежедневно писала им в период их первой парижской эмиграции (1906—1908), и позднее — во время продолжительных отъездов из Петербурга в Европу или в Кисловодск. Сама корреспондентка так аттестовала свои послания: «Чтоб вы вокруг только смотрели, я вам только свои глаза дарю в придачу к вашим. Вот все, как я пишу. И вот характер моих дневников: жизнь, непосредственно около меня движущаяся».<sup>4</sup>

Необходимо оговорить, что рассматриваемые тексты никак не соотносятся с изящной словесностью, с дневниковой прозой или дневниками писателей, это *совсем не литература*. У автора и в помине не было эстетической преднамеренности организации текста, то есть той интенции, которая, по определению Л. Я. Гинзбург, могла бы превратить его в литературу, рассчитанную на читателя.<sup>5</sup>

В отличие от старшей сестры, Т. Гиппиус не только не имела склонности к литературным занятиям, но, как явствует из ее писаний, страдала дислексией, притом что гимназию она закончила с серебряной медалью и имела в аттестате отличные результаты по русскому языку и словесности.<sup>6</sup>

Специфические несовершенства авторского стиля, однако, ничуть не снижают общее культурное значение документа. Даровитая художница,<sup>7</sup> сестра известной

<sup>3</sup> Наиболее объемную часть бумаг, приобретенных Т. Уитни, составляет семейная переписка З. Н. Гиппиус: «дневники» Т. Гиппиус (25 папок, общим объемом более 2000 рукописных страниц), а также рукописи и письма Анны Николаевны Гиппиус (1875(1872)—1942), второй из трех младших сестер З. Гиппиус.

<sup>4</sup> Amherst Center for Russian Culture. Merezhkovsky's Papers. Box 2. Folder 17. Далее ссылки на архивные материалы данного фонда приводятся в тексте сокращенно: *Amherst*, с указанием номера коробки и папки. Тексты воспроизводятся с учетом отдельных особенностей оригинала: 1) в «дневниках» встречаются многообразные авторские выделения слов и фраз (подчеркивания одной, двумя и тремя линиями), для всех таких случаев применяется выделение простым курсивом; слова, заключенные автором в круг (обведенные) выделены курсивом и подчеркиванием; 2) сохраняются последовательное авторское написание фамилии А. В. Карташева — Карташов; 3) авторские сокращения имен собственных не раскрываются, за исключением тех случаев, когда это необходимо для понимания текста; 4) в квадратных скобках приводится зачеркнутый текст.

<sup>5</sup> Гинзбург Л. О психологической прозе. СПб., 1999. С. 10.

<sup>6</sup> Личное дело Т. Н. Гиппиус: РГИА. Ф. 789 (Императорской Академии художеств). Оп. 12 (1901 год). Ед. хр. 110-и.

<sup>7</sup> В 1901—1909 годах Т. Н. Гиппиус занималась станковой живописью, рисунком и графикой в Высшем художественном училище при Академии художеств, в мастерской И. Е. Репина и затем В. А. Рубо (в ноябре 1910 года ей было присвоено звание художника). Наиболее ценной частью ее творческого наследия, ныне утраченного, по свидетельству современников, были три альбома с рисунками; в их числе — «Kindisch» («Детское»), сведения о котором можно найти во всех научно-комментированных изданиях А. Блока. В 1906—1908 годах художница создала цикл портретов: А. Блока (1906) и Л. Д. Блок (1906), ныне экспонируются в мемориальном музее А. Блока (Петербург); Андрея Белого (1906), находится в мемориальном музее писателя (Москва), портреты Ф. Сологуба и М. Шагинян — в частных коллекциях. Местонахождение портретов В. В. Розанова, А. В. Карташева, Л. Ю. Бердяевой, А. М. Ремизова, В. А. Степанова и некоторых других остается неизвестным, о работе над этими портретами сообщается в «дневниках» Т. Гиппиус за 1906—1908 годы. Сведения об иллюстрации детской книги в 1920-е годы приведены в публикации С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова. С рисунками Т. Н. Гиппиус вышли

писательницы, Т. Гиппиус принадлежала к кругу петербургской элиты. В ее письмах-отчетах упоминаются лица по преимуществу так называемого первого и второго ряда: деятели литературы, искусства, религиозной и общественной мысли, что само по себе выдвигает этот источник в разряд первостепенных.

Среди самостоятельных сюжетов, сквозных или возникающих пунктиром, но одинаково актуальных для изучения эпохи, в записях 1906—1908 годов можно выделить несколько: Андрей Белый и Л. Д. и А. Блок; С. П. Ремизова-Довгелло и А. М. Ремизов; Н. А. и Л. Ю. Бердяевы; Е. П. Иванов; В. В. Успенский; В. В. Розанов; С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, В. П. Свенцицкий, А. С. Глинка-Волжский; Л. Д. Семенов; Вяч. Иванов и весь круг «башни»; В. А. Беклемишев, В. В. Матэ, И. Е. Репин, Л. В. Шервуд (профессура Академии художеств), и др.; в записях 1910-х годов это: М. С. Шагинян; О. А. Флоренская; еп. Михаил (П. В. Семенов); Вл. В. Гиппиус; А. А. Мейер и К. А. Половцова; круг Религиозно-философского общества; Б. В. Савинков, А. О. и И. И. Фондаминские; круг Временного правительства.

Значение корреспонденций Т. Гиппиус не исчерпывается их культурно-историческим контентом. Прежде всего, это яркое, неординарное автобиографическое повествование, с характерной для литературы модернизма де-сакрализацией интимного текста, и своего рода семейная хроника, которую можно озаглавить «Сестры Гиппиус» (в pendant исследованию М. Н. Золотоносова «Братья Мережковские»), поскольку центральными персонажами здесь являются сестры: Зинаида, Анна, Татьяна и Наталья.<sup>8</sup>

Главная же ценность «дневников» в том, что они свидетельствуют о потаенной религиозной жизни Мережковских — церкви их толка и сложившейся вокруг нее общине; о том, что осталось недоговоренным или замолчанным в автобиографической прозе З. Гиппиус. В некотором смысле «дневники» Татьяны можно отнести к текстам потаенной литературы,<sup>9</sup> причем соотносимым с обеими парадигмами неподцензурных текстов: острой общественно-гражданской направленности — в традиции Н. Огарева, и эротическим (широко представленным в изданиях «Ладомира»).

Нам уже доводилось публиковать эти материалы в небольших извлечениях: фрагменты «дневников» 1906—1907 годов печатались в сборнике «Эротизм без берегов»,<sup>10</sup> где подавались в свете декадентского этоса, гендера и эротической утопии Мережковских; фрагменты текста 1917 года выбирались в соответствии с тематикой сборника «Первая мировая война. Поэтика и политика».<sup>11</sup>

издания: Колокольчики. Сб. стихов для маленьких / Сост. А. М. Калмыкова. Пг., 1918; 2-е изд.: Л., 1924; *Толмачева М. Л.* Вася и бабушки. Л., 1925; *Фаусек Ю. И.* Как жили Наташа и Коля. Л., 1928 (*Гречишкин С. С.*, *Лавров А. В.* Символлисты вблизи. С. 261); перечень послевоенных работ Т. Н. и Н. Н. Гиппиус сообщен в указанном очерке С. Б. Мантейфеля.

<sup>8</sup> Об А. Н. Гиппиус см.: *Соболев А. Л.* Четвертая сестра // Соболев А. Л. Тургенев и тигры. М., 2017. С. 235—253. Наталья Николаевна Гиппиус (1880—1963) в 1903—1912 годах обучалась на скульптурном отделении Высшего художественного училища при Академии художеств в мастерской В. А. Беклемишева, дипломная работа, за которую она получила звание художника, — большемерная группа под названием «Товия» (воспроизведена в журнале «Нива», 1913. № 5. С. 100); предпочитала работать по дереву, почти все ее скульптуры выполнены из этого материала. Единственная работа Н. Гиппиус, отлитая в бронзе, — бюст В. А. Караулова — хранится в собрании Государственного Русского музея. См. о ней: *Логдачева Н. В.* Скульптурные работы Натальи Гиппиус и Анны Курдюковой (к изучению творческих биографий начала XX века) // Страницы истории отечественного искусства. СПб., 2016. Вып. XXVII. С. 172—178.

<sup>9</sup> См.: *Таганов Л. Н.* Потаенная литература: поэзия ГУЛАГа // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература: Исследования и материалы. Иваново, 1998. С. 80.

<sup>10</sup> Истории «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в свете «Главного».

<sup>11</sup> «Вижу отсюда: буча из-за войны разгорается...». Из писем Т. Н. Гиппиус к З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковскому и Д. В. Философову. Апрель—август 1917 г. / [Вступ. статья, подг. текста и прим. М. М. Павловой] // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. М., 2013. С. 296—392.

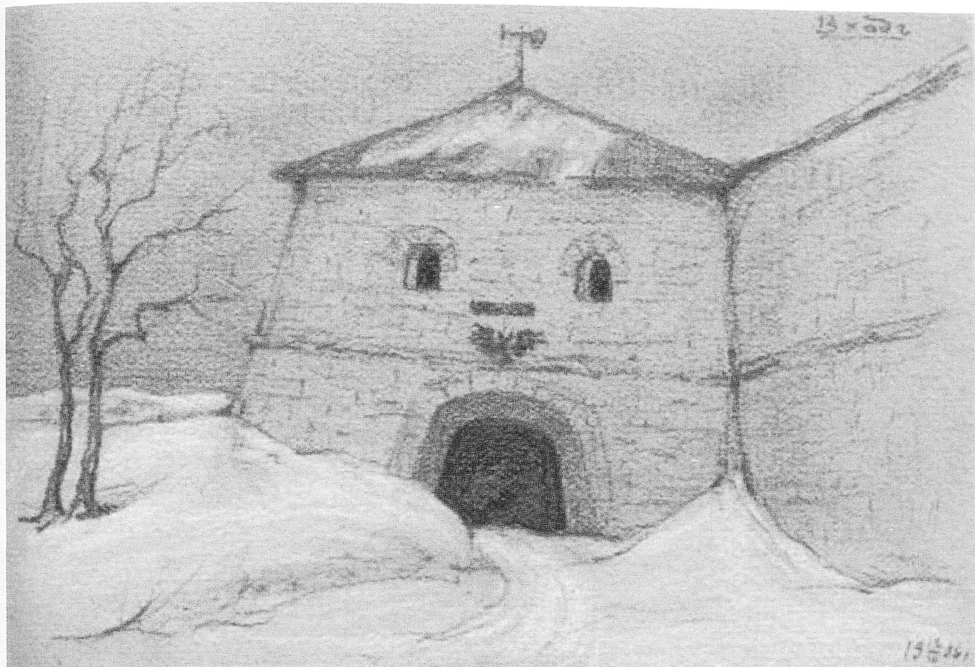


1. А. В. Карташев. Фото Н. Н. Гиппиус. (1912). Amherst Center for Russian Culture

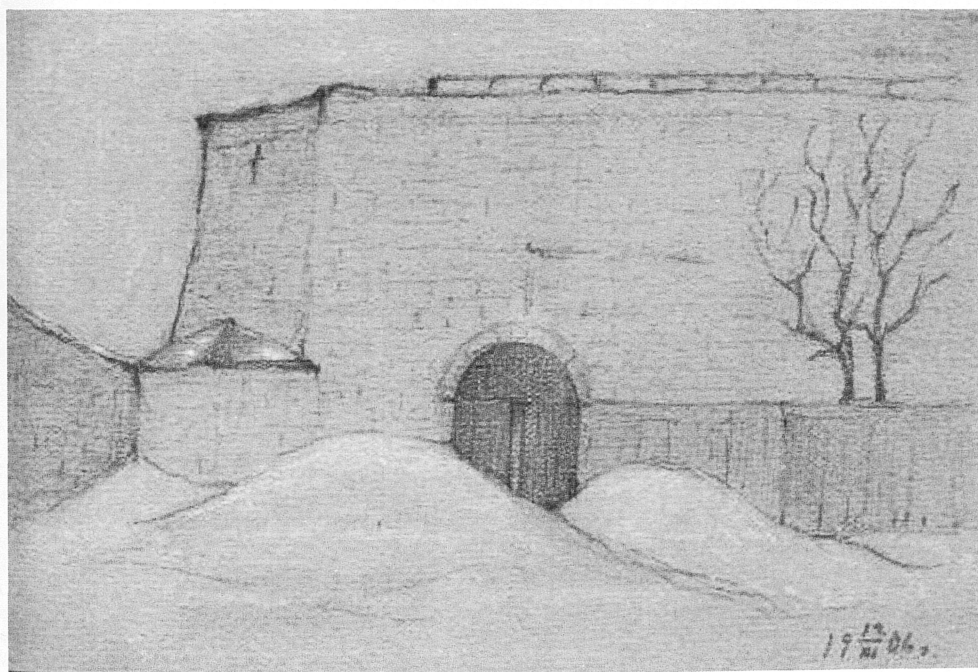




2. Т. Н. Гиппиус. Фото Н. Н. Гиппиус. (1912). Amherst Center for Russian Culture



3. Шлиссельбург. Вход в крепость. Рис. Т. Н. Гиппиус. 1906. Amherst Center for Russian Culture



4. Шлиссельбург. Ворота во двор старой тюрьмы. Рис. Т. Н. Гиппиус. 1906. Amherst Center for Russian Culture



5. Шлиссельбург. Ворота во внутренний двор в старой тюрьме, место казни политзаключенных. Рис. Т. Н. Гиппиус. 1906. Amherst Center for Russian Culture



6. Шлиссельбург. Могила Ивана Калаяева и других казненных, за стенами крепости неподалеку от Королевской башни. Рис. Т. Н. Гиппиус. 1906. Amherst Center for Russian Culture

Предлагаемая вниманию специалистов статья сложилась в процессе подготовки к изданию полного корпуса «дневников» Т. Гиппиус. Помимо текстологических и комментаторских задач (здесь мы их касаться не будем), с решением которых традиционно сталкивается публикатор при введении в научный оборот большого комплекса новых материалов, в ходе работы перед нами встал вопрос общей трактовки этого нетривиального документа — о месте духовной практики Мережковских в истории религиозных и интеллектуальных движений России.

Эзотерическая жизнь супругов, питавшая их литературные труды и общественные инициативы, область религиозного творчества и действия, все еще остается мало проницаемой для исследовательского глаза, что объясняется, в первую очередь, отсутствием документальных свидетельств.

Большой корпус материалов, относящихся к данной теме, был опубликован американской исследовательницей Т. А. Пахмусс.<sup>12</sup> С конца 1960-х годов она активно печатала документы парижского архива, приобретенные ею для библиотеки Иллинойского университета у бывшего секретаря Мережковских В. А. Злобина (Temira Pachmuss and Vladimir Zlobin Collection at the University of Illinois Archives).

Благодаря усилиям Пахмусс в научный оборот вошли ценнейшие источники: молитвенник З. Гиппиус;<sup>13</sup> ее письма-трактаты о «Главном» — Церкви Христа Грядущего;<sup>14</sup> дневник «О Бывшем»;<sup>15</sup> ряд «тематических» эпистолярных материалов в составе тома избранной переписки З. Гиппиус.<sup>16</sup>

Центральное место в этом ряду занимает дневник «О Бывшем» (1901—1913). Запись стилизована под церковное предание или новое Евангелие, на это указывает ритмико-синтаксический строй и графическое оформление текста:

*«Было нас людей, о том сообща говоривших в самом начале, семеро: мы двое, философов, Розанов, Перцов, Бенуа и Гиппиус (Владимир).*

*Но вскоре пришли, через тех, еще Нувель, да Бахту было сказано, да раз Дягилев пришел, когда уже все всем по-своему стали говорить и рассказывать.*

*А Розанов не всегда ходил. И многие уже с трудом приходили, и никто не понимал друг друга, и приходили не для одного общего дела, а ради различных побуждений.*

*И так случилось, что мы двое как бы с одной стороны стояли, а те все — против нас, и никто уже о деле не помнил» и т. д.<sup>17</sup>*

Гиппиус фиксирует момент зарождения идеи Новой Церкви (церкви Святой Троицы, которую они посвятили грядущему Третьему Завету — Откровению Свя-

<sup>12</sup> Т. Пахмусс преподавала в Иллинойском университете в 1961—1999 годах, см. о ней: *Глэдней Ф.* Памяти Темиры Пахмусс. 1919—2007 // Новый журнал (Нью-Йорк). 2007. № 247. Июнь. С. 343—344; *Иванова Е.* Истинная жизнь Темиры Пахмусс: опыт документального комментария // From Medieval Russian Culture to Modernism: Studies in Honor of Ronald Vroon / Ed. by Lazar Fleishman, Aleksander Ospovat and Fedor Poljakov. Wien, 2012. С. 347—352.

<sup>13</sup> Молитвенная книга Зинаиды Гиппиус / Публ. Темиры Пахмусс // Новый журнал. 2004. № 234. Март. С. 142—167.

<sup>14</sup> *Пахмусс Т. А.* Страницы из прошлого: Переписка З. Н. Гиппиус, Д. В. Filosofova и близких к ним в «Главном» // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1997. М., 1998. С. 70—101.

<sup>15</sup> *Гиппиус З.* О Бывшем // Возрождение (Париж). 1970. № 218. С. 57—75; № 219. С. 52—70; № 220. С. 53—75 (Публ. Т. Пахмусс); перепеч. *Гиппиус З.* Дневники: В 2 т. / Вступ. статья и сост. А. Н. Николукина. М., 1999. Т. 1. С. 89—164.

<sup>16</sup> *Pachmuss T.* Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus. Из переписки З. Н. Гиппиус. München, 1972. Здесь опубликованы: 1) предисловие к публикации писем З. Гиппиус к Д. Filosofovu (с. 59—60); 2) письмо Гиппиус к Карташеву. Письма А. В. Карташева к Мережковским и Д. В. Filosofovu (с. 648—707); 3) трактат, озаглавленный публикатором: «Гиппиус объясняет Манухиной свое отношение к Церкви (О Главном), отвечая на комментарии Манухиной» (с. 463—497); Молитвенник Мережковских (с. 714—770). См. также: *Мережковский Д.* Маленькая Тереза / Под ред., со вступ. статьей и комм. Темиры Пахмусс. Ann Arbor, 1984. С. 13—76. В предисловии дан общий очерк религиозного пути Мережковских.

<sup>17</sup> *Гиппиус З.* О Бывшем // Гиппиус З. Дневники. Т. 1. С. 91.

того Духа), основание тройственного союза Мережковских и Философова (требратства), описывает подготовку к первой литургии и сам ритуал; отмечает наиболее важные даты их церковной истории.

В рецензии на выпущенную в 1971 году монографию Пахмусс «Зинаида Гиппиус: Интеллектуальный профиль»<sup>18</sup> (своего рода итог изучения вверенного автору архива) Г. В. Адамович выразил недоумение в связи с неоправданной, с его точки зрения, актуализацией темы «церкви» в биографии З. Гиппиус.

Адамович писал: «Мне довелось познакомиться и (...) подружиться с Зинаидой Николаевной лишь в эмиграции. В эти поздние свои годы никогда, ни в одном разговоре, ни единым словом не коснулась она того, что, по-видимому, занимало в дореволюционной ее жизни очень значительное место: попытки „обновить“ христианство, создать некий „Третий Завет“, с модернизированными таинствами и чем-то не очень далеким от кощунства. Страницы книги проф. Пахмусс, где об этой игре в религию, — или игре с религией, — рассказано, читать тяжело. Думаю, что Гиппиус предпочла бы, чтобы память об этой затее умерла вместе с нею. Она была очень умна. Она не могла не понимать, что поддалась веяниям эпохи (...) Она молчала о своих былых мистериях не потому, что считала собеседника недостойным чего-то вроде „посвящения“, а потому что ей самой стало неловко о них вспоминать».<sup>19</sup>

Вполне возможно, что в поздние годы З. Гиппиус критически относилась к далекому прошлому, но едва ли оценивала свой опыт всего лишь как «игру в религию». Не в пользу инвективы Адамовича свидетельствует и ее последняя позднейшая приписка в дневнике «О Бывшем»: «КОНЕЦ / все умерли. / я — духовно пока. Сочельник 1943 г. Париж».<sup>20</sup>

В амхерстском архиве сохранились две любопытные фотографии: на одной запечатлен А. В. Карташев, на другой — Т. Н. Гиппиус, над их головами — нимбы, предположительно крещатые (в середине овала просматривается фрагмент креста), канонически прилежащие только историческим и символическим изображениям Христа. Из-за нечеткости отпечатков техника постановки не просматривается; вероятно, нимб был нарисован на стене над креслом, на уровне головы модели, или же его процарапали пером по оригиналу, с которого сделали повторный снимок. «Дневники» позволяют датировать снимки предположительно 1912 годом — временем всеобщего увлечения фотографией (*Amherst*, box 2, folder 39). Эти портреты, безотносительно к запечатленным на них лицам, можно было бы рассматривать как пример кощунственной травести, однако по отношению к Карташеву и Т. Гиппиус подобная характеристика неприемлема, поскольку уводит от сути явления.

В свете данного артефакта по-новому воспринимается фотография Мережковских и Философова, сделанная К. Буллой в их квартире в доме Мурузи (Литейный пр., 24) в самом начале 1910-х годов, известная по бесчисленным воспроизведениям и наиболее востребованная книжной индустрией. Модный фотограф запечатлел семью за обеденным столом: слева — З. Гиппиус, в центре — Философов, справа — Мережковский. На столе, покрытом белой скатертью, чайные приборы.

Можно предположить, что снимок был задуман как постановочная фотография: участники имитируют расположение фигур в «Троице» Андрея Рублева, мощное растение на втором плане, должно быть, символизирует «древо жизни». Отдельными деталями фотография напоминает «Троицу» Симона Ушакова из Гатчинского дворца (1671), которая повторяет рублевскую, однако на столе здесь «столовые приборы» (на иконе Рублева — евхаристическая чаша). Не исключено, что в

<sup>18</sup> *Pachmuss T. Zinaida Hippus. An intellectual profile. Carbondale, 1971.*

<sup>19</sup> *Адамович Г. Temira Pachmuss. «Zinaida Hippus. An Intellectual Profile». Southern Illinois University Press. 1971 // Новый журнал. 1971. № 104. С. 293.*

<sup>20</sup> *Гиппиус З. О Бывшем. С. 164.*



парижском архиве имелся аналог этой фотографии, только с нимбами над головами сидящих за столом.

Христианское творчество Мережковских и их группы действительно порой оборачивалось «игрой с религией». Однако влияние, которое они оказывали на русскую элиту своими реформаторскими идеями в предреволюционные годы, отрицать невозможно. «Они стремились идти по пути всяких дерзаний, — вспоминала А. В. Тыркова-Вильямс, — хотели и в искусстве, и в философии, и, что было новинкой, в вопросах религиозных уйти подальше от предшественников, от отцов. (...) Многие видные писатели печатно признавали то влияние, которое они на них оказали».<sup>21</sup> Отголоски их религиозно-общественной деятельности ощущались и в 1920-е годы, прежде всего в работе кружка «Воскресение» А. А. Мейера<sup>22</sup> и некоторых других, продолживших традицию Религиозно-философского общества.

Наше внимание будет сфокусировано на репрезентации религиозной практики Мережковских в «дневниках» Т. Гиппиус и проблеме контекстуализации их опыта.

«Дневники» Т. Гиппиус не есть артефакт, художественная проза, это документальная хроника, своего рода симфония — реальный комментарий к автобиографическим записям З. Гиппиус «О Бывшем». Благодаря этому источнику мы можем описать структуру и устав братства; ритуалы; повседневную жизнь, взаимоотношения членов между собой и с «иерархами» (Мережковским, Гиппиус и Философовым); дать свод составленных ими молитв и служб — на Благовещение, Пасху, Вознесение, Троицу, Рождество; установить реальный круг со-молитвенников и «посвященных» лиц, проследить эволюцию христианского коллектива.

В жизни общины можно выделить три периода.

Первый период (1905—1908) — становление младшего «гнезда» и его взаимоотношений со старшим; выработка собственного уклада и служебных текстов; самоопределение, стремление выявить себя (коммуна) в среде петербургской творческой элиты и расширить «паству».

Этот период получил в «дневниках» самое подробное освещение, поскольку Т. Гиппиус старалась вести записи ежедневно, большое место в них отводится «Главному» — осмыслению идеи Новой Церкви и центральных пунктов религиозно-философской доктрины Мережковских (язык отдельных записей насыщен туманной мистикой, отдающей повторением заученного, но плохо понятого урока<sup>23</sup>).

На страницах «дневников» обсуждаются вопросы об отношении к браку и прокреации, аскетизму, о преемственности их «церкви» к Православной, именуемой исторической или церковью Мертвого Христа, о церковной иерархии, Евхаристии, и многие другие. В отчетах просматриваются приметы конспиративного письма (обилие сокращений, вариативное написание одних и тех же имен собственных, отсутствие в значительной части записей датировок, неполные датировки, например: «25-е» и т. п.).

Второй период (1908—1913) — в окружении коммуны происходит постепенная «смена декораций», из отчетов практически исчезают сюжеты, связанные с жизнью литературно-художественной среды, их замещают рассказы о заседаниях Религиозно-философского общества и его участниках; к общине присоединяются М. Шагинян<sup>24</sup> и

<sup>21</sup> Ар. Т.-В. [Тыркова-Вильямс А. В.] О Мережковских // Возрождение (Париж). 1952. № 20. С. 175—178.

<sup>22</sup> См.: «Дело А. А. Мейера» / Публ., подг. текста, вступ. заметка и прим. Ирины Флигс и Александра Даниэля // Звезда. 2006. № 11. С. 157—207.

<sup>23</sup> При издании «дневников» публикатор неизбежно столкнется с необходимостью деликатного, корректного и обоснованного вмешательства в авторский текст, в противном случае отдельные «мистические» записи, с неясным или ненормативным синтаксисом, покажутся лишенными смысла.

<sup>24</sup> История отношений М. Шагинян с Мережковскими освещается в публикациях: Письма Зинаиды Николаевны Гиппиус к Мариэте Сергеевне Шагинян 1908—1910 годов / Публ. Н. В. Королевой // Зинаида Гиппиус: Новые материалы и исследования. М., 2002. С. 89—141

О. А. Флоренская;<sup>25</sup> в «дневниках» появляются новые сюжеты, намеченные пунктиром: «гогофцы» и епископ Михаил, «думцы» из либерально-демократического крыла III и IV Государственной думы, партия эсеров. Возрастает рефлексия конспиративного письма, что было связано с установлением полицейского надзора за Мережковскими, Философовым, а также Анной Гиппиус, и перлюстрацией семейной корреспонденции.<sup>26</sup>

Третий период (1913—1917) — происходит реконструкция религиозного коллектива, кардинально обновляется круг со-молитвенников и «посвященных», религиозное действие совершается не только в домашней обстановке, но и в «часовенках» — различных кружках (с «гогофцами», у Мейера и др.). В отчетах преобладают общественно-политические мотивы.

Наше внимание по преимуществу будет сосредоточено на первом периоде, наиболее содержательном в свете поставленной проблемы (отдельные факты уже освещались нами в сборнике «Эротизм без берегов», здесь мы их приводим по необходимости).

Община состояла из ядра — тройственного союза «иерархов», возглавляемого З. Гиппиус, и младшей тройки — тройственного союза Татьяны и Натальи Гиппиус и А. В. Карташева (во главе с Т. Гиппиус); в 1906—1907 годах в их «гнездо» входил В. В. Кузнецов.<sup>27</sup> В молитвенных собраниях принимали участие «посвященные»: А. Белый,<sup>28</sup> С. П. Ремизова-Довгелло,<sup>29</sup> Е. П. Иванов, очень близко стояли Н. А. и Л. Ю. Бердяевы и В. В. Успенский, а также А. М. Ремизов.

Необходимо отметить, что среди исповедников новообразованной «церкви» богословское образование имел только Антон Владимирович Карташев. Сын уральского горнозаводского крестьянина, по окончании екатеринбургского Духовного училища он как лучший воспитанник был послан на казенный счет в Петербург-

(ответные письма частично опубликованы А. Тюриным: Новый журнал (Нью-Йорк). 1988. № 170—172); Шагинян М. Человек и время. История человеческого становления. М., 1980.

<sup>25</sup> См.: ШUTOVA Т. А. 1) «Нечаянная радость». Письма Д. С. Мережковского О. А. Флоренской // Новый журнал (Нью-Йорк). 2008. № 253. С. 140—160; 2) «Да будут совершены воедино...». Переписка Мережковских с О. Флоренской // Там же. 2009. № 256. С. 97—137; 3) «...Наш тихий светлый ангел». Переписка Мережковских с О. Флоренской. 1911 // Там же. № 257. С. 175—206; 4) Кошунство к Чаше // Переписка Мережковских с О. Флоренской (1912—1914) // Там же. 2010. № 258. С. 67—98.

<sup>26</sup> В документах Жандармского управления Мережковские и Философов значились под кличками «Старик», «Красная» и «Страус», см.: Соболев А. Л. 1) Ошибка филера // Соболев А. Л. Тургенев и тигры. С. 181—195; 2) Четвертая сестра // Там же. С. 235—253.

<sup>27</sup> Кузнецов Василий Васильевич (1881—1923) — скульптор, в 1901—1905 годах обучался в Высшей художественной школе при Императорской Академии художеств, курс не закончил, так как постоянно был занят выполнением скульптурных заказов. «Яркое масштабное дарование и исключительная энергия позволили В. В. Кузнецову за очень короткий срок создать немало значительных произведений. Это, прежде всего, скульптурное убранство зданий, сооруженных по проектам Ф. И. Лидваля, В. А. Щуко, М. С. Лялевича, И. А. Фомина и др.» (Карпова Е. В. Петербургский скульптор В. В. Кузнецов // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. СПб., 2006. Вып. VII. С. 547—567; здесь же автором статьи опубликованы воспоминания о Кузнецове его жены Л. Д. Бурлюк и список его скульптурных работ.

<sup>28</sup> Андрей Белый был приобщен Мережковскими к «Главному» в январе 1905 года, о чем оставил запись в материалах к биографии: «Они приняли меня на свои тайные моления; их малая община имела свои молитвы, общие; было 2 чина; 1-ый: чин ежедневной вечерней молитвы; и 2-ой — чин служб: этот чин совершался приблизительно раз в 2 недели, по «четвергам»; во время этого чина совершалась трапеза за столом, на котором были поставлены плоды и вино; горели свечильники; на Мережковском и Философове были одеты широкие, пурпурные ленты, напоминающие епитрахили» (Андрей Белый. Автобиографические своды: Материалы к биографии. Ракурс к дневнику. Регистрационные записи. Дневники 1930-х годов / Сост. А. В. Лавров и Дж. Малмстад. М., 2016. С. 113—114 (Литературное наследство; т. 105)).

<sup>29</sup> Краткий очерк истории отношений С. П. Ремизовой и З. Н. Гиппиус см.: Lampl H. Zinaida Hippus an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach. 1978. Bd 1. S. 155—194. См. также: Обатнина Е. Подруги: Один эпизод из истории отношений З. Н. Гиппиус и С. П. Ремизовой-Довгелло // От модернизма к постмодернизму. Русская культура XX—XXI веков. Сб. статей в честь Халины Вашкелевич / Под ред. Анны Скотницкой и Януша Свежего. Краков, 2014. С. 251—261.

скую Духовную Академию. В 1899 году окончил курс со степенью кандидата богословия первым по разрядному списку и оставлен при кафедре истории русской церкви для подготовки к профессорскому званию. В сентябре 1900 года был избран на кафедру в звании доцента.<sup>30</sup>

Карташев систематически печатался в православных журналах «Христианское Чтение», «Церковный Вестник», «Журнал заседаний Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии» и др. Уже в начале 1900-х годов он зарекомендовал себя как автор обстоятельных научных работ, в их числе отзыв на докторский труд С. З. Рункевича «История русской церкви под управлением Св. Синода. Т. I. СПб. 1900»;<sup>31</sup> а также «Краткий историко-критический очерк: Систематическая обработка русской церковной истории».<sup>32</sup>

Свою дальнейшую жизнь Карташев связывал с изучением русской церковной истории, однако в 1905 году, отчасти под влиянием сближения с Мережковскими, ему пришлось оставить научную карьеру. Годы спустя, уже в качестве заслуженного профессора Парижского Богословского института,<sup>33</sup> в письме к Г. И. Новицкому<sup>34</sup> (28 февраля 1939 года) он вспоминал о своем уходе из Академии:

«Я был доцент Сан(кт)-Пет(ербургской) дух(овной) акад(емии), с 1902 г. работавший в Рел(игиозно)-фил(ософском) общ(ест)ве и раз уже в 1903 г. имевший выговор за свободное в нем поведение со стороны первенствующ(его) члена Св(ятейшего) Синода, либерального м(итрополи)та Сан(кт)-Пет(ербургского) Антония.<sup>35</sup> Эти годы я писал псевдонимно в журн(алах) „Новый Путь” и „Вопросы Жизни”.<sup>36</sup> В августе 1905 г. ректор Ак(адемии) еп(ископ) Сергей (нынче местоблюст(итель) патр(иарший))<sup>37</sup> вызвал и дружески сообщил: „А. В., ваш псевдоним

<sup>30</sup> ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 1735. См. также: Автобиография Антона Владимировича Карташева (1875—1960) // Вестник русского студенческого христианского движения (Париж — Нью-Йорк). 1960. № 58—59. С. 57—61.

<sup>31</sup> Журнал заседаний Санкт-Петербургской Духовной Академии 1901—02 г. С. 253—277.

<sup>32</sup> Христианское чтение. 1903. Июнь. С. 909—922; Июль. С. 77—93.

<sup>33</sup> А. В. Карташев принимал деятельное участие в организации и открытии в Париже Православного Богословского Института (1925), в котором преподавал до своей кончины; за книгу «Ветхозаветная Библийская Критика» (1947) удостоен звания доктора церковных наук. О научной деятельности см.: 1) Автобиография Антона Владимировича Карташева (1875—1960) 2) *Зеньковский В., прот.* Памяти проф. А. В. Карташева // Вестник русского студенческого христианского движения (Париж — Нью-Йорк). С. 61—62; *Митрофанов Георгий, прот.* Антон Владимирович Карташев (1875—1960) // Преподобный Сергей в Париже: История Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института / Отв. ред. Б. Бобринский. СПб., 2010. С. 323—338.

<sup>34</sup> Новицкий Георгий Исакиевич (1889—1966) — инженер, с 1920-х годов жил в США; один из основателей, впоследствии председатель Общества друзей Свято-Сергиевского русского православного богословского института в Париже и Русского православного богословского фонда. См. о нем: *Зеньковский В., прот.* Георгий Исакиевич Новицкий // Записки РАГ [Русская Академическая Группа] в США. 1996—97. Т. XXVIII. С. 25—26. Многолетний корреспондент Карташева, часть их переписки опубликована А. В. Антощенко и И. В. Николаенко, см.: «Никак не могу дойти в письмах к Вам до личных материй...». Письма А. В. Карташева Г. И. Новицкому. 1937—1939 гг. // Вестник Омского университета. Сер. «Исторические науки». 2016. № 2 (10). С. 184—195; «...О новой церковной ориентации». Письма А. В. Карташева Г. И. Новицкому. 1945 г. // Там же. № 3 (11). С. 234—259. Письма (1937—1957) хранятся в коллекции Г. И. Новицкого в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Bakhmeteff Archive of Russian & East European Culture. Columbia. Collection Novitsky G. I.).

<sup>35</sup> Митрополит Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский; 1846—1912) — с 1898 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский; с 1900 года первенствующий член Святейшего Синода; доктор церковной истории (1895).

<sup>36</sup> Карташев выступал в «Новом Пути» и «Вопросах Жизни» под псевдонимами «Т. Романский» и «Уральский», ему принадлежат отчеты о религиозно-философских собраниях, а также обзоры духовной печати. См.: Журналы «Новый Путь» и «Вопросы Жизни». 1903—1905. Указатель содержания / Сост. Е. Б. Летенкова. СПб., 1996.

<sup>37</sup> Епископ Ямбургский Сергей (Страгородский; 1867—1944) — постоянный председатель религиозно-философских собраний; впоследствии глава Русской Православной Церкви, с 1937 года — Патриарший Местоблюститель, с 1943 года — Патриарх Московский.



стал известен, в Синоде разговор, или перестаньте писать, — Вам ничего не будет, или Вам придется уйти”. Три дня и три ночи поволновался, передумал и — принес Сергию прошение о выходе. А я мог, по морали оппозиции и революции, оставаться и бороться скрытно. Я купил себе свободу и честь ломкой своей карьеры. Тем более такой путь разрешения конфликтов с коллективами, не обладающими принуждением, диктуется моральной деликатностью. Но, увы, „левые” оказываются гораздо более деспотичными ко всем, кроме свободы для себя самих. Да, только „средние”, т. е. мы — искренние либералы честны и справедливы: требуем свободы для всех равно». <sup>38</sup>

Вовлечение в круг ближайших сподвижников Мережковских такой фигуры как Карташев имело для них большое значение, хотя долгое время к нему относились настороженно. В лице недавнего клирика «иерархи» получили не только союзника, но и оппонента и жесткого критика их религиозной практики с догматической стороны, столкнулись с православной оппозицией внутри созданного ими христианского союза.

Значительная часть записей Т. Гиппиус посвящена несогласиям «иерархов» и Карташева, она постоянно выступает в роли его защитницы: «Все-таки из близких не родственников, кроме Димочки, *он первый близкий*, и очень важно, что он есть, этого не забывайте. И глубже и строже никто не относится, так бесповоротно и до самого корня, так „мирово”, я бы сказала, никому это не нужно, органически и жизненно. *Ценное* то, что *о себе* только не думает, а все сейчас же *о деле*, о принципе. О себе не заботится» (6 марта 1907; *Amherst*, box 2, folder 30).

Предполагалось, что члены «гнезда» должны жить вместе, ежедневно перед сном сходитья для беседы и совместной молитвы. После отъезда Мережковских сестры Гиппиус, Карташев и Кузнецов обосновались в оставленной им квартире в доме Мурузи на Литейном проспекте.

Службы, независимо от дня, в который служили, назывались «Четвергами» (в память первой вечера Мережковских на Страстной Четверг в 1901 году), или — «Субботами». Литургии на большие христианские праздники тщательно подготавливали, заранее покупали вино, цветы, благовония, свечи; женщины надевали белые платья. Заканчивались вечера совместной трапезой — агапой, и перекрестным целованием (в лоб, глаза и губы), в «дневниках»: «простились по-нашему».

Жизненный уклад коммуны был организован по модели монастыря в миру. Члены братства вели привычную мирскую жизнь: сестры Гиппиус и Кузнецов продолжали занятия в Академии художеств, Карташев читал лекции на Высших женских курсах и служил в Публичной библиотеке, все вместе они посещали литературные салоны, выставки, концерты, театры, редакции, заседания Религиозно-философского общества (при этом старались продемонстрировать свое единство — «коммуна!»).

Все члены братства исповедовались перед главой «гнезда», не замалчивая интимных («стыдных») переживаний. Татьяна фиксировала эти исповедальные беседы в своих «дневниках» и пересылала в Париж на одобрение или суд старшей сестры, признанной в общинной иерархии верховным авторитетом (Татьяна называет ее «Божественная», видимо, подчеркивая значение имени, Карташев — «Любимое дитя Духа»); таким образом, личная жизнь каждого члена братства подвергалась контролю, обсуждению и корректировке.

Согласно метафизическому концепту старшей Гиппиус, <sup>39</sup> отношения между «братьями» и «сестрами» должны были основываться на взаимной влюбленности

<sup>38</sup> «Никак не могу дойти в письмах к Вам до личных материй...». Письма А. В. Карташева Г. И. Новицкому. С. 189.

<sup>39</sup> Эротическая концепция З. Гиппиус изложена в статьях: «Влюбленность» (впервые: Новый Путь. 1904. № 3. С. 180—192; в сборнике ее статей: Литературный дневник: 1899—1907. СПб., 1908), «Зверобог» (Образование. 1908. № 8. Отд. III. С. 17—27); дальнейшее развитие она

или духовном браке (теогамии — богосупружестве по Мережковскому<sup>40</sup>); прокреация — половой акт и деторождение отрицались.

Первоначально младшее «гнездо» состояло из двух пар, связанных романтической дружбой. После ухода Кузнецова, оказавшегося не готовым к духовному браку (весной 1908 года он неожиданно, втайне от Н. Гиппиус, женился и покинул коммуноу<sup>41</sup>), Татьяна, Наталья и Карташев сблизились еще теснее, образовав «дочернее» троебратство.

«Все они трое были вполне в наших с Д. С. идеях, — писала З. Гиппиус в позднейших мемуарах. — (...) мои сестры, тогда молодые, и обе очень красивые, были, однако, аскетического типа. Ни одна не помышляла о замужестве, ни в одной не было никогда тени кокетства или чего-нибудь подобного. А тогдашний вид Карташева, похожого, как мы говорили, на Гоголя перед первой панихидой, достаточно свидетельствовал о его монастырской жизни, среди строгих монахов Лавры. Хотя монашеской рясы он не носил, но был даже и у себя в комнате под их контролем».<sup>42</sup> (По мнению Гиппиус, в книге «Люди лунного света» Розанов писал о ее сестрах и Карташове).<sup>43</sup>

Замысел предполагал слияние всех со-молитвенников в «Одно Тело» — тело Новой Церкви.<sup>44</sup> Особое значение в этом конструкте придавалось одаренным творческим личностям, связанным взаимным притяжением (Эросом) и способным к духовному возрастанию по вертикали, отказу от прокреации (росту по горизонтали).

В записи 2 марта 1906 года Т. Гиппиус делилась с сестрой впечатлениями о своих «подготовительных» разговорах с Любовью Дмитриевной Блок:

«Только что он (Андрей Белый. — М. П.) ушел после завтрака — пришла Л. Дм.<sup>45</sup> Одна. Я разбирала книги у тебя в комнате, навалено было все в ужасном виде на полу. В фартуке, с грязным полотенцем была. Я с ней говорила по существу. Она очень хорошая, с настоящим огнем внутри, — но самый мой ужас в ней грозит. Как бы это выразить? Есть в сознании ее возможность замкнутого круга — два. Раз ты хочешь соборности, цепи, ты уже ее поняла, поняла как включающую и два, ликость ее поняла. А она хочет (буду говорить по-твоему) — два. И думает, что можно и не исчерпать личность. При 3х — два не исчерпаешь. А в замкнутом круге — грозит конец, не вечность.

Пишу, как для себя. Ведь я это знаю. Потому что — первое мое сознание было — необходимость 1) яркости, в любви (движения) между людьми, *возмож-*

---

получила в статьях: «О любви» (впервые: Последние новости (Париж). 1925. 18 июня. № 1579. С. 2—3; 25 июня. № 1585. С. 2—3; 2 июля. № 1591. С. 2—3), «Арифметика любви» (впервые: Числа (Париж). 1931. № 5. С. 153—161), а также в ее интимном дневнике «Contes d'amour» (Возрождение (Париж). 1969. № 211. С. 25—47; № 212. С. 39—78; Публ. Т. Пахмусс). Развернутый научный анализ эротической концепции З. Гиппиус представлен в книге О. Матич «Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России» (М., 2008; гл. 5: «По ту сторону гендера»).

<sup>40</sup> См.: Аксенов-Меерсон Михаил, прот. Возрождение мистики любви в экзистенциальном тринитаризме Мережковского // Аксенов-Меерсон М., прот. Созерцание Троицы Святой... Парадигма Любви в русской философии троичности. Киев, 2008. С. 150—170 (впервые: Вестник русского христианского движения (Париж — Нью-Йорк — Москва). 2006. № 191. С. 60—81).

<sup>41</sup> Кузнецов женился на Людмиле Давидовне Бурлюк (1886—1968), обучавшейся в Высшем художественном училище при Академии художеств, сестре Давида, Владимира и Николая Бурлюков. Подробнее об этой истории см.: Истории «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в свете «Главного».

<sup>42</sup> Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 148.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> О. Матич рассматривает попытку построения коллективного тела как центральный жизнетворческий проект символистов, восходящий к «Смыслу любви» Вл. Соловьева и его утопическому концепту «коллективности в любви» (Матич О. Эротическая утопия. С. 189).

<sup>45</sup> Ср. записи Андрея Белого за март 1906 года в «Материалах к биографии» и «Ракурсе к дневнику»: Андрей Белый. Автобиографические своды. С. 115, 365.

ность любви к каждому (который любит Христа) и затем неразрывное соединение людей в *Одно Тело*. Как капли от движения сцепляются в шар, который есть новое тело. Это я называю — сознание необходимости Новой Церкви. Должно быть первое. И от этого исходя, ищешь людей» (*Amherst*, box 2, folder 20).

Мережковские, посвященные в историю отношений Андрея Белого с женой Блока, предполагали создать еще одну тройку (Блоки и Андрей Белый) или двойку (без Блока), которая впоследствии может раскрыться в новую тройку. Эта тема периодически возникает в отчетах Т. Гиппиус, например, 9 мая 1906 года она сообщала в Париж: «Был Блок. Сидел долго и обедал. Говорили с ним. Он растет. Сознание явилось; от „прекрасной дамы” отошел в тоскливость и безнадежность. Оба они с Л. Дм. решили, что веры нет, свет погас — *езде* — и у нас нет света, „Божьего перста” — будто в ее глазах *очеловечились* мы все. (Блок находит, что Боря теперь сам в себе запутался и заврался). Хорошо, что вы, „учителя”, уехали. Многие бы „соблазняли”» (*Amherst*, box 2, folder 21).

Т. Гиппиус оценивала религиозный опыт Мережковских как событие мирового масштаба, 8 мая 1907 года она писала сестре: «Ты подумай, какой у вас Д. Дмочка — самый первый (оттого в глубине и восстающий на последних). Дмитрий — мятущийся, выпивающий и выпивший, и Ты — твердая. (...) На вас, в счет вас следующие люди будут жить частью в новой реальности, переживать *то же*, но в новом, *жить* в новой реальности. Подумай, как это важно».<sup>46</sup>

Члены младшего «гнезда» верили, что втайне от мира они совершают неслыханную доселе духовную революцию, в результате которой явится новый человек с преображенной плотью и новым религиозным сознанием, из таких индивидуумов сложится — тело Новой Церкви.

Чувство сопричастности к творчеству новой реальности («Церкви Христа Грядущего») побуждало Т. Гиппиус ежедневно вести отчеты — для истории имело значение абсолютно все: их переживания, споры, несогласия, сомнения, исповеди, совместные моления. Она боялась пропустить и малейшую деталь во внутренней и внешней жизни коммуны, обо всем писала Мережковским и требовала, чтобы Карташевы и Наталья подробно отчитывались перед ними о своих настроениях.<sup>47</sup>

Приведем в качестве примера фрагмент одной из рядовых записей о дне, который закончился обсуждением письма Мережковского, полученного Карташевым.

«Пишу 13-го декабря.

Кончился (день. — М. П.) так — целый вечер читали! Под конец, после чая говорили с К-овым по поводу вопросов, на которые Дм(итрию) отвечать. Он говорит, что вопрос о самодержавии это само собой, радуется, но это вопрос политический, а не социальный, на который еще нет ответа у нас. Потом насчет „пола” — не понимает: куда провалится целая категория бытия — творчество, продолжение жизни. Потом в третьем вопросе, о причастии — так говорит: если бы он пошел причащаться, то не в православной церкви, а единично, Христу Единому, как бы украдкой похищая то достояние, на которое он не имеет права. Достояние *реальное*, благодать.

Насчет социального вопроса я ничего не могу тут сказать. Мое-то мнение личное, что к этому-то вопросу все едет, к разрешению его. А вот как жить сейчас, как считаться реально, и какое участие принимать?

Насчет „пола” — мое мнение таково, что продолжение жизни замениться должно тоже творчеством, продолжением жизни. Но какой? Этот вопрос я еще летом подняла, как необходимый решить, прежде чем признавать у нас вообще тайну 2х.

<sup>46</sup> Там же. *Дмочка* — Д. В. Философов, *Дмитрий* — Д. С. Мережковский.

<sup>47</sup> Письма Н. Н. Гиппиус и А. В. Карташева к Мережковским и Философову за 1906—1908 годы сохранились не в полном объеме (*Amherst*, box 2, folder 58; box 3, folder 18—21; box 6, folder 21, 29).

Если вспомнишь — я писала, что раз я *род*, рождение детей как уничтожение личности (смирение перед своим бессилием) признать здесь не могу, потому что, значит, не признаю в человеке Божьего всемогущества; то, что же я, какое творчество именно принадлежит тайне 2х, признаю могущим, — взамен что? А иначе, с провалом, на половину тайну 2х принять не могу. Как, например безбрачное, дружественное сожитие, без участия в мировой жизни, „помпончики” друг в друга вросли: отсюда мое неодобрение бесплодных браков.

Теперь принятие мной тайны 2х уже совершилось и явилось «пред-знание», что взамен этого будет какая-то „фабрика жизни”, для Целого (я бы сказала) и именно *здесь*, в Тайне 2х. То есть здесь должна вырабатываться какая-то сила, дающая продолжение личной в общей, в Целом жизни, всемогущего человека в Отце. Или, я бы сказала: как семья (тайна 2х), род — есть ячейка, из которой развивается общественность безличная, — так и здесь у нас. Тайна 2-х есть ячейка, из которой должна вырасти новая, личная общественность. В творчестве, в тайне 1го, в мире есть поглощение личности, отданность своим произведениям (личная жизнь писателя. Дмитрий как человек и Дм. как писатель раньше — ошибка С. П. — тип, пример). Какое дело публике, слушающей Гофмана,<sup>48</sup> женат Гофман или нет, сколько у него детей.

Так и тут, у нас — в тайне 1го не должно быть поглощения человека его творчеством. Или, все тайны, 3 — составляют Одно (Соединено). И мое-то мучение „о несоединении” глубокое, органическое, кожей, как все здесь мучение, уже не отвлеченное. (Приблизительно К-ову сказала так, все).

А о причастии, что же ему опять то же буду говорить? Во-первых, он не ощущает Церкви, Целого (пусть православной, пусть всемирной) не ощущает себя как-то беспощадно не только собой, я, но именно „частью”. Один украдкой... идет причащаться, идет ко Христу *вне* Церкви. В безнадежности умолкла.

Потом говорил, что у него веры мало, мало решимости страдать все ради Главного. И в этом только его грех. Сомнение — *здесь* ли Христос, да и есть ли Христос.

Потом мы решили, что сомнения могут прекратиться только постоянным нарастанием веры, укреплением в ней, поэтому *отдаление* на испытание ни к чему не поведет, только потом явится отсрочкой. Он говорит, что если бы у него была вера, хотя бы даже как у нас (но он-то не знает ясно, какие и у нас сомнения бывают), то он бы чувствовал тогда именно повеление, ответственность за всех для совершения таинства. Такого греха, маловерия в новую Церковь, и в Церковь вообще, и в Христа вообще, — он в нас не видит, но почему нет повеления у нас — не знает, может быть, есть другие грехи. Я говорю, что грех — это грех несоединения в одно целое, малолюбие, и мало от этого ответственности. Боялась, что он в принципе считает, что мог бы *сам* совершать таинство, помимо вас. Но тут он весьма категорически сказал, что нет, — со всеми считаюсь, как бы и вас тогда должен на себе нести (согласился с этим моим сравнением). То есть взял бы на себя совершенные таинства в *Нашей Церкви*» (*Amherst*, box 2, folder 21).

По содержанию и внешнему виду (объем, множественные лихорадочные приписки по всем четырем полям страницы, неумение поставить точку и пр.) отчеты Т. Гиппиус напоминают шизофреническое письмо, а местами параноидный бред на религиозной почве.

3 августа 1906 года Философов сообщал Бердяеву: «Тата пишет З. Н-не каждый день и затем отсылает весь накопившийся за неделю дневник сразу. Получается письмо страниц в 70—80. Это уже какая-то психопатия, но здесь есть что-то прекрасное. Громадное усилие воли, во что бы то ни стало победить время и пространство» (*Amherst*, box 6, folder 49).

<sup>48</sup> Гофман Иосиф (Hofmann Josef; 1876—1957) — пианист, композитор, не раз гастролировал в России.

Одни и те же события излагаются в «дневниках» по несколько раз с разных ракурсов (часть отчетов адресована «Всем», некоторые «Диме» (Философому), подавляющее большинство — сестре). Зачастую Т. Гиппиус более или менее дословно себя повторяет, изымая те или иные фрагменты и дополняя текст новыми. Возможно, из опасения спутать последовательность событий или пропустить что-то значительное, она иногда сначала записывала короткий план будущего послания, потом принималась за пространный рассказ, нередко на первом листе делала пометку: «*1я серия*». Затем она перебеляла этот текст, снабжала новыми деталями и нюансами (иногда между началом и окончанием записи проходило несколько дней, соответственно в послании прибавлялось еще несколько страниц), сверху вновь образовавшейся пачки помечала: «*2я серия*». Обе серии писем-дневников отсылались в Париж, на тех и других встречаются маргиналии З. Гиппиус: подчеркивания, вопросы, зачеркивания, приписки.

Члены коммуны ощущали себя подвижниками, в равной степени новыми христианами и революционерами. В патетические моменты пели «Вы жертвою пали...», а затем вместе молились («религиозным революционизмом»,<sup>49</sup> «эстетически-религиозным увлечением революционными идеями»<sup>50</sup> назвал социальную позицию группы Мережковского С. Л. Франк).

Показателен в этой связи чрезвычайно эмоциональный самый первый отчет Т. Гиппиус, он записан 25 февраля в день отъезда Мережковских и Философова во Францию. Она подробно рассказывает, как все вместе (сестры Гиппиус, Карташев, Кузнецов, Андрей Белый, С. П. Ремизова, Бердяев) провожали старшую тройку в «парижскую пустыню». Прямо с вокзала вся группа, кроме Бердяева, отправилась обедать в ресторан Палкина — в отдельном кабинете пили шампанское и молились за отъезжающих, Серафима Павловна играла на рояле революционный марш. Запись сделана красными чернилами.

«Зина, дорогая. Пишу Тебе в воскресенье. Предлагала каждому написать.

Вчера стояли, пока красный огонек не скрылся. Потом пошли. Впереди Ната с Кузнецовым, потом я, вблизи С(ерафима) П(авловна). Дальше Боря с Карташовым, а Бердяев один посередине. Я ему говорю: „Отчего же Вы отстали?“ — „Нет, я — ничего“, — говорит. Потом стали думать, как ехать (...). Бердяев говорит: „Не подвести ли кого-нибудь?“ — „Нет, спасибо, мы ведь все вместе — к Палкину“. — „Ну, да, так вот к Палкину — подвести...“ — „Спасибо, нас как раз поровну!“; (*Хотелось* сказать — ничего, что поровну, — поедемте вместе). Поняла, что не должно из нас выйти. Пошел к дверям — быстро (простился крепко, точно надолго), — с большой головой, на тонких ногах. И стал извозчика нанимать, а мы все вышли и его провожаем. Жалко до выверта.

Приехала я с С. П., Ната с Кузнец., Боря с Карташовым. Дорогой с С. П. молчали. Я только сказала ей, что не хочу из ресторана развезжаться. Что надо ехать *к нам* и оттуда разойтись. Она согласилась и обрадовалась. Сели обедать в отдельном кабинете (зеркала изрезаны бриллиантами прежних посетителей или посетительниц). Было радостно, что мы одни и никто лишний не войдет. Ели щи, кашу, курицу, гатчинские котлеты и компот из слив. Кофе. Пили Мозельвейн, две бутылки. Не было угнетения, даже С. П. была светлая. Чокались за вас всеми рюмками разом, в куче, потом с каждым отдельно — за то, что каждому нужно с каждым иметь. Потом просто друг о друге говорили. Боря сказал: „а они теперь в «другом»“. Я спрашиваю: „а мы?“ — „А мы — в том же“. Стало неприятно, потому что ведь мы-то — тоже в „другом“ (Кузнецов это понял).

<sup>49</sup> Франк С. Л. Философия и жизнь. СПб., 1910. С. 340.

<sup>50</sup> Франк С. Непрочитанное...: Статьи, письма, воспоминания / Сост. и предисловие А. А. Гапоненкова, Ю. П. Сенокосова. М., 2001. С. 444.

Когда кончили обед, я сказала всем, что нам делать дальше, как *войти* в новую квартиру. Что надо помолиться. Все приняли с радостью. Была боль — но не было тоски. С. П. играла на рояли „Вы жертвою пали“.

Потом мы с Карташовым чокнулись за то, чтоб все было так, как *должно* быть. А Кузнецов подошел ко мне потихоньку, чтоб выпить „за отсутствующих“ — из одной рюмки выпили, он поцеловал мне руки и заплакал, уткнувшись в меня. Потом и с Серафимой Павловной вдвоем выпил — тоже за вас Зх. (Чую, что за Зх вместе). С. П. его полюбила.

Пошли домой пешком. У меня сделалась мигрень.

*Я хотела, чтоб не было и внешнего уныния, чтоб не было меньше без вас*, чем с вами. (Когда вошли в твою комнату — горел камин — неожиданно и ярко). *Зажгли свечи, как последний вечер с вами.* (Нянечка,<sup>51</sup> было, с правом вошла, но я сказала, чтоб она не ходила, что нельзя, будем «говорить». Покорилась). Карташов был мощный. Выбрал псалом — Ната его прочла. Я прочла ту же молитву Иисуса Христа перед Гефсиманским садом, а К(арташ)ов послание Иоанна, — сам выбрал. Читали со свечкой. Потом стали молиться. Я прочла из Четверга — „Господи, Спасение наше“. Потом все, как с вами. В конце молились от себя и за *вас*, и за дело, и за *нас*. Карт. долго и мощно молился. Потом похристосовались. Боря пошел к Блокам — относить твое письмо. А мы еще все пили чай. При этом Карт. почему-то придвинул стул пустой. У меня неистово болела голова. Кузнеч(ик) остался у Наты, а С. П. и К-ов ушли. Я легла сейчас же у тебя. Принесла мне Ната бабушкин образ Божьей Матери, у меня в углу в дерюге висел, — поставила в угол и розовую лампадку зажгла. С 5 ч. утра все вила какую-то спираль бесконечную. Дерюга сразу стала чуждой, там не сижу. И уже хочу перенести все в эту комнату. Сейчас пишу в ней. Кузнецов играет в дерюге. Приходила С. П., сказала, что обеда у них не может быть, потому что в воскресенье все заперто. Пообедаем у нас, потом пойдем к ним вечером — опять той же кучей. Хотя Бори не будет за обедом — он у Блоков.<sup>52</sup> Я вижу ясно, что ему это *нужнее* для него же, будущего, и даю ему как бы полное разрешение. Он радуется. Вечером хочет прийти к Ремизовым — может быть, и не придет. И то ничего — пусть до дна будет искренним, с правом.

Хотим к Бердяеву пойти как-нибудь. Боря уедет в среду. Во вторник я в Царском. Завтра думаем сняться, пока Боря не уехал. Бердяев меня как-то все мучит. Не могу о нем забыть.

Пустоты безысходной нет. Есть бодрость.

Перед Бердяевым, перед Л. Дм., перед Борей, Карташ., С. Пав. — мне хотелось, чтобы ты говорила: „*мы тебе передаем всю ответственность*“. Перед теми, кто *тебя* лично ощущает реальнее, нежели Целое. Я знаю о тебе и о том, что ты мне дала, но ты + в Целом. А они еще, может быть, тебя выделяют или могут выделить. То есть влекутся к силе, которую ты получила обновленной из Целого — как лично тебе данной, Божьей же, но лично твоей, которую в сущности-то ты *даешь* в Целое. Но Твоя-то *громкая сила* — *вся* в Целом родилась: уже обновленная. Понимаешь? Я чувствую, что ты мне оставила свое, именно ты дала ответственность, но ты в Целом, неразрывно, неотрывно, потому и приняла как бы ваше, наше. Люблю тебя очень» (Amherst, box 2, folder 18).

Первой совместной самостоятельной акцией младшего «гнезда» было посещение Шлиссельбургской крепости, в которой находилась государственная тюрьма

<sup>51</sup> Няня сестер Гиппиус — Дарья Павловна Соколова, умерла в 1932 году, похоронена на Богословском кладбище в Ленинграде (сообщено А. И. Константиновым).

<sup>52</sup> Ср. записи Андрея Белого за февраль 1906 года (об отъезде Мережковских и его отношений с Блоками) в «Материалах к биографии» и «Ракурсе к дневнику»: Андрей Белый. Автобиографические своды. С. 113—114, 364.

для политзаключенных.<sup>53</sup> Они ездили на могилу эсера-террориста Ивана Каляева, в мае 1905 года казненного за убийство вел. кн. Сергея Александровича и похороненного за стенами крепости. Татьяна сделала на месте несколько рисунков, а в «дневнике» записала: «Серафима Павловна взяла из угла об(раз)ок, а я какой-то глиняный комок и испанскую бумажку» (13 марта 1906 года).<sup>54</sup>

Ремизовы знали Каляева, как Б. Савинкова и других эсеров-«боевиков», по вологодской ссылке (они приехали в Петербург с поселения в 1905 году; тремя годами раньше из Усть-Сысольска вернулся Бердяев, двумя — П. Е. Щеголев).<sup>55</sup>

Вскоре после паломничества С. П. Ремизова принесла от В. Л. Бурцева рукопись о последних днях Каляева (*Amherst*, box 2, folder 20).<sup>56</sup> Они вместе читают радикальный журнал «Былое», в котором Бурцев и Щеголев печатают записки узников Петропавловской крепости и материалы политической истории; «Откровение в грозе и буре» шлиссельбуржца Н. Морозова; историю семьи Бакуниных и прямухинской коммуны (исследование А. А. Корнилова на материалах семейного архива);<sup>57</sup> монографию П. И. Мельникова-Печерского о скопческой секте «Белые голуби». Параллельно штудируют «Собрание древних литургий восточных и западных» — издание раннехристианских литургий, выпущенное редакцией «Христианского чтения» при Санкт-Петербургской Духовной Академии (СПб., 1874—1875),<sup>58</sup> «Происхождение книг Нового Завета» В. Вреде (1908) и т. п.

В день царского указа о роспуске Первой Государственной думы, 10 июля 1906 года Татьяна записала: «С унылостью пили за улучшение [страны] России и пели „Вы жертвою пали“. Как будто стало легче, а то все гнусь в душе» (*Amherst*, box 2, folder 24); в записи 28 августа: «...Серафима Павловна (<...>) восторгалась социал-революционерами, чистотой их жизни, отношения между людьми — идеальные. Подобная „семья“ ей и жаждалась. Только — божественная» (*Amherst*, box 2, folder 26).

Члены коммуны считали себя (и позиционировали) новыми христианами, а современники, в особенности те, кто близко стояли к ним (Андрей Белый<sup>59</sup> и Бер-

<sup>53</sup> В первом номере журнала «Былое» было помещено объявление «8.01.1906 г. Шлиссельбургская государственная тюрьма перестала существовать» (От Шлиссельбургского комитета // *Былое. Журнал, посвященный истории освободительного движения. 1906. № 1. С. 315*).

<sup>54</sup> Там же. Возможно, впечатления о поездке в Шлиссельбург в пересказе С. П. Ремизовой отразились в рассказе А. М. Ремизова «Крепость» (впервые: *Адская почта. 1906. № 2*; номер вышел в мае).

<sup>55</sup> О годах вологодской ссылки см. новейшую статью (с привлечением архива Вологодского жандармского управления): *Соболев А. Л. Северная ссылка Ремизова: уточнение нюансов // Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает: Сконапель Истоар. М., 2013. С. 176—212*.

<sup>56</sup> Рукопись была опубликована под заглавием «Последний день Каляева» за подписью Н. Н. (Былое. Журнал, посвященный истории освободительного движения. 1906. № 5. С. 186—190). Автором заметки, предположительно, был В. А. Жданов, присяжный поверенный, защищавший совместно с М. Л. Мандельштамом Каляева в суде. Жданов был знакомым Щеголева и Ремизова по Вологодской ссылке; подробнее об этом см.: *Сурмачев О. К вопросу о первой публикации рассказа А. Ремизова «Крепость»* (<http://www.surmachev.ru/k-voprosu-o-pervoy-publikatsii-rasskaz> (дата обращения: 30.04.2017)).

<sup>57</sup> Труд А. А. Корнилова «„Семейство Бакуниных“ (По неизданным материалам)» печатался в 1909—1913 годах в «Русской мысли» из номера в номер. История взаимоотношений романтика-гегельянца Николая Станкевича и Л. А. Бакуниной, сестры Михаила Бакунина, воспринималась в кругу Мережковских как своего рода эталон идеальной платонической или «ангельской» любви, которая, по Вл. Соловьеву («Смысл любви»), соответствует четвертой ступени на пути восхождения к Абсолюту. Эта тема получила оформление в поздней статье «О Любви» (1925), см.: *Гуннуц З. Н. Т. 1: Мечты и кошмар. Незвестная проза 1920—1925 годов. М., 2002. С. 439* (впервые: Последние новости (Париж). 1925. 18 июня. № 1579. С. 2—3; 25 июня. № 1585. С. 2—3). О рецепции «прямухинской идиллии» в житнетворчестве А. Блока и Андрея Белого см.: *Матич О. Эротическая утопия. С. 128—133*.

<sup>58</sup> Содержание: Литургия антиохийские, иерусалимские; литургии Апостольских постановлений; греческая литургия святого апостола Иакова; несторианские, ияковитские и пр.

<sup>59</sup> Мережковский был одним из прототипов столяра-сектанта Кудеярова в романе «Серебряный голубь», подробнее см.: *Лавров А. В. Дарьяльский и Сергей Соловьев. О биографическом*

дьев<sup>60</sup>), называли их сектантами, имея в виду оппозицию ортодоксальной церкви, введение собственного ритуала и своих молитв, наконец, присущее сектантам разделение по принципу верных и неверных, стремление проповедовать.<sup>61</sup>

Центральными пунктами для опознания раскола или секты является вопрос об отношении к церковным таинствам и сохранении молитвенно-канонического общения с епископатом. Мережковские никогда не считали себя вышедшими из Православной Церкви. В записи «О Бывшем» З. Гиппиус вспоминала о своих сомнениях накануне совершения ими первой Евхаристии: «И была у меня мысль, чтобы в среду мы пошли в церковь, исповедовались, приобщились в церкви, перед нашим. Для того, чтобы не начинать, как секту, отметанием Церкви, а принять и Ее, ту, старую, в Новую, в Нашу. Чтобы не было в сердце: „У нас не так, иначе, а вы — не правы“. И теперь думаю, что так и надо было. Именно тогда надо. Но силы у меня не хватило».<sup>62</sup>

Из «дневников» Т. Гиппиус явствует, что вопрос о причастии возбуждал в коммуне бесконечные и мучительные споры, особенно остро он стоял перед Карташевым, имевшим, в отличие от со-молитвенников, более тесную связь с Православной Церковью. Внутренние дебаты о Евхаристии в отчетах Т. Гиппиус занимают десятки и десятки страниц.

16 декабря 1906 года она писала сестре: «(Он (Карташев. — М. П.) все о причастии, что своими средствами нельзя). Я и говорю, что без Церкви Таинств быть не может и пока не будет достигнуто нашими усилиями, узел завязан, — нельзя и нам приступать, а иерархии нет здесь, а есть любовь и свобода (боится, должно быть, что вы думаете, или я, что мы за вами идем, как ученики, и раньше и иное делать не можем). Я говорю, что полная свобода дана» (*Amherst*, box 2, folder 27).

В записи от 26 декабря 1906 года (Татьяна передает Мережковским разговор Бердяева с Карташевым): «А Берд. с К-овым говорили о вас, об искусственности и т. д. Бердяев говорил, что боится монастыря. „Хотят (вы) устраивать общину внутри, а связь с миром порывают, порывать — так порвется — не восстановишь“. Боится искусственности. Как решить вопрос о причастии? когда нужно к этому приступить? Это он до меня с К-овым говорил. По-моему, его Л. Юдиф. одевает религиозностью, хочет его спасти. К-ов ему говорил, что надо *делать*, потому что головой так вопрос не решишь. Когда нельзя иначе — тогда делается само. Иерархии не нужно» (*Amherst*, box 2, folder 28).

В записи от 30 декабря: «Он (Карташев. — М. П.) говорил, что хотел бы, чтобы мы пошли все причащаться в Церковь, только для получения помощи себе, потому что в этом любовное отношение к матери — Церкви). Но я не понимаю (говорю) — как мы пойдем? Вместе, но отдельно, — мы, как еще не собранные в *Той Церкви*? Я не признаю украдкой, одному похищать благодать — она в Церкви. А если мы все вместе собраны (своими силами готовы) и идем туда причащаться — то, значит, мы уже и *у нас* можем причаститься» (*Amherst*, box 2, folder 28).

В записи от 6 марта 1907 года: «Это очень нехорошо, что Дм. и ты Кар-ову ничего не пишете. (...) Затем — Дм. ему о Церковных Таинствах *ни слова* не написал. А это очень серьезно. Ждет Булгакова, и не знает, как быть. Он хочет причащаться и думает, что через это будет нами отвергнут окончательно. (...) он говорит, что *наше дело*, человеческое создание чаши — не делается без благодати,

подтексте в «Серебряном голубе» Андрея Белого // Лавров А. В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. М., 2007. С. 105—129.

<sup>60</sup> См.: Бердяев Н. Новое христианство (Д. С. Мережковский) // Д. С. Мережковский: Pro et contra: Личность и творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология / Сост., вступ. статья, комм. и библиография А. Н. Николукина. СПб., 2001. С. 331—353; Письма Николая Бердяева / Публ. В. Аллоя // Минувшее. Paris, 1990. Вып. 9. С. 294—325.

<sup>61</sup> В монографии А. Эткинды, посвященной русским сектам начала XX века и сектантским увлечениям русской элиты, Мережковским отведена особая глава, см.: Эткинды А. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 2013. С. 179—201.

<sup>62</sup> Гиппиус З. О Бывшем // Гиппиус З. Дневники. Т. 1. С. 95—96.



существующей уже в Церкви во всем. Уясните точно, формулируйте, *почему* именно по-вашему не причащаться. ⟨...⟩ вечером опять завели разговор о причастии, чтоб какой-нибудь результат. Он говорит, что Булгаков должен к нему прийти, и он не знает, как ему отвечать: от себя ли, — значит, подчеркивать разделение с нами. От лица всех — но он тогда выпадает в этом вопросе (*Amherst*, box 2, folder 30)» и т. д. и т. п.

Не получив от Мережковского ответ на свои вопросы, Карташев писал Фило-софову (16 июня 1907 года): «...с церковью я связан „сыновне“, „биологически“. И она мать для меня мож(ет) б(ыть) более близкая, чем родная. С ней я связан во-истину плотью и кровью моего бытия; быть без нее — все равно как без отечества, без крова, без приюта, в изгнании. Что сравнится с ее теплотой, приютом и трапе-зой нескудеющей!

И к вам я обращаюсь не за „разрешением“ установить таинственное общение с церковью, а требую лишь осознание этого факта, чтобы вы продумали и формули-ровали вопрос, страшно важный, но вами неверно решенный. Я иерархии, как ав-торитета иррационального, не признаю. И в вас в деле религиозном никакого авторитета не вижу, при всем желании. Авторитет вы для меня лишь в делах „внеш-них“: в культурности, в образовании, в оформлении нашего учения. А в религиозном опыте у вас еще мало багажа, и ваше детство в этой области, при всех его хороших сторонах, делает вас еще бедными, о многом нерадеющими...» (*Am-herst*, box 2, folder 21).

Под угрозой «отлучения» от Мережковских Карташев все же пошел в церковь, поскольку собственное причастие в младшем «гнезде» не было санкционировано «иерархами». В письме к парижским сидельцам он заявил: «Я должен от вас уйти. Такое ощущение. Тоска тесноты и необходимость обезличения. Я не могу быть не собой. Я буду вне действия, в созерцании. Надо напрячь волю и разойтись. Я боюсь тесноты и тоски. Я не могу быть безличным. Я не гоюсь ни для кого. Да и никто ни для кого, кроме случайных сходств и сродств. Тяжело, зачем я в такую опас-ность шел» (*Amherst*, box 2, folder 27).<sup>63</sup>

Однако это был лишь эпизод в длительном противостоянии сторон, при этом Карташев оставался в «тройке» до конца, то есть до бегства из большевистской России в 1918 году.

Постоянно металась и С. П. Ремизова.

Совместная литургия старших и младших и Евхаристия совершалась в 1909 году на Пасху во время пребывания Мережковских в России и через год: в 1910-м младшая тройка приезжала во Францию для совместного служения Пас-хальной литургии.

Традиционно на Пасху и Рождество младшее «гнездо» посещало службу в Академическом храме Иоанна Богослова (билеты в Духовную Академию получали у «академика» Д. И. Абрамовича, приятеля Карташева). По возвращении домой из «Церкви Мертвого Христа» служили свою литургию — «истинную», «светлую», «праздничную» — Христу Грядущему.

Приведем подробный отчет Т. Гиппиус о праздновании Пасхи в 1906 году.

«Пасха. 1й день прошел. Сказать хочу, что было все так, *насколько возможно нам*. Большого плюса прибавить я бы не могла при данных обстоятельствах. Напи-шу кратко и по возможности точно.

Всю неделю погода весенняя, солнечная была. Всю неделю готовились уже на-чисто. Думали, писали, читали, говорили, переводили. Были и возмущения. И ко-лебания и сомнения у меня, что не „то“. Выпрямлялся К-ов. Оттаивал, веселел и

<sup>63</sup> На редакционном бланке газеты «Страна», красными чернилами. Письмо не датиро-вано, подложено к отчету Т. Гиппиус за 12 ноября 1906 года, возможно, более позднего времени (предположительно, не позднее марта 1907 года).

устремлялся в устройство с энергией. Спотыкался, говорил вздор: „не то”. (И вообще, старая кора на нем еще долго останется). В Четверг ходили за покупками вчетвером. Я с К-овым зашла к Абрамовичу<sup>64</sup> за билетами к заутрене. Видела их двух товарищей. Удивлялись. Я их позвала к себе. К-ов тоже. Я шарила у него на столе. Конфузилась. К-ов был весел и с правом. „Да! мы едим постное! — говорит, — я их напичкиваю!” Или что-то в этом роде. Внутренне хохотала, но мне понравилось. Чувствовалась Четверг.

С. П. пришла поздно. Был вопрос, где уединенное устраивать. У тебя-меня<sup>65</sup> не уединенно и много всего. Думали у Дм.-К-ова,<sup>66</sup> но С. П. боялись соблазнить. Спросила ее. Сказала — там. Пусто и к небу ближе. А у тебя горела лампадка. Принесли корзину, стол Дм. длинный устали. Все, как быть должно. (На чашу красную крышку сшила, с Натой в среду). Свечи новые вставили. Твой образ Божьей Матери маленький поставили с лампадкой. Я, Ната и К-ов устраивали. Был Четверг. Хорошо было, и ожидание осталось на субботу. Писала уже тебе утром. В пятницу в 2 часа пошли в Духовного Училища Церковь — к плащанице, опять в 4-ом. Пришли домой, пообедали — и к 7 часам опять к „мертвой заутрене туда же”; Кар-ов восхищался, как будет хорошо! Чувствуется Смерть, потом возрождение! Я с внутренним риском шла, чтобы естественно он почувствовал неудовлетворенность и не стремился. Иначе никак не докажешь. Говорил после, что подавляющая безнадежность там — и не захватило его. Ощущал нас как ядро среди всех. Ночью возвращались, звездною, теплою. Да, в Четверг<sup>67</sup> я в Церковь его не пустила. В это время, послеобеденное, сидели вчетвером у него в комнате — и отдыхали перед вечером. Я говорила, что не то что *нельзя* идти в Церковь, но неразумно, потому что надо беречь силы для *нашего*. Говорили о Целом и еще много, и он еще поживел (радовался, что не пошел, а приготовление было к Четвергу здоровое, тихое, углубленное всех *нас* вместе).

В субботу красили яйца, переписывали заутреню. Кузнечик купил 4 гусиных яйца и никак не мог их раскрасить. Боре я написала письмо. Он мне — *ни звука*. С Натой утром на кладбище были. К обеду пришел К-ов с билетами. Я Натe говорю, чтоб молчала о том, что заутреню переписать К-ову надо. К радости моей он говорит: „Все дела второстепенные сделал: в «Стране» был, Максима Ковалевского видел (!); теперь надо дела первостепенные делать”. У Наты потребовал книжку и с Кузнецовской все переписал — мощно.

С 9 ч. решили начать. И чтоб было продолжение Четверга — все, как тогда: только не было хлеба и вина. Еще купили белой гвоздики и ромашек. У К-ова перед образом (одна голова Христа). Прибили дощечку (полочки нет) от моего мольберта — для свечек.

1 — я |

2 — Ната |

3 — Карташов<sup>68</sup> |

Стояли, не сидели

<sup>64</sup> Абрамович Дмитрий Иванович (1873—1955) — сын священника, обучался в Санкт-Петербургской Духовной Академии (закончил в 1897 году со степенью кандидата богословия), оставлен на должности доцента по кафедре русского и церковно-славянского языка и истории русской литературы, после защиты магистерской диссертации (1903) заведовал этой кафедрой, в 1905 году избран экстраординарным профессором. С 14 августа 1909 года уволен из Академии по распоряжению Синода за «неблагонадежность» и вредные направления в преподавании новой русской литературы. С 1 мая 1910 года зачислен помощником заведующего читальным залом Публичной библиотеки с откомандированием для занятий в Рукописном отделении. См.: *Михеева Г. В.* Дмитрий Иванович Абрамович // Сотрудники Российской Национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Библиографический словарь. СПб., 1995. Т. 1: Императорская Публичная библиотека 1795—1917. С. 37—41.

<sup>65</sup> То есть в комнате З. Гиппиус, которую после отъезда Мережковских заняла Татьяна.

<sup>66</sup> Комната Мережковского, в которой жил Карташев.

<sup>67</sup> Имеется в виду Страстной Четверг.

<sup>68</sup> Имеется в виду: 1 — священник, 2 — дьякон, 3 — чтец.

Скатерть взяли нашу, чистую, у К-ова в шкафу хранится. Взамен на столе столовом — его лежит. Пришла С. П. Надели с Натой белые платья, Кузнечик надел платье новое, К-ов — белый галстук. Цветов массу нянечке подарили — и гиацинты, и ландыши. Гиацинты мы с Натой утром на кладбище<sup>69</sup> свезли и яйцо красное.

Ну, вот, приготовились. Чашу поставили — все, все; масла только еще розового налили. Опять втроем готовили — так естественно вышло. Только без винограда, хлеба и вина. Свечки так поставили -||-||-||-||-||- перед образом. И цветами украсили. Небо еще было зеленое. Совсем ясное. Ощущалась значительность. Пришла С. П. Все было готово. Я с ней поговорила и нечаянно сказала: „сегодняшний Четверг”. Было хорошо. Евангелие читали и тогда и теперь — все. Ни на секунду не терялась в сознании соединения с вами. Вместо Бори — горела одна его свеча.

Кончили рано — жалко было, что мало. Здорово, трезво так и бесконечно светло. А. Михайловичу я купила ленту белую муаровую для креста — вроде венчальной. (Он еще давно просил). Отнесла ему в пятницу, чтоб к заутрене надел. Ты знаешь, что все *такое* ему вглубь проникает.

Пошли к заутрени. Было хорошо, но большего никто из нас не получил. *Знаю* это и о Кузнецове, о Nate и Карташове. С. П. и А. М. бродили по улицам, хотя и были у них билеты с нами быть. (Все-таки отделилась С. П. с Ал. М.). А я ей твердо намекала на символичность соединения нас еще и здесь в куче. Она Ал. М. не покинула и не привела-таки. Был у церкви Успенский. Позвали его разговляться. Пошел. Вместе с Андрюшей разговлялись, он у нас уже сидел. Перед едой как-то случайно спели „Да исправится молитва моя” и „Христос воскрес” — трио. Вообще мне нравится.

Перед заутреней я с Кузнечиком устраивали стол у него, то есть в столовой, посередине, с цветами. А после еды перешли ко мне уже уменьшенной.

Помолившись, они ушли, и я помню, как мы с тобой в ту Пасху смотрели в окно, как лошади радуются, и захотела теперь. Смотрели вчетвером. Потом Ната ушла спать. Мы втроем. Потом Карташов постелил газету, на нее подушку, на подушку встал головой, а мы с Кузнецовым подняли его за ноги. Потом на руках пошел. Потом на ковре лежал навзничь.

Потом пошли спать. Одна я еще посидела. Сегодня я с Кар-овым были у Ремизовых. Христосовались с А. Мих.

Абрамовичи придут завтра. У заутрени все изумлялись Карташову, что он с нами стоит вместе. Еще их я звала нарочно: „Приходите к нам”. Пусть думают, что К-ов женится, все что угодно. Это хорошо. Пасха. День серый — первый после недели ясной. К вечеру дождь прошел. Тепло и прояснело» (*Amherst*, box 2, folder 21).

Служба была составлена на основе богослужебных книг православной церкви — Постной и Цветной Триоди, но в ней имелись серьезные отступления от канона и дополнения (молитвы, сочиненные З. Гиппиус и другими членами общины).

В младшем «гнезде» за составление службы отвечал главным образом Карташев, знаток типикона и литургики, он же частично и переводил священные тексты. Написанный текст обсуждался и корректировался тройкой (Кузнецов практически не участвовал в этом процессе) и отсылался на «экспертизу» в Париж, после чего принимали отредактированный, дополненный и исправленный вариант. «Чин служения» вырабатывался совместными усилиями и был общим, он мог отличаться у «младших» незначительными нюансами. Молитвы писал каждый самостоятельно, но редактировали потом совместно,<sup>70</sup> у каждого имелась своя собственная молитвенная книга.

<sup>69</sup> Сестры ездили на кладбище Новодевичьего монастыря, на могилу матери — Анастасии Васильевны Гиппиус (урожд. Степанова; 1849—1903).

<sup>70</sup> Отдельные молитвы опубликованы нами: «Вижу отсюда: буча из-за войны разгорается...». Из писем Т. Н. Гиппиус... С. 385—392.

Основываясь на тексте молитвенника З. Гиппиус, опубликованного Т. Пахмусс,<sup>71</sup> А. Эткинд заключил: «По миссионерским критериям Мережковские, несомненно, были бы признаны сектантами, к тому же особо опасными, потому что они скрывали свое сектантство».<sup>72</sup>

В религиозной доктрине Мережковских действительно несложно обнаружить параллели с вероучением некоторых русских сект, например, коммунистической — «Общими» — одна из ветвей молоканства или «духовных христиан», известная в Поволжье с начала XIX века. Особенность этого толка — признание членов общины старцами Третьего Завета или Завета Святого Духа как основания «истинного не буквенного христианства», поскольку книги Ветхого и Нового Заветов отжили и должны уступить место новому евангелию или «Завету Духа Святого». Учение «общих» имело большой успех и к концу века распространилось в центральные районы России. К восьмидесятилетию юбилею Л. Н. Толстого читатели подарили ему картины «Общие пишут свой Третий Завет» и — «Прыгуны сжигают на костре ветхое писание — Библию».<sup>73</sup> Мережковские, изучавшие сектантство, по-видимому, знали о секте «общих».<sup>74</sup>

Продолжая поиски в этом направлении, можно установить соответствия и с другими вероучениями, богословскими доктринами еретическими или пограничными, как например с учением средневекового мистика Иоахима Флорского о Святой Троице (история представляет собой последовательное раскрытие трех заветов Трех Божественных Лиц),<sup>75</sup> которое католическая церковь подвергла осуждению. Мережковский пишет об Иоахиме Флорском в позднем историческом эссе «Франциск Ассизский» (1938).

Путь подбора аналогий, однако, не всегда бывает продуктивным, иногда он уводит от конкретных и более близких источников.

В книге «Пути русского богословия» Г. Флоровский фиксирует внимание на «любопытных наблюдениях» П. Лаврова в работе «Социальная революция и задачи нравственности» ([1885]): «В середине 70-х годов пришло в эмигрантский лондонский монастырь странное известие о мистической секте среди русских революционеров. Известие оказалось верным. Весьма уважаемые личности были захвачены этой эпидемией. С начала 80-х годов явления переживания религиозного элемента в России стали повторяться чаще и получать более определенную форму... Всюду поражала большею частью фантастическая смесь православия с философским идеализмом, народничества с хитросплетениями, доступными лишь небольшому меньшинству...».<sup>76</sup>

<sup>71</sup> Т. Пахмусс дважды печатала один и тот же документ, под разными заглавиями: «Молитвенник» и «Молитвенная книга»; опубликованные тексты не совпадают, в них встречаются многочисленные разночтения, а также неверные прочтения оригинала. Ср.: Молитвенник // Correspondence of Zinaida Hippus. Из переписки З. Н. Гиппиус. С. 714—770; Молитвенная книга Зинаиды Гиппиус // Новый журнал. 2004. Март. № 234. С. 142—167. Установить аутентичный текст можно будет только при изучении оригинала.

<sup>72</sup> Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. С. 212—213.

<sup>73</sup> Саяпин М. «Общие»: Русская коммунистическая секта // Ежемесячный журнал. 1915. № 1. С. 67.

<sup>74</sup> В июне 1902 года они совершили поездку на озеро Светлояр, к апокрифическому «невидимому граду Китежу», где в ночь на Иванов день собираются русские раскольники, сектанты и богоискатели. Об этой поездке З. Гиппиус опубликовала очерк: «Светлое озеро» (Новый Путь. 1904. № 1, 2), республ.: «Старый Керженец» (Последние новости. 1931. 20, 22 нояб.; 1, 4 дек.).

<sup>75</sup> Некоторые исследователи рассматривают учение Иоахима Флорского о Святой Троице в качестве непосредственного источника религиозно-философской доктрины Мережковского. См., например: Аксенов-Меерсон Михаил, *прот.* Возрождение мистики любви в экзистенциальном тринитаризме Мережковского С. 154—155.

<sup>76</sup> Флоровский Г., *прот.* Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 555. Далее Лавров называет причину отвращения молодежи от «трезвой мысли Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова» — труды новых «проповедников», которые приучали молодежь «смотреть на религиозные стремления и на метафизические положения этой школы как на естест-

Лавров имел в виду коммуны народнической молодежи, сложившуюся вокруг Александра Васильевича Долгушина (1848—1885, скончался в тюрьме Шлиссельбургской крепости), выдвинувшего идею создания новой религии для народа, — «долгушинский кружок» (1873),<sup>77</sup> а также личный путь Николая Васильевича Чайковского (1850—1926).<sup>78</sup>

После разгрома «чайковцев» в 1874 году (членами этого кружка были П. Кропоткин, С. Перовская, С. Кравчинский, Л. Тихомиров, Д. Клеменц, С. Синегуб и др.) Чайковский примкнул к Александру Капитоновичу Маликову (1839—1904),<sup>79</sup> увлекся его учением о «богочеловечестве», поисками Бога внутри себя, и последовал за ним в Америку. В Канзасе они основали земледельческую общину-коммуны «богочеловеков».

З. Гиппиус, знавшая Чайковского лично, называла его «живым воплощением идеи нового религиозного сознания», на его поминках, устроенных в Париже в апреле 1926 года, она говорила: «Этот человек мне близок. — И близок в той сущности, — в той области, о которой и вообще-то говорить трудно: это — область религии. Я говорю не о религиозном миросозерцании, а именно о религиозном исповедании».<sup>80</sup>

Исследуя интеллектуальную «родословную» Мережковских, О. Матич препарирует культурную память модернистов, поочередно фокусируя зрение на перекрещивающихся идеологических и хронологических слоях. Подобный подход предполагает опознание или выявление в этом палимпсесте дополнительных неучтенных слоев. Нам представляется небесполезным рассмотреть религиозное творчество Мережковских в связи с мистической традицией русского революционного народничества, а также религиозными взглядами русских христианских либералов XIX века, в масонско-скопческом дискурсе Александровской эпохи. Этой теме будет посвящена наша вторая статья.

венные и правомерные элементы человеческой мысли». Флоровский акцентирует внимание на примечании П. Витязева к высказыванию Лаврова в переиздании книги (1921): «Лавров имел в виду, прежде всего, Соловьева (еще и Льва Толстого)» (Там же).

<sup>77</sup> См., например: *Аптекман О. В.* Общество «Земля и Воля» 70-х гг. (по личным воспоминаниям). Пг., 1924; *Кункль А. М.* Долгушинцы. М., 1932.

<sup>78</sup> Н. В. Чайковский начинал пропагандистскую работу в студенческом кружке М. А. Натансона и В. М. Александрова, после расширения состава кружок стал известен как кружок «чайковцев». Подробный биографический очерк см.: *Серков А. И.* Чайковский Николай Васильевич // Русское масонство 1731—2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 864—865; см. также в его кн.: *История русского масонства 1845—1945.* СПб., 1997. С. 115.

<sup>79</sup> Жизнь и деятельность А. К. Маликова и его последователей описана В. Г. Короленко в третьей книге «Истории моего современника» (см.: *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 7. С. 174—213) и в статье «Великий пилигрим» (Там же. Т. 8. С. 124—136).

<sup>80</sup> *Гиппиус З. О Н. В. Чайковском* // Гиппиус З. Чего не было и что было: Неизвестная проза 1926—1930 годов / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. СПб., 2002. С. 139—146. Впервые: *За Свободу!* (Варшава). 1926. 3 июля. № 149 (1880). С. 2.

© Е. М. Бутенина

## НАБОВКОВСКАЯ МЕДИАЦИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ И УНИВЕРСИТЕТСКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЗА США

Медиа́ция русской класси́ки в наследии Владимира Набокова не только сформировала такие важнейшие области современного набоковедения, как «Набоков и

Евгения Михайловна Бутенина — доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Дальневосточного федерального университета.

Пушкин», «Набоков и Гоголь», «Набоков и Достоевский»,<sup>1</sup> но и оказала огромное воздействие на университетско-филологическую прозу США. Подчеркнуто субъективную набоковскую интерпретацию русской классики можно обозначить термином *медиация*, поскольку медиатор, в отличие от переводчика, преследует собственные цели, «модулируя смыслы и манипулируя ими для преодоления герменевтических и прагматических барьеров в коммуникации».<sup>2</sup> Глубинный литературный подтекст романов Набокова под силу расшифровать лишь специалистам, но его англоязычная университетско-филологическая проза, в частности эссе «Николай Гоголь», роман «Пнин» и «Лекции по русской литературе», эксплицитно представляет читателю его эмоциональное, полемическое видение русской литературы. Очевидно, американская профессиональная модель *писатель — преподаватель литературы — медиатор практик чтения / профессиональный читатель-просветитель* — сформировалась не без влияния Набокова.

В начале XXI века по крайней мере три известных писателя США, авторы университетских романов, герои которых — преподаватели литературы, также выпустили книги о практиках чтения: это Филип Рот «Читая себя и других» («Reading Myself and Others», 2001), Джейн Смайли «Тринадцать способов посмотреть на роман» («Thirteen Ways of Looking at the Novel», 2005) и Франсин Проуз «Читая по-писательски. Гид для тех, кто любит книги, и для тех, кто хочет их писать» («Reading like a Writer. A Guide for People Who Love Books and for Those Who Want to Write Them», 2006). В данной статье университетско-филологическая проза Рота, Смайли и Проуз рассматривается как отклик на набоковский преподавательский и литературоведческий опыт. На примере этих авторов можно рассмотреть три варианта писательской рецепции наследия Набокова: умалчивание (Рот), оттачивание (Смайли) и притяжение (Прозу).

Для понимания, на какой основе могло сформироваться представление о филологическом наследии Набокова у американского писателя и преподавателя, специально не занимавшегося его творчеством, обратимся к краткому обзору контекста, в котором появились «Николай Гоголь», «Пнин» и «Лекции по русской литературе», англоязычным рецензиям на эти книги и набоковскому методу представления литературного материала в этих текстах.

До Набокова наиболее значительными работами о русской классике на английском языке считались книги Д. Мирского (Д. П. Святополк-Мирского), сыгравшие большую роль в понимании русской литературы за рубежом, о чем можно судить, например, по высказыванию Эдмунда Уилсона о «Пушкине» Мирского: «Именно описание стиля Пушкина в его изложении было тем, что впервые заставило меня осознать, что русский писатель может быть великим стилистом — до этого я читал русских писателей большей частью в переводах Констанс Гарнетт, которые делали всех писателей одинаковыми; книга Мирского всерьез побудила меня изучать русский язык. (...) это уникальный и незаменимый труд. Русские говорили мне, что, несмотря на то, что книга написана по-английски для иностранцев, по-русски не написано ничего столь же искусного, пронизательного и понятного».<sup>3</sup>

Как отметил М. В. Ефимов, одним из этих русских наверняка был Набоков, писавший еще в конце 1940-х годов: «Да, я большой поклонник работы Мирского. Я считаю ее лучшей историей русской литературы на любом языке, включая рус-

<sup>1</sup> См. в работах В. П. Старка, А. В. Мулярчика, М. Э. Маликовой, Б. Бойда, А. А. Долинина, В. А. Александрова, К. Брауна и др.

<sup>2</sup> *Viaggio S. A General Theory of Interlingual Mediation*. Berlin, 2006. P. 23. Перевод мой. — Е. Б.

<sup>3</sup> Цит. по: *Ефимов М. В. «Mirsky and I»: к вопросу о творческих связях В. В. Набокова и Д. П. Святополк-Мирского // Русская литература. 2015. № 2. С. 244 (впервые: Wilson E. Comrade Prince. A Memoir of D. S. Mirsky // Encounter. 1955. № 5 (1). P. 10).*

ский».<sup>4</sup> Поэтому убедительно замечание исследователя о том, что «для Набокова в Америке 1940-х годов Мирский стал заочным (хронологически и топографически) союзником в утверждении своего места как наследника русской культурной традиции (от Пушкина до искусства начала XX века) в новой культурной среде».<sup>5</sup> В 1940-е годы Набокову действительно нужно было союзничество для утверждения своего места в литературе США, поскольку он мог быть известен только как автор романа «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1941), а его русскоязычная проза еще не была переведена.

В 1942 году Джеймс Лафлин, глава издательства «Нью-Дайрекшенз», опубликовавшего «Себастьяна Найта», обратился к Набокову с предложением написать о Гоголе для американских студентов,<sup>6</sup> и спустя два года книга вышла.<sup>7</sup> «Николай Гоголь» Набокова получил немногочисленные отзывы критиков. Первым откликом стала рецензия Эдмунда Уилсона в журнале «Нью-Йоркер». Уилсон подчеркивал «замечательный акцент» в книге Набокова, который «не просто по-новому осветил традиционный портрет Гоголя, (...) он еще передал читателю весьма тонкое ощущение гоголевского стиля».<sup>8</sup> Положительной была и оценка В. Д. Герни, чей перевод «Мертвых душ» вышел незадолго до книги Набокова.<sup>9</sup> Наиболее хвалебной оказалась рецензия Марджери Фарбер, вышедшая в «Книжном обозрении „Нью-Йорк Таймс“».<sup>10</sup> В отличие от Уилсона Фарбер не сочла «творческую критику» («creative criticism») Набокова недостатком. Резкая рецензия принадлежала редактору леворадикального журнала «Партизан Ревью» Филипу Раву.<sup>11</sup>

И положительные, и критические отзывы о книге Набокова, опубликованные в довольно престижных изданиях, определяющих читательские мнения в США,<sup>12</sup> были важным этапом как в укреплении его позиции в академической среде, так и в формировании интереса к русскому писателю, книга о котором может вызывать столь эмоциональные отзывы. Метод «творческой критики» вызывал противоречивые оценки и не сразу был понят как ведущий принцип Набокова-читателя, преподавателя и критика, с нескрываемым пристрастием акцентировавшего «набоковское» в русской классике.

Набоковский опыт преподавания отечественной словесности в 1940-е и 1950-е годы отразился в романе «Пнин» (1957), заложившем основы современной университетской прозы, что неоднократно отмечали многие исследователи, в том числе один из видных теоретиков и практиков этого жанра Дэвид Лодж.<sup>13</sup> Критики-современники с интересом отнеслись к новому роману «автора „Лолиты“», в США

<sup>4</sup> Цит. по: *Ефимов М. В.* «Mirsky and I». С. 242 (впервые: *The Nabokov—Wilson Letters. Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson 1940—1971 / Ed., annotated and with Introductory Essay by Simon Karlinsky.* New York; London, 1979. P. 71—72).

<sup>5</sup> *Ефимов М. В.* «Mirsky and I». С. 247.

<sup>6</sup> Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Набокова / Сост. Н. Г. Мельников, О. А. Коростелев; под ред. и с предисловием Н. Г. Мельникова. М., 2000. С. 238 (Новое литературное обозрение: науч. прил., вып. 20).

<sup>7</sup> *Nabokov V. Nikolai Gogol.* Norfolk, Connecticut: New Directions, 1944.

<sup>8</sup> *Уилсон Э.* Николай Гоголь / Пер. А. Спаль // Классик без ретуши. С. 241—243 (впервые: *Wilson E. Nikolai Gogol // The New Yorker.* 1944. Vol. 20. Sept. 9. P. 72—73).

<sup>9</sup> *Guernsey B. G.* Great Grottesque // *New Republic.* 1944. № 111. Sept. 25. P. 376—378.

<sup>10</sup> Цит. по: Классик без ретуши. С. 239—240 (впервые: *Farber M. Nikolai Gogol: The Man and His Nightmares // New York Times Book Review.* 1944. 5 Nov. P. 29; пер. Н. Г. Мельникова).

<sup>11</sup> Цит. по: Там же. С. 240 (впервые: *Rahv F.* Strictly One-Sided // *The Nation (New York).* 1944. Vol. 159. № 22. P. 658; пер. Н. Г. Мельникова).

<sup>12</sup> В эмигрантской среде откликом на книгу о Гоголе стала рецензия Г. Федотова в «Новом журнале» (1944. № 9. С. 368—370), однако анализ русскоязычной рецепции наследия Набокова не входит в задачи данной работы. См. об этом: *Стехов А. В.* Рецепция книги В. В. Набокова «Николай Гоголь» в зарубежной и отечественной критике // *Вестник Российского государственного гуманитарного университета.* 2010. № 2. С. 323—346.

<sup>13</sup> *Lodge D.* Introduction // *Nabokov V. Pnin.* New York, 2004. P. VII—XXII. См. также: *Sho-walter E.* Faculty Towers: The Academic Novel and Its Discontents. Oxford; New York, 2005; *The Academic Novel: New and Classic Essays / Ed. by M. Moseley.* Chester, 2007.

еще почти никем не прочитанной. По свидетельству Н. Г. Мельникова, рецензий было опубликовано более семидесяти, и в основном положительных.<sup>14</sup> Интересно, что, кроме коротких замечаний о сходстве Обломова и Пнина,<sup>15</sup> в этих рецензиях не удалось найти комментария о тексте русской литературы как составляющей образа героя и отражении преподавательского опыта автора.

Пнин ничем не напоминает Набокова,<sup>16</sup> кроме эмигрантского происхождения и трепетного отношения к русской классике. Подобно своему создателю, Пнин пытался преподавать американцам русский язык и на своих занятиях «не упускал случая увлечь своих студентов на литературную и историческую экскурсию»,<sup>17</sup> как это делал и сам Набоков. Литературоцентричность мира Пнина проявляется не только в аудитории. Через призму классики он читает и русскую эмигрантскую газету, где «отчасти припахивающий Гоголем гробовщик расхваливал свои катафалки de luxe, пригодные также для пикников», а «другой гоголевский персонаж, из Майями, предлагал „двухкомнатную квартиру для трезвых среди цветов и фруктовых деревьев“». <sup>18</sup> В знании мельчайших деталей любимых романов Пнину нет равных, и некоторые его замечания об «Анне Карениной» совпадают с наблюдениями Набокова в «Лекциях по русской литературе».<sup>19</sup>

Пнин стремится приобщить к русской классике симпатичных ему окружающих. Когда квартирная хозяйка пытается развеселить его юмористической рекламной картинкой с изображением русалки и моряка, то Пнин изрекает, «поднимая два пальца»: «Лермонтов (...) всего в двух стихотворениях сказал о русалках все, что о них можно сказать». <sup>20</sup> Готовясь к визиту пасынка Виктора, Пнин покупает футбольный мяч и, чтобы объяснить продавцу желаемую форму, использует тот же жест, что и в описании «„гармонической целостности“ Пушкина»,<sup>21</sup> тем самым еще до знакомства с мальчиком подсознательно соединяя русскую литературу и близкую американцам тему спорта. При встрече Пнин читает подростку целую минилекцию о спорте в русской литературе.<sup>22</sup>

Русская классика для Пнина — настолько близкий и родной мир, что литературные факты для него неотделимы от собственной биографии, поэтому сообщая их, он естественно переключается на рассказ о своих юношеских играх в теннис и городки, попутно доходчиво поясняя, чем последние отличаются от крокета. И даже упав с лестницы, Пнин через силу улыбается и произносит во имя просвещения, не опасаясь суеверий: «Совсем как в превосходном рассказе Толстого, — ты должен как-нибудь прочитать его, Виктор, — про Ивана Ильича Головина, который тоже упал и приобрел впоследствии почку рака». <sup>23</sup> К сожалению, выясняется, что Виктор терпеть не может футбол, а на фразе «Прошлым летом я читал „Преступление и...“ — Молодой зевок растянул стойко улыбавшийся рот» мальчика.<sup>24</sup>

Несмотря на присутствие в романе квазиавтобиографической фигуры рассказчика, именно Пнину Набоков доверяет дорогие ему размышления о русской литературе, и голос автора и героя иногда сливаются в один. Так, размышления о пуш-

<sup>14</sup> См. об этом в обзоре Мельникова: Классик без ретуши. С. 335.

<sup>15</sup> *Range V. A Saint of the Comic // New Republic. 1957. № 136. May 6. P.16. Hansford-Johnson P. Review of Pnin // News Statesman. 1957. Vol. 54. Sept. 21. P. 261.*

<sup>16</sup> Возможно прототипу Пнина посвящено отдельное исследование: *Diment G. Pniniad: Vladimir Nabokov and Marc Szeftel. Seattle, 1997.*

<sup>17</sup> *Набоков В. В. Пнин / Пер. С. Ильина // Набоков В. В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб., 1993. Т. 3. С. 64.*

<sup>18</sup> Там же. С. 71.

<sup>19</sup> Там же. С. 97, 111; *Набоков В. В. Лекции по русской литературе / Пер. И. Толстого. М., 1999. С. 269—270.*

<sup>20</sup> *Набоков В. В. Пнин. С. 58.*

<sup>21</sup> Там же. С. 91.

<sup>22</sup> Там же. С. 97.

<sup>23</sup> Там же. С. 99.

<sup>24</sup> Там же. С. 100.



кинском «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» начаты от лица автора и «подхвачены» Пниным.<sup>25</sup>

Роман «Пнин» достаточно плотно насыщен литературными комментариями, дающими представление о методике чтения и преподавания самого Набокова. Переданные герою суждения о русских классиках поражают то афористичностью (как сентенция о Лермонтове), то фундаментальной эрудицией (как доказательство даты начала «Анны Карениной» или хронология упоминаний о спорте в русской литературе). При этом Набоков нередко соединяет русскую классику с американской действительностью, словно «одомашнивая» ее для американского читателя: о Лермонтове Пнин вспоминает дважды, в разговорах о рекламе и спорте; жест округлости подходит для описания и «гармонической целостности» Пушкина, и формы футбольного мяча; гоголевские персонажи благополучно проживают в Майами. Так этим романом Набоков словно настраивал читателей на восприятие своих исследований о русской литературе.

В годы написания романа «Пнин» Набоков уже начал фундаментальную работу над переводом «Евгения Онегина» и комментарием к нему. Неоднозначная реакция на переводческие и интерпретаторские решения Набокова отразилась уже в заголовках рецензий на его труд, в частности, язвительного отзыва Уилсона «Странная история с Пушкиным и Набоковым».<sup>26</sup> Яркое выраженное субъективное начало перевода и комментария побудило критиков писать о «набоковском Пушкине». Это определение вполне отражало замысел Набокова, о котором критики-современники высказывались довольно осторожно. Роберт Конвекст, назвавший свою рецензию «Набоковский „Евгений Онегин“», наиболее точно, на наш взгляд, оценил этот замысел, заметив, что «в целом этот перевод скорее не на английский, а на набоковский». При этом критик сетовал, что «Набоков мог бы подарить нам добротный, без лишних прикрас прозаический перевод».<sup>27</sup>

Учитывая, что большой пласт набоковского перевода составляют его неологизмы или архаизмы, значение которых англоязычные читатели вынуждены уточнять в словаре, перевод «без прикрас» явно не входил в его задачи. Думается, что он вполне осознанно создавал нечто беспрецедентное, почти недоступное прочтению, но настолько грандиозное, что обойти его всем, кто будет заниматься пушкинским творчеством впоследствии, будет невозможно, и за Набоковым закрепится слава неповторимого медиатора Пушкина. К этой мысли подводят наблюдения многих критиков. Александр Гершенкрон, чья статья заложила основу понимания труда Набокова, замечает: «Перевод Набокова можно и даже должно изучать, но, как бы он ни был искусен, читать его невозможно», а «некоторые странности Комментария проистекают от того, что Набоков отождествляет себя с Пушкиным».<sup>28</sup>

Гершенкрон высоко оценил лишь перевод отдельных строф, а критики, восхищенные переводом в целом, сопоставили его с романом «Бледный огонь» (1962) и оценили ироничное начало набоковского «Евгения Онегина» как авторизированного перевода и комментария.<sup>29</sup> Стоит выделить рецензию Энтони Берджесса «Пушкин и Кинбот», в которой сделано важное наблюдение: «Набоков превратил *appa-*

<sup>25</sup> Там же. С. 64—65.

<sup>26</sup> Уилсон Э. Странная история с Пушкиным и Набоковым / Пер. В. Мишушина // Классик без ретуши. С. 387—392 (впервые: *Wilson E. The Strange Case of Pushkin and Nabokov // The New York Review of Books. 1965. July 15. Vol. 4. P. 3—6*).

<sup>27</sup> Конвекст Р. Набоковский «Евгений Онегин» / Пер. В. Мишушина // Классик без ретуши. С. 385—387 (впервые: *Conquest R. Nabokov's «Eugene Onegin» // Poetry. 1965. Vol. 106. June. P. 263—268*).

<sup>28</sup> Гершенкрон А. Рукотворный памятник? / Пер. В. Мишушина // Классик без ретуши. С. 404, 415 (впервые: *Gershenkron A. A Manufactured Monument? // Modern Philology. 1966. Vol. 63. May. P. 336—347*).

<sup>29</sup> См. об этом в обзоре Мельникова: Классик без ретуши. С. 378—379 со ссылками на статьи: *Simmons E. J. Nabokov Guide Through the World of Alexander Pushkin // New York Times Book Review. 1967. June 28. P. 4; Hingley R. Review // Spectator. 1965. Jan. 1. P. 19*.

*ratus criticus* в новое художественное средство — сперва в „Бледном огне”, а теперь в „Евгении Онегине”». <sup>30</sup>

Глубокое понимание великого набоковского труда проявила Нина Берберова, когда писала, словно увещевая рьяных критиков: «Набоков сам придумал свой метод и сам осуществил его, и сколько людей во всем мире найдется, которые были бы способны судить о результатах? Пушкин превознесен и... поколеблен». <sup>31</sup> По мнению В. П. Старка, цитирующего эти строки, «это самое тонкое наблюдение, которое было сделано относительно набоковского „Комментария”, но абсолютно не получившее дальнейшего развития», <sup>32</sup> тогда как «Набоков своими настойчивыми параллелизмами как раз и включает Пушкина в великий поток мировой литературы, нисколько при этом не умаляя его индивидуальной и национальной самобытности». <sup>33</sup>

Обращаясь к своим англоязычным читателям, Набоков выражал надежду, что «они захотят выучить язык Пушкина и вновь перечесть „Евгения Онегина” уже без этого подстрочника». <sup>34</sup> Это обращение, конечно, адресовано избранным ценителям, и пушкинский роман даже с набоковским комментарием не вошел в корпус русской классики для широкого англоязычного читателя, в то время как произведения, представленные в «Лекциях по русской литературе», безусловно, расширили этот корпус. О планах издавать свои лекции Набоков оставил противоречивые записи, <sup>35</sup> тем не менее в 1981 году они вышли из печати.

Их издание предвещало выход лекций по европейской литературе с предисловием Джона Апдайка, который еще при жизни Набокова называл его лучшим американским писателем и в своей эссеистике, и в художественной прозе. <sup>36</sup> В предисловии Апдайк упоминает «эксцентричную и остроумную» книгу «Николай Гоголь» и так обращается к читателям лекций: «Нам много цитируют (...) Во время этих цитирований мы должны вообразить акцент, театральную мощь дородного лысеющего лектора, который был когда-то спортсменом и унаследовал русскую традицию ярких устных выступлений». <sup>37</sup>

В числе студентов Набокова Апдайк упоминает свою жену и приводит ее воспоминания, что акцентирует достоверность описываемых впечатлений и приближает читателя к пониманию набоковского метода, <sup>38</sup> однако этот метод вновь вызвал немало критических отзывов. В отношении лекций по европейской литературе рецензенты были особенно резки, <sup>39</sup> и в нейтральной версии их мнения могут быть резюмированы словами Роберта Олтера о том, что «магнетическое впечатление» от устных лекций Набокова исчезало на печатной странице, поэтому «эти обзоры (...) представляют собой не более, чем обзоры, а цитаты, увы, всего лишь цитаты». <sup>40</sup>

<sup>30</sup> Бёрджесс Э. Пушкин и Кинбот / Пер. В. Минушина // Классик без ретуши. С. 393 (впервые: *Burgess A. Pushkin & Kinbote // Encounter. 1965. Vol. 24. May. P. 74—78.*)

<sup>31</sup> Берберова Н. Курсив мой. М., 1996. С. 375—376.

<sup>32</sup> Старк В. П. А. С. Пушкин и творчество В. В. Набокова. Дис. ... докт. филол. наук. СПб., 2000. С. 17.

<sup>33</sup> Старк В. П. Владимир Набоков — комментатор «Евгения Онегина» // Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 10.

<sup>34</sup> Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 36.

<sup>35</sup> См. об этом в обзоре Мельникова: Классик без ретуши. С. 530.

<sup>36</sup> *Updike J. 1) Grandmaster Nabokov // Updike J. Assorted Prose. New York: Knopf, 1974. P. 318; 2) The Complete Henry Bech Stories. New York, 2001. P. 12—13.*

<sup>37</sup> Апдайк Д. Предисловие / Пер. В. Голышева // Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 16, 19.

<sup>38</sup> См. также воспоминания бывшей студентки колледжа Уэлсли: Грин Х. Мистер Набоков // В. В. Набоков: pro et contra. Антология: В 2 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 197—207 (впервые: *Green H. Mister Nabokov // The New Yorker. 1977. Feb. 14. P. 32—35.*)

<sup>39</sup> См., например: *Adams R. M. Nabokov's Show // New York Review of Books. 1980. Dec. 18. P. 61.*

<sup>40</sup> Олтер Р. Рецензия / Пер. А. Голова // Классик без ретуши. С. 532—537 (впервые: *Alter R. Lectures on Literature. British, French, and German Writers by Vladimir Nabokov // New Republic. 1980. Vol. 183. № 14. Oct. 4. P. 32—35.*)

Рецензии на лекции по русской литературе отражают большее понимание набоковской стратегии, о чем свидетельствует, например, уже заглавие статьи Энн Фридман «Читая вместе с Набоковым» и ее комментарий: «Отрывки, которые он восхищенно цитирует (...) сияют набоковским блеском, поскольку он или переделал, или улучшил переводы. Живость языка окажет неоценимую услугу тем, кто не знает русского». <sup>41</sup>

Преподаватель Корнелльского университета Патриция Карден полагает, что большие цитаты и короткий комментарий «разочаровывают», но при этом отмечает, что стремление Набокова донести до студентов свои «сердечные воспоминания» о «русской литературной традиции во всей ее полноте» оправдывает такой подход. <sup>42</sup> Глубокое стремление оценить замысел Набокова отличает рецензию Саймона Карлинского, отмечавшего, что суть метода в том, «чтобы привести ровно столько исторических сведений об эпохе, сколько необходимо для того, чтобы студенты сосредоточились на конкретном литературном шедевре». <sup>43</sup>

Американским рецензентам, оценившим метод Набокова, вероятно, была бы близка мысль М. М. Бахтина: «Хороший пересказ, при правильной методически осознанной задаче, может получить большое значение для эстетического анализа». <sup>44</sup> Цитацию и пересказ в набоковских лекциях, безусловно, стоит оценивать как эффективные читательские и преподавательские стратегии. Так, А. М. Павлов, отмечая телесный характер многих цитируемых Набоковым отрывков русской классики, справедливо приходит к выводу о стремлении писателя настроить читателя на «перцептивное улавливание компонентов мира», чтобы приблизить его к «идеальной читательской позиции». <sup>45</sup> Подход Набокова видится особенно оправданным для англоязычной аудитории, поскольку в английском языке понятие *imagery* означает не только образность, но и язык передачи сенсорного опыта, что предполагает неразрывность этих понятий.

Набоков стремился объяснить суть своего метода чтения в эссе «О хороших читателях и хороших писателях»: «Пусть это покажется странным, но книгу вообще нельзя читать — ее можно только перечитывать». <sup>46</sup> Подробно цитируя классику в своих лекциях, Набоков показывал возможные глубины текста, которые могут открыться при внимательном чтении, и тем самым вдохновлял на перечитывание.

Набоков-преподаватель занимал удивительную позицию по отношению к русским классикам: словно уподобляя их своим студентам, он ранжировал прозаиков («первый — Толстой, второй — Гоголь, третий — Чехов, четвертый — Тургенев»; «Достоевский и Салтыков-Щедрин с их низкими оценками не получили бы у меня похвальных листов») и, даже восхищаясь ими, указывал на их «недоработки» (эпизод к «Ревизору» — «полнейшее непонимание писателем своего произведения, искажение его сути. Как мы увидим, то же самое произошло и с „Мертвыми душами“»; Чехов «не проштудировал должного количества пьес, был недостаточно взыскателен к себе в отношении некоторых технических приемов этого жанра» и даже отличник Толстой бывает неубедителен «с художественной точки зрения»). <sup>47</sup>

<sup>41</sup> Фридман Э. Читая вместе с Набоковым / Пер. А. Курт // Классик без ретуши. С. 544—545 (впервые: *Frydman A. Reading with Nabokov // The New Leader*. 1981. Vol. 64. № 23. P. 25).

<sup>42</sup> Carden P. Review of Vladimir Nabokov. Lectures on Russian Literature // *The Slavic and East European Journal*. 1984. Vol. 28. № 1. P. 125—127.

<sup>43</sup> Karlinsky S. Nabokov's Lectures on Russian Literature // *Partisan Review*. 1983. № 1. P. 94—100. Пер. А. Курт // Классик без ретуши. С. 550, 552.

<sup>44</sup> Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 132.

<sup>45</sup> Павлов А. М. Пересказ и его реперитивные возможности в «Лекциях по литературе» Владимира Набокова // *Критика и семиотика*. 2002. Вып. 5. С. 113.

<sup>46</sup> Набоков В. В. О хороших читателях и хороших писателях / Пер. М. Мушинской // Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 25—26.

<sup>47</sup> Набоков В. В. Лекции по русской литературе. С. 215, 62, 372, 252.

При этом Набоков подчеркивает, что его происхождение как будто дало ему право непринужденного отношения к классикам: так, к Достоевскому, который находился в Петропавловской крепости, «где начальником был генерал Набоков, мой предок»,<sup>48</sup> это отношение аристократически-пренебрежительное. К Толстому — это почтительное отношение равного. Сравнивая петербургский и московский свет, Набоков как бы невзначай упоминает, что он сам родился 30 лет спустя после окончания романа «Анна Каренина».<sup>49</sup> Внимательный читатель может обратить внимание, что Толстой еще в течение нескольких лет после этого рождения был жив, и поскольку далее говорится о рукопожатии Каренина и Вронского, мысль, что Толстого и Набокова тоже могло соединить символическое рукопожатие, приходит в голову и повышает статус суждений Набокова как младшего современника Толстого. Это ощущение будет вскоре поддержано и закреплено формулировкой «мы с Толстым».<sup>50</sup>

Набоков немало делает для того, чтобы приблизить русскую классику к современному читателю, как это делал и его герой Пнин. Говоря о пошлости, он вспоминает «довоенный европейский плакат, рекламировавший шины» и сравнивает Чичикова с изображенным на этом плакате «человеческим существом, целиком составленным из резиновых колец»; «писателя-акробата» Гоголя Набоков сопоставляет со знаменитым регбистом Оболенским, а «четырёхмерную» гоголевскую прозу — с теорией Лобачевского.<sup>51</sup> Эти наглядные сопоставления, наряду с емкими эпитетами-формулами («уравновешенный Пушкин, земной Толстой, сдержанный Чехов») и афористичными сентенциями<sup>52</sup> организуют понимание русской классики. Со многими суждениями Набокова, особенно о Достоевском, трудно согласиться, но их невозможно забыть. Как заметила современная британская писательница Зади Смит: «Думаю, я не первая, чье сознание было отравлено Набоковым (и настроено) против Достоевского».<sup>53</sup>

Даже до публикации лекций любой американский писатель, так или иначе обращавшийся к русской классике, не мог не учитывать опыт Набокова. Но далеко не все хотели признавать этот факт (так можно описать и авторское кредо самого Набокова, редко отдававшего должное предшественникам). К такому набоковскому писательскому типу можно отнести Филипа Рота (род. 1931), уже при жизни признанного современным классиком, подтверждением чего служат его многочисленные награды, в том числе Набоковская премия, самая престижная награда американского ПЕН-клуба (2006).

Творчество Рота представляет собой интересный пример почти мгновенного перехода от преподавания русской классики к ее преобразованию в собственный текст. Я. Н. Засурский вспоминает о своей встрече с писателем в 1972 году, когда тот готовил спецкурс по русской литературе на основе прозы Гоголя и Чехова.<sup>54</sup> В том же году Рот опубликовал небольшой роман «Грудь» («The Breast»), в котором герой, профессор литературы Дэвид Кепеш, превращается в гигантскую молочную железу и предполагает, что это невероятное воздействие трех текстов, которые ему многократно доводилось преподавать: «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «Носа» Гоголя и «Превращения» Ф. Кафки.<sup>55</sup>

<sup>48</sup> Там же. С. 173.

<sup>49</sup> Там же. С. 224.

<sup>50</sup> Там же. С. 287.

<sup>51</sup> Там же. С. 73, 76, 122.

<sup>52</sup> Там же. С. 73, 81, 118, 138, 328.

<sup>53</sup> Smith Z. Changing My Mind. New York, 2009. P. 52.

<sup>54</sup> Засурский Я. Н. Н. В. Гоголь и литература США // Медиаскоп. 2009. № 3. С. 4.

<sup>55</sup> Несколько лет спустя Рот опубликовал роман «Профессор желания» («The Professor of Desire», 1977), в котором изложил предысторию Кепеша, в начале своей профессиональной карьеры сопоставлявшего себя с героями Чехова. См. об этом: Бутенина Е. М. Самоидентификация с героями русской классики в университетско-филологической трилогии Филипа Рота // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2016. Вып. 2. С. 4—13.

Трудно представить, что, обратившись к Гоголю и собираясь преподавать его повести, Рот не ознакомился с исследованием Набокова, тем более, что неразрывность комичности и эротичности повести «Нос», ярко описанная Набоковым, и особенно его понимание носа как органа, метонимически воплощающего Гоголя, созвучны пониманию гоголевской повести Филиппом Ротом. В интервью, данном сразу после публикации романа, Рот так поясняет свое видение повести «Нос»: «В этой истории заложено игровое, садистическое воображение, выражающее себя фарсовыми и сатирическими поворотами», что «полностью устраивает автора-трикстера». <sup>56</sup>

Эта беседа входит в книгу Филипа Рота «Читая себя и других» — чрезвычайно эгоцентричный сборник, поскольку всю первую часть и половину второй составляют размышления о собственных романах и интервью. Набоков ни в одном из этих текстов не упоминается, однако отсылки к «Лолите» структурируют единственный, кроме эссе о Кафке, раздел о «других», «Воображая эротическое». В него вошли предисловия к романам американских писателей Алана Лелчука «Американское недоразумение» («American Mischief», 1973) и Фредрики Вагман «Играющий дом» («Playing House», 1973). Герои Лелчука превзошли греховность Гумберта Гумберта и, скорее, стремятся походить на Верховенского и Раскольниковова, о которых неоднократно вспоминают. В романе Вагман рассказывается о безымянной девочке и создается история поруганного детства с точки зрения Лолиты. <sup>57</sup>

По неявно выраженной мысли Рота, оба романа продолжают традицию «Лолиты» — откровенного изображения порочных наклонностей как сатиры на падение нравов в Америке. Для многих писателей США, в том числе самого Рота, эта традиция определила все творчество. О том, что имя Рота ассоциируется с именем автора «Лолиты», свидетельствует, например, роман современного британского писателя Алана Беннетта «Непростой читатель», в котором советник по чтению английской королевы «долго скрывал» от нее Набокова и «лишь постепенно представил ей Филипа Рота». <sup>58</sup>

Младшая современница Рота Джейн Смайли (род. 1949) выбрала иную стратегию рецепции набоковского творчества. Известность писательнице принесла модернизация классики на шекспировском материале: в 1992 году она получила Пулитцеровскую премию за роман «Тысяча акров» («A Thousand Acres», 1991), «фермерскую» вариацию «Короля Лира», рассказанную с точки зрения дочерей. Вскоре после этого Смайли опубликовала университетский комический роман «Му» («Moo», 1995), сатирически изображая вымышленный аграрный колледж на Среднем Западе, где она сама преподавала литературу и писательское мастерство с 1981 по 1996 год. Один из героев этого многолюдного повествования, преподаватель писательского мастерства Тим Монахан, старательно практикующий эксцентричность, стремится к должности штатного профессора и готовит к публикации третий роман, отрывки из которого публиковались в журнале «Плейбой» и были оценены некоторыми коллегами Монахана как непристойные. <sup>59</sup>

Подобная коллизия с большой долей вероятности вызывает ассоциацию с «Лолитой», которой Смайли посвящает эссе в числе ста других классических и современных эпических произведений мировой литературы, рассмотренных ею в объемном труде «Тринадцать способов посмотреть на роман». Анализ ста романов предваряют общие разделы, в которых Смайли тоже обращается к Набокову. В разделе «Искусство романа» она противопоставляет высокое искусство Набокова и коммерческий расчет, а затем, без ссылки на источник, упоминает о намерениях писателя «написать и другие книги для оскорбления американских иеху — историю о благо-

<sup>56</sup> Roth P. Reading Myself and Others. New York, 2001. P. 58.

<sup>57</sup> Там же. P. 236, 248.

<sup>58</sup> Bennett A. The Uncommon Reader. New York, 2007. P. 71.

<sup>59</sup> Smiley J. Moo. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2011. P. 224—225.

получном межрасовом браке, в котором родились дети и внуки, или об убежденном атеисте, который прожил счастливую и полезную жизнь и умер во сне в возрасте 106 лет». <sup>60</sup>

В эссе о «Лолите» Смайли демонстрирует явную нерасположенность к Набокову. Округлив его «неустанным самопродвиженцем» (*tireless self-promoter*), писательница приводит доводы о вероятных причинах его неприязни к Достоевскому: «Его мальчиком для битвы был Достоевский (...) возможно, потому, что он читал его книги только в молодости и не слишком хорошо их помнил (как предположил один из недавних переводчиков Достоевского), возможно, потому, что Достоевский был очень популярен в Соединенных Штатах (Набоков, например, писал о Гоголе, который был гораздо менее известен широкой американской публике) или, возможно, потому что, их философские взгляды совершенно расходились». <sup>61</sup> Смайли заключает, что не считает «Лолиту» великим романом, однако признает невозможным «обойти его кому-либо, кто всерьез интересуется историей и природой романа», <sup>62</sup> как это делал и Набоков в отношении романов Достоевского. «Стратегия оттачивания» в восприятии взглядов Набокова позволила Смайли немного расширить его список русских романов и включить в него, помимо «Героя нашего времени», «Отцов и детей», «Анны Карениной» и «Идиота», «Тараса Бульбу» и «Тихий Дон». В суждениях Смайли чувствуется свойственная Набокову позиция авторитетного и придирчивого читателя-эрудита: она пытается выстроить традицию изображения казачества в русской прозе, отмечая, что Шолохов опирался на опыт «Тараса Бульбы» и «Войны и мира»; в связи с историчностью и экспериментальностью его романа вскользь упоминает Диккенса и Лоуренса и не удерживается от критических замечаний о «каталоге событий» во втором томе «Тихого Дона». <sup>63</sup>

Совершенно другое отношение к Набокову демонстрирует Франсин Проуз (род. 1947) в своей работе «Читая по-писательски». Ее книга завершается длинным списком «Книг для немедленного прочтения», в который входят лекции Набокова по русской литературе. Книга Проуз стала бестселлером «Нью-Йорк Таймс», и когда в недавнем выпуске литературного обозрения этой газеты писательницу попросили ответить на вопрос «Что делает русскую литературу XIX века особенной?», она отметила рассказ «об индивидуальном как об универсальном» и предложила читать лекции Набокова для получения «более полного ответа». <sup>64</sup> В лекциях Набокова Проуз особенно импонирует его восхищение Чеховым. Об особом месте Чехова в писательском мире Проуз говорит структура ее книги о чтении: в ней одиннадцать глав с достаточным традиционными для пособия по технике внимательного чтения названиями — «Слова», «Предложения», «Абзацы», «Наррация», «Характер», «Диалог», «Детали», «Жесты» — и только последние главы выделяются из общего ряда, поскольку десятая носит название «Учеба у Чехова», а одиннадцатая — «Чтение для смелости».

В десятой главе Проуз довольно самоиронично рассказывает, как в течение семестра преподавала курс писательского мастерства и параллельно читала Чехова, и он последовательно нарушал все правила художественного письма, которым она учила своих студентов: «Не давайте героям похожие имена» опровергалось рассказом «Два Володи», «Не используйте несколько точек зрения в короткой истории» — рассказом «Гусев», «Страдания бедных трогают больше, чем страдания бо-

<sup>60</sup> *Smiley J. Thirteen Ways of Looking at the Novel. New York, 2005. P. 146.*

<sup>61</sup> *Ibid. P. 493.*

<sup>62</sup> *Ibid. P. 497.*

<sup>63</sup> *Ibid. P. 474.*

<sup>64</sup> *Prose F., Moser B. What Makes the Russian Literature of the 19th Century So Distinctive? // The New York Times Sunday Book Review. 2014. Nov. 25 ([http://www.nytimes.com/2014/11/30/books/review/what-makes-the-russian-literature-of-the-19th-century-so-distinctive.html?smid-fb-share&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2014/11/30/books/review/what-makes-the-russian-literature-of-the-19th-century-so-distinctive.html?smid-fb-share&_r=0) (дата обращения: 20.04.2017)).*

гатах» — рассказом «Бабье царство» и т. д. Писательница заканчивает свою главу перечнем свойств чеховской прозы из лекции Набокова о «Даме с собачкой» и особенно подчеркивает его слова о том, что «все традиционные правила нарушены в этом прекрасном рассказе в двадцать с небольшим страниц». <sup>65</sup>

В финальной главе своей книги, обращенной к начинающим писателям, Проуз призывает их читать, чтобы иметь смелость писать, поскольку «литература не только ломает правила, но заставляет нас понять, что их нет». <sup>66</sup> Анализируя произведения, в которых авторы смело экспериментировали, Проуз называет и «Мертвые души», и «Нос», и «Шинель», и «Смерть Ивана Ильича» и заканчивает цитированием последних строк «Дамы с собачкой», которые, по ее мнению, «могут служить финалом для любого произведения современной литературы». <sup>67</sup> Проуз также цитирует ключевую для нее чеховскую мысль: «Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть». <sup>68</sup> Эта мысль лейтмотивом проходит в ее университетском романе «Голубой ангел» («Blue Angel», 2006), герой которого, преподаватель писательского мастерства Тед Свенсон, спасается от провинциальной тоски только читая Чехова. Когда же в жизни героя случается роман со студенткой и ему предстоит пережить обвинение в профессиональной непригодности, он перечитывает классические истории адюльтера или, в его нынешнем видении, «неуместной, трагической, облагораживающей, меняющей жизнь любви» — «Анну Каренину», «Мадам Бовари», «Алую букву» — и не находит авторского сочувствия к «грешникам» ни у кого, кроме Чехова в «Даме с собачкой». <sup>69</sup>

Открытость Франсин Проуз набоковскому толкованию русской классики позволила ей не только осмыслить в своем писательском и преподавательском курсах проанализированные им произведения, но и исследовать русскую литературу дальше и включить в свой список «Книг для немедленного прочтения» русских писателей XX века: рассказы И. Бабеля, воспоминания К. Паустовского и Н. Я. Мандельштам, прозу Т. Толстой. Вероятно, некоторые из этих имен Проуз открыла широкому американскому читателю. Джейн Смайли, включая в свою сотню романов две новеллы Проуз из книги «Экскурсионные туры по аду» («Guided Tours of Hell», 1998), отмечает, что та принадлежит к числу немногих писателей США, «всерьез осмысляющих восточноевропейскую традицию, особенно таких сложных фигур, как Исаак Бабель». <sup>70</sup>

Значение филологической прозы Набокова в восприятии русской классики в США и других зарубежных странах не вызывает сомнений. На примере творчества трех современных американских авторов можно увидеть, что набоковская полемика и глубоко личная медиация родной словесности вызывает различные реакции. В случае Филипа Рота, рано оценившего свой высокий писательский статус, рецепция имеет скрытый характер, соотносимый с авторским кредо самого Набокова. Рот не упоминает значения трудов Набокова для своего понимания русской классики, вошедшей в его творчество, и вполне по-набоковски остается равнодушным к современной тенденции вести семинары по писательскому мастерству и писать об этом книги, как это делали, например, его младшие коллеги Джейн Смайли и Франсин Проуз. Смайли, будучи писательницей демократического склада, не принимает набоковскую эстетику, но признает необходимость включения его творчества в анализ мировой романной традиции. Франсин Проуз открыто признает

<sup>65</sup> *Prose F. Reading like a Writer. A Guide for People Who Love Books and for Those Who Want to Write Them.* New York, 2007. P. 248.

<sup>66</sup> *Ibid.* P. 250.

<sup>67</sup> *Ibid.* P. 255—258.

<sup>68</sup> *Ibid.* P. 244. *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1975. Т. 4. С. 53—54 (письмо А. С. Суворину от 1 апреля 1890 года).

<sup>69</sup> *Prose F. Blue Angel.* New York, 2006. P. 260.

<sup>70</sup> *Smiley J. Thirteen Ways of Looking at the Novel.* P. 555.

огромный вклад Набокова в трансляцию русской литературы западному миру и в какой-то мере продолжает его дело, призывая американских читателей «немедленно прочесть» и русские книги XX века. Набоковское эхо в книгах о чтении Филипа Рота, Джейн Смайли и Франсин Проуз отозвалось в их выраженном субъективном начале, вовлечении в дискуссию примеров из собственных произведений, обширной цитации (Проз) и подробном пересказе (Смайли). И набоковская методика чтения, актуализирующая рецептивный потенциал читателя, и его интерпретация русской классики как читательской автобиографии, несомненно, еще найдут новые отклики в современной литературе.



## НОВОЕ ИЗДАНИЕ ЖИТИЯ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО\*

В конце 2015 года в серии «Patrologia Slavica»<sup>1</sup> вышла книга, подготовленная московским лингвистом Александрой Владимировной Духаниной, — исследование и публикация Пространной редакции Жития Сергия Радонежского. Значение этого издания, прежде всего, состоит в установлении важнейшего факта литературной истории Жития, а именно того, что первоначальный текст Жития, принадлежащий Епифанию Премудрому, практически без изменений<sup>2</sup> сохранился в первой части Пространной редакции (заканчивая главой «О худости порт Сергиевых»). Это предположение Б. М. Клосса, высказанное им в 1998 году,<sup>3</sup> получило

Татьяна Борисовна Карбасова — научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

\* Житие Сергия Радонежского (Пространная редакция) / Подг. текста, перевод, комм., исследование А. В. Духаниной. М.; Брюссель, 2015. 640 с. (Patrologia Slavica. Вып. 3).

<sup>1</sup> Ранее в этой серии вышли еще две книги: 1) «Слово похвально на свягый Покров Пречистыя Богородица и Приснодевы Мариа» / Подг. текста, перевод, комм., исследование В. М. Кириллина. М.; Брюссель, 2012; 2) *Назаренко А. В.* «Слово на обновление Десятинной церкви», или к истории почитания святителя Климента Римского в Древней Руси. М.; Брюссель, 2013.

<sup>2</sup> Исключая вставку о 23-летнем возрасте Сергия при пострижении.

<sup>3</sup> *Клосс Б. М.* Избр. труды. М., 1998. Т. 1: Житие Сергия Радонежского. С. 213. Конечно, мысль о том, что в списках Пространной редакции читается текст Епифания Премудрого, исследователи высказывали и ранее. Так, В. О. Ключевский считал, что «рассказ Епифания не простирался далее кончины святого» и содержал некоторое количество поздних вставок (*Ключевский В. О.* Жития святых как исторический источник. СПб., 1871. С. 98, 99, 101, 106). В. Яблонский выдвинул гипотезу о принадлежности перу Епифания только первой части Пространной редакции — до главы «О изведении источника», но не привел никаких аргументов в пользу своего предположения (*Яблонский В.* Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. С. 45, 59, 62). Клосс

теперь надежное лингвистическое и текстологическое обоснование.<sup>4</sup>

Повторим основные наблюдения автора, позволяющие уверенно атрибутировать первую часть Пространной редакции Жития Епифанию Премудрому. Первое доказательство лингвистическое: «При исследовании системы форм глагола в епифаниевских Житиях Стефана Пермского и Сергия Радонежского и в сочинениях Пахомия Серба (житиях, похвальных словах и сказаниях) нами была обнаружена яркая лингвистическая особенность, характерная только для епифаниевских житий и нехарактерная для пахомиевских сочинений, — это широкое исполь-

первым провел полное текстологическое исследование Жития, дал определение Пространной редакции, ввел в научный оборот 46 ее списков и обозначил границы Епифаниевского текста. Доказательство принадлежности Епифанию строилось Клоссом на двух положениях: «...первая часть Пространной редакции (кончая главой «О худости порт Сергиевых и о некоем поселянине»), во-первых, свидетельствует о написании ее монахом Троице-Сергиева монастыря, современником и учеником Преподобного Сергия, и, во-вторых, стилистически сближается с произведениями Епифания Премудрого — Житием Стефана Пермского и Похвальным словом Сергию Радонежскому» (*Клосс Б. М.* Избр. труды. Т. 1. С. 159). Однако целый ряд ученых высказал недоверие выводам исследователя. С точки зрения Духаниной, «все приведенные в ней (монографии Клосса. — Т. К.) выводы и наблюдения нуждаются в перепроверке и уточнении, о чем писалось неоднократно» (с. 23).

<sup>4</sup> Следует иметь в виду, что еще до выхода книги многие положения своего исследования автор представил в виде научных статей. См., например: *Духанина А. В.* 1) К вопросу об атрибуции Пространной редакции Жития Сергия: лингвистические данные // *Древняя Русь. Вопросы медиевистики.* 2006. № 3 (25). С. 5—19; 2) К вопросу о классификации списков Пространной редакции Жития Сергия Радонежского // *Древняя Русь. Вопросы медиевистики.* 2013. № 3 (53). С. 52—54, и др. Однако именно в монографии появилась возможность выразить свою точку зрения максимально полно.

зование форм перфекта 3-го лица без связки (чуть больше 60 % форм 3-го лица в Житии Стефана Пермского и около 80 % форм — в Епифаниевской части Пространной редакции ЖСР). Эту особенность можно считать лингвистическим свидетельством в пользу атрибуции первой части Пространной редакции именно Епифанию» (с. 18—19).

Второе доказательство следует из проведенного текстологического исследования, согласно которому во всех списках Пространной редакции Епифаниевская часть «всегда одинакова», имеет минимум различий, тогда как Пахомиевская представлена в большом количестве вариантов (с. 79). Некоторые другие наблюдения самого автора и других исследователей, приводимые в книге, дополняют эту систему доказательств.<sup>5</sup>

В 1998 году Клосс издал Епифаниево Житие Сергия, используя для этого только часть Пространной редакции.<sup>6</sup> Духанина публикует Пространную редакцию полностью и рассматривает ее в достаточно широком контексте: с точки зрения поэтики, лингвистики, предлагает исторический и иконографический комментарий, перевод на современный русский язык, а также сопровождает книгу общим очерком творчества Епифания Премудрого и Пахомия Серба. Таким образом, издание превращается в свод всего, что в настоящее время известно о Пространной редакции. К сожалению, собственные наблюдения автор излагает конспективно, приводя ценнейшие наблюдения в виде сносок на свои статьи.<sup>7</sup>

Значительную часть книги (кроме, разумеется, публикации Жития) занимает текстологический очерк, в начале которого автор предлагает определение *Пространной редакции* как контаминации «Епифаниевской

и Пахомиевских редакций» (с. 25).<sup>8</sup> При этом Пахомиевская часть Пространной редакции может иметь разный состав, разную последовательность и различные редакции глав; списки, содержащие чуда XVI—XVII веков, к Пространной редакции не относятся (с. 25). Эта оговорка необходима потому, что «в XVII в. на основе Пространной редакции создавались новые редакции текста ЖСР» (с. 24).

Всего к исследованию привлечено 53 списка (8 из них обнаружены автором), которые снабжены кратким палеографическим описанием. По некоторым позициям это палеографическое описание уточняет и дополняет предшествующее, выполненное Клоссом.<sup>9</sup> Но, к сожалению, для новонайденных рукописей приводится только датировка, без указания конкретных филиграней.<sup>10</sup>

Все списки Пространной редакции Клосс предложил классифицировать по 5 видам. В рецензируемом издании классификация существенно уточнена, однако автор признает, что полностью установить взаимосвязь всех списков и выстроить историю текста Пространной редакции ему пока не удалось (с. 78). Тем не менее для исследования Епифаниева Жития особое значение имеет уже упомянутый нами вывод: «Изучение текстологии Пространной редакции ЖСР показывает, что ее списки неоднородны и неоднородность эта связана именно со второй — Пахомиевской — частью. Первая же — Епифаниевская — часть редакции всегда одинакова. При создании разных вариантов Пространной редакции она бралась целиком и практически не подвергалась правке» (с. 79).

<sup>8</sup> Нам представляется, что различия между текстами настолько велики, что можно говорить о Епифаниевом и Пахомиевом Житиях Сергия, осознавая их как разные произведения, а не разные редакции. Впрочем, в сложившейся научной традиции принято называть их редакциями.

<sup>9</sup> Для всех рукописей указаны отсутствующие в описании Клосса тип, формат и количество листов, в некоторых случаях номера листов исправлены, для трех рукописей уточнена датировка (РНБ. Собр. П. П. Вяземского. Q 273; РГБ. Ф. 173/1. Собр. МДА. № 50; РГБ. Ф. 173/1. Собр. МДА. № 88).

<sup>10</sup> Понимая, что нельзя объять необъятное, все же не могу не посоветовать на то, что отсутствует краткое описание состава рукописей. Это затрудняет возможность представить формы бытования Пространной редакции (либо вместе с другими текстами, посвященными Сергию; либо вместе с другими сочинениями Пахомия Серба; либо внутри минейных сборников?). К сожалению, ссылка на соответствующую статью автора не может исправить положения — по указанному адресу находятся только очень краткие тезисы доклада.

<sup>5</sup> См., например, наблюдения автора о сербизмах в Пахомиевской части Жития (с. 451) и различных принципах цитирования библейских книг двумя авторами (с. 471). В. М. Кириллин отмечал, что, в отличие от второй (Пахомиевской) части, первой свойственна «нумерологичность», т. е. использование, в том числе и в композиционно-стилистических целях, сакральных чисел 3, 12, 7 (*Кириллин В. М.* Епифаний Премудрый как агиограф Сергия Радонежского: проблема авторства // *Герменевтика древнерусской литературы.* М., 1994. Сб. 7. Ч. 2. С. 264—275). М. В. Иванова установила, что для житий, написанных Епифанием, характерен чрезвычайно усложненный синтаксис, тогда как сочинения Пахомия отличаются простотой и лаконичностью (*Иванова М. В.* Древнерусская агнография конца XIV—XV вв. как источник русского литературного языка. Автореф. дис. ... доктора филол. наук. М., 1998. С. 9—10).

<sup>6</sup> *Клосс Б. М.* Избр. труды. Т. 1. С. 285—341.

<sup>7</sup> См., например, с. 19, 23.

Проведенное текстологическое исследование позволило автору выбрать основной список для публикации текста — МДА 88, который «является оригиналом (черновиком) Основного и восходящего к нему Миногого видов Пространной редакции» (с. 79) (а с точки зрения Клосса — обладает «признаками протографа»).<sup>11</sup> Именно для этой рукописи сделано исключение и представлено полное палеографическое описание — это минея домакарьевского состава, в которой Пространная редакция Жития сопровождается Похвальным Словом и молитвой. Автор замечает, что приписка к молитве<sup>12</sup> по поводу времени ее создания в другом списке<sup>13</sup> позволяет уточнить нижнюю границу датировки рукописи МДА 88 — не ранее 1498 года (с. 93—94).

Позволю себе небольшое замечание. Молитва «О, преподобне и освещенная главо, о, преблаженный авва Сергие великийи...» читается уже в Шестом сборнике Ефросина<sup>14</sup> на листах 79—80, которые в составе блока датируются концом 60-х — первой половиной 70-х годов XV века.<sup>15</sup> Текст молитвы, переписанной Ефросином, полностью совпадает с молитвой, входящей вместе с Похвальным Словом в «конвой» Пространной редакции Жития Сергия Радонежского.<sup>16</sup> Таким образом, вряд ли можно считать эту молитву составленной священноиноком Сергием (автором приписки в списке из собрания Уварова. № 405) в 1498 году и использовать приписку для датировки рукописи МДА 88. Однако

<sup>11</sup> См.: Клосс Б. М. Избр. труды. Т. 1. С. 213.

<sup>12</sup> «Молитва к преподобному Сергию чудотворцу. Сътворена въ обители его священноиноком Сергием Старым в лѣто 7006-е» (с. 93—94).

<sup>13</sup> ГИМ. Собр. Уварова. № 405.

<sup>14</sup> РНБ. Собр. Кирилло-Белозерского монастыря. № 6/1083.

<sup>15</sup> На указанных листах филигрань отсутствует, датировка предложена С. Н. Кистеревым на основании комплексного рассмотрения истории формирования сборника (Кистерев С. Н. Лабринты Ефросина Белозерского. М.; СПб., 2012. С. 34).

<sup>16</sup> Клосс сделал замечание о том, что «в большинстве списков Пространная редакция Жития Сергия сопровождается „конвоем“, в который входят: Похвальное слово Епифания Премудрого и „Молитва к преподобному Сергию“» (Клосс Б. М. Избр. труды. Т. 1. С. 213). Впрочем, списков соответствующих рукописей, содержащих «конвой», он не указал. Самое беглое обращение к рукописям показывает, что Молитва сопровождает Похвальное Слово и Пространную редакцию в следующих списках: РГБ. Ф. 173/1. Собр. МДА. № 88. Л. 414—415; № 50. Л. 180—181; № 208. Л. 184—185; РГБ. Ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры. № 698. Л. 181—183; № 663. Л. 597—598.

можно обратить внимание на другое обстоятельство. Часть этой молитвы имеет общие чтения с Похвальным Словом Епифания. Это наблюдение позволяет поставить вопрос об авторе молитвы, что в свою очередь заставляет задуматься о том, не составляют ли Житие, Похвальное Слово и Молитва преподобному Сергию единый цикл, созданный еще Епифанием?

Пространная редакция Жития Сергия Радонежского публикуется по списку МДА 88 с подробнейшим палеографическим комментарием, в котором отмечены все случаи писцовой и редакторской правки. Таким образом, издатель «предоставляет обширный материал для знакомства с ошибками древнерусских писцов при копировании списков» (с. 120).<sup>17</sup> Кроме того, эти исправления сопоставлены с разночтениями в списках других видов Пространной редакции. Таким образом, в подстрочнике образуется серьезный текстологический комментарий.

Издание Пространной редакции Жития Сергия Радонежского лингвистическое: текст передается церковно-славянским шрифтом, без сохранения построчного деления, но с передачей пунктуации рукописи.

Параллельно опубликован перевод, сопровождающийся в подстрочнике кратким реальным, источниковедческим<sup>18</sup> и историческим комментарием. Кажется, прежде не были известны указанные в нем источники: «Слово о покаянии и спасении души» из «Паренесиса» Ефрема Сирина (с. 217), а также 4 и 21 Слова Лествицы Иоанна Синайского (с. 231, 285). Еще один источник, «Чин причащения больного» (с. 215), приведен со ссылкой на перевод игумена Тимофея (Никонова).<sup>19</sup> Очень интересен комментарий к подписи Пахомия «таха ермонах». <sup>20</sup> Новый перевод заметно от-

<sup>17</sup> См. прекрасную интерпретацию этих «ошибок» в главе «Пространная редакция как исторический источник» (с. 518).

<sup>18</sup> Не могу не выразить свое огорчение тем, что публикатор отказался от намерения указать литературные источники, возможно, считая этот вопрос не до конца исследованным. Речь идет об общих чтениях с Житиями Феодора Эдесского, Саввы Освященного, Феодосия Печерского, о которых говорится в главе, посвященной поэтике Пространной редакции (с. 475—476).

<sup>19</sup> Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия Чудотворца. Написано Епифанием Премудрым: Факсимильное воспроизведение рукописной книги 1592 года. М., 2002. Кн. 2. Переизд.: Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия, чудотворца, написанное премудрейшим Епифанием. Сергиев Посад, 2010. Кн. 2. С. 60 (прим. 66).

<sup>20</sup> Гречизм «таха» использовался для подписей в греческих грамотах. Он имеет модальное значение («как бы», «типа») и является частью уничижительной формулы. Па-

личается от выполненного в 1980-е годы перевода Д. М. Буланина и М. Ф. Антоновой. Духанина действует очень осторожно, стремясь сохранить порядок слов и ту церковную лексику, которая еще используется в современном русском языке в церковной сфере.<sup>21</sup> Возникшая таким образом русская версия Жития в силу своего стилистического единообразия представляется весьма удачной.

Далее следует рассмотрение Пространной редакции на разных уровнях: с точки зрения особенностей ее поэтики, с точки зрения возможностей ее использования как лингвистического и исторического источника и, наконец, с точки зрения изучения миниатюр двух иллюминированных списков. Названные обзоры являют собой срез представлений о Житии Сергия Радонежского, сложившихся в науке к настоящему моменту, в которые автор удачно включает и собственные наблюдения.

Основным недостатком лингвистических исследований, с точки зрения Духаниной, является то, что «выводы о языке Епифаня делаются не только на материале собственно Епифаниевской части, но и на материале всей Пространной редакции»; та же ошибка характерна и для составителей исторических словарей русского языка (с. 454—455).

Подчеркну, что основные открытия автора книги находятся в области лингвистики, поэтому соответствующий раздел книги вызывает наибольший интерес. Здесь основной вывод звучит следующим образом: «Четкое противопоставление двух частей Пространной редакции в отношении использования форм перфекта ясно свидетельствует о том, что первая часть принадлежит перу Епифаня» (с. 449). Кроме того, на языковом уровне две части Пространной редакции могут быть противопоставлены по наличию морфологических сербизмов в Пахомиевской части: Духанина обнаружила «наличие такого морфологического сербизма в Пахомиевской части, как форма местного падежа ед. ч. существительных м. и ср. р. склонения на \*/\*jo с флексией -у (о необычном в нощи званию; о врученном от Бога христоименитому ти стаду; о возрасту)» (с. 451).

хотим использовать этот грецизм, хотя известны попытки перевода его на церковно-славянский, например, в подписях Феодора Симонского (с. 437).

<sup>21</sup> Близкие принципы перевода использует иеромонах Амвросий для переводов богослужебных текстов (см. об этом: *Амвросий (Тимрот), иером.* Опыт создания новых переводов литургических текстов на современный язык в свете славяно-русской переводческой традиции. Доклад на Кирилло-Мефодиевских чтениях 17 июня 2008 г. в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН // Православная энциклопедия «Азбука веры». См.: [http://azbyka.ru/bogoslužhenie/amvrosij\\_opyt\\_sozdaniya.shtml](http://azbyka.ru/bogoslužhenie/amvrosij_opyt_sozdaniya.shtml) (дата обращения: 05.03.2017)).

Исследование поэтики Пространной редакции опирается в ту же проблему, указывает автор монографии, что была характерна для лингвистических штудий: ученые не отделяли Пахомиевскую часть от Епифаниевской и в качестве Епифаниевского текста рассматривали часть Пространной редакции до рассказа о преставлении, поэтому всеми полученными на настоящий момент выводами следует пользоваться с осторожностью.

Приведу весьма существенное, на мой взгляд, заключение автора о принципах цитирования библейских текстов Епифанием Премудрым и Пахомием Сербом, к которому Духанина приходит вслед за В. М. Кириллыным. «Епифаниевским житиям свойственно обилие библейских цитат, которые играют важную роль в „плетении словес“. Это именно епифаниевская особенность, которая может быть использована как атрибутирующий признак: Пахомий Серб весьма скуп на цитаты, что хорошо видно как раз при сопоставлении двух частей Пространной редакции (в Пахомиевской части около двух десятков цитат, тогда как в Епифаниевской счет идет на сотни)» (с. 471).<sup>22</sup>

Заканчивается книга двумя приложениями — очерками жизни и творчества Епифания Премудрого и Пахомия Серба. Хочется выразить искреннюю читательскую благодарность за тщательно подобранный свод мнений по самому широкому кругу вопросов, большая часть которых не имеет однозначного решения. Попробуем внести свою малую лепту в их решение. Когда же Пахомий Серб приступил к работе над Житием Сергия? Вслед за Ключевским и Яблонским, А. В. Духанина говорит о том, что «в начале 1440-х гг. Пахомий Серб обращается к редактированию Жития Сергия Радонежского» (с. 577); «в 1440—1443 гг. Пахомий поселился в Троице-Сергиевом монастыре» (с. 572).<sup>23</sup> Этот вывод строится на основании датировки Чуда «о прозвитере и о муже, бывших в Латинских странах», которое было записано Пахомием между 1441 и 1443 годами (с. 572).

Однако следует обратить внимание на то, что Первая Пахомиевская редакция не содержала посмертных чудес, а заканчивалась рассказом о преставлении святого и По-

<sup>22</sup> Внимания заслуживает также указание двух эксплицированных в тексте Жития (в Епифаниевской части), но так и не поддающихся атрибуции цитат: «поминаше же въ сердци писание, глаголющее, яко многа въздыхания и уныния житие мира сего пльно есть» и «и другой пророкъ рече, отступите от земля и въздыдѣте на небо» (с. 471).

<sup>23</sup> Подчеркну, что вопрос о датировке Пахомиева Жития Сергия Радонежского не является для Духаниной принципиальным, его рассмотрение входит в раздел «Приложение», посвященный обзору сложившихся в науке представлений о жизни и творчестве Епифания Премудрого и Пахомия Серба.

хвалой.<sup>24</sup> «Сказание о чудесах», завершающееся чудом «о прозвигере», появляется только в Третьей редакции, поэтому началом 40-х годов XV века следует датировать составление этого Сказания и сопутствующую общую редактуру Жития. Само же Пахомиуще Житие Сергия было написано раньше. Но когда?

Самый старший список Первой Пахомиевской редакции Жития Сергия, по мнению Клосса, находится в рукописи РГБ. Ф. 304/1. Собр. Библиотеки Троице-Сергиевой лавры. № 746 на л. 209—246 об. и принадлежит руке троицкого писца Ионы.<sup>25</sup> На основании тождества филиграней Клосс датирует этот список 1438 годом.<sup>26</sup> В. А. Кучкин эту датировку оспаривает.<sup>27</sup> Нам представляется, что для решения вопроса о датировке Первой Пахомиевской редакции необходимо найти дополнительные аргументы.

Таковыми могут послужить параллельные чтения между написанными Пахомием Житиями Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского. Недавно нам удалось доказать, что редакция Жития Варлаама, читающаяся в Минее 1438 года, создана Пахомием Сербом.<sup>28</sup> Сравнивая Житие Варлаама последовательно со всеми редакциями Жития Сергия Радонежского, мы обнаруживаем самое большое количество общих чтений именно с Первой редакцией. И это не только формулы («старец многолѣтних разумом превзиде», «никим же взбраняем», «не любя славы члвчѣчьския»), но и элементы описания чуда («чудо покрыти», «ниже умре, ниже живе»). При последующем редактировании Жития Сергия Радонежского в 40-е годы XV века эти совпадения пропадают. Значит, скорее всего, работа над Первой редакцией Жития Сергия Радонежского проводилась вскоре после редактирования Жития Варлаама Хутынского — этим и объясняются сходства в описании. Обратим внимание и еще на одно наблюдение. В рассказе о преставлении Варлаама Хутынского прощание с братией завершается цитатой-формулой (Лк. 23: 46): «...конечное слово изрекъ: „Господи, в руцѣ Твои предаю духъ мой“». Интересно, что из всех Пахомиевских текстов этот фрагмент находит параллель только с Первой редакцией Жития Сергия Радонежского: «Причастивъ же ся пречистыхъ тайнъ, конечное же слово изрек: „Господи, в руцѣ Твои предаю

*духъ мой*»». Уже во Второй редакции Жития Сергия Радонежского Пахомием заменяет эти слова описанием причащения святого перед преставлением; также обстоит дело и в последующих редакциях, в том числе в Проложной, и в других преподобических житиях, написанных этим автором: Кирилла Белозерского, Никона Радонежского, Саввы Вишерского. Все это дает нам основания предполагать, что Пахомием оказался в Троице-Сергиевом монастыре и приступил к созданию своей редакции Жития Сергия еще в конце 30-х годов XV века.<sup>29</sup>

Позволю себе не согласиться еще с одним незначительным положением очерка о Пахомии Сербе в рецензируемом издании. Духанина пишет: «Многие сочинения Пахомия представляют собой редакции уже существующих произведений, созданные путем небольшой переработки (сокращения одних мест и расширения других), мозаичного соединения или просто дополнений предисловием и заключением чужих произведений» (с. 575). Подобная характеристика может быть использована для описания процесса саморедктирования, свойственного Пахомию (как справедливо замечает автор, он создавал обычно несколько редакций своих произведений), но не для его работы с «чужими» текстами — Житиями Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского. Как хорошо видно из Пахомиевской «переработки» Епифаниева Жития Сергия, изменения, вносимые редактором в текст чужого произведения, являются очень серьезными, входящими в противоречие с первоначальным замыслом Епифания. Такой же серьезной переработке подверглась и Первая редакция Жития Варлаама Хутынского.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> К. А. Аверьянов еще точнее датирует создание первого варианта Пахомиевского Жития Сергия концом июля — сентябрем 1439 года. Его построения основываются на предположении о том, что монастырские власти готовили текст Жития для приезда великого князя Василия Темного на богомолье в сентябре 1439 года. Побудительным мотивом для приезда князя должно было послужить, по мнению Аверьянова, избавление от татарской рати во главе с царем Махмутом, которое совершилось в дни, близкие дню памяти обретения мощей Сергия — 5 июля (Аверьянов К. А. Канонизация Сергия Радонежского и начало Варницкого монастыря // Преподобный Сергий, «родом ростовец...»: Материалы конференции. Ростов, 2014. С. 83). Нам представляется такое предположение возможным, но совсем не обязательным.

<sup>30</sup> См. об этом: Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII — первой трети XV веков. М., 2009. С. 197—198; Карбасова Т. Б. Цикл текстов, посвященных Варлааму Хутынскому, в Минее Софийского собрания № 191. С. 10—29.

<sup>24</sup> Клосс Б. М. Избр. труды. Т. 1. С. 374—375.

<sup>25</sup> Там же. С. 161.

<sup>26</sup> Там же.

<sup>27</sup> Кучкин В. А. О древнейшем списке Жития Сергия Радонежского // Вестник общества исследователей Древней Руси за 2002—2003 гг. М., 2007. С. 12.

<sup>28</sup> См. об этом: Карбасова Т. Б. Цикл текстов, посвященных Варлааму Хутынскому, в Минее Софийского собрания № 191 // Очерки феодальной России. М., 2016. С. 3—57.

Серьезному и очень нужному научному изданию, к сожалению, не хватает важных вспомогательных разделов — именного указателя и указателя шифров рукописей, что заставляет задуматься о жанре издания. Больше всего оно похоже на энциклопедию, полный свод того, что на сегодняшний день известно не только о Пространной редакции,

но — шире — в целом о Житии Сергия Радонежского, — при этом энциклопедии, составленной одним автором. Будем надеяться, что, как и всякая научная энциклопедия, эта книга обречена привлечь внимание исследователей и прожить долгую жизнь; тщательно подготовленное издание Жития тому пору-

© В. В. Головин

## АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ\*

Трехтомник, подготовленный Евгенией Оскаровной Путиловой, в настоящее время представляет собой наиболее полный свод русской детской поэзии с XVII до конца XX века. Настоящая антология продолжает и существенно дополняет три предыдущие книги «Русская поэзия детям», вышедшие в 1989 и 1997 (двухтомник) годах, также подготовленные Е. О. Путиловой.

Благодаря данной книге во многом изменилась картина репрезентации и восприятия отечественной детской поэзии, которая до нее была довольно фрагментарной, — в культурной памяти оставались только классические и хрестоматийные тексты. Близкой к этому была практика публикаций. Поэтому издание такого поэтического свода возвращает детскую литературу в литературный процесс, открывая новые перспективы ее исследования.

Издание дает возможность полноценно рассмотреть историю русской детской поэзии за четыре столетия: показывает доминантные сюжеты, мотивы и топосы, выявляет периоды поэтических «взрывов», представляет широкий исторический диапазон смысловых и дискурсивных новаций.

Подобная панорамность обладает исключительной значимостью, поскольку детская поэзия — поэзия специфическая, прежде всего по особой привязанности к своему адресату. Статус этого адресата, его читательские надежды и ожидания далеко не всегда определялись им самим — его конструировали так называемые экспертные сообщества, они по преимуществу и определяли, «что нужно и кто хорош». Поэтому в диапазоне детского

чтения остается понятие «ядра», т. е. межпоколенческого статического читательского репертуара. И в этом, в том числе, есть значение рецензируемой книги, поскольку отчетливо ощущаются как содержательные, так и поэтические предпочтения авторов и критиков детской поэзии той или иной эпохи.

Достоинство данного издания — и в возвращении в культурную память массы забытых имен литераторов, творчество которых было известно лишь узким специалистам по детской литературе. Это касается прежде всего начального периода отечественной детской поэзии; здесь составителю пришлось решать очень трудную концептуальную задачу: определить и выбрать «детское» — по назначению, сюжетно-жанровому репертуару, стилистике — из массива поэтических текстов второй половины XVIII — первой четверти XIX века.

В корпусе поэтических произведений для детей XIX века представлено значительное число забытых детских поэтов и их произведений, в том числе известных нам только по одному хрестоматийному тексту (например, по «Раз-два-три-четыре-пять...» Ф. Миллера, «Птички под моим окошком» Э. Эльген, «Дети! В школу собирайтесь» Л. Модзалевского, «А, попалась птичка, стой!» А. Пчельниковой, «В лесу родилась Елочка» Р. Кудашевой и мн. др.).

В значительном числе случаев мы впервые после вековых и почти вековых перерывов имеем дело с исходными авторскими текстами, а не искаженными хрестоматийными публикациями, педагогическими эдиционными практиками и фольклоризацией. Как убедительно показала Путилова, детские поэтические опыты данных авторов отнюдь не ограничиваются одним произведением, более того, многие известные детские прозаики пробовали свое перо и в поэтическом творчестве (например, Л. Чарская). Особое значение имеет близкая к исчерпывающей публикации детских стихотворений поэтов Серебряного века (например, 47 стихотворений для детей Бальмонта, 40 — Саши Черного).

Валентин Вадимович Головин — ведущий научный сотрудник, руководитель Центра исследований детской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

\* Путилова Е. О. Четыре века русской поэзии детям: В 3 т. СПб.: Лики России, 2013. Т. 1: 784 с.; Т. 2: 720 с.; Т. 3: 672 с.

В издании очевидно стремление к академической форме публикации: внесено множество содержательных новаций в историко-литературный комментарий (например, о мистификациях М. Чехова); предложен целый ряд интереснейших атрибуций и исправлены ошибочные (см., например, комментарии к стихотворениям А. Пчельниковой и Л. Модзалевского).

Хотя большинство произведений второго тома, в котором представлена отечественная поэзия 20—30-х годов XX столетия, было известно, тем не менее он вносит существенные коррективы в процесс осмысления истории русской детской поэзии. Представляются весьма интересными не только сами поэтические искания и часто эпатирующие тексты авторов разных литературных групп и направлений (например, колыбельная М. П. Герасимова с индустриально-пролетарским обращением к ребенку «Спи, мой дизель...»), но и социальные, содержательные и поэтические «трансформации» авторов, имеющих и дореволюционную историю публикаций своих детских стихов (В. Князев, М. Пожарова).

Составитель антологии публикует стихотворения, новаторские не только в содержании и ритмических конструкциях, но и крайне редкие в истории детской литературы поэтические «драмы», такие как, например, «Соборный след» Э. Вагрицкого. Следует отметить и публикацию множества поэтических текстов, которые напрямую связаны с идеологическим климатом эпохи («Слету» М. Светлова, «Шпион» С. Михалкова), и наоборот, явно оппозиционных по отношению к господствующей идеологии лирических стихотворений для детей.

Особое значение имеет третий том, представляющий русскую детскую поэзию с 1941 года до конца XX века. Это картина «живой» и во многом современной истории русской поэзии, с новой и оригинальной формой историко-литературного комментария. Разумеется, в нем присутствуют сведения о первой публикации и варианты авторских изменений. Но комментарии по множестве случаев предвараются автобиографией самого писателя, в ряде случаев — очерками других литераторов, учеников, друзей. С одной стороны, это можно принять за отступление от академической традиции. Но, с другой стороны, такой, не-классический комментарий имеет исключительно важное значение для истории детской литературы: тексты автобиографий (иных авторов, к сожалению, уже нет в живых — Г. Саггира, А. Крестинского) позволяют заглянуть внутрь «литературной жизни» эпохи, обозначают и оценивают традиции, направления и школы с точки зрения самих участников литературного процесса. Более того, при всей своей природе артефакта (это в большей степени тексты, чем метатексты) автобиографии изобилуют множеством знаковых и зна-

чимых деталей, отчетливо проявляющих специфику творчества автора. В качестве примера можно привести как саму автобиографию М. Яснова, так и его интереснейшие очерки о В. Берестове и О. Григорьеве с оригинальными филологическими наблюдениями.

Итак, можно повторить: перед нами первая и весьма удачная попытка создания свода русской детской поэзии. А свод, по своей жанровой природе, необходимым образом вызывает размышления о концептуальных основаниях его построения. Заглавие многотомника — «Четыре века русской поэзии детям». Но даже если принять за поэзию поучительные вирши (11 текстов), которыми вместе с образцами детского фольклора (86 текстов) открывается книга, XVIII век имеет довольно солидную лауну — с 1710 по 1774 год. И здесь неизбежен вопрос о начале русской детской поэзии как таковой, в современном понимании термина. С одной стороны, представление поучительных виршей показывает связь учебной книги, педагогики и детской словесности, которая будет присутствовать в ней как «родовой признак» во всем последующем развитии и часто играть негативную роль, сдерживая многие авторские новации. Формально это «поэзия для детей» — по адресату, обозначенному в заглавии, содержанию (наставление) и отчасти поэтической форме. Но является ли эта поэзия собственно детской литературой? На наш взгляд, детской поэзией можно считать лишь произведения начиная с последней трети XVIII века, когда в русской детской литературе появляется и обнаруживается отчетливая связь с общепризнанными образцами европейской поэзии для детей. Но и здесь необходимы определенные уточнения. Путилова постулирует свой подход в предисловии: «Детская литература — и проза, и поэзия, — гармонично сочетает и в себе два понятия: круг детского чтения и собственно литература для детей» (т. 1, с. 3). Мы не можем с этим полностью согласиться по ряду причин, особенно с эпитетом «гармонично». Если говорить точно, то дети, разумеется, читали поэтические тексты и в XVII, и в первой половине XVIII века, эти тексты им адресовались, но самого института «детской поэзии» (и «детской литературы») как такового еще не существовало. Поэтому действительно трудно найти адресованные детям стихотворения первых двух третей XVIII века, и можно объяснить такой полувекровой пропуск, хотя книги для детей в это время были, например, продолжающие дидактическую поэтическую традицию «Таблицы для детей, служащая к познанию главных добродетелей» И. Ф. Богдановича; сборники басен для детей. Последние активно включал и журнал «Полезное с приятным» (1869 год, двенадцать выпусков), который издавали для учеников Сухопутного шляхетного кадетского корпуса И. А. Тейльс и И. Ф. Румянцев. Бо-

лее того, этот журнал уже активно ориентировался на начинающуюся европейскую традицию детской литературы.

Первые стихи, до «абсолютно детского» А. С. Шишкова, были, скорее всего, выбраны по признаку адресации детям в названии и содержании («Письмо к девицам...» А. П. Сумарокова, «Послание к российским питомцам...» Я. Б. Княжнина, «К дитяти» М. М. Хераскова). Но они скорее наследуют поучительную традицию или традицию гражданского наставления, чем являют собой образцы детской поэзии. Одни из первых стихотворений Н. М. Карамзина, опубликованные в новиковском «Детском чтении для сердца и разума», стихотворениями для детей можно назвать лишь условно — исключительно по читательскому назначению издания. По логике составителя, они могут быть включены, если ориентироваться на феномен «детского чтения». Но почему тогда отсутствуют басни? И почему тогда, например, следуя логике составителя, не включать в первый том торжественную поэзию на рождение порфиородных младенцев (адресат в заглавии), в содержании которых, кстати, имеется, так же как и в представленных в антологии произведениях, отчетливое гражданское наставление детям (например, оды М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина). На наш взгляд, ответ на вопросы: когда началась отечественная детская поэзия и каковы ее первые опыты, — дает публикация (после огромного перерыва в отечественной издательской практике) стихотворений А. С. Шишкова.

Во-первых, в них явно чувствуется генетическая связь с европейской детской литературной традицией. Во-вторых, в них появились мотивы, которые станут чуть ли не самыми частотными в последующей двухвекковой русской детской поэзии: детского конфликта, детского горя и счастья, насмешки над незадачливым героем, детских забав — игр, купаний, катаний и пр. В-третьих, здесь уже присутствует двойная адресация произведения: одновременно и взрослым, и детям. Заметим, что впоследствии будут наследоваться и ритмические конструкции, впервые предложенные А. С. Шишковым. В ряде его произведений для детей явно чувствуется считалочная поэтика, что, возможно, обосновывает и «фольклорное введение» к книге (86 текстов детского фольклора: от колыбельных до дразнилок).

На первый взгляд, состав сборника был бы более обоснован, если составитель отказался от всех стихотворений, не отвечающих трем критериям: точно предначиненные автором для детей, напечатанные в книге для детского читателя или вошедшие в круг детского чтения благодаря поздней хрестоматийной традиции. Но, во-первых, автор-составитель в большинстве случаев следует этому принципу. А во-вторых, пришлось бы включать изрядное множество «взрослых» стихотворений — от И. А. Кры-

лова, А. С. Пушкина до Н. А. Некрасова — и тогда бы издание потеряло претензию на статус свода.

Тем не менее о некотором несогласии с составителем хотелось бы упомянуть. Есть стихотворения, которые не отвечают ни одному из этих принципов (например, поэзия Фета), и если говорить о многотомнике как презентации отечественной детской поэзии, то, на наш взгляд, ряд авторов и периодов представлен несколько не «репрезентативно». Б. Федоров — разумеется, редкий графоман, но опубликовать в данном издании только два стихотворения, может, самого плодотворного детского поэта (из них одно — «подражание немецкому»; к сожалению, в обширнейшем комментарии не указан известный источник), на наш взгляд, совершенно недостаточно. Во-первых, два выбранных стихотворения отнюдь не иллюстрируют его резонерскую поэзию. Во-вторых, его поэзия, во многом по причине негативного внимания к нему В. Г. Белинского, обусловила начало критики детской литературы.

Если поэзия Серебряного века безукоризненно представлена всеми примерами («образцами»): от дидактики и лирики («Задуманное слово» до мифопоэтических опытов «Тропинки» и «гротескно-карнавальных» стихов «Галченка», — то XX век имеет очевидные и не совсем понятные лакуны. Остается вопрос о включении в антологию детской поэзии русской эмиграции. Видимо, в силу принципов построения издания, в него не вошли все послевоенные стихи К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова и ряда других поэтов. Есть стихотворения о войне, но само военное поэтическое творчество для детей представлено лишь одним стихотворением А. Твардовского. А поэзия для детей во время Великой Отечественной войны была, и она имела свою содержательную специфику, ярко проявившуюся, например, в «Балладе о мальчике, оставшемся неизвестным» П. Антокольского, «„Не» и „Ни"» С. Маршака, цикле А. Барто «Я с войны» и книге З. Александровой «Островок на Каме».

Во то же время рецензент понимает, что автор-составитель такой антологии неизбежно стоял перед ситуацией выбора и что, очевидно, строгая репрезентация только «образцов» перевела бы издание исключительно в «ученый мир». Книга готовилась десятилетиями, автору пришлось написать две тысячи комментариев, три вступительных и сотни историко-литературных введений к комментариям. При таком объеме некоторых ошибок как в публикациях, так и в фактографии не избежать, но их количество ничтожно по сравнению с исследовательскими открытиями. Однако два своеобразных дополнения к комментариям хотелось бы сделать. Во втором томе опубликованы два стихотворения М. А. Матусовского (с. 603). Одно — «Скороговорка для малышей», напи-



санное в соавторстве с М. Алигер, а второе — известная во многом благодаря музыке В. Шаинского — «Запечочка для малышей»: «Раз ступенька, два ступенька — / Будет лесенка. / Слово к слову ставь складненько / Будет песенка...». К сожалению, не указано, что и у второго стихотворения есть «соавтор», скрытый в первом издании (под названием «Присказка» с другой первой строкой: «За ступенькою ступенька...» в 1910 году) — О. Белявская. Двадцать стихотворений Белявской, известного автора 1880—1910 годов, печатавшейся в «Детских чтениях» и «Тропинке», опубликованы в первом томе антологии, и среди них нет «Присказки», что никак не прокомментировано составителем. Но такой «источник» следует в будущем указывать в комментариях к стихотворению Матусовского. Аналогичная история с «Лесной академией» С. Михалкова (ее нет в на-

стоящем издании), но в первом томе есть «первоисточник» — стихотворение К. Льдова «Жук-учитель». После серии статей А. Блюма<sup>1</sup> С. Михалков добавил подзаголовок: «по старинной детской песенке». Впрочем, как и Матусовский, который в послевоенных изданиях начинает упоминать «первоисточник».

Наша критика носит характер размышлений, тем более что касается она, во многом, ряда дискуссионных тем. Две тысячи детских стихотворений с комментариями уже лежат перед взором читателя, и то, что это издание является уникальным явлением культуры, не вызывает никакого сомнения.

<sup>1</sup> См., например: *Блюм А. В.* Два жука в русской поэзии. Опыт системного прочтения двух стихотворений // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 353—356.

© А. С. Силина

## ПЕРЕИЗДАНИЕ «ПРИМЕЧАНИЙ» Н. С. ТИХОНРАВОВА К МАЛОИЗВЕСТНЫМ ПЬЕСАМ XVIII ВЕКА\*

Среди научных интересов Николая Саввича Тихонравова (1832—1893) — выдающегося филолога, историка русской литературы, профессора Московского университета, академика — особое место занимала старопечатная и старинная рукописная литература. Древности привлекали его внимание не только как исследователя, но и как собирателя книг. По иронии судьбы один из трудов самого Н. С. Тихонравова еще при жизни автора стал библиографической редкостью, вдохновив на поиски многие поколения ученых и библиофилов. В 2016 году, спустя почти 150 лет с момента первоначальной публикации, «Примечания ко второму тому „Русских драматических произведений 1672—1725 годов“», будучи переизданными, стали доступны широкому читателю.

«Примечания» дополняют двухтомный сборник «Русские драматические произведения 1672—1725 годов», явившийся результатом разысканий Тихонравова в области рукописных и старопечатных материалов. Издание старинной русской драмы планиро-

валось приурочить к 200-летию основания русского театра в 1872 году, однако оно было отложено. Тихонравов задерживал возвращение корректуры, а сам издатель, Кожанчиков, на тот момент был близок к банкротству. В 1874 году были отпечатаны два тома с произведений, и началась печать «Примечаний ко второму тому», но ее прервало окончательное разорение Кожанчикова. Все имущество издателя, в том числе напечатанные материалы, было конфисковано, и Тихонравов получил часть тиража только в 1883 году, после смерти Кожанчикова и прекращения дела о банкротстве.<sup>1</sup> «Русские драматические произведения 1672—1725 годов» были выпущены в продажу без неоконченных печатанием «Примечаний». Из напечатанных листов Тихонравов составил всего несколько экземпляров «Примечаний», распространил их, и они сразу же стали библиографической редкостью. По замечанию П. Н. Беркова, «Примечаний» не было в собраниях заметных библиофилов — ни в библиотеке Д. В. Ульянинского, ни у В. В. Протопопова.<sup>2</sup> В предисловии к переизданию книги уточняется, что ее экземпляр отсутствовал и в коллекции А. А. Бахрушина (с. [2]).

Алина Сергеевна Силина — аспирантка Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

\* *Тихонравов Н. С.* Примечания ко второму тому «Русских драматических произведений 1672—1725 годов»: Репр. изд. / Науч. ред. Л. М. Старикова; [Вступ. статья В. П. Нечаева]. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. 344 с.

<sup>1</sup> Об этом см., например, в предисловии В. П. Нечаева к переизданию «Примечаний» (С. [1—2]).

<sup>2</sup> *Берков П. Н.* О людях и книгах (из записок кнголюба). М., 1965. С. 17.

Показательно, что нескольким экземплярам «Примечаний» удалось внести вклад в развитие истории русской литературы и театра и повлиять на жизни людей. Беркову было известно о судьбе по крайней мере трех экземпляров в XIX веке: один был у самого Тихонравова, другой он послал своему ученику Александру Николаевичу Веселовскому, третий приобрел на рынке П. О. Морозов.<sup>3</sup> Н. К. Гудзий указывает также, что один экземпляр был в наличии у П. А. Ефремова.<sup>4</sup> С «Примечаниями» связана история из жизни Морозова. В 1888 году он воспользовался книгой при написании труда «Очерки из истории русской драмы XVII—XVIII столетий», не сославшись на Тихонравова, был обвинен в плагиате и ушел из Петербургского университета. Через год он переиздал работу под названием «История русского театра до половины XVIII столетия» с отсылками на Тихонравова. Берков интересовался историей экземпляров и в XX веке. Так, экземпляр Морозова перешел к В. Н. Всеволодскому-Гернгроссу, а местонахождение книг Тихонравова и Веселовского установить не удалось. Сохранились экземпляры в Библиотеке Академии наук, в Российской национальной библиотеке, у В. П. Адриановой-Перетц и у самого Беркова.<sup>5</sup> Также экземпляр «Примечаний» хранится в Российской государственной библиотеке. Репринтное переиздание сделано по экземпляру Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей. До 1965 года он принадлежал А. Г. Мовшensonу. Таким образом, многие экземпляры «Примечаний» находились в распоряжении видных исследователей русской литературы XVIII века и русского театра, и тем самым, думается, вопреки малому тиражу, «Примечания» оказались встроены в историю науки.

По стечению обстоятельств пути «Русских драматических произведений 1672—1725 годов» и «Примечаний» к ним как изданий разошлись, но по замыслу Тихонравова они составляют единый труд. В первый том сборника драм вошли 12 пьес XVII и начала XVIII века, предварающихся статьей Тихонравова «Репертуар русского театра в первые пятьдесят лет его существования», хронологическим перечнем произведений и топографическим указателем к пьесам. Во второй том были помещены 16 произведений первой

четверти XVIII века, включая 7 (I—V, XII, XIV) из репертуара Славяно-греко-латинской академии в виде синопсисов — по материалам программ для зрителей. «Примечания» по пагинации страниц продолжают второй сборник пьес, т. е., будучи дорецензанными, составили бы с произведениями единый том. Они представляют собой неполный, — по-видимому, корректурный или пробный, — вариант печати. «Примечания» открываются вступлением Тихонравова, затем по порядку расположения пьес во втором томе идут комментарии к ним. Примечания прерываются на XI пьесе; разбор последней, трагедокомедии «Владимир» Феофана Прокоповича, по-видимому, не дорецензаны. Далее под новой пагинацией страниц римскими цифрами помещен словарь к произведениям обоих томов и приложение с двумя пьесами, «Стефанотокос» с примечанием и «Мудрость предвечная», обрывающаяся на 9-м явлении. Следует полагать, что Тихонравов подготовил примечания и к оставшимся пьесам второго тома, и к произведениям первого, но их не успели набрать в типографии: ученый ссылается на примечания к этим пьесам в хронологическом перечне произведений в первом томе и в тексте опубликованных примечаний. Также возможно, что примечания к первому тому напечатали в небольшом количестве, и их экземпляры были утрачены. Поскольку «Примечания ко второму тому» не получили полного тиража, в 1879 году Тихонравов опубликовал с минимальной правкой анализ пьесы «Владимир» в «Журнале Министерства народного просвещения»,<sup>6</sup> предвадив его размышлениями о польской школьной драме из введения к «Примечаниям» (с. 499—505).

Репринтное переиздание «Примечаний ко второму тому» стало важным событием для историков русской литературы XVIII века и исследователей театра. «Примечания ко второму тому» особенно заслуживали переиздания: их ценность заключалась не только в их редкости, но и собственно в примечаниях Тихонравова, представляющих собой анализ малоизученных пьес XVIII века, по объему и обстоятельности близкий к самостоятельным исследованиям, образец культурно-исторического метода исследования литературы. Повторный выпуск работы Тихонравова тиражом 150 экземпляров должным образом вводит ее в научный оборот.

<sup>3</sup> Берков П. Н. О людях и книгах. С. 17.

<sup>4</sup> Гудзий Н. К. Николай Саввич Тихонравов. М., 1956. С. 35.

<sup>5</sup> Берков П. Н. О людях и книгах. С. 17.

<sup>6</sup> Тихонравов Н. С. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» // Журнал Министерства народного просвещения. Май. 1879. СПб. С. 52—96.

## ПИСЬМА И. А. ГОНЧАРОВА К А. Ф. КОНИ В НЕМЕЦКОМ ПЕРЕВОДЕ\*

Издание в немецком переводе перепи-сано русским писателем — предприятие риско-ванное. Конечно, речь идет об имени, кото-рое в некоторой степени должно быть извест-но немецкой читающей публике; все-таки И. А. Гончаров — автор романа «Обломов», одного из произведений всемирного значе-ния, произведения, которое, как бы его ни истолковывали, добавляет нечто очень суще-ственное в мировой образ России и русского человека.

Тем не менее письмо — это все же не ли-тературное произведение в прямом смысле слова. Кроме писем, например, И. В. Гете, есть еще Гете — поэт, прозаик, драматург, создатель «Фауста», кроме писем Т. Манна есть еще «Будденброки», «Волшебная гора» и много чего иного. Зачем читателю загру-жать память еще и чтением их писем? Не до-статочно ли их литературного наследия для посмертной славы? Другое дело литературо-веды; эпистолярный материал — это их хлеб, однако и тут имеется загвоздка: зачем немец-кому слависту русские письма в немецком переводе, если он может и обязан читать их в подлиннике?

На эти сомнения отвечают два предис-ловия, предваряющие изданные в Германии письма И. А. Гончарова к его другу, знамени-тому юристу А. Ф. Кони 1879—1891 годов (90 писем). В книгу также включены шесть писем 1884 года к его фактической воспитан-нице Александре (Сане) Трейгут, некролог Гончарова, написанный М. М. Стасюлеви-чем, и воспоминания Кони о Гончарове. От-крывается том переводом статьи Гончарова «Нарушение воли» (1888), сочетание кото-рой с публикацией писем создает своего рода напряженное поле для читательского вос-приятия, поскольку писатель, как известно, был против издания своей переписки.

Оба предисловия заслуживают внима-ния, так как поясняют немецкому читателю значение писем для понимания такого круп-ного явления русской и мировой культуры, как Гончаров.

Второе предисловие принадлежит перу переводчицы и комментатора писем Ве-

ры Бишицкой (S. 17—23). Рассчитанное на «широкого читателя», предисловие знакомит его с некоторыми подробностями жизни ав-тора писем, объясняя этому читателю эписто-лярную манеру Гончарова, характер его от-ношений с адресатами, душевные импульсы, побуждавшие его поднимать в переписке те или иные литературные или житейские темы. Предисловие переводчицы восприни-мается в единстве с ее очень добросовестным комментарием.

Остановимся на первом предисловии, которое носит заглавие «Вводное сопроводи-тельное слово» («Einführendes Geleitwort», S. 7—16). Его автор — профессор Петер Тир-ген, выдающийся немецкий славист, знаток русской классической литературы. Он игра-ет ведущую роль в серии «Bausteine zur Sla-vischen Philologie und Kulturgeschichte», в рамках которой издана обсуждаемая книга. Тирген много лет занимается наследием Гон-чарова, и, как можно предположить, том пи-сем вышел в свет не без его участия.

Тирген характеризует Гончарова как «страстного создателя писем», что не было редкостью для людей XIX века. Когда-то А. И. Тургенев писал о своей «эпистолярной скрибобомани» (цит. на S. 10). Для Гончарова это также был немаловажный жанр, допол-няющий его творчество. «Естественно, писал он и самые обычные письма бытового содер-жания. Однако многие из его посланий ста-новились подлинными сочинениями, состо-явшими из пронумерованных главок, допол-нений и постскриптумов. (...) Если адресат задерживался с ответом или отвечал лишь кратко, Гончаров иронически-гневно жало-вался на его столь долгое молчание или пи-сал, что ему приходится довольствоваться „гомеопатическими дозами“». Тирген обра-щает наше внимание на то, что, как прави-ло, «во множестве писем мы видим в Гонча-рове вдумчивого, заботливого, вниматель-ного советчика и знатока жизни, движимого любовью к ближнему и верой в идеалы» (S. 11—12). Ничего не было в писателе от об-ломовской апатии, «вместо нее Гончаров ра-товал за идеалы добра, истины и красоты и за христианские добродетели — веру, надежду и любовь (1-е коринфянам, гл. 13, стих 13). Это и есть „борьба за существование“. Нет ничего выше „стремления к идеалу“ и „красоты человеческого дела“». И потому задача художника искусство психологического изображения «совершенствовать человека» (S. 13). «Не слова о хотении (Обломов), — поясняет Тирген, — но реальные дела (Штольц) обеспечивают моральное достоинство. Как едва ли какой-нибудь иной русский классик

Ростислав Юрьевич Данилевский — главный научный сотрудник Института рус-ской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

\* *Gončarov Ivan A. Briefe an Anatolij F. Koni und andere Materialien / Ausgewählt, übersetzt und kommentiert von Vera Bischtzky. Mit einem Geleitwort von Peter Thiergen. Köln; Weimar; Wien: Böhlau-Verlag, 2016. 268 S. (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B. Bd 29.)*

начиная с XVIII в., Гончаров интенсивно занимался вопросом о „назначении человека” и воплотил его в своих текстах. Термин „человеческое назначение”, так же как понятие „гуманности, человечности” принадлежали к его главным морально-этическим принципам» (S. 13—14).

Рассматривая русско-немецкую традицию воплощения гуманистического слова в дело и отражение этой традиции человеколюбия в литературе, Тирген проводит линию от Гончарова к Кони, от него к Чехову и к знаменитому московскому тюремному доктору Ф. П. Гаазу, а также к писавшим об этом альтруисте Л. Копелеву и Г. Беллю (S. 15). Наверное, эту линию можно было бы продолжить в обе стороны, так как гуманизм Гончарова вписывается в традицию общеевропейского деятельного гуманизма, которая не иссякла и по сию пору.

Письма Гончарова, с точки зрения Тиргена, — это своего рода ответ на современное пренебрежительное отношение к рукописному письму, замененному электронными средствами связи. «Письма были „рукотворны-

ми памятниками”, т. е. в прямом смысле „аутентичными” письменными свидетельствами. Каждое письмо — оригинальное произведение», — напоминает автор предисловия (S. 9).

Эта похвала «бумажному» письму как таковому будет, очевидно, бесполезной для нынешнего немецкого читателя, тем более что она подкреплена такими замечательными аргументами, как письма Гончарова. Однако культурное значение обсуждаемого издания много шире.

Попробуем ответить на вопросы, поставленные нами в начале рецензии. Благодаря отличному переводу его писем, комментариев, приложенной библиографии, но в первую очередь благодаря вдумчивым предисловиям Тиргена и Бишицкой фигура автора романа «Обломов» (а для европейской публики он в первую очередь, если не единственно, создатель именно этого образа) предстает многогранной и живой, убеждая читателей в крупномасштабности явления русской культуры, имя которому И. А. Гончаров.

## МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧИНЫ И МУЗЫ (ПИСАТЕЛИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ)»

С 10 по 12 октября 2016 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Всероссийском музее А. С. Пушкина при финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-04-14013) прошла Международная научная конференция «Чины и музы (писатели на государственной службе)», посвященная проблемам, связанным с сочетанием творческой и служебной деятельности русских писателей XVIII—XIX веков. За три дня работы конференции было прочитано и обсуждено 44 доклада.

Участников научного форума приветствовали директор Пушкинского Дома В. Е. Багно и директор Всероссийского музея А. С. Пушкина С. М. Некрасов.

Научную программу открыла Н. Г. Патрушева (Санкт-Петербург). В докладе «Литераторы-чиновники цензурного ведомства (вторая половина XIX — начало XX века)» были приведены многочисленные статистические данные, в частности сведения о том, что писатели, поэты, литературные критики составляли примерно десятую часть от всех чиновников цензурного ведомства. Исследование служебных документов, мемуаров и переписки позволило определить репутацию литераторов-цензоров и установить причины выбора столь непопулярной в общественном мнении профессии: стабильный доход, служебные привилегии и т. д.

С. А. Фомичев (Санкт-Петербург) в сообщении «Служебные злключения поэта, сказочника, писателя Владимира Даля» обратил внимание на широкий круг интересов создателя знаменитого словаря, а также отметил, что сатирическое изображение чиновничьих нравов стало причиной отлучения Даля от печати, вследствие чего он обратился к лексикографии.

В докладе «Литературные ниши в России в первой половине XIX века» А. И. Рейтблат (Москва) предложил социологический подход к теме конференции. По мнению ученого, русская литература второй половины XVIII века (включая журналистские, исторические, этнографические, мемуарные, педагогические и т. п. публикации) рассматривалась современниками как служба государству, а издательская деятельность нередко спонсировалась правительством. Автономизация беллетристики в начале XIX века при-

вела к превращению писательства в частное занятие. Многие писатели-дворяне были вынуждены занять своеобразную «нишу» и служить на должностях, так или иначе связанных с литературой, получая стабильный доход и повышая социальный статус литератора.

Обзору девяти служебных документов, составленных и подписанных Н. С. Лесковым, было посвящено сообщение М. А. Кучерской (Москва) «Столоначальник Лесков (По материалам ЦГИА Украины)». Документы содержат важные биографические сведения (в частности, уточняют дату рождения О. В. Смирновой, первой жены Н. С. Лескова), а также позволяют подробнее реконструировать период службы писателя в рекрутском присутствии Киева.

В завершение утреннего заседания куратор выставки П. В. Бекедин (Санкт-Петербург) пригласил гостей и участников конференции осмотреть экспозицию «Чины и музы. Из фондов Литературного музея ИРЛИ».

А. Г. Готовцева (Москва) продолжила работу первого дня конференции докладом «Поэт не на службе: об одном французском источнике послания А. С. Пушкина „Орлову“». В данном стихотворении, отразившем желание поэта поступить на военную службу в 1819 году, обнаруживаются мотивы 2-го эпода Горация, 1 и 10 элегии Тибулла, и других античных текстов. Кроме того, в послании просматриваются отсылки к басне Ж.-Б. Грекура «Отшельник и Фортуна». Обращение русских поэтов к произведению Грекура, как правило, было связано с отпуском или отставкой, с размышлениями о службе и не-службе.

Проблему рецепции личности писателя-чиновника затронул С. В. Денисенко (Санкт-Петербург) в докладе «„Служебное положение в личных целях“? Театральный чиновник князь А. А. Шаховской». Проведенное исследование показало, что мнение современников о талантливом комедиографе было предвзятым, а обвинения в служебных злоупотреблениях необоснованными. На отношение к драматургу мог повлиять консерватизм Шаховского, а также род его служебной деятельности.

Л. Е. Бушканец (Казань) в докладе «Самооправдание чиновника: чиновная система

ценностей в творчестве В. И. Панаева» проанализировала тип русского культурного чиновника XIX века, связанный с периодом наплыва в столицу молодых дворян из провинции. Многие из них уделляли время не только службе, но и сочинительству, что помогало выдвинуться, обратиться на себя внимание и сделать карьеру. Творчество Панаева, для которого характерны выбор прозаического жанра идиллии, «удобного» для создания портрета идеального чиновника, и тонкое понимание человеческих слабостей, возвращенное служебными интригами, — яркий образец воплощения чиновной системы ценностей.

К теме «Чиновники и поэты: русская поэзия 1830-х гг.» обратилась С. А. Степина (Санкт-Петербург). Она рассмотрела эволюцию самоидентификации автора в русской поэзии конца 1820-х — 1830-х годов. Благодаря смене устоявшейся поэтической системы лирический текст невольно стал в читательском сознании коррелировать с биографией автора. Исследовательница проанализировала несколько типов такой корреляции.

В докладе Т. Н. Степанищевой (Эстония) «П. А. Вяземский на службе: поэт и „действующий гражданин“» был представлен обзор служебной деятельности Вяземского. По мнению поэта, русские писатели стали причастны к государственному служению в эпоху Екатерины, а роли литератора и «действующего гражданина» не исключали одна другой. Вяземский неоднократно предлагал себя в качестве «переводчика», истолкователя правительственной политики. Стремление стать посредником между властью и обществом ставило его в позицию «чужого» по отношению к обеим сторонам предлагаемого диалога.

М. И. Аврех (США) в докладе «Предписание как прием: статистика как жанровая определяющая в романе Ф. В. Булгарина „Иван Выжигин“» проанализировал роль статистики в писательской и редакторской деятельности Булгарина. По мнению исследователя, понятия Булгарина о государстве, государственности и бюрократической субъективности следует отнести скорее к неолиберальной структуре, нежели к исключительной авторитарной и наказательной (премодерной) оптике, в которой обычно рассматривается российская государственность начала XIX века. В романе «Иван Выжигин» статистическое предписание становится не только географическим или экономическим инструментом, но и ключевым этическим элементом.

Служебную деятельность В. К. Кюхельбекера рассмотрел В. И. Холкин (Великий Новгород) в докладе «Кюхельбекер. Поэзия, служба и жизнь взаперти», выделив два ее «периода» — плодотворное учительство в Благородном пансионе и своеобразная «государева служба» в «чине» политического преступника.

В. А. Шкерин (Екатеринбург) в докладе «В. И. Даль на фоне политических интриг 1830—1840-х гг.» продолжил начатую Фомичевым тему служебных злосключений составителя «Толкового словаря». Особое внимание было уделено службе Даля при оренбургском военном губернаторе В. А. Перовском и министре внутренних дел Л. А. Перовском, во время которой проявился его дар замечательного помощника, способного объяснить и оправдать дела начальства.

11 октября утреннее заседание проходило в двух секциях. Работа секции «XVIII век» была начата докладом Т. И. Акимовой (Саранск) «„Галантный диалог“ Екатерины II и Г. Р. Державина: „Сказка о царевне Хлоре“ и ода „Фелица“», в котором проанализирована авторская стратегия Екатерины II при формировании образа просвещенной государыни. Мысль императрицы о переводе дворянской службы в служение свободного и независимого человека, выраженная в ее произведениях, стала мифологемой «золотого века» екатерининского правления и превратилась в идиллический образ для чиновников XIX века. Эта же авторская стратегия реализуется в «галантном диалоге» Г. Р. Державина, адресованном Екатерине II, — оде «Фелица».

О. А. Фарафонова (Новосибирск) в сообщении «Воспоминания о государственной службе как автокомментарий („Записки“ и „Объяснения на сочинения“ Г. Р. Державина)», подчеркнула, что «Объяснения» Державина являются комментарием совершенно особого рода, так как для пояснения поэтических текстов активно привлекается автобиографический контекст, близкий мемуарным «Запискам». Необходимо учитывать, что объектом авторефлексии в «Записках» и в «Объяснениях» оказываются разные стороны личности Державина. В первом случае это личность биографическая, декларирующая себя как идеального подданного. Во втором случае перед нами личность условная, поэтическая.

В докладе М. А. Киселева (Екатеринбург) «Между службой государству и частным покровительством: литературная и переводческая деятельность К. А. Кондратовича на Урале» было показано постепенное превращение Кондратовича в профессионального переводчика и литератора.

М. Б. Лавринович (Москва) в докладе «А. Ф. Малиновский, чиновник и историк: к вопросу о репутации» представила результаты источниковедческого анализа рукописного труда А. Ф. Малиновского — «Биографические сведения о управлявших в России иностранными делами министрах». Выявленные источники биографий позволяют сделать предварительные выводы о замысле этого компилятивного труда и определить его роль в политическом контексте конца XVIII — первых десятилетий XIX века.

Томоо Канадзава (Япония) в сообщении «Государственная карьера и литературная

деятельность О. П. Козодавлева» отметила, что, несмотря на некоторые успехи на литературном поприще, сам известный деятель русского Просвещения не считал себя «постом». Будучи с 1784 года членом комиссии о народных училищах, Козодавлев особое внимание уделял теме детского образования, что нашло отражение в его творчестве.

А. И. Федута (Белоруссия), обратившийся к теме «Некролог частного лица как выражение сгедо чиновника», рассмотрел судьбу выпускника Виленского университета Франтишка Малевского, члена общества филоматов, ближайшего друга Адама Мицкевича, вместе с ним высланного из Вильны. Благодаря покровительству московского генерал-губернатора Д. В. Голицына он был принят на службу во II Отделение императорской канцелярии. Текст написанного им некролога на смерть Юзефа Олешкевича носит программный характер.

В докладе В. В. Ефимовой (Петрозаводск) «Ф. Н. Глинка и В. С. Филимонов на службе в Архангельском, Вологодском и Олонецком генерал-губернаторстве (1829—1831)» были раскрыты малоизвестные страницы службы двух поэтов под началом архангельского, вологодского и олонцкого генерал-губернатора С. И. Миницкого в конце 1820-х годов. Оба писателя оставались верными идеалам александровской эпохи, боролись со злоупотреблениями, предлагали (Глинка) или готовились предложить (Филимонов) улучшения в своих губерниях.

А. Ю. Сорочан (Тверь) в докладе «Бюрократ в провинции: „Очерки нынешней общественной жизни в России” в творческой биографии В. П. Мещерского» указал, что это произведение — во многом результат служебных поездок Мещерского как чиновника особых поручений при Министерстве внутренних дел. Автор создает описание стандартизованного социума, «ячейки империи» и отсекает все, что не соответствует модели, избранной для целого региона. Таким образом, оценки Мещерского легко объяснимы политическими пристрастиями.

Биографии и служебной карьере двух сибирских литераторов были посвящены доклады В. А. Доманского (Санкт-Петербург) «Чиновничьи ступени сибирского писателя Н. И. Наумова» и О. Б. Кафановой (Санкт-Петербург) «„Послужной” список литератора В. Е. Долгорукого». На большом фактическом материале исследователями было установлено, что, несмотря на различие в происхождении и творческой судьбе (Наумов — выходец из сибирской купеческой семьи, Долгорукий — потомственный московский князь, посланный в Томскую губернию), оба писателя проявляли интерес к истории сибирских городов, народу, нравам чиновничьей и купеческой среды, занимались просветительской деятельностью, стремясь включить Сибирь в общеевропейский культурный процесс.

Синкретизм повествовательной структуры путевых очерков Гончарова охарактеризовала Н. В. Константинова (Новосибирск) в сообщении «„Фрегат «Паллада»” И. А. Гончарова в контексте традиции русского travel-лога XIX века: нарративные стратегии чиновника-путешественника».

С. Н. Гуськов (Санкт-Петербург) в докладе «Писатель против чиновника. Или не против? Случай Гончарова» опроверг традиционное противопоставление службы и творчества в биографии писателя. Напротив, писательская и чиновничья жизненные стратегии плодотворно взаимодействовали: в 1840—1850-х годах служебная деятельность была источником сюжетов, образов, прототипов, характеристик, формировала своеобразие творчества Гончарова, а литературный дар и репутация крупного писателя во многом предопределили его карьерную траекторию. В то же время высокое служебное положение Гончарова в 1860-х годах и репутация цензора стали одной из косвенных причин неудачи «Обрыва».

Сообщение А. В. Романовой (Санкт-Петербург) «И. А. Гончаров в „Комитете, составленном для суждения о достоинстве представленных в конкурс юбилейных пьес”» стало итогом анализа архивных документов, хранящихся в Пушкинском Доме, РГИА, Театральной библиотеке и РНБ. Установлена дата учреждения постоянного театрально-литературного комитета (1856), а также выяснено, что в первый состав комитета Гончаров не входил. Сохранились свидетельства участия писателя в юбилейном комитете, созданном для выбора пьесы ко дню столетия русского театра.

В докладе К. Ю. Зубкова (Санкт-Петербург) «И. А. Гончаров и проекты цензурных реформ 1858—1859 гг.» была определена роль Гончарова в разработке цензурных реформ конца 1850-х годов. Судя по многочисленным эпистолярным материалам, в течение первых двух лет службы цензором Гончаров пытался играть роль посредника между политической и литературой. Об этом свидетельствует записка о смягчении цензуры, написанная П. А. Вяземским при участии Гончарова и прочитанная А. С. Норовым в присутствии императора 16 января 1858 года.

Во время презентации «Литераторы-чиновники в фондах Литературного музея ИРЛИ» Е. В. Кочнева (Санкт-Петербург) показала участникам и гостям живописные портреты чиновников-литераторов и государственных деятелей — покровителей литературы и искусства XVIII—XIX веков. Презентация сопровождалась краткой характеристикой портретных собраний и рассказом об истории создания и бытования наиболее значимых с художественной точки зрения произведений.

Н. В. Калинина (Санкт-Петербург) выступила с докладом «Гончаров и „Северная почта”», в котором определила роль писателя

в создании этого печатного органа. Программная записка «О способах издания „Северной почты“», составленная им уже после вступления в должность главного редактора газеты, является основным документом, характеризующим его как чиновника. Предлагаемые улучшения выдают в Гончарове человека европейски мыслящего и хорошо знакомого с постановкой газетного дела за рубежом.

В заключение прозвучал доклад А. Ю. Шедловской (Москва) «Чиновники Иван Гончаров и Александр Адуев: от жизни к тексту», посвященный анализу чиновничьей биографии И. А. Гончарова и ее отражения в тексте романа «Обыкновенная история».

По окончании заседания участники конференции имели возможность познакомиться с выставкой, посвященной памяти Т. И. Орнатской, подготовленной П. В. Бекединым.

А. С. Егоренко (Санкт-Петербург) начала работу третьего дня конференции докладом «„Просвещенный чиновник“ И. С. Аксаков», в котором осмыслила отставку Аксакова и выбор им литературного творчества как единственно возможной сферы для реализации своих нравственно-этических критериев.

С сообщением «Служба как фигура умолчания в творчестве С. Т. Аксакова» выступил А. А. Чуркин (Санкт-Петербург). В переписке С. Т. Аксакова с сыном Иваном выработывался баланс допустимого и запретного в высказывании, определявший особенности использования фигуры умолчания (паралиписа) в мемуарных произведениях Аксакова-старшего. Благодаря этому описываемые служебные конфликты смягчаются, переводятся в план личных взаимоотношений, а исторически значимые явления утрачивают свою самоценность и становятся средством характеристики персонажей.

А. С. Бодрова (Москва) в докладе «Военная и статская служба Е. А. Баратынского: между биографией и поэзией» сосредоточилась на истории получения Баратынским офицерского чина. Этот хорошо известный сюжет интересовал исследователя в социо-литературной перспективе: каким образом затрудненная служебная карьера Баратынского первой половины 1820-х годов соотносилась с его продвижением в литературной иерархии в этот же период, отмеченный ростом критической рефлексии о необходимости обособления литературного поля и выстраивания собственно литературных иерархий (прежде всего в выступлениях А. А. Бестужева в «Полярной звезде»).

Наблюдениями над тем, как И. А. Гончаров преодолевал официальный запрет упоминать имена офицеров «Паллады», поделился М. В. Отрадин (Санкт-Петербург) в докладе «Путешественник и его спутники в книге „Фрегат „Паллада“» (имя и образ)». Для писателя был важен не чин, даже не имя (в тексте он мог дать только заглавные литеры имен), а образ того или иного спутника. Например, один из них (барон Н. Криднер)

предстает в книге как носитель противоречивых качеств в их динамическом единстве, что позволяет говорить не о типе, а о полноценном литературном характере. Не говоря о чинах спутников, Гончаров изобразил их яркими, самобытными личностями, составившими гармоничное содружество, к которому хочется присоединиться и читателю книги «Фрегат „Паллада“».

Доклад А. В. Вдовина (Москва) «За казенные деньги на край света: траектории и коллективный портрет писателей — участников литературных экспедиций Морского министерства (1855—1861) был посвящен анализу индивидуальных траекторий 11 различных по идеологической позиции, статусу, положению и стилю письма литераторов, оказавшихся в «литературной экспедиции», предпринятой по инициативе великого князя Константина Николаевича. Попытка обнаружить группы авторов, демонстрирующих сходный тип поведения, привела исследователя к выводу о том, что литературное поле 1850-х годов представляет собой методологически дифференцированную систему, которую невозможно описать без обобщения.

О. Л. Фетисенко (Санкт-Петербург) в докладе «К. Н. Леонтьев: теория и практика государственной службы» указала на малоизученность темы «Леонтьев на коронной службе». Общеизвестно лишь то, что писатель испытал себя на нескольких поприщах — военного лекаря, консула, цензора. Обширный материал для этого аспекта биографии Леонтьева будет представлен в десятом томе его Полного собрания сочинений и писем.

В сообщении «„В самом благонамеренном духе...“: литература „для народа“ в оценке Н. С. Лескова» О. В. Макаревич (Санкт-Петербург) предположила, что возникновение образа «праведника» связано с вниманием писателя к образу положительного героя в литературе «для народа». Писатель негативно оценивает опыт создания такого рода персонажей в произведениях, отрецензированных им для особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения, но отталкивается от него в своих художественных произведениях.

Творческий путь И. С. Аксакова, отраженный в его дневнике, поэзии, эпистолярной и публицистике, проанализировала Н. Н. Вихрова (Великий Новгород) в докладе «„Служить или не служить“: творческая эволюция И. С. Аксакова от службы к служению». По мысли исследовательницы, Аксаков последовательно осмысляет и применяет к себе три вида духовных откровений — поэтические, религиозные, научные. С начала 1850-х годов и до конца жизни он останавливается на последних, ощущая себя «душеприказчиком» старших славянофилов.

В докладе Ю. И. Красносельской (Москва) «„Изысканная литература“ или „плоды администрации“? (О чем и зачем общались Л. Н. Толстой с М. Е. Салтыковым-Щедри-



ным в 1856—1858 гг.)» было показано, что сближение Толстого и Салтыкова-Щедрина в указанный период обусловлено скорее служебными, нежели эстетическими факторами. Деятельность Салтыкова по крестьянскому вопросу и ревизии губернских комитетов ополчения в 1855 году должна была заинтересовать Толстого в силу его собственных хозяйственных начинаний этого времени и его недавнего военного опыта. Общение с Салтыковым могло подтолкнуть Толстого к сопоставлению эпохи Крымской кампании и Отечественной войны 1812 года, из которого вырастает замысел «Войны и мира».

Оппозицию славянофилов и западников в дневнике С. Н. Дурылина проанализировала И. В. Мотеюнайге (Псков) в сообщении «Государственная служба славянофилов и литературное служение демократов: концепция С. Н. Дурылина».

С. А. Кибальник (Санкт-Петербург) в докладе «Судебный следователь как герой русской детективной литературы второй половины XIX века (от А. А. Шкляревского до А. П. Чехова)» особое внимание уделил биографическому контексту произведений Шкляревского, отметив, что служба во многом определила как его личную судьбу, так и характер творчества. Ранний и разнообразный служебный опыт писателя, предшествовавший переходу в профессиональные литераторы, обогатил его впечатлениями, которые легли в основу как его «провинциальных» повестей середины 1860-х, так и «уголовных» повестей и рассказов конца 1860-х — начала 1880-х годов.

В сообщении Е. Ю. Полтавец (Москва) «Л. Н. Толстой о неудачниках» были рассмотрены типы «неудачников» в произведениях Толстого, а также проанализированы особенности изображения тех героев, чья служебная карьера не сложилась вследствие пережитой ими метанойи. Неудачник с обыденной точки зрения (отказывается и от придворной карьеры, и от предложения остаться при штабе Кутузова, на поле Бородина получает тяжелое ранение), Андрей Болконский противопоставлен автором «Войны и мира» нескольким правителям-императорам — Наполеону, Александру I, императору Францу, а также (имплицитно) Юлию Цезарю и Юстиниану. Такое противопоставление направ-

лено на утверждение истинного человеческого величия и «настоящей жизни».

Н. В. Сарана (Москва) в докладе «Литератор vs чиновник. Русский „роман карьеры“ 1850-х гг. на примере романа А. Ф. Писемского „Тысяча душ“» рассмотрела предпринятую писателем попытку художественного анализа драматической ситуации выбора между искусством и чиновничьей карьерой, в которой оказывается герой «Тысячи душ». В закономерном финале романа Писемский демонстрирует, что «литератор» в России — это еще не профессия, а «звание». Таким образом, автор намечает новый образ чиновника и становится основоположником русского «романа карьеры».

Документ Е. М. Филипповой (Санкт-Петербург) «„Служба“ и „служение“ И. А. Гончарова (по материалам переписки писателя)» стал итогом изучения эпистолярного наследия автора «Обломова». Возникающая в письмах параллель писательства и службы свидетельствует о «маргинальности» гончаровского идеала художника: истинный творец должен совмещать в себе «чиновника», смиренно исполняющего долг службы искусству, и эпикурейца, наслаждающегося, подобно Райскому, собственным талантом творца, служением собственному призванию.

Е. Л. Куранда, С. Л. Гаркави (Санкт-Петербург) представили доклад «Коллежский советник А. В. Сульжиков: „Я — ныне прокурор и в будущем — писатель!..“», в котором рассмотрели соотношение службы и творчества в жизни Сульжикова.

В заключительном слове С. Н. Гуськов отметил, что конференция стала своеобразным спецкурсом по теме «Литература и чиновничество».

Более подробно содержание докладов изложено в книге: Чины и музы (писатели на государственной службе): Тезисы докладов международной научной конференции / Сост. С. Н. Гуськов, Н. В. Калинина. СПб., 2016.

© Е. М. Филиппова

Елена Михайловна Филиппова — аспирант Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

## МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АРХИВ УЧЕНОГО-ФИЛОЛОГА: ЛИЧНОСТЬ, БИОГРАФИЯ, НАУЧНЫЙ ОПЫТ»

17—18 октября 2016 года состоялись XX Чтения Рукописного отдела Пушкинского Дома. Ежегодная конференция, обычно

организованная по принципу научной репрезентации широкого спектра материалов из фондов ИРЛИ, отчасти благодаря юбилейно-

му «летоисчислению», приобрела расширенный формат и особое тематическое направление, сфокусированное на двух взаимосвязанных областях научного знания — филологии и архивоведении.

Современные исследователи, наравне с изучением художественного творчества, уделяют большое внимание публикации эпистолярного наследия, дневников, воспоминаний литературоведов предшествующих поколений, сохраняя лучшие образцы научного дискурса, высокий идеал ученого, посвященного научному труду, прекрасные черты интеллигенции — все то, что сквозь призму творческой индивидуальности освещает историю литературы, историю науки и историческую реальность вне идеологических шаблонов. Конференция Рукописного отдела, продолжая это направление, собрала ведущих представителей научного филологического сообщества, работающих с архивными документами, для разностороннего исследования такого эвристического пространства, как архив ученого-филолога. Само понятие «архив ученого-филолога» — *sui generis* явление антропологической культуры — и, по мысли организаторов конференции, представляет интерес для исследователей не только с точки зрения сугубо историко-литературных задач — выявления отдельных сюжетов биографии, реконструкции научного становления и пр., но и как отражение взаимодействия личности и истории.

В качестве эмблематического отображения идеи конференции для программы и афиши была выбрана фотография Д. С. Лихачева, вероятно, сделанная во время одного из интервью в его домашнем кабинете. Образ сосредоточенного на выражении мысли ученого, находящегося в обстановке, образованной рабочим столом и книжными полками, пожалуй, наиболее точно передает содержание той среды (сколь замкнутой для внешних влияний, столь и открытой познанию), в которой нуждается человек научного труда для продуктивного творческого процесса. Эти свойства сохраняет в себе архив ученого-филолога — он герметичен и даже зачастую отталкивает «ворохом» бумаг, но только исследователь знает, что, открыв архивную коробку, он извлекает не разрозненные фрагменты деятельности человека, но жизнь и судьбу.

Утреннее заседание 17 октября открыл Б. Ф. Егоров (Санкт-Петербург). Его выступление, актуализировавшее проблему отношения ученого к собственному архиву как к форме самовыражения, имело научно-практическое значение и для архивистов, и для исследователей-филологов. Назвав свой доклад «О личном архиве. Что хранить и что уничтожать», Б. Ф. Егоров подошел к теме конференции извне — с позиций ученого, признающего архивный документ непреходящей ценностью для изучения историко-литературных явлений, и изнутри — являясь

фондообразователем в собрании Рукописного отдела Пушкинского Дома, сознательно формирующим свой личный архив.

Значительный корпус докладов, прозвучавших на конференции, был посвящен материалам, хранящимся в личных фондах филологов, научная биография которых отчасти или всецело принадлежит истории Пушкинского Дома. Аналитический обзор документов личного фонда Д. С. Лихачева, хранящегося в Рукописном отделе, составил содержание доклада И. В. Федоровой (Санкт-Петербург) — «Архив ученого-филолога как источник для реконструкции общественной жизни страны (на материале архива Д. С. Лихачева)». В докладе ретроспективно был выявлен ряд инициированных академиком проектов, направленных на спасение памятников культуры. По черновикам и подготовительным материалам архива ученого Федорова восстановила содержание некоторых его публичных выступлений второй половины 1980-х — 1990-х годов.

В докладе «М. П. Алексеев: становление ученого» П. Р. Заборов (Санкт-Петербург), в прошлом коллега академика Алексеева, ознакомил присутствующих с обнаруженной им в личном фонде Алексеева (ИРЛИ) статьей вдовы ученого Н. В. Алексеевой. Эта неопубликованная статья представляет собой обзор материалов названного фонда, относящихся к первоначальному периоду деятельности Алексеева — от 1910-х до конца 1920-х годов. Здесь с различной степенью полноты отражена биография ранних лет: гимназические и студенческие занятия будущего академика, дружеские контакты того времени, его работа как музыкального критика и историка музыки, участие в культурной жизни Киева и Одессы в качестве лектора и педагога. Особое внимание автор статьи уделила начальной научной деятельности — трудам Алексеева, посвященным казусам, тенденциям и закономерностям в истории разнообразных пересечений русской и зарубежных литератур, изучение которых постепенно стало главным делом его жизни. Глубокое знание архива, основанное на анализе огромного множества заготовок ученого, предназначенных для текущих и будущих исследований, позволило Н. В. Алексеевой представить описание научных методик академика, формировавшихся на протяжении жизни, и вместе с тем показать масштаб его интеллектуальной работы. По мнению докладчика, статью Алексеевой следует, после внимательной редакторской обработки, опубликовать как важный источник для научной биографии выдающегося отечественного ученого-филолога и как ценное пособие при научном описании его архива.

К. М. Азадовский (Санкт-Петербург) представил обзор личных материалов своего отца — профессора Марка Константиновича Азадовского, фольклориста, декабристоведа, автора работ по истории культуры Сибири.

Докладчик остановился на таком важном с точки зрения архивоведения аспекте как проблема сохранения целостности личного архива в условиях советского авторитаризма. История архива М. К. Азадовского, формировавшегося в течение всей жизни ученого, в значительной степени отражает историю нашей страны в XX столетии, прежде всего — ее трагические периоды: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, гонения на «космополитов» в конце 1940-х (М. К. Азадовский оказался одной из жертв этой печально известной «кампании»). Ученному не раз приходилось «чистить» свой архив, из которого им были собственноручно удалены, например, письма репрессированных друзей (сибирского писателя И. Г. Гольдберга, историка русской литературы Ю. Г. Оксмана, историка И. М. Троицкого и др.); почти все материалы, связанные с редакторской работой в «Сибирский советской энциклопедии» в конце 1920-х — начале 1930-х годов, и др. Тем не менее архив Азадовского, оставшийся после смерти ученого в его ленинградской квартире, был огромен и насчитывал несколько тысяч единиц хранения: рукописи, переписка, фотографии, графика. В настоящее время этот значительный историко-литературный материал находится на хранении в фондах РГБ и РНБ.

Неизвестным страницам биографии видных филологов были посвящены выступления Н. А. Богомолова (Москва) и Л. К. Хитрово (Санкт-Петербург). Эпистолярные документы, свидетельствующие о становлении будущего пушкиниста, проанализировал Н. А. Богомолов в докладе «Б. В. Томашевский как хроникер современной литературы: Некролог „Весов“». Биографический сюжет относится к концу 1900-х годов, когда молодой Томашевский был вынужден самостоятельно изучать историю русской и французской литературы за границей. Его письма, адресованные петербургскому поэту А. А. Попову (псевдоним А. Вир), содержат любопытные оценки современной литературы и, в частности, произведений, созданных писателями символистского круга. Предметом доклада стал большой фрагмент одного из писем, в котором подводятся итоги художественной и литературно-критической деятельности журнала «Весы» после выхода в свет последнего номера. Неожиданный биографический материал стал важным дополнением к портрету пушкиниста Томашевского, заведующего Рукописным отделом ИРЛИ в 1946—1957 годах.

В докладе архивиста Л. К. Хитрово «К истории незавершенных замыслов Л. Б. Модзалевского 1920-х гг. По материалам личного архива РО ИРЛИ», посвященном еще одному сотруднику Рукописного отдела, также был продемонстрирован метод реконструкции научной биографии ученого, отчасти связанной с семинарием Б. М. Эйхенбаума (1924—1925). Так, в ходе

архивной обработки фонда Модзалевского были обнаружены следы его многолетней научной работы, посвященной выявлению, а также комментированию текстов неизданных произведений и писем А. К. Толстого.

Два доклада вечернего заседания 17 октября образовали самостоятельную тему, освещающую личность и творческую деятельность Л. Я. Гинзбург. В начале своего выступления «Лидия Гинзбург: Человек и его архив» Эмили Ван Баскирк (США) описала общую эволюцию, произошедшую в исследовательском восприятии творчества этого ученого и писателя. По наблюдениям докладчика, Л. Я. Гинзбург в современных научных работах осмысливается не столько как историк литературы, сколько как автор прозы нового типа, сочетающей самоанализ, философские размышления, исторические наблюдения и уникальный подход к литературно-социальной психологии. Профессор Баскирк подробно остановилась на жанровых и стилистических особенностях неопубликованных блоковых тетрадей и рукописи «Рассказа о жалости и о жестокости», обнаруженных среди архивных документов (РНБ). Изучение личного архива Гинзбург открывает возможности для рассмотрения новой версии периодизации ее творчества. Изменение представлений об исследовательском и творческом кредо Гинзбург позволило затронуть ряд проблем, связанных с научной репрезентацией неизвестных творческих текстов, сохранившихся в ее «рабочем столе».

Один из сюжетов научной биографии Л. Я. Гинзбург был раскрыт в выступлении М. Ю. Любимовой (Санкт-Петербург) «Письма редакторов серии „Литературное наследство“ к Л. Я. Гинзбург (Из фондов Российской национальной библиотеки)». Эпистолярные материалы предоставляют обширную информацию о ее участии в подготовке томов, посвященных жизни и деятельности А. И. Герцена и Н. П. Огарева, а также несущественном томе с материалами архива А. А. Ахматовой. Письма корреспондентов (среди них были И. С. Зильберштейн, Л. Р. Ланский, С. А. Макашин, Н. А. Роскина, Н. Д. Эфрос, М. Р. Рабинович, а также Л. М. Долотова и А. Ю. Галушкин) в свете историко-литературной рецепции позволяют реконструировать методологию Гинзбург в ее работе над мемуарной прозой, проблемой биографии и автобиографии писателя.

Характеристика особенностей биографии и свойств личности ученого-филолога, принадлежавшего к кругу младоформалистов, была продолжена М. К. Свенской (Санкт-Петербург) в докладе «Бухштаб и другие: Личность и филологическое окружение Б. Я. Бухштаба». Архив выдающегося отечественного литературоведа Б. Я. Бухштаба, хранящийся в РНБ, представляет собой богатейший комплекс источников по истории развития отечественной филологии нескольких десятилетий XX века: с конца 1930-х до

первой половины 1980-х годов. В нем сохранилось большое количество творческих рукописей, включая до сих пор не опубликованные, а также огромный корпус переписки. Обаяние личности Бухштаба, острый ум, мягкий юмор, внимание к творчеству коллег привлекли к нему значительный круг талантливых филологов. Среди корреспондентов Бухштаба — более четырехсот российских и зарубежных ученых, в числе которых выдающиеся лингвисты и литературоведы В. С. Бавеский, М. Л. Гаспаров, Л. Я. Гинзбург, Г. А. Гуковский, Б. О. Корман, Ю. М. Лотман, Ю. Г. Оксман, П. А. Руднев, Р. О. Якобсон.

Участники конференции представили собравшейся аудитории, заинтересованной в архивной историко-литературной работе, ценные материалы, извлеченные не только из отечественных архивохранилищ, но и из зарубежных частных коллекций. Доклад О. А. Коростелева (Москва) «Архив В. Ф. Маркова как источник сведений о научной и литературной жизни русской эмиграции в США в 1940—1980-е гг.» основывался на документах одного из наиболее значительных личных архивных собраний русской Америки второй половины XX века. Владимир Федорович Марков — яркий представитель второй волны эмиграции, поэт, литературовед, критик, переводчик, на протяжении нескольких десятилетий профессор Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, сделавший блестящую академическую карьеру в США, основоположник нескольких направлений современной славистики (изучения русского футуризма, имажинизма, кузминоведения и бальмонтоведения). Вся жизнь В. Ф. Маркова вел активную переписку с видными литераторами и деятелями искусства русского зарубежья, а также со многими иностранными специалистами. В его архиве отложились крупные корпуса писем Г. П. Струве, М. М. Карповича, Р. О. Якобсона, Р. Б. Гуля, М. В. Вишняка, В. В. Вейдле, Д. Ю. Бурлюка, Г. В. Иванова, И. В. Одоевцевой, Ю. К. Терапиано, Д. И. Кленовского, Н. Н. Берберовой и многих других. Некоторые из них насчитывают до нескольких сотен посланий и в мельчайших деталях отражают сложные перипетии послевоенной жизни русской эмиграции, нюансы литературного быта, полемики, заключаемые союзы и возникающие конфликты, а также нравы академической среды США.

В выступлениях второго конференционного дня исследователи поделились профессиональными методами работы с архивными документами. Нередко для воссоздания первоначального содержания личного фонда необходимо обращение к материалам разных архивохранилищ. Так, Е. Л. Куранда (Санкт-Петербург) собрала воедино находящиеся на хранении в РНБ и РГАЛИ материалы последней книги А. Г. Горнфельда «Как работали Гете, Шиллер и Гейне» и назвала свой доклад

аналогично — «Как работал А. Г. Горнфельд», подразумевая жизненный принцип ученого, состоявший в неустанным научном труде. Проведенный текстологический анализ набросков теоретического характера выявил отдельные фрагменты, оставшиеся неиспользованными в окончательной редакции книги, опубликованной в 1933 году. Один из них — о поэтике цикла и типологии стихотворной циклизации в творчестве Гете и Гейне — был приведен в качестве научной версии дефиниции стихотворного цикла, до сих пор не имеющей в теории литературы однозначного решения. В докладе также содержался обзор переписки Горнфельда с инициатором издания серии сборников «Вопросы теории и психологии творчества» (1907—1923) Б. А. Лезиным. Эти материалы позволяют оценить научные интенции корреспондентов, стремящихся выработать терминологический инструментарий теории литературы.

Доклад А. Л. Соболева (Москва) «В бумажном зеркале: М. О. Гершензон — архивист и фондообразователь» содержал наблюдения, основанные на тщательном изучении биографических документов такого разностороннего по своим творческим векторам филолога, каким был М. О. Гершензон. Объединив несколько сюжетов из дневников и писем 1890—1903 годов, исследователь наметил внутренние корреляции между определенными жизненными событиями и профессиональным становлением историка литературы. Особое внимание в докладе было уделено этапам трансформации историко-социальных взглядов ученого-филолога, вызревание эвристических способностей, приобретение профессионального опыта в области палеографии и изучения частных архивов, к которым он получил доступ благодаря череде счастливых случайностей. В процессе самообразования Гершензон выработал свой особенный взгляд на проблему научной обработки документального источника и его роль в исторической реконструкции. Конгломерат навыков, сложившихся в ранние годы (между 1890-м и 1903-м), определил методологию, позицию и облик Гершензона зрелого периода. Дневники и письма начинающего литературоведа, недавнего выпускника историко-филологического факультета Московского университета, обнаруживают моменты интеллектуальной биографии личности, которые становились предметом его авторефлексии, порождая осознание себя в качестве действующего лица исторического процесса и одновременно его хроникера и истолкователя.

Тема «Архив ученого-филолога» в ходе второго дня конференции раскрылась новыми гранями. Жизнь ученого проходит в интеллектуальном труде, но не ограничивается только сферой научной деятельности. Для ближайшего окружения (включая членов семьи и учеников) не менее ценным пространством реализации личностного потенциала ученого оказывается хронотоп научного

быта, история и атмосфера которого создается энергией творческого живого ума и обаянием образа. Дружеский эпистолярный как источник биографии и отражение ярких черт индивидуальности корреспондентов стал предметом доклада В. В. Аствацатуровой, дочери лингвиста и литературоведа академика В. М. Жирмунского. Доклад «В. М. Жирмунский и Г. А. Гуковский: хроника дружбы в письмах» был посвящен обзору пятнадцати писем Гуковского к Жирмунскому (с 1920-х до 1945 года), в которых детально раскрывается история многолетней дружбы двух ученых, представлена эволюция их взаимоотношений от диспозиции учитель (Жирмунский) / ученик (Гуковский) к модусу дружеского общения, наполненного глубоким доверием и обоюдным интересом к филологической работе друг друга.

Иной ракурс рассмотрения научного быта ученого-филолога содержался в докладе Т. Д. Кузовкиной и И. Карловского (Эстония) «Архивы Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц: Реконструкция диалога», посвященном уникальному альянсу выдающихся историков литературы, профессоров кафедры русской литературы Тартуского университета, воспитавших поколение талантливых специалистов. На материале дневников и писем, а также других личных документов, ныне хранящихся в Библиотеке Тартуского университета и в Эстонском фонде семиотического наследия при Таллинском университете, авторы доклада воссоздали атмосферу семейной жизни, в которой приоритеты научной и педагогической деятельности не вытесняли, а иной раз подогревали самоиронию и свободу самовыражения. Исследователи познакомили аудиторию с подборкой фотодокументов из семейного альбома, а также с рисунками и стихотворными экспромтами Лотмана, связанными с сюжетами научной и семейной биографии.

Научный дискурс, запечатленный на страницах частной переписки знаменитых специалистов по истории и поэтике стихосложения В. Е. Холшевникова и М. Л. Гаспарова, подробно проанализировала Т. С. Царькова (Санкт-Петербург) в докладе «Архив стиховеда В. Е. Холшевникова». Портрет любимого многими выпускниками ЛГУ преподавателя, созданный на основе документов его личного архива, хранящегося в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома, был дополнен живыми и яркими впечатлениями из личного опыта, сложившимися в годы участия в студенческом семинаре по стиховедению и аспирантуры.

О. В. Быстрова (Москва) в докладе «И. А. Гроздев — исследователь творческого наследия А. М. Горького» на основании материалов архива литературоведа показала, что его вклад в историю литературы не ограничивался лишь созданием известной биографии («Максим Горький: Биографический очерк»), изданной в 1925 году. Обращаясь к

архивным документам, О. В. Быстрова раскрыла роль Гроздева в текстологической подготовке Собрания сочинений М. Горького в 23 томах (М.; Л., 1928—1930), Собрания его сочинений в 25 томах (изд. 2-е, доп.; М.; Л., 1933—1934); а также третьего издания, закончившегося выпуском первых пятнадцати томов. Изучение принципов работы Гроздева с рукописным наследием Горького, по мнению докладчицы, позволяет утверждать, что ученый впервые произвел критическую сверку большинства текстов для двух собраний сочинений со всеми предшествующими публикациями, устранил огромное количество типографских опечаток, цензурных вычерков и других искажений. Портрет филолога был дополнен неизвестными штрихами, сведениями о его судьбе, одной из трагических страниц которой стала жизнь в блокадном Ленинграде.

В заключительном докладе М. Э. Маликовой (Санкт-Петербург) «Автор своего архива: Е. Г. Эткинд» прозвучала оригинальная характеристика «филологического хозяйства» ученого наших дней. Личный фонд переводчика и историка литературы Е. Г. Эткинда, образованный в Рукописном отделе Пушкинского Дома, М. Э. Маликова исследовала и как обработчик-архивист, задачи которого определяются рядом формализующих материал методик, и как историк филологической науки, анализирующий феномен личности в контексте научного творчества. Таким образом, два познавательных вектора — архивоведение и филология — нашли свое отражение в этой научной рефлексии. Доминантным свойством этоса Эткинда как филолога, отразившемся в его архиве (ИРЛИ), исследователь назвала пафос авто-архивирования, который выражался в желании сохранять все материальные следы своей профессиональной и личной жизни, структурировать их и передавать в государственные отечественные архивохранилища с условием, чтобы они были немедленно обработаны и доступны читателям (другая часть архива Эткинда объемом более 4000 единиц с начала 1990-х годов хранится в РНБ). Опираясь на исследования, публиковавшиеся с начала 2000-х годов в журнале «Archival Science», М. Э. Маликова поставила необычную для традиционного архивоведения проблему, связанную не столько с хранением, структурированием и описанием документов, сколько с со-хранением в преамбуле к описи и композиционной репрезентации материалов первоначально созданного фондообразователем «образа» личного архива. Так возник неожиданный ракурс рассмотрения деятельности архивиста: судьба новообразованного фонда до известной степени вверяется обработчику, который в силу объективных условий хранения, правил формирования описей и пр. оказывается облечен властью интерпретатора. Основная идея доклада заключалась в необходимости сознательной самоидентификации

архивиста и пересмотре традиционного мифа о заведомо функциональной роли «объективного» хранителя и куратора.

В течение двух дней чтение докладов проходило в атмосфере заинтересованности со стороны как самих выступающих, так и аудитории, аккумулировавшей вопросы и дополнения к предложенным темам. По сложившейся традиции проведения Чтений Рукописного отдела организаторы конференции подготовили выставочную экспозицию с творческими рукописями и личными документами ученых-филологов, с именами которых были преимущественно связаны выступления специалистов. По завершении последнего заседания состоялось обсуждение перспективного плана, поставившего ближайшей целью подготовку сборника по материалам конференции.

© Е. Р. Обатнина

Елена Рудольфовна Обатнина — ведущий научный сотрудник Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

## ПЯТЫЙ АГИОГРАФИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

12 декабря 2016 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялся Пятый агиографический семинар, посвященный 95-летию со дня рождения Льва Александровича Дмитриева. Во вступительном слове Н. В. Поньрко (Санкт-Петербург) рассказала о Л. А. Дмитриеве как исследователе русской агиографии,<sup>1</sup> которая была одной из трех основных сфер научных интересов исследователя наравне со «Словом о полку Игореве» и памятниками Куликовского цикла. «В 50-е годы, когда он работал над исследованием и подготовкой к изданию Жития Михаила Клопского, к нему пристало в Институте прозвище „Клопский“ и долгое время числилось за ним. Я уже писала в прошлом об этом, — отметила Н. В. Поньрко, — но мне хочется повториться, настолько крепко засела во мне эта ассоциация: самый сильный зрительный образ, связанный в моем сознании со Львом Александровичем, — склонившаяся над письменным столом в отдельном кабинете его фигура в профиль, что-то углубленно пишущая. И одновременно возникающие в сознании слова: „Сидит старец и пишет“, — из экспозиции Жития Михаила Клопского (так древнерусский книжник сумел увидеть другого книжника, загадочно появившегося в Клопском монастыре в ночь на Иванов день)». Житие Михаила Клопского не отпускало Льва Александровича на протяжении многих лет его жизни: в 1958 году он изучил и издал все известные его редакции (исследование Жития стало культурным событием того времени); затем, в 1973 году, рассмотрел это Житие в контексте новгородской агиографии как один из характерных ее образцов; наконец, в 1982 году опубликовал его в своем переводе в книжной серии «Памятники литературы Древней Руси», создав таким образом «своего рода последнюю редакцию этого литературного памятника». Билингвистическое прочтение древнерусского произведения, по замечанию Поньрко, не просто удобный способ издания, но новая ступень восприятия текста, и именно «созданию новейших редакций старинных литературных памятников» были посвящены многолетние труды Дмитриева по составлению и редактированию серии «Памятники литературы Древней Руси». Для занятий агиографией в то время (вплоть до конца 70-х годов) требовалось не только гражданское мужество. Необходимо было сделать шаг в научном понимании проблемы, чтобы перестать искать в житиях элементы сюжетного повествования для оправдания правомерности филологического изучения этого рода литературы, чтобы увидеть агиографию как насыщенный пласт культуры. Этот шаг, по мнению Поньрко, удалось сделать именно Льву Александровичу. Окончательный переворот во взгляде на агиографию как на отдельный предмет филологического исследования со своими законами развития совершился лишь к концу XX столетия, но у истоков этого процесса стоял Дмитрий — источниквед и текстолог школы Дмитрия Сергеевича Лихачева, заложивший прочную основу современной агиологии.

<sup>1</sup> См. также сборник статей: Лев Александрович Дмитриев: Библиография. Творческий путь. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 1995 — и, в частности, статью Н. С. Демковой «Русская житийная литература в исследованиях Льва Александровича Дмитриева» (с. 17—25).

Н. В. Савельева (Санкт-Петербург) в докладе «Памятники агиографии в собраниях Архангельской области» представила краткий обзор рукописей, связанных с агиографической тематикой, которые были выявлены в современных хранилищах Архангельска и Архангельской области. Жития святых сохранились как в разного рода сборниках, так и в отдельных списках. Среди наиболее древних рукописей — сборник 20-х годов XV века, в составе которого — фрагмент Минеи четвѣй на май, включающий в том числе неметафрастовские редакции житий Арсения Великого и Симеона Столпника Дивногорца и Огласительные поучения Феодора Студита. В архангельских собраниях есть Каноники с канонами севернорусским святым и богослужебные сборники с месяцесловами, в которых переписаны тропари святым, в том числе русским. Особое внимание исследовательница уделила агиографическим сборникам, связанным своим происхождением или бытованием с традициями монастырей: Пафнутиевым Боровским, Каргопольским Успенским, Соловецким Спасо-Преображенским и др. Наиболее полон свод находящихся в архангельских хранилищах источников по истории Антониново-Сийского монастыря. Среди этих материалов большую ценность представляет сборник, связанный с именем первого Сийского архимандрита Никодима (Мамонтова, ок. 1634—1721), известного иконописца и книгописца. Этот сборник, недавно найденный в Государственном архиве Архангельской области, не только содержит документы по истории монастыря конца XVII — начала XVIII века, но и отражает личное участие в создании текстов самого архимандрита Никодима, содержит его автографы. Савельева завершила свое выступление кратким обзором поздних рукописных сборников с житиями святых и архивных материалов из фондов приходских церквей.

В докладе «Исследования Жития Варлаама Хутынского: до и после Л. А. Дмитриева» Т. Б. Карбасова (Санкт-Петербург) подвела итоги текстологического изучения памятника и наметила его дальнейшие перспективы. Особый интерес Дмитриева, по замечанию докладчицы, вызвала Четвертая, Распространенная редакция Жития и другие позднейшие редакции, впервые исследованные ученым. Выводы Дмитриева в отношении этих текстов до сих пор остаются общепринятыми. Положения же о ранних редакциях, зафиксированные в книге 1973 года, нуждаются в корректировке: за это время подтвердилась достоверность Первой (Проложной) редакции (А. А. Зализняк, В. Л. Янин), появились аргументы в пользу гипотезы о В. Яблонского, атрибутировавшего Вторую редакцию текста Пахомию Сербу. Последний вопрос был разрешен Карбасовой с помощью сравнения текста Второй редакции Жития Варлаама Хутынского с Первой Па-

хомиевской редакцией Жития Сергия Радонежского. Помимо выявленных общих чтений, Вторая редакция имеет формульные, смысловые и текстуальные совпадения с другими текстами Пахомия: Проложной редакцией Жития Сергия Радонежского, Пахомиевским Житием Кирилла Белозерского. По заключению исследовательницы, все тексты агиографического цикла — Служба, Похвальное слово и Житие — были написаны одновременно Пахомием Сербом, что подтверждается наличием сквозного цитирования в этих текстах, единством темы. Третья редакция Жития Варлаама Хутынского относится, скорее, к 60-м, а не к 40-м годам XV века. Ближайшими перспективами в исследовании Жития Карбасова назвала переименование первых трех редакций, до сих пор имеющих порядковые названия, и научную публикацию Пахомиевских редакций Жития.

Доклад С. А. Семячко (Санкт-Петербург) «Житие Димитрия Прилуцкого: вопросы истории текста» был посвящен обзору историографии этой научной проблемы. Исследовательница показала, что текстологическое изучение Жития преподобного Димитрия «споткнулось» о вопрос первоначальной редакции памятника. Ученые, занимавшиеся этой проблемой (В. О. Ключевский, Н. Коноплев, Л. А. Дмитриев, Т. Н. Украинская), порой превратно понимали предшествующую научную традицию и были знакомы с ограниченным числом списков Жития, поэтому практически все умозаключения, сделанные относительно его ранней истории, должны быть поставлены под сомнение. Текстологическое исследование Жития Димитрия Прилуцкого должно быть выполнено заново, на максимально возможном количестве рукописного материала и с опорой на источники его текста, среди которых Семячко назвала не только известные ранее Жития Сергия Радонежского, Стефана Пермского и Стефана Сурожского, но и Деяния апостолов, Житие Иоанна Златоуста, Покаянный канон Андрея Критского.

Т. Н. Галашева (Санкт-Петербург) в докладе «К вопросу об истории текста Жития Ефрема Новоторжского» обратилась к неизученной проблеме текстологии Жития, представление о редакциях которого до сих пор отождествлялось с редакциями извлеченного И. У. Будовицем фрагмента памятника — «Повести о разорении Торжка в 1315 году». Анализ полного текста Жития с привлечением новых списков обнаруживает наличие трех редакций, названных исследовательницей Краткой, Пространной и Особой, и убедительно показывает первичность Краткой редакции по отношению к Пространной, меняя местами бытовавшие прежде обозначения «Первой» и «Второй» редакций. Промежуточным этапом в истории текста стала Особая редакция, более подробная и завершенная, чем Краткая, но менее риторичная, чем Пространная. Единственный известный список

Краткой редакции (БАН. П. I. А. № 29) позволяет судить о ней как о совокупности разрозненных материалов, собранных в процессе подготовки Жития. Обнаруженные исследовательницей в Кабинете редкой книги Эрмитажа (№ 150543) записи летописного характера, утверждающие Ефрема Новоторжского в истории Древней Руси XI века, сходны с начальной частью Краткой редакции и свидетельствуют о самостоятельном бытовании подготовительных материалов к Житию. Пространная редакция, в отличие от предшествующих, обладает всеми чертами канонического жития и наиболее часто встречается в рукописях.

В докладе Т. Р. Руди (Санкт-Петербург) «Из истории топки житий преподобных» были рассмотрены варианты реализации топоса «живые мертвецы» в древнерусских монашеских житиях. Уже в Житии Феодосия Печерского дважды появляется мотив плача родителей о будущем иноке как о мертвом, многообразно претворяющийся впоследствии в текстах житий преподобных. Другой вариант реализации топоса, также отражающий представление о монашестве как социальной смерти, — свойственное героям житий преподобных сознание себя «живыми мертвецами» по отношению к покинутому ими миру. Исследуемые мотивы могут встречаться и в памятниках, связанных с подвижниками иных чинов святости. Тема умерщвления плоти может переходить из сферы символической в сферу реалистического описания: уподобление пустынников мертвецам получило широкое распространение в патериковых рассказах и отшельнических житиях. Докладчица отметила важность топоса в житиях юродивых — уход юродивого из дома типологически близок уходу из мира преподобного. Традиционный житийный мотив плача как о мертвом может встречаться не только в агиографических текстах, однако именно в них этот мотив обретает дополнительный смысловой акцент: будучи неразрывно связан с топосом «монахи — живые мертвецы», он оказывается встроенным в дуалистическую систему понятий «мир — монастырь», в которой иноческий постриг воспри-

нимается как важнейший из путей христианского спасения.

И. А. Лобакова (Санкт-Петербург) в докладе «Повесть о разорении Рязани Батыем в составе агиографических и воинских „циклов“» затронула проблему циклизации в литературе, отметив зыбкость границ как авторских, так и выделяемых исследователями циклов. Ансамбль разножанровых, разновременных и неравноценных произведений «Заразского цикла» неустойчив: в полном виде он встречается в единичных списках; последовательность произведений варьируется; состав «цикла» часто оказывается расширенным или укорочен. Проанализированный рукописный материал позволил исследовательнице высказать предположение о трех этапах сложения этого цикла. Как показала докладчица, практически одновременно с «Заразским циклом», складывается и другой, тематический, «цикл» о разгроме Руси монголо-татарами, отраженный в составе Русского Временника и Хронографа 1599 года. В XVII веке три основные редакции Повести уже включались в сборники исторических произведений, образуя различные типы тематических воинских «циклов». Повесть о разорении Рязани, как в составе «Заразского цикла», так и вне его, часто сочеталась в сборниках с другими агиографическими произведениями, что привело к появлению новых агиографических «циклов». Подчеркнув, что понятие «цикла» не вполне отвечает окружению Повести о разорении Рязани, Лобакова назвала более точным предложенное Д. С. Лихачевым понятие тематического ансамбля.

Воспоминаниями о Дмитриеве поделились С. А. Фомичев и В. П. Бударагин. Конференция завершилась выступлением внука Дмитриева, известного пианиста и композитора Н. Ю. Мажара.

© Т. Н. Галашева

Татьяна Николаевна Галашева — младший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

## НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ЛИТЕРАТУРА»

20 февраля 2017 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялся научный семинар «Революция 1917 года и литература», организованный Отделом новейшей русской литературы. С кратким приветственным словом выступила заведующая Отделом А. М. Грачева.

Открыл семинар доклад Е. И. Гончаровой «Под „колесом“ истории (по материалам переписки В. Розанова и П. Перцова 1917 года)». Напомнив хронологию событий Февральской революции, итогом которой было свержение монархии в России, докладчица, опираясь на архивные документы, проанали-



зировала отношение корреспондентов к этому событию. В. В. Розанова и П. П. Перцова связывала многолетняя дружба и продолжительная переписка, которая прервалась в 1918 году, незадолго до смерти Розанова. Они начинали свои отношения в 1896 году как единомышленники, но к 1917 году подошли с разным идейным багажом и разной оценкой действительности. Несмотря на то что оба являлись штатными сотрудниками консервативной газеты «Новое время», отношение к крушению монархии и установлению республики в России у корреспондентов было очень разное. В переписке Розанов и Перцов — частные лица, которые совершенно откровенно высказываются по поводу произошедшей в России революции. Перцов с энтузиазмом воспринял «переворот», отречение царя и был «всецело за республику». Размышления же Розанова о революции противоречивы: он не против республики «по-русски», но в письмах защищает Николая II, для него отретшился от престола царь — «юродивый» и «святый». Переписка, начатая 1 марта 1917 года после победы революции в Москве, оборвалась той же весной и возобновилась только через год. Анализ переписки периода Февральской революции позволяет сделать вывод, что Розанов остался сторонником консервативных взглядов. Перцов же мечтал о теократическом государстве в России с некоей новой религией.

В докладе А. М. Грачевой «Революция 1917 года и театральная практика А. Ремизова» был рассмотрен этап драматургических и театральных экспериментов, относящийся к 1917—1921 годам и связанный с периодом работы писателя в ТЕО и ПТО Наркомпроса. Анализ многочисленных театральных рецензий Ремизова, поздние объединенных в книгу «Крашенные рыла» (Берлин, 1922), а также его драматургических произведений той поры показали, что писатель продолжал последовательно развивать свои более ранние взгляды на значение для современного театра мистериального действия, в котором главным являлся голос «хора» — глас народа. Как драматург Ремизов ставил задачу применения на практике утверждаемых им принципов создания драматических произведений для народного театра — мистерий и вариантов «народной драмы». Созданные им в это время пьесы («Царь Максимилиан», «Стенька Разин», «Храбрый витезь Бова Королевич», «Соломон и Китоврас») были основаны на литературных и фольклорных текстах-источниках: апокрифе, лубочной сказке, народных песне и драме. Большая часть драматического наследия писателя осталась в его архиве. Место издания и минимальный тираж не позволили, чтобы книга «Крашенные рыла» была воспринята практиками раннего советского театра, который в 1920-е годы во многом шел по пути, назначенному не в последнюю очередь Ремизовым.

Заседание продолжилось выступлением Е. И. Колесниковой. В ее докладе «Александр Блок и медиасреда пореволюционного периода (по архивным материалам)» проделан лексический анализ революционных лозунгов. Приведены примеры фиксации потом в газете «Российский гражданин» (январь 1917 года) зарождающихся пропагандистских технологий, используемых активно и в настоящее время. Сделан вывод о кризисе лирического нарратива и выходе Блока за его рамки, осознании им медиа как социального института, взявшего на себя функцию репрезентации изменившейся картины мира.

Н. Ю. Грякалова сосредоточила внимание на сотрудничестве А. Блока с Первой Всероссийской школой журнализма, созданной в Петрограде по инициативе П. М. Пильского в феврале—марте 1918 года. Докладчица кратко обрисовала исторический фон, на котором развертывалась деятельность данной институции, охарактеризовала состав относящихся к ней материалов, сохранившихся в фонде Дома литераторов в Рукописном отделе Пушкинского Дома, а также познакомилась с малоизвестными мемуарными очерками Пильского «Литературные края», содержащими сведения об участии Блока в организованных Школой концертах, в частности в Мариинском театре. Основной акцент был сделан на предыстории подготовки лекции Блока «Катилина. Страница из истории мировой Революции» (по материалам записной книжки № 56), а также на некоторых новых источниках данного текста, а именно статьях из «Словаря классической древности» Ф. Любкера: блоковские пометы на них есть все основания датировать данным периодом и связывать с работой над лекцией; подчеркивалась важность изучения блоковских помет и на тексте драмы «Катилина» в экземпляре Полного собрания сочинений Ибсена (М., 1907. Т. 1) из личной библиотеки писателя, пока еще не введенных в научный оборот.

«...Мы шли защищать революцию!» Неизвестные воспоминания Бориса Зайцева — так озаглавил свой доклад А. М. Любмудров. В нем шла речь об очерках Б. К. Зайцева «Мы, военные», опубликованных в еженедельнике «Народоправство» (1917. № 1 и 2) и посвященных событиям Февральской революции в Москве. Долгое время этот текст ошибочно считался первым вариантом поздний (1932) воспоминаний Зайцева «Мы, военные», вошедших в его книгу «Москва». Обращение к источнику обнаружило, что под тем же заглавием там находится совершенно другой текст; доселе не известный и никогда не переиздававшийся. Это своеобразный дневник первых дней революции, написанный «по горячим следам» событий. В то время писатель был юнкером Александровского военного училища. Сугубо мирному человеку довелось оказаться в гуще событий февраля—марта 1917 года, встретить революцию с винтовкой в руках, охранять ее штаб и даже

стать депутатом Солдатского совета. Текст классика Серебряного века, заново открытый спустя столетие, представляет интерес и как часть его наследия, и как исторический источник. Ценность очерков Зайцева — в непосредственности восприятия, фиксации деталей и примет эпохи революции. Они отражают настроения русского общества, его надежды и ожидания, единодушный восторг по поводу конца старой власти. Очерки в полной мере подтверждают стремительность падения самодержавного строя, который никто не защищал: слабые попытки вывести войска в его поддержку провалились. В тексте Зайцева проявляется нелицеприятная правда истории: юнкера, без пяти минут офицеры, в выполнении возможного приказа об усмирении восставших видят «слабость» и даже «позор» для себя. Но с энтузиазмом готовы идти в бой на защиту свободы и революции, торопятся надеть красные банты. Ключевая фраза очерков: «не на кого было опереться старому порядку». Однако в дни Октябрьского переворота юнкера-александровцы оказали героическое сопротивление большевикам. О том, что к своим братьям присоединился бы Зайцев, окажись он тогда в Москве, говорят его эмигрантские строки: «...мне не дано было... драться за свою Москву на стороне белых».

Краткое выступление В. А. Прокофьева было посвящено проблеме атрибуции анонимного стихотворения, переписанного рукой М. М. Зощенко и хранящегося в архиве писателя в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Оно посвящено главе Временного правительства А. Ф. Керенскому, изображенному в жестко негативном свете. По мнению докладчика, гипотетическим автором текста мог быть и сам Зощенко. Однако сомнения в возможности такой атрибуции вызывают как стилистика текста, так и характер его монархической политической направленности.

Второе заседание семинара было посвящено презентации научных трудов, подготовленных сотрудниками Отдела новейшей русской литературы и недавно вышедших в свет.

Н. Ю. Грякалова на правах ответственного редактора познакомила участников с пятым выпуском сборника «Александр Блок: Исследования и материалы» (СПб., 2016), в подготовке которого участвовали сотрудники Группы по изданию академического Полного собрания сочинений и писем А. Блока, исследователи из других российских научных центров, а также зарубежные ученые.

Очердной том Собрания сочинений А. М. Ремизова «Русалия» (СПб., 2016) представила А. М. Грачева. Книга включает драматические произведения, переводы пьес, статьи о театре, многочисленные рецензии и отзывы писателя.

Антология «Литературные манифесты и декларации русского модернизма» (СПб., 2016) представляет собой самое полное в настоящее время собрание литературно-критических документов конца XIX — начала XX века, отражающих творческие позиции представителей ведущих направлений русского модернизма. Об этом издании, задуманном и начатом Юрием Константиновичем Герасимовым и посвященном его памяти, рассказала директор издательства «Пушкинский Дом» Е. И. Гончарова.

В. Н. Быстров познакомил собравшихся со своей монографией «Угрюмством множа красоту» (СПб., 2016), явившейся результатом многолетних трудов над творческим наследием А. Блока.

Н. Ю. Грякалова рассказала о книге «А. А. Измайлов. Переписка с современниками» (СПб., 2016), в подготовке которой она принимала участие совместно с А. С. и Э. К. Александровыми.

Заседание завершилось подведением итогов работы семинара и обсуждением дальнейших планов по научному изучению данной тематики.

© О. А. Линдберг

---

Ольга Александровна Линдберг — научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Учредители:  
Российская академия наук  
Отделение историко-филологических наук РАН  
119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр., 32а  
Телефон: (495) 938-17-63, факс: (495) 938-17-64  
oifn@mail.ru; www.hist-phil.ru  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук  
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4  
Телефон: (812) 328-19-01, факс: (812) 328-11-40  
irliran@mail.ru; www.pushkinskiydom.ru

Журнал зарегистрирован Министерством печати и информации  
Российской Федерации  
Регистрационный номер 0110194 от 4 февраля 1993 г.

Издатель: Санкт-Петербургский филиал ФГУП  
«Издательство «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1  
main@nauka.nw.ru; www.naukaspb.com

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4  
Телефон/факс: (812) 328-16-01; rusliter@mail.ru; www.pushkinskiydom.ru

Зав. редакцией *И. Ф. Данилова*  
Технический редактор *О. В. Новикова*  
Корректоры *Н. И. Журавлева, Л. Д. Колосова, А. К. Рудзик*  
и *И. В. Смирнова*  
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Подписано к печати 17.07.17. Дата выхода в свет 31.08.17.  
Формат 70 × 100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23.1.  
Уч.-изд. л. 28.6. Тираж 268 экз.  
Тип. зак. № 1482. Цена свободная

---

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»  
с готового оригинал-макета  
121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6